

2021 – № 1

СИБИРСКИЙ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Барнаул – Иркутск – Кемерово – Новосибирск – Томск

СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Основан в 2002 г. Выходит 4 раза в год

Сибирское отделение РАН
Институт филологии Сибирского отделения РАН
Алтайский государственный университет
Иркутский государственный университет
Кемеровский государственный университет
Новосибирский государственный педагогический университет
Новосибирский государственный университет
Томский государственный педагогический университет
Томский государственный университет

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Д-р филол. наук, проф. И. В. Силантьев (ИФЛ СО РАН) – главный редактор; д-р филол. наук, доц. И. Е. Ким (ИФЛ СО РАН) – зам. главного редактора; канд. филол. наук, доц. Д. А. Катунин (ТГУ) – зам. главного редактора; д-р филол. наук, проф. А. А. Чувакин (АлтГУ) – зам. главного редактора; канд. филол. наук А. А. Озонова (ИФЛ СО РАН) – ответственный секретарь

Д-р филол. наук, проф. Л. А. Араева (КемГУ); д-р филол. наук, проф. Н. С. Болотнова (ТГПУ); д-р филол. наук, проф. Э. Вайда (Западно-Вашингтонский университет, США); д-р филол. наук, проф. Л. И. Горбунова (ИГУ); д-р филол. наук, проф. В. З. Демьянков (ИЯ РАН); канд. филол. наук, проф. Е. А. Добренко (Университет Шеффилда, Великобритания); д-р филол. наук, проф. М. Я. Дымарский (РГПУ им. А. И. Герцена); д-р филол. наук, доц. О. Д. Журавель (ИИ СО РАН); д-р филол. наук, проф. Л. Г. Ким (КемГУ); д-р филол. наук В. Л. Кляус (ИМЛИ РАН); д-р филол. наук, проф. А. В. Курьянович (ТГПУ); канд. филол. наук А. М. Лаврентьев (Лионский университет, Франция); д-р филол. наук, проф. М. Н. Липовецкий (Университет Колорадо в Боулдере, США); д-р филол. наук, проф. Э. Малэк (Лодзинский университет, Польша); д-р филол. наук, проф. Т. И. Печерская (НГПУ); д-р филол. наук, проф. Дж. Руй-Уиллоуби (Университет Кентукки, США); д-р филол. наук, проф. Е. К. Скрибник (Мюнхенский университет, Германия); канд. ист. наук, доц. С. Г. Суляк (Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Республика Молдова); д-р филол. наук, проф. Т. А. Трипольская (НГПУ); д-р философии по антропологии, проф. С. А. Ушакин (Принстонский университет, США); д-р филол. наук, проф. Л. Харвилаhti (Финское литературное общество, Финляндия); д-р филол. наук, проф. М. А. Черняк (РГПУ им. А. И. Герцена)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Д-р филол. наук, проф. Т. Е. Автухович (Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Республика Беларусь); акад. РАН А. Е. Аникин (ИФЛ СО РАН); д-р филол. наук, проф. Т. Бакчиев (КИЦА, Кыргызская Республика); д-р филол. наук, проф. Т. А. Демешкина (ТГУ); д-р филол. наук, проф. Л. И. Журова (ИИ СО РАН); чл.-корр. РАН, проф. Н. В. Корниенко (ИМЛИ РАН); канд. филол. наук, доц. С. А. Мансков (АлтГУ); д-р филол. наук, проф. М. А. Осадчий (Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина); д-р филол. наук, проф. Л. Г. Панин (НГУ); д-р филол. наук, проф. С. Ж. Тажибаева (Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Республика Казахстан); канд. филол. наук, доц. М. Б. Ташлыкova (ИГУ); канд. филол. наук, доц. О. Г. Щеглова (НГУ)

Журнал индексируется в БД Scopus, Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), Russian Science Citation Index (RSCI), Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)

Журнал зарегистрирован Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-77938 от 04.03.2020

Институт филологии СО РАН, ул. Николаева, 8, Новосибирск, 630090
sibphilology@mail.ru
Официальный сайт журнала: <http://www.philology.nsc.ru/journals/spj/index.php>

СОДЕРЖАНИЕ

Фольклористика

- Дайнеко Т. В.* (Новосибирск, ИФЛ СО РАН)
Обрядовые коды летне-осеннего сезона календарного цикла белорусов Сибири и Дальнего Востока 9
- Дампилова Л. С., Юша Ж. М.* (Новосибирск, ИФЛ СО РАН)
Мифологический образ хозяина Алтая: функции и семантика 24
- Султангареева Р. А.* (Уфа, ИИЯЛ УФИЦ РАН)
Материнство и девичество в башкирской мифологии и обрядовом фольклоре: истоки, трансформации 37
- Арбачакова Л. Н.* (Новосибирск, ИФЛ СО РАН)
Сказание «Күннү көрген Күн Кёок» в самозаписи и звукозаписи 51

Литературоведение

- Козлов А. Е.* (Новосибирск, НГПУ)
«Людоеды, или Люди шестидесятых годов» Д. Д. Минаева, «Преступница, или нет» В. П. Буренина: как сделана пародия 65
- Собенников А. С.* (Санкт-Петербург, Петергоф, ВИ ЖДВ и ВОСО)
«Чайка» А. П. Чехова в свете гендерной психологии и психоанализа. Отцы и дети 82
- Проскурина Е. Н.* (Новосибирск, ИФЛ СО РАН)
«Крымские записки. 1916–1921» С. Шиль: трагедия места в автодокументальном воспроизведении 96
- Чечнёв Я. Д.* (Москва, ИМЛИ РАН)
«Мгновенный старик» в романе Константина Вагинова «Гарпагониа» (к вопросу о «возвращенной молодости» как сюжете эпохи социалистической реконструкции) 109
- Назаренко И. И.* (Томск, ТГУ)
Семантика сюжета инициации в малой прозе Ю. Фельзена 119
- Липина М. А.* (Иркутск, ИГУ)
Поэтика литературного сновидения в новелле С. Д. Кржижановского «Боковая ветка» 132
- Баженова Я. В.* (Красноярск, СФУ)
«Алексеи Алексеичи» буниных рассказов: параметры интеграции несобранного цикла 144
- Марьин Д. В.* (Барнаул, АлтГУ)
«Черт бы побрал их, эти дары!»: источники семантики ложного дара в литературном творчестве В. М. Шукшина 158
- Мастепак Т. Г.* (Томск, ТГПУ)
Социокультурное пространство Берлина в романе В. Набокова «Дар» 169
- Штуккерт М. Л.* (Иркутск, ИГУ)
Игровая историософия А. Иванова: насилие формы и реабилитация смысла (на материале романов «Псоглавцы» и «Пищевлок») 182

Языкознание

Рыжикова Т. Р. (Новосибирск, ИФЛ СО РАН) Артикуляторные особенности барабинско-татарской фонемы <i>o /ò/</i> (по данным МРТ)	191
Алмадакова Н. Д. (Горно-Алтайск, ГАГУ) Долгий гласный <i>oo</i> в именных словоформах в говорах улаганского диалекта теленгитского языка (в сопоставительном аспекте)	209
Муратова Р. Т. (Уфа, ИИЯЛ УФИЦ РАН) Генезис, эволюция и семантика цветообозначений <i>kük</i> 'синий', <i>zäŋgär</i> 'голубой', <i>jäšel</i> 'зеленый' в башкирском языке	224
Ахматова М. А. (Нальчик, КБГУ) Концепт <i>ТАШ</i> 'камень' в карачаево-балкарской языковой картине мира	239
Аннай Э. К. (Кызыл, ТИГПИ) Отражение метафорических экспрессивов в тувинской лексикогра- фии	252
Сребцова Т. Г. (Санкт-Петербург, СПбГУ) Лексикализованные формы русских перцептивных глаголов как семейство конструкций	265
Ван А. (Санкт-Петербург, РГПУ) Глаголы эмоционального состояния в контропативных инфини- тивных высказываниях	279
Кошкарева Н. Б. (Новосибирск, ИФЛ СО РАН; НГУ), Бакайтис И. И. (Новосибирск, НГУ) Изосемические высказывания с семантикой качественной характе- ризации и их неизосемические экспрессивные синонимы	293
Патроева Н. В. (Петрозаводск, ПетрГУ) Абсолютные обособленные обороты в русской поэтической речи от Кантемира до Лермонтова	308
Карасик В. И., Милованова М. С. (Москва, Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина) Осмысление жертвоприношения: дискурсивные векторы оценки	321
Бутакова Л. О., Гуц Е. Н., Орлова Н. В., Харламова М. А. (Омск, ОмГУ) Самоидентификация людей в возрасте поздней зрелости: ком- плексное лингвистическое исследование	337
Памяти Людмилы Алексеевны Араевой	350

2021 – No. 1

SIBERIAN
JOURNAL
OF PHILOLOGY

Barnaul – Irkutsk – Kemerovo – Novosibirsk – Tomsk

SIBERIAN JOURNAL OF PHILOLOGY

Founded in 2002. Published quarterly.

Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Altai State University
Irkutsk State University
Kemerovo State University
Novosibirsk State Pedagogical University
Novosibirsk State University
Tomsk State Pedagogical University
Tomsk State University

EDITORIAL BOARD

Igor V. Silantyev, Doctor of Philology, Prof., Institute of Philology of the SB of the RAS, Novosibirsk, Russian Federation – *Editor-in-Chief*; Igor E. Kim, Doctor of Philology, Assistant Professor, Institute of Philology of the SB of the RAS, Novosibirsk, Russian Federation – *Deputy Editor-in-Chief*; Dmitriy A. Katunin, Candidate of Philology, Assistant Professor, Tomsk State University, Russian Federation – *Deputy Editor-in-Chief*; Aleksey A. Chuvakin, Doctor of Philology, Prof., Altai State University, Barnaul, Russian Federation – *Deputy Editor-in-Chief*; Ayana A. Ozonova, Candidate of Philology, Institute of Philology of the SB of the RAS, Novosibirsk, Russian Federation – *Executive Secretary*; Ludmila A. Araeva, Doctor of Philology, Prof., Kemerovo State University, Russian Federation; Nina S. Bolotnova, Doctor of Philology, Prof., Tomsk State Pedagogical University, Russian Federation; Mariya A. Chernyak, Doctor of Philology, Prof., Herzen University, Saint-Petersburg, Russian Federation; Ludmila I. Gorbunova, Doctor of Philology, Prof., Irkutsk State University, Russian Federation; Valeriy Z. Demyankov, Doctor of Philology, Prof., Institute of Linguistics of the RAS, Moscow, Russian Federation; Evgeniy A. Dobrenko, Candidate of Philology, Prof., University of Sheffield, United Kingdom; Mikhail Y. Dymarskiy, Doctor of Philology, Prof., Herzen University, Saint-Petersburg, Russian Federation; Olga D. Zhuravel, Doctor of Philology, Institute of History of the SB of the RAS, Novosibirsk, Russian Federation; Lidiya G. Kim, Doctor of Philology, Prof., Kemerovo State University, Russian Federation; Vladimir L. Klyaus, Doctor of Philology, A. M. Gorky Institute of World Literature of the RAS, Moscow, Russian Federation; Anna V. Kuryanovich, Doctor of Philology, Prof., Tomsk State Pedagogical University, Russian Federation; Aleksey M. Lavrentyev, Candidate of Philology, Lumiere University Lyon 2, France; Eliza Malek, Doctor of Philology, Prof., University of Lodz, Poland; Mark N. Lipovetskiy, Doctor of Philology, Prof., University of Colorado Boulder, USA; Sergey A. Oushakine, PhD in Anthropology, Prof., Princeton University, USA; Tatyana I. Pecherskaya, Doctor of Philology, Prof., Novosibirsk State Pedagogical University, Russian Federation; Jeanmarie Rouhier-Willoughby, Doctor of Philology, Prof., University of Kentucky, USA; Elena K. Skribnik, Doctor of Philology, Prof., Ludwig Maximilian University of Munich, Germany; Sergey G. Sulyak, Candidate of History, Assistant Professor, Pridnestrovian State University, Moldova; Tatyana A. Tripolskaya, Doctor of Philology, Prof., Novosibirsk State Pedagogical University, Russian Federation; Edward J. Vajda, PhD in Slavic Linguistics, Prof., Western Washington University, USA; Lauri Harvilahti, Doctor of Philology, Prof., Finnish Literature Society, Finland

EDITORIAL COUNCIL

Aleksandr E. Anikin, Academician of the RAS, Institute of Philology of the SB of the RAS, Novosibirsk, Russian Federation; Tatyana E. Avtukhovich, Doctor of Philology, Prof., Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus; Talantaaly A. Bakchiev, Doctor of Philology, Prof., Korean Institute of Central Asia, Bishkek, Kyrgyz Republic; Tatyana A. Demeshkina, Doctor of Philology, Prof., Tomsk State University, Russian Federation; Ludmila I. Zhurova, Doctor of Philology, Institute of History of the SB of the RAS, Novosibirsk, Russian Federation; Natalya V. Kornienko, Doctor of Philology, Corresponding member of the RAS, A. M. Gorky Institute of World Literature of the RAS, Moscow, Russian Federation; Sergey A. Manskov, Candidate of Philology, Assistant Professor, Altai State University, Barnaul, Russian Federation; Mikhail A. Osadchiy, Doctor of Philology, Prof., Pushkin State Russian Language University, Moscow, Russian Federation; Leonid G. Panin, Doctor of Philology, Prof., Novosibirsk State University, Russian Federation; Olga G. Scheglova, Candidate of Philology, Assistant Professor, Novosibirsk State University, Russian Federation; Saule Zh. Tazhibaeva, Doctor of Philology, Prof., L. N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan; Marina B. Tashlykova, Candidate of Philology, Assistant Professor, Irkutsk State University, Russian Federation

Institute of Philology
Nikolaeva St., 8, Novosibirsk, 630090, Russian Federation
sibphilology@mail.ru
<http://www.philology.nsc.ru/journals/spj/index.php>

CONTENTS

Folklore

- Dayneko T. V.*
Ritual codes of the summer-autumn season of the calendar cycle of the Belarusians of Siberia and the Far East 9
- Dampilova L. S., Yusha Zh. M.*
The mythological image of the owner of Altai: functions and semantics 24
- Sultangareeva R. A.*
Motherhood and maidenhood in Bashkir mythology and folklore: roots and transformation 37
- Arbachakova L. N.*
The epic “Künnü körgen Kün Köök” in self-recording and audio recording 51

Literature

- Kozlov A. E.*
Cannibals, criminals, grotesque and mass-fiction: How the parody is made (Victor Burenin and Dmitry Minaev cases) 65
- Sobennikov A. S.*
The play “The Seagull” by A. P. Chekhov in the light of gender psychology and psychoanalysis 82
- Proskurina E. N.*
“Crimean Notes. 1916–1921” by S. N. Shil: Tragedy of place in auto-documentary reproduction 96
- Chechnev Ya. D.*
“Instant old man” in Konstantin Vaginov’s novel “Garpagoniana” (“returned youth” as a plot of the socialist reconstruction era) 109
- Nazarenko I. I.*
Semantics of the initiation plot in short stories by Yu. Felzen 119
- Lipina M. A.*
Poetics of literary dream in Sigizmund Krzhizhanovsky’s novel “Side-line” 132
- Bazhenova Ya. V.*
“Aleksi Alekseichi” of Bunin’s short stories: integration elements of an unassembled cycle 144
- Maryin D. V.*
“Hell would take them, these gifts!”: sources of the semantics of a false gift in the literary creativity of V. M. Shukshin 158
- Mastepak T. G.*
The socio-cultural space of Berlin in V. Nabokov’s novel “The Gift” 169
- Shtukkert M. L.*
Game historiosophy of A. Ivanov: the violence of form and the rehabilitation of meaning (based on the novels “Psoglavtsy” and “Pishcheblok”) 182

Linguistics

Ryzhikova T. R.	Articulatory peculiarities of the Baraba-Tatar phoneme <i>o /ü/</i> (on MRI data)	191
Almadakova N. D.	Long vowel <i>oo</i> in nominal word forms in the subdialects of Ulagan dialect of Telengit language (in the comparative aspect)	209
Muratova R. T.	Genesis, evolution and semantics of the color terms <i>kük</i> ‘blue’, <i>zäŋgär</i> ‘sky blue’, <i>jäšel</i> ‘green’ in the Bashkir language	224
Akhmatova M. A.	Concept of “tash” (stone) in the Karachay-Balkar language picture of the world	239
Annai E. K.	Metaphorical expressives in Tuvan lexicography	252
Skrebtsova T. G.	Lexicalized forms of the Russian perception verbs as a constructional family	265
Wang A.	Verbs of emotional state in counter-optative utterances	279
Koshkareva N. B., Bakaytis I. I.	Prototypical characterization statements and their expressive synonyms	293
Patroeva N. V.	Absolute isolated phrases in Russian poetic speech from Kantemir to Lermontov	308
Karasik V. I., Milovanova M. S.	Conceptualization of sacrifice: discursive vectors of evaluation	321
Butakova L. O., Goots E. N., Orlova N. V., Kharlamova M. A.	Self-identification of people at the age of late adulthood: a comprehensive linguistic study	337
	In Memoriam of Lyudmila A. Araeva	350

Фольклористика

УДК 398, 1.571, 161.3, 784.4

DOI 10.17223/18137083/74/1

Обрядовые коды летне-осеннего сезона календарного цикла белорусов Сибири и Дальнего Востока

Т. В. Дайнеко

*Институт филологии СО РАН
Новосибирск, Россия*

Аннотация

В статье изложены результаты изучения архивных и опубликованных материалов 1970–2010-х гг., посвященных летне-осеннему сезону годового календарного круга белорусов-переселенцев Сибири и Дальнего Востока. Установлено, что в первом периоде сезона (собственно лето) преобладают праздничные фольклорно-этнографические комплексы, во втором (позднее лето и осень) – сезонно-трудовые. Проводится последовательное сравнение фольклорно-этнографических комплексов двух периодов по обрядовым кодам (по Н. И. Толстому), в результате чего выявляется специфика каждого периода и становится очевидной их яркая контрастность, обусловленная различными обрядовыми функциями. Летние обряды и приуроченные к ним песни предстают как завершение большого обрядового цикла, начатого еще в Святки и направленного на вызывание урожая. Фольклорно-этнографический комплекс позднего лета и осени включает обряды и песни, сопровождающие получение урожая.

Ключевые слова

традиционная культура Сибири, календарный фольклор белорусов-переселенцев, летне-осенний сезон, фольклорно-этнографические комплексы, обрядовые коды

Благодарности

Исследование выполнено в рамках проекта Института филологии СО РАН «Культурные универсалии вербальных традиций народов Сибири и Дальнего Востока: фольклор, литература, язык» по гранту Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых (соглашение № 075-15-2019-1884)

Для цитирования

Дайнеко Т. В. Обрядовые коды летне-осеннего сезона календарного цикла белорусов Сибири и Дальнего Востока // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 9–23. DOI 10.17223/18137083/74/1

Ritual codes of the summer-autumn season of the calendar cycle of the Belarusians of Siberia and the Far East

T. V. Dayneko

*Institute of Philology SB RAS
Novosibirsk, Russian Federation*

Annotation

This paper considers the ritual codes (temporal, local, actional, personal, real, and verbal) of the summer-autumn season of the calendar cycle of Belarusian-settlers of Siberia and the

© Т. В. Дайнеко, 2021

ISSN 1813-7083
Сибирский филологический журнал. 2021. № 1
Siberian Journal of Philology, 2021, no. 1

Far East. The author used archival and published materials on calendar folklore recorded in the 1970s – 2010s from the descendants of Belarusian-settlers living in various districts of the Novosibirsk, Omsk, Tyumen, Kemerovo regions, as well as the Krasnoyarsk, Primorsky and Khabarovsk regions. First, the analysis focuses on the comments and explanations recorded by the folklore collectors from the tradition-bearers. These materials directly reflect the folk calendar terminology of the Belarusian-settlers and describe “from the inside” the ritual situations, including the context of the performance of calendar songs. A comparison is made between two periods of the summer-autumn season: 1) the summer and 2) the late summer and autumn. The first period is dominated by festive folk-ethnographic complexes, while the second period is predominantly characterized by seasonal work. The consistent comparison of ritual codes has revealed the specificity of summer-autumn season periods, making their striking contrast evident. Summer rituals and songs dedicated to them appear as the completion of a large cycle of rituals that began in the Christmastide period and were aimed at bringing about the harvest. The folk-ethnographic complex of late summer and autumn includes the rituals and songs accompanying the harvest.

Keywords

traditional culture of Siberia, calendar folklore of Belarusian settlers, summer-autumn season, folk-ethnographic complexes, ritual codes

Acknowledgments

The work is part of the project of the Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences “Cultural universals of verbal traditions of the peoples of Siberia and the Far East: folklore, literature, language” supported by a grant from the Government of the Russian Federation for the promotion of research conducted under the guidance of leading scientists, contract № 075-15-2019-1884

For citation

Dayneko T. V. Ritual codes of the summer-autumn season of the calendar cycle of the Belarusians of Siberia and the Far East. *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 9–23. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/1

Введение

На современном этапе развития фольклористики ученые разных специальностей при изучении обрядового фольклора уделяют большое внимание выявлению и рассмотрению обрядовых кодов, впервые обозначенных в работах Н. И. Толстого [1995а; 1995б] (например: [Архипенко, 2009]). Это актуальное исследовательское направление получило отражение и в работах, посвященных обрядовому фольклору, в том числе календарному, коренных и переселенческих народов Сибири (см. [Ойноткинова, 2016; Шахов, 2019] и др.).

В статье изложены результаты выявления и аналитического рассмотрения обрядовых кодов¹ в летне-осеннем сезоне годового календарного цикла белорусов Сибири и Дальнего Востока. Летне-осенний сезон – от Троицы до Покрова – представляет большой интерес и имеет собственную специфику. С одной стороны, в нем прослеживается единая линия: все его обрядово-песенные элементы связаны с земледелием и, шире, с культом растительности. С другой стороны, два периода этого сезона: 1) собственно лето и 2) позднее лето и осень – достаточно ярко контрастируют друг с другом, что обнаруживается в результате последовательного сравнения обрядовых кодов, выявленных в них.

¹ Используется ряд обрядовых кодов, предложенный Н. И. Толстым [1995а]: акциональный, реальный, персональный, темпоральный, локативный и вербальный. Музыкальный код в статье не рассмотрен, он требует отдельного специального изучения.

Для исследования были использованы архивные и опубликованные материалы по календарному фольклору, записанные в 1970–2010-х гг. от потомков белорусов-переселенцев, проживающих в различных районах Новосибирской, Омской, Тюменской, Кемеровской областей, а также Красноярского, Приморского и Хабаровского краев. Прежде всего мы уделяем внимание комментариям и пояснениям, зафиксированным собирателями от носителей традиции: в них непосредственно отражена народная календарная терминология белорусов-переселенцев и «изнутри» описываются обрядовые ситуации².

В летне-осеннем сезоне можно выделить *ритуальные, сезонные и трудовые фольклорно-этнографические комплексы*, пропорциональное соотношение их в каждом из периодов неодинаково. *Летний период* сезона включает два основных ритуальных фольклорно-этнографических комплекса, и оба они праздничные. Троица³ имеет подвижную дату и отмечается через семь недель после Пасхи. Сама Троица насыщена обрядовыми действиями. Имеют свои ритуалы и окружающие ее дни: предшествует ей «родительская» / «духовая» / «духовская» суббота с обязательным посещением кладбища, после Троицы следует Духов день с присущими ему запретами: «Вчера была Троица. А сёдни в нас праздник – земля именинница... ..Нельзя трогать яе» (Петропавловка Мсл. Нвсб.⁴) [Дайнеко, 2018, с. 133]. С этого дня начинается «русальная» / «грязная» / «граная» неделя, которая по смысловой и обрядовой направленности являлась продолжением Троицы.

Другой праздничный комплекс – купальский (день Ивана Купалы 7 июля н. ст.) – играет важную роль в годовом круге: прежде он приходился на переломный период года – дни летнего солнцеворота (24 июня ст. ст.). К нему примыкает Петров день (12 июля н. ст.). «Купало» имеет более развитую обрядность и превосходит по значимости «Петровки», однако они объединяются песенным репертуаром: «Эта на Ивана Купайла всё пають... да и на Петра пають же» (Соколовка Чгв. Прм.) [СС КШ, 2003, с. 120, № 116].

Самостоятельное значение в рассматриваемый период имеет сезонный фольклорно-этнографический комплекс – молодежные развлекательные собрания. Имели место и трудовые комплексы: земледельцы в это время были заняты прополкой полей и огородов, а за некоторое время до или же сразу после Петрова дня (в некоторых локальных традициях приуроченность была строгой) начинался сенокос.

К ритуальным действиям этого времени непосредственно относятся обрядовые песни – троичские, купальские и петровские. Приуроченными к обрядам были прежде всего хороводные песни. Они же составляли значительную часть молодежных досуговых собраний, вплоть до Петрова дня, когда хороводы водить за-

² Использование высказываний носителей традиции в качестве источника – одна из современных (начиная со второй половины XX в.) тенденций в фольклористике; в настоящее время такой подход получил достаточно широкое распространение, в том числе на сибирском материале; например: [Пашина, 2006; Фурсова, 2003; Исмагилова, 2013].

³ Белорусский исследователь З. Я. Можейко относит Троицу к весеннему сезону, но подчеркивает, что этот праздничный комплекс носит переходный характер и расположен «на стыке весны и лета» [1985, с. 26]. По В. К. Соколовой, Троица знаменует «конец весны и начало лета» [1979, с. 188].

⁴ Здесь и далее в скобках указаны места записи исполнительского комментария: название деревни или села, а также сокращенно названия района и области или края. Список сокращений географических названий см. в конце статьи.

канчивали. Кроме того, на праздниках могли исполняться образцы необрядового фольклора других жанров (например, лирические песни, наигрыши и т. д.). Песни, сопровождающие различные полевые работы, относятся к приуроченным к сезону (подробнее о жанровой классификации календарных песен см.: [Дайнеко, Леонова, 2019]).

Второй период сезона – *позднее лето* и *осень* – очень важное и ответственное время в жизни крестьян: в сжатые сроки было необходимо убрать урожай злаковых культур. В едином фольклорно-этнографическом комплексе данного периода преобладают трудовые элементы. Старт жнивных работ зависел от климатических условий региона и погоды в конкретный год; обычно земледельцы приступали к жатве после Ильина дня (2 августа н. ст.). Предваряли уборочные работы зажинки – специальные обряды с приуроченными к ним обрядовыми песнями. Далее процесс жатвы ритуальными действиями не прерывался, но сопровождался обрядовыми жнивными песнями, что, безусловно, свидетельствует о его особой значимости. Завершение работ – дожинки / обжинки – отмечено как ритуалами, так и обрядовыми дожиночными песнями. Приуроченными к сезонным работам были в первую очередь лирические, а также осенние / «восеньские» песни – они могли исполняться как во время полевых работ, так и по пути на поле или домой. Точную дату окончания уборочных работ информанты обычно не называют (во многом она зависела от погодных условий). Но есть и исключения: записано сообщение жительницы с. Фроловка (Пртз. Прм.) о том, что у них жатва заканчивалась в день Фрола и Лавра (18 августа по ст. ст.) [СС КШ, 2003, с. 94]. Календарной меткой окончания второго периода летне-осеннего сезона можно считать Покрѳ / Покрѳ день (1/14 октября) – к этому времени все полевые и огородные работы следовало завершить: «...Помню, что говорили: “Покрѳ – с поля долов”. Это уже старайся всё убирать, а то скоро зима» (Колбаса Кшт. Нвсб.) [Дайнеко, 2016б, с. 69]. Этот день считался границей между осенью и зимой; ритуальный цикл, связанный с земледелием, прерывался, уступая место семейно-обрядовому (наступало время свадеб). Если воспользоваться делением обрядовых циклов годового круга, предложенным В. И. Чичеровым [1957, с. 19–20], то можно сказать, что внутри летне-осеннего сезона проходит граница между двумя большими календарными циклами: летний период завершает годовой (начатый еще в Святки) цикл обрядов, вызывающих урожай, а в период позднего лета и осени, напротив, представлены обряды, сопровождающие получение урожая.

Обрядовые коды летне-осеннего сезона

Как в метрополии, так и в местах переселения белорусов-земледельцев календарные обряды в прошлом служили основным фактором, организующим течение жизни. Неудивительно, что важнейшее место в системе обрядовых кодов занимает именно *темпоральный код*. Время совершения обряда и исполнения соответствующих ему календарных песен – это, видимо, то, что носители традиции хотят сообщить прежде всего.

В комментариях к летнему периоду сезона можно выделить несколько уровней проявления темпорального кода.

В высказываниях об обрядах, относящихся к праздникам этого периода и сопровождающим их песням, зачастую указывается, что исполняли их накануне либо непосредственно в течение праздничного дня, иногда сообщается и время суток: «Это перед Иваном, на Купалу», «Ето на Купалку, шастого етага йуля пели», «– Это купалка. – А когда ее поют? – Вечером, шестога [июля]» (Ларионовка

Знм. Омск.; Арх. ОмГПУ, МАГ-4/1973, № 11 ⁵; МАГ-3/1996, № 8, 35); «Вот это сейчас, в Петров день, её поют» (Тайга Знм. Омск.; Арх. ОмГПУ, МАГ-1/1973, № 3); «На Петра пели» (Ермаки Вкл. Тюм.) ⁶.

Праздничные дни могли служить вехами, ограничивающими период исполнения песен, о которых идет речь, например: «пасля Пятра» (Ларионовка Знм. Омск.; Арх. ОмГПУ, МАГ-3/1996, № 25); «...Когда пост перед Пятром» (Айлинка Знм. Омск.; Арх. ОмГПУ, МАГ-3/1974, № 4).

Песня могла быть приурочена к определенному сезонному виду труда (прополка, сенокос), четкую дату в таком случае указать нельзя, но можно обозначить вид работы: «полють траву и эту песню пяють» (Там же). Как видим, темпоральный код здесь сливается с акциональным, эта особенность еще ярче проявляется во втором периоде сезона.

В период позднего лета и осени, как уже упоминалось, отсутствуют праздники: крестьяне заняты только уборкой урожая. Это определило характер проявления темпорального кода в высказываниях исполнителей, посвященных песням данного периода: сезон обозначается с помощью описания сельскохозяйственных работ, приуроченных к нему. Например: «як начинали жать рожь», «тоже як жали», «как рожь дажинали», «эта дажавши с поля ишли, эту песню пели. Как рожь убрали» (Ларионовка Знм. Омск.; Арх. ОмГПУ, МАГ-3/96, № 24, 26, 19, 21); «как кончают жать» (Атирка Трс Омск.; Арх. ОмГПУ, МАГ-16/1980, № 9); «эта уж кагда обмолотят» (Тайга Знм. Омск.; Арх. ОмГПУ, МАГ-1/1973 № 4); «[когда] конопли берут... вóсинью» (Многоудобное Шкт. Прм.) [СС КШ, 2003, с. 120, № 121].

Локативный код. Календарные песни всего годового круга исполняются в различных локациях, соотносящихся друг с другом по принципу матрешки – от ограниченного пространства ко всё более широкому: 1) внутри жилища («у хати»), 2) поблизости от дома, вокруг него (во дворе, под окном, на пороге и т. п.), 3) внутри поселения (на улице), 4) за пределами населенного пункта (на кладбище, на поле, на берегу речки и пр.). Специфика летне-осеннего сезона, который крестьяне проводят в основном вне дома, занимаясь полевыми работами, определила особенности проявления локативного кода.

Летний период сезона. Чаще всего в комментариях исполнителей встречаются упоминания о локациях третьего и четвертого видов – на улице или за пределами поселения. Так, функция некоторых купальских песен заключалась в вызывании односельчан из домов: «Эта купалка, вечером штобы все были на дворе» (Ларионовка Знм. Омск.; Арх. ОмГПУ, МАГ-3/1996, № 35). В тексте песни обещаны наказания тем, кто не явится для выполнения купальских обрядов: «А каво нету на вулицы, / Аблажи таво калодами» и т. д. Некоторые ритуальные действия в ночь на Купалу нужно было совершать в определенном месте поселения: «...Пяём у калодезя... ў вядро крапиву наторкаём, на калодиц паложим...» (Суражевка (г. Артём) Прм.) [СС КШ, 2003, с. 120, № 115]. В другом случае информан-

⁵ В статье даны ссылки на неопубликованные аудиоматериалы, хранящиеся в фольклорном архиве Омского педагогического университета (ОмГПУ, ранее – института), а также Полевые материалы (ПМ) В. Ф. Похабова и Т. В. Дайнеко. Копии аудиоматериалов хранятся в Архиве традиционной музыки Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки (АТМ НГК). Расшифровка аудиозаписей выполнена автором статьи.

⁶ Песенная жемчужина Тюменской области: компакт-диск / Сост. Л. Дёмина. Тюмень, [не ранее 2001]. Приложение к компакт-диску. Ч. 2: Песни переселенцев Могилёвской губернии (1994).

ты рассказывают о совершении обрядовых действий, связанных с ритуальным купальским деревцем: сначала они происходили на улице, а затем место действия перемещалось за пределы села, к реке: «С песнями “На Ивана, на Купайла...” дайдут до моста» (Соколовка Чгв. Прм.) [СС КШ, 2003, с. 93].

Вообще важнейшими и зачастую взаимосвязанными локациями для обрядовых действий и исполнения соответствующих песен летнего периода являются река (как берег, так и сама вода, ее течение) и места с обилием растительности – в зависимости от местности это могут быть луг или лес. С указанными локациями связаны прежде всего ритуальные действия на Троицу. В лесу и на лугах накануне праздника собирали зелень для последующего украшения жилища и подворья (т. е. происходит смена локаций обрядовых действий): «У субботу ходили у лес, рвали траву... кустами которая расте. ...И вот мяту ету рвали. Цвяты – аганьки, мядунки... Принóсили дамоў, за стол кídaли» (Петропавловка Мсл. Нвсб.) [Дайнеко, 2018, с. 132]. В лесу или на берегу реки совершается троицкий обряд плетения венков и бросания их в воду (последнее присутствует не во всех локальных традициях). Необрядовая часть праздника происходит в тех же локациях: «А что Троица? Идём к речке...» (Камышинка Кшт. Нвсб.) [Дайнеко, 2016а, с. 90]; «На Троицу собираешься, идешь в лес (это уже обязательно)...» (Многоудобное Шкт. Прм.) [СС КШ, 2003, с. 91].

Обрядовые ситуации вызывания дождя, во время которых исполнялись православные песнопения, также связаны с двумя локациями – рекой и полем: «Старухи собираются, на речку сходят, поють – “Богородицу”... (тропарь. – Т. Д.). ...Идуть с речки, где рожь посеяна, – на рожь сходят с етой иконой...» (Колбаса Кшт. Нвсб.) [Дайнеко, 2016б, с. 69].

В рассматриваемый период регулярно происходили молодежные собрания, сезон которых начался еще весной. Игры, песни и пляски происходили на свежем воздухе, в удобном открытом месте на краю поселения: «шли на луга на границу» (Вкл. Тюм.) [Традиционный фольклор..., 2013, с. 10], «на точкё» (Прямское, Петропавловка Мсл. Нвсб.).

Приуроченные к первому периоду летне-осеннего сезона прополочные, покосные, косецкие и другие песни, которые сопровождали различные виды крестьянского труда, звучали непосредственно на поле или лугу. Хотя в комментариях локация напрямую не названы, они очевидны: «Рядышком идём, траву рвём и паём (Васильевка Пртз. Прм.) [СС КШ, 2003, с. 94].

Практически все обряды позднего лета и осени связаны с главнейшей в это время локацией – полем. Обрядовые песни данного времени – жнивные – исполнялись непосредственно на поле: «От мы жнём и паём, и жнём, и песни этыя паём. <...> На поле... я одна жну» (Многоудобное Шкт. Прм.) [Там же]. Приуроченные к сезону песни, чаще всего лирические, исполнялись во время отдыха или по пути на работу и домой, например: «Снопы вязали, а потом шли уже домой ехать, ету песню пели» (с. Васьково Прмшл. Кмр.; АТМ НГК, аудиофонд, ПМ В. Ф. Похабова, ед. хр. 12.629, А27).

Встречаются комментарии, где объединены несколько из перечисленных выше видов локаций. Например, исполняемая на поле, во время работы, «толокчанская» песня могла затем прозвучать и внутри жилища: «Когда толокчали, бывало, як единолично жили, назьмы вазили⁷... Мужуки сабираются, коней запрягают, друг

⁷ Вывозили навоз на поля в качестве удобрения, обычно после уборки урожая.

другу помогают. Девушки или женщины молодые идут трасти сразу на поля⁸ – там и песни поют. А потом, вечером уже, управляются, за стол садятся, хазяева праготовьють. Потом и за столом поют. Вот эта толокá – такая песня» (Тайга Знм. Омск.; Арх. ОмГПУ, МАГ-1/1973, № 7).

Важнейшими для календарных песен являются *персональный* и *акциональный* коды, о чем свидетельствует частота их появления в высказываниях исполнителей. Как правило, они встречаются совместно: информант сообщает, какая половозрастная группа населения участвует в обряде или пении (дети, мужики, бабы, девки и пр.), и, кроме того, поясняет, какие действия указанная группа совершает до, во время или после исполнения календарной песни.

Летний период сезона. Перед Троицей в предпраздничных хлопотах участвовали практически все жители села или деревни. Заготовить молодые деревья и другие растения для украшения подворья мог любой человек: «А кто мог. Топорик взяла, пошла, отрубила штуки четыре и поставила, сколь тебе надо» (Камышинка Кшт. Нвсб.) [Дайнеко, 2016а, с. 90]. Существуют единичные свидетельства, что сибирские белорусы топили троицкие деревца в реке в день праздника [Фурсова, 2003, с. 33]. Чаще информанты рассказывали, что через некоторое время засохшие растения принято было жечь либо выбрасывать за пределы подворья или поселения.

Группа парней выполняла особую функцию в подготовке к празднику – они мастерили на месте гуляний качели: «...На Троицу хлопцы делали загодёи (заранее. – Т. Д.), за два, за три дни качели, и ужо деўки собираются и на качелях на тых [качаютя]» (Петропавловка Мсл. Нвсб.) [Дайнеко, 2018, с. 133]. Такие части обрядового комплекса Троицы, как выход в лес или на берег реки, разведение там костров и ритуальная трапеза, а также и пение песен различных жанров, тоже носили массовый характер: «Ой, як Троица – стольки народу! В лес идуть... Одна толпа идёт домой, другая – идти в лес. И парни, и деўки, вси подряд шли» (Петропавловка Мсл. Нвсб.) [Там же]; «...Ходили в лес, там сабирались такими группками: и маладыя, взрослыя и паменьше каторыя. Возли рэчки асбинна хадили. Кастры разводили, жарили сало», «Агни ложили, рыбу ловили, уху варыли, выпивали, песни пели, хто какия можа...» (Фроловка, Сергеевка Пртз. Прм.) [СС КШ, 2003, с. 91]. Центральные же элементы праздничного троицкого комплекса: сплетание ветвей березы, ее украшение, а также плетение венков на голову – выполняли девушки с пением соответствующих обрядовых песен: «На берёзках завивали, помню, венки. Завязывают вот два сўка..., и потом уже, няделя пройдёт, надо их развить. А то, говорили всё, если их не разовьёшь, то будут русалки кататься на етых качелях», «Возле речки там венки завивали, пускали вянки» (Колбаса Кшт. Нвсб.) [Дайнеко, 2016б, с. 68]. Троицкие гуляния молодежи продолжались порой до утра: «Ну а парни же вместе гуляют с девками, на Троицу вечёрки были до самого свету, придем уже светло домой, а вечером уходим» (Тайга Знм. Омск.; Арх. ОмГПУ, Маг-1/1996, № 15).

Обрядовые действия дня Ивана Купалы во многом схожи с троицкими: массовые гуляния (даже несколькими поселениями), особая роль молодежи в них, проведение ритуалов, связанных с водой и растительностью. Гуляния с ритуальными действиями и песнями могли происходить в поле в ночь накануне праздника: «...Мы жили в Чегенах, а Покровка от нас девять километров. И на половине дороги мы должны сойтись. <...> Там они с гармошкой, факелы зажгут, намотают

⁸ Равномерно разбрасывать навоз по вспаханному полю.

смолой да всё, чтоб горели. Высоко поднимают... <...> Ну а там пляшем да поем, а тада уже расходимся, те домой и мы домой. <...> ...Молодежь вот так вот хадила» (Тайга Знм. Омск.; Арх. ОмГПУ, Маг-1/1996, № 14); или сначала в деревне, а затем в лесу: «Вот колесо сломается, там была такая вся смолистая [древесина], ...[сначала] по деревне ходили с етым. <...> ...Бабы ходили, носили кругом это... А потом: “Колесницу, мол, пойдём поджигать”. И в лес – там поджигали» (Новоягодное Знм. Омск.; Арх. ОмГПУ, Маг-1/1996, № 43). Важной ритуальной акцией купальской ночи было прыгание через костер, что сопровождалось обрядовыми песнями: «На Ивана Купала / Через огонь скакала» (Голубовка Сдлн. Омск.; Арх. ОмГПУ, Маг-1/1980, № 5). В комментарии исполнителя раскрывается и другой элемент, который мог присутствовать в данной обрядовой ситуации, – ряжение: «И опять, и опять, а то из диток кто-нибудь нарядится, шубу вывернут, [задом] напёрт: “Ведьма, – кажут, – ведьма”» (Там же).

В сам Иванов день совершались обряды, связанные с ритуальным деревцем: его срубали и украшали цветами девушки, затем в деревне вокруг него пели, играли и плясали, а под вечер несли к реке топить: «...пають уже на мосту и пляшуть... тады уже ў рэчку кидають, и плыветь уже эта Купайлица» (Соколовка Чгв. Прм.) [СС КШ, 2003, с. 93]. Девушки во время гуляния сплетали венки, которые также бросали в реку, гадая таким способом о будущем: «который поплыве и застряня – та уже замуж выйдя», «чей вянок... на дно пал – значит памрешь в этом году» [Там же].

Купания в реке и прочих водоемах в этот день считались благоприятными, более того, во многих местах расселения сибирских белорусов до Иванова дня купаться было запрещено. Наиболее живучим оказался один из центральных содержательных элементов праздника – обливание водой. В прошлом это было обрядовым действием, которое совершали все слои населения независимо от возраста – для благополучной жизни, а также ради вызывания дождя в нужное время; затем (примерно со второй половины XX в.), потеряв свой ритуальный подтекст, обливания стали развлечением, в основном детским: «Только знали, что Иван Купала. Бегали ребятишки, обливались водой, и всё» (Колбаса Кшт. Нвсб.) [Дайнеко, 2016б, с. 68]. До наших дней сохранилась и традиция совершать в ночь на Ивана Купалу шуточные бесчинства: «бегают, детвора, то на дорогу набросают всякого ломья, не проехать потом машинам, то дрова поразбрасывают» (Крутиха Кшт. Нвсб.; ПМ Т. В. Дайнеко, 2017 г.).

Сельскохозяйственные работы в день Ивана Купала не запрещались – это была пора сенокоса: «сено подойдя – метали, а не подойдя – отдыхали» (Нвсб.) [Фурсова, 2003, с. 61]. В то же время и после праздника летние молодежные собрания с пением и танцами не прекращались: «Сено там косишь или что, придешь – устанешь: “Ну всё... я никуда не пойду”. Где-то там гармошка пикнула в краю деревни – всё, собираешься и пошёл. Такие вечаринки были» (Тайга Знм. Омск.; Арх. ОмГПУ, Маг-1/1996, № 19).

К троичким и купальским обрядам были приурочены хороводные песни: «особенно на Троицу водили хороводы», «на Троицу всё пели хороводские песни» (Колбаса Кшт. Нвсб.) [Дайнеко, 2016б, с. 68], «водили хороводы. У нас хороводы не только на Троицу водили, но и всегда в праздники» (Ивановка Брлс. Крсн.) [Семик и Троица..., 2012, с. 83].

В рассматриваемый период по необходимости совершались обрядовые акции по вызыванию дождя. Некоторые способы были под силу одному человеку: «Вот у вдовы раньше еты крынки, горшки глиняные, [которые] вывешивали на колья,

чтобы просушивались, прожаривались, вот [их] крадут у этой вдове и в речку бросают, чтоб дощ пошёл» (Колбаса Кшт. Нвсб.) [Дайнеко, 2016б, с. 68], другие же требовали согласованных действий определенной группы населения. Так, три вдовы должны были трижды «перепахать речку» по мелководу плугом, впрягшись в него: «Ну, один дяржить [плуг], а двое тянуть. Тут етыя хохочуть. Которые купаются, которые на берягу сидят. <...> Любые [женщины] сидели, а вдовы пахали» [Дайнеко, 2016б, с. 69].

Позднелетне-осенний период сезона контрастирует с летним и в проявлении акционального и персонального кодов. Как уже отмечалось, единственная доминанта данного периода – уборка урожая. Сложность и напряженность труда, необходимость быстро завершить все работы обуславливают отсутствие праздников. Практически все обрядовые акции второй части связаны с жатвой, а ведущая роль в их совершении переходит ко взрослому населению, в некоторых случаях – к отдельным его группам, имеющим особый статус. Основная тяжесть жатвы ложилась на взрослых женщин. Так, начинать жнивные работы должна была вдова (но не старуха), совершая при этом особые ритуальные действия и произнося приговоры: «Я маладая ўдова была и всегда начинала жать... Вот пшаница. В пучок сделаешь несколько каласов, тут и свяжишь этыя каласы, а там траву усю парвеш, штоб травы не было. И кладешь кусочек хлеба памежду этих каласов. А патом нажинаю первый сноп. Кажу: “Стой, сноп, на сто коп, хоть адин сноп – на год хлеба, хоть сто коп – на год хлеба”» (Харитоновка Шкт. Прм.) [СС КШ, 2003, с. 94]. В некоторых местах расселения белорусов первый пучок колосьев отмечали другим способом: «– Зажинали рожь, жмеечку отжали и на икону понесли повешали. – В этот же день, да? – Да, як зажнешь рожь» (Ларионовка Знм. Омск.; Арх. ОмГПУ, Маг-3/1996, № 27). Чтобы сохранить здоровье на протяжении трудной работы, в начале жатвы выполнялись особые обрядовые акции: «Она уже, ета, атажнёт прашку (небольшой пучок колосьев. – Т. Д.), свяжет так вот, падвяжеться (т. е. заткнет этот пучок за пояс. – Т. Д.) и жнёт. И всем атажнёт па жменьке, штобы все падвязались, штоб паясница не балела» (Преображенка Ачн. Крсн.; АТМ НГК, аудиофонд, ПМ В. Ф. Похабова, ед. хр. 12.629, В16). Обрядовые жнивные песни звучали практически постоянно во время работы в поле: «И я сама пела, и все бабы так пели» (Михайловка Сдлн. Омск.; Арх. ОмГПУ, Маг-2/1980, № 38).

Окончание жатвы отмечено особыми обрядовыми акциями и песнями, которые также исполняли женщины. Последний несжатый пучок оставляли на поле «Иллю на бараду» – «завивали бороду», особым образом скручивая колосья (Сokolовка Чгв. Прм.) [СС КШ, 2003, с. 94]; «Рожь там кидали, как остается, говорят, что борода. Хлеб, соль кидали. Звязывали рожь, колосья так крутили, штоб [в] горстку, хлеб там [оставался] и рожь. Всё, дажали» (Ларионовка Знм. Омск.; Арх. ОмГПУ, Маг-3/1996, № 21). Есть сообщения информантов об элементах праздничных обрядов: «Последний сноп... па-асобаму сабирают, у вас, у нас [по пучку от каждой семьи]. Свяжут... и аткрывають гуляние в поле», «пели, плясали, и этот сноп носили», а затем перемещали его в деревню (Фроловка Пртз. Прм.) [СС КШ, 2003, с. 94].

Реальный код. В обрядовых ситуациях годового календарного круга часто важную роль играют определенные предметы. В своих комментариях исполнители обычно называют их и указывают, как именно они включены в обряд, а если последний сопровождается календарной песней, то обозначают и момент пения, в который следует производить с предметом какие-либо действия.

В летнем периоде летне-осеннего сезона – и в троицком, и в купальском праздничных комплексах – в качестве обрядовых реалий выступают срезанные растения: трава и цветы, ветки кустарников или деревьев (березы или клена), молодые деревца, которые в некоторых традициях сибирских белорусов называли «май». С одной стороны, они фигурируют в обрядовых действиях сами по себе, например, в украшении подворья. С другой – из них изготавливаются важнейшие обрядовые элементы, которые становятся маркерами данного праздника: «май» – на Троицу, «эльце» – на Купало, венки – в обоих случаях. Кроме того, некоторые из растений, приобретая после праздника особую «силу», используются позже и в других обрядовых ситуациях жизненного цикла. Так, высушенную траву из украшения дома на Троицу хранили, из года в год пополняя запасы, чтобы в нужный момент использовать ее в похоронном обряде: «Могла хоть сколь лязгать. <...> Чтобы када покойник помрэ, ету самую траву – у подушку. ...И подушку – под галаву [покойнику] клали» (Петропавловка Мсл. Нвсб.) [Дайнеко, 2018, с. 133]. Среди обрядовых реалий Троицы следует еще назвать качели и блюда ритуальной трапезы, такие как «яишня», жареное сало, уха. В купальской обрядности, кроме реалий из растений, большую роль играет костер, а также огонь в иных предметных формах – факелы и горящее колесо.

Обрядовые реалии позднелетне-осеннего периода немногочисленны, а их вид определяется единственной целью – благополучной уборкой злаковых культур: это снопы, пучки колосьев, которые могли быть завиты в «бороду», хлеб и соль.

Вербальный код. Семантическая нагрузка народной терминологии столь значительна, что практически каждую единицу этого «словаря» можно считать «свернутым текстом» [Архипенко, 2009, с. 439]. Приведем лишь некоторые примеры того, как вербальный код сочетается с другими кодами, стягивая и вбирая их в себя. Троица, Иван Купала, Купала, Купалка, Петров день, Пётр – номинации праздников и одновременно определенных точек в годовом круге; «Сёмуха» – то же, кроме того, это название и отдельного дня, и всей «седьмой недели по Пасхе» (Останинка Свр. Нвсб.) [Фурсова, 2003, с. 31]. В обозначении «травяной праздник» (Соколовка Чгв. Прм.) [СС КШ, 2003, с. 91] сочетаются вербальный, темпоральный, акциональный и реальный коды, то же наблюдается в номинациях срубленного молодого дерева – «май», «Купайла / Купайлица», «эльце». По несколько кодов содержится в афористичных приговорах: «Петровка – голодовка», «На Иван Купала что сделал – то пропало». А в коротком слове «жнивó», пожалуй, свернуты вообще все обрядовые коды второго периода летне-осеннего сезона.

Жанры обрядовых песен могут быть выражены с помощью существительных и прилагательных: «купала», «купалка», «купалкина песня», «жниво», «жнивная», а могут не иметь самостоятельных названий и обозначаться описательным образом. Например, троицкая песня именуется в соответствии с обрядовым предметом и связанным с ним действием: «И песни тожа пели такая ж самы, как вянки завивать» (Колбаса Кшт. Нвсб.) [Дайнеко, 2016б, с. 68]. Особенно часто через акциональный код обозначается жанровая принадлежность песен позднелетне-осеннего периода сезона – и обрядовых: «як жали», «як начинали жать», «как дажинали», и приуроченных к обряду или сезону: «эта уж кагда обмолотят, ещё вот приготавлиются, как ищё закончилась работа и эту песню поют» (Тайга Знм. Омск.; Арх. ОмГПУ, Маг-1/1973, № 4).

Вербальный код проявляется и в виде высказываний носителей традиции о музыкальных явлениях: одном или нескольких средствах музыкального языка какой-либо песни, а также об особенностях певческого стиля. Например: «На Петра

пели всякие песни проголо́сные» (Ермаки Вкл. Тюм.)⁹, «Жнуть и поють, там уже сильно так не тянуть, патихоньку бурчать», «А их можна и так петь [вне работы]. И па аднаму можна, и несколько, ище й лучше» (Харитоновка Шкт. Прм.) [СС КШ, 2003, с. 94].

Выводы

Проведенное сравнение по обрядовым кодам позволяет выделить характерные черты каждого из двух периодов летне-осеннего сезона. В первом – летнем – периоде главную роль играют праздничные фольклорно-этнографические комплексы (меньшую – троичный, большую – купальский). Праздничные дни имеют четкую привязку в годовом круге (Троица – через семь недель от Пасхи), некоторые – даже конкретную дату (Иван Купала). Праздничные ритуалы, а также и другие действия этого времени совершаются в разнообразных локациях внутри поселения и за его пределами (улица, «точок», луг, лес, река, поле). Одна часть подготовительных и обрядовых действий носит массовый характер (например, гуляния), другая – принадлежит отдельным группам населения (строят качели парни, завивают венки девки, вызывают дождь вдовы и т. д.), большую роль играют дети и молодежь. Ряд обрядовых реалий весьма разнообразен, то же можно сказать и о народной терминологии первой части сезона.

Единый фольклорно-этнографический комплекс второго периода сезона – позднего лета и осени – можно назвать сезонно-трудовым, с обрядовыми и частично праздничными вкраплениями. Всё в этот период подчинено одной цели – уборке зерновых, что и определяет характер проявления обрядовых кодов. Темпоральный код выражается через описание видов земледельческих работ, без указания точной их даты. Основное значение имеет одна локация – поле. Все обрядовые акции связаны с трудом, ведущую роль в них играет взрослое население, в основном женщины, а также группы, имеющие особый статус (например, вдовы на зажинках). Реальный ряд отличается немногочисленностью и однонаправленностью – в нем представлено только то, что связано со злаками. Вербальный код весьма аскетичен в самостоятельных проявлениях («жнивó»), чаще всего он выступает в слиянии с акциональным.

Итак, летне-осенний сезон календарного цикла белорусов-переселенцев Сибири и Дальнего Востока имеет свою специфику: хотя в двух его периодах, как и в метропольной традиции, отражены «сквозные земледельческие культы солнца, растений, полевых духов» [Можейко, 1985, с. 38], они контрастируют друг с другом по характеру проявления обрядовых кодов. Такой контраст, по мнению З. Я. Можейко, заложен в архитектонике годового календарного круга, где чередуются периоды с преобладанием обрядовых действий и карнавализации (в летне-осеннем сезоне это собственно лето и особенно купальский комплекс) и периоды с преобладанием «песенных высказываний» в процессе труда (жатва) [Там же, с. 39].

Список сокращений географических названий

Новосибирская область (Нвсб.)

Кшт. – Кыштовский район

Мсл. – Маслянинский район

Свр. – Северный район

⁹ Песенная жемчужина Тюменской области: компакт-диск... (см. сноску № 6).

Омская область (Омск.)

Знм. – Знаменский район

Трс. – Тарский район

Сдлн. – Седельниковский район

Тюменская область (Тюм.)

Вкл. – Викуловский район

Красноярский край (Крсн.)

Ачн. – Ачинский район

Брлс. – Бирилюсский район

Кемеровская область (Кмр.)

Прмшл. – Промышленновский район

Приморский край (Прм.)

Чгв. – Чугуевский район

Шкт. – Шкотовский район

Пртз. – Партизанский район

Список литературы

Архипенко Н. А. Традиции и новации в обрядности и терминологии донского календаря // Проблемы истории, филологии и культуры. 2009. № 1 (23). С. 438–445.

Дайнеко Т. В. Записки из Петропавловки: по результатам экспедиции 2016 г. в Маслянинский район Новосибирской области // Языки и фольклор коренных народов Сибири. 2018. № 2 (вып. 36). С. 128–136. DOI 10.25205/2312-6337-2018-2-128-136

Дайнеко Т. В. Календарные обряды и песни села Камышинка (материалы экспедиции 2016 г.) // Языки и фольклор коренных народов Сибири. 2016а. № 2 (вып. 31). С. 128–136.

Дайнеко Т. В. Фольклорные традиции села Колбаса: основные вехи народного календаря (по воспоминаниям Евы Ивановны Павлюковой) // Языки и фольклор коренных народов Сибири. 2016б. № 2 (вып. 31). С. 63–70.

Дайнеко Т. В., Леонова Н. В. Календарные песни белорусов Сибири и Дальнего Востока: жанровый состав // Сибирский филологический журнал. 2019. № 2. С. 27–38. DOI 10.17223/18137083/67/3

Исмагилова Е. И. Исполнительские комментарии как источник информации о музыкальном фольклоре народов Сибири // Вестник муз. науки. 2013. № 1. С. 24–29.

Можейко З. Я. Календарно-песенная культура Белоруссии: Опыт системно-типологического исследования. Минск: Наука и техника, 1985. 247 с.

Ойноткинова Н. Р. Культурно-семиотические коды календарной обрядности южных алтайцев // Сибирский филологический журнал. 2016. № 4. С. 5–18. DOI 10.17223/18137083/57/1

Пашина О. А. Календарно-песенный цикл у восточных славян. СПб.: Композитор – Санкт-Петербург, 2006. 280 с.

Семика и Троица в народной культуре Приенисейской Сибири: Фольклорно-этнографические материалы. Семантика обрядовых действий / Сост. Н. А. Новосёлова. Красноярск: ГЦНТ; Класс Плюс, 2012. 212 с.

Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов: XIX – начало XX в. М.: Наука, 1979. 288 с.

СС КШ – Семёнова И. В., Семёнов О. В. Карагод широкий: Календарно-обрядовые песни переселенцев Суражского, Новозыбковского, Стародубского уездов Черниговской губернии в Приморье. Владивосток, 2003. 125 с.

Толстой Н. И. Вторичная функция обрядового символа // Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М.: Индрик, 1995а. С. 167–184.

Толстой Н. И. Из «грамматики» славянских обрядов // Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М.: Индрик, 1995б. С. 63–77.

Традиционный фольклор Тюменской области: репертуарный сборник / Авт.-сост. Л. В. Дёмина. Тюмень: Титул, 2013. 164 с.

Фурсова Е. Ф. Календарные обычаи и обряды восточнославянских народов Новосибирской области как результат межэтнического взаимодействия (конец XIX – XX в.). Новосибирск: Агро, 2003. Ч. 2: Обычаи и обряды летне-осеннего периода. 268 с.

Чичеров В. И. Зимний период русского народного земледельческого календаря XVI–XIX вв. (Очерки по истории народных верований). М.: Изд-во АН СССР, 1957. 236 с.

Шахов П. С. Мордовский календарно-обрядовый фольклорно-этнографический комплекс сибирского бытования (осенне-зимний период) // Сибирский филологический журнал. 2019. № 1. С. 26–39. DOI 10.17223/18137083/66/2

References

Arkhipenko N. A. Traditsii i novatsii v obryadnosti i terminologii donskogo kalendarya [Traditions and innovations in rituals and terminology of the Don calendar]. *Problems of history, philology and culture*. 2009, no. 1 (23), pp. 438–445.

Chicherov V. I. *Zimniy period russkogo narodnogo zemledel'cheskogo kalendarya 16–19 vv.: (Ocherki po istorii narodnykh verovaniy)* [Winter period of the Russian folk agricultural calendar of the 16th–19th centuries: (Essays on the history of folk beliefs)]. Moscow, AN SSSR, 1957, 236 p.

Dayneko T. V. Fol'klornye traditsii sela Kolbasa: osnovnye vekhi narodnogo kalendarya (po vospominaniyam Evy Ivanovny Pavlyukovoy) [Folk traditions of the village of Kolbasa: folk calendar major stages (according to Eva Ivanovna Pavlyukova's memories)]. *Languages and Folklore of Indigenous Peoples of Siberia*. 2016, no. 2 (iss. 31), pp. 63–70.

Dayneko T. V. Kalendarnye obryady i pesni sela Kamyshinka (materialy ekspeditsii 2016 goda) [Calendar Rituals and Songs of Kamyshinka Village (Fieldwork Materials of 2016)]. *Languages and Folklore of Indigenous Peoples of Siberia*. 2016, no. 2 (iss. 31), pp. 85–91.

Dayneko T. V., Leonova N. V. Kalendarnye pesni belorusov Sibiri i Dal'nego Vostoka: zhanrovyy sostav [Belarusian calendar songs of Siberia and the Far East]. *Siberian Journal of Philology*. 2019, no. 2, pp. 27–38. DOI 10.17223/18137083/67/3

Dayneko T. V. Zapiski iz Petropavlovki: po rezul'tatam ekspeditsii 2016 g. v Maslyaninskiy rayon Novosibirskoy oblasti [Notes from Petropavlovka: according to the results of the expedition in 2016 to Maslyaninsky district of Novosibirsk region]. *Languages and Folklore of Indigenous Peoples of Siberia*. 2018, no. 2 (iss. 36), pp. 128–136. DOI 10.25205/2312-6337-2018-2-128-136

Fursova E. F. *Kalendarnye obychai i obryady vostochnoslavjanskikh narodov Novosibirskoy oblasti kak rezul'tat mezhetnicheskogo vzaimodeystviya (konets 19 – 20 v.)*

[Calendar customs and rituals of the East Slavic people of the Novosibirsk region as result of interethnic interaction 16 (end of the 19 – 20th centuries)]. Novosibirsk, Agro, 2003, pt 2: Obychai i obryady letne-osennego perioda [Customs and rituals of the summer and autumn period], 268 p.

Ismagilova E. I. Ispolnitel'skie kommentarii kak istochnik informatsii o muzykal'nom fol'klоре narodov Sibiri [Performer's comments as a source of information about the musical folklore of the peoples of Siberia]. *Journal of Musical Science*. 2013, no. 1, pp. 24–29.

Mozheyko Z. Ya. *Kalendarno-pesennaya kul'tura Belorussii: opyt sistemno-tipologicheskogo issledovaniya* [Calendar-Song Culture of Byelorussia: Experience of a system and typological research]. Minsk, Nauka i tekhnika, 1985, 247 p.

Oynotkinova N. R. Kul'turno-semioticheskie kody kalendarnoy ob-ryadnosti yuzhnykh altaytsev [Cultural and semiotic codes of calendar rituals of the Southern Altaians]. *Siberian Journal of Philology*. 2016, no. 4, pp. 5–18. DOI 10.17223/18137083/57/1

Pashina O. A. *Kalendarno-pesennyi tsikl u vostochnykh slavyan* [Calendar-song cycle among the Eastern Slavs]. St. Petersburg, Kompozitor – St. Petersburg, 2006, 280 p.

Semenova I. V., Semenov O. V. *Karagod shirokiy: Kalendarno-obryadovye pesni pereselentsev Surazhskogo, Novozybkovskogo, Starodubskogo uездov Chernigovskoy gubernii v Primor'e* [Wide Karagod: Calendar-ritual songs by settlers from Surazhsky, Novozybkovsky, Starodubtzevsky Counties of the Chernigov province in Primorye]. Vladivostok, 2003, 125 p.

Semik i Troitsa v narodnoy kul'ture Prieniseyskoy Sibiri: Fol'klorno-etnograficheskie materialy. Semantika obryadovykh deystviy [Semik and Trinity in the national culture of Priyeniseysky Siberia: Folklore and ethnographic materials. Semantics of ceremonial actions]. N. A. Novoselova (Comp.). Krasnoyarsk, GTsNT, Klass Plyus, 2012, 212 p.

Shakhov P. S. Mordovian calendar-ritual folklore-ethnographic complex of Siberian existence (autumn-winter period). *Siberian Journal of Philology*. 2019, no. 1, pp. 26–39. DOI 10.17223/18137083/66/2

Sokolova V. K. *Vesenne-letnie kalendarnye obryady russkikh, ukraintsev i belorussov: 19 – nachalo 20 v.* [Spring-summer calendar rites of Russians, Ukrainians and Belorussians: the 19 – early 20 centuries]. Moscow, Nauka, 1979, 288 p.

Tolstoy N. I. Iz "grammatiki" slavyanskikh obryadov [From the "grammar" of Slavic rituals]. In: *Yazyk i narodnaya kul'tura: Ocherki po slavyanskoy mifologii i etnolingvistike* [Language and folk culture: Essays on Slavic mythology and ethnolinguistics]. Moscow, Indrik, 1995b, pp. 63–77.

Tolstoy N. I. Vtorichnaya funktsiya obryadovogo simvola [The secondary function of the ritual symbol]. In: *Yazyk i narodnaya kul'tura: Ocherki po slavyanskoy mifologii i etnolingvistike* [Language and folk culture: Essays on Slavic mythology and ethnolinguistics]. Moscow, Indrik, 1995a, pp. 167–184.

Traditsionnyy fol'klор Tyumenskoy oblasti: repertuarniy sbornik [The traditional folklore of the Tyumen region: a repertoire collection]. L. V. Demina (Comp.). Tyumen', Titul, 2013, 164 p.

Сведения об авторе

Дайнеко Татьяна Владимировна – младший научный сотрудник сектора фольклора народов Сибири Института филологии Сибирского отделения Российской Академии наук (Новосибирск, Россия)

tan-dai@mail.ru

ORCID 0000-0002-9801-3007

Information about the author

Tatyana V. Dayneko – junior researcher of the Department of Folklore of the Peoples of Siberia at the Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation)

tan-dai@mail.ru

ORCID 0000-0002-9801-3007

УДК 398.22 (=512.3)
DOI 10.17223/18137083/74/2

Мифологический образ хозяина Алтая: функции и семантика

Л. С. Дампилова, Ж. М. Юша

*Институт филологии СО РАН
Новосибирск, Россия*

Аннотация

Рассмотрены функции и семантика, сходства и различия мифологического образа хозяина Алтая в религиозных представлениях и обрядовой культуре тюркских и монгольских народов. Выявлено, что степень сохранения культа Алтая в настоящее время претерпевает определенные изменения в зависимости от ареала проживания того или иного народа. Образ хозяина Алтая имеет схожие мифологические, символические, виртуальные и реальные черты. В большинстве текстов доминирующим в его характере являются функции, олицетворяющие хозяина земли и всего живого на ней, покровителя богатства, божества плодородия, продолжения рода. Исследованы особенности функционирования фольклорных текстов в обрядовой практике, определены устойчивые мотивы ритуальных текстов, адресованные к духу – хозяину Алтая, охарактеризована этническая специфика сакрализации и обожествления алтайского пространства в традициях тюрко-монгольского мира. В ходе анализа вербального материала установлено, что в некоторых случаях со временем первичный денотативный знак теряется или приобретает новую мифологическую версию.

Ключевые слова:

Алтай, обряд, вербальный код, мотив, семантика, Белый старец, тюркские и монгольские народы

Благодарности

Исследование выполнено в рамках проекта Института филологии СО РАН «Культурные универсалии вербальных традиций народов Сибири и Дальнего Востока: фольклор, литература, язык» по гранту Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых (соглашение № 075-15-2019-1884)

Для цитирования

Дампилова Л. С., Юша Ж. М. Мифологический образ хозяина Алтая: функции и семантика // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 24–36. DOI 10.17223/18137083/74/2

© Л. С. Дампилова, Ж. М. Юша, 2021

ISSN 1813-7083
Сибирский филологический журнал. 2021. № 1
Siberian Journal of Philology, 2021, no. 1

The mythological image of the owner of Altai: functions and semantics

L. S. Dampilova, Zh. M. Yusha

*Institute of Philology SB RAS
Novosibirsk, Russian Federation*

Abstract

The paper describes the mythological image of the owner of Altai in the religious beliefs and ritual culture of the Turkic and Mongolian peoples. It has been revealed that the degree of preservation of the Altai cult is currently undergoing certain changes, depending on the area of residence of a particular people. The image of the owner of Altai has similar mythological, symbolic, virtual, and real features in different peoples existing in a single historical and cultural context. In most of the texts, the dominant functions in his character are those that personify the owner of the land and all living things on it, the patron of wealth, the deity of fertility and procreation. He embodies the features of a heavenly divine being and traditional land masters, making him similar to the White Elder from the Mongolian cultural tradition. We have studied the features of the folklore text functioning in ritual practice, considered the ritual text structure, determined the stable motives of ritual texts addressed to the spirit-master of Altai, and characterized the ethnic specifics of the sacralization and deification of the Altai space in the traditions of the Turkic-Mongolian world. It should be noted that ritual and mythological contexts suggest that connotative semantics reveals the ancient origins of the primary denotation with the help of epithets determining the sacred character meaning. The verbal material analysis has revealed that in some cases, the primary denotative sign is lost or acquires a new mythological version over time.

Keywords

Altai, ritual, verbal code, motif, semantics, White Elder, Turkic and Mongolian peoples

Acknowledgments

The work is part of the project of the Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences “Cultural universals of verbal traditions of the peoples of Siberia and the Far East: folklore, literature, language” supported by a grant from the Government of the Russian Federation for the promotion of research conducted under the guidance of leading scientists, contract № 075-15-2019-1884

For citation

Dampilova L. S., Yusha Zh. M. The mythological image of the owner of Altai: functions and semantics. *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 24–36. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/2

Исследование культурных универсалий вербальных традиций Сибири и Дальнего Востока, которое проводится в Институте филологии СО РАН, поставило перед исполнителями задачу изучения и выявления базовых мифологем мифоритуальных традиций на материале тюрко-монгольских народов Саяно-Алтая.

Данная статья посвящена выявлению семиотической функции мифологического персонажа – хозяина Алтая на материале мифологии и обрядовой практики тюрко-монгольских народов, исследованию особенностей функционирования фольклорных текстов в ритуальной практике, определению устойчивых мотивов в обрядовых текстах, адресованных духу – хозяину Алтая, описанию этнической специфики культа Алтая.

В мифологии тюрко-монгольских народов магическая связь с природными объектами как с одушевленными персонажами, пантеистическая связь с небом, матерью-землей, горой, единство со всеми стихийными сущностями являются естественными и гармоничными. Горы, урочища, святилища, связанные с мифами, которые входят в ритуальные обряды, соотношены с определенным положением звезд, солнца, луны, а также с ветром или дождем. Почитаются как мифологические объекты (мировая гора, молочное море), так и реальные географические объекты, куда в первую очередь входят Алтайские горы.

События в мифологическом пространстве происходят в трех мирах, и географический центр, куда тяготеют эти события в тюрко-монгольской мифологии, – ороним Алтай, имеющий статус основного сакрального локуса. Защитная функция знаковых площадей предполагает комплекс мероприятий, которые должны проводиться при соприкосновении с мифологическим пространством, тесно связанным с мифологическим условно-будущим временем.

Надо иметь в виду, что «прежде всего в архаичной модели мира пространство не противопоставлено времени как внешняя форма созерцания внутренней. Вообще применительно к наиболее сакральным ситуациям (а только они и образуют уровень высшей реальности) пространство и время, строго говоря, не отделимы друг от друга, они образуют единый пространственно-временной континуум» [Топоров, 1983, с. 230]. В подобной структуре события разворачиваются в предположительно-воображаемом будущем. В первую очередь сакральное пространство очерчивает владения духа-хозяина, и с этого момента обрядовые действия приобретают мифологическое значение.

Горная система Алтай расположена на обширной площади, куда входят четыре государства: Россия, Монголия, Китай и Казахстан. В зависимости от того, на территории какой страны находятся Алтайские горы, они имеют различное географическое наименование, указывающее на их местоположение: Российский Алтай, Монгольский Алтай, Китайский Алтай и Казахстанский Алтай [Юша, 2018, с. 26].

У тюркских и монгольских народов обнаруживаются схожие мифологические представления о почитании и обожествлении Алтая, о хозяине Алтая, которые в себя комплекс различных культов и верований: дошаманские, шаманистские, бурханистские, буддийские. Этнограф С. П. Тюхтенева отмечает: «Образы почитаемых духов-хозяев конкретных гор, местностей со временем слились в образ земного божества. Сосуществуя ранее с божеством Йерсу, персонажем из мифологии древних тюрков, хозяин Алтая постепенно заменил его» [2009, с. 109]. Однако бытование культа Алтая у тюрко-монгольских народов в настоящее время имеет свои особенности, степень сохранения этого культа в этнических традициях проявляется по-разному, так как его сохранность в первую очередь зависит от места проживания определенного народа. Так, у этносов, населяющих алтайское пространство, до сих пор наблюдается живая традиция почитания и обожествления Алтая, у них достаточно развит и обрядовый комплекс культа Алтая. К таким народам относятся алтайцы, тувинцы Синьцзяна и Цэнгэла, а также монгольские племена – дорбеты, захчины, ойраты, расселенные в Монголии. В отличие от них у российских тувинцев и бурят, проживающих вдали от реальных Алтайских гор, культ Алтая остается в прошлом, у них не наблюдается бытование живой обрядовой практики. Как показывают результаты полевых исследований, у тувинцев и бурят России уже не фиксируются новые материалы, относящиеся к культу Ал-

тая. Однако до сих пор у этих народов в старом фольклорном фонде сохраняются обрядовые тексты, посвященные поклонению Алтаю.

В ритуальной практике алтайцев, тувинцев Синьцзяна и Цэнгэла бытование культа Алтая является живой обрядовой традицией, в которой отражается ритуально-мифологическая составляющая их традиционной культуры. Алтайцы, тувинцы Синьцзяна и Цэнгэла считают, что Алтай имеет своего хозяина – *Алтай ээзи* (алт.), *Алдай ээзи* (тув.). По материалам Н. А. Алексеева, южные алтайцы называли хозяина Алтая *Эээн Ээлу* или *Ульген* [Алексеев, 1980, с. 63]. У алтайцев хозяин Алтая может предстать как в антропоморфном виде (пожилой мужчина или женщина в алтайской одежде белого цвета), так и в зооморфном облике (белый крупный олень, марал), <...> хотя имя *Алтайдын ээзи* постепенно стало заменяться теонимом Алтай Кудай [Тюхтенева, 2009, с. 100–101]. Схожие представления имеются у зарубежных тувинцев, у которых хозяин Алтая «показывается» людям в образе девушки или мужчины, иногда в виде необычного животного: марал с красными копытами, олень с большими ветвистыми рогами и др. Несмотря на то что каждый природный объект (река, гора, озеро) имеет своего духа-хозяина, по народным воззрениям считается, что вся территория Алтайских гор принадлежит хозяину Алтая.

По представлениям тюркских и монгольских народов, проживающих на алтайском пространстве, Алтай является синонимом исторической родины, родовой территории, родной земли и священным местом их поклонения. В ритуальной практике тюркских народов существуют коллективные обряды поклонения Алтаю, которые устраиваются ежегодно в определенное время года. Действие каждого ритуала по времени рассчитано только на год, поскольку он должен повториться через год в то же календарное время. Так, у алтайцев проводятся весенне-летние (*Дьажыл бюр*) и осенние моления (*Сары бюр*) [Тюхтенева, 2009, с. 104; Обрядность..., 2019, с. 49]; у китайских тувинцев – освящение *оваа* в летний период, моления во время встречи Нового года (*Шагаа*). Во время обрядов как индивидуальных, так и коллективных, при совершении акциональных действий участники особое внимание обращают на пространственный код ритуала: горизонтальная (юг, восток, север, запад), вертикальная (Верхний и Средний мир), а также места, имеющие статус повышенной сакральности, где и проводятся моления. Структура обрядов поклонения Алтаю, проводимые тувинцами [Юша, 2012] и алтайцами [Обрядность..., 2019], идентичны; к жертвенной пище предъявляются схожие требования, запреты и предписания [Юша, 2018, с. 138; Обрядность..., 2019, с. 228].

В обрядовом пространстве для поддержания контакта с высшими силами важными средствами являются ритуальные тексты, произносимые их участниками. Вербальный компонент произносится в определенном пространстве, в подходящих для этого условиях и обстановке. Основной функцией *алгыш* (алт.), *чалбарыыр* (кит., тув.) как одного из обязательных вербальных кодов проводимого обряда является поэтическое обращение каждого человека к хозяину Алтая с мольбой и просьбой о помощи, испрашивание милости и покровительства, которое может произноситься про себя или шепотом. По композиционной структуре эти тексты могут состоять из трех смысловых блоков: обращения-восхваления – описания жертвоприношения / угощения – просьбы. Смысловые блоки не имеют строгой последовательности: некоторые из них могут меняться местами или вовсе отсутствовать, но неизменным остается изложение просьбы как основной цели устраиваемых обрядовых действий.

Выявлено, что в фольклорной традиции алтайцев и тувинцев имеются устойчивые поэтические формулы-обращения – неперенные компоненты ритуальных текстов, призванные восхвалять объект почитания: алт. *Байлу, чүмдү Алтайым!* – Священный, прекрасный Алтай мой! [Обрядность..., 2019, с. 70]; *Торко кепту Алтайус* – Шелку подобный, Алтай наш [Там же, с. 220]; *Он кубарлу кеен Алтай!* – С цветными ликами прекрасный Алтай! [Там же, с. 70]; тув. *Бай Алдайым* – Богатый мой Алтай; *Өөрүшкүлүг бай Алдайым* – Дарящий радость мой Алтай; *Айлыг-бестиг Алдайым* – Имеющий сарану-кандык мой Алтай.

У тувинцев Монголии и Китая особая роль отводится и распространенным формульным выражениям, имеющим семантику благодарности и поклонения, воспевающие Алтай как родовую землю. Например, в текстах заклинаний, обращенных к духу-хозяину Алтая, у китайских тувинцев говорится: *Балгажынга байыткан, / Довураанга тодурган бай Алдайым!*.. – Грязью нас обогативший, / Своей землей нас насытивший, богатый мой Алтай!.. Цэнгэльские тувинцы эту же формулу произносят во время моления Монгольскому Алтаю и в новогодних заклинаниях: *Довураанга тодурган, / Балгажынга байыткан бай Алдайым!* – Своей землей нас насытивший, / Грязью нас обогативший, мой богатый Алтай!.. Схожее поэтическое выражение, оформленное одинаково, находим и у алтайцев: *Балкашыла байыткан, / Бай Алтайым, / Тобрагыла тойдырган* – Глиной своей разбогатеть давший, / Богатый Алтай мой, / Землей своей насытивший [Там же, с. 73]. Считаем, что вышеприведенные формулы семантически соответствуют другой устойчивой формуле, бытующей в алтайской традиции в разных вариантах, где сакральный локус Алтая обожествляется как место рождения этих народов, населяющих этот край: *Кинин кескен Алтайыс* – Пуповины наши обрезававший Алтай; *Кабайлап алган Алтайус* / Подобно колыбели, Алтай наш [Там же, с. 57, 215]. И эта позиция, являющаяся основной во всех ритуальных событиях алтайского народа, подтверждается и тем, что Алтай воспринимается в качестве родителей, что передает семантику доверительных отношений и тесную связь между человеком и священной горой: *Эне полгын Алтайым* – Матерью являющийся Алтай мой [Там же, с. 261]; Матерью ставший Алтай наш, / Подобно матери, смотрите / Отцом являющийся Алтай наш, / Подобно отцу, слушайте! [Там же, с. 58].

В алтайских обрядовых текстах, в отличие от тувинских, при обращении к хозяину Алтая используется постоянно повторяющаяся этнопоэтическая константа с семантикой поклонения и почитания, которая «выражается восклицательной формулой *Баш болзын!* – Голову преклоняю! (букв. “Голова пусть будет”» [Там же, с. 53]. Особо следует отметить, что в тувинских и алтайских ритуальных текстах часто содержится подробное или краткое описание подношение дара (жертвоприношения / угощения) духам-хозяевам и, в частности, хозяину Алтая. Это можно объяснить тем, что, во-первых, простой смертный человек ведет «диалог» с могущественными духами; во-вторых, здесь ярко проявляется древний обычай дарообмена, который представлялся «одним из наиболее приемлемых способов общения человека с богами (в основном при помощи дара-жертвы)» [Агапкина, Виноградова, 1994, с. 169].

Обрядовые тексты алтайцев и тувинцев соотносятся с главной идеей ритуала, поэтически интерпретируют ритуальные действия исполнителей. Как отмечает А. К. Байбурун, в обрядовом фольклоре «семантика текста реализуется только в соответствии с ритуалом, понимаемым не в узко синтагматическом смысле, но

шире – как особого рода действительность, описание которой, так или иначе, осуществляется словесной частью ритуала» [Байбурин, 1993, с. 210–211].

В ритуальных текстах тюркских народов, посвященных хозяину Алтая, выделяются различные мотивы, содержащие определенную просьбу. В них отмечены важные функции, присущие хозяину Алтая, характерные для религиозных представлений алтайцев и тувинцев. Обычно хозяин Алтая выступает как податель жизни и души (*тын*) не только человеку, но и «души» скота. Желая получить благодать детей и скота, при молении произносят следующее заклинание с просьбой к духу-хозяину Алтая: тув. *Малым сүзүүн бээр тырт, / Ачы-төлүм сүзүүн бээр тырт!* – Душу скота сюда поверни, / Души моих детей сюда поверни [Юша, 2018, с. 294]; алт. *Алтай кижини Алтай Кудай жастаган... / Алтайца Алтай-Кудай создал...* [Обрядность..., 2019, с. 213]. *Ак малы Алтайга толу өссин, / Албаты-јоны Алтайга толу өссин* – Белый скот, Алтай заполняя, пусть растет, / Народ-люд, Алтай заполняя, пусть растет [Там же, с. 209]. Считается, что благополучие и многочисленность детей, сохранность и увеличение поголовья скота, а также долголетие, здоровье и удача человека зависят от благосклонности хозяина Алтая: тув. *Мал башы менди болсун! / Уруг-тары менди болсун!* – Поголовье скота в сохранности пусть будет! / Дети благополучны пусть будут!; *Малдан бай кыл! Ачы-үрени өнер кыл!* – Богатым скотом сделай! Многодетными нас сделай!; *Узун чаш бер, / Удаан чыргал бер* – Долголетия дай, / Нескончаемое благоденствие дай; алт. *Ак малыбыс амыр турзын!* – Белый скот наш мирно пусть стоит! [Там же, с. 66]; *Азыраган малы көп болзын!* – Скота много пусть будет!; *Балабарка су-кадык болсын!* – Дети-внуки здоровыми пусть будут!; *Су-кадык үлештир!* – Здоровье подели! [Там же, с. 71–72].

Верят, что хозяин Алтая охраняет своих «подданных» от всяких напастей и скверны, поэтому, рассчитывая на его благорасположение и помощь, обращаются к нему: тув. *Бак чүвени адырып, / Эки чүвени делгереди бер / Хай бачытты арыдып бер* – Плохое отводя, / Хорошее приумножай, / От беды-несчастья очисти; *Адыл-малды менди кыл, / Ачы-үрени менди кыл!* – Скот сохрани, / Детей сохрани! [Юша, 2018, с. 294]; алт. *Јаман неме јапшынбасын, / Кара неме айланбасын* – Плохое пусть не примкнет, / Черное пусть не кружится! [Обрядность..., 2019, с. 72]; *Албатым амыр јатсын!* – Народ мой мирно пусть живет!; *Амыр-энчү биске бер!* – Мир-покой нам дай! [Там же, с. 70–72].

В обрядовых текстах обнаруживаются просьбы к хозяину Алтая «воздействовать» на атмосферные явления и предотвратить возможные природные катаклизмы: тув. *Чаашкын-бораан бо чылын элбек болсун!* – Дождь-ненастье в этом году обильным пусть будет!; алт. *Алтай јеристи силкибесин, / Алтай јерүс јемирилбесин, / Алтай јерис күйбесин, / Сууга алдыртып, чайык чыкпасын...* – Алтай-землю нашу пусть не трясет, / Алтай-земля наша пусть не рушится, / Алтай-земля наша пусть не горит, / Наводнение случившись, потопа пусть не будет... [Обрядность..., 2019, с. 214]. В произносимых ритуальных текстах большое значение имеет и своеобразный мотив дороги, который употребляется в значении «счастливая жизнь, благополучие, достаток, удача, успех»: алт. *Алдыста јолдо буудак јок болсын* – Впереди в дороге преград пусть не будет; *Јолыбыс ырысту болсын* – Дорога наша счастливой путь будет [Там же, с. 67]; тув. *Орууѳус ажык болзун* – Дорога наша открытой пусть будет.

Встречаются тексты, в которых обращаются к хозяину Алтая для решения насущных проблем, характерных для современной действительности. Например, просят, чтобы люди берегли окружающую природу и перестали к ней относиться

хищнически: *Агаи-таиты чеверлеп жүрсин, / Анды-куиты анаарла кырбасын – Дерево-камни пусть берегут, / Зверей-птиц безмерно пусть не истребляют* [Обрядность..., 2019, с. 214]; воздерживались от распития алкогольных напитков: *Албаты-жон аракы-чегенге кирбесин – Народ-люди аракы-чегенем пусть не увлекается* [Там же, с. 212].

В промысловой культуре алтайцев и тувинцев, по их мифологическим представлениям, звери являются собственностью хозяйки тайги / хозяина Алтая. Охотники, промышлявшие в тайге, первым делом устраивали обряды умиловивления и обращались к духу-хозяину с просьбой наделить их добычей. Они верили, что успех на охоте зависит не только от умений и мастерства охотников, но и от доброго отношения духа-эззи. У китайских тувинцев имеются представления о том, что *Алтай эззи* имеет своих любимых зверей, на которых он любит ездить верхом, и он наделяет их необычной внешностью, таким образом предупреждая охотников о запрете охоты на них (зап. от Кенже, 33 лет, учитель музыки, тувинец из рода хойук, Синьцзян-Уйгурский автономный район, КНР. Соб. Ж. М. Юша).

В народной традиции прочно закрепилось представление, что хозяин Алтая наблюдает за жизнью людей, находящихся на его владениях, награждает или наказывает их за несоответствующее поведение, за нарушение ими определенных правил и запретов. В связи с этим у алтайцев и тувинцев в фольклорных нарративах часто подробно описываются наказания провинившихся людей не только хозяином Алтая, но и другими духами-хозяевами. Существуют поверья и запреты, которые необходимо соблюдать, чтобы не нарушить гармонию взаимоотношений со сверхъестественными существами и не впасть «в немилость» различных духов-хозяев.

По итогам полевых работ последних лет можно отметить, что среди российских тувинцев, в отличие от зарубежных, утрачена мифологическая семантика культа Алтая, носители традиции не понимают сакральности алтайского пространства. В обрядовых текстах, хотя реальные топонимы Тувы применяются довольно часто, упоминание топонима Алтай встречается в единичных текстах. Например, так звучит благопожелание: *Алдай-Таңдым кезишимге, / Аңы-меңи айлыг болзун – По Алтай-тайге когда буду ездить, / Зверей пусть будет много*. Таким образом, приведенные материалы свидетельствуют об отсутствии представлений о сакрализации Алтая в наши дни у российских тувинцев, видимо, в прошлом значимого культа в их религиозных представлениях.

По мифологии монгольских народов, сакральный Алтай имеет одного главного хозяина и тринадцать духов (*савдак*) тринадцати вершин алтайских гор. Хозяином Алтая называют основного духа, спустившегося с небес на главную вершину, а остальных духов называют *савдаками* перевалов, *обо* и разных вершин. По представлению современных информантов, духи-*савдаки* существуют в виде эфемерных существ, в народе бытуют разные варианты легенд об их поведении: «Вокруг много *савдаков*, у каждого свой родовой, семейный *савдак*, бывают и для всего селения. Зимой они отдыхают, просыпаются по весне, к ним надо относиться с великим почтением, в положенное время угощать и задабривать. Обижать нельзя, если *савдак* рассердится, может убить» (зап. от Эрдэнэбаяр, 39 лет, врач, хори-бурятка, шаманка, Тосонцэнгэл, Хубсугульский аймак, Монголия. Соб. Л. С. Дампилова, 2011 г.). Местные жители приводят множество примеров, кого и за что наказал рассерженный дух – хозяин местности.

В бурятских обрядовых текстах трафаретными являются формульные выражения с обращениями к хозяевам гор Алтая и Хухея. В более поздних буддийских обрядовых текстах разные монгольские племена, населяющие алтайское пространство, ритуал начинают с обращения к Алтаю как высшему буддийскому божеству: «Алтай хаан богд».

В бурятских шаманских устных повествованиях, в родословных преданиях Алтай обозначается как прародина некоторых бурятских родов, так, например, род *галзут*, переселился в Предбайкалье во времена войн западно-монгольских и халхаских ханов (первая половина XVII в.). Считается, что они принесли свой «большой кузнечный корень» *‘дархан ехэ утхаяа’* от «семи Божонтоевых кузнецов» *‘Божонтойн долоон дархан’* с южных склонов Алтая [Балдаев, 1970, с. 290–291, 296]. В пантеоне небожителей особое место занимают кузнечные божества, от которых происходят кузнечные роды. Одной из распространенных легенд о происхождении первых кузнецов на земле являются рассказы о спуске кузнечных божеств с небес на Саянские и Алтайские горы.

Монгольские племена, проживающие на территории Алтая, проводят специальные обряды, посвященные хозяину Алтай хану. Захчины почитают *обо* в первый день белого месяца и называют обряд: «Воскурение Алтаю» *‘Алтайд хинишуу өргөх’*. Во время обряда на *обо* алтайские урянхайцы поют протяжные песни, посвященные своей прародине: «Трижды объезжаемый большой Алтай» *‘Гурвалжсан их Алтай’*, «Четырежды объезжаемый большой Алтай» *‘Дурвэлжэн их Алтай’*, «Счастьем полный Алтай» *‘Жаргал ихтэй Алтай’*, «Богатый Алтай», «Баян Алтай» [Эрдэнэболд, 2012, с. 40]. Кроме того, ими возводятся специальные курильницы, называемые «Тринадцать курильниц Алтая» *Алтайн 13 сан*. По мнению монгольского ученого С. Дулама, 13 *обо* и 13 жертвенных курильниц связаны с культом почитания Атаа тэнгэр [Дулам, 1999, с. 181–182]. Здесь можно предположить, что мифологическая основа обряда восходит к древнему дошаманистическому культу поклонения Небу. В монгольских исторических сочинениях о священной горе наблюдаем исходный денотат «Да пребудут вечно курильницы Алтай хана» *‘Алтай ханы сан оршивой’*. В буддийско-шаманских обрядовых текстах наблюдается трансформация формульного выражения, введение нового эпитета к образу хозяина Алтая: «Да пребудут вечно тринадцать курильниц Алтай богд» *‘Арван гурван Алтайн богдын сан оршив’*. Обратим внимание, что имя мифологического героя дополняется эпитетом «святой, священный» *богд*, он получает высокий статус служителя тибетского буддизма.

В монгольских и бурятских обрядовых текстах в первую очередь упоминают хозяина Алтая и далее по сакральной значимости следующие объекты: «Алтай хан, Богд Алаг уул, Эрчим, Эмил, Бор тал, Или мать, / Заботьтесь обо мне» *‘Алтай хан, Богд Алаг уул, Эрчим, Эмил, Бор тал, Или эхлэн / Намай асарч хайрлаач’* [Эрдэнэболд, 2012, с. 33]. По мифологической версии, хозяина Алтая в данном случае величают ханом, и его статус приравнивается к небожителям.

В каждой локальной традиции образ хозяина Алтая имеет разные воплощения. Алтайские монголы обращались к хозяину Алтая с призыванием: «Богатый седой снежный Алтай мой» *‘Баян буурал цаст Алтай минь’* [Там же, с. 39]. В этом обращении образ хозяина горы, хотя и близок к образу Белого старца, имеет двойственный характер, если эпитеты *богатый* и *седой* открывают его антропоморфную суть, то *снежный* как бы показывает его природные данные, что приближает его к эфемерным мифологическим духам.

В местной традиции в зависимости от существующих легенд может меняться и гендерный код главного героя. Хучиты почитали девицу Аля как хозяйку Алтая: «Хозяйка Алтая, / Аля прекрасная, / Вернулась на Алтайские снежные / Белые вершины» *‘Алтайн эзэн / Алиа хонгор / Алтайн цастын / Цагаан ууланд харив’* [Монгол ардын баатарлаг тууль, 1982, с. 39].

В следующем тексте алтайских урянхайцев эпитет к Алтаю *заягч* обозначает судьбу. Данное определение явно восходит к именам божеств шаманского пантеона, например, существует небожитель «*Заяан сагаан тэнгри*», решающий судьбы людей: «С белым шелковым потником / Алтай заягч мой, / Пятью стихиями владея, помилуй!» *‘Цагаан торгон дэвсгэртэй / Алтай заягч минь / Таван махбодийг минь эзлэн хайрла!’* [Ринчен, 2013, с. 75]. По мнению Н. Л. Жуковской, в этом слове «заложена определенная сакральность, имеется в виду благодать, предопределенная Небесами, судьбой, абстрактным неантропоморфным началом, распорядителем судеб как отдельных лиц, так и всего народа в целом [1988а, с. 87].

Алтайский урянхайский шаман Зарага призывает хозяина Алтая как бога-покровителя, владеющего судьбой человека: «Светлую свечу возжигая, / Чистым можжевеловым очищаемый, / С чистым молоком подношением, / Со светлосерым конем, / С белым шелковым потником / Алтай заягч мой, / Пятью стихиями моими владея, помилуй!» *‘Ариун зул өргөлгөтэй, / Ариун Мангийн арц сантай, / Ариун сүү сацалтай, / Цагаан бор хөлөгтэй, / Цагаан торгон дэвсгэртэй / Алтай заягч минь, / Таван махбодийг минь эзлэн хайрла!’* [Ринчен, 2013, с. 75]. В материалах Б. Ринчена, собранных с 1927 по 1963 г. в Монголии, хозяином Алтая у алтайских урянхайцев является древнее божество, сохранившее шаманские истоки наравне с буддийскими нововведениями. В современных исследованиях Л. Эрдэнэболда те же алтайские урянхайцы могут почитать и хозяйку Алтая: «Хозяйкой Алтайских гор по представлению местных жителей, была женщина. Этой древней традиции до сих пор придерживаются алтайские урянхайцы» [2012, с. 39]. Так что и в одной традиции со временем хозяин Алтая может менять свой мифологический образ и статус.

Хозяин Алтая в обрядовых текстах зачастую изображается в антропоморфном виде. Западные монголы считали, что Белый Старец – хозяин Алтая живет на самой вершине горы, покровительствуя животным и людям, управляя силами природы [Монгол улсын..., 1996, с. 328]. Мифологическая версия Белого Старца в монгольской традиции имеет древние корни: в шаманской мифологии он был хозяином земли, о чем пишет А. Мостэр [Mostaert, 1957]. Исследователи монгольского мира (В. Хайссиг [Heissig, 1973] и др.), анализируя обрядовые события и упоминаемых мифологических персонажей, выделяют как значимый образ хозяина земли Белого Старца. Н. Л. Жуковская предполагает, что Белый Старец выполняет функции «мифологического партнера земли-матушки Итуген (Ульген) <...> как покровитель долголетия, богатства, счастья, семейного благополучия» [1988б, с. 611]. Культ Белого Старца перешел в буддийскую мифологию с новой легендой и более котируется как покровитель зверей и живых существ.

В наши дни среди тюркских народов образ Белого Старца присутствует у тувинцев Китая, проживающих в Синьцзяне на территории Китайского Алтая. У них мифологический образ хозяина Алтая со временем начинает претерпевать изменения, на его смену постепенно приходит культ Белого Старца – Ак-Огбена (вар. Сагаан-Огбен), который совмещает в себе те же функции, которые приписываются хозяину Алтая. Возможно, на появление этого образа у китайских тувин-

цев повлияла не только буддийская религия, но и тесные культурно-исторические связи и длительное проживание тувинцев с монгольскими народами.

Тувинцы описывают Белого Старца как пожилого человека огромного роста, седобородого старца, едзящего на белом воле. Во владении Ак-Огбена находится вся территория Китайского Алтая, он является хозяином всей земли и всего, что находится на ней: природных объектов, скота, зверей; он является покровителем скота и людей, которым дарит счастье, процветание и благополучие. По представлениям тувинцев, Ак-Огбен в плане иерархии выше всех духов – хозяев рек, озер, местностей и др., что может говорить об изменениях в мифологической системе в сторону монотеизма. Роль Белого Старца отмечается и в ритуальных практиках тувинцев. Так, по народным воззрениям, во время коллективных календарных ритуалов к ним «приходит» Белый Старец: *Сагаан-Өгбен Шагаада бир келир, оваа дагыырда кый деп аап, ангаа чем берип турар чуве...* – Сагаан-Огбен на Шагаа один раз приходит, на освящение обо также призывают его, подносят ему еду-пищу...; *Шагааанын биринчи кун апаргаи байлынга төштүң бажын өрттөдүүр, чемниң дээжиси дээр бис. Ол апарганывыс Алдай ээзинге чем апарган деп ынчаар* – В первый день *Шагаа* на *байлын* приносим грудинку барана и сжигаем там, лучшую еду приносим духу – хозяину Алтая [Юша, 2017]. Как видим из этих примеров, важной обязанностью людей при смене сезонов является угощение духа – хозяина Алтая лучшей едой, подношение ему яств при проведении обрядов. Кроме того, у китайских тувинцев бытует поверье, что в новогодние дни Ак-Огбен ездит на своем воле и посещает все жилища, находящиеся в его владениях. Тувинцы верят, что его могут увидеть только избранные люди. В отличие от тувинцев Китая, у остального тюркского мира, включая российских тувинцев, отсутствуют представления о Белом Старце.

Таким образом, в ходе анализа обрядовых и фольклорных материалов тюрко-монгольских народов, связанных с алтайским пространством, установлен семиотический статус мифологического героя, хозяина Алтая. Выявлено, что степень сохранения культа Алтая в настоящее время претерпевает определенные изменения в зависимости от ареала проживания того или иного народа. У алтайцев, тувинцев Монголии и Китая, а также у монгольских народов, проживающих в Монголии, сохраняется культ Алтая в живой обрядовой традиции. У российских тувинцев Алтай упоминается как топоним в редких обрядовых текстах, у бурят – в эпических и шаманских формулах, в настоящее время в обеих традициях не наблюдается традиции почитания Алтая.

У разных народов, существующих в едином историко-культурном контексте, образ хозяина Алтая имеет схожие мифологические, символические, виртуальные и реальные черты. Образ предстает в антропоморфном виде белым старцем, богатырем на коне, девицей игривой, женщиной, эфемерным, невидимым духом, сливающимся с образом горы. В большинстве текстов доминирующим в его характере являются именно функции, олицетворяющие хозяина земли и всего живого на ней, покровителя богатства, божества плодородия, продолжения рода. Он воплощает в себе черты небесного божественного существа и традиционных земных хозяев местности, что сближает его с Белым Старцем из монгольской культурной традиции. Исследованы особенности функционирования фольклорных текстов в обрядовой практике этнических традиций, показана структура обрядовых текстов, определены устойчивые мотивы ритуальных текстов, адресованные к духу – хозяину Алтая, охарактеризована этническая специфика сакрализации и обожествления алтайского пространства в традициях тюрко-монгольского мира. Необходи-

димо констатировать и то, что обрядово-мифологические контексты позволяют предположить, что коннотативная семантика раскрывает древние истоки первичного денотата при помощи эпитетов, определяющих значение сакрального персонажа. В ходе анализа вербального материала установлено, что со временем первичный денотативный знак теряется или приобретает новую мифологическую версию.

Список литературы

- Агапкина Т. А., Виноградова Л. Н.* Благопожелание: Ритуал и текст // Славянский и балканский фольклор: Верования. Текст. Ритуал. М.: Наука, 1994. С. 168–208.
- Алексеев Н. А.* Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск: Наука, 1980. 318 с.
- Байбуриин А. К.* Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб.: Наука, 1993. 237 с.
- Балдаев С. П.* Родословные предания и легенды бурят. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1970. Ч. 1. 364 с.
- Жуковская Н. Л.* Категории и символы традиционной культуры монголов. М.: Наука, 1988а. 198 с.
- Жуковская Н. Л.* Цаган Эбуген // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. С. А. Токарев. М.: Сов. энциклопедия, 1988б. Т. 2: К – Я. С. 611.
- Обрядность в традиционной культуре алтайцев: Коллективная монография / Ин-т алтаистики им. С. С. Суразакова; ред. Н. В. Екеев, Е. Н. Кузьмина и др. Горно-Алтайск, 2019. 704 с.
- Топоров В. Н.* Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М.: Наука, 1983. С. 227–284.
- Тюхтенева С. П.* Земля. Вода. Хан-Алтай. Этническая культура алтайцев с XX в. Элиста: КалмГУ, 2009. 169 с.
- Эрдэнэболд Л.* Традиционные верования ойрат-монголов (конец XIX – начало XX в.). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2012. 196 с.
- Юша Ж. М.* Фольклор тувинцев Китая и Монголии (по результатам комплексной экспедиции 2011 г.). // Сибирский филологический журнал. 2012. № 3. С. 24–29.
- Юша Ж. М.* Тувинцы Китая в XXI веке: вехи истории и современное состояние // Новые исследования Тувы. 2017. № 1. URL: <https://nit.tuva.asia/nit/article/view/699> (дата обращения 20.09.2020).
- Юша Ж. М.* Фольклор и обряд тувинцев Китая в начале XXI века: Структура. Семантика. Прагматика. Новосибирск: Наука, Изд-во СО РАН, 2018. 400 с.
- Дулам С.* Монгол бэлгэдэл зүй. 1 дэвтэр. Улаанбаатар: Хэвлэлийн «Тоонот-принт ХХК-д хэвлэл», 1999. 206 х.
- Монгол ардын баатарлаг тууль. Улаанбаатар: Улсын хэвлэлийн газар, 1982. 166 х.
- Монгол улсын угсаатны зүй, 2-р боть. Улаанбаатар, 1996. 204 х.
- Ринчен Б.* Монгол бөөгийн дуудалга. Улаанбаатар: Зохиогчийн зөвшөөрөлгүй эвлэл, 2013. 300 х.
- Heissig W.* Les religions de la Mongolie // Tucci Or., Heissig W. Les religions du Tibet et de la Mongolie. Paris: Payot, 1973. P. 340–490.
- Mostaert A.* Note sur le culte du Vieillard blanc chez les Ordos // Studia Altaica. Festschrift für Nik. Poppe. Wiesbaden, 1957. P. 108–117.

References

- Agapkina T. A., Vinogradova L. N. Blagopozhelanie: Ritual i tekst [Good wishes: Ritual and text]. In: *Slavyanskiy i balkanskiy fol'klor: Verovaniya. Tekst. Ritual* [Slavic and Balkan folklore: Beliefs. Text. The ritual]. Moscow, Nauka, 1994, pp. 168–208.
- Alekseev N. A. *Rannie formy religii tyurkoyazichnih narodov Sibiri* [Early forms of religion of the Turkic speaking peoples of Siberia]. Novosibirsk, Nauka, 1980, 318 p.
- Baldaev S. P. *Rodoslovnye predaniya i legendy burjat* [Pedigrees and legends of the Buryats]. Ulan-Ude, Buryat. Publ. House, 1970, pt. 1, 364 p.
- Bayburin A. K. *Ritual v traditsionnoy kul'ture. Strukturno-semanticheskiy analiz vostochnoslavyanskikh obryadov* [Ritual in traditional culture. Structural and semantic analysis of East Slavic rites]. St. Petersburg, Nauka, 1993, 237 p.
- Dulam S. *Mongol belgedel ziy. 1 devter*. Ulaanbaatar, Hevlelin "Toonotprint" XXX-d hevlel", 1999, 206 p.
- Erdenebold L. *Traditsionnye verovaniya oyrat-mongolov (konets 19 – nachalo 20 v.)* [Traditional beliefs of the Oirat Mongols (late 19th – early 20th centuries)]. Ulan-Ude, BSC SB RAS Publ., 2012. 196 p.
- Heissig W. Les religions de la Mongolie. In: Tucci Or., Heissig W. *Les religions du Tibet et de la Mongolie*. Paris, Payot, 1973, pp. 340–490.
- Mongol ardyn baatarlag tuul'*. Ulaanbaatar, Ulsyn hevleliyn gazar, 1982, 166 p.
- Mongol ulsyn ugsaatny ziy, 2-r bot'*. Ulaanbaatar, 1996, 204 p.
- Mostaert A. Note sur le culte du Vieillard blanc ches les Ordos. In: *Studia Altaica. Festschrift für Nik. Poppe*. Wiesbaden, 1957, pp. 108–117.
- Obryadnost' v traditsionnoi kul'ture altaitsev: Kollektivnaya monografiya* [Ritual in the traditional culture of the Altaians. Collective monograph]. N. V. Ekeev, E. N. Kuz'mina (Eds). Gorno-Altaysk, S. S. Surazakov Scientific-Research Institute of Altaistics, 2019, 704 p.
- Rinchen B. *Mongol boogiyn duudalga*. Ulaanbaatar, Zohiogchiyn zovshoorolgiy evlel, 2013, 300 p.
- Toporov V. N. Prostranstvo i tekst [Space and text]. In: *Tekst: semantika i struktura* [Text: semantics and structure]. Moscow, Nauka, 1983, pp. 227–284.
- Tyuhteneva S. P. *Zemlya. Voda. Han-Altay. Etnicheskaya kul'tura altaytsev v 20 v.* [Earth. Water. Khan-Altay. Ethnic culture of the Altaians since the 20th century]. Elista, Kalmsu, 2009, 169 p.
- Yusha Zh. M. *Fol'klor i obryad tuvintsev Kitaya v nachale 21 veka: Struktura. Semantika. Pragmatika* [Folklore and ritual of the Tuvans of China at the beginning of the 21st century: Structure. Semantics. Pragmatics]. Novosibirsk, Nauka, SB RAS Publ., 2018, 400 p.
- Yusha Zh. M. Fol'klor tuvintsev Kitaya i Mongolii (po rezul'tatam kompleksnoi ekspeditsii 2011 g.) [Folklore of the Tuvans of China and Mongolia (based on the results of a comprehensive expedition in 2011)]. *Siberian Journal of Philology*. 2012, no. 3, pp. 24–29.
- Yusha Zh. M. Tuvintsey Kitaya v 21 veke: vekhi istorii i sovremennoe sostoyanie [Tuvinians of China in the 21st century: milestones of history and the current state]. 2017, no. 1. URL: <https://nit.tuva.asia/nit/article/view/699> (accessed: 20.09.2020).
- Zhukovskaya N. L. *Kategorii i simvol'y traditsionnoy kul'tury mongolov* [The categories and the symbols of traditional culture of the Mongols]. Moscow, Nauka, 1988a, 198 p.

Zhukovskaya N. L. Tsagan Ebugen [White Ebugen]. In: *Mify narodov mira: enciklopediya* [Myths of the peoples of the world: Encyclopedia: In 2 vols]. S. A. Tokarev (Ed. in ch.). Moscow, Sov. entsikl., 1988, p. 611.

Сведения об авторах

Дампилова Людмила Санжибоевна – доктор филологических наук, доцент, заведующая лабораторией вербальных культур народов Сибири и Дальнего Востока Института филологии СО РАН (Новосибирск, Россия)

dampilova_luda@rambler.ru
ORCID 0000-0003-0917-5432
WoS ID U-3608-2019

Юша Жанна Монгеевна – доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории вербальных культур народов Сибири и Дальнего Востока Института филологии СО РАН (Новосибирск, Россия)

zhanna-yusha@yandex.ru
ORCID 0000-0002-4076-4553
WoS ID K-2110-2017, AAM-9856-2020

Information about the authors

Lyudmila S. Dampilova – Doctor of Philology, Assistant Professor, Head of the Laboratory of Siberian and the Far Eastern Verbal Cultures, Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation)

dampilova_luda@rambler.ru
ORCID 0000-0003-0917-5432
WoS ID U-3608-2019

Zhanna M. Yusha – Doctor of Philology, Leading Researcher of the Laboratory of Siberian and the Far Eastern Verbal Cultures, Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation)

zhanna-yusha@yandex.ru
ORCID 0000-0002-4076-4553
WoS ID K-2110-2017, AAM-9856-2020

УДК 82.3 (2Рос=Баш: 63.5(2Рос.Баш)
DOI 10.17223/18137083/74/3

Материнство и девичество в башкирской мифологии и обрядовом фольклоре: истоки, трансформации

Р. А. Султангареева

*Уфимский федеральный исследовательский центр РАН
Уфа, Россия*

Аннотация

Реконструируются мифоритуальные особенности культов материнства и девичества, истоки и их составляющие. Концепты жизненной силы отца (*ата кото*), святости матери (*инэ*) и материнского молока (*инэ һөтө*), плодovitости (*тул*), девственности (*кызлык*) исследованы в значении их сакральной чистоты, структурирующей мифы, обряды, верования, этикетные меры, целительные акты, сюжеты и образы в фольклорных жанрах.

Единство священных *кот* (*кут*) и *һөт* (*хөт*) маркирует источник рождения демиурга, также высокий статус женщин в эпосе «Урал-батыр». Молоко (питие) предвзвывает появление нового Рода (эпос «Кара-юрга»), купание в нем оживляет (сказки, предания), питье санкционирует родство, переход в новый статус (свадебный, родильный обряды), оздоровление (целительные акты); культ плодородия (*тул*) маркирует обычаи заплучения семени батыра чужого рода, идейную основу пожеланий невесте.

Жестокие наказания «нечистой» невесты, пытки за супружеские измены, избегания действуют в качестве правовых мер защиты женской чистоты – родового достоинства. Ценностность девственности – залога здорового материнства и потомства награждается обрядовыми дарами: за брачное ложе (*кыз хақы*), матери (*инэ хақы*) невесты.

Ключевые слова

материнство, девичество, сакральная чистота, культ, миф, ритуал, обряд, свадебный фольклор, статус, невеста

Для цитирования

Султангареева Р. А. Материнство и девичество в башкирской мифологии и обрядовом фольклоре: истоки, трансформации // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 37–50. DOI 10.17223/18137083/74/3

Motherhood and maidenhood in Bashkir mythology and folklore: roots and transformation

R. A. Sultangareeva

*Ufa Federal Research Centre RAS
Ufa, Russian Federation*

Abstract

The paper reviews the origins, mythological features of the cults of motherhood and maidenhood, covering the concepts of the holiness of a mother and mother's milk, life force of a fa-

© Р. А. Султангареева, 2021

ISSN 1813-7083
Сибирский филологический журнал. 2021. № 1
Siberian Journal of Philology, 2021, no. 1

ther, fertility, virginity. These significant cultural units are united by the idea of sacred purity serving as a background for structuring myths, rites, beliefs, etiquette measures, healing acts, as well as plots and figurative treatments in folklore genres. The sacred “kot” (power, the seed of life) and “het” (milk) mark the primordial moral principles in the birth of a strong Batyr-demiurge and women of high status in the “Ural-Batyr” epic, while the evil and deceit (the image of Shulgen) are akin to the desecration of mother’s milk. The astral symbolism of milk reveals a particular archaic character of the original tradition associated with celestial moisture, rain, the appearance of the Milky Way constellation. The archetype of the fertility cult goes back to the tradition of obtaining the seed by the Batyr (three marriages of Ural Batyr). The categories of fertility and virginity are transformed, defining the dominant images of wedding folklore (wishing well-being to the bride). Virginity, the main sign of a woman’s personal viability and prosperous future, is fully protected through rewards and punishment. Ritual rewards included the tradition of offering a fee for the marriage bed, virginity of the bride, giving presents to the bride’s mother and daughters-in-law. The complex of sacralization of motherhood, virginity, and their components opens up a value database of socio-anthropological, ethnopsychological studies of man and his nature.

Keywords

motherhood, maidenhood, sacral purity, cult, myth, ritual, wedding folklore, status, bride

For citation

Sultangareeva R. A. Motherhood and maidenhood in Bashkir mythology and folklore: roots and transformation. *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 37–50. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/3

Высшее почитание Матери и девственности-девичества являются одними из самых устойчивых концептов, получивших разнообразное отображение как в мифах, ритуалах, так и в эпическом, сказочном, легендарном, песенном, обрядовом, паремическом фольклоре башкир.

Как части изначальной традиции эти культы сохранили компоненты сакральной чистоты как самостоятельной субстанции. В дальнейшей эволюции культовое знание формирует этикетные, обрядовые, целительные акты, реалии, пранормы жизневедения в человеческом сообществе. Жизнетворная магия сакрально чистой женщины и реалии экологического мышления предопределили единство, неделимость индивидуума с Природой и ее законами. Традиционное почитание Женщины и Природы, связанное с материнским, производительным началом, запечатлено в мифологии, фольклоре, обрядовых комплексах, проявляется в ритуализации явлений древности, имеющих место в культуре почти всех народов: культ материнства (статус рожениц, сакрализация молока, обережение беременной, а также родства), девственности (инициации невесты, дев-воительниц, изоляция в брачном домике, первая ночь невесты, традиции платы за девственность и т. д.).

В башкирской эпике (как и в «Авесте») выделены культ жизненной силы отца (*ата кот*) и святости материнского молока (*инэ һөтө*). Эти самостоятельные субстанции и символы мужского и женского начал вбирают идеи продолжения достойного рода и преемственности поколений. Семантика молока как носителя души и достойных качеств запечатлена в эпосе «Урал-батыр». Так, в целях приобретения новой производительной силы (*тул*) и укрепления родовых устоев героя женят на достойной красавице Гулистан, которая «От батыра силу жизни (*кут-кот*) взяла, От богатырши молоко (*хэм-һөт*) всосала» (БХИ, 1998, б. 64). В тюркской мифологии *кут* и *хөт* обобщают основные житнетворные идеи, акцентируют

священность кровнородственных уз и силу человека, преданного заветам предков, родителей. Хумай провожает сына на помощь к его отцу Уралу, говоря:

Атаң һинә кот биргән, Әсәһиңә һөт биргән (БНЭ, 1977, с. 49).	Отец твой дал <i>кут</i> – силу жизни, Мать дала молоко свое.
--	--

Һин – атаңдан кот йыйған, Һин – әсәйзән һөт имгән (БНЭ, 1977, с. 133).	Ты от отца силу взял, Ты от матери молоко всосал.
--	--

Отречение Шульгена от нравственных устоев, затем его предательство сродни отвержению святости материнского молока. Урал, развенчивая и осуждая злостные деяния своего брата, упоминает об осквернении материнского молока:

Атам йөзөн ят иттең, Әсәм һөтөн ыу иттең. (БХИ, 1978, б. 109).	Облик отца тебе чуждым стал, Молоко матери в отраву превратил.
--	---

Материнское молоко – священное, божественное средство, применяется в актах укрепления кровного родства и родственности, улаживании отношений. В сюжете легенды-сказки типа АТ 782 юноша, обреченный на смерть после бритья волос рогатого хана, остается жив, так как поделился с ханом лепешкой, приготовленной на молоке своей матери. По жанру это произведение либо предание, либо сказка. Легенда связана с иррациональностью. Совместное поедание пищи способствует установлению родственных уз. Молоко свидетельствует о кровном родстве сына и матери, встретившихся после долгой разлуки. Так, в одном из вариантов эпоса «Заятуляк и Хыухылу» герой узнает в престарелой женщине свою мать, когда у той при виде сына начинает сочиться из груди молоко [Нәзершина, 1992, б. 14].

В ритуале усыновления чужого ребенка основной акцент связан с молоком: должно состояться испытание или сосание, либо дитя должно коснуться рукой груди женщины-кормилицы, только после этого он (чужой) мог считаться приемным сыном¹.

В связи «мать – молоко» выделяется семантика магического питания, подразумевающего умилоствление тотема-праматери. Так, в башкирском эпосе «Кара юрга» («Черный иноходец») *егет*, чтобы конь ему «отдал суженую», похищенную невесту, уговаривает его: «Буду поить тебя кобыльим молоком, юргам!» (БХИ, 1978, б. 399). Примечательно, что молоко кобылицы (равно тигрицы, драконтины, подземной саврасой кобылы в казахских сказках), дарующей жизнь и плодovitость, содержит идеи обновления, умилоствления коня, а также прибавления новых сил – в данном случае Кара юрги, обладающей чудесными качествами за короткое время преодолевать большие расстояния («Еще прыжок – и я на острове, джигит», «Второй прыжок – перелетел через ледяное море и очутился на острове») (БХИ, 1978, б. 399). Молоко здесь вбирает мотив связи хтонического (ледяное море) и астрального миров, символику перемещения сторон света (ледяное море связывает астральные символы времени и символику небесной живительной влаги).

¹ Записано автором в 2005 г. от А. С. Галлямовой (1925 г. р.) в дер. Ташбулатово Самарской области РФ. Далее использованы записи автора.

Купание в молоке – традиционный акт перерождения, проводит идею омоложения (обмана смерти) и зачастую действует в волшебных сказках (в календарно-астральном осмыслении купание в молоке символизирует переход из одного цикла в другой и начало нового этапа). В кипящем молоке вначале купается положительный сказочный герой, узнавший тайну купания от помощника, и выходит невредимым. Злобный и коварный, нырнув в молоко (символ времени, суда, новой жизни), сваривается, а положительный герой превращается в красивого егета-батыра или исцеляется. В сказке «Алтын кауырһын» («Золотое перо») егет проходит испытание – ныряет в кипящее молоко, затем в котел с водой и благодаря громкому ржанию, дыханию его коня выходит невредимым и красивым (БХИ, 1978, б. 186). Так, в сакральном комплексе соединены культы коня (представитель небесной сферы, предок, тотем, посредник двух миров), стихий живительной воды и магии возрождающего молока. Аналогичные функции смены внешности героя для новой жизни выполняет молоко в испытании женихов [Добровольская, 2009, с. 179]. Процессы испития, купания, причащений, обрызгиваний и т. д. акцентируют в фольклоре ритуальную символику, особое значение и ценность молока как производной Матери и культа воспроизводства. В мифологии тюрков мотив рождения в новом качестве героя традиционно передается через вкушение молока матери [Традиционное мировоззрение..., 1988, с. 133].

Особый интерес в выявлении архетипических истоков мифологии молока представляют верования тюрков о *Суткатын* («Молочной женщине»), согласно которым довольно прозрачны идеи связи и идентификации Великой Матери с живительной влагой, водой, прежде всего с молоком. Так, у кумыков *Суткатын* – пери, дух леса, к ней обращались для вызывания дождя, как и туркмены к *Суткатын* (Сюйт-катын) [Ганеева, 1988, с. 22]. Реалии архаичного божества – «богини плодородия» – осмысливаются в образах *Сус-хотин* у узбеков, таджиков, покровительницы женщин святой *Сут-падишахим* у уйгуров [Кондыбай, 2008, с. 156]. Аналогии этим традициям имеются и в среде башкир: возле озера Калды, что в Челябинской области, стояло каменное изваяние (*һынташ*), по представлениям народа, сочащее молоко. Этот символ обожествленной женщины-матери сохраняет архаические мотивы [Нэзершина, 2006, б. 163]. Животворящее молоко материализовано в камне, как в символе крепости, плодородности и небесной влаги. Видимо, возле камня башкиры проводили ритуалы вызывания дождя, просили благ и урожая. Известно, что такие камни, называемые «ядаташ» и обряды иницирования дождя возле них («избиение», хлестание камня, обмазывание после дождя маслом, произнесение пожеланий, круговые хождения и т. д.) были традиционны в быту катаяских башкир (БНТ, 2010, с. 156).

Материнское молоко осмысливается как высший судья и святая субстанция, оно сильнее ценности самой матери. В башкирской пословице *Инә каргышы төшөр ине, инә һөтөбәрмәй* («Проклятие матери пало бы, да молоко матери не пускает») молоко обобщает понятия великой любви, веры и предназначения матери, несомнимых с ненавистью или обидой на собственное дитя. По этимологической версии, наконец, на фоне обобщения таковых реалий проецируется семантика слова *катын* ‘женщина’, происхождение которого связано с молоком – *сут*, у башкир: *һөт* (*хатын-хотин*) *катын* (*хөт* + *ин* -*катын*), транслируя замысел *һөт инәһе* (мать, хозяйка молока).

В мифологии молоко символизирует небесную живительную влагу (дождь, туман), а созвездие Млечный путь связывается с образом женщины-матери в изначальной ее идентификации с живительным питанием, а значит, рождением

и жизнью. В памяти усерганцев сохранилось предание этиологического характера. «Илек (Косуля) родила косуленка. Только тот всосал первое молоко, появился волк. Для того чтобы защитить дитя от зверя, косуля вначале бросилась на волка, а затем повернулась в другую сторону, чтобы хищник погнался за ней. Долго волк гнался за косулей. Только хотел догнать и схватить, та высоко прыгнула на небо. С тех пор та светлая полоса на небе называется “Аккош юлы” (Млечный путь), а звезды – это капли молока несчастной косули»².

Использование молока в охранных целях (от сглаза, порчи вытирают тело больного ребенка смоченной в молоке матери шерстью и т. д.), целительных действиях (капают в глаза, нос дитя, при краснухе обтирают тело) согласуется с мотивами укрепления жизненных сил и нового рождения. Согласно сказочным сюжетам, лебединое молоко исцеляет царя, а героиню сказки «Хылыубика и Яркай» исцеляет от тяжелого недуга молоко волчицы, медведицы и львицы [Хусаинова, 2014, с. 125].

Переходная семантика молока, трансформированная от первородных значений перерождения, рождения, ритуализирована в свадебном фольклоре. Обряд *инэ һөтө эсереу* ‘испитие молока матери’ совершается во время прощания невесты с домом отца. Название ритуала сохраняет условность, дань традициям магических представлений: вместо молока матери невесте давали воду, молоко коровы, айран, называя это *инэ һөтө*.

Балам, инэ һөтө эс,	Пей, дитя мое, молоко матери,
Башын минэн эстең.	Начало (молоко) от меня всосала,
Актыгын да минэн эс!	И последнее от меня испей!
	(из моих рук бери!) ³

Напиток маркирует окончательный разрыв с прежним местом, домом, переход знаковой границы во имя нового рождения [Султангареева, 2006, с. 166].

Сакральность молока неразрывно связана с понятием о непорочности. Отголоски представлений о могучих обережных свойствах молока сохранены в мифологических рассказах, согласно которым молоко непорочной женщины (честной, ведущей порядочный образ жизни) исцеляет лишай, гонит сглаз, спасает человека даже от смертельного укуса ядовитой Белой змеи (БНТ, 2010, с. 115). Таким образом, в мифологии молоко идентифицируется с прообразом сакрально чистой Матери – прародительницы, покровительницы.

В контексте культа матери (мать-«матица» – начало рождения) образ Природы читается как многоярусный мир (небесный, земной, подводный, подземный), основные сферы которого имеют семантику производительного (детородного) и материнского (*инэ*) значений. Жизнетворная (материнская) суть этих сфер всегда передается словом *инэ* ‘мать’: *Һауа инэ(-һе)* ‘Воздух-мать’, *Ер инэ(-һе)* ‘Мать-земля’, «*Күк инэ(-һе)*» ‘Мать-небо’. Слово *мәте* ‘мокрая красная глина’ согласуется с религиозным мифом о происхождении человека из красной глины и капли воды. На наш взгляд, слово *Мать* как изначальное лоно и место рождения человека, восходит к мифу о чадородной красной глине (*мәте*).

Костяные статуи беременных женщин эпохи верхнего палеолита – предметы культового поклонения многих народов. Обнаруживаемые на территории Урала такие артефакты – это материальные свидетельства могучего культа Матери, ма-

² Записано в 2011 г. от А. М. Усмановой, 1930 г. р. в с. Акъяр Хайбуллинского р-на РБ.

³ Записано в 1992 г. от Н. Кутуевой, 1910 г. р. в с. Шыгай Белорецкого р-на РБ.

теринского начала, следы которого сохраняются и в современности. По свидетельству информаторов, фигурки беременных женщин (деревянные куклы с выпуклостями) закапывали или устанавливали на засеянное поле⁴. Обычай относится к магии плодородия.

Искони природа почитается как живая благодаря своей родо-жизнепроизводящей сути и идентифицируется с Женщиной-матерью. Гармония жизни природы связывается с образом и поведением благополучной женщины, девственниц, вышедших замуж и родивших детей. Пренебрежение законами природы, нарушение ее целостности (ломание веток без надобности, чрезмерная рубка деревьев, убийство священных животных, птиц (лебедя, журавля, ласточки), осквернение могил провидцев (авлий), божеств Земли-Воды (*Ер-һыу*) чреваты лишением покровительства Природы. В случаях нарушения запретов прогнозируются рождение «неразговаривающего» дитя или «с заячьей губой», мучения в тяжелых родовых схватках, а застреливший лебедя лишается семьи и рода, набравший воду на закате солнца становится виновником появления в семье болезней и т. д. (БНТ, 2010, с. 119–123).

Мать – основное лицо, обеспечивающее сохранение, силу и продолжение рода, плодородия (*түл*). *Түл* – культовая сила, символ жизни, рода, соединяет понятия «производительность», «плодовитость», «семья жизни» и сосредоточен в половых органах животного, также передает сексуальные инстинкты женщины для продолжения рода (*түл кыстау*). *Түл* существует как самостоятельная материальная субстанция; бездетная женщина, желающая иметь дитя, садилась на послед роженицы, надевала ее платье и т. д. Вырезали половые органы забитого самца, племенного быка или коня, сушили и, растерев в порошок, сыпали на посевное поле, скотный двор, хлев или привязывали на рога животного. Этот ритуал завязывания «узелка плодородия» (*түл төймө*) совершается в эпосе «Акхак-кола» (БХИ, 1998, б. 332). Сила и мощь *түл* зависит от его владельца, хозяина. В сказках, легендах запечатлены архаичные традиции полона батыров в целях заполнения их родопроизводительной мощи (*түл алыу*). Семантически обычаи «угощения женой» в целях оставления чужому роду *түл* (семья). Мифологический архетип этого обычая запечатлен в эпосе «Урал-батыр». После того, как Урал освобождает людей от рабства, побеждает быка и батыров злобного Катила-царя, по уговорам акакалов герой первый раз женится на его дочери и через несколько дней уезжает, справив свадьбу (БХИ, 1998, б. 54), второй раз женится на Гулистан, вновь по наставлению старцев, следующих законам предков по сохранению силы и благополучия Рода:

Ил батыры – батырзан Батыр ирзэн тыуар ул Был кыз батырзан кот йэйгән Батырға эсә булыр ул, тигәс, Урал тыңлаған, Гөлестанды алған, ти (БХИ, 1998, б. 65).	Батыр страны – от батыра, Мужчины батыра родится он. «Эта дева из рода батыра, И батыру матерью станет она». Так Урал внял этим словам, На Гулистан женился он.
---	--

⁴ Записано в 2000 г. от Р. Бикбулатовой, 1950 г. р. в с. Трубный Сосновского р-на Челябинской области РФ.

Все брачные союзы эпического героя мотивированы заботой родового коллектива об обретении батыра-защитника для следующего поколения: *Батырзан батыр тыуганда, Атаһындай булганда Илдэ гөмөр итэр ул* (БХИ, 1998, б. 64). В этой связи оценка брачных союзов Урала с позиций благородства [Надршина, 2009, с. 344] не раскрывает семантику событий. Глубинные замыслы эпических браков связаны с архаичными традициями *тул алыу* ‘заполучения семени’ *кут* могучего батыра.

Женщина – носительница и воспроизводительница Рода, и она предназначалась для его продолжения. Отсюда особая устойчивость идей культа плодородия в свадебном фольклоре: в первые же моменты наступания на землю в стороне мужа (входа в класс женщин) невестке даются наказы во имя *тул арттырыу* – увеличения родопродуктивности. В благопожеланиях материнство фольклоризируется и декларируется как идеологического уровня ценность для общины. Невестке даются знания не только о ценности матери, но и материнства:

Бүлле, бүлле, бүлле бул ⁵ ,	Рожай и размножайся,
Бүзэнэлэй түлле бул,	Как перепелка, будь плодovитой,
Һайыскандан һак бул,	Будь осторожнее сороки,
Йомортканан пак бул!	Будь белее яйца!

Многokратные повторы слова *тул*: *Түлле, түлле, түлле бул!* ‘Будь плодovоной, плодovоной, плодovоной!’ семантически в своей магической функции.

Мотив деторождения особо устойчив в пожеланиях, действует как условие для жизнедеятельности невестки. Отсюда гиперболическое нагнетание идей плодородия и материнства:

Ай затап,	Каждый месяц рожай,
Йыл да тап,	Каждый год рожай,
Йыбанмаһан,	Коль не лень –
Көн дә тап!	Каждый день рожай! ⁶

Высокий статус Матери обозначен в обязательных одариваниях и обхаживаниях роженицы (в течение недели – десяти дней соседи приходили с гостинцами, пирогами и дарами для молодой матери). В честь роженицы и дитя проводились именные коллективные трапезы *тулгак сәйе* ‘чай схваток’, *бәпәй туйы* ‘свадьба дитя’, *бәпәй ебе* ‘нить дитя’. Коллективная помощь роженице в сакральный 40-дневный срок, одновременные почитания и избегания ее (боялись обидеть, не исполнить ее желания) маркируют статус молодой матери как домашнего божества. Показательно, что роженица считалась второстепенной матерью по сравнению с повивальной бабкой (*кендекәй, кендексе, кендек инәй*). Повивальную бабку звали *оло әсәй* ‘старшая мать’, ее благословление, воспитание, дары, советы приравнивались к покровительству предков. В сакрализации *кендек инәйе* акцентировалось почитание в ее лице земного ангела-хранителя и Праматери одновременно. В народном этикете до последнего времени бытовали традиции одаривания принимавших роды – повитух ⁷. Принявшая на свет более семерых детей повивальная бабка, по верованиям, попадала в рай. Ее называли и *һыу инәһе* ‘мать воды’.

⁵ *Бүлле булыу – буленеу* – досл. разделяться, в значении рожать.

⁶ Записано в 1983 г. в с. Тавлыкаево Баймакского р-на РБ.

⁷ Записано в 2000 г. от Рафиги Сафиуллиной в с. Трубный Сосновского р-на Челябинской области РФ.

В идентификации повивальной бабки с Матерью-водой (*һыу инәһе*) проводится идея мощной покровительствующей силы женщины, принимающей роды. В лице повивальной бабки, получающей ребенка из небытия (осмысление матки как утробы, лона земли), персонифицируется образ Природы-Матери, также осознание пуповины как изначальной точки жизни: “*Инәнән түгел, Ерзән алған балам!*” (‘Не от матери, а из Земли взято дитя!’), – говорит повитуха, беря дитя на руки. Правоценность Матери (*Инә хақы*) приравнивалась к ценности великого божества *Тэнгри* (*Инә хақы – Тэнре хақы*). Отсюда биологическая и социальная значимость Матери, высокая постановка ее личности, расценивающейся выше статуса хана, правителя, бея. По обычаю древних кипчаков, прежде чем приступить к власти, новый правитель должен был принести клятву Матери, а значит, клятву во имя мира, созидания, а не завоевания. Ценность мира, гармония жизни идентифицировались с образом Матери, материнским культом.

В специальных одариваниях-приношениях матери невесты действовала мифологема «матери – материнский тотем». Так, за целомудрие невесты жених дарил ее матери *инә тун* (шуба самки лисицы, овечки). Приношение символизирует умиловительство в лице матери невесты высших сил и Праматери (Природы) во имя получения их благосклонности. Также здесь читается семантика привлечения, умножения плодородных сил (деторождения). Этим же высоким правом *инахақы* регулировался этический кодекс самой Матери: если женщина преступала законы материнства (отчуждение детей, измена, прелюбодеяние и др.), то ее лишали прав жизни в одном родовом макрокосме (забвение имени, изгнание из рода). Жестокие наказания блудниц (закидывание камнями, изгнание в степь, усаживание на раскаленные камни и др.) истоками связаны с оскорблением духов предков и покровителей сакральной чистоты окружающей среды. Избегания у башкир бесплодных женщин (*бизәу катын*), считавшихся вредоносными, также согласуются с идеями охраны и соблюдения законов природы и благополучия.

Беременность – предначертанный свыше, строго согласующийся с законами Природы, правилами поведения статус женщины. Неблагополучных старых дев, долго не выходящих замуж и не рожавших, избегали, так как они становились угрозой для жизни рода, родовой целостности. Отсюда объяснимы древнерусские традиции предложения своих дочерей – девиц (надоб, надолга – засидевшиеся в девках невесты) замуж, развезжая по деревням [Традиционная культура Урала, 2000, с. 96]. Этноэтикету башкир характерны жесткие нормы отчуждения и ограничения. Неблагополучным женщинам (засидевшимся в девицах, нерожавшим) не доверялось участвовать или проводить обряды, произносить назидания, их старались не приглашать на свадебные, родильные мэджлисы.

Высшее почитание матери обусловлено прежде всего детородной функцией, воспроизводящей роль женщины в продолжении рода. Отсюда идеи благополучного материнства и здорового потомства Рода нераздельно связывались с девственностью, сакральной чистотой женщины. Статус девственности, имея в древности родовую ценность, защищен этикетными нормами, строгими запретами, направленными на ее сохранение. От соблюдения предписаний зависят целостность и гармоничное развитие родового коллектива, гарантии получения благ от Природы и здорового потомства.

Культ девственности и связь его с магией производительности, благополучия рода – универсальное явление в культуре разных народов. Девичество зачастую ныне рассматривается в аспекте гендерных исследований (социализация, беззащитность, активность, здоровье, статус в школе и др.), обнаруживая неизвестные,

но очень важные сведения для формирования интеллектуальной и гражданской активности [Здравомыслова, 2013, с. 140]. В традиционной древности народов девичество имело особую ценность духовно-нравственного значения и высокую почитаемость. В хакасских мифах девушкам нельзя прикасаться к кварцевым камням на берегу, ибо они якобы образовались из молока порочной девицы. Обычай предостерегает от совершения греховных поступков [Бутанаев, 2004, с. 130]. Девственность являлась одним из самых высоких приношений богам: существовали традиции посвящений девственности Иисусу Христу [Геннеп, 2002, с. 93]. Лишение девственности до срока означало осквернение чести рода, вызывание гнева духов предков, также покровительствующую Природу и землю [Традиционная культура Урала, 2000, с. 118]. В традиционном прошлом у башкир существовали жестокие наказания за бесчестие и добрачные связи: изгнание из рода, публичные хлестания кнутом и др. Девственность приносила роду благополучие, способствовала плодородию скота, она была залогом счастья рода, а не одного лица, потому соблюдались меры предостережения. Существовали строгие запреты в воспитании девушек «*кыз кешене кырк яктан тый*» («девушке с сорока сторон запреты положены»). Значимость девичества акцентируется в переходных ритуалах. Место соития молодоженов отделяют как особое свадебное пространство (брачную клеть устраивают недалеко от хлева, в особом домике). Зажиточные ставили отдельную белую юрту на холме, огораживали красными лоскутами и т. д. Сложная, многоэпизодная структура свадебного ритуала *кыз кушыу* (досл. соединить девушку с женихом) предусматривает сакрализацию перехода девушки в класс женщин. В обряде имеют место архаичные испытания молодого мужчины и посвящения его в класс мужчин через союз с женщиной. Потому как брачное соитие, воссоединение женщины и мужчины имели также обрядовое значение, социальное содержание для коллектива. Известно, что союз (соитие) с непорочной женщиной высокого ранга в древнем обществе гарантировал посвящение героя «в новый социальный статус и сан, служил символом нового рождения в новом качестве» [Васильков, 1988, с. 110]. Предваряя миф о единстве и неразделимости мужского и женского начал, соитие имело семантику перехода-посвящения и замысел дани производительным силам Природы.

Мифологические следы перехода отражены в ритуальной насыщенности, многообразии игровых, песенных эпизодов и яркого эмоционального компонента в башкирском свадебном обряде *кыз кушыу* («соединение с девушкой» – название передает инициальность соития). Перед соитием устраиваются прятание и поиски невесты, потасовки между девушками и снохами за невесту; плата за приведение невесты в брачный домик; переход границы в мир мужчины обыгрывается в ритуале разрывания женихом ткани (*йыртлыш*), которую с двух сторон держат снохи возле двери домика (юрты). Возле брачного домика устраиваются и круговые танцы, хороводы (түңэрэк), ряжения, шумные, веселые пляски, игры молодежи, исполняются эротического содержания такмаки, песни и т. д. Коллективные увеселения, имевшие эротические и охраняющие от злых сил функции, обретают игровые качества. Переход, обыгрываемый таким образом, проводит идеи умиротствления родовых предков. С течением времени инициационное содержание соития исчезает, превалируют игровые, развлекательные начала. Особо охранялось лицо новобрачной, которая считалась чистой «как новорожденное дитя»⁸. Потому

⁸ Записано от Г. А. Мамлеевой (1931 г. р.) в дер. Тал-Кускарово Абзелиловского р-на РБ.

показ лица устраивался в специальном ритуале *бит асыу* 'открывание лица'. Имеют смысловые параллели алтайские традиции. Чистоту брака молодых у алтайцев олицетворяла занавесь белого цвета [Тадина, 1995, с. 52], а невеста считалась священной чистой (*байлу*), ее прикрывали занавесью и никто не должен был видеть ее лица, пока она не приобретала статус замужней женщины [Тадина, 1995, с. 59]. С течением времени инициационное содержание брачного соития исчезает, превалируют, как в других обрядах, игровые, развлекательные начала [Султангареева, 2018, с. 455–458]. Свидетельство невинности (простыня или кусочек ткани), добрачной непорочности используется в магии урожая, примечании благополучия года (воду от стирки брачной постели выливают в хлев, поле, огород с благопожеланиями).

Обнаруживают параллели чувашские традиции высокого статуса девственниц, когда «в ритуале опахивания вокруг деревни отводилась особая роль сакрально чистым женщинам и девушкам» [Салмин, 2010, с. 97]. Обычай выставления и показа брачной простыни молодых (невесты) гостям (снохам, родительнице со стороны жениха) распространены как у тюркоязычных, так и у славянских, финно-угорских народов, связаны с обязательным освидетельствованием девственности. Если невеста оказалась честной, молодой муж после первой ночи преподносит матери невесты специальный дар, называемый *кыз хагы* 'цена девственности'. Иногда в присутствии всех дарит матери невесты дорогой подарок (*кыз хагы*), говоря: «Вот вам цена за девственность! Я вас благодарю!»⁹. За *енгәлек* (свидетельство невинности – кусок ткани, который держит в руках сноха-енгә) снохе молодой муж преподносит дорогой дар (платок, колечко, пояс и т. д.).

Сохранение брачной рубашки невесты родителями как свидетельство девственности было традиционно как у русских, так и во всей Европе [Сагалаев, 1991, с. 334]. Девственность как божественный знак и жестокие наказания за нечестность молодой имели место в обрядах многих народов. Жених имел право отказаться от жены, придать прилюдному наказанию, намазав ей сажей лицо, усаживать спиной к голове коня и водить по селу и др. Нарушение целомудрия вне обряда, противоречащее законам рода, лишало девушку (невестку) высоких прав почитания. Эти нормы проецируют принципы жизнедеятельности сообщества по сохранению чистоты и здоровья *тул* (родопроизводство). Девственность – фактически первичное право и условие для здорового потомства, перехода в статус женщин – будущих матерей. Ритуальность награды за девичью честь акцентирует право входа невестки в новый род. На фоне современных процессов свободы нравов отмечается выпадение из свадебных обрядов эпизода показа «девственности» (*кызлык*). Традиции снисходительности к рождению добрачных детей, свобода половых отношений от норм обычаев [Дондокова, 2002, с. 79] позднее связываются с демографическими, экономическими и другими обстоятельствами.

Соитие в древности не отделялось от благополучия рода (рождения), женщина была несвободна от предназначения рожать дитя (в противовес современному состоянию брачного союза, отделению секса от рода, свободы не рожать, возможностей добровольного оставления ребенка в детдоме и т. д.).

С момента рождения ребенок приобщался к принятым в роду культурным ценностям: прививается родовой этикет, манеры общения, знания по истории рода и т. д. В колыбельных песнях, благопожеланиях, банных речитациях домини-

⁹ Записано в 1999 г. в дер. Саидбаба Гафурийского р-на, в 2008 г. от В. Садыковой (1935 г. р.) в дер. Утяганово Абзелиловского района РБ.

руют идеи знакомства и приобщения дитя к родному миру, почитания старшинства и материнства как залога жизнедеятельности и гармоничного бытия.

Һап-һап! Мунса ташы,	Оп! Оп! Камушек бани,
Бүрәнә башы,	Головка бревна,
Әбейзе «әбей» тип әйт,	Бабушку бабушкой называй,
Бабайзы «бабай» тип әйт,	Дедушку дедушкой называй,
Әсәндән олоға «әбей» тип,	Ту, кто старше матери, бабушкой называй,
Атайзан олоға «бабай» тип әйт!	Того, кто старше отца, дедушкой называй!

Таким образом, анализ образцов духовной культуры в контексте мифопоэтических, мифосемантических прочтений культов материнства и девичества, их ритуальных реалий показывает, что традиционные институты матери, материнства, девичьей чистоты приравняются принципам культа Чести-Намыс, восходят к архаическим мифам о производительной магии Природы и сакральной силе непорочной женщины, Матери. Равные с возрастом народа ритуалы издревле являются идеологическими приоритетами самоопределения личности, народа, духовно-нравственными достояниями и гарантом родовой (государственной) устойчивости и непрерывности воспроизводства жизни. Они действуют как принципы гармонии жизни, родопроизводства, демократических норм во имя духовно-нравственных преимуществ в жизнедеятельности общины.

В целом знания о чести женщины, матери как производные культовых понятий (молоко – *һөт*, чадородность, плодovitость – *тул*, сила жизни – *кот*, девственность – *кызлык*) – это свод не только этнографического, фольклорного, исторического, но и юридического, педагогического достояния народа. Они могут быть использованы в этнопедагогике (обучение народным традициям в школе, воспитание молодежи в духе сохранения чистоты отношений добрачных связей, соблюдения чести и девичества), праве, культурологии как инструменты защиты, сохранения духовных и физиологических сил рода (этнoса) в век глобализации и реформ. Мифологические представления о магии молока, женской непорочности, о культе Матери, плодородия пережили трансформации, ныне обрели игровые значения и новые модификации.

В почитании материнства и девичества запечатлены архетипические свидетельства, многовековые реалии башкирской традиционной культуры, законов обществоведения и нормы этноэтикета, актуальность системного изучения которых очевидна.

Список литературы

Бутанаев В. Я. Степные законы Хонгорая. Абакан: Изд-во ХГУ им. Н. Ф. Кананова, 2004. 279 с.

Васильков Я. В. Древнеиндийский вариант сюжета о «безобразной невесте» и его ритуальные связи // Архетипический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 83–127.

Ганеева А. М. Общность и национальное многообразие дагестанских календарно-обрядовых песен (зимне-весенний цикл) // Календарно-обрядовая поэзия народов Северного Кавказа. Махачкала, 1988.

Геннеп А. ван. Обряды перехода. М., 2002. 123 с.

Добровольская В. Е. Предметные реалии русской волшебной сказки. М., 2009. 224 с.

Дондокова Л. Ю. О свадьбе добрачных половых отношений у бурят и монголов на рубеже XIX–XX вв. // Этнографическое обозрение. 2002. № 2. С. 77–85.

Здравомыслова О. Исследования девичества: о новом направлении социального знания и общественной дискуссии // Журнал исследований социальной политики. 2013. Т. 11, № 1. С. 135–141.

Кондыбай С. Мифология предказахов. Алматы, 2008. Т. 3. 434 с.

Нэзершина Ф. А. Рухи хазиначар. Өфө, 1992. (на башк. яз.)

Нэзершина Ф. А. Халык хәтерә. Өфө: Гилем, 2006. (на башк. яз.)

Надришина Ф. А. Башкирский фольклор как исторический источник // История башкирского народа: В 7 т. М., Наука. 2009. Т. 1. С. 339–359.

Сагалаев А. М. Урало-алтайская мифология: символ и архетип. Новосибирск: Наука, 1991. 154 с.

Салмин А. К. Традиционные обряды и верования чувашей. СПб., 2010.

Султангареева Р. А. Жизнь человека в обряде. Уфа, 2006. 243 с.

Султангареева Р. А. Башкирский фольклор: семантика, функции и традиции. Уфа: Башэнцик, 2018. Т. 1. 520 с.

Тадина Н. А. Алтайская свадебная обрядность XIX–XX вв. Горно-Алтайск, Юч Сюмер, 1995. 207 с.

Традиционная культура Урала: Этноидеографический словарь: В 3 т. Екатеринбург, 2000.

Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный мир. Новосибирск, 1988.

Хусаинова Г. Р. Башкирские волшебные сказки: поэтика и текстология. Уфа, 2014. 208 с.

Список источников

БНЭ – Башкирский народный эпос. М.: Наука, 1977.

БНТ – Башкирское народное творчество. Обрядовый фольклор / Сост., авт. вступ. ст. и коммент. Р. А. Султангареева, А. М. Сулейманов. Уфа, Китап, 2010. Т. 12. 656 с.

БХИ – Башкорт халык ижады / Төз., башһүз авт. Н. Т. Зарипов, М. Минһажетдинов. Анлатм. авт. Л. Г. Бараг, Н. Т. Зарипов. Өфө, 1978. 351 б. (на башк. яз.)

БХИ – Башкорт халык ижады / Төз., башһүз, коммент. авт. Ә. М. Сөләймәнов, М. М. Сәғитов, Р. Ф. Рәжәпов. Өфө, 1998. 448 б. (на башк. яз.)

References

Butanaev V. Ya. *Stepnye zakony Khongoraya* [The steppe laws of Khongoray]. Abakan, KhSU Publ., 2004, 279 s.

Dobrovol'skaya V. E. *Predmetnye realii russkoy volshebnoy skazki* [Object realities of the Russian magical fairy tale]. Moscow, 2009, 224 p.

Dondokova L. Yu. O svad'be dobrachnykh polovykh otnosheniy u buryat i mongolov na rubezhe 19–20 vv. [Object realities of the Russian magical fairy tale]. *Etnograficheskoe obozrenie*. 2002, no. 2, pp. 77–85.

Ganeeva A. M. Obshchnost' i natsional'noe mnogoobrazie dagestanskikh calendarno-obryadovykh pesen (zimne-vesenniy tsikl) [The commonality and national diversity of the Daghestani calendar-ceremonial songs (winter-spring cycle)]. In: *Kalendarno-obryadovaya poeziya narodov Severnogo Kavkaza* [Calendar-ceremonial poetry of the peoples of the North Caucasus]. Makhachkala, 1988.

Gennepe A. van. *Obryady perekhoda* [Rites of transition]. Moscow, 2002, 123 p.

- Khusainova G. R. *Bashkirskie volshebnye skazki: poetika i tekstologiya* [Bashkir fairy tales: poetics and textology]. Ufa, 2014, 208 p.
- Kondybay S. *Mifologiya predkazakhov* [The mythology of the pre-Kazakhs]. Almaty, 2008, vol. 3, 434 p.
- Nadrshina F. A. *Rukhi khazinalar* [Spiritual treasures]. Ufa, 1992. (in Bashk.).
- Nadrshina F. A. *Khalyk khətere* [Folk memory]. Ufa, Gilem, 2006. (in Bashk.).
- Nadrshina F. A. Bashkirskiy fol'klor kak istoricheskiy istochnik [Bashkir folklore as a historical source]. In: *Istoriya bashkirskogo naroda: V 7 t.* [The history of Bashkir nation: in 7 vols]. Moscow, Nauka, 2009, vol. 1, pp. 339–359.
- Sagalaev A. M. *Uralo-altayskaya mifologiya: simvol i arkhetyip* [Uralo-Altaiic mythology: symbol and archetype]. Novosibirsk, Nauka, 1991, 154 p.
- Salmin A. K. *Traditsionnye obryady i verovaniya chuvashy* [Traditional rites and beliefs of the Chuvash]. St. Petersburg, 2010.
- Sultangareeva R. A. *Zhizn' cheloveka v obryade* [Human life in the rite]. Ufa, 2006, 243 p.
- Sultangareeva R. A. *Bashkirskiy fol'klor: semantika, funktsii i traditsii* [Bashkir folklore: semantics, functions and traditions]. Ufa, Bashentsik, 2018, vol. 1, 520 p.
- Tadina N. A. *Altayskaya svadebnaya obryadnost' 19–20 vv.* [Altai wedding rituals of the 19th–20th centuries]. Gorno-Altaysk, Yuch Syumer, 1995, 207 p.
- Traditsionnaya kul'tura Urala: Etnoideograficheskiy slovar': V 3 t.* [Traditional culture of the Urals: Ethnoideographical dictionary: In 3 vols]. Ekaterinburg, 2000.
- Traditsionnoe mirovozzrenie tyurkov Yuzhnoy Sibiri. Prostranstvo i vremya. Veshchnyy mir* [The traditional worldview of the South Siberian Turks. The space and time. The world of things]. Novosibirsk, 1988.
- Vasil'kov Ya. V. Drevneindiyskiy variant syuzheta o “bezobraznoy neveste” i ego ritual'nye svyazi [The Ancient Indian variant of the “ugly bride” story and its ritual connections]. In: *Arkhetipicheskiy ritual v fol'klornykh i ranneliteraturnykh pamyatnikakh* [The archetypical ritual in the folklore and early literary monuments]. Moscow, 1988, pp. 83–127.
- Zdravomyslova O. Issledovaniya devichestva: o novom napravlenii sotsial' nogo znaniya i obshchestvennoy diskussii [Girlhood studies: on the new direction of social knowledge and public debate]. *The Journal of Social Policy Studies*. Moscow, 2013, vol. 11, no. 1, pp. 135–141.

List of sources

- Bashkirskiy narodnyy epos* [The Bashkir folk epos]. Moscow, Nauka, 1977.
- Bashkirskoe narodnoe tvorchestvo. Obryadovyy fol'klor* [Bashkir Folk Art. Ritual Folklore]. R. A. Sultangareeva, A. M. Suleymanov (Comp., intr. art. and comm.). Ufa, Kitap, 2010, vol. 12, 656 p.
- Bashkort khalyk izhady* [The Bashkir folk epos]. N. T. Zaripov, M. Minhazhetdinov (Comp., intr. art); L. G. Barag, N. T. Zaripov (Comm.). Ufa, 1978, 351 p. (in Bashk.).
- Bashkort khalyk izhady* [The Bashkir folk epos]. A. M. Suleymanov, R. F. Razhapov, M. M. Sagitov (Comp., intr. art. and comm.). Ufa, 1998, 448 p. (in Bashk.).

Сведения об авторе

Султангареева Розалия Асфандияровна – доктор филологических наук, главный научный сотрудник Ордена Знак Почета Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук (Уфа, Россия)

sasania@mail.ru

Information about the author

Rosalia A. Sultangareeva – Doctor of Philology, Principal Researcher at the Institute of History, Language and Literature, Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences (Ufa, Russian Federation)

sasania@mail.ru

УДК 398.224 (=512.31)
DOI 10.17223/18137083/74/4

Сказание «Күннү көргөн Күн Көөк» в самозаписи и звукозаписи

Л. Н. Арбачакова

*Институт филологии СО РАН
Новосибирск, Россия*

Аннотация

Сопоставляются варианты шорского героического эпоса «Күннү көргөн Күн Көөк» (букв.: Солнце увидевшая Кюн Кёк), зафиксированные в 1999 г. с интервалом в два месяца в самозаписи сказителя (зап. в январе 1999 г.) и в аудиозаписи (зап. в марте 1999 г. Л. Арбачаковой от В. Е. Таннагашева, который перенял сказание от своего учителя П. Н. Амзорова). Анализируемые тексты разные по объему: в самозаписи – 1005 стк.; в аудиозаписи – 1588 стк. Разный характер записей дал возможность проследить их полноценность как базовых текстовых источников. В вариантах сказаний, выполненных через небольшой промежуток времени, были выявлены незначительные различия, естественные в условиях живого исполнения *алыптыг ныбак*. При полной сохранности сюжетного развития различия имеются в лексике, использовании синонимии, инверсии слов и строк, сокращении или развертывании поэтических словосочетаний, эпических формул и типических мест.

Ключевые слова

шорское героическое сказание, варианты, самозапись, аудиозапись, сравнение

Для цитирования

Арбачакова Л. Н. Сказание «Күннү көргөн Күн Көөк» в самозаписи и звукозаписи // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 51–64. DOI 10.17223/18137083/74/4

The epic “Künnü körgen Kün Köök” in self-recording and audio recording

L. N. Arbachakova

*Institute of Philology SB RAS
Novosibirsk, Russian Federation*

Abstract

The paper compares the variants of the Shor heroic epic “Künnü körgen Kün Köök” (“Kün Köök that saw the Sun”) recorded in 1999 with an interval of two months in the narrator’s self-recording (written in January 1999) and in audio recording (recorded in March 1999 by L. Arbachakova from V. E. Tannagashev (1932–2007). The version in the audio recording was performed by the Kai narrator accompanied by komus in the performer’s apartment in Myski city. V. E. Tannagashev learned this epic from his teacher P. N. Amzоров. The small

© Л. Н. Арбачакова, 2021

ISSN 1813-7083
Сибирский филологический журнал. 2021. № 1
Siberian Journal of Philology, 2021, no. 1

period between the recordings resulted in insignificant discrepancies in the versions that were complementary and hardly influenced the qualitative content of the legend. The Kai narrator's memory did not let him down, with the plots almost coinciding and different epic formulas used only in some fragments of typical places, or there were some permutations or omissions of lines. Sometimes the narrator uses synonymous words, or there are repetitions and reservations. However, there are practically no such flaws in the self-recordings. The typical points used by the kaichi, sometimes expanded and colorful, sometimes compressed, probably depended on his mood, as well as on different ways of fixing the epic (in the kaichi's self-recording and audio recordings). Live performance is influenced by the mood, health of the narrator, and other factors. Self-recordings made by hand are the most time-consuming since they require physical effort, perseverance, attention. It is perhaps for this reason that the recording turned out to be more shortened.

Keywords

Shor heroic epos, variants, self-recording, audio recording, comparison

For citation

Arbachakova L. N. The epic "Künnü körgen Kün Kööк" in self-recording and audio recording. *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 51–64. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/4

Введение

В данной статье на материале двух вариантов сказания «Күннү көрген Күн Кööк» (букв.: «Солнце увидевшая Кюн Кёк»; далее «Кюн Кёк»), зафиксированных разными способами (самозапись и звукозапись) выявляются разночтения, встречающиеся в текстах.

Талантливый шорский кайчи Владимир Егорович Таннагашев (1932–2007) перенял это сказание от своего учителя П. Н. Амзорова. Свои сказания В. Е. Таннагашев стал записывать с 1999 г., когда идея о самозаписи своих сказаний возникла у него в процессе нашего общения с ним, когда мы вспоминали известного сказителя и поэта С. С. Торбокова (1900–1980), который записал в стихах с русским подстрочным переводом более 50 героических сказаний [ШГС, 1998, с. 13]. По словам В. Е. Таннагашева, он знал С. С. Торбокова и слышал его исполнение. В 2001 г. мы записали от В. Е. Таннагашева сказание «*Аттын чабыс қан чегрен аттыг Кааннаң чабыс Қаан Мерген*» (букв.: «Ростом ниже других коней с кроваво-игреневым конём, ростом ниже других ханов Кан Мерген»), перенятое им от С. С. Торбокова.

Самозапись сказания «Кюн Кёк» в исполнении В. Е. Таннагашева появилась в домашнем архиве сказителя в январе 1999 г., в марте того же года мы записали от него это произведение на диктофон. Самозапись была выполнена сказителем на 22 страницах в виде сплошного текста и без разбивки на стихи. Оригинал сказания хранится в семье сказителя, а копии этой самозаписи – в архиве КЦКИЭТ (Координационный Центр комплексных исследований эпической традиции, Москва), в личных архивах Д. А. Функа¹, Л. И. Чульжановой и Л. Н. Арбачаковой.

Вариант в звукозаписи был исполнен сказителем *каем* под аккомпанемент *комуса* в городской квартире исполнителя в г. Мыски. Анализируемые тексты «Күннү көрген Күн Кööк» разные по объему: в самозаписи – 1005 стк., разбивка на строки была произведена мной); в аудиозаписи – 1588 стк.

¹ См. [Функ, 2003, с. 4].

Повторные фиксации эпоса создали хорошую предпосылку для исследовательской работы, посвященной творчеству этого кайчи. Сличение разновременных записей героических сказаний от одного и того же сказителя, по мнению З. С. Казагачевой, дает возможность исследовать структуру эпического произведения (композицию, образный строй, поэтический стиль) в индивидуально-сказительской и временной интерпретации [Казагачева, 2002]. В. В. Илларионов отметил: «...сопоставление записей олонхо, произведенных со слов одного и того же олонхосута в разное время, наиболее верно отражает отношение сказителя к своему эпическому тексту» [Илларионов, 2016, с. 136]. О важности проведения повторных записей и необходимости их изучения писал В. М. Гацак [1989].

Отметим, что эпические имена в вариантах, за исключением противника главного героя Ай Толая (в самозаписи – Кан Киган, в аудиозаписи – Кан Чибек), полностью совпадают.

Сопоставление 2-х вариантов сказания «Кюн Кёк» основывается на разработанной Е. Н. Кузьминой «Структуре указателя типических мест героического эпоса народов Сибири» [Кузьмина, 2005, с. 8–10] (далее Указатель).

Зачин

Сопоставительный анализ сказания показал, что для кайчи зачин с описанием первотворения является важным элементом повествования. Строки, сообщающие о давности событий и борьбе между землей и водой, сохраняются в вариантах: *Амдыгы төлдүң алында полча, / Пурунгу төлдүң соонда полча. / Чер нүдерде, / Чер-суг қабыжарда полчаттыр. / Калақпа чер пөлүжүп, / Қамышта суг пөлүчиган тем полтур* ‘Раньше нынешнего поколения было, / Позже прежнего поколения было. / Когда земля сотворялась, / Земля-вода схватывались. / В то время мешалкой земля делилась, / Ковшом вода отделялась’ (стк. 1–6) [Сказания шорского кайчи В. Е. Таннагашева, 2015] (далее Сказания).

Но в самозаписи сохранилась строка, сообщающая о давнем времени происходящего: *Пурун полган полтур* ‘Давно было, оказывается’. В остальном зачин сказания в записях полностью совпадает.

В самозаписи кайчи, сообщив о появлении зелени: *Көгеришкел көк өлен / Өсчитқан тем полча. / Агаиш пажынга чаркелит, / Көк өлең өсчитқан тем полча* ‘Это было в то время, когда зеленая трава, зеленая, выростала. / В то время, когда расщепляя верхушки деревьев, / Зеленая листва выростала’, описал владение альпа.

В аудиозаписи картина первотворения развернулась поэтическим описанием пения птиц на деревьях: *Алтын нүрлүг ақ қазың паитарында / Қырық қушқа қағыш-чөрча, / Көк өлеңнің паитарында / Көк торчуқтар көглеш-чөрчыган полтур* ‘На макушке белой берёзы с золотой листвой / Сорок птиц щебетали, / Над зелёными травами / Молодые соловьи пели, оказывается’. Это описание является устойчиво характерным для эпической традиции «общим местом» (Указатель, I.1). В самозаписи этого описания нет, поэтому зачин сокращен на три строки, в аудиозаписи зачин выглядит полнее и красочнее.

Д. А. Функ, опубликовавший в третьем томе серии «Шорский героический эпос» эпические сказания из репертуара В. Е. Таннагашева отметил: «...краткость сказывается на эпичности повествования; в частности видно, что многие формулы передаются сказителем излишне кратко, а то и вовсе опускаются [ШГЭ, 2012, с. 8].

Богатырское владение

В вариантах описание богатырского владения совпадает в количестве строк (по 13), однако имеются незначительные варьирования слов *аиқым* / *аиқымның* ‘перевалами’: *алтон аиқым ақ тайга турча* (самозапись) / *алтон аиқымның ақ тайга турча* (аудиозапись) ‘с шестидесятью перевалами белая гора стоит’. Глаголы могут отличаться по времени, по действию (завершенное / незавершенное), по форме (сложные / простые): *ағып түйтүр* ‘течет’ (самозапись) / *ақ түйтүр* / *ағып түйтүр* ‘течет’ (аудиозапись); *чат түйтүр* ‘жил’ (самозапись) / *чатқан полтур* ‘живет, оказывается’ (аудиозапись); *сустап-келип* (самозапись) / *сустағанче* (аудиозапись) ‘лучась’.

В вариантах могут опускаться эпитеты: *мал* ‘скот’ (самозапись) / *ақ мал* ‘белый скот’ (аудиозапись); *чон* ‘народ’ (самозапись) / *арғы улус-чон* ‘многочисленный улус-народ’ (аудиозапись).

Сказитель в характеристике коня использовал разные эпитеты: в самозаписи у золотой коновязи конь *алтын чаллыг* ‘златогривый’ стоял, в аудиозаписи – *үйи кулақтыг* ‘треухий’.

Типическое место описания, относящегося к владениям богатыря, его народа и скота (Указатель, I. 3,4,5), в звукозаписи и самозаписи незначительно различаются.

Появление алыпов

В *Появлении алыпов* (Указатель, II.A.1) расхождения есть в описании хозяина дворца, например, в самозаписи: *Пир төл чажаган, Ақ Қан чуртапача* ‘Ак Кан, проживший одно поколение’, в аудиозаписи – *Үш төлге чеде-берген / Ақ Қаан апиый чат чуртаган полтур* ‘доживший до третьего поколения / Ак Кан-старик живет, оказывается’. В аудиозаписи есть дополнительное уточнение возраста к имени Ак Кан – *апиый* ‘старик’.

Прием пищи и беседа супругов

В описании «Приема пищи и беседы супругов» (Указатель, II.A.13 а+в) в самозаписи (14 строк) содержится важная информация о семимесячной беременности жены Ак Кана: *Алтын Арыгдың қур парған курсагы / Қурчу иени төптейип, / Четти айга четпартыр* ‘Высохший живот Алтын Арыг / Будто наперсток, округлился / До семи месяцев достигла’. В аудиозаписи (16 строк) нет сообщения о беременности супруги алыпа, но более красочно описан прием пищи: *Ақ Қаан улуг сөök ақсынаң, / Кичиг сөök пурнунаң пыргырб-одурча* ‘У Ак Кана крупные кости изо рта вылетают, / Мелкие кости из носа летят’ (41–42 стк.).

Вызов богатыря, сражение

В «общем месте» ‘Вызова богатыря’ (Указатель, II.A.14б) также есть незначительные разночтения в употреблении синонимичных глаголов: *күрежерге / қабыжарга* ‘сражаться’; разных временных форм в глагольных словах: ‘положил’ (*салды*, где аффикс *-ды* – показатель недавнопрошедшего времени), ‘кладет’ (*салча*, где аффикс *-ча* – показатель настоящего времени). Подобные разночтения устойчиво встречаются по всем вариантам текстов, поэтому здесь отметим, что это происходит в силу устного исполнения эпоса.

В самозаписи (17 стк.) захватчик в конце вызова сообщает о своей цели: *Арыг тынга четкел, / Ақ малыңма, арғы-улус чоңың / Қачырарым* ‘Твоей чистой души достигнув, / Белый скот твой с многочисленным народом / Угоню’. В аудиозаписи

(18 стк.) этого нет, но более красочно описана реакция окружающей среды на появление захватчика: *Түбенеп, түбенеп-келип, / Қара салғын киришича* ‘Клубясь-клубясь, / Черный ветер ворвался’ (47–48 стк.). Сам захватчик сравнивается в аудиозаписи с ‘горой’ – *тайга шени алып мұнсалтыр*, в самозаписи с ‘медной горой’ – *Чес тайга шени алып одур-салтыр*, в данном случае варьируются глаголы: *мұнсалтыр* ‘верхом сидел’ / *одур-салтыр* ‘сидел’.

Получив вызов, Ак Кан от бессилия не смог поднять свои воинские доспехи, в которых сражался в молодости, и поэтому вынужден в одной красной рубашке, но верхом на коне отправиться на схватку, в самозаписи же старик навстречу к захватчику отправляется пешком.

Аудиозапись разворачивается описанием коня у коновязи, приближением конных противников друг к другу и их приветствием перед сражением: *Чигди сунуш-келип, эзенерин перишчалар, / Қылыш сунуш-келип, менчилерин перишчалар* ‘Острые ножи протянув, поздоровались, / Мечи протянув, поклонились’ (94–95 стк.). В этом варианте старый Ак Кан выглядит как равный противник, подъехавший к захватчику на своем коне. Они соблюдают воинский кодекс приветствия, а затем начинают сражение.

Описание сражения, их представление друг другу и перебранка переданы кайчи почти в равных количествах строк (35/33). В самозаписи их сражение передано сравнительным оборотом: *Чабал адай шени қап парды. / Чабал неқ шени сұс парды* ‘Как злая собака, стал его хватать, / Как злая корова, стала его бодать’. В аудиозаписи этих строк нет.

В эпических формулах могут иметь перестановки строк: *Сүстүкпесте Ақ Қаан, сүстүк-чөрча, / Тайлықпаста Ақ Қаан, тайлық чөрча* ‘Не спотыкавшийся, – спотыкается, / Не оступавшийся, – оступается’ (аудиозапись); *Тайлықпаста Ақ Қан тайлықты, / Сүстүкпесте сүстүгип чөрди* ‘Не оступавшийся, – оступается, / Не спотыкавшийся, – спотыкается’ (самозапись). В приведенных формулах видно использование простых *тайлықты* и сложных глаголов *тайлық-чөрча*, отличающихся также по временам: недавнопрошедшее с аффиксом *-ты*; настоящее время с аффиксом *-ча*.

Иногда борьба в аудиозаписи может быть развернута распространенной эпической формулой, которая отсутствует в самозаписи: *Уйалығ қуш уйазынаң часча, / Палалығ аң палазынаң қазб-одурча* ‘Птицы гнезда свои оставляют, / Звери детенышей своих бросают’.

Угон скота и народа

В самозаписи кратко сказано, что захватчик угнал скот и народ (Указатель, I.7): *Ақ малды, аргы-улус чоны / Қобур қосқап қачыр шықты* ‘Выдернув траву-борщевик, / Белый скот улус-народ погнал’.

В аудиозаписи уточняется имя альпа (Чес Плек), угоняющего народ и скот: *Чес Плек ақ малды, аргы-улусты / Қобыр қосқап қачыр турганда...* ‘Когда Чес Плек белый скот, народ, / Выдернув траву-борщевик, погнал...’ (193–194 стк.). В приведенных примерах варьируются глаголы: *қачыр шықты* ‘погнал’ / *қачыр турганда* ‘когда... погнал’.

Кроме этого, аудиозапись развернута эпической формулой с описанием расправы над разбегающимся скотом: *Тогра тескенин – тогра кес-парды, / Сыннаң тескенин – сынынаң кес-парганда* ‘Поперёк бегущих – поперёк рубит, / По хребтам сбегающих – по хребтам рубит’ (199–200 стк.).

Богатырское снаряжение

После отъезда молодых Ай Толай – брат девушки, вынимает *шойун сундуктаң* ‘из чугунного сундука’ (в аудиозаписи; в самозаписи – *алтын сундуктаң* ‘из золотого сундука’) трехглазую золотую трубу-*улабу* и начинает наблюдать за жизнью молодых. Увидев захватчика, приехавшего погубить его сестру и зятя, он облачается в богатырскую одежду (Указатель, П.А.ба): *тогус қадыл алтын куйағын / Ийги чарнынға кел таиштан-кел, кес чада-парды. / Тогус топчузун топчуланм-алды* ‘Золотой панцирь-куйак снял, / На плечи набросив, стал облачаться. / На девять пуговиц застегнувшись’ (803–805 стк.), едет на своем коне к ним на помощь. В самозаписи нет описания облачения богатыря. В вариантах варьируются эпитеты: *шойун / алтын* ‘чугунного / золотого’.

Перебранка перед боем

В вариантах во время встречи и перебранки (Указатель, П.А.14в.) использована народная поговорка.

Аудиозапись: *...өлер кийик / Қар үстүбе позу чүзүр-келчаң!* ‘Погоди, косуля, которой погибнуть назначено, / Сама по снегу прискачет!’ (1311–1312 стк.)

Самозапись: *өлер кийик қар үстүбе чүзүрчең* ‘косуля, которой погибнуть назначено, / Сама по снегу прискачет’. Эпические формулы совпадают, однако в аудиозаписи использовано местоимение *позу* ‘сама’, в самозаписи – нет.

Причины расправы у противника Ай Толая в вариантах разные: в самозаписи враг желает отобрать суженую Ай Толая: *Алтын Қаның қызы Алтын Торғуну, / Мен парғанче сен апарчаң полтурзың, / Меең ийги пажым қожулған қысты. / Ам мен аларым* ‘Дочь Алтын Кана – Алтын Торгу, / До моего прихода ты, оказываешься, увозишь. / Девушка, с которой наши головы соединились, / Сейчас я возьму’.

В аудиозаписи алып говорит о другой причине расправы с ним: *Ақ чарыққа толдура туған / Ай Толай тегеннер-но, по тоғаш-пардым, / Арығ тынынға четсалайын!* ‘Ай Толай, своим рождением / Весь белый свет заполнивший, есть, говорили. / Вот мы и встретились. / До чистой души твоей доберусь!’ (1313–1316 стк.). В данном случае противник решил посостязаться с ним в силе.

Описание гибели Ак Кана

В самозаписи гибель Ак Кана, погибшего от удара о землю, передана через описание реакции окружающей природы (Указатель, П.А.17а): *Қара черге шап турғанда, / По чер пезжик шени чайқылып эрти* ‘Когда о черную землю ударил, / Эта земля колыбелью покачнулась’. В аудиозаписи по-другому описана гибель Ак Кана: *Ақ Қаанның сылалы өскен сынын, / Алты чердин сыы шап-кел түжүрү-бүсти* ‘Раскрутив его, как опустил – / Гладкий хребет Ак Кана / В шести местах разломился’ (136–138 стк.), т. е. через описание убийственного действия противника богатыря.

Уничтожение захватчика и его коня

Захватчика Чес Плека уничтожает Алтын Топчу, приехавший на коне: *алтын чаллығ ақ шамдар аттығ* ‘На коне златогривом светло-игренево’.

В аудиозаписи гибель описана более подробно (Указатель, П.А.17): *Сынысайы сынман / Ийги қараан по тегрине / Қаза көрген озуба / Арығ тынын шығара кел, шапқан полтур* ‘Хребет Чес Плека не разломился, / Глаза неподвижно в небо уставились: / Чистая душа его отлетела – / Так ударил, оказывается’ (271–274 стк.), в самозаписи этот момент опущен.

В вариантах сказания после уничтожения захватчика, Алтын Топчу отправляется в погоню за его конем, под хвостом которого в виде иголки воткнута дочь Ак Кана. Погнавшись за ним, он спускается в Нижний мир и оказывается в гостях у алып Ульгер Мёке, изгнанного творцом из Светлого мира, который предлагает Алтын Топчу свою лошадь, так как на своем коне он не сможет догнать захватчика Чес Кана. Сама погоня за конем исполнена кайчи в свободной манере, практически без использования устойчивых выражений. В расправе с похитителем девочки в вариантах использована одна и та же устойчивая формула: *Чес құл атты қузуруғунаң қап-кел, / Шағана силгибизе-бергени – / Қызыл эди тоғус тегри чүгүре-пара / Қысқыр-кел, анда кел арығ тыны кел шықча* ‘Коня медно-саврасого за хвост ухватил, / Встряхнув, из шкуры вытряхнул – / Красное мясо к девяти небесам отлетело, / Там с последним криком чистая душа его вышла’ (457–459 стк.).

В вариантах чередуются глаголы незавершенного / завершенного действий: *силгип турғанда* (самозапись) / *силгибизе-бергени* ‘когда встряхивал / встряхнул’ (аудиозапись); *қап* (самозапись) / *қап-кел* (аудиозапись) ‘схватив’.

Аудиозапись развернута уточнением гибели коня *Қысқыр-кел, анда кел арығ тыны кел шықча* ‘Там с последним криком чистая душа его вышла’. В самозаписи тело коня просто укатилось, а что дальше произошло – неизвестно.

Уничтожение алып

Описание уничтожения и гибели Қара Қаяша, который является соперником главному герою – Ай Толаю (Указатель, П.А.16) в самозаписи состоит из 4-х строк: *қара таш үстүнге шапча, / Сыны сай сынман, / четтон тегрини қаза көр, / Арығ тынны шықты* ‘Поверх черного камня ударил. / Не разломился его хребет, / На семьдесят небес взглянул – / Чистая душа его вышла’.

В аудиозаписи имя соперника Ай Толая – другое, его зовут Тебир Картус, его уничтожение дано развернутой эпической формулой, где Ай Толай бьет противника о большой камень, что больше коровы: *Неқтен улуг көк ташты көр-кел...* ‘Голубой камень больше коровы приметя...’ От удара сам камень рассыпался, а гибель Тебир Картуса передана через реакцию окружающей природы: *По чер қара пезжик шени чайқыл-кел эрт-парды / Анаң көрб-одурғаны: / Көк ташты ун чилеп тала шапқан полтур. / Пели пир тудам алыбаитың / Тебир Қартустың сыны-сайы сынман / По тегри қааны қаза көр-кел, / Арығ тыны эде шыққан полтур...* ‘Земля подобно чёрной колыбели, качнулась! / Затем видит: / Голубой камень в муку раскрошился. / У Тебир Картуса, с поясницей в один обхват, / Не разломился хребет, / На это хан-небо взглянул – / Чистая душа его вышла, оказывается...’ (1072–1075 стк.).

В вариантах варьируются эпитеты: *қара таш / көк таш* ‘черный камень / голубой камень’; также у сказителя в вариантах небо разное: *четтон тегрини* ‘семьдесят небес’ / *тегри қааны* ‘хан-небо’.

Имянаречение девочки

Алтын Топчу, спасший девочку, превратил ее в яйцо и вернулся к хозяину коня, который нарек ее тут же именем: *Шорлығ чайалған, күннү көрген / Күн Көök поларзың* ‘Для большого несчастья рождённая, / Солнце увидевшая Кюн Кёк ты будешь’ (522–523 стк.), т. е. в аудиозаписи старик дает имя девушке дома, сидя за столом.

В самозаписи ‘Обряд имянаречения’ (Указатель, П.А.2) более развернут. Перед тем как дать имя девушке, старик просит свою жену вынести ему напиток,

с которым он идет к морю, чтобы дать ей имя: *Эзе, алгам кижим, Алтын Қас, / Мага алтон алып ижип тоспас ташаорға / Арыг қумыс аш ашық. / Ақ Қааның палам мен адарға чайачы салтыр...* ‘Эзе, моя жена Алтын Кас, Вынеси мне в ташаоре чистый кумыс, Который и шестьдесят богатырей выпьют, не насытятся. Видимо, Творцу угодно было, Чтобы я дал имя ребенку Ак Кана’.

В вариантах встречаются диалектные слова: *ичелиг / энелиг* ‘имеющая мать’.

После получения имени, Алтын Топчу и девочка, попрощавшись, поднялись в Светлый мир во владения ее брата – Ай Толая.

Погоня за птицами и оживление сестры

Алтын Толай, превратив свою невесту в яйцо, положил в карман и отправляется в погоню за птицами. Догнав девушку, он вошел в избу старушки, оживившей его сестру Кюк Кёк в варианте самозаписи лишь трижды плюнув: *алтын қарчақ аалыңға нас келип, / ұш қада қағыр түйкүрдү* ‘К золотому гробу подошла, / Трижды плюнула’.

В аудиозаписи более красочно описан момент оживления (Указатель, П. А.19а): *Куртияқ кижі ұш эбире нас-келди, / Парып, түйестең суг сузыб-алып, / Ұш қада нурғур-кел, / Ұш қада тебинизе-бергени: / Чатчитқан Күн Кёк печези / Ийги қараан ажыбысты* ‘Старушка три раза гроб обошла, / Из туюса воды зачерпнула, / На девушку три раза плеснула, / Три раза подпрыгнула: / В гробу лежавшая Кюн Кёк – сестра / Оба глаза свои открыла’ (1272–1273 стк.).

В вариантах двумя способами оживляют девушку: в самозаписи плювком, в аудиозаписи – водой трижды плеснув и трижды обойдя гроб, в котором лежала она.

Сватовство

Типические места с описаниями сватовства (Указатель, П.А.20) в вариантах даны по-разному: в аудиозаписи – оно более развернуто и поэтично: *Эзе, Ай Толай, – тедир Алтын Топчу, – / Алтон түйбен сөзүм пар, / Айт-перзем, тарыңгай педиң ма? – тедир. / Пону ұққан Ай Толай эрбектепча: / – Пай, пай, Алтын Топчу, – тедир, – / Чақшы сөс полза, құлаққа сий-парар, / Чабал сөс полза, челге қап-парар! – тедир. – / Айт, – тедир, – ноо айдарға этчаң* ‘Эзе, Ай Толай, – Алтын Топчу тут сказал, – / У меня шестьдесят тысяч слов есть, / Если скажу, не рассердишься? – он сказал. / Это услышав, Ай Толай говорит: / – Пай, пай, Алтын Топчу, – говорит, – / Если слова хорошие – пусть в уши войдут, / Если плохие – пусть ветер их унесет! / Говори, Алтын Топчу, что хочешь сказать’ (662–668 стк.).

В самозаписи – сватовство дано в сокращенном виде: *Эзе, Ай Толай Күн Кёк печеңме / Пистиң ийги пажыбыс қожулған, / Мага перей педиң? ‘Эзе, Ай Толай, с твоей строю Кюн Кёк, / Головы наши соединиться должны, / За меня не отдашь ли?’*

Свадебное состязание

В типическом месте «Свадебное состязание» (Указатель, П.А.14) Ай Толай в вариантах ведет борьбу с невзрачным на вид, но коварным и опасным врагом, которого боятся все алыпы: *Тебир қартус кес-салған, / Пели тир тудам, / Чарды чаба қарыш алыбаи одур-салтыр* (аудиозапись «Кюн Кёк») ‘В железном картузике, / С поясницей в один обхват, / С плечами шириной в четвертинку богатырэк сидит’ (974–976 стк.).

В вариантах описания этого алыпса совпадают, незначительно чередуются глагольные слова: *кес-салган / кескен* ‘одетый’.

Борьба с этим алыпсом в аудиозаписи продолжительная, они сражаются годами. В типическом месте «Борьба алыпсов» это выражено традиционными формулами: *Қыш келгенин / Чарды-паштарын қыранаң тилчалар, / Чай келгенин / Чарды-паштарын изишкенең пилдирчалар* ‘О том, что зима пришла – / По иному, на плечи-голову павшему, узнают. / О том, что лето пришло – / По солнцу, плечи-голову припекавшему, узнают’.

В самозаписи сражение, длящееся днями, сокращено. В конце сражения богатырек назвался в аудиозаписи: *Ат кежиги қара сар атчақ – темир, – / Өлбес-парбас / Тебир Қартус поларым* ‘Темно-рыжего конька, в полконя ростом, имеющий, / Неумирающий-непогибающий / Тебир Картус я буду’.

В самозаписи алыпса и его коня зовут по-другому: *Элек шени қара пор аттығ / Қара Қаяш адым полар* ‘Темно-серого коня, подобного ситу, имеющий Кара Каяш имя будет’. В этом примере необычный образ коня передан сравнением с ситом *элек шени* ‘подобный ситу, как сито...’.

Семантика этого сравнения утрачена, поэтому дать какое-либо утвердительное толкование затруднительно.

Выход суженой алыпса

В вариантах использовано типическое место выхода суженой алыпса (Указатель, П.А.106) в момент сватовства, когда суженая Ай Толая появляется из глубины сорока комнат. Согласно шорской эпической традиции, как и во всей богатырской эпике тюркоязычных народов, придается особое значение описанию облика суженой. В аудиозаписи описывается лик суженой богатыря, от сияния которого озаряется *қызара кйуш-парды* (букв: докрасна озарился) весь дворец, а в самозаписи употреблен другой глагол *сустап, шықты* (букв.: весь засиял): *Қырық қатпаш түбүнең / Қыс палазын чедин шықты алтон параңчыба, / Четтон қожанчыба ашықты. / Анан пас шыққаны: / Алтын өрге тооза қызара кйуш-парды* (аудиозапись) ‘Из глубины сорока комнат / Желанную девушку шестьдесят слуг выводят, / Семьдесят служанок ее ведут. / Когда она вышла – / Золотой дворец весь озарился’ (1091–1093 стк.).

Қырық қатпаш эжиги қайра шабылды, / Қыс палазын алтон параңчыба, / Четтон қожанчыба ашықтылар. / Алтын өрге толдра настап, шықты (самозапись) ‘Двери сорока комнат настезь отворились, / Девушку шестьдесят слуг выводят, / Семьдесят служанок ее ведут. / Золотой дворец весь засиял’.

В вариантах незначительные разночтения наблюдаем в описании выхода девушки, где ее сразу же: *қырық қатпаш түбүнең* (аудиозапись) ‘выводят из сорока комнат’, а в самозаписи – *қырық қатпаш эжиги қайра шабылды* ‘двери сорока комнат настезь отворились’, а затем уже выводят из указанного помещения. Глагольные слова варьируются в числах: *ашықты* ‘вывел’ (ед. ч. в аудиозаписи); *ашықтылар* ‘вывели’ (мн. ч. в самозаписи).

Свадебное пиршество

Ритуал свадебного пиршества (Указатель, П.А.21) в сказании, как и во всем шорском эпосе, традиционно состоит из трех частей: подготовка к свадьбе; собственно свадьба; окончание свадьбы и разъезд гостей. Приведем пример из аудиозаписи.

1. Подготовка к свадьбе

В описании подготовки к свадебному пиру сказитель некоторые слова произносил с уменьшительно-ласкательным аффиксом *-гаиш* и с аффиксом мн. ч. *-тар*: *тоңнар* (самозапись) ‘стельные’ / *тоңначагаиштар* ‘букв.: стельненькие’ (аудиозапись) ‘стельные’; *қызырақтар* ‘букв.: нестельненькие’ (самозапись) / *қызрақ* (аудиозапись) ‘нестельные’.

Приведем примеры.

Самозапись: *Ташқара черде маллар қақыптар, / Тоңнар олашкел өлчалар, / Қызырақтар қысқырышкел, өлчалар. / Ташқара черде қырық қулақтыг кўлер қазаннарба, / Четти қулақтыг чес қазанарға эттер пыжырып, / Пөктөрги таг чилеп үйтүлер...* ‘На улице скотину поймали, / Стельные с рёвом гибнут, / Нестельные с визгом гибнут / На улице бронзовые казаны с сорока ушками и / В медных казанах с семью ушками мяса сварив, / Горой взваливают...’.

Аудиозапись: *Малларды соқ чада-пардылар. / Тоңначагаиштар оорлаш-келип, чыгылышчалар. / Қызрақпа қысқырыш-кел, чыгылышчалар. / Четти қулақтыг чес қазанга толдура / Қырық қулақтыг кўлер қазанга толдура / Эттер кел пыжырчалар. / Улуг той кел полубуза-берген-но!* ‘Скот резать стали: / Стельные с рёвом валяются, / Нестельные с визгом падают / Медные казаны с семью ушками все заполнили, / Бронзовые казаны с сорока ушками набили доверху. / В казанах мясо варится’ (1542–1547стк.).

В вариантах есть перестановки строк в эпических формулах, например, в аудиозаписи: *Четти қулақтыг чес қазанга толдура / Қырық қулақтыг кўлер қазанга толдура / Эттер кел пыжырчалар* ‘Медные казаны с семью ушками все заполнили, / Бронзовые казаны с сорока ушками набили доверху. / В казанах мясо варится’.

В самозаписи: *...қырық қулақтыг кўлер қазаннарба, / Четти қулақтыг / Чес қазанарға эттер пыжырып, / Пөктөрги таг чилеп үйтүлер* ‘...в бронзовых казанах с сорока ушками, / С семью ушками / Медных казанах мяса наварив, / Горой взваливают’.

Также в аудиозаписи говорится о том, что казаны *толдура* ‘набили доверху’, в самозаписи нет этого уточнения, однако мяса столько наварено, что *пөктөрги таг чилеп* ‘горой взваливают’.

2. Собственно свадьба

В вариантах также есть случаи перестановки строк: *тоғус күнге* ‘до девяти дней’, *четти күнге* ‘до семи дней’; употребление в глаголах аффиксов настоящего времени на *-ча*; недавнопрошедшего времени на *-ды*: *кирдилер / кирчалар* (букв.: ‘входят’): *Тоғус күнге шығара / Тобрақ қаразын пилбес, / Четти күнге шығара / Чер қаразын пилбес, / Улуг тойга кирдилер* ‘До девяти дней, / Ночи песка не чувствуя, / До семи дней, / Ночи земли не замечая, / В большую свадьбу вошли!’ (самозапись); *Четти күнге шығара / Чер қаразын пилбес, улуг тойга кел кирчалар. / Тоғус күнге шығара / Тобрақ қаразын пилбес, улуг тойга кирчалар!* ‘До семи дней, / Ночной земли не чувствуя, большую свадьбу справляют, / До девяти дней, / Ночи не замечая, большую свадьбу справляют!’ (аудиозапись) (1550–1552 стк.).

3. Окончание свадьбы, отъезд гостей

В конце свадьбы, как правило, гостей одаривают подарками, например, аудиозапись развернута этим описанием: *Чагыннарынга / Алтын тон кел сыйлапчалар. / Арий кедерелеринге / Торғу тоннар кел, перчалар.* ‘Близких / Золотыми шубами одаривают. / Чуть дальних / Шелковыми шубами одаривают’.

Кроме этого, в фонозаписи говорится о выражении недовольства со стороны отъезжающих гостей, которым на прощание вместо золотых шуб, подарили шелковые: *Торғу тоннар алганнар сыбрашчалар: / – Көрзең, – тедир, – / Пис пылардың чагын полганыбыс?! / Писке торғу тоннар перчалар. / Пыларга алтын тоннар пердилер!* ‘Получившие шелковые шубы шепчутся: / – Смотри-ка, – они говорят, – / Разве мы им не близкие?! / Нам шелковые шубы дали, / Им – золотые шубы дали!’ (1559–1563 стк.).

В самозаписи это яркое событие опущено.

Общее место описания свадьбы является типичным для всех сказаний в исполнении В. Е. Таннагашева и других кайчи.

Отъезд алып с невестой

В аудиозаписи – через шесть дней после свадьбы Алтын Топчу уезжает со своей женой в родные владения. Причина отъезда алып со своей невестой объяснено традиционной формулой: *Чабыс та полза, тагым пар, / Тайыс та полза, суғум пар, – теп-келип* ‘Хоть невысокая – своя гора у меня есть, / Хоть неглубокая – своя река у меня есть’ (718–719 стк.). В самозаписи нет этой формулы, молодые сразу же уехали после совершения обряда *ийги паштарын қошту* ‘соединения голов молодых’.

Прощание с конем

В самозаписи описание «Прощания с конем» (Указатель, П.Б.3) нет обращения алып к своему коню, как в аудиозаписи: *Эзе, ақ қор адым, – тедир* – ‘Эзе, светло-каурый мой конь, – он сказал’, однако более красочно описано, как алып снимает с него конное снаряжение: *Ақ қор атқа пас келди. / Тоғус қолагды шешкеллип, / Алтын эзерин пөктерги тағ чилеп таштады. / Күмүш тискинин шешти чүгенин пажыңнаң шурды: / – Сүрүм тағга парып, үш қылғанап, өлен отта. / Сүт көлдең қажына парып, / Ұш ортанып суғ иш, – теп, пожатты. / Керек түште үш қада сығызам, / Алым чүгүр келерзиң!* ‘К светло-каурому коню подошел, / Девять подпруг развязал, / Золотое седло, словно копну свалил! / Серебряную узду развязал, с головы его снял: / – На Сюрюм-гору ступай, / Там, трижды щипнув, траву ешь! / На берег молочного озера отправляйся, / Там, трижды глотнув, воду пей! – так сказав, отпустил. – / Когда будет нужно, я трижды свистну, / Ко мне прискачешь!’ (самозапись).

Аудиозапись: *Ақ қор аттың эзерин алып таштапача. / Пөктерги шени үүнча! / Күмүш тискинин пажыңнаң кел шурды. / – Эзе, ақ қор адым, – тедир, – / Сүргү таға парып, – тедир, – / Ұш қылғанап-келип, от отта! – тедир. – / Сүт көлдең қажынға парып, / Ұш қада мастан-келип, суғ иш! – теп-келип. – / Керек түште сығарзам, / Келерзиң!* ‘Со светло-каурого коня седло сняв, бросил – / Словно копну свалил! / Серебряную узду с головы его, сняв, сказал: / – Эзе, светло-каурый мой конь, – он сказал, – / На Сюрю-гору ступай, / Там, трижды щипнув, траву ешь! / На берег молочного озера отправляйся, / Там, трижды глотнув, воду пей! – так говорит. – / Когда будет нужно – я свистну, / Прискачешь!’ (1567–1577 стк.).

Также в текстах варьируются названия гор: *Сүргү тағ* ‘Сюрю-гору’ / *Сүрүм тағ* ‘Сюрю-гору’; используются синонимы: *өлен / от* ‘трава’; *шени / чилеп* ‘как, словно’. В самозаписи сказителем уточнено, сколько раз хозяин свистнет своему коню *үш қада сығызам* ‘если трижды свистну’, в аудиозаписи нет уточнения *сығарзам* ‘если свистну’.

Концовка

Традиционная концовка (Указатель, IV.4) сокращена, в вариантах нет обращения к слушателям: *Қааннаң улуғ қаан полуп, / Пийдең улуғ пий пол-келип, / Пылардың черге қыйғлап-кел, эр кирбенча, / Қынап-келип, шағ кирбенча* (аудиозапись) ‘Из ханов великим ханом стал, / Из пиев великим пием стал! / В их землю, крича, чужой удалец не приходит, / Тесня, война не приходит’ (1583–1586 стк.). В аудиозаписи первая строка ‘о великих ханах’ через три строки повторяется.

В самозаписи подобная концовка, но с перестановкой эпических формул: *Ай Толай черинге / Қыйғыр-келип, алып кирбеди. / Қынап-келип шериг кирбеди. / Қааннаң улуғ қаан полуп, / Пегдең, улуғ пег полуп, / Мында пайлап, чурта пердилер* ‘В землю Ай Толая, / Крича, алып не приходит, / Тесня, война не приходит. / Из ханов великим ханом став, / Из беков великим беком став, / Богатея, живут-поживают’.

Как мы заметили, в формулах чередуются синонимичные слова: *пий/б(п)ек*. Глаголы варьируются незначительно (по времени, лицу, числу): *кирбеди / кирбенча* ‘не приходил / не приходит’; деепричастная форма глагола встречается в простой и сложной формах: *полуп / пол-келип* ‘став’.

Как показывает сравнительный анализ самозаписи кайчи (1999) и нашей аудиозаписи (1999) сказания «*Кўннў көрген Кўн-Кёк*» – «Солнце увидевшая Кюн Кёк», имеют незначительные разночтения, естественные в условиях живого устного сказывания. Эта незначительность может быть объяснена тем, что варианты возникли через небольшой промежуток времени, разделяемый двумя месяцами.

Отличия прослеживаются в лексике, в использовании синонимии, инверсии слов и строк, сокращении или развертывании поэтических словосочетаний, эпических формул и типических мест. При этом сюжетная канва: захват владения (угон скота и народа); появление защитника (Алтын Топчу); возвращение плененного народа, угнанного скота и спасение дочери Ак Кана; появление брата Кюн Кёк – Ай Толая; женитьба Алтын Топчу на девушке Кюн Кёк; гибель сестры Ай Толая и ее мужа; повторная женитьба Ай Толая; воскрешение его сестры; их возвращение домой, свадебный пир-*той* в честь богатыря Ай Толая и его жены – остается устойчивой в обоих вариантах.

Выводы

Таким образом, небольшой срок между записями сказался на том, что разночтения в вариантах незначительны, являются взаимодополняющими и мало повлияли на качественное содержание сказания. Сказительская память не подвела кайчи, по утверждению самого сказителя, сюжеты текстов почти полностью совпадают, лишь в некоторых фрагментах типических мест употреблены разные эпические формулы, либо встречаются случаи перестановок или упущения строк. Иногда сказителем употребляются синонимичные слова, также в живом исполнении встречаются повторы, оговорки сказителя, а в самозаписи подобных огрехов практически нет.

Видимо, самым важным при сказывании того или иного текста, являются: хорошее знание сказителем «дорог» богатырей и запоминание их имен. В зависимости от настроения сказителя и от наличия или отсутствия свободного времени, одно и то же сказание может быть исполнено более или менее развернуто.

Типические места, использованные кайчи, то развернутые и красочные, то сжатые, зависели, видимо, не только от его настроения, но и от разных способов фиксации эпоса (в самозаписи кайчи и в аудиозаписи). В живом исполнении мно-

гое зависит от настроения, здоровья кайчи и от других факторов. Самозаписи же, сделанные вручную, являются наиболее трудоемкими, так как требуют приложения физических усилий, усидчивости, внимания, возможно, и по этой причине запись оказалась сокращенной.

Список литературы

Гацак В. М. Устная эпическая традиция во времени. Историческое исследование поэтики. М.: Наука, 1989. 256 с.

Илларионов В. В. Эпическое наследие народа саха. Новосибирск: Наука, 2016. 342 с.

Казагачева З. С. Алтайские героические сказания “Очы-Бала”, “Кан-Алтын”. (Аспекты текстологии и перевода). Горно-Алтайск, 2002. 352 с.

Указатель – Кузьмина Е. Н. Указатель типических мест героического эпоса народов Сибири (алтайцев, бурят, тувинцев, хакасов, шорцев, якутов). Новосибирск: СО РАН, 2005. 1381 с.

Сказания – Сказания шорского кайчи В. Е. Таннагашева / Отв. редактор Е. Н. Кузьмина / Сост., подгот. текстов и пер. Л. Н. Арбачаковой. Новосибирск, 2015. 318с.

ШГС – Шорские героические сказания / Вступ. ст., подгот. поэтического текста, пер., коммент. А. И. Чудоякова; музыковед. ст. и подгот. нотного текста Р. Б. Назаренко. Москва; Новосибирск: Наука, 1998. 463 с. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока. Т. 17)

ШГЭ – Шорский героический эпос / Сост., подгот. к изд., ст., пер. на рус. яз., прилож., примеч. и коммент. Д. А. Функа; сказитель В. Е. Таннагашев. Кемерово: ООО «Примула», 2012. Т. 3: Сыбазын-Олак. Выспоренная Алтын-Торгу. Кара-Хан. 280 с. + CD.

Функ Д. А. Из истории текста шорского эпического сказания «Мерет-оолак» // Информационный бюллетень координационного Центра комплексных исследований эпической традиции (при отделе Севера Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН). М., 2003. № 3, июль-сентябрь. 23 с.

References

Funk D. A. Iz istorii teksta shorskogo epicheskogo skazaniya “Meret-oolak” [From the history of the text of the Shor epic tale “Meret-oolak”]. *BULLETIN of the Coordinative Center of Complex Studies of the Epic Tradition (Department of Northern and Siberian Peoples, Institute of Ethnology and Anthropology, RAS, Moscow)*. Moscow, 2003, no. 3, July-September, 23 p.

Gatsak V. M. *Ustnaya epicheskaya traditsiya vo vremeni. Istoricheskoe issledovanie poetiki* [Oral epic tradition in time. A historical study of poetics]. Moscow, Nauka, 1989, 256 p.

Illarionov V. V. *Epicheskoe nasledie naroda Sakha* [Epic heritage of the Sakha people]. Novosibirsk, Nauka, 2016, 342 p.

Kazagacheva Z. S. *Altayskie geroicheskie skazaniya “Ochy-Bala”, “Kan-Altyn”*. (*Aspekty tekstologii i perevoda*) [Altai heroic epics “Ochy-Bala”, “Kan-Altyn”. (Aspects of textology and translation)]. Gorno-Altaysk, 2002, 352 p.

Kuz'mina E. N. *Ukazatel' tipicheskikh mest geroicheskogo eposa narodov Sibiri (altaytsev, buryat, tuvintsev, khakasov, shortsev, yakutov)* [Index of typical places of the heroic epos of the peoples of Siberia (the Altai, Buryats, Tuvans, Khakassses, Shorians, the Yakuts)]. Novosibirsk, SB RAS, 2005, 1381 p.

Shorskiy geroicheskiy epos [Shor heroic epic]. D. A. Funk (Comp., prep. for the publ., transl. into Russian, appendix, notes, and comm.), V. E. Tannagashev (Narrator). Kemerovo, OOO "Primula", 2012, vol. 3: Sybazyn-Olak. Vysporennaya Altyn-Torgu [Sybazyn-Olak, Contested Altyn-Torgu, Kara-Khan]. Kara-Khan, 280 p. + CD.

Shorskie geroicheskie skazaniya shorskogo kaychi V. E. Tannagasheva [Stories of the Shor Kaichi of V. E. Tannagashev]. E. N. Kuz'mina (Ed. in ch.), L. N. Arbachakova (Comp., prep. of the texts and transl.). Novosibirsk, 2015, 318 p.

Shorskie geroicheskie skazaniya [Shor heroic stories]. A. I. Chudoyakov (Intr., prep. of the poetic text, transl., comm.), R. B. Nazarenko (Musicol. art. and prep. of the music text). Moscow; Novosibirsk, Nauka, 1998, 463 p. (Pamyatniki fol'klora narodov Sibiri i Dal'nego Vostoka [Monuments of folklore of the peoples of Siberia and Far East]. Vol. 17)

Сведения об авторе

Арбачакова Любовь Никитовна – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Сектора фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН (Новосибирск, Россия)

anzass@mail.ru

ID 103000

ORCID 0000-0001-9570-6505

Information about the Author

Lyubov N. Arbachakova – Candidate of Philology, Senior Researcher at the Department of Folklore of the Peoples of Siberia, Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation)

anzass@mail.ru

ID 103000

ORCID 0000-0001-9570-6505

Литературоведение

УДК 821.161.1 + 82.0
DOI 10.17223/18137083/74/5

«Людоеды, или Люди шестидесятых годов» Д. Д. Минаева, «Преступница, или нет» В. П. Буренина: как сделана пародия

А. Е. Козлов

*Новосибирский государственный педагогический университет
Новосибирск, Россия*

Аннотация

Пародии «Людоеды, или Люди шестидесятых годов» (1871) Д. Д. Минаева и «Преступница, или нет» (1872) В. П. Буренина рассматриваются в аспекте жанровых функций и конвенций и элементов «договора» между автором и читателем. Наряду с моделируемым читателем учитывается и эмпирический адресат, существующий в системе спроса и предложения. В статье осуществлена попытка контекстуализации данных пародий в соответствии с изменением поля литературы и газетно-журнальной среды (кризис полемика романа, рост популярности остросюжетной беллетристики и массовой литературы, конкуренция «толстых журналов», еженедельников и газет). Отдельное внимание уделено редакциям двух пародий: в текстуальных вариантах и элиминациях усматривается прагматическая составляющая, объясняемая условиями литературной борьбы.

Ключевые слова

русская литература XIX века, теория пародии, Буренин, Минаев, «Искра», вторичность и альтернативность, карнавализация, гротеск, травестия

Благодарности

Исследование выполнено в рамках гранта президента РФ для поддержки молодых ученых (МК-841.2020.6 ««Искра» (1859–1873) как энциклопедия русской жизни: издательские практики, сюжетные механизмы и жанровые модификации»)

Для цитирования

Козлов А. Е. «Людоеды, или Люди шестидесятых годов» Д. Д. Минаева, «Преступница, или нет» В. П. Буренина: как сделана пародия // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 65–81. DOI 10.17223/18137083/74/5

© А. Е. Козлов, 2021

ISSN 1813-7083
Сибирский филологический журнал. 2021. № 1
Siberian Journal of Philology, 2021, no. 1

**Cannibals, criminals, grotesque and mass-fiction:
How the parody is made
(Victor Burenin and Dmitry Minaev cases)**

A. E. Kozlov

*Novosibirsk State Pedagogical University
Novosibirsk, Russian Federation*

Abstract

Parodies and travesty texts of Russian journalism of the early 1870s (published in “Iskra” and “Sankt-Peterburgskie Vedomosti”) are considered in the aspect of genre functions, conventions, and elements of the “contract” between the author and the reader. The paper attempts to contextualize the parodies “Cannibals, or people of the sixties” (1871) by D. D. Minaev and “She is a criminal, or not?” (1872) by V. P. Burenin following the changing field of literature and journalism, in particular, a crisis of the polemic novel, growing popularity of action-packed fiction and mass literature, competition of “thick magazines”, weeklies, and newspapers. Special attention is paid to the editions of two parodies. Minaev’s parody “Cannibals, or people of the sixties” is an anti-nihilistic novel in the carnival space of grotesque and satire. By revealing the unsightly sides of the originals and prototypes, excessive eroticism (against V. Avenarius and V. Krestovsky) and sensational deviance (forcing one to recall A. Pismensky, N. Leskov and F. Dostoyevsky), indicate the exhaustion of the source material. Burenin’s parody also demonstrates the exhaustion of topical themes and motives. Claiming to be a “follower” of A. Dumas-fils, E. Zola, P. A. Ponson du Terrail, Burenin skillfully parodies both a foreign crime novel (first of all, Wilkie Collins) and domestic examples of the “same” genre (Turgenev, Dostoyevsky, Akhsharumov). The parodies under study combine the baroque with the postmodernist aesthetics, making these texts available for further interpretation and commentary.

Keywords

Russian literature of the 19th century, theory of parody, Burenin, Minaev, Iskra, secondary and alternativeness, carnivalization, grotesque, travesty

Acknowledgments

The research was supported by a grant from the President of the Russian Federation to support young scientists (МК-841.2020.6 “Iskra (1859–1873) as Encyclopedia of Russian Life: publishing practices, plot mechanisms, genre modifications”)

For citation

Kozlov A. E. Cannibals, criminals, grotesque and mass-fiction: How the parody is made (Victor Burenin and Dmitry Minaev cases). *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 65–81. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/5

Разработанная в литературоведении теория пародии определяет основные подходы к интерпретации пародийных произведений и стилизаций, которые, исходя из фабульной и структурной организации, справедливо относить ко вторичным текстам литературы. После новаторских работ русских формалистов¹ пародирование перестало осознаваться как рутинный процесс клиширования исходного материала и стало рассматриваться в качестве одного из определяющих «смену

¹ Ключевую роль сыграли хрестоматийные статьи и работы Ю. Н. Тынянова [1977], частное применение теории пародии представлено в работах В. Б. Шкловского [1921] и Б. М. Эйхенбаума [1927].

главенствующих течений» [Тынянов, 1977] нетривиальных механизмов, обновляющих репертуар стилей, поэтик и сюжетов². М. Л. Гаспаров [1975] справедливо указывал на двоякую функцию пародии: «высмеиваются как заштампованные, отставшие от жизни приёмы поэзии, так и пошлые, недостойные поэзии явления действительности; разделить то и другое иногда очень трудно». Продолжая мысль М. М. Бахтина [1973] о соотношении авторского и чужого слова в пародийном тексте, В. Ш. Кривонос подчеркивает: «Пародия воспроизводит чужой стиль вместе с его миром (она направлена и на предмет, и на пародируемое слово об этом предмете), причем авторское и чужое устремления, при всех возможных разновидностях пародийного слова, неизменно остаются разнонаправленными» [2008, с. 159]. Не менее важным стало изучение феномена литературной, в том числе и пародийной личности³, позволяющее установить основные этапы формирования и редукции репутации писателя, сотрудника беллетристического отдела журнала. Однако вопрос о роли пародиста как агента влияния [Bourdieu, 1996] и семантической жизни [Чумаков, 1999] пародии заслуживает дальнейшего изучения.

Говоря о воздействии пародии на репутацию писателя в локальной ситуации, отметим: «сильные» имена обычно переживают такую «проверку» (например, Ф. М. Достоевский или И. С. Тургенев), в то время как имена «слабые», принадлежащие эпигонам и подражателям, зачастую дискредитированные многочисленными пародиями, постепенно теряют свои экономические свойства [Русский реализм..., 2020]. Подобная закономерность распространяется и на пародистов: большинство из них, принимая амплуа тени и подражателя, лишаются *права на имя* в большой истории литературы [Козлов, 2020]. Так, рассматриваемые в настоящей статье Д. Д. Минаев и В. П. Буренин, несмотря на интенсивность своей полемической деятельности, не смогли завоевать самостоятельной позиции в современной им литературе. Сын Д. И. Минаева, Дмитрий Дмитриевич, пошел по стопам И. И. Панаева: его *темный человек, обличительный поэт и отставной Майор Бурбонов* типологически близки к фельетонным маскам «Современника» 1850-х гг.⁴ Несмотря на свою «вездесущность», этот сотрудник «Светоча», «Времени», «Современника», «Русского слова», «Гудка» и «Искры» оставался журналистом-фельетонистом, работающим преимущественно на злобу дня. Знаменательно, что журналист, большую часть жизни пародировавший прецедентные и выдающиеся явления русской литературы в стихах и прозе, не был способен создать сколько-нибудь самостоятельное произведение⁵. В отличие от Д. Д. Ми-

² См. об этом: [Гроссман, 1930; Морозов, 1960; Гаспаров, 1975; Новиков, 1989; Rose, 1993; Шатин, 2009].

³ Обзор основных работ представлен в исследованиях: [Румянцева, 2007; Целикова, 2007а; 2007б; Шабалина, 2014].

⁴ Ни одна из литературных масок Минаева не стала канонической, в отличие, например, от литературной маски Козьмы Пруtkова, чья пародийная личность со временем отделилась от создателей [Лотман, 1997].

⁵ Исключение составляют его драматические опыты (в частности, «Разоренное гнездо», удостоенное Уваровской премии), а также многочисленные переводные произведения. Несмотря на то что произведения Д. Д. Минаева не имели серьезного значения (некрологи фиксируют скромные похороны, большинство пародий не переиздавалось), ревизия его литературного наследия привела М. Л. Гаспарова к неожиданному выводу («пародический текст звучит так же естественно, как и оригинальный» [1997, с. 40]) и парадоксальному заключению об экспериментальном характере минаевских пародий, «представляющих собой перестановку слагаемых, меняющую сумму» [Там же, с. 47].

наева, В. П. Буренин в первую очередь претендовал на роль независимого критика и арбитра. Однако его оценки и рецензии носили сиюминутный характер и не стали общепринятыми: за статьями и фельетонами критика не стояло ни единой концепции, ни сильной личности [Игнатова, 2010; Шабалина, 2012; 2014]. Наконец, реакцию третьей волны, знаменующую исчерпанность не только идеологических споров, но и художественных решений, определили романы Н. С. Лескова «На ножах» и «Бесы» Ф. М. Достоевского. Переживший многих своих современников Буренин застал новый этап развития литературы, представленный в произведениях писателей чеховской поры⁶, вступал в баталии с русскими модернистами [Рейтблат, 2005; Крылов, 2014; Пенская, Куликова, 2018].

Контекст появления изучаемых пародий хорошо изучен. Оба текста, вышедшие сначала на страницах периодики, а впоследствии переизданные в отдельном книжном варианте, – локализованы в начале 1870-х гг. и отзываются на основные жанровые клише и шаблоны полемики романа – специфического журнального конструкта, объединяющего в себе ресурсы критики и беллетристики [Зубков, 2015]. Как известно, тенденция, инициированная «Асмодем нашего времени» В. И. Аскоченского, достигает пика после выхода в свет романов «Отцы и дети» И. С. Тургенева, «Что делать?» Н. Г. Чернышевского [Старыгина, 2003; Thorstenson, 2013]. Наиболее яростный этап противостояния фракций «новых людей», либералов 40-х гг. и консерваторов связан с появлением в печати романов А. Ф. Писемского «Взбаламученное море» и Н. С. Лескова «Некуда» (приведшая ее автора, скрывшегося под псевдонимом Стебницкий, к остракизму и «изгнанию» из большого литературного мира). Вторую волну противостояния вызвали повести В. П. Авенариуса и В. В. Крестовского, спровоцировавшие из-за чрезмерной остроты сюжета и вульгарного эротизма негодование как либеральной, так и консервативной критики. Наконец, третью волну, знаменующую исчерпанность не только идеологических споров, но и художественных решений, вызвали романы Н. С. Лескова «На ножах» и «Бесы» Ф. М. Достоевского.

«Людоеды, или люди шестидесятых годов»⁷ (1871, 1881), таким образом, отзываются на наиболее резкие стороны антинигилистических романов, с позиции радикально-демократической критики не воспринимавшихся как самостоятельные произведения. Обычно такие романы трактовались как пародии на прецедентные тексты, низводящие типы современности с литературного пьедестала. Таким образом, единственным способом избежать плеонастического «пародирования пародирования»⁸ становилось доведение данных в антинигилистическом

⁶ Давая негативную оценку своего современника, В. М. Дорошевич писал: «В кандалном отделении “Нового времени”, в подвальном этаже, живет старый, похожий на затравленного волка, противный человек с погасшими глазами, с болезненным, землистым лицом, с рыжими полуседыми волосами, с холодными, как лягушка, руками. Это старый палач Буренин. Сахалинская знаменитость» (*Дорошевич В. М. Собр. соч. М.: Тов-во И. Д. Сытина, 1905. Т. 4: Литераторы и общественные деятели. С. 65*). Далее Дорошевич называет терзаемых Бурениным писателей: «Скабичевский, Стасов, Чехов, Антон Павлович, Немирович-Данченко, Василий и Владимир, Боборыкин, Плещеев-покойник, сам Толстой, Лев Николаевич» (Там же, с. 69).

⁷ В названии произведения обыгрываются как inferнальные темы антинигилистических романов: «Поветрие», «Панургово стадо», «Бесы», так и поколенческий сюжет, представленный в романе А. Ф. Писемского «Люди сороковых годов».

⁸ То есть «вторичного пародирования», когда пародия создается на материале заведомо вторичных текстов, пародийных по отношению к оригиналу («отражение отражения» [Морозов, 1960]).

романе ситуаций до абсурда. Разумеется, это предполагало отказ от реалистической тенденции: чем гротескнее и ужаснее были представляемые персонажи, тем более успешной оказывалась пародия.

Обращаясь к сюжетному фонду сенсационного и криминального романа, прибегая к приемам будуарной прозы и прямо заимствуя сюжеты из современной литературы (пародист направляет читателя: «Смотри романы А. Писемского “В водовороте”, Ф. Достоевского “Бесы”, Н. Стебницкого “На ножах”, и пр. и пр. им же нет числа»⁹), Минаев создавал нарочито скандальное произведение. Главный герой Саулов¹⁰, подобно Пустовцеву, Базарову или Рязанову¹¹, просвещает «образованную женщину» Ремизову, в чертах которой угадываются Софья Ленева («Взбаламученное море») и Глафира Бодростина («На ножах»). Просвещение предполагает совместное посещение петербургских трактиров¹², бань и домов терпимости¹³. Эмансипированная Ремизова, усвоившая новейшую этику «чистого разврата», оставляет просветителя и, следуя разумному эгоизму, становится проституткой. Ее пасынок, недавно вернувшийся из-за границы¹⁴, приглашает своих молодых друзей на пикник и угощает сытным обедом: в конце произведения выясняется, что отцеубийца сделал своих единомышленников антропофагами.

Нетрудно увидеть, что пародия Минаева не только представляет антинигилистический роман в карнавальном пространстве гротеска и сатиры [Бахтин, 1979; Фрейденберг, 1973], но и нарушает мыслимые табу и запреты, традиционно существующие в поле коммуникации автора и читателя [Vasilenko, 2021]. Чрезмерный эротизм (направленный против Авенариуса и Крестовского) и сенсационная деви-

⁹ В поздней редакции перечень этих имен изменен. Вероятно, это объясняется этическими причинами: в 1881 г. ушли из жизни А. Ф. Писемский и Ф. М. Достоевский. В поздней редакции основным пародийным именем остается имя Стебницкого (к тому времени скомпрометированный и отброшенный Н. С. Лесковым псевдоним), одновременно автор указывает: роман «навеян» «чтением произведений князя В. Мещерского, Незлобина и др.» (цит. по: *Минаев Д. Д.* Любоеды, или Люди шестидесятых годов; Стихотворения, очерки и сказки. СПб., 1881). Далее роман цитируется по этому изданию с указанием номера страницы в круглых скобках. Варианты первой редакции оговариваются особо.

¹⁰ Ветхозаветные коннотации фамилии имеют двойное объяснение: во-первых, они позволяют опознать в герое разночинца, выходца из духовного сословия, с другой же – устанавливают параллель между Саулом, противопоставленным Царю Давиду, и маргиналом-антропофагом из поколения «детей».

¹¹ Отметим характерный «разночинский стиль» вербального и невербального поведения героя [Печерская, 2020]: Карета покатила. Саулов быстро осмотрел бумажник, сунул его в карман и, взглянув в сторону уехавшего экипажа, промычал сквозь зубы:

– Баба подходящая!.. (с. 73).

¹² Приведем описание одного вечера: «Кто пил, кто проповедовал. В одном углу стриженная девица держала какую-то корректуру, при каждой запятой выпивая глоток пуншу; в другом углу другая “подруга” наигрывала одной рукой на разбитой рояли марсельезу. Третья, ставши на стул и уже сильно утоливши жажду, доказывала очень несвязно, что учиться и делать что-нибудь очень глупо: нужно только жить и наслаждаться. Хохот, крики, звон битой посуды. Вторично сильно подвыпившая компания шибко расходилась. Две подружки затеяли даже драку, и их едва разняли. На дворе стояла уже ночь...» (с. 78).

¹³ Очевидно, описание публичного дома является реакцией на негативное и гротескное представление в антинигилистическом романе опыта организации жизни на новых началах по образцу Знаменской коммуны [Печерская, 2020] (например, описание Дома Согласия у Лескова).

¹⁴ Пара Саулов – Ремизов отражает конфигурации Горданов / Висленев, Верховенский / Ставрогин.

антность (заставляющая вспомнить с.;tns Писемского, Лескова и Достоевского)¹⁵, обнажая неприглядные стороны оригиналов и прототипов, становились сигналами исчерпанности исходного материала. Одним из характерных приемов, работающих на достижение подобного эффекта, становится введение в пародийных текст имен и фамилий реальных писателей и беллетристов.

В самой отдаленной части города, в плохоньком трактире под фирмой «Золотого Лебедя» собрался шумный кружок «непримиримых радикалов». Если в русской жизни вы, доверчивые читатели, и не видели подобных личностей, то можете ознакомиться с ними по романам <Писемского или Стебницкого>¹⁶. Вот признаки этих «непримиримых»: всклокоченные бороды, небрежный костюм, резкие и грубые мнения и манеры и повальное, бесповоротное отрицание чужой собственности, совести, добродетели, всякого положительного знания и цивилизации (с. 76).

<...>

Пары подтасовались по-новому и разъехались. Обо всем этом рассказывал нам г. Стебницкий; а можно ли не верить г. Стебницкому? (с. 79)

<...>

Через час, прифрантившись против обыкновения, Саулов вышел из дому. Он был в хорошем расположении духа, ощущая в своем кармане деньги (у него еще оставалось с чем-то двадцать рублей). Идя по улице, он думал про себя: «Нужно какую-нибудь штучку социальную отмочить! Отмочу, непременно отмочу!» Закинувши руки за спину, он продолжал дорогу, задумавшись, но вдруг, пройдя несколько шагов, остановился и весело встряхнул волосами: «Эврика!» – сказал и быстро перешел через улицу, к дверям одной харчевни.

– Такой штуки все Стебницкие и Писемские¹⁷ не придумают, чтоб отмалевать нашего брата в своих разухабистых романах! – ворчал наш герой, вступая в харчевню (с. 83).

Во всех случаях изображаемая действительность оказывается еще более нелепой и преступной, чем ее романские аналоги. Минаев испытывает читательское ожидание, построенное на клишированном воспроизведении эпизодов антинигилистических сюжетов. Неслучайно в конце произведения на его страницах по-

¹⁵ Еще одним немаловажным ресурсом для пародирования становится роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»: Саулов живет у старухи Амалии Францевны, пугая ее своим экстравагантным поведением (рассаживает в комнате в «одеянии Адама», спаивает и развращает сына хозяйки). На вопрос о деньгах герой отвечает: «– Разбогател, старушенция, получайте... Скоро так разживусь, что вас на содержание возьму» (с. 83). В дальнейшем Саулов встречает в харчевне человека, который, подобно Мармеладову, пытается рассказать историю собственной жизни: «Я с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым на Кавказе вместе служил, и если теперь по бедности и состою тапером у “девиц”, то все же я благородный человек, потому что трудом денежку добываю. Да!.. Налей-ка мне рюмочку!..» (с. 84). Наконец, в трактире Саулов находит «выжигу», который за пять обещанных ему рублей падает под первую подвернувшуюся коляску, везущую по Невскому проспекту *старушонку в собольем салопе*.

¹⁶ В поздней редакции: «по романам и рассказам Мещерского и Незлобина».

¹⁷ В поздней редакции эта пара фамилий не изменена, что, вероятно, объясняется небрежностью производимых Минаевым «косметических» правок.

явятся литературные личности¹⁸, а финальный эпизод будет реализован через Deus ex Machine: выход на сцену упоминаемых беллетристов, выступающих в качестве понятых и свидетелей совершенного преступления.

– Так узнайте, други и братья, чем мы вас потчевали. Вы участвовали в каннибальском обеде и съели моего отца, которого для вас я заклал, принес, так сказать, в жертву, и изготовил в виде различных жарких и соусов. Вместе со мной вы, друзья и братия, скушали большую часть тела моего незабвенного родителя, а остальную его часть я бросил в это озеро... Целуйте же меня и оцените мой самоотверженный подвиг.

Новые каннибалы стали качать Ремизова на руках.

– Помните только, – кричал последний, – что все должно быть шито и крыто, иначе мне придется плохо. Будьте довольны тем, что я перехитрил даже самого Сатурна: тот лакомился своими детьми, а я с вашей помощью съел своего, блаженной памяти, родителя. Ура!

В это время вход у палатки распахнулся и раздался громкий голос:

– Господа, по предписанию высшего начальства, вы все арестованы за людоедство.

Компания оглянулась. Сзади стоял полицейский чиновник и судебный следователь.

За ними выступали, в качестве понятых – гг. <Стебницкий и Писемский¹⁹> (с. 103).

Отмечая черты и детали, направленные на «разрушение этики», выскажем предположение, что подобные «Людоедам» тексты становились в культурном пространстве «пробным шаром», позволяющим проверить устойчивость конвенций, возлагаемых на чтение и интерпретацию художественных произведений современности. В этом контексте отталкивающий эротизм и пугающий криминальный фон становились декорацией, снимающей остроту социального конфликта. Не менее любопытным выглядит помещение конфликта отцов и детей в архетипическую плоскость (что вообще характерно для «Искры»): история отцеубийства и антропофагии [Фрейденберг, 1973] может быть рассмотрена как метафора рассыпающейся литературы, обманувшей самые смелые замыслы и предположения своих создателей: Лескова, Писемского и других (в редакции 1881 г. эти имена заменяются другими: Мещерского и Незлобина) – не названных, но подразумеваемых беллетристов.

Констатируя кризис полемической литературы, анонимный обозреватель «Искры» даже давал советы современным писателям:

¹⁸ На этом фоне загадочным выглядит практически незавуалированное описание безлобого человека, в котором узнается В. А. Соллогуб: «Швейцар оторопел и предложил Саулову обратиться к одному из старшин клуба, сидевшему, развалиясь, у другого стола. Саулов знал только по лицу этого старшину. То был устаревший великосветский хлыщ, написавший когда-то поэму “Рыдван” и несколько страничек воспоминаний о Пушкине. Впрочем, вернее говоря, это были воспоминания не о Пушкине, а о его лакее, который однажды утром не хотел впустить этого фата в квартиру автора “Онегина”» (с. 86). Заметим, что в этом портрете соединяются пародийные черты автора «Тарантаса» с гротескными чертами И. И. Панаева (в частности, эпизод встречи с Пушкиным).

¹⁹ В поздней редакции: гг. Кн. Мещерский и Незлобин.

Сюжет третий. Н. Лескову-Стебницкому. Роман в 12 частях: как шестимесячный младенец, в припадке всеотрицающих начал, зарезался перочинным ножиком, и что от сего произошло. Младенец оказывается главным коноводом тайного общества душителей ²⁰.

<...>

Сюжет седьмой. Ф. Достоевскому «Оборотни». Собственно сюжета и стройного плана не требуется. Можно по произволу (чем капризнее, тем лучше) распорядиться следующими атрибутами мистическо-забористого романа: “духовидцы” и “красные” мазурики, фурыеризм и синильная кислота, прокламации, револьверы и доносы, Женева и «Малинник», принципы 1849 года и грабеж во время пропаганды, женатые люди и девственницы, развращенные духом времени. Миллион действующих лиц и поголовное истребление их в конце романа, у которого должен быть автограф из «Сцены из Фауста» Пушкина ²¹.

<...>

Сюжет девятый. Н. Ахшарумову. «Живой покойник». Криминально-эротический роман. Содержание можно понадергать из целой серии французских романов, перекрасив парижских виконтов и маркиз в тульских баричей и помещиц. Чем меньше правдоподобия и здравого смысла – тем лучше ²².

Во всех приведенных «сюжетах», как и в пародии Минаева, угадываются фавбулы оригинальных текстов: «На ножах» Н. С. Лескова и «Бесы» Ф. М. Достоевского осмысляются одновременно как памфлеты («Женева и Малинник», «тайное общество душителей») и неудачные вариации на тему французского сенсационного романа. Опубликованный в «Отечественных записках» Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина роман Н. Д. Ахшарумова «Концы в воду», интерпретируется как водевильное «переодевание» исходных, давно знакомых по западно-европейскому контексту сюжетов в русское платье.

Близкое мнение транслировал и обозреватель «Санкт-Петербургских ведомостей».

Народная струя в беллетристике миновала, и ее сменила струя буржуазная, разливающаяся все больше и больше и грозящая затопить литературу широким, и нельзя сказать, чтобы чистым и ароматным потоком. Все основные элементы, которыми отличается европейская буржуазная беллетристика, разумеется, присутствуют и в нашей.

²⁰ Утрированная контаминация сюжетов «Леди Макбет Мценского уезда» (обреченный ребенок) и романа «На ножах» (общество «нигилистов», возглавляемое Павлом Гордановым).

²¹ Карикатурное представление эсхатологических глав романа Ф. М. Достоевского. Вместо эпиграфа из «Бесов» используется фрагмент «Сцены из Фауста». Чуть позже «Искра» отреагировала на сотрудничество Достоевского в журнале «Гражданин»:

Две силы взвесивши на чашечке весов,
Союзу их никто не удивился.
Что ж! Первый дописался до «Бесов»,
До чертиков другой договорился.

(На союз Ф. Достоевского и кн. Мещерского // Искра. 1873. № 2. С. 7).

²² Литературное домино. Праздничные подарки «Искры» // Искра. 1873. № 19. С. 3.

- А. Дряблая психология дряблых страстей.
- Б. Отношения с примесью тонкой и раздражающей клубники.
- В. Кровавые эффекты и уголовщина.

На этих трех струнах новейшие представители буржуазной беллетристики будут играть столь же легко, столь же часто и столь же охотно, как народные беллетристы играли на струнах страдания мужичка от злодеев станowych и смехотворности его говоров. Уже и теперь появляются российские доморощенные Бальзаки, изображающие в романах тонкие отношения девушки, жаждущей «узнать жизнь», и замужней женщины, лежащейся первый раз в постель холостяка, к которому она ушла от мужа («Дельцы»), уже и теперь мы встречаем в произведениях российских Понсон-дю-Терралей мертвые головы, целующиеся с живыми («На дальних окраинах»), уже и теперь мы обретаем у российских Дюма-фисов героинь-отравительниц («Концы в воду») ²³.

Пolemический пафос этого отзыва очевиден. Обращаясь к частным примерам, обозреватель в первую очередь «метил» в «Отечественные записки» Н. А. Некрасова и М. Е. Салтыкова-Щедрина, выступая, в частности, против Н. К. Михайловского [Игнатова, 2010; Шабалина, 2012]. Действительно, беллетристический отдел «Записок» в начале 1870-х гг. мало напоминал «Современник»: в борьбе за признание новая редакция сделала шаги навстречу так называемому «буржуазному читателю», предложив ему как переводы западноевропейской беллетристики, так и оригинальные сочинения детективного или мелодраматического жанра. Обвиняя новую редакцию в непоследовательности, обозреватель фактически демонстрировал, что «народная струя» была всего лишь тенденцией, определяемой структурой спроса. Вместе со сменой читателя – по этой логике – поменялся и спрос: в портфеле редакции нашлись подходящие для такого развлекательного досуга произведения. Таким образом, эстетические свойства современной беллетристики оценивались «Искрой» и «Ведомостями» как корреляты экономической ситуации.

Опубликованный следом рассказ *Маститого беллетриста* «Преступница, или нет» (1872, 1874), написанный с целью выказать «яркие, но непривлекательные особенности современной беллетристики», иллюстрировал слабые стороны характеризуемой литературы («Современные беллетристы компилируют эти сюжеты обыкновенно из разных иностранных романов, но они не признаются в этом»). В предисловии к тексту пародии ее автор В. П. Буренин называл свой текст «плодом начитанности», противопоставляя его плодам творчества. Говоря об источниках своей компиляции, он называет романы Уилки Коллинза, Александра Дюма-сына и отчасти Эмиля Золя, «Из отечественных беллетристов автор считает долгом принести благодарность гг. Тургеневу и Достоевскому, так как он много обязан чтению их произведений» ²⁴. И хотя основным материалом для пародии стал роман Н. Д. Ахшарумова «Концы в воду», на уровне стиля и композиционного построения определяющими оказались произведения этих писателей.

²³ Z. Журналистика // Санкт-Петербургские ведомости. 1872. № 319. (2 дек.). Близкой по содержанию была статья М. де Пуле «Нечто об оскудении литературных талантов».

²⁴ Буренин В. П. Преступница, или нет // Санкт-Петербургские ведомости. 1872. № 318 (19 нояб.). В редакции 1874 г. предисловие от автора убрано. Далее цитируется по: Буренин В. П. Рассказы в современном вкусе (соч. Маститого беллетриста). СПб., 1874, номера страниц указаны в круглых скобках.

Уже с первого предложения: «Это было в конце августа 186* года» пародируется реалистический роман, наиболее ярко представленный инициальной фразой «Отцов и детей» И. С. Тургенева. Несмотря на типичность такого зачина, дальнейшее повествование построено на отстраненном взгляде русского фланера (ночная прогулка на ялике ориентирована на экспозицию «Аси»), утрированном обращении к народности (диалоги с яличником²⁵ и ямщиком²⁶, представляющие искаженный вариант «Записок охотника») и избыточной описательности, призванной замедлить развитие основных событий²⁷. Вынося в название пародии сенсационный вопрос («Преступница, или нет?»), Буренин также учитывал специфический стиль романа Достоевского [Жиркова, 2019].

Несколько иначе пародист работал с материалом романов Достоевского: здесь заимствовались как отдельные фабульные звенья («нервическая упорная страсть» опекуна к молодой семнадцатилетней девушке), психиатрические индивидуальности (эпилептические столбняки героини) и даже фамилии отдельных героев (например, погибший советник Павлищев, оставивший наследство). Вынося в название пародии «сенсационный вопрос» («Преступница, или нет»), Буренин также

²⁵ Разговор с яличником:

– Чего там, начал было он довольно неохотно, но, рассмотрев, что перед ним «господин», вдруг смягчил тон и кончил извинением, что не заметил прихода «господина».

– Что же это так занялся: луну что ли разглядывал? – сказал я шутя.

– Какую это, господин, луну? – спросил он с некоторым недоумением.

– Месяц, – пояснил я.

– О! А чего его разглядывать! Нешто не видывали мы месяца-то... Ялик что ли прикажете? (с. 196).

²⁶ Диалог с ямщиком: «Максим был в полном смысле тип ямщика, ныне уже исчезающий, благодаря появлению железных дорог. Недаром Максима называли важным и величали больше этим прозванием, а не по имени: старик имел, действительно, важную сократическую голову с седыми вьющимися волосами на бороде и голове, с прищуренными добрыми глазами и необыкновенно ласковой улыбкой. По росту и по плечам он смотрел богатырем, править же лошадьми умел так, как сам классический автомедон, и, подобно ему, любил разговаривать с лошадьми, понимавшими его речи точно так же, как он понимал их движения».

Дальше приводится диалог:

– Батюшка, Платон Николаич! – воскликнул старик, завидя меня.

– А, Важный.

Мы расцеловались. Затем последовала оценка перемен в наружности того и другого. Кончив субъективные излияния, мы обратились к другим вещам.

– Ты что же тут с лошадьми что ли? – спросил я.

– Три дня, батюшка, вас дождем, как же, три дня. Виктор Иванович сами в первый же день выезжали по вашему письму. Прождали до ночи, потом обратно выехали, а меня оставили на станции. Запоздали вы дуже, сударь, – кончил он, сощурился смеющимися, добрыми глазами, от век которых по щекам побежали как будто лучи мелких морщинок (с. 265).

²⁷ Например, описывая дуэль, рассказчик сообщает: «На следующее утро часов в шесть мы сошлись в условленном месте – в одном из ближних лесков окрестностей Лопаснева. Утро было чудесное. Прозрачный свет солнца озарял лес так светло, так радостно. Длинные ультрамариновые тени от красно-золотых стволов сосен тянулись косыми полосами вдоль небольшой просеки, выбранной нами. Трава была мокра от росы. Птицы чирикали и заливались...» (с. 336).

учитывал специфический стиль романа Достоевского, на это, в частности, указывают конструкции с подчеркнутым местоимением [Василенко, 2016], в духе: «Я поняла, что *то* уже подступило; Я едва могу написать, как *он* сделал *это*», а также внезапные пробуждения героя (...и проснулся).

Наконец, ресурсом пародии служат как новейшие образцы викторианского и ньюгейтского романов (женщина-призрак, блуждающая по полям и лесам поместья, – от «Грозового перевала» до «Холодного дома» и «Женщины в белом» [Матвеевко, 2014]), французская мелодрама («Дама с камелиями» А. Дюма-сына, «Мадлен Фера» Э. Золя) и фельетонный роман («Дело Клемансо» А. Дюма-сына, «Марсельские тайны» Э. Золя, «Волчица из Шато-Тромпет» Понсона дю Террайя). Ключевым текстом, объясняющим основные фабульные решения, становится роман Н. Д. Ахшарумова «Концы в воду»²⁸: представлена история «падшей женщины», ставшей соучастницей преступления, история ее «падения» связана с роковым, inferнальным вмешательством любовника, устраняющего законного супруга (у Ахшарумова – Ольгу Бодягину, у Буренина – Павлицева). Наконец, в обоих текстах, имеющих претекстом роман Коллинза [Матвеевко, 2014], присутствует свидетель преступления (названный Ахшарумовым «Каменным гостем»), разоблачающий убийцу и являющийся возможной жертвой.

Сравнение сюжетных ролей и функций героев
Comparison of plot roles and characters functions

Функция героя	The Woman in White (1860)	Концы в воду (1872)	Преступница, или нет (1872)
Герой-наблюдатель / расследователь	Walter Hartright	Сергей Михайлович Черезов	Платон Обухов
Герой-жертва	Laura Fairlie	кузина Черезова, Ольга	Павлищев
Убийца	Percival Glyde	Павел Иванович Бодягин (Поль)	Уриил Борзих *
Сообщница убийцы, «роковая женщина»	Anne Catherick	Юлия Николаевна Штевич	Марья Генриховна Павлицева (Тьенетта)

* Очевидно, имя связано с именем героя-злодея Диккенса – Урией Хиппом.

Отчасти такой тип пародирования напоминает решение кроссворда или сочинение простейшей шахматной задачи: автор пародии дает «ключи», а читатель последовательно «подбирает» их к каждому эпизоду²⁹. Однако, в отличие от со-

²⁸ Не исключено, что роман Ахшарумова создавался как заведомо альтернативное романам Достоевского произведение, посвященное преступным и девиантным натурам [Володина, Лаврова, 2018].

²⁹ Закономерно, что, обращаясь к технике «пародирования пародирования», Буренин вводит в свой текст двойную референцию.

Во всю дорогу до Гатчины он иронизировал надо мной и продергивал меня по поводу «таинственной незнакомки или преступницы берегов Невы». Он советовал

ствязательных игр, после нескольких номеров Буренин разоблачает свою стратегию. Заставляя рассказчика проснуться, он возвращает читателя к реальности: здесь нет ни ночного убийства, совершенного неверной супругой, ни роковой дуэли, приведшей к необратимым последствиям. Говоря о своем друге Иртеневе, повествователь замечает, что тот живет безвыездно в местечке Лопаснево, воспитывает шестерых детей, рожденных в законном браке с Варварой Петровной Пазуховой, и не знает никакой роковой Тьенетты: «Ах, я должен признаться, что предпочитаю варенцы и простоквашу всем романам на свете, даже романам г. Ахшарумова, с таинственными завязками и отравлениями» (с. 340).

Отвечая обманутому читателю, Буренин резонно пишет о том, что его текст – пусть даже пародийный и заведомо вторичный – все-таки доставил адресату некоторое удовольствие:

Посмотрите, чего только у меня нет: и таинственное преступление при луне, и шифрованная исповедь, и встреча героя и героини среди трупов, и «призрак прошлого» героини, и любовное объяснение на «руинах Колизея», и крымские виллы на берегу моря, и столбняки, и обмороки, и седина в одну ночь, и насилие с хлороформом и без него, и свидание героини со злодеем при блеске молний, и борьба героя со злодеем на краю могилы его жертвы, и, наконец, дуэль. Разве этого мало? Да помилуйте, я написал на такой романтический сюжет только четыре листа, написал шутя, в пику гг. Ахшарумовым и Стебницким³⁰. Но ведь если бы я, подобно этим последним, вздумал «серьезно» морочить публику, я бы мог написать легко четыре части, каждая листов по семи печатных. Мне бы это ничего не стоило, и я бы стяжал славу «настоящего» романиста. Но я не хочу, читатель, такой громкой славы: я предпочитаю скромную известность юмориста, который хорошо разумеет настоящие качества современных «настоящих» романистов (с. 341).

Таким образом, пародист не только разоблачал устаревшие приемы, использованные его современниками, но и демонстрировал исходное право автора радикальным образом менять сценарий собственного текста. При нарушении «догово-

мне, чтобы отделаться от галлюцинации, обливаться водою, или написать роман на интересно-уголовный сюжет. Героем этого романа он просил сделать его, Иртенева, заставив его за границей встретиться с таинственной незнакомкой, влюбиться в нее, жениться на ней и потом убедиться, что он стал законным супругом убийцы, утопившей, зарезавшей и удавившей несметное число христианских душ (с. 222).

В дальнейшем повествовании именно такой вариант находит реализацию: Иртенев, воспитанный на клишированных образцах европейской беллетристики, как и его собеседник Обухов, безошибочно предсказывает все, что случится с ним далее.

³⁰ В отличие от романа Ахшарумова, «Бесы» Достоевского оценивались критиком иначе: «Несмотря на всю фантазмагоричность этого романа, несмотря на всю болезненность творчества даровитого автора, все-таки приходится сказать, что “Бесы” – едва ли не лучший роман за настоящий год. Среди множества эпизодов, наполненных странным сочинительством, среди хаоса внешнего содержания романа, в “Бесах” встречаются страницы, исполненные живой правды, встречаются лица, созданные почти художественно. Таковы, например, фигуры Степана Трофимовича Верховенского, идеалиста сороковых годов, и губернатора Лембке. Разные современные гении буржуазной журналистики – все эти гг. Стебницкие, Маркевичи, Авсеенки, Боборыкины, Ахшарумовы – никогда не создадут таких типов, при всем их усердии и при всей их ловкости» (Z. Журналистика // Санкт-Петербургские ведомости. 1872. № 351. (3 янв.). С. 2).

ра» и разоблачении «эффекта реальности» такая демонстрация в то же время уравнивала в правах сатирика-пародиста и доверившегося ему читателя. Однако заключительные слова, посвященные репутации «настоящего романиста», имеют ярко выраженную симптоматику: в них отражается не только возможность создания романа, но и хлестаковская бравада о статусе настоящего писателя (в конце Буренин буквально соотносит себя с Жюлем Жаненом). Тем не менее подобные «Преступнице...» тексты, демонстрируя несовершенство современной массовой литературы, были ее неотъемлемой частью, сами принадлежали ей, что не могло прибавить «наличного капитала» имени скандального пародиста [Рейт-блат, 2005].

В заключение отметим: два вышерассмотренных сюжета, построенных по монтажному принципу, не исчерпываются «каталитическими» свойствами. Тексты этих пародий не только торопят смену главенствующего литературного течения, но и создают принципиально полемические конфигурации художественного текста, часто нарушающие сложившиеся конвенции: нормативную систему ценностей, этические и эстетические пределы [Rose, 1993]. В этом нарушении отчетливо проявляются механизмы карнавала, соединяющие барочный тип литературы и читательского сознания с современным – постмодернистским, что делает эти тексты открытыми для дальнейших интерпретаций и комментирования.

Список литературы

- Бахтин М. М.* Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. М., 1973.
- Василенко А. Г.* Графически выделенное слово: эволюция художественного приема (на материале творчества Ю. В. Трифонова) // Сибирский филологический журнал. 2016. № 1. С. 193–199. DOI 10.17223/18137083/54/23
- Володина Н. В., Лаврова С. Ю.* Творчество Н. Д. Ахшарумова: опыт монографического анализа беллетристических текстов. Череповец, 2018.
- Гаспаров М. Л.* Пародия // Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М., 1975. Т. 19.
- Гаспаров М. Л.* «Уснуло озеро» Фета и палиндромон Минаева. Перестановка частей // Гаспаров М. Л. Избранные труды. М., 1997. Т. 2: О стихах.
- Гроссман Л.* Пародия как жанр литературной критики // Русская литературная пародия. М.; Л., 1930. С. 390–415.
- Жиркова М. А.* Традиции Ф. М. Достоевского в романе Н. Д. Ахшарумова «Концы в воду» // Art Logos. 2019. № 2 (7). С. 18–33.
- Зубков К. Ю.* «Антинигилистический роман» как полемический конструкт радикальной критики // Вестник Моск. ун-та. Серия 9: Филология. 2015. № 4. С. 122–140.
- Игнатова И. Б.* Литературно-критическая деятельность В. П. Буренина: генезис, эволюция, критический метод: Дис. ... канд. филол. наук. М., 2010.
- Козлов А. Е.* Рефлексия эпигонов в русской прозе первой половины XIX века // Критика и семиотика. 2014. № 1. С. 34–55. DOI 10.22455/2500-4247-2020-5-2-34-55
- Кривонос В. Ш.* Пародия // Поэтика. Словарь актуальных терминов / Под ред. Н. Д. Тамарченко. М.: Изд-во Кулагиной, 2008.
- Крылов В. Н.* Образ В. П. Буренина в пародийной литературе начала XX века // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 6-2. С. 96–98.

Лотман Ю. М. Массовая литература как историко-культурная проблема // Лотман Ю. М. О русской литературе. Статьи и исследования: история русской прозы, теория литературы. СПб.: Искусство, 1997.

Матвеев И. А. Типологические схождения романов Н. Д. Ахшарумова «Концы в воду» и У. Коллинза «Женщина в белом» // Сибирский филологический журнал. 2014. № 1. С. 80–87.

Морозов А. А. Пародия как литературный жанр (к теории пародии) // Русская литература. 1960. № 1. С. 80–87.

Новиков В. И. Книга о пародии. М.: Сов. писатель, 1989.

Пенская Е. Н., Куликова Е. Ю. Литературные и эстетические парадоксы Виктора Буренина // Сибирский филологический журнал. 2018. № 1. С. 152–167. DOI 10.17223/18137083/62/11

Печерская Т. И. Разночинский дискурс русской литературы XIX века. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2018.

Печерская Т. И. Феномен культурной экспансии разночинцев 1860-х годов: литературная ниша «писатель-народник» // Критика и семиотика. 2020. № 1. С. 263–278.

Рейтблат А. И. Буренин и Надсон: Как конструируется миф // НЛЮ. 2005. № 75. С. 154–167.

Румянцева В. Н. Стихотворный фельетон середины XIX века: Н. А. Некрасов, В. С. Курочкин, Д. Д. Минаев: Дис. ... канд. филол. наук. Оренбург, 2007. 234 с.

Русский реализм XIX века. Общество, знание, повествование / Под ред. А. Вдовина, К. Осповата, М. Вайсман. М.: НЛЮ, 2020.

Старыгина Н. Н. Русский роман в ситуации философско-религиозной полемики 1860–1870-х годов. М.: Языки славянской культуры, 2003. 352 с.

Тынянов Ю. Н. Достоевский и Гоголь (к теории пародии) // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.

Тынянов Ю. Н. О пародии // Тынянов Ю. Н. Литературная эволюция. Избранные труды. М., 2002.

Фрейденберг О. М. Происхождение пародии // Труды по знаковым системам. Тарту, 1973. Вып. 6. С. 490–497.

Целикова Е. В. Пародийная личность А. А. Фета в творчестве поэтов «Искры»: Дис. ... канд. филол. наук. Череповец: ЧГУ, 2007а. 267 с.

Целикова Е. В. Феномен пародийной личности А. А. Фета в творчестве поэтов «Искры» // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2007б. № 11 (32). С. 234–237.

Чумаков Ю. Н. «Евгений Онегин» и стихотворная беллетристика 1830-х годов // Чумаков Ю. Н. Стихотворная поэтика Пушкина. СПб.: Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге, 1999.

Шабалина Н. Н. Полемика как средство пропаганды литературно-критических взглядов В. П. Буренина (на материале беллетристики 70–90-х годов XIX века) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 2-2. С. 208–212.

Шабалина Н. Н. Литературный скандал в критике В. П. Буренина // Учен. зап. Казан. ун-та. 2012. Т. 154, кн. 2. С. 145–150.

Шатин Ю. В. Два лика пародии // Критика и семиотика. 2009. № 1. С. 213–220.

Шкловский В. Б. «Тристрам Шенди» Стерна и теория романа. СПб.: ОПОЯЗ, 1921.

Эйхенбаум Б. М. О. Генри и теория новеллы // Эйхенбаум Б. М. Литература: Теория. Критика. Полемика. Л.: Прибой, 1927.

Bourdieu P. *Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field*. Stanford Uni. Press, 1996, 409 p.

Rose M. A. *Parody: Ancient, Modern, and Post-Modern*. Cambridge: Cambridge Uni. Press, 1993. 316 p.

Thorstensson V. *The Dialog with Nihilism in Russian Polemical Novels of the 1860s – 1870s*. Diss. ... Doctor of Philosophy (Slavic Languages and Literatures). University of Wisconsin-Madison, 2013.

References

Bakhtin M. M. *Voprosy literatury i estetiki. Issledovaniya raznykh let* [Literature and aesthetics. Studies of different years]. Moscow, 1973.

Bourdieu P. *Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field*. Stanford Uni. Press, 1996, 409 p.

Chumakov Yu. N. “Evgeniy Onegin” i stikhotvornaya belletristika 1830-kh godov [“Eugene Onegin” and poetic fiction of the 1830s]. In: Chumakov Yu. N. *Stikhotvornaya poetika Pushkina* [Poetical poetics of Pushkin]. St. Petersburg, 1999.

Eikhenbaum B. M. O. Genri i teoriya novelly [O. Henry and the theory of the short story]. In: Eikhenbaum B. M. *Literatura: Teoriya. Kritika. Polemika* [Literature: Theory. Criticism. Polemics]. Leningrad, 1927.

Freydenberg O. M. Proiskhozhdenie parodii [The genesis of parody]. In: *Trudy po znakovym sistemam* [Works on sign systems]. Tartu, 1973, iss. 6, pp. 490–497.

Gasparov M. L. Parodiya [Parody]. In: *Bol'shaya sovetskaya entsiklopediya* [The Great Soviet Encyclopedia. 3rd ed]. Moscow, 1975, vol. 19.

Gasparov M. L. “Usnulo ozero” Feta i palindromon Minaeva. Perestанovka chastey [Fet’s “Lake fell asleep” and Minaev’s palindromon. Rearrangement of parts]. In: Gasparov M. L. *Izbrannye trudy* [Selected works]. Moscow, 1997, vol. 2: O stikhakh [About poetry].

Grossman L. Parodiya kak zhanr literaturnoy kritiki [Parody as a genre of literary criticism]. In: *Russkaya literaturnaya parodiya* [Russian literary parody]. Moscow, Leningrad, 1930, pp. 390–415.

Ignatova I. B. *Literaturno-kriticheskaya deyatel'nost' V. P. Burenina: genezis, evolyutsiya, kriticheskiy metod* [Literary-critical activity of V. P. Burenin: genesis, evolution, critical method]. Cand. philol. sci. diss. Moscow, 2010.

Kozlov A. E. Refleksiya epigonov v russkoy proze pervoy poloviny 19 veka [Reflection of epigones in Russian prose of the first half of the 19th century]. *Critique and semiotics*. 2014, no. 1, pp. 34–55. DOI 10.22455/2500-4247-2020-5-2- 34-55

Krivosos V. Sh. Parodiya [Parody]. In: *Poetika. Slovar' aktual'nykh terminov* [Poetics. Dictionary of current terms]. N. D. Tamarchenko (Ed.). Moscow, Kulagina Publ., 2008.

Krylov V. N. Obraz V. P. Burenina v parodiynoy literature nachala 20 veka [The image of V. P. Burenin in the parody literature of the early 20th century]. *Philological Sciences. Issues of Theory and Practice*. 2014, no. 6-2, pp. 96–98.

Lotman Yu. M. Massovaya literatura kak istoriko-kul'turnaya problema [Mass literature as a historical and cultural problem]. In: Lotman Yu. M. *O russkoy literature. Stat'i i issledovaniya: istoriya russkoy prozy, teoriya literatury* [On Russian literature. Articles and studies: history of Russian prose, theory of literature]. St. Petersburg, Iskusstvo, 1997.

Matveenko I. A. Tipologicheskie skhozheniya romanov N. D. Akhsharumova “Kontsy v vodu” i U. Kollinza “Zhenshchina v belom” [Typological convergences of N. D. Akhsharumov’s novels “Ends in water” and W. Collins’ “Woman in white”]. *Siberian Journal of Philology*. 2014, no. 1, pp. 80–87.

Morozov A. A. Parodiya kak literaturnyy zhanr (k teorii parodii) [Parody as literature genre (to theory of parody)]. *Russkaya Literatura*. 1960, no. 1, pp. 80–87.

Novikov V. I. *Kniga o parodii* [About parody]. Moscow, Sov. pisatel’, 1989.

Pecherskaya T. I. Fenomen kul’turnoy ekspansii raznochintsev 1860-kh godov: literaturnaya nisha “pisatel’-narodnik” [Phenomenon of the cultural expansion of raznochintsy in the 1860s: the literary niche of a “populist writer”]. *Critique and semiotics*. 2020, no. 1, pp. 263–278.

Pecherskaya T. I. *Raznochinskiy diskurs russkoy literatury 19 veka* [Discourse of Raznochintsy of the Russian literature of the 19th century]. Novosibirsk, NSPU Publ. 2018.

Penskaya E. N., Kulikova E. Yu. Literaturnye i esteticheskie paradoksy Viktora Burenina [Literary and aesthetic paradoxes of Viktor Burenin]. *Siberian Journal of Philology*. 2018, no. 1, pp. 152–167. DOI 10.17223/18137083/62/11

Reytblat A. I. Burenin i Nadson: kak konstruiroetsya mif [Burenin and Nadson: how is the myth designed]. *New Literary Observer*. 2005, no. 75, pp. 154–167.

Rose M. A. *Parody: Ancient, Modern, and Post-Modern*. Cambridge, Cambridge University Press, 1993, 316 p.

Rumyantseva V. N. *Stikhotvornyy fel’eton serediny 19 veka: N. A. Nekrasov, V. S. Kurochkin, D. D. Minaev* [A poetic feuilleton of the mid-19th century: N. A. Nekrasov, V. S. Kurochkin, D. D. Minaev]. Orenburg, 2007, 234 p.

Russkiy realizm 19 veka. Obshchestvo, znanie, povestvovanie [Russian realism of the 19th century. Society, knowledge, narration]. A. Vdovin, K. Ospovat, M. Vaysman (Eds). Moscow, NLO, 2020.

Shabalina N. N. Literaturnyy skandal v kritike V. P. Burenina [Literary scandal in V. P. Burenin’s criticism]. *Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta*. 2012, vol. 154, bk. 2, pp. 145–150.

Shabalina N. N. Polemika kak sredstvo propagandy literaturno-kriticheskikh vzglyadov V. P. Burenina (na materiale belletristiki 70-90-kh godov 19 veka) [Polemics as propaganda means of V. P. Burenin’s literary-critical views (by material of belles-lettres of the 70-90s of the 19th Century)]. *Philological Sciences. Issues of Theory and Practice*. 2014, no. 2-2, pp. 208–212.

Shatin Yu. V. Dva lika parodii [Two faces of parody]. *Critique and semiotics*. 2009, no. 1, pp. 213–220.

Shklovskiy V. B. “*Tristram Shendi*” *Sterna i teoriya romana* [Stern’s Tristram Shandy and the theory of the novel]. St. Petersburg, OPOYaZ, 1921.

Starygina N. N. *Russkiy roman v situatsii filosofsko-religioznoy polemiki 1860–1870-kh godov* [Russian novel in situation of philosophical and religious polemics]. Moscow, LRC Publishing House, 2003, 352 p.

Thorstenson V. *The Dialog with Nihilism in Russian Polemical Novels of the 1860s-1870s*. Diss. ... Doctor of Philosophy (Slavic Languages and Literatures). Uni. of Wisconsin-Madison, 2013.

Tselikova E. V. Fenomen parodiynoy lichnosti A. A. Feta v tvorchestve poetov “Iskry” [Phenomenon of the parody personality of A. A. Fet in works of “Iskra” poets]. *Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Sciences*. 2007, no. 11 (32), p. 234–237.

Tselikova E. V. *Parodiynaya lichnost' A. A. Feta v tvorchestve poetov "Iskra"* [Periodical Figure of A. A. Fet the works of the poets of "Iskra"]. Cherepovets, ChSU, 2007a, 267 p.

Tynyanov Yu. N. Dostoevskiy i Gogol' (k teorii parodii) [Dostoevsky and Gogol: to theory of parody]. In: Tynyanov Yu. N. *Poetika. Istoriya literatury. Kino* [Poetics. History of literature and cinema]. Moscow, 1977.

Tynyanov Yu. N. O parodii [About parody]. In: Tynyanov Yu. N. *Literaturnaya evolyutsiya. Izbrannye Trudy* [Literary Evolution. Selected works]. Moscow, 2002.

Vasilenko A. G. Graficheski vydelennoe slovo: evolyutsiya khudozhestvennogo priema (na materiale tvorchestva Yu. V. Trifonova) [Graphically selected word: the evolution of the artistic device (based on the works by Yu. V. Trifonov)]. *Siberian Journal of Philology*. 2016, no. 1, pp. 193–199. DOI 10.17223/18137083/54/23

Volodina N. V., Lavrova S. Yu. *Tvorchestvo N. D. Akhsharumova: opyt monograficheskogo analiza belletristicheskikh tekstov* [The creativity of N. D. Akhsharumov: the experience of monographic analysis of criticism and fiction]. Cherepovets, 2018.

Zhirikova M. A. Traditsii F. M. Dostoevskogo v romane N. D. Akhsharumova "Kontsy v vodu" [The tradition of F. M. Dostoevsky in the N. D. Akhsharumov's novel "Ends in water"]. *Art Logos*. 2019, no. 2 (7), pp. 18–33.

Zubkov K. Yu. "Antinigilisticheskiy roman" kak polemicheskiy konstrukt radikal'noy kritiki ["Anti-nihilistic novel" as the radical criticism's polemical construct]. *Moscow State University Bulletin. Series 9. Philology*. 2015, no. 4, pp. 122–140.

Сведения об авторе

Козлов Алексей Евгеньевич – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры русской зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета (Новосибирск, Россия).

alexey-kozlof@rambler.ru
ORCID 0000-0003-0016-9546

Information of the author

Alexey E. Kozlov – Candidate of Philology, Senior Lecturer at the Department of Russian and Foreign Literature, Theory of Literature, and Methods of Teaching Literature, Institute of Philology, Mass-Information, and Psychology, Novosibirsk State Pedagogical University (Novosibirsk, Russian Federation)

alexey-kozlof@rambler.ru
ORCID 0000-0003-0016-9546

УДК 821.161.1-09
DOI 10.17223/18137083/74/6

**«Чайка» А. П. Чехова в свете гендерной психологии
и психоанализа. Отцы и дети**

А. С. Собенников

*Военный Институт железнодорожных войск и военных сообщений
Санкт-Петербург, Петергоф, Россия*

Аннотация

Рассматриваются взаимоотношения родителей и детей, любовные связи героев. Отмечается, что психологический анализ автора соответствует некоторым положениям психоанализа: источник неврозов следует искать в детстве, наличие Эдипова комплекса, игры отцов и детей. Выявляется роль гендерных ролей и стереотипов. Декларируется особое значение в становлении новой художественной антропологии авторских концептов *живая жизнь и живые люди*.

Ключевые слова

Чехов, «Чайка», психологизм, игра, роль, стереотип, психотип, любовь, невроз

Для цитирования

Собенников А. С. «Чайка» А. П. Чехова в свете гендерной психологии и психоанализа. Отцы и дети // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 82–95. DOI 10.17223/18137083/74/6

**The play “The Seagull” by A. P. Chekhov
in the light of gender psychology and psychoanalysis**

A. S. Sobennikov

*Military Transport Institute of Railway Troops and Transportation Service
St. Petersburg, Peterhof, Russian Federation*

Annotation

The paper discusses the character system of “The Seagull” in terms of “human fullness”. Chekhov’s concepts of “living life” and “living people” are regarded as the author’s response to the socio-moral typification principle and “mise-en-scene sensation” of contemporary theater. Medical knowledge and artistic intuition allowed creating plot situations with social characteristics playing a secondary role. Subconscious factors come to the fore, becoming decisive in the structure of an individual and his relations with others. The hidden motives of the relationship between mother and son (Arkadina – Treplev), lovers (Arkadina – Trigorin, Polina Andreevna – Dorn), wife and husband (Medvedenko – Masha), common-law wife and common-law husband (Nina – Trigorin) are analyzed. One of Treplev’s character traits is nervousness. Most remarks concerning his image reveal his emotional state, a classic neurotic. “The Oedipus complex” can be seen not only in the Treplev-Arkadina storyline. As Freud

© А. С. Собенников, 2021

ISSN 1813-7083
Сибирский филологический журнал. 2021. № 1
Siberian Journal of Philology, 2021, no. 1

claims, Nina Zarechnaya needs a father as a man model, a protector and A helper. However, she considers him a “traitor,” for he married another woman after her mother’s death. Thus, in psychology of love, she transfers her unsatisfied love for her father (Philia love) into love for Trigorin (Eros Love). In terms of gender psychology, Trigorin belongs to a certain psychotype preferring to marry women of older age for they require a mother-wife to dominate and solve their problems. Polina Andreevna’s husband mostly conforms to gender stereotypes, dominating the family, being sometimes aggressive towards other people, rude in relationships with women. Dorn is often seen as Don Juan, but this is a different psychotype – a bachelor. Don-Juan has no affection and will not interact with a woman seduced twenty years ago. A snuffbox, wine, black dresses are Masha’s challenge to the world when playing the role of a “bad girl” to draw attention to herself. In terms of psychoanalysis, her personality is dominated by the Child, with no strength or desire to become an Adult. To sum up, “living life”, children and parents in the aspect of psychoanalysis, male and female in the characters make “The Seagull” always modern.

Keywords

Chekhov, “The Seagull,” psychologism, play, role, stereotype, psychotype, love, neurosis

For citation

Sobennikov A. S. The play “The Seagull” by A. P. Chekhov in the light of gender psychology and psychoanalysis. *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 82–95. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/6

В конце 1880-х гг. в письмах Чехова, посвященных работе над пьесами «Леший» и «Иванов», появляются определения «живая жизнь» и «живые люди». Эти авторские концепты – ответ на принцип социально-моральной типизации и «шумиху мизансцен» современного ему театра. Медицинские знания и художественная интуиция позволили ему создать сюжетные ситуации, в которых социальные характеристики играют второстепенную роль. На первый план выступают факторы подсознания, которые становятся определяющими в структуре индивида и в его взаимоотношениях с другими.

И в «Чайке» психологический анализ автора-медика направлен на скрытые от внешнего взора процессы. В первых рецензиях на постановку пьесы в Александринском театре автора упрекали за половую распущенность его героев, за аморализм¹.

Один из важнейших мотивов пьесы – любовь Треплева к матери. «Я люблю мать, сильно люблю», – говорит он Сорину [Чехов, 1978, т. 13, с. 8]². Жорж Банно счел, что «с самого начала пьесы в ней прослеживается “гамлетовская тема”: запретная любовь юноши к ненавистной и оттого не менее желанной матери» [2016, с. 109]. Финский режиссер Р. Лонгбакка писал: «Я не знаю, читал ли когда-нибудь Фрейд “Чайку”, но в ней он бы смог почерпнуть самые выразительные в драматической литературе отношения сына и матери и, наверное, что-нибудь об Эдиповом комплексе, связанном с очень давним исчезновением отца» [2001, с. 331].

Современная психология говорит о том, что «развитие индивида настолько зависит от семьи и матери, что его вообще невозможно понять вне этого контекста» [Шарф, 2008, с. 24]. Социализация индивида невозможна без любви к нему самых

¹ «Сводничество, обольщение, обман, “содержательство”, чувственность, похоть – вот элементы, которые наполняют действующих лиц, создают их взаимные отношения, завязывают и разрешают пьесу», – писал, например, Н. А. Селиванов [2002, с. 249].

² Далее ссылки на это издание даются в круглых скобках с указанием номера тома и страниц.

близких людей, прежде всего матери. Как говорят психоаналитики, в раннем детстве важны «поглаживания» – это экзистенциальная потребность человека: «поглаживание» можно использовать как общий термин для обозначения физического контакта; на практике оно может приобретать разнообразные формы. Некоторые буквально гладят ребенка, другие обнимают его или похлопывают, наконец, третьи игриво шлепают или щиплют» [Берн, 2018, с. 11]. Но были ли «поглаживания» в детстве Треплева? Ответ на этот вопрос очевиден: у матери-актрисы были вечные репетиции, гастроли, «шумиха мизансцен». «Я одинок, не согрет ничьей привязанностью, мне холодно, как в подземелье», – скажет Треплев (т. 13, с. 57).

Отсутствие или недостаток материнской любви в детстве может быть причиной неврозов уже в зрелом возрасте. Одна из черт характера Треплева – нервность. Большинство ремарок, связанных с образом Треплева, раскрывает эмоциональное состояние: *умоляюще и с упреком, всплыв, громко, топнув ногой, крепко жмет ему руку и обнимает порывисто, нетерпеливо, в отчаянии, сквозь слезы, после паузы, дразнит, уходит быстро, целует ей руку, иронически, печально*³. Треплев у Чехова – классический невротик. А. Адлер так определяет поведение невротика: «Это состояние борьбы у невротика с самого детства определяет его направленность, отражается в его повышенной чувствительности, в его нетерпимости ко всякого рода принуждению, даже обусловленному культурой, и проявляется в его постоянном стремлении *жить обособленно, противопоставляя себя всему миру*» [2019, с. 93]. Как известно, творчество – форма сублимации, и одиночество Мировой души в пьесе Треплева не случайно. Как не случайно противопоставление новых форм старым – «отцовским»: «Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно» (т. 13, с. 8).

На первый взгляд, конфликт отцов и детей носит у Чехова не идеологический характер, как у Тургенева, а эстетический. Но за эстетическим скрывается сформировавшийся характер. И героем Чехова движет не столько эстетика, сколько гендерная социология и психология. Качественный анализ невротического по своим корням бунта героя содержится в упомянутой работе Р. Лонгбакка: «...он должен быть художником – не потому, что у него есть потребность что-то выразить или что-то передать своим искусством, а потому, что он воспринимает искусство как единственный способ быть принятым» [2001, с. 332]. «Дядя, что может быть отчаяннее и глупее положения: бывало, у нее в гостях сплошь все знаменитости, артисты и писатели, и между ними только я один – ничто, и меня терпят только потому, что я ее сын» (т. 13, с. 8).

Любовь героя к Нине, творчество, болезненные отношения с матерью – обусловлены детским сознанием «я один – ничто». Вся жизнь чеховского героя – это попытка преодолеть «ничто», а для этого нужно стать знаменитым. Отца Треплев не помнит, он был «киевским мещанином», известным актером, как и мать⁴. Треплев – сын дворянки, ведет жизнь дворянина, живет в дворянском имении дяди, но по статусу он – мещанин. Брак, а в пьесе не уточняется, церковным он был или

³ «Но XIX век, особенно русский, изменил представление о ремарке. Она более не является “замечанием для господ актеров”. Ремарка адресуется читателю, в сценической ситуации – постановщику, чьим прочтением авторского текста и будет спектакль», – замечает Л. Г. Тютелова [2016, с. 152].

⁴ «Принадлежность к мещанскому сословию была наследственной» [Из истории русской культуры, 1996, с. 701]. Следовательно, Треплев на социальной лестнице находится ниже всех персонажей, за исключением Медведенко и Дорна.

гражданским, был мезальянсом: дворянка Ирина Николаевна Сорина (сценический псевдоним – Аркадина) полюбила мещанина Гаврилу Треплева. Автор не сообщает читателям, что произошло в их семейной жизни: умер отец или ушел из семьи. По Фрейду, между отцом и сыном неизбежно соперничество из-за любви матери⁵. Но и мать в ситуации разрыва с отцом может переносить на сына нелюбовь. «Инфантильность, слабость Кости, его нервозность и беззащитность во многом объясняются доминированием матери, обратившей на сына свою неудовлетворенность отношениями с отцом в прошлом», – заметила М. М. Одесская [2010, с. 312].

Невротическим состоянием может быть объяснено и самоубийство героя: «любое душевное проявление невротика несет в себе две предпосылки – чувство незрелости, неполноценности и гипнотизирующее навязчивое стремление к цели богоподобия» [2019, с. 137]. Четвертое действие «Чайки» – зеркальное отражение первого: тот же хронотоп, те же персонажи, образ Мировой души в пьесе Треплева. Казалось бы, Треплев стал писателем, добился известности. Он мог бы уехать в Москву или Санкт-Петербург, как делали современники Чехова: И. Ясинский, И. Потапенко и многие другие. Но он живет анахоретом в имении дяди и оценивает свое творчество как провал. Чувство неполноценности усиливается от свидания с Ниной, и за сценой звучит роковой выстрел⁶. В жизненном сценарии у героя Чехова роль неудачника.

В треугольнике Аркадина – Тригорин – Треплев именно женщина играет ведущую роль, а не мужчины. В социуме (дворянство) доминировать должен мужчина: он принимает решения, он отвечает за женщину и семью. Но в чеховской художественной гендерной психологии доминируют женщины. Аркадина говорит сыну: «Я сама увожу его отсюда» и далее: «я имею право требовать от тебя, чтобы ты уважал мою свободу» (т. 13, с. 38). «Увожу» – характерно для эмансипированной женщины. Идея женской эмансипации – одна из главных идей эпохи, но Чехов не пропагандист: его не интересуют аргументы «за» или «против». Он просто говорит, что игнорирование гендерных стереотипов, отказ от социальных гендерных ролей может носить разрушительный экзистенциальный характер. Гендерные стереотипы, как и другие, упорядочивают мир. Сорин, Аркадина, Треплев связаны кровными узами, но личная свобода Аркадиной приводит к самоубийству сына, к одиночеству брата. Автор далек от морализаторства, он не осуждает героиню, он показывает последствия принятых женщиной решений. Последние слова Треплева на сцене противоречат логике: «Это может огорчить маму» (т. 13, с. 59), т. е., если Аркадина увидит Нину Заречную, она будет огорчена. А смерть сына ее не огорчит?

В психологическом анализе автора есть еще один момент: какими бы ни были родители в жизни, для ребенка они – лучшие, ребенку нужно гордиться своими родителями. Но так ли это в нашем случае? «Я люблю мать, сильно люблю; но она курит, пьет, открыто живет с этим беллетристом, имя ее постоянно треплют в газетах – и это меня утомляет», – говорит Треплев (т. 13, с. 8). Так, в конфронтации героя с матерью есть и момент неприятия ее экзистенциального выбора.

⁵ «То, что имел в виду Фрейд, и то, что он связывал с понятием Эдипова комплекса, – это теплое, нежное, нередко эротически окрашенное чувство привязанности к матери», – пишет Э. Фромм [2016, с. 471].

⁶ А. Адлер отмечает, что больной «с разной степенью выраженности отгораживается от мира и действительности», и что в этом случае нередко попытки самоубийства или больной кончает самоубийством [2019, с. 139].

В подтексте стоит вопрос: «Зачем? Зачем она это делает?». В подтексте: «...если бы не... то она бы меня любила».

Если посмотреть на героиню Чехова с позиции личной самореализации, то она, безусловно, заслуживает уважения. В эпоху Чехова, как и Островского, актеры были низшей социальной стратой. Уход дворянской девушки в актрисы – позор для всей семьи. Не случайно в четвертом действии отец Нины и мачеха расставили сторожей. Отец не хочет видеть собственную дочь, ушедшую в актрисы, ибо этого требует общественное мнение. Аркадина полюбила человека, который находился в самом низу социальной иерархии, родила сына в 18 лет, сделала блестящую карьеру. У нее есть и личный капитал – 70 000 р., которые хранятся в одесском банке. Она открыто живет с известным писателем, который к тому же моложе ее, т. е. не боится общественного мнения. Но Чехов наделяет ее целым рядом несимпатичных черт. Так, героиня скупа. Сын ходит в одном сюртуке, у него нет даже пальто. Тратить деньги на наряды для себя Аркадина готова, на сына – нет. Не готова она помочь деньгами и брату.

У Чехова особую роль играет возраст героини. Ее сын, безусловно, прав, когда говорит: «Ей хочется жить, носить светлые кофточки, а мне уже двадцать пять лет, и я постоянно напоминаю ей, что она уже не молода. Когда меня нет, ей только двадцать два года, при мне же сорок три, и за это она меня ненавидит» (т. 13, с. 8). Сорок три года – опасный возраст, в народе говорят: «В сорок пять баба ягодка опять». В гендерной психологии – это время переоценки ценностей и у женщин, и у мужчин. В этом возрасте рушились и рушатся многие браки. «Светлые кофточки» Аркадиной – знак кризиса, ей хочется вернуть ушедшую молодость. В этом возрасте многие женщины обращают внимание на молодых мужчин, а мужчины – на юных девушек. Но главный ее человеческий изъян – нарциссизм. Л. А. Полякевич приводит в своей статье о рассказе Чехова «Княгиня» диагностические критерии НРЛ (нарциссического расстройства личности), установленные американской ассоциацией психиатров: «1) у человека завышенная самооценка; 2) человек поглощен фантазиями об абсолютном успехе; 3) человек считает, что он особенный и единственный в своем роде; 4) человек требует, чтобы им постоянно восхищались; 5) у человека есть ощущение, что ему все принадлежит по праву; 6) в межличностных отношениях человек испытывает стремление к использованию других людей в своих интересах; 7) человек не способен сопереживать; 8) человек часто завидует другим или думает, что другие завидуют ему; 9) человек ведет себя самоуверенно и высокомерно» [Полякевич, 2009, с. 103].

Личность Аркадиной соответствует большинству критериев. Нарцисс не способен к эмпатии, он сосредоточен на своей личности, своих интересах. «Если человек-нарцисс чувствует себя ущемленным, если его недооценивают, критикуют, ловят на ошибках, унижают в играх или других ситуациях, то это обычно вызывает у нарцисса чувство возмущения и гнева» [Фромм, 2016, с. 262].

Во взаимоотношениях матери и сына ключевая сцена – в начале третьего действия, когда Аркадина переменяет повязку. В начале этой сцены она играет роль любящей матери, Треплев – роль ребенка, что автор и фиксирует в жестах: *Целует его в голову; Целует ей руку*. Но в психологическом анализе автора акцент сделан на скрытых интенциях: Аркадина страшится дуэли сына с Тригориным, дуэль – ее жизненный проигрыш: она теряет или сына, или любовника. Этим объясняется агрессия в сцене ссоры с сыном; по Э. Берну, в ее личности доминирует Ребенок, а не Взрослый [2018, с. 16–20].

Треплев. Отправляйся в свой милый театр и играй там в жалких, бездарных пьесах!

Аркадина. Никогда я не играла в таких пьесах. Оставь меня! Ты и жалкого водевиля написать не в состоянии. Киевский мещанин! Приживал! (т. 13, с. 40).

Но в жизненном сценарии у нарцисса всегда роль Победителя⁷. Победу можно одержать женскими средствами, например демонстрацией слабости. Обратим внимание на ремарки в сцене примирения: *Пройдась в волнении; Плачет; Целует его в лоб, в щеки, в голову; Утирает ему слезы; Нежно*. И сын вынужден сдаться на ее просьбу: «Помиришь и с ним. Не надо дуэли... Ведь не надо?» (т. 13, с. 40). Но и агрессия сына имеет свои защитные корни: Тригорин мешаает его витальным потребностям – быть любимым матерью и Ниной⁸.

Еще одну победу Аркадина одерживает в объяснении с Тригориним. И в этом случае она использует механизм женской слабости, что отражено в ремарках: *Плачет; Обнимает его и целует; Становится на колени; Обнимает его колени; Целует ему руки*. Еще одно орудие женской манипуляции – лесть: «Ты такой талантливый, умный, лучший из всех теперешних писателей, ты единственная надежда России... У тебя столько искренности, простоты, свежести, здорового юмора... ты можешь одним штрихом передать главное, что характерно для лица или для пейзажа, люди у тебя, как живые. О, тебя нельзя читать без восторга. Ты думаешь, это фимиам? Я льщу? Ну, посмотри мне в глаза... посмотри... Похожа я на лгунью? Вот видишь, я одна умею ценить тебя; одна говорю тебе правду, мой милый, чудный... Поедешь? Да? Ты меня не покинешь?..» (т. 13, с. 42). Эту сцену нужно включать в учебники по гендерной психологии в раздел «Женские манипуляции».

В тексте «Чайки» есть прямое указание на литературный источник – «На воде» Мопассана. В начале второго действия Аркадина читает: «Итак, когда женщина избрала писателя, которого она желает заполнить, она осаждаёт его посредством комплиментов, любезностей и угождений...» (т. 13, с. 22). Мопассан подсказал Чехову, каким способом женщина может завоевать мужчину. А героиня говорит: «Ну, это у французов, может быть, но у нас ничего подобного, никаких программ. У нас женщина обыкновенно, прежде чем заполнить писателя, сама уже влюблена по уши, сделайте милость. Недалеко ходить, взять хоть меня и Тригорина» (т. 13, с. 22). В цензурном варианте после слов «взять хоть меня и Тригорина» Аркадина продолжала: «Я не избирала Бориса Алексеевича, не осаждала, не полонила, а как познакомилась, все у меня в голове пошло вверх тормашкой и, родимые мои, позеленело в глазах; стою, бывало, смотрю на него и плачу. Понимаете, реву и реву. Какая уж тут программа?» (т. 13, с. 261–262). В каноническом варианте эти подробности убраны, т. е. для автора важны намек и недосказанность.

«Фрейдистский комплекс» мы можем заметить не только в сюжетной линии Треплев – Аркадина. Отец Нины Заречной после смерти матери женился на другой женщине. Нина говорит: «Я боялась, что отец не пустит меня, но он сейчас

⁷ «Почти в каждом сценарии есть роли “хороших парней” и “плохих парней”, “победителей” и “побежденных», – пишет Эрик Берн [2018, с. 192].

⁸ «Собственно говоря, для всех ситуаций, провоцирующих, возбуждающих агрессивное поведение, характерна одна общая черта – они представляют угрозу витальным интересам», – утверждает Э. Фромм [2016, с. 132].

уехал с мачехой» (т. 13, с. 9). В желании Нины поступить в актрисы есть и скрытая от других людей мотивировка: в соперничестве с мачехой за любовь отца у нее нет шансов. М. Волчкевич права, когда говорит: «Недостаток любви отца и матери, искажающий часть существа взрослого человека – наверно, эту важнейшую для биографии Чехова тему высвечивают перипетии взаимоотношений персонажей комедии» [2013, с. 19]. Уход ее в актрисы – это форма бегства от тирании отца и мачехи, своеобразная защитная реакция.

Ее жизненный сценарий аналогичен сценарию Аркадиной: Нина уходит в актрисы, будучи дворянкой, она чуть было не связала свою судьбу с мещанином Треплевым. Как и Аркадину, ее тянет к известным людям, она хочет славы. В треугольнике Нина – Треплев – Тригорин именно ей принадлежит ведущая роль. Сильнейший женский инстинкт – продолжение рода, и для женщины имеет огромное значение социальный, имущественный статус мужчины – будущего отца. Это один из аргументов, почему она делает выбор в пользу Тригорина. Подобный выбор делают многие девушки, иногда сознательно, но чаще бессознательно. Тригорин известный писатель, его печатают «толстые журналы», у него есть гонорары и связи в литературном и театральном мире⁹. И Нина признается в любви к Тригорину чужими, литературными, словами: «Если тебе понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее» (т. 13, с. 41). Этот психологический момент отмечен зарубежным исследователем: «Что не менее важно, так это восприятие Нины, думающей, что связь с автором способна перенести ее в воображаемый мир одной из его историй» [Peta Tait, 2002, p. 30].

Но в выборе Ниной Тригорина есть еще одна психологическая мотивировка. Фрейд и его последователи утверждают, что девочке нужен отец как образец мужчины, как защитник и помощник. Но отец Нины – «предатель» в ее глазах, и она переносит свою неудовлетворенную любовь к отцу на Тригорина. Уход в актрисы, рождение ребенка, жизнь с Тригориним – все это «живая жизнь», по терминологии автора. И в случае с Ниной автор далек от моральных сентенций: такова жизнь, таковы витальные потребности личности, таков ее экзистенциальный выбор. «Вы писатель, я – актриса... попали и мы с вами в круговорот... Жила я радостно, по-детски – проснешься утром и запоешь; любила вас, мечтала о славе, а теперь?» – говорит Нина Треплеву (т. 13, с. 57).

В этом отрывке из монолога Нины сопоставляются два времени: девичества и женской зрелости. Ее заключительные слова: «Груба жизнь» – свидетельствуют об утрате иллюзий, о переходе из состояния юности во взрослую жизнь. Э. Берн говорит об иллюзиях: «Таким образом, в раннем детстве иллюзии воспринимаются в своей наиболее романтической форме. Позже они проверяются реальностью, и от части их ребенок неохотно отказывается, оставляя только тайную сердцевину, которая составляет основу его жизни. Только самые мужественные могут прямо смотреть в лицо жизни, обходясь совершенно без иллюзий» [2018, с. 298].

В психологии любви героиня Чехова прошла путь от любви-филии (любовь к Треплеву) к любви-эросу (любовь к Тригорину). Сама сюжетная схема, возможно, восходит к повести И. С. Тургенева «Первая любовь», в которой молодая

⁹ Нина у Чехова, конечно же, не меркантильна. Есть и такая мотивировка, о которой писал Вл. И. Немирович-Данченко применительно к чеховским героиням: «Русская интеллигентная женщина ничем в мужчине не могла увлечься так беззаветно, как талантом» [Чехов в воспоминаниях..., 1954, с. 404]. Но здесь можно говорить об иллюзиях героини: Тригорин – не Чехов.

девушка пошла на связь с несвободным мужчиной. И слова Тригорина в его исповеди – «я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу их корни» – напоминают слова тургеневского героя: «Все цветы мои были вырваны разом и лежали вокруг меня, разбросанные и истоптанные» [Тургенев, 1981, с. 354]. Но тургеневский след в данном случае (исповедь Тригорина) должен напомнить читателю, что творчество Тригорина – вторично, он в литературном мире не Тургенев и не Толстой.

Но вернемся к Нине. Как и у Треплева, у нее нет дома, родительский дом перестал быть таковым, когда в нем воцарилась мачеха. В четвертом действии Нина цитирует Тургенева: «Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый угол <...> И да поможет господь всем бесприютным скитальцам» (т. 13, с. 57). О тургеневских мотивах в «Чайке» писали неоднократно, в основном авторы сближали тексты (см. [Бялый, 1990, с. 323; Головачева, 1980; Паперный, 1982, с. 161; Катаев, 1989, с. 187; Ауэр, 2016]). «Тургеневские слова в контексте Нинино монолога утрачивают “цитатность”, они становятся чеховскими», – писал З. С. Паперный [1982, с. 161]. Но в цитате из «Рудина» помимо предметного значения есть символическое: автор маркирует героиню как «тургеневскую девушку», готовую променять привычный уклад жизни в дворянской усадьбе на служение «святому искусству». Если у Тургенева «уход» означал цельность характера и верность идеалам, то у Чехова он ничего не решает в личной экзистенции героя. «Уход» и «бездомность» не являются ценностью в художественном мире писателя. У Чехова есть круг чтения героини, а есть «живая жизнь», и в ней «ее покойная мать завещала мужу все свое громадное состояние, все до копейки. И теперь эта девочка осталась ни с чем, так как отец ее уже завещал все своей второй жене», – скажет Аркадина (т. 13, с. 17).

В пьесах Чехова огромную роль играют персонажи и события за сценой, особое значение имеют намек и недосказанность. В этой информации содержится целая семейная драма: болезнь и смерть матери, женитьба отца, его страстная любовь к молодой, и это очевидно жене, переписывание завещания. Бездомность Нины, таким образом, имеет не идеологический и ценностный характер, а бытовой, житейский. И поведение героини, ее выбор в треугольнике Нина – Треплев – Тригорин – это уже гендерная психология, т. е. «живая жизнь». Если присмотреться к чеховским намекам, то в любви-филии Нины к Треплеву нет эроса, а есть любопытство молодой девушки к противоположному полу.

Н и н а. ...А меня тянет сюда к озеру, как чайку... мое сердце полно вами. (*Оглядывается.*)

Т р е п л е в. Мы одни.

Н и н а. Кажется, кто-то там...

Т р е п л е в. Никого.

Поцелуй.

Ремарка *оглядывается* подсказывает читателю и зрителю, что героиня неопытна и стыдлива там, где речь идет об интимности. «Вы», с которым Нина обращается к Треплеву, поцелуй – это еще не близость, а только шаг к близости. В конце третьего действия будет «продолжительный поцелуй» с Тригориним. Два поцелуя в пространстве текста, конечно же, соотносятся. Поцелуй с Треплевим – стыдливый, с Тригориним – эротически-чувственный.

И у Чехова героиня не только становится актрисой, она еще становится женщиной. Между третьим и четвертым действиями проходит два года. О жизни Ни-

ны в эти годы мы узнаем со слов Треплева: она уехала в Москву, где сошлась с Тригориным, родила от него ребенка, но ребенок умер, Тригорин ее бросил и вернулся к Аркадиной. После этого героиня играла в дачном театре под Москвой. Эти два года – своеобразная любовная повесть. В повести «Три года», написанной накануне «Чайки», речь идет о трех годах страстной любви героя. Лаптев любил свою жену Юлию Сергеевну, ревновал ее, но после трех лет охладел. Любопытно, что современный психолог в качестве срока утраты иллюзий в любви приводит именно Чехова: «И специалисты, и просто бывалые люди, не знаю почему, но едва ли не поголовно называют одну цифру – 3 года (достаточно вспомнить «Три года» Чехова)» [Афанасьев, 2000, с. 421].

Три года совместной жизни – время первого кризиса в семейной жизни мужчины и женщины. Вот почему *два года* не случайны у Чехова: интуиция художника и знание подсказали ему, что Тригорин разбудил в девушке женщину: «Я люблю его. Я люблю его даже сильнее, чем прежде... Сюжет для небольшого рассказа... Люблю, люблю страстно, до отчаяния люблю» (т. 14/15, с. 59). Как правило, только после рождения ребенка женщина начинает получать удовольствие от близости с мужчиной. Совместная жизнь Нины и Тригорина – это «заботы любви, ревность, постоянный страх за маленького». Скрытые психологические мотивы Нины, побудившие ее связать свою жизнь с Тригориним, понятны. Но главное ее достижение в личностном плане – не талант актрисы, а трезвый взгляд на жизнь. Нина Заречная отказывается от детских иллюзий, она принимает жизнь такой, какая она есть, т. е. в ее «Я» доминирует Взрослый. «Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле – все равно, играем мы на сцене или пишем – главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть. Умей нести свой крест и веруй», – говорит она (т. 13, с. 58).

В «Чайке», как и в других пьесах, Чехов не описывает прошлую жизнь персонажей, а намекает на нее. «Поэтическая любовь» Тригорина – это мужская иллюзия, жизнь с молодой женщиной – реальность. Отто Вейнингер писал: «Любовь предполагает безграничный произвол в подмене психической реальности любимого существа совершенно иной реальностью. Попытка найти в женщине свою собственную сущность вместо того, чтобы видеть в женщине – только женщину, необходимо предполагает пренебрежение ее эмпирической личностью» [1992, с. 271].

По словам Нины, Тригорин «смеялся» над ее мечтами. При значительной разнице в возрасте и в житейском опыте такая реакция неизбежна. О жизни Нины и Тригорина мы узнаем со слов Треплева: «Тригорин разлюбил ее и вернулся к своим прежним привязанностям, как и следовало ожидать. Впрочем, он никогда не покидал прежних, а по бесхарактерности как-то ухитрился и тут и там» (т. 13, с. 50). Но Треплев заинтересованное лицо, его характеристики содержат оценочный момент. Если посмотреть на героя Чехова с точки зрения гендерной психологии, то он относится к определенному психотипу. Мужчины этого типа женятся на женщинах, старше их. Им нужна жена-мать, которая будет доминировать и решать все их проблемы. И, конечно же, подобный психотип с точки зрения психоанализа формируется в детстве. О матери Тригорина в пьесе не говорится, но отчасти она оживает в Аркадиной.

Муж Полины Андреевны (и юридический отец Маши) в наибольшей степени соответствует гендерным стереотипам. «К психофизиологическим характеристикам, дифференцирующим в массовом сознании мужчин от женщин, относятся агрессивность, доминантность, уверенность в себе, независимость, смелость, гру-

бость, активность и логичность мышления мужчин», – пишет Е. П. Ильин [2013, с. 70]. Естественно, в семье доминирует Шамраев. И он может быть агрессивным по отношению к другим людям, грубым в отношениях с женщинами, в том числе с женой и с дочерью. В сцене, когда он отказывает дать выездных лошадей Аркадиной, обратим внимание на ремарки. Герой говорит *волнуясь, вспыхив*. Полине Андреевне стыдно за мужа. В треугольнике Дорн – Полина Андреевна – Шамраев именно женщина оказывается лицом страдающим. И когда она просит Дорна забрать ее, тот отвечает: «Мне пятьдесят пять лет, уже поздно менять свою жизнь» (т. 13, с. 26).

Фраза Дорна – исчерпывающий ответ на призыв женщины. В Дорне часто видят Дон-Жуана, но скорее это иной психотип – холостяка. Для Дон-Жуана не характерна привязанность, он не будет общаться с женщиной, соблазненной им двадцать лет назад. С. Кьеркегор очень верно сказал о Дон-Жуане: «Он желает чувственно, он соблазняет демонической силой чувственности, – и он соблазняет всех. Речь, диалог – это не для него, ведь тогда он тотчас же стал бы рефлектирующим индивидом» [2019, с. 126].

В цензурном экземпляре Маша признавалась: «Моя мама воспитывала меня, как ту сказочную девочку, которая жила в цветке. Ничего я не умею» (т. 13, с. 261). Полина Андреевна родила дочь не от мужа, а от любимого человека, этим объясняется «сказочный» контекст. В конце первого действия Маша остается наедине с Дорном.

М а ш а. Я еще раз хочу вам сказать. Мне хочется поговорить... (*Волнуясь*.) Я не люблю своего отца... но к вам лежит мое сердце. Почему-то я всею душой чувствую, что вы мне близки... Помогите же мне. Помогите, а то я сделаю глупость, я насмеюсь над своей жизнью, испорчу ее... Не могу дольше...

Д о р н. Что? В чем помочь?

М а ш а. Я страдаю. Никто не знает моих страданий! (*Кладет голову ему на грудь, тихо*.) Я люблю Константина.

Д о р н. Как все нервны! Как все нервны! И сколько любви... О, колдовское озеро! (*Нежно*.) Но что же я могу сделать, дитя мое? Что? Что? (т. 13, с. 20).

Жест женщины – кладет голову на грудь мужчины – означает подсознательную просьбу о защите, и с такой просьбой обращаются только к тому, кого любят, в данном случае – к отцу. У Чехова Машей движет интуиция.

Вл. И. Немирович-Данченко вспоминал об одной из ранних редакций: «В той редакции первое действие кончалось большой неожиданностью: в сцене Маши и доктора Дорна вдруг оказывалось, что она его дочь. Потом об этом обстоятельстве в пьесе уже не говорилось ни слова. Я сказал, что одно из двух: или этот мотив должен быть развит, или от него надо отказаться совсем. Тем более, если этим заканчивается первый акт. Конец первого акта по самой природе театра должен круто сворачивать положение, которое в дальнейшем будет развиваться» [Чехов в воспоминаниях..., 1954, с. 412]. По его словам, Чехов прислушался к нему и убрал прямое упоминание. Свой совет он обосновывал требованиями сцены, но была еще и театральная цензура, ее требования. Однако нам кажется, что не они, а новая чеховская театральная эстетика и поэтика требовали заменить прямую информацию на намек и недосказанность.

Многоплановость образа Маши проявляется в разных деталях: в атрибутике, символике цвета, отношении к ней других персонажей, они подробно рассмотрены Ю. В. Доманским [2001, с. 11–29]. Но что читателям и зрителям могут подсказать гендерная психология и психоанализ? Если Треплев не знал материнской любви, то у Маши она была в избытке. В детстве ее наряжали и баловали, она была центром – дюймовочкой, которую полюбит прекрасный принц. Э. Берн уверен в том, что «жизненный план человека создается наподобие мифов или волшебных сказок», что «судьбу индивидуума определяет не взрослое планирование, а решения, принятые в детстве», что «дети часто копируют жизненный план с сюжета любимой сказки» [2018, с. 253]. Но когда героиня Чехова вступила во взрослую жизнь, оказалось, что прекрасный принц ее не любит. Оказалось, что ее социальный статус далек от детских представлений. Она видит, что мать отца не любит и не уважает. Табакерка, вино, черные платья – вызов миру, героиня вошла в образ «плохой девочки», чтобы обратить на себя внимание. С точки зрения психоанализа в ее личности доминирует Ребёнок, у нее нет ни сил, ни желания стать Взрослой. Она идет по жизни от одной иллюзии к другой.

Брак и семья – важнейший экзистенциальный выбор человека. Но героиня Чехова любит одного, а выходит без любви за другого. «Вот взяла и решила: вырву эту любовь из своего сердца, с корнем вырву», – говорит она (т. 13, с. 33). Но брак и семья – важнейший социальный институт, они входят в сферу экзистенциальных смыслов жизни отдельной личности. Для счастливого брака необходимы несколько условий: «Во-первых, должно быть полное равенство с обеих сторон; во-вторых, должен выполняться принцип взаимной свободы; в-третьих, физические и духовные отношения должны быть в высшей степени интимными; в-четвертых, у супругов должно быть определенное сходство взглядов на известные ценности» [Рассел, 2015, с. 156]. Но есть ли «полное равенство», «сходство взглядов» между Машей и Медведенко? В четвертом действии есть поразительная сцена, когда не женщина, а мужчина вынужден прибегать к манипуляции ребенком.

Медведенко (*умоляюще*). Маша, поедем! Наш ребеночек, небось, голоден.

Маша. Пустяки. Его Матрена покормит.

Пауза.

Медведенко. Жалко. Уже третью ночь без матери (т. 13, с. 46).

Любовь Маши к Треплеву приобретает маниакальный характер, это любовная мания. Она побеждает даже материнский инстинкт, сильнейший у женщин. И делает несчастным отца ребенка, а в будущем сделает несчастным и ребенка. В данном случае можно говорить о нарушении психики, о любовной аддикции: «Непропорционально много времени и внимания уделяются человеку, на которого направлена аддикция. Мысли о “любимом” доминируют в сознании, становясь сверхценной идеей. Процесс носит в себе черты навязчивости, сочетаясь с насильственностью, от которой чрезвычайно трудно освободиться», – сказано специалистом [Ильин, 2013, с. 73].

Подведем итоги. «Чайка», подобно «Гамлету» Шекспира, остается живой и актуальной в любое время, в любом культурном пространстве. Читателя и зрителя интересуют не только проблемы старого и нового искусства, истинного таланта и заурядности. На первый план выходят проблемы экзистенциальные и гендерные, «живая жизнь» и «живые люди» вместо литературных ролей и театральных ампула. И конфликт «отцов» и «детей» носит именно такой характер. Опыт про-

живания жизни, *дети и родители* в аспекте психоанализа, *мужское и женское* в героях пьесы делают текст «Чайки» всегда современным.

Список литературы

- Адлер А.* Индивидуальная психология. СПб.: Питер, 2019. 256 с.
- Афанасьев А.* Синтаксис любви. М.: Остожье, 2000. 494 с.
- Ауэр А. П.* Тургеневское начало в драматургии А. П. Чехова // «Чайка». Продолжение полета. М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2016. С. 240–243.
- Баню Ж.* Шекспир – двойник Чехова // Чехов и Шекспир. По материалам XXXVI Междунар. науч.-практ. конф. «Чеховские чтения в Ялте». М.: ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2016. С. 108–113.
- Берн Э.* Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М.: Изд-во «Э», 2018. 576 с.
- Бялый Г. А.* Русский реализм. От Тургенева к Чехову. Л.: Сов. писатель, 1990. 640 с.
- Вейнингер О.* Пол и характер. М.: TERRA, 1992. 480 с.
- Ильин Е. П.* Пол и гендер. СПб.: Питер, 2013. 336 с.
- Волчкевич М.* «Чайка». Комедия заблуждений. М.: Пробел-2000, 2013. 128 с.
- Головачева А. Г.* Тургеневские мотивы в «Чайке» Чехова // Филологические науки. 1980. №2. С. 8–13/
- Доманский Ю. В.* Статьи о Чехове. Тверь, 2001. 95 с.
- Из истории русской культуры. М.: Языки славянской культуры, 1996. Т. 5: XIX век. 848 с.
- Ильин Е. П.* Психология любви. СПб.: Питер, 2013. 336 с.
- Катаев В. Б.* Литературные связи Чехова. М.: МГУ, 1989. 261 с.
- Кьеркегор С.* Или – или. Фрагмент из жизни. М.: Академический проект, 2019. 775 с.
- Лонгбакка Р.* «Комедия со смертельным исходом». Заметки о «Чайке» // Чеховиана. Полет «Чайки». М.: Наука, 2001. С. 327–358.
- Одесская М. М.* Чехов и проблема идеала. М.: РГГУ, 2010. 495 с.
- Паперный З. С.* «Вопреки всем правилам»... Пьесы и водевили Чехова. М.: Искусство, 1982. 285 с.
- Полякевич Л. А.* «Княгиня» А. П. Чехова: диагноз – нарциссическое расстройство личности // Диалог с Чеховым: Сб. науч. тр. в честь 70-летия В. Б. Катаева. М.: Изд-во МГУ, 2009. С. 101–119.
- Рассел Б.* Брак и мораль. М.: АСТ, 2015. 320 с.
- Селиванов Н. А.* Александринский театр. «Чайка» // Чепуров А. А. Александринская «Чайка». СПб., 2002. С. 248–250.
- Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1981. Т. 6. С. 301–365.
- Тютелова Л. Г.* Эпическое в «новой драме» рубежа XIX–XX веков // Вестник Челяб. гос. пед. ун-та. 2016. № 1. С. 152–156 с.
- Фромм Э.* Анатомия человеческой деструктивности. М.: Изд-во АСТ, 2016. 624 с.
- Шарф Д. Э.* Сексуальные отношения: секс и семья с точки зрения теории объектных отношений. М.: Когито-Центр, 2008. 304 с.
- Чехов в воспоминаниях современников. М.: ГИХЛ, 1954. 682.

Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1978. Т. 12: Пьесы, 1889–1891. 400 с.; Т. 13: Пьесы, 1895–1904. 527 с.; Т. 14/15: Из Сибири. Остров Сахалин. 1889–1895. 928 с.

Peta Tait. Performing Emotions. Ashgate Publishing Limited, 2002. 199 p.

References

Adler A. *Individual'naya psikhologiya* [Individual psychology]. St. Petersburg, Piter, 2019, 256 p.

Afanas'ev A. *Sintaksis lyubvi* [Syntax of love]. Moscow, Ostozh'e, 2000, 494 p.

Auer A. P. Turgenevskoe nachalo v dramaturgii A. P. Chekhova [Turgenev's beginning in the drama of A. P. Chekhov]. In: "*Chayka*". *Prodolzhenie poleta* ["The Seagull". The continuation of the flight]. Moscow, GTsTM im. A. A. Bakhrushina, 2016, pp. 240–243.

Banyu Zh. Shekspir – dvoynik Chekhova [Shakespeare – Chekhov's double]. In: *Chekhov i Shekspir. Po materialam 36 Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. "Chekhovskie chteniya v Yalte"* [Chekhov and Shakespeare. Proc. of the 36th Intern. Sci.-Pract. Conf. "Chekhov readings in Yalta"]. Moscow, GTsTM im. A. A. Bakhrushina, 2016, pp. 240–243.

Bern E. *Igry, v kotorye igrayut lyudi. Lyudi, kotorye igrayut v igry* [Games that People play. People who play games]. Moscow, "E" Publ., 2018, 576 p.

Byalyy G. A. *Russkiy realizm. Ot Turgeneva k Chekhovu* [Russian realism. From Turgenev to Chekhov]. Leningrad, Sov. pisatel', 1990, 640 p.

Chekhov A. P. *Poln. sobr. soch. i pisem: V 30 t.* [Complete works and letters. In 30 vols]. Moscow, Nauka, 1978, vol. 12: P'esy, 1889–1891 [Plays, 1889–1891], 400 p.; vol. 13: P'esy, 1895–1904 [Plays, 1895–1904], 527 p.; vols 14/15: Iz Sibiri. Ostrov Sakhalin. 1889–1895 [From Siberia. Sakhalin Island. 1889–1895], 928 p.

Chekhov v vospominaniyakh sovremennikov [Chekhov in the memoirs of his contemporaries]. Moscow, GIKhL, 1954, 682 p.

Domanskiy Yu. V. *Stat'i o Chekhove* [Articles about Chekhov]. Tver', 2001, 95 p.

Fromm E. *Anatomiya chelovecheskoy destruktivnosti* [Anatomy of human destructiveness]. Moscow, AST, 2016, 624 p.

Golovacheva A. G. Turgenevskie motivy v "Chayke" Chekhova [Turgenev's motives in Chekhov's "The Seagull"]. *Philological Sciences*. 1980, no. 2, pp. 8–13.

Il'in E. P. *Pol i gender* [Sex and gender]. St. Petersburg, Piter, 2013, 336 p.

Il'in E. P. *Psikhologiya lyubvi* [The psychology of love]. St. Petersburg, Piter, 2013, 336 p.

Iz istorii russkoy kul'tury [From the history of Russian culture]. Moscow, LRC Publishing House, 1996, 848 p.

Kataev V. B. *Literaturnye svyazi Chekhova* [Chekhov's literary connections]. Moscow, MSU, 1989, 261 p.

K'erkegor S. *Ili – ili. Fragment iz zhizni* [Or – or. A fragment from life]. Moscow, Akademicheskii proekt, 2019, 775 p.

Longbakka R. "Komediya so smertel'nym iskhodom". Zametki o "Chayke" ["A comedy with a fatal outcome". Notes on "The Seagull"]. In: *Chekhoviana. Polet "Chayki"* [Chekhoviana. The flight of "The Seagull"]. Moscow, Nauka, 2001, pp. 327–358.

Odesskaya M. M. *Chekhov i problema ideala* [Chekhov and the problem of the ideal]. Moscow, RSUH, 2010, 495 p.

Polyakevich L. A. "Knyaginya" A. P. Chekhova: diagnoz – nartsissicheskoe rasstroystvo lichnosti ["The Princess" by A. P. Chekhov: Narcissistic personality disorder

as a diagnosis]. In: *Dialog s Chekhovym: Sb. nauch. tr. v chest' 70-letiya V. B. Kataeva* [Dialogue with Chekhov: Coll. of sci. works in honor of the 70th anniv. of V. B. Kataev]. Moscow, MSU, 2009, pp. 101–119.

Papernyy Z. S. “*Vopreki vsem pravilam*”... *P'esy i vodevili Chekhova* [“Contrary to all rules”... Chekhov’s plays and vaudevilles]. Moscow, Iskusstvo, 1982, 285 p.

Rassel B. *Brak i moral'* [Marriage and moral]. Moscow, AST, 2015, 320 p.

Sharf D. E. *Seksual'nye otnosheniya: seks i sem'ya s tochki zreniya teorii ob"ektnykh otnosheniy* [Sexual relations: Sex and family from the point of view of the theory of object relations]. Moscow, Kogito-Tsent, 2008, 304 p.

Selivanov N. A. Aleksandrinskiy teatr. “Chayka” [Alexandrinsky Theater. “The Seagull”]. In: Chepurov A. A. *Aleksandrinskaya “Chayka”* [The Alexandrinsky “The Seagull”]. St. Petersburg, 2002, pp. 248–250.

Tait P. *Performing Emotions*. Ashgate Publishing Limited, 2002, 199 p.

Turgenev I. S. *Poln. sobr. soch. i pisem: V 30 t.* [Complete works and letters: In 30 vols]. Moscow, Nauka, 1981, pp. 301–365.

Tyutelova L. G. Epicheskoe v “novoy drame” rubezha 19–20 vekov [Epic in the “new drama” of the turn of the 19–20th centuries]. *Bulletin of Chelyabinsk State University*. 2016, no. 1, pp. 152–156.

Veyninger O. *Pol i kharakter* [Sex and character]. Moscow, TERRA, 1992, 480 p.

Volchkevich M. “Chayka”. *Komediya zabluzhdeniy* [“The Seagull”. A comedy of delusions]. Moscow, Probel-2000, 2013, 128 p.

Сведения об авторе

Собенников Анатолий Самуилович – доктор филологических наук, профессор кафедры иностранных и русского языков Военного Института железнодорожных войск и военных сообщений (Санкт-Петербург, Петергоф, Россия)
assoben52@mail.ru

Information about the author

Anatoly S. Sobennikov – Doctor of Philology, Professor at the Chair for the Russian Language of the Military Transport Institute of Railway Troops and Transportation Service (Saint Petersburg, Peterhof, Russian Federation)
assoben52@mail.ru

УДК 82
DOI 10.17223/18137083/74/7

**«Крымские записки. 1916–1921» С. Шиль:
трагедия места в автодокументальном воспроизведении**

Е. Н. Проскурина

*Институт филологии СО РАН
Новосибирск, Россия*

Аннотация

Впервые представлен анализ «Крымских записок» С. Шиль, созданных в 1921 г. И текст, и его автор являются малоизвестными современному читателю. Выявляется структура авторского голоса и объединяющая его модусы творческая задача, заключающаяся в стремлении к документальности излагаемых событий. При этом в качестве участника и наблюдателя Шиль бывает субъективна в оценках, тогда как в качестве свидетеля придерживается беспристрастной точки зрения. Малая дистанция между событиями и их описанием накладывает свои особенности на авторскую позицию, не давая возможности сформироваться «историческому зрению», лишь в редкие моменты проявляющему себя в тексте. Однако приведенный в записках фактический материал – новое приложение к уже имеющемуся автодокументальному корпусу произведений о Крыме периода революции и русского исхода, что представляет несомненную ценность.

Ключевые слова

С. Шиль, «Крымские записки», русский исход из Крыма, крымский текст, автодокументальный дискурс, литература и документ

Для цитирования

Проскурина Е. Н. «Крымские записки. 1916–1921» С. Шиль: трагедия места в автодокументальном воспроизведении // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 96–108. DOI 10.17223/18137083/74/7

**“Crimean Notes. 1916–1921” by S. N. Shil:
Tragedy of place in auto-documentary reproduction**

E. N. Proskurina

*Institute of Philology SB RAS
Novosibirsk, Russian Federation*

Abstract

For the first time, the paper presents the analysis of the “Crimean Notes” written by S. Shil in 1921. The text itself and its author are not well known to the modern reader. The study reveals the structure of the author’s voice, with the participant, observer, and witness modes being distinguished. The function of each mode and the unifying creative task, i. e., the author’s

© Е. Н. Проскурина, 2021

ISSN 1813-7083
Сибирский филологический журнал. 2021. № 1
Siberian Journal of Philology, 2021, no. 1

desire to document the facts presented, are determined. As a participant and observer, Shil is quite subjective in her assessments of real circumstances, while as a witness, an eyewitness to an event, she adheres to an impartial assessment. The paper demonstrates the difference between female auto-documentary and S. Shil's notes that show the absence of emotional saturation, imaginary rather than real facts and impressions. The features of the memoirist's perception of the revolutionary events in Crimea, as well as the Russian exodus, are analyzed. Shil's changing position in relation to the revolution – from joyful hopes to disappointments – is demonstrated. The small distance between the events that took place and their description, the absence of a time gap between life and the text influence the author's position. This distance deficit prevents the formation of the author's "historical vision," showing itself only very rarely in the text. However, of obvious value is the factual material given in the notes is a new addition to the already available auto-documentary corpus of works about the Crimea during the revolution and the Russian exodus.

Keywords

S. Shil, "Crimean Notes", Russian exodus from Crimea, Crimean text, auto-documentary discourse, literature and document

For citation

Proskurina E. N. "Crimean Notes. 1916–1921" by S. N. Shil: Tragedy of place in auto-documentary reproduction. *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 96–108. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/7

Последние годы отмечены повышенным интересом к эгословесности. Активизация этого многожанрового направления отечественной словесной культуры повлекла за собой ряд издательских инициатив, среди которых хочется выделить серию «От первого лица: история России в воспоминаниях, дневниках, письмах», реализуемую московским издательством «Новый хронограф». В рамках этой серии опубликовано множество неизвестных материалов, открыт не один десяток новых авторов-мемуаристов, к числу которых принадлежит София Николаевна Шиль (1863–1928). Хотя назвать ее новым автором не вполне корректно: в начале ушедшего века она публиковала свои произведения (художественные, научно-публицистические) под псевдонимом Сергей Орловский. Так, в издательстве «Сытин» были опубликованы «История Мурочки» (1904) и «Певец-изгнанник. Исторический роман» (1913), в издательстве «Просвещение» – «Родные и чужие были» (1912); последней по дате стала книга «Русские писатели – апостолы свободы», вышедшая в московском издательстве «Задруга» в 1917 г. Можно сказать, что имя Сергея Орловского оказалось к настоящему времени прочно забытым. Попытка переоткрытия принадлежит издательству РГГУ, в 2017 г. выпустившему однотомник сочинений, куда вошли мемуары, письма, переводы, стихотворения. Сборник надписан двойным авторством: Сергей Орловский (С. Н. Шиль). В пятом номере «Нового литературного обозрения» за 2018 г. опубликована рецензия М. В. Михайловой на эту книгу. В ней, в частности, отмечено, что с появлением сборника сочинений «стало ясно, что мы пропустили интересного мемуариста, переводчика, автора стихов, не укладывающихся в наше представление о поэтической культуре начала XX столетия. Собранные в томе материалы показывают, сколь значимо, хотя и мало заметно, было ее присутствие в литературном процессе первых трех десятилетий XX в. Она относилась к числу тех литературных деятелей, которые по тем или иным причинам оказались на обочине литературной жизни, которым не удалось влиться в ее главное русло (да они и не очень стремились к этому, согласившись с занимаемым местом и не ропща на судьбу). Но без

них представление о русской литературе будет далеко не полным» [Михайлова, 2018]. В том же 2018 г. в седьмом номере журнала «Литературный факт» представлена обстоятельная биография Шиль, показывающая ее активным участником литературной жизни рубежа XIX–XX вв. Восполняют биографию, а также представление о личности и творчестве писательницы «Крымские записки», относящиеся к переломному периоду отечественной истории XX в. Впервые они увидели свет лишь в 2018 г., значимом для восстановления памяти о С. Шиль. Этот текст, подписанный собственным именем автора, создавался вскоре после ее возвращения в Москву в 1921 г., предположительно «на основе черновых ежедневных заметок, какие обычно ведут писатели» [Афанасьев, 2018, с. 10]. Воспоминания разделены на две части: «Феодосия. Сентябрь 1916 – июль 1918 г.» и «Севастополь. Июль 1918 – май 1921 г.». Первая, феодосийская, часть состоит из трех тетрадей. В целом повествование в записках соответствует историко-биографическому линейному разворачиванию событий в их календарной последовательности.

Отъезд из Москвы на полуостров осенью 1916 г. в записках объяснен очень неопределенно: «из-за уже обозначившейся разрухи в Москве» [Шиль, 2018, с. 18]¹. При этом Шиль указывает на только что перенесенное воспаление легких. Вероятно, в Крым, с его благоприятным климатом, она ехала как в здравницу, где у нее, однако, не было ни жилья, ни знакомых. Прожив на полуострове пять лет, Шиль не оставляет надежды на возвращение в Москву, осознавая при этом, что возвращаться ей некуда: родительский дом к тому времени продан, а деньги, вырученные за него, пропали в революционной неразберихе. Вернуться в Москву ей действительно удалось в 1921 г., однако, как показывают написанные в этот период письма и мемуары, жизнь в советской столице оказалась еще более сложной, чем в Крыму.

В «Крымских записках» можно выделить три ипостаси авторского голоса: участника, наблюдателя и свидетеля – как одного из модусов наблюдателя. Все они объединены единой позицией, заключающейся в стремлении к документальности. Частная жизнь, бытовая повседневность мемуаристки отступает на второй план, подсвечивая, детализируя социально-исторические перемены, происходившие в Крыму в революционный период. Это выделяет дискурс Шиль из среды женской эгословесности, отличающейся эмоциональной насыщенностью и большой долей воображения. Еще одно важное отличие – отсутствие авторефлексии, погруженности в процесс размышления о собственных переживаниях. Центральное место в записках принадлежит освещению меняющейся жизни. При этом в качестве участника и наблюдателя Шиль бывает довольно субъективна в своих оценках, тогда как в качестве свидетеля в значении очевидца события придерживается беспристрастной оценки. В такой позиции, в большей степени характерной для мужской автодокументалистики, проявляется свойство личности мемуаристки – не случайно для своего творческого псевдонима она выбрала мужской криптоним.

Уже на первых страницах записок Шиль предстает деятельным человеком, в котором энергия противится возрасту: в 1916 г. ей 53 года, и она часто говорит о себе как о «старой женщине». Но сильный характер, воля к жизни дают ей возможность пережить невзгоды двух революций 1917 г., Гражданской войны, бездомья, голода. Показательно в плане характеристики мемуаристки, что с самого

¹ Далее цитаты из текста приводятся по этому изданию с указанием страниц в скобках.

начала своего появления в Феодосии она пытается вступить в противоборство с образом жизни насельников города, представляющимся ей сонным и обывательским, что особенно остро воспринимается ею после активного существования в Москве. Это впечатление не вызывает сомнений в подлинности, поскольку «страшно напряженная» атмосфера Первой мировой войны не могла не отразиться на уныло-тревожной обстановке города: «Безотрадность была как бы основной нотой во всех картинах и звуках жизни, несмотря на праздничный блеск южного сентября. Казалось, что есть какое-то горькое противоречие между яркостью лазурного моря и этим торжественным ликованием неба – и той нудной скудостью и подавленностью, какая была в глаза на улицах» (с. 19).

Авторская грань участника событий реализуется в записках через множество инициатив, предпринятых Шиль с целью активизировать литературно-просветительскую жизнь в Феодосии. Однако все ее начинания, как в предреволюционный период, так и в революционное время: лекции в литературно-художественном клубе при городской гимназии, устройство воскресного клуба юношества при организованном по инициативе М. Волошина и А. Новинского литературно-художественном обществе «Киммерика», лекции по русской классической литературе и др. – носят временный характер. Это отражало «реальность настоящего», в которой сквозило предчувствие «начала конца» (с. 29) прежней жизни. Гражданская война лишь усилила ощущение непостоянства, в котором, однако, выделяется ситуация *возвращения*. Со сменой власти, переходившей в Крыму из рук в руки девять раз, воспроизводится одна и та же картина разграбления города при уходе «красных», «белых», а также немецких оккупантов. Однако представленная в континуальном освещении она с документальной точностью демонстрирует динамику оскудения жизни, нарастания хаоса. Момент ухода каждой из властей обозначен в тексте повторяющимся мотивом «ничейности»: «Город вдруг стал ничей, и мы все, его жители, точно беспомощные младенцы, которые нуждаются еще в няньке и ждут ее» (с. 82), а приход новой власти связан с ожиданием восстановления порядка, вскоре показывающим свою иллюзорность. Очередной виток смены власти отражен в тексте со все более нарастающим драматизмом. Воспоминания с особым нажимом акцентируют катастрофическое удорожание жизни под напором усиливающейся разрухи. Сохраняющаяся дешевизна продуктов в период Первой мировой войны к концу Гражданской оборачивается дороговизной такого уровня, который грозит тотальным голодом. Сонное прозябание края чем дальше, тем больше преобразуется в адский водоворот, достигший своего дна на этапе «красного террора». К этому времени Шиль уже переезжает в Севастополь – в поисках средств к существованию. Однако здесь она сталкивается с еще большей нищетой: единственным пропитанием ей служит черный хлеб с травяными примесями и жидкая похлебка из проса. Существенным ударом стал запрет советскими властями на ловлю мелкой дешевой рыбки самсы, до их прихода хоть как-то скрашивавшей скудный бедняцкий стол.

Усиливает чувство безысходности постоянно ощущаемое мемуаристкой одиночество, которое ей не удается преодолеть даже в периоды востребованности в качестве лектора или организатора литературных кружков: сильный характер и независимая позиция, нежелание подыгрывать «мещанским» вкусам слушателей создают ей репутацию «гордячки». Но и среди феодосийской интеллигенции она не находит близких себе по духу людей, видя в них не более чем представителей «буржуазии», к которой испытывает брезгливость. В этом проявился крайний субъективизм ее внутренней позиции, определяющийся политическими взгляда-

ми, близкими народническим. Вот как, например, изображен ею В. П. Цераский (1849–1925), известный астроном, член-корреспондент Петербургской Академии наук: «Среди буржуазии Феодосии у меня было знакомое семейство отставного московского профессора Цераского. Там я чувствовала ту тайную враждебность к перевороту (речь идет о Февральской революции. – *Е. П.*), которая, должно быть, повсеместно царила в те дни в буржуазных слоях... Радости не было и следа, зато много опасений касательно личной судьбы... Плесенью, затхлостью веяло от таких семей» (с. 46–47). И сам Крым на всем протяжении повествования предстает чужим в глазах мемуаристки. Это касается не только Феодосии, но и Коктебеля, Севастополя. Хотя наибольшую неприязнь в ней вызывает Феодосия: в облике города она видит лишь «безлепицу и безвкусию». Даже личность Айвазовского связана для нее не со знаменитой галереей и не с благотворительными инициативами художника, среди которых одной из главных было обеспечение феодосийцев питьевой водой, а с неудачным, по ее мнению, расположением железной дороги: «Культ Айвазовского. Устроенная им, или вернее, изуродованная им набережная прекраснейшего залива – рельсы по самому берегу за каменной оградой, лишившие жителей естественной прелести и красоты свободного взморья» (с. 24). Это единственное упоминание в записках имени великого мариниста. С не меньшей иронией описываются расположенные вдоль берега дачные особняки меценатов города: «Вдоль этого уродства красовались дворцы и дачи местных табачных и винных магнатов, евреев и караимов. Издали эта линия зданий, полукругом изгибая прибрежную улицу, казалась интересной и напоминающей Европу. Но стоило только поближе всмотреться в эти здания, как неотразимо начинала выступать не культура, а жалкое подобие культуры» (с. 24). Речь идет о наиболее известных достопримечательностях Феодосии начала XX в. – даче Милос, построенной в 1911 г. архитектором Н. Ф. Пискуновым в неоклассическом стиле, и даче Стамболи, построенной в 1909–1914 гг. в испано-мавританском стиле и являющейся в настоящее время памятником культурного наследия. Однако в глазах Шиль оба архитектурных ансамбля выглядят как сооружения «не Медичи». Но и остатки древнего города не останавливают на себе ее взор, хотя она снимает жилье рядом с Карантином и Генуэзской крепостью. Лишь находки во множестве зарытых античных черепков оказываются для нее наиболее ценными: «Так жалка была эта Феодосия в ее настоящем, живя на развалинах своего великого европейского прошлого. Между тем стоило только взрыть землю для фундамента стройки, как земля дарила драгоценные обломки генуэзской и греческой эпох. Но то поколение, которое ело, плодилось и множилось в древней Кафе в начале 20-го века, в мещанстве своем вовсе не интересовалось былым; но сытно, богато и тупо жило и множило свои капиталы, даже не чувствуя духовной своей нищеты» (с. 26–27).

Для сравнения отметим, что совсем по-иному, «кусочком Константинополя», «маленьким раем» увидели Феодосию Марина и Анастасия Цветаевы в свои приезды в Крым периода 1911–1914 гг. «Феодосия предвоенных лет! Та, через фиту! Еще в памяти Каффа, еще наполовину “Ардава”. Полная уютных семейств, дружеских праздничных сборищ, ожидания гостей, наивного восхищения талантом, готовая с первого взгляда на юный эскиз, с первого звука смычка, с первой строфы стихов венчать дерзновенного – словно Перикла народ, словно Капитолий Коринну. <...> Это маленький рай? Мы не ошиблись, выбрав Феодосию» [Цветаева, 1983, с. 505]; «...это сказка из Гауфа, кусочек Константинополя <...> И мы поняли – Марина и я, – что Феодосия – в о л ш е б н ы й город и что мы полюбили

его *на в с е г д а*» (выделено автором. – *Е. П.*) [Цветаева, 1983, с. 389]. Представление сестер Цветаевых о Феодосии как о земном рае расширяет райский локус Крыма за пределы его южной части, еще со времени присоединения полуострова к России связываемой европейскими путешественниками со сказками «Тысячи и одной ночи» (см.: [Храпунов, 2014]).

Хотя справедливости ради нельзя не отметить, что критическое отношение автора записок к облику Феодосии, выламываясь из сложившейся мемуарной традиции, совпадает с восприятием «русского» Крыма М. Волошиным, увидевшего в нем реализацию амбициозного Екатерининского имперского проекта: «Древняя Готия от Балаклавы до Алустана застроилась непристойными императорскими виллами в стиле железнодорожных буфетов и публичных домов и отелями в стиле императорских дворцов. Этот музей дурного вкуса, претендующий на соперничество с международными европейскими вертепами на Ривьере, очевидно, так и останется в Крыму единственным монументальным памятником “Русской эпохи”» [Волошин, 1990, с. 216]. Боль от утраченной Крымом самобытности отражена в поэтическом образе любимого поэтом Коктебеля: «Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель...» [Там же, с. 20], оказав также влияние на название стихотворного цикла «Киммерийские сумерки» (в данном случае мы оставляем за скобками автобиографический контекст названия, связанный с разрывом с Маргаритой Сабашниковой)². Но это единственная точка сближения мемуаристики с певцом древней Киммерии, коктебельский круг которого не вызвал у нее интереса и желания приобщения к «дому поэта», главным назначением которого было «объединять, дарить людей друг другу, протягивать руку, идти навстречу» [Баруткина, 2014, с. 114]. С плохо скрываемой досадой, приправленной иронией, описывает она лекции Волошина в литературно-художественном клубе, видя в нем своего соперника: «Несмотря на щедрые аплодисменты, которыми наградила меня аудитория, читать больше в ту осень мне не пришлось. Приехал из Коктебеля... поэт Волошин, и стал читать лекции раз, иногда два раза в неделю. Помню одну из этих лекций – “О жестоком в искусстве”, – где лектор нагромоздил все ужасы, когда-либо изображенные словом или кистью. Нервы слушателей не вынесли того, что с легкостью переносил сам рассказчик...» (с. 29). С той же иронией обыгрывает Шиль предложенное Волошиным название клуба: «Киммерика», усматривая в этом смехотворность и не понимая тех внутренних побуждений, которыми руководствовался поэт, хранитель памяти об истории Крыма. Насколько дорога тема исторической памяти Волошину, настолько далека она от сознания Шиль, живущей настоящим, заботами меняющегося на ее глазах мира.

Революционный контекст усиливает ее критическое восприятие как самого Волошина, так и его окружения. Обратимся в этой связи к одному из фрагментов записок, который может стать показательным в том отношении, что в первые десятилетия XX в. Шиль «оказалась на обочине литературной жизни» и ей «не удалось влиться в ее главное русло» (М. Михайлова). Несмотря на страх перед октябрьским переворотом, в сознании мемуаристки еще теплится надежда на расцвет «новой России». В свете этой надежды «круг Волошина» она наивно связывает лишь с буржуазной идеей защиты собственности, не осознавая того, что он

² В своих сожалениях об утраченной самобытности полуострова Волошин был не одинок. Взгляд на Крым как на русский эдем соединялся с описанием удручающих картин ломки традиционного уклада жизни, в первую очередь крымских татар, уже в первые годы присоединения Крыма к России в среде европейских путешественников (см.: [Храпунов, 2014]).

объединяет в себе интереснейших людей, творцов современной культуры: «Это была так уже хорошо знакомая мне по Феодосии буржуазная среда, встретившая революцию 1917 года с недоверием и опаской и теперь жившая тем, что злорадно выбирала из газет самые ужасные вести и спрашивала: “Что, при царях было разве хуже?”... Принять факт революции люди эти не могли, потому что все были собственники, а она их била по карману и лишала привычного удобства и раздолья жизни. Уже среди ненависти ко всему революционному загоралась надежда, что вот-вот скоро придет конец и наступит монархическое возрождение...» (с. 90). Этот фрагмент вполне мог бы вписаться в советский учебник по литературе. Можно сказать, что мимо жизни Шиль прошли большие личности Серебряного века, лекции о котором она читала в феодосийском литературном клубе. «Чистая эстетика», вскользь отмеченная ею в поэзии Волошина, никак не сочеталась в ее сознании с широтой его природы, но больше всего – с неприятием революционного переворота, весь трагизм которого она осознает лишь годами позже. В приведенных оценках можно увидеть, как эго автора, находящегося в позиции наблюдателя, искажает сами объекты наблюдения.

Из сказанного выше становится понятен тот восторг, с каким в феврале 1917 г. Шиль встречает известие о «буржуазно-демократической революции», о готовящемся созыве Учредительного собрания. В предчувствии новизны жизни она с энтузиазмом берется читать в расположенной в районе Карантина солдатской казарме лекции по избирательному праву. При знакомстве со своими слушателями – простыми солдатами, она, с одной стороны, отмечает их необразованность, с другой – простодушие и жажду знаний. Описывая свои посещения казармы, Шиль показывает, как меняется восприятие и ее самой, и предмета ее лекции: «Солдаты сначала смотрели на седую женщину со смешком и лениво, но под конец так разгорелись и глаза, и сердца, и уже искренно просили приходить каждый день и все им объяснять, потому что они, по их словам, ничего не понимали, отчего все пошло по-новому, а войне конца нет... Уже издали артиллеристы замечали, как я спускаюсь из виноградника в ложбину между гор и начинаю взбираться к казарме, и созывали товарищей. Будили спящих, мели пол и запирали злую собаку. Потом я ораторствовала... Достала... в подарок моим солдатам большую классную карту Европы; с какой любовью искали достаточно хорошего места для нее, – и как усердно прибавляли! – и после рассказов о политике и свободе просто-напросто учила их географии, которая оказалась для всех необыкновенно любопытной, неслыханной!» (с. 56). Эта зарисовка с природы служит яркой иллюстрацией быта и уровня просвещения в рядовой солдатской среде.

В этой части записок наибольшую частотность приобретают мотивы надежды и свободы как отражение разлитой в воздухе радостной атмосферы: «В Карантине сентябрь прошел как один сияющий праздник. Со скамеек на горе открывался залив и его выход к морю. То и дело появлялись корабли, конечно, военные; они гордо несли на верхней мачте красный флаг свободы. И хотя на этот флаг уже брызнула кровь кронштадтских убийств, но все же он был символом не кровавым, а святым, и сердце всколыхалось каждый раз, когда на лазури неба мерцал алый лоскутик... Война была где-то далеко-далеко, а здесь как будто налаживалась наша русская свобода» (с. 59). Однако это состояние вскоре сменяется «величайшим страхом смертельной тревогой и неизвестностью» (с. 62): «Томительно было жить, дышать. Вместо газет – скудные лоскутки, обрывочные слова, грозные скрытым своим содержанием. Так достигли до феодосийского захолустья смутные вести о победе большевиков в Петрограде, о движении большевистских войск

на Москву. Помню, в темный вечер пробиралась я домой из города в дальний Карантин, прочитав в телеграмме о восстании и боях в Москве, о победе большевиков. Не выдержали нервы, оперлась у какого-то пустыря о забор и горько рыдала над нашей Москвой и Россией» (с. 62). С нарастанием хаоса жизни старый ее уклад представляется мемуаристке спокойным и «культурным», эмблемой чего становятся воскресные заседания литературного кружка, гимназические уроки литературы, Тургеневский вечер 1918 г., посвященный столетнему юбилею русского классика...

Если в период Первой мировой войны просвещение простых солдат приносит Шиль радость: свои беседы она воспринимает как «общение с народной душой» (с. 22), то трехкратный приход к власти большевиков все более развеивает ее представление о наивной «народной душе». Чрезвычайно точно и емко представлена в записках эволюция большевизма как явления – на местном опыте, с акцентом на национальности ведущих кадров: «Только третьи большевики уже не похожи были на вторых, как вторые не похожи на первых. Первые были у нас стихия, в слепоте ищущая приложить свои силы к водворению какого-то нового, небывалого, но все-таки порядка; корявая и темная сила с детскими и вместе зверскими глазами. Вторые большевики пришли с крутыми и грозными декретами... которые надо было помнить наизусть, чтоб не погибнуть. Но они все же строили просвещение из нас, горожан... тут само общество призывалось к участию в создании новых порядков. Третьи большевики пришли уже с отлившейся в твердые формы властью и взяли город в свои руки, не спрашивая, кто к чему годен для них... Большинство были евреи и люди светловолосые латышского типа» (с. 236). Здесь уже видна попытка «исторического зрения», аналитического восприятия трех постреволюционных лет, разрушивших первые романтические иллюзии.

В процессе авторских наблюдений создается все более удручающая картина отрезанной от метрополии жизни, превращения полуострова в информационную «глухомань»: в 1921 г., «после трех лет советской власти» крымчане остаются в неведении, «что же именно произошло там, на Севере... Что представляет собой Совдепия... какова обязательная для всех идеология» (с. 237). Сбивала с толку и новая орфография, не дававшая возможности даже образованному читателю понять смысл текста с первого раза: «Новые советские газеты... казались безграмотными, бумага была серая, печать слепая. Надо было раза три прочесть статью, чтоб ее понять, так сказать, по-русски» (с. 237).

Предельного драматизма исполнены наблюдаемые мемуаристкой картины исхода Белой армии из Севастополя: «...я до самой темноты ходила по улицам, смотрела, что делается в городе. По Большой Морской летали автомобили и грузовики, кого-то давили, кто-то вопил; клади двигались все в одном направлении – к морю. Тесно было от экипажного потока на Нахимовском, будто весь город выезжает куда-то. <...> Но эта изумительная картина какого-то повального движения превращалась... в картину невиданного бегства и суматохи вдоль всей Екатерининской от начала ее до конца у Графской пристани. Это движение продолжалось несколько дней – смотря по тому, сколько пароходов стояло на больших пристанях... Всюду громоздились у воды груды багажа... Всюду около них стояли растерянные люди с такой усталостью на лице, что, кажется, вот упадут и скончаются. Пароходы по длинным сходам принимали в свои недра людские толпы и потом с ревом уходили, но долго еще стояли в море в виду города, неизвестно по какой причине» (с. 222). Причину этого стояния можно выявить из вос-

поминаний командующего войсками Южного фронта П. Н. Врангеля, где приведено сообщение правительства Юга России: «Ввиду объявления эвакуации для желающих офицеров, других служащих и их семейств, правительство Юга России считает своим долгом предупредить всех о тех тяжких испытаниях, какие ожидают приезжающих из пределов России. *Недостаток топлива приведет к большой скученности на пароходах, причем неизбежно длительное пребывание на рейде и в море.* Кроме того совершенно неизвестна дальнейшая судьба отъезжающих, так как ни одна из иностранных держав не дала своего согласия на принятие эвакуированных. Правительство Юга России не имеет никаких средств для оказания какой-либо помощи как в пути, так и в дальнейшем. Все это заставляет правительство советовать всем тем, кому не угрожает непосредственной опасности от насилия врага – остаться в Крыму»³ (курсив мой. – Е. П.).

Среди наблюдений есть щемящая сцена расставания казака со своим конем: «казак рыдал на шее своего коня, прощался с ним, прежде чем пустить на волю и на голодную смерть» (с. 223–224). Здесь Шиль запечатлела ситуацию, которая в более драматическом варианте стала основой лирического сюжета в творчестве казачьего поэта-младоземигранта Николая Туроверова – поэме «Перекоп» (1925), стихотворении «Уходили мы из Крыма» (1940):

Спешу, мой конь, долиной Качи,
Свершай последний переход.
Нет, не один из нас заплачет,
Грузясь на ждущий пароход,
Когда с прощальным поцелуем
Освободим ремни подпруг,
И, злым предчувствием волнуем,
Заржет печально верный друг
[Туроверов, 1965, с. 24];

Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня;
Я с кормы все время мимо
В своего стрелял коня.
А он плыл, изнемогая,
За высокою кормой,
Всё не веря, всё не зная,
Что прощается со мной.
Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою!
Конь всё плыл, теряя силы,
Веря в преданность мою.
Мой денщик стрелял не мимо –
Покраснела чуть вода...
Уходящий берег Крыма
Я запомнил навсегда
[Туроверов, 1965, с. 79].

³ Врангель П. Н. Записки. URL: <http://militera.lib.ru/memo/russian/vrangel1/15.html> (дата обращения 26.01.2021).

Убийство казаком собственного коня перед разлукой оказывается наиболее гуманным поступком в сравнении с его оставлением на крымском берегу: «Потом эти бесхозные лошади бродили по городу несчастные, тощали и стучали мордами в ворота, пока их не ловили живодеры на бойню» (с. 224).

Период ухода Белой армии определен мемуаристкой как «дни дикой кутерьмы», в которые вплетены ее занятия в гимназии, посещение покойницей в поисках умершей приятельницы, лекции о Байроне, пожар на американском складе, грабежи таможни. Правда в эти дни переслаивается слухами и сплетнями. В записках это отражено распространяющимися по Севастополю стойкими пересудами о продаже Врангелем «за сумасшедшие деньги» первых пароходов «богачам», что Шиль подтверждает своим наблюдением «множества автомобилей близ Графской пристани с шикарнейшей публикой еврейского типа... они ехали, как бары» (с. 222). Контрастом этой картины выведено наблюдение за пешими офицерами и старыми генералами, которые «плелись... с малым чемоданчиком в руке» (с. 222). Расценивая свои наблюдения как свидетельства, подтверждающие предательство генерала, мемуаристка делится общей тревогой, «что для военных не хватит мест, что добровольцев всех не посадят» (с. 222). «Помню, я стояла на пристани и смотрела, – читаем ниже, – как толпились и протискивались люди, как женщины держали у своих юбок испуганных и плачущих детей, как ругались носильщики, как скромно протискивалось на палубу измученное фронтовое офицерство» (с. 226). Этим свидетельствам действительно можно найти множество подтверждений в воспоминаниях русских эмигрантов и художественных произведениях. Однако наряду с документальностью наблюдений в текст записок вплетаются авторские домыслы: «Уехали в первую очередь все те, которые околачивались в тылу в севастопольских кафе, которые ораторствовали о преимуществах прежнего кулака. Как всегда, эта накипь жизни спасалась, а для гибели оставались лучшие люди...» (с. 226). Приведем здесь фрагмент из воспоминаний Врангеля, где даны точные сведения о количестве судов и эвакуированных людей: «На 126 судах вывезено было 145 693 человека, не считая судовых команд»⁴. Такое количество судов и число эвакуированных показывают абсурдность утверждения автора записок. В своих воспоминаниях руководивший эвакуацией Врангель пишет, что все желавшие уехать были размещены на кораблях, в чем он видит исполнение собственного долга.

Образ Врангеля выведен в записках Шиль без малейшей авторской симпатии, что, видимо, повлекло за собой череду приведенных догадок. В своем описании она представляет его «долговязым», похожим на Дон Кихота, человеком, который не чувствует ответственности за поражение Белого движения – «как человек, который только машинально исполняет все нужные движения тела для своего спасения, с пустой головой, уже не способной реагировать на ужас гибели» (с. 228). Сравнение Врангеля с Дон Кихотом становится неуместной аналогией, противоречащей общему пафосу высказывания.

Не испытывая сочувствия к Белому движению в целом как способу реставрации монархии в России и вместе с тем не чувствуя расположения к большевикам, мемуаристка находится в состоянии внутреннего распутья. Уход из страшной реальности она находит в творчестве, причем в таком жанре, как сказка, замысел которой обдумывался ею еще в Феодосии: «Все во мне требовало отдыха, передышки; не хватало сил дальше переживать трагедию революции. Истоцилась

⁴ Врангель П. Н. Записки.

и вера, и надежда, и ум не мог объять всего ужаса нескончаемой гражданской войны, которою пылала наша Россия, как дом, зажженный со всех концов. Какой-то жизненный инстинкт требовал отвлечь внимание на свое, совершенно иное, утешительное, творческое и гармоничное. И я спокойно писала первое и второе действие сказки» (с. 144–145).

Однако реальность не отпускает ее, измучивая голодом («До чего голодал Севастополь, было ужасно» (с. 233)), слабостью, меркнущим зрением, не дающим возможность читать и писать. Но даже со слабым зрением при тусклой лучине она продолжает свою творческую работу. Помимо сказки и черновых помет для будущих «Крымских записок», Шиль продумывает свою последнюю книгу «Сердце Отчизны», посвященную Москве⁵. В записках она отмечает удрученную атмосферу Севастополя, усилившуюся с уходом последних кораблей и наступившим безвластьем: «Улицы были пусты. Но море еще более опустело. Уже ни единого парохода не стояло у пристаней в бухте. <...> На базаре еще кое-как, хирея, скрипела торговля, но магазины один за другим запирались, словно вся улица вымирала, и город был город мертвых...» (с. 232). Приход красных войск поначалу воспринимается Шиль как избавление из царства мертвых. Сам образ «мирных солдат», разгуливавших по Приморскому бульвару в простых, а не офицерских шинелях, вызывает у нее умиление: «Шли солдаты наши русские – не в куцах лягушачьи-зеленых мундирчиках Добровольческой армии, но в хороших длинных до пят серых солдатских шинелях. И до чего радостно было видеть их, таких знакомых с детства!» (с. 231). Однако буквально через пару страниц добродушное солдатское лицо сменяется на матросскую «морду»: «Он – матрос, коренастый и мордастый, руки в карманах, шагал с развалкой и курил трубку, свернув ее в край рта. Нельзя словами выразить его скотского, сытого, или вернее, пресыщенного выражения! Он был именно пресыщенное человеческое животное – пресыщенное водкой и властью, и женщиной. Рядом с ним мелкими шагами поспешала молодая женщина, над которой он, верно, всю ночь властвовал как скот. Она была стройная и изящная, как барышня из образованного семейства. Лицо у нее было тонкое, выражение лица покорное своей позорной доле» (с. 234). Описание матроса, построенное на резком контрасте с образом его спутницы, становится символическим портретом новой власти как власти насилия и террора.

Трагическим картинам «красного террора» посвящена заключительная часть «Крымских записок». Эмблемой абсурдности творящегося беспредела служит тот реальный факт, что местом регистрации бывших офицеров Белой армии становится городской цирк, а местом расстрела – Максимова дача, усадебная застройка начала XX в. с обширным парком с прудами и малыми формами (беседками, искусственными руинами, мостиками). В этом ландшафтном воплощении идиллической безмятежности пленникам «приказывали рыть могилы и тут же расстреливали. Говорили в ужасе шепотом в городе, что солдаты стреляют зажмурясь, кого убьют, кого ранят. Закапывали в землю еще живых» (с. 239). Дополняет эту картину «красного» хоррора описание «страшных пациентов» психиатрического отделения севастопольской больницы: «Это были люди, сошедшие с ума в тех учреждениях, где их обязанностью было допрашивать, пытать и расстреливать.

⁵ Рукопись книги сохранилась в Норвежской национальной библиотеке в Осло в архиве Олафа Брока и впервые издана в 2020 г. под знаковым названием: *Шиль С. Сердце Отчизны. Во дни духовного и телесного голодания: Севастополь 1920/IX–1921/II* (М.: Изд-во Сабашниковых, 2020, 164 с.).

Сестра милосердия, ухаживавшая за сумасшедшими, рассказывала, что этих людей преследуют страшные кошмары пыток, что они опрометью бросаются к ней и умоляют ее увести их подальше. Но им спастись было некуда, эти видения родил их мозг, не вынесший ужасов» (с. 255)⁶.

Последние страницы «Крымских записок» звучат повторением пройденного: обывательская севастопольская жизнь при новой власти словно дублирует феодосийский дореволюционный быт. Работа в гимназии не приносит удовлетворения по причине низкого уровня самого учебного заведения, мемуаристку отталкивают «мещанские» настроения «и учениц, и преподавателей», их «леность ума и души» в условиях стремительно меняющейся жизни. Не видя впереди ничего лучшего, Шиль все свои усилия направляет на возвращение в Москву, куда ей чудом удается получить командировку, ставшую для нее путем в один конец.

В завершающей фразе своих записок автор называет их «наивными крымскими размышлениями», что во многом оправдано малой дистанцией между произошедшими событиями и их описанием. Отсутствие временного промежутка не дает возможности сформироваться «историческому зрению», лишь в редкие моменты проявляющему себя в тексте. Однако приведенный в них фактический материал – новое приложение к уже имеющемуся автодокументальному корпусу произведений о Крыме периода революции и русского исхода, что включает в себе несомненную ценность. Вместе с тем авторская позиция в записках существенно дополняет складывающиеся представления о С. Н. Шиль как о человеке и творческой личности.

Список литературы

Афанасьев А. К. С. Н. Шиль и ее «Крымские записки» // Шиль С. Н. Крымские записки. 1916–1921. М.: Новый хронограф, 2018. С. 8–16.

Баруткина М. О. Гений места: Максимилиан Волошин и Киммерия // Изв. УрФУ. Серия: Гуманитарные науки, 2014. Т. 16, № 3 (130). С. 114–121.

Волошин М. Коктебелские берега: Стихи, рисунки, акварели, статьи. Симферополь: Таврия, 1990. 248 с.

Врангель П. Н. Записки. URL: <http://militera.lib.ru/memo/russian/vrangel1/15.html> (дата обращения 26.01.2021).

Зазубрин В. Заметки о ремесле // Зазубрин В. Общежитие. Новосибирск: Новосибир. кн. изд-во, 1990. С. 370–387.

Михайлова М. Н. Софья Николаевна Шиль – литератор, мемуарист, литературовед // Новое литературное обозрение. 2018. № 5. URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/153/article/20192/ (дата обращения 25.12.2020).

Турочеров Н. Стихи. Книга пятая. Париж, 1965. 221 с.

Храпунов Н. И. Алушта как «крымский рай» в описаниях XVIII–XIX веков // Изв. УрФУ. Серия: Гуманитарные науки, 2014. Т. 16, № 3 (130). С. 58–68.

Цветаева А. И. Воспоминания. М.: Сов. писатель, 1983. 768 с.

Шиль С. Н. Крымские записки. 1916–1921. М.: Новый хронограф, 2018. 288 с.

Шиль С. Сердце Отчизны. Во дни духовного и телесного голодания: Севастополь 1920/IX–1921/II. М.: Изд-во Сабашниковых, 2020. 164 с.

⁶ Показательным штрихом к этому эпизоду может стать свидетельство сибирского писателя В. Зазубрина, автора повести о чекистских застенках «Щепка», о том, что прообразы своих героев он искал именно в психиатрической больнице [Зазубрин, 1990, с. 376].

References

- Afanasev A. K. S. N. Shil' i ee "Krymskie zapiski" [Shil and her "Crimean Notes"]. In: Shil' S. N. *Krymskie zapiski. 1916–1921* [Crimean Notes. 1916–1921]. Moscow, Novyy khronograf, 2018, pp. 8–16.
- Barutkina M. O. Geniy mesta: Maksimilian Voloshin i Kimmeriya [Genius of place: Maximilian Voloshin and Kimmeria]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2. Humanities and Arts*. 2014, vol. 16, no. 3 (130), pp. 114–121.
- Khrapunov N. I. Alushta kak "krymskiy ray" v opisaniyakh 18–19 vekov [Alushta as a "Crimean paradise" in the descriptions of the 18–19th centuries]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2. Humanities and Arts*. 2014, vol. 16, no. 3 (130), pp. 58–68.
- Mikhaylova M. N. Sof'ya Nikolaevna Shil' – literator, memuarist, literaturoved [Sofya Nikolayevna Shil – literary scholar, memoirist, literary critic]. *New Literary Observer*. 2018, no. 5. URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/153/article/20192/ (accessed: 25.12.2020).
- Shil' S. N. *Krymskie zapiski 1916–1921* [Crimean Notes. 1916–1921]. Moscow, Novyy khronograf, 2018, 288 p.
- Shil' S. *Serdtshe Otchizny. Vo dni dukhovnogo i telesnogo golodaniya: Sevastopol' 1920/IX–1921/II* [The heart of the Fatherland. In the days of spiritual and bodily hunger: Sevastopol 1920/IX–1921/II]. Moscow, Sabashnikovy Publ., 2020, 164 p.
- Turoverov N. *Stikhi. Kniga pyataya* [Poems. Book 5]. Paris, 1965, 221 p.
- Tsvetaeva A. I. *Vospominaniya* [Memories]. Moscow, Sov. pisatel', 1983, 768 p.
- Voloshin M. *Koktebel'skie berega: Stikhi, risunki, akvareli, stat'i* [Koktebel shores: Poems, drawings, watercolors, articles]. Simferopol', Tavriya, 1990, 248 p.
- Vrangel' P. N. *Zapiski* [Notes]. URL: <http://militera.lib.ru/memo/russian/vrangel1/15.html> (accessed: 26.01.2021).
- Zazubrin V. Zametki o remesle [Notes on the craft]. In: Zazubrin V. *Obshchezhitie* [Dormitory]. Novosibirsk, Novosibirsk Publ. House, 1990, pp. 370–387.

Сведения об авторе

Проскурина Елена Николаевна – доктор филологических наук, главный научный сотрудник сектора литературоведения Института филологии СО РАН (Новосибирск, Россия)
proskurina_elena@mail.ru
ORCID 0000-0003-2809-6780

Information about the author

Elena N. Proskurina – Doctor of Philology, Principal Researcher at the Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation)
proskurina_elena@mail.ru
ORCID 0000-0003-2809-6780

УДК 821.161.1
DOI 10.17223/18137083/74/8

**«Мгновенный старик»
в романе Константина Вагинова «Гарпагоониана»
(к вопросу о «возвращенной молодости» как сюжете
эпохи социалистической реконструкции)**

Я. Д. Чечнёв

*Институт мировой литературы имени А. М. Горького РАН
Москва, Россия*

Аннотация

Рассматривается образ Локонова, персонажа романа Константина Вагинова «Гарпагоониана», «механического гражданина» эпохи социалистической реконструкции, который хочет вернуть себе молодость. Показано, что Вагинов в создании персонажа отталкивался от выведенного в повести М. М. Зощенко «Возвращенная молодость» астронома Волосатова, выстраивая по принципу зеркальности двойника этого героя. Локонов по сюжету романа предпринимает ряд безуспешных попыток омолодиться, для того чтобы вернуть себе субъектность, в отличие от Волосатова, который стремится соответствовать трендам эпохи, идти в ногу со временем. Неудачи сопровождают Локонова потому, что он сознательно выхолащивает собственное прошлое, бездействует в настоящем и, по мысли автора, не может рассчитывать на будущее. Молодость для Локонова – это некий расплывчатый идеал чувства юности, который персонаж пытается «воскресить» через других, не понимая, зачем ему это нужно.

Ключевые слова

Вагинов, Гарпагоониана, молодость, старость, Зощенко, Козаков, социалистическая реконструкция, первая пятилетка

Для цитирования

Чечнёв Я. Д. «Мгновенный старик» в романе Константина Вагинова «Гарпагоониана» (к вопросу о «возвращенной молодости» как сюжете эпохи социалистической реконструкции) // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 109–118. DOI 10.17223/18137083/74/8

**“Instant old man” in Konstantin Vaginov’s novel “Garpagoniana”
 (“returned youth” as a plot of the socialist reconstruction era)**

Ya. D. Chechnev

*A. M. Gorky Institute of World Literature RAS
Moscow, Russian Federation*

Annotation

The paper examines the image of Lokonov, a character in Konstantin Vaginov’s novel “Garpagoniana,” a “mechanical citizen” of the socialist reconstruction era who wants to regain his youth. Starting from the text of “The returned youth” by Zoshchenko, Vaginov creates a double of the main character on the principle of mirroring. This idea is supported by

© Я. Д. Чечнёв, 2021

ISSN 1813-7083
Сибирский филологический журнал. 2021. № 1
Siberian Journal of Philology, 2021, no. 1

several facts: similarity of characters names, opposite ages, social and financial status, portrait characteristics. Unlike Volosatov (“The returned youth”), striving to follow the trends of the era and keep up with the times, Lokonov makes a number of unsuccessful attempts to rejuvenate himself in order to regain subjectivity. In the desire to regain his youth, Lokonov refuses a retrospective image of himself as he considers the projection reflected in the diaries as well as the possibility of nuancing memories through things to be unsatisfactory. Deliberately cutting off his past, Lokonov bets on the present: through his love for Yulenska, he hopes to regain his youth, but he does not succeed. Failures accompany Lokonov because he consciously emasculates his own past, remains inactive in the present, and, according to the author, cannot count on the future. For Lokonov, being young is a vague ideal of feeling young. He tries to “resurrect” these feelings by means of others without understanding the reasons.

Keywords

Vaginov, Garpagoniana, youth, old age, Zoshchenko, Kozakov, socialist reconstruction, the first five-year plan

For citation

Chechnev Ya. D. “Instant old man” in Konstantin Vaginov’s novel “Garpagoniana” (“returned youth” as a plot of the socialist reconstruction era). *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 109–118. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/8

Действие «Гарпагоонианы» разворачивается в конце первой пятилетки. Константин Вагинов работал над романом в 1932–1933 гг., но заметки для будущего произведения составлял еще раньше [Бреслер, 2014]. «Гарпагоониана» не была опубликована при жизни писателя. Попытки ее издания предпринимались в 1960-е гг. М. Б. Мейлахом и Т. Л. Никольской, но не увенчались успехом [Московская, 2018]. Книга вышла отдельным томом в США в 1983 г. и содержала многочисленные неточности, в том числе в заглавии («Гарпагоониада» вместо «Гарпагоониана») [Вагинов, 1983]. Краткая история создания текста изложена в комментариях к роману в изданиях прозы Вагинова 1991 и 1999 гг. [Вагинов, 1991, с. 579–580; 1999, с. 557–558], полная – в статье Д. М. Бреслера [2018].

Пушкинская метафора из «Подражания Корану», употребленная нами в названии статьи, с наибольшей полнотой аттестует одного из главных героев «Гарпагоонианы» – Локонова, который узнает о своей неожиданной «старости» от собутельника Анфертьева: «Старик вы, вот что, <...> из юноши прямо в старики угодили. Вся жизнь вам кажется ошибкой. Так ведь перед смертью чувствуют» [Вагинов, 1991, с. 441].

«Быть молодым» к окончанию первой пятилетки требовала сама действительность: в 1932 г. страна справила свое 15-летие. Пафос обновления, омоложения сопровождал вырастающие на глазах заводы и фабрики, дома для пролетариата, культурные объекты. Этому способствовали географические и геологические открытия (точное нанесение на карту объектов Северной Земли, открытие ряда новых островов в Арктике – Ушакова, Шмидта, Визе и др., открытие хребта Ивана Черского в Якутии, системы Корякского нагорья, крупных очагов современного оледенения в горах Северо-Восточной Сибири, пика Коммунизма на Памире, хребта Академии наук; была измерена глубина Байкала и др.). «Посмотрите, товарищи, как много за последнее время, за время революционное, <...> как много открыто нами ископаемых, много месторождений железной руды, различных нефтей, углей, различных полезных минералов! Это свидетельствует о том, что в страну пришел новый, молодой, энергичный хозяин и начинает хозяйствовать», – замечал А. М. Горький [1953, с. 12].

Перерождение, которое было связано с «особым переживанием открывшейся новизны жизни и именно с таким обновленным восприятием мира» [Вигилянская, 2007, с. 132], переживали и советские писатели, например Б. Л. Пастернак (сборник «Второе рождение»), О. Э. Мандельштам («Сегодня можно снять декалькомани...»), Н. С. Тихонов («Анофелес») и др. Уже после смерти Вагинова накануне Первого всесоюзного съезда советских писателей в 1934 г. Ю. К. Олеша констатировал: «Мир стал моложе. Появились молодые люди. Я стал зрелым, окрепла мысль, но краски внутри остались те же. Так произошло чудо <...>. Так ко мне вернулась молодость» [Первый всесоюзный съезд советский писателей, 1934, с. 236]. Годом раньше Зощенко развивал эту мысль в повести «Возвращенная молодость» [2006, с. 5–247].

Между текстом Зощенко и романом Вагинова наблюдаются определенные переклички. Писатель мог читать «Возвращенную молодость» в журнале «Звезда» (1933. № 6, 8, 10), где в том же году были помещены три его стихотворения (1933. № 1. С. 85).

Вагинов отталкивается от текста Зощенко, создавая в «Гарпагониане» двойника главного героя повести по принципу зеркальности. В пользу этого говорят несколько фактов. В первую очередь перекличка фамилий двух персонажей, значение которых связано с волосным покровом: Локонов («Гарпагониана») и Волосатов («Возвращенная молодость»). Зощенко в повести оправдывает выбор фамилии главного героя [Зощенко, 2006, с. 42–43], называя ее скромной, похожей на все остальные. В ходе своих размышлений автор «Возвращенной молодости» замечает: «Конечно, можно бы потрудиться и придумать фамилию более красивую или более оригинальную, а не брать столь случайное, ничего не обозначающее наименование» [Там же, с. 42]. Вагинов выбирает для своего героя возвышенную фамилию – Локонов (ср.: пушкинское «вьется локон золотой...»), противопоставляя ее сниженной – Волосатов. Только судьба носителя этой «высокой» фамилии окажется трагичной, тогда как «прозаичный» Волосатов станет более успешным в деле «омоложения».

У героев «Гарпагонианы» и «Возвращенной молодости» зеркально противоположны возраст (Локонову – тридцать пять лет, Волосатову – пятьдесят три) и ключевая портретная характеристика (Локонов почти лыс, Волосатов с седой шевелюрой). Герои противопоставлены и по социальному статусу: Локонов – иждивенец, деклассированный элемент, находящийся на попечении матери. Волосатов – финансово самостоятельный «стареющий господин», прославленный педагог и ученый-астроном.

Сближает персонажей их желание вернуть молодость, что соответствовало духу времени. «Безрассудная смелость» научных и околонаучных опытов была отражением экстремизма в социальной и политической среде, что, в свою очередь, являлось показателем психологических установок (сознательных и бессознательных) на массовое преображение советского гражданина [Куляпин, Скубач, 2013, с. 96]. В 1930-е гг. поиски наикратчайшего пути к изменению человеческой природы сообразно с материалистической логикой продолжались. Дальше профессора Преображенского из «Собачьего сердца» (1925) М. А. Булгакова, специалиста в области омоложения, пошел, например, Всеволод Далмат, герой романа М. Э. Козакова «Время плюс время» (1932), изобретший препарат антигипнотоксин для достижения вечной бодрости, который, по его мнению, способствовал искоренению старости как явления.

Вагинов отказывается от хирургического («Собачье сердце») и химического («Время плюс время») пути возвращения молодости для своего персонажа. Локонов, подобно Волосатову, идет третьим – психологическим – путем, предпринимая попытку самолечения посредством анализа своей болезни (вялости, апатии, хандры) и последующего ее (не)преодоления.

В пояснительной записке к «Гарпагопиане», адресованной М. Э. Козакову, Вагинов разъяснял, что герой его романа предпринимал несколько безуспешных попыток вернуть молодость [Вагинов, 1991, с. 513]. Перемена места жительства (Локонов из центра Ленинграда переезжает на окраину) не способствует его духовному возрождению, вместо этого он думает о самоубийстве. Попытка ходить вокруг техникума (которая Вагиновым не описана, но упоминается как один из узлов романа в упомянутой записке), также, по-видимому, не приносит существенных результатов. Третья попытка – возродиться благодаря любви (пусть и на короткий срок удавшаяся Волосатову из «Возвращенной молодости») – тоже проваливается. «Омоложение» Локонова оканчивается трагически: он не только не достигает положительного результата, но и погибает от руки того, кто указал ему на его «старость», торгаша и пьяницы Анфертьева.

Неудачи персонаж Вагинова связывает с политической ситуацией в стране, сформировавшей определенные социально-бытовые условия, при которых у него отсутствует возможность рассчитывать на улучшение своего положения: «Локонов чувствовал, что он является частью какой-то картины. Он чувствовал, что из этой картины ему не выйти, что он вписан в нее не по своей воле, что он является фигурой не главной, а третьестепенной, что эта картина создана определенными бытовыми условиями, определенной политической обстановкой первой четверти двадцатого века. Вписанность в определенную картину, принадлежность к определенной эпохе мучила Локонова. Он чувствовал себя какой-то бабочкой, посаженной на булавку» [Вагинов, 1991, с. 450].

Третьестепенная роль, отведенная Локонову после революции как бывшему дворянину, сыну прокурора [Там же, с. 452], автоматически попавшему в деклассированные элементы [Чуйкина, 2006, с. 96–129], мучает героя «Гарпагопианы». Он, подобно тем «механическим гражданам», направлявшим А. М. Горькому гневные письма, оказался против собственной воли «подданным» СССР [Горький, 1953, с. 431]. Вписанность в хронологические рамки определенного исторического периода мешает Локонову жить, собственное существование кажется ему противоестественным: насильственно «насаженный на булавку» времени он, как и бабочка, лишился своего назначения, основная его функция, какой бы она ни виделась персонажу (в романе это не уточняется), атрофировалась, его свобода оказалась существенно ограниченной. Автоматически записав Локонова в люмпены, его тем самым превратили из субъекта в объект: бабочка, основная функция которой опылять цветы, будучи посаженной на булавку, стала вещью, причем вещью, которая не соответствовала задачам эпохи.

В упоминавшейся пояснительной записке к «Гарпагопиане» Вагинов говорит о «музеальности» своего Локонова, что он, не вписавшись в определенный исторический момент, обречен на превращение в экспонат [Вагинов, 1991, с. 513]. Однако, с точки зрения социально-политической, даже превратившись в «демонстрационный образец» (бабочку на булавке), Локонов не годился для нового советского музея, основной целью которого было уже не хранение предметов самих по себе по принципу их принадлежности к определенному периоду, а демонстрация того, как постепенно бытие изменяло сознание и в результате этой эволюции

произошла революция. Как показали разыскания В. Г. Ананьева, приоритетной функцией музея в рамках этой концепции оказывалась пропаганда господствующей идеологии, поскольку музей является государственным предприятием и на него идут народные деньги. «Поэтому и музейным в полном смысле этого слова оказывался тот предмет, который лучше всего “проповедовал”, а так как “проповедовать” приходилось явления и процессы – предмет неизбежно уступал место документу» [Ананьев, 2012, с. 259]. Таким образом, музеи попадали в парадоксальную ситуацию: с одной стороны, необходимо было производить отбор предметов-«пропагандистов», с другой – заменять их наглядными «пособиями», вроде карт, графиков, диаграмм, которые отражали бы динамику воздействия бытия на сознание. Предмет, выставленный сам по себе в музейном пространстве, не давал целостное представление об этой динамике.

Вместе с тем не только предметы, но и большое количество людей выводилась представителями официальной власти за пределы «картины» советской жизни. Происходил парадоксальный процесс: после революции все население императорской России стало «подданными» СССР, но к концу первой пятилетки представители той его части, которые так и не научились жить в новой стране, были объявлены персонами нон грата, «лишними людьми». Они обвинялись, как это было ранее с представителями «есенинщины» [Корниенко, 2010, с. 30], во всех неудачах государства, особенно в воровстве, хищении и порче государственного имущества. Официальное объявление этой части населения лишней автоматически «опредмечивало» ее; государство самостоятельно решало вопросы «полезности» и «бесполезности» отдельного гражданина и было безжалостно к «лишним людям», поскольку они уже оказались списанными в утиль. Сталин, подводя итоги первой пятилетки, отмечал: «Нельзя сказать, чтобы эти бывшие люди могли что-либо изменить своими вредительскими и воровскими махинациями в нынешнем положении в СССР. <...> ...они умирают и доживают последние дни» [1933, с. 25].

Одним из способов выйти из стана «лишних людей» было «омоложение», описанное в повести Зошенко, герою которого Васильку молодость нужна была для того, чтобы осовремениться, переменить «буржуазный» скепсис на лояльное отношение к новой действительности: герой «Возвращенной молодости» по началу идет «неверным» путем закалки собственной оболочки (начинает заниматься физкультурой), а после приходит к выводу, что обновление мысли (психологии) в духе марксистско-ленинской идеологии [Жолковский, 1999, с. 70] – вот подлинное омоложение.

Локонов из «Гарпагонианы» не интересуют идеологемы, поскольку он чувствует определенную несвободу, исходящую от них. Ему нужна молодость для возвращения себе субъектности, «ясного и радостного ощущения мира» [Вагинов, 1991, с. 430], подобного тому, которое он испытывал в юности, когда еще не был насильно поставлен на третье место в картину определенной исторической эпохи. Юность представляется ему идеальным временем легкости чувств и действий. Когда во второй главе романа Локонов с ужасом открывает для себя, что его шаг не похож на легкий шаг юноши, его начинает пугать дряхлость. «Где же мой прекрасный сон, где же сон моей юности!» [Вагинов, 1991, с. 380] – в отчаянии восклицает он.

Локонов бунтует против своего положения в сложившейся иерархии. Он полагает, что переезд поспособствует его омоложению. Поскольку вещи в комнате напоминают ему о его возрасте, то Локонов решает избавиться от «умерших» для

него предметов (стола времен Александра I, шкафчика для книг времен Павла I, дивана, двух кресел красного дерева) и перебирается из центра Ленинграда на рабочую окраину, в Выборгский район, в обстановку, состоящую из грошового стула, крохотной этажерки, некрашеного кухонного столика и расшатанной кровати. На новом месте персонажа ждет неожиданный удар: перечитывая свои дневники, чтобы как-то развеять гнетущее ощущение старения, Локонов отметет, как прескверно в них отразился его образ – не таким юношей он себя представлял. Если Василек из «Возвращенной молодости» пытался скорректировать свое отношение к воспоминаниям отрочества и таким образом научиться жить в настоящем, то Локонов решает от них избавиться. Сначала он думает сжечь дневники, но после решает сделать из них скатерть и салфетки для попоек с Анфертьевым. Таким образом персонаж намеренно выхолащивает собственное прошлое, лишая себя той основы (дневников), где были пунктирно отмечены этапы его становления как личности. Также он дистанцируется от персонализированной «социологической системы вещей» (Бодрийяр) своей комнаты, благодаря которой имеет возможность вспоминать, как он, например, «любил читать Пушкина, расстроганный, даже иногда плакал над отдельными строчками, не в силах вынести красоты» [Там же, с. 422]. Иначе говоря, Локонов одновременно отказывается от ретроспективного образа самого себя, считая отразившуюся в дневниках проекцию неудовлетворительной, а также возможности нюансировки воспоминаний посредством вещей.

Намеренно отсекая свое прошлое, Локонов делает ставку на настоящее: через любовь к Юленьке он надеется вернуть себе молодость. Но на этом пути персонаж сталкивается с проблемами, решить которые оказывается не в состоянии. Желая полюбить Юленьку он не знает, как определить это чувство, поскольку к тридцати пяти годам ни разу его не испытывал, ему было не с чем сравнивать: «У него не было воспоминаний о первой встрече, о запоминающихся на всю жизнь прогулках, о беспокойстве, о взаимных подарках, о неожиданных восторгах, возникающих по поводу самых простых слов, сказанных самым простым голосом» [Там же, с. 400–401]. Представления Локонова о любви зиждутся на книжных штампах. В одной из сцен романа ему хочется просить у Юленьки «локон на память, глядеть в ее глаза, взять ее руки и целовать ладони, хотелось, чтобы она гладила его по голове» [Там же]. Не понимая, что испытывает ревность, Локонов следит за своей «возлюбленной», боясь приблизиться к ней, а после состоявшегося на квартире Торопуло знакомства – заговорить с Юленькой.

Помимо неопытности в амурных делах, Локонова мучит его внешний вид, свидетельствующий о безысходной (поскольку жил он с матерью на правах несовершеннолетнего) бедности персонажа. Локонов «с самой нежной заботливостью <...> охранял свой, пришедший в явную негодность, костюм. Как с драгоценным, хрупким предметом обращался он со своими заплатанными и сильно поредевшими брюками» [Там же, с. 400]. В истории «любви» к Юленьке он заведомо считает себя аутсайдером, поскольку ему нечего предложить ей, кроме «душевного богатства тысяча девятьсот двенадцатого года» [Там же, с. 401]. Комплекс неполноценности не позволяет персонажу отвлечься от скверных мыслей о своем выдуманном сопернике, который прельщает «падкую» на богатство и статус Юленьку: «Должно быть он специалист, <...> наверное, он хорошо зарабатывает, любит старинные гравюры, собирает редкие книги и слоновую кость, и ему ничего не стоит увлечь девушку» [Вагинов, 1991, с. 403]. После долгожданного знакомства Локонову удастся пригласить Юленьку в гости в Выборгский район. Однако, не

обладая должной «пассионарностью», в сцене свидания он бездействует, заставляя Юленьку сомневаться в себе: «Что же, – думала она, – он даже не поцеловал меня, неужели я ему не нравлюсь...» [Вагинов, 1991, с. 447]. Эпизод заканчивается проводами до дома и последующими отчаянными мыслями Локонова о неудачной попытке вернуть молодость.

Персонаж Вагинова терпит поражение как в прошлом (от которого отказывается), так и в настоящем (где он бессилён). Попытка компенсировать неудачи в альтернативном мире, в данном случае в мире сновидений, также оказывается безрезультатной. Локонов, чтобы «взбодриться», коллекционирует сновидения, которые для него на улицах, во дворах, в общественных заведениях и т. п. записывает Анфертьев. Но сам персонаж оказывается лишенным возможности видеть сны и рассчитывать как-то отвлечься от своего мучительного положения третьей-степенной фигуры на картине определенной исторической эпохи. Подробнее об этом аспекте деятельности Локонова мы уже писали ранее [Чечнёв, 2019], но к сказанному стоит добавить то, что утрата способности видеть сны вызвана, на наш взгляд, несостоятельностью персонажа как в прошлом, так и в настоящем. Намеренный отказ от юношеских впечатлений и бездействие в зрелом возрасте лишают возможности душу Локонова получить достаточное количество переживаний, способных породить сон как психосоматическое состояние. О важности впечатлений от настоящего говорится в «Онейрокритике» Артемидора (известном соннике античности), которую персонаж Вагинова считает недостаточно глубокой книгой [Там же, с. 458], предпочитая читать «антифеминистский» памфлет Боккаччо «Ворон» или «Камасутру».

Перспектива будущего возвращения молодости также оказывается закрытой для Локонова, поскольку, не имея ни прошлого, ни настоящего, нельзя составить какой-либо прогноз на грядущее.

Справедливости ради необходимо отметить, что персонажу Вагинова все же удается вернуть молодость, правда, всего на один день. Происходит это после подготовки к самоубийству, которое не совершается по причине затянувшихся приготовлений: «Жизнь не удалась, – подумал он (Локонов. – Я. Ч.) и стал мылить полотенце. Наступал рассвет. <...> Внезапное успокоение сошло на работающего человека. – Рано еще, – подумал Локонов. Он отложил мыло и хорошо намыленное полотенце и решил пройтись по городу» [Там же, с. 443]. Во время прогулки Локонова захлестнуло «чувство жизни»: ему захотелось побежать, его одолевал восторг, ум все вокруг воспринимал с одобрением, мысленно персонаж причислял себя к молодому поколению.

В предуведомлениях к приключениям Василька рассказчик «Возвращенной молодости» пытается понять, «какую ошибку совершают люди, что уже в тридцать пять лет к ним приходит увядание» [Зоценко, 2006, с. 39]. Вагинов вполне определенно дает свои ответы на этот вопрос. Тридцатипятилетний Локонов оказывается персонажем-пустышкой, «механическим гражданином», существование которого, лишенное какой бы то ни было подоплеки, буквально механистично: мотивы ушедшей молодости и покупки сновидений повторяются практически в каждой сцене с участием персонажа, бытие которого наполнено переживанием по поводу утраченного «сна юности» и желания избавиться от этих мыслей. Локонов обречен на гибель. Недаром его убийца в порыве пьяного откровения говорит о неспособности Локонова «прикрепиться» к «реальной жизни», поскольку его не интересуют ни деньги, ни служебное положение, ни удобства, ни слава, ни прошлое, ни настоящее: «...старый мир вы презираете, новый мир вы ненавиди-

те» [Вагинов, 1991, с. 441]. Молодость, которую хочет вернуть Локонов, оказывается игрушкой ума, недостижимым идеалом, поскольку сам персонаж не представляет себе, каким образом можно вернуть «ясное и радостное ощущение мира».

Список литературы

Ананьев В. Г. Проект «социального музея» Ф. И. Шмита: к дискуссиям середины 1920-х гг. о форме и задачах музеев // Вестник архивиста. 2012. № 2. С. 251–260.

Бреслер Д. М. «Если <роман> вытащить на солнце, от него ничего не останется»: прагматика второй редакции «Гарпагоонианы» Конст. Вагинова // Новое литературное обозрение. 2018. № 6 (154). С. 15–27.

Бреслер Д. М. «Семечки» К. К. Вагинова: творческая лаборатория писателя начала 1930-х годов // Русская филология: Сб. науч. тр. молодых филологов (Тарту). 2014. № 25. С. 224–234.

Вагинов К. К. Гарпагоониада. Ann Arbor: Ardis, 1983.

Вагинов К. К. Козлиная песнь: Романы. М.: Современник, 1991.

Вагинов К. К. Полное собрание сочинений в прозе. СПб.: Академический проект, 1999.

Вигилянская А. Второе рождение. Об одном философском источнике творчества Бориса Пастернака // Вопросы литературы. 2007. № 6. С. 131–146.

Горький А. М. «Механическим гражданам» СССР. Ответ корреспондентам // Горький А. М. Собр. соч.: В 30 т. М.: ГИХЛ, 1953. Т. 24: Статьи, речи, приветствия. 1907–1928. С. 431–441.

Горький А. М. Весь мир смотрит на нас // Горький А. М. Собр. соч.: В 30 т. М.: ГИХЛ, 1953. Т. 26: Статьи, речи, приветствия. 1931–1933. М.: ГИХЛ, 1953. С. 11–15.

Жолковский А. К. Михаил Зощенко: поэтика недоверия. М.: Языки русской культуры, 1999.

Зощенко М. Возвращенная молодость // Зощенко М. Соч. М., 2006. Т. 5.

Корниенко Н. В. Крестьянский вопрос в литературно-критических полемиках «нэповской оттепели» // В поисках новой идеологии: социокультурные аспекты русского литературного процесса 1920–1930-х годов / Отв. ред. О. А. Казнина. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 3–59.

Куляпин А. И., Скубач О. А. Новое в физиологии мозга // Куляпин А. И., Скубач О. А. Мифология советской повседневности в литературе и культуре сталинской эпохи: Монография / Отв. ред. И. В. Силантьев. М.: Языки славянской культуры, 2013. С. 96–101.

Московская Д. С. Из истории литературной политики XX века. «Литературное наследство» как академическая школа // Вопросы литературы. 2018. № 1. С. 296–333.

Первый всесоюзный съезд советских писателей: Стенографический отчет. М.: ГИХЛ, 1934.

Сталин И. Итоги первой пятилетки // Борьба классов. 1933. № 1. С. 2–27.

Чечнёв Я. Д. О снах нового типа в романе К. К. Вагинова «Гарпагоониана» // Новый филологический вестник. 2019. № 4 (51). С. 282–294.

Чуйкина С. А. Дворянская память: «бывшие» в советском городе (Ленинград, 1920–30-е годы). СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2006.

References

- Anan'ev V. G. Proekt "sotsial'nogo muzeya" F. I. Shmita: k diskussiyam serediny 1920-kh gg. o forme i zadachakh muzeev [The project of the "social museum" by F. I. Schmit: to the discussions of the 1920s about the form and tasks of museums]. *Herald of an Archivist*. 2012, no. 2, pp. 251–260.
- Bresler D. M. "Esli <roman> vytashchit' na solntse, ot nego nichego ne ostanetsya": pragmatika vtoroy redaktsii "Garpagoniany" Konst. Vaginova ["If < the novel> is pulled out into the sun, nothing will remain of it": the pragmatics of the second edition of "Garpagoniana" Konstantin Vaginov]. *New Literary Observer*. 2018, no. 6 (154), pp. 15–27.
- Bresler D. M. "Semechki" K. K. Vaginova: tvorcheskaya laboratoriya pisatelya nachala 1930-kh godov ["Seeds" by K. K. Vaginov: creative laboratory of the writer of the early 1930s]. In: *Russkaya filologiya: Sb. nauch. tr. molodykh filologov (Tartu)* [Russian Philology: Collection of scientific works of young philologists (Tartu)]. 2014, no. 25, pp. 224–234.
- Chechnev Ya. D. O snakh novogo tipa v romane K. K. Vaginova "Garpagoniana" [About dreams of a new type in K. K. Vaginov's Novel "Garpagoniana"]. *The New Philological Bulletin*. 2019, no. 4 (51), pp. 282–294.
- Chuykina S. A. *Dvoryanskaya pamyat': "byvshie" v sovetskom gorode (Leningrad, 1920–30-e gody)* [Noble memory: "former" in the Soviet city (Leningrad, 1920–30s)]. St. Petersburg, EUSPb Publ., 2006, 259 p.
- Gor'kiy A. M. "Mekhanicheskim grazhdanam" SSSR. Otvet korrespondentam [To the "Mechanical Citizens" of the USSR. Response to correspondents]. In: Gor'kiy A. M. *Sobr. soch.: V 30 t. T. 24: Stat'i, rechi, privetstviya. 1907–1928* [Collected works in 30 vols. Vol. 24. Articles, speeches, greetings. 1907–1928]. Moscow, GIKhL, 1953, pp. 431–441.
- Gor'kiy A. M. Ves' mir smotrit na nas [The whole world is looking at us]. In: Gor'kiy A. M. *Sobr. soch.: V 30 t. T. 24: Stat'i, rechi, privetstviya. 1907–1928* [Collected works in 30 vols. Vol. 24. Articles, speeches, greetings. 1907–1928]. Moscow, GIKhL, 1953, pp. 11–15.
- Kornienko N. V. Krest'yanskiy vopros v literaturno-kriticheskikh polemikakh "nepovskoy otpepli" [The peasant question in literary-critical controversies of New Economic Policy era]. In: *V poiskakh novoy ideologii: sotsiokul'turnye aspekty russkogo literaturnogo protsessa 1920–1930-kh godov* [[In search of a new ideology: Socio-cultural aspects of the Russian literary process of the 1920s-1930s]. O. A. Kaznina (Ed. in ch.). Moscow, IWL RAS, 2010, pp. 3–59.
- Kulyapin A. I., Skubach O. A. Novoe v fiziologii mozga [New in physiology of brain]. In: Kulyapin A. I., Skubach O. A. *Mifologiya sovetskoy povsednevnosti v literature i kul'ture stalinskoy epokhi: Monografiya* [Mythology of the Soviet everyday life in the literature and culture of the Stalinist epoch: Monograph]. I. V. Silant'ev (Ed. in ch.). Moscow, LRC Publishing House, 2013, pp. 96–101.
- Moskovskaya D. S. Iz istorii literaturnoy politiki 20 veka. "Literaturnoe nasledstvo" kak akademicheskaya shkola [From the history of literary politics of the twentieth century. "Literary heritage" as an academic school]. *Voprosy literatury*. 2018, no. 1, pp. 296–333.
- Pervyy vsesoyuznyy s'ezd sovetskikh pisateley: Stenograficheskiy otchet* [First all-Union Congress of Soviet writers: a shorthand report]. Moscow, GIKhL, 1934.
- Stalin I. Itogi pervoy pyatiletki [Results of the first five-year plan]. *Bor'ba klassov*. 1933, no. 1, pp. 2–27.

- Vaginov K. K. *Garpagoniada* [Garpagoniada]. Ann Arbor, Ardis, 1983.
- Vaginov K. K. *Kozlinaya pesn': Romany* [Goat song: Novels]. Moscow, Sovremennik, 1991.
- Vaginov K. K. *Polnoe sobranie sochineniy v proze* [Complete works in prose]. St. Petersburg, Akademicheskii proekt, 1999, 590 p.
- Vigilyanskaya A. Vtoroe rozhdenie. Ob odnom filosofskom istochnike tvorchestva Borisa Pasternaka [Second birth. About one philosophical source of Boris Pasternak's creativity]. *Voprosy literatury*. 2007, no. 6, pp. 131–146.
- Zholkovskiy A. K. *Mikhail Zoshchenko: poetika nedoveriya* [Mikhail Zoshchenko: poetics of distrust]. Moscow, LRC Publishing House, 1999.
- Zoshchenko M. *Vozvrashchennaya molodost'* [The returned youth]. In: Zoshchenko M. *Soch. T. 5* [Works. Vol. 5]. Moscow, 2006.

Сведения об авторе

Чечнёв Яков Дмитриевич – научный сотрудник Института мировой литературы имени А. М. Горького РАН (Москва, Россия)
ya.d.chechnev@yandex.ru
ORCID 0000-0001-9439-0430

Information about the author

Yakov D. Chechnev – researcher at A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation)
ya.d.chechnev@yandex.ru
ORCID 0000-0001-9439-0430

Семантика сюжета инициации в малой прозе Ю. Фельзена

И. И. Назаренко

*Томский государственный университет
Томск, Россия*

Аннотация

Исследуется сюжет инициации в рассказах писателя-младоземигранта Ю. Фельзена как продолжение истории героя романной трилогии («Обман», «Счастье», «Письма о Лермонтове»). Обнаруживается, что редуцированная в романах инициация героя в рассказах конца 1930-х гг. связана с ситуацией смерти, которая провоцирует его личностное и писательское становление («Перемены»). Выявляется, что преобразование героя редуцировано: он возвращается к повседневной жизни («Повторение пройденного»). Рассказы «Композиция» и «Фигурация» подтверждают вывод о несостоявшейся инициации героя. Анализ сюжета инициации приближает к пониманию авторской концепции существования в реальности и в творчестве как «повторения пройденного». Подчеркивается «промежуточное» положение Фельзена в решении проблемы самоопределения русского эмигранта между писателями «старшего» и «младшего» поколений русской эмиграции.

Ключевые слова

литература младоземиграции, Ю. Фельзен, рассказы, сюжет, инициация

Для цитирования

Назаренко И. И. Семантика сюжета инициации в малой прозе Ю. Фельзена // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 119–131. DOI 10.17223/18137083/74/9

Semantics of the initiation plot in short stories by Yu. Felzen

I. I. Nazarenko

*Tomsk State University
Tomsk, Russian Federation*

Abstract

The paper examines the plot of initiation in the stories of the young émigré writer Yu. Felzen as a continuation of the story of the hero of his novel trilogy. In the short stories of the late 1930s, the initiation of the hero-emigrant that was reduced in the novels is found to be associated with a situation of death, provoking his personal and literary development. The plot of the story “The changes” allows correlating it with the archetypal plot of initiation: the hero, having survived a severe illness, surgery, and the departure of his beloved, seems to be mov-

ing towards gaining new consciousness, towards writing. However, considering the stories following “The changes” allows revealing the reduction of the hero’s initial transformation. The plot of the story “The repetition of the past” shows how “changes” turn out to be a “repetition” of past life situations for the hero, and he evades the existential existence. The stories “The composition” and “The figuration” confirm the conclusion about the failed initiation of the hero. The work of Russian emigrants as extras on the set of the film “The figuration” is the author’s metaphor for the fate of the Russian emigration. The author’s concept of “the repetition of the past” is the repetition of life situations in reality without being able to change anything and follow the geniuses in creative work. According to Felzen, an emigrant is doomed to adapt and repeat in the inauthentic existence of life the situations that happened to him in another culture and at a different age “The composition.” Emigration does not replace a person with another one. Neither does it form his self-sufficiency.

Keywords

literature of young emigration, Y. Felzen, stories, plot, initiation

For citation

Nazarenko I. I. Semantics of the initiation plot in short stories by Yu. Felzen. *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 119–131. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/9

В центре художественного наследия писателя-младоземигранта Юрия Фельзена – три романа 1930-х гг., объединяемые исследователями в трилогию («Обман», 1930; «Счастье», 1932; «Письма о Лермонтове», 1935). Менее интерпретированы примыкающие к ней рассказы второй половины 1930-х, в которых продолжается история того же героя («Возвращение», 1934; «Вечеринка», 1936 и др.). Л. Ливак называет прозу Фельзена «романом с писателем», попыткой «создать психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта по модели, предложенной Марселем Прустом» [Ливак, 2012, с. 7]. «Повторение пройденного» (название одного из рассказов Фельзена и, предположительно, всего литературного проекта) можно считать аллюзией на историю героя Пруста, а в границах истории персонажа – повторяемостью ситуаций в его собственной жизни после эмиграции, трудностями выхода к новому положению в инокультурной среде, что можно интерпретировать как невозможность нового «семантического поля» (по Ю. М. Лотману [1998, с. 228]) в самоопределении героя.

Анализ романной трилогии писателя [Ливак, 2012; Проскурина, 2014], отдельных романов [Соливетти, 2005; Димитриев, 2017] или рассказов [Крюков, 2015] в принципе приводит исследователей к близким выводам об истории главного героя. Л. Ливак оценивает написанные после романов рассказы как «испытательный полигон для сюжетного и философского развития» [Ливак, 2012, с. 7]. Думается, однако, что малая проза младоземигранта заслуживает внимания не только как подготовка к новому роману, не только как развитие романной коллизии, но и как самостоятельное художественное явление, придающее новые черты образу русского эмигранта.

Выбранные для исследования два предвоенных рассказа Фельзена «Перемены» (1939) и «Повторение пройденного» (1938) связаны фабульно с романами, но вводят новый личный опыт персонажа. Мы обратимся эпизодически и к другим рассказам Фельзена, связанным с романами: «Композиция» (1939) и «Фигурация» (1940). Аспект исследования – сюжет инициации – представляется значимым не только в творчестве Фельзена, но всех писателей-младоземигрантов, которые в юности были выброшены из родной среды и вынуждены выстраивать своё существование в чуждом социуме. Исследователи обращали внимание на сюжет

инициации в прозе младемигрантов (Е. Н. Проскурина [2009], М. Ю. Галкина [2011], О. А. Дашевская [2014] и др.), обнаруживая тенденцию состоявшейся инициации героя – духовной (в романах Поплавского) и / или социальной (в романах Газданова), что доказывало возможность «второго рождения» молодого русского человека в эмигрантской действительности. Мы попытались проанализировать сюжет инициации в рассказах Фельзена, чтобы понять, возможна ли инициация эмигранта в исконном ее значении, можно ли назвать инициацией самоориентацию в эмиграции героя Фельзена, близкого автору психологически и автобиографически.

Инициация (от лат. *initio* – «начинать, посвящать», *initiatio* – «совершение таинств»), по М. Элиаде, – «совокупность обрядов и устных наставлений, цель которых – радикальное изменение религиозного и социального статуса посвящаемого. <...> ...равнозначно онтологическому изменению экзистенциального состояния. К концу испытаний неопит обретает совершенно другое существование» [1999, с. 12–13]. Инициация имеет устойчивую трехчастную структуру «выделения индивида из общества (т. к. переход должен происходить за пределами устоявшегося мира), пограничного периода (длящегося от нескольких дней до нескольких лет) и возвращения, реинкорпорации в новом статусе» [Токарев, 2008, с. 446]. В. Ю. Даренский называет инициацию «великим интертекстом» культурной традиции: «В современной цивилизации обрядов инициации нет, но их роль призваны выполнять другие культурные формы, в том числе и художественная литература» [2018, с. 18–19]. В. И. Тюпа считает инициацию «археосюжетом» мировой литературы, включающим четыре фазы: 1) фаза обособления; 2) фаза искушений; 3) лиминальная фаза испытания смертью; 4) фаза преображения [2001, с. 40]; отдельные фазы инициации (например, преображение) могут *редуцироваться*.

В центре романной трилогии Фельзена и его рассказов – история отношений мужчины и женщины, русских эмигрантов Володи и Лели, а также история творческого становления Володи. Исследователи называют его писателем, но более точно называть его, согласно Р. Барту, не *писателем*, а *пишущим* [Барт, 1989, с. 137–138]. В романах и рассказах Фельзена писательские способности героя реализуются лишь в создании эготекстов (дневники, письма возлюбленной), он не превращает их в законченное художественное произведение, в роман, замысел которого вынашивает с детства. В нарративе рассказов о детстве и юности Володи в России – «Пробуждение» (1933) и «Композиция» (1939) – введены отрывки из его стихотворений, но в Париже он стихи не пишет.

История взаимоотношений героев романов Фельзена циклична: общение Володи с Лелей и их сближение, измены Лели и ее отъезды из Парижа, возвращения и новые сближения. Устойчива сюжетная ситуация любовного треугольника: Володя – Леля – Сергей Н., Володя – Леля – Бобка («Обман»); Володя – Леля – Шура («Счастье»). Каждый раз Володя оказывается отвергнутым, но не борется за возлюбленную, а лишь наблюдает за ее отношениями с другим, терзаясь и ожидая их разрыва. Тот же механизм сохраняется в продолжающих романную трилогию рассказах («Возвращение», 1934; «Вечеринка», 1936; «Перемены», «Повторение пройденного»). В рассказе «Возвращение», продолжающем фабулу романа «Счастье», Леля окончательно уходит от Володи, а в рассказе «Вечеринка» возникает новый любовный треугольник – Володя – Леля – Павлик, в котором отвергнутый центральный персонаж мучит возлюбленную ревностью.

Рассказ «Перемены» важен в истории, потому что в нём впервые автор испытывает героя, не участвовавшего в Гражданской войне и никогда не подвергавшегося смертельной опасности, ситуацией смерти: тяжелой болезнью и операцией. Намечена перспектива развития героя, в отличие от романов, где его характер не менялся, а раскрывался в разных проявлениях устойчивых свойств. Ситуация инициации заявлена в заглавии рассказа «Перемены». Сюжетно наиболее развернута лиминальная фаза инициации, а фаза преображения лишь намечена. Причем это инициация не молодого героя, а зрелого, но изменение не социальное, а психологическое.

В рассказе «Перемены» три части. Володя является одновременно нарратором, который ведет дневник, где излагает и анализирует происходящее с ним, и персонажем повествуемой им самим истории. Дистанция между временем повествования и повествуемым временем незначительна: от чуть более недели (первая часть) до нескольких дней (вторая и третья части). Иначе говоря, инициация героя показана как часть процесса и без изображения результата: нарратор является субъектом не изменившимся, а изменяющимся.

Первая фаза сюжета инициации – обособление – намечена в начале первой части рассказа. Внешняя «перемена» в жизни героя, разрушившая его прежнее существование, – отъезд Лели с Павликом из Парижа в Канны. Но выход из привычного мира не связан с выходом из физического пространства, а инициация происходит в прежнем пространстве, где изменилось состояние мира. Герой не действующее лицо, его изменения не связаны с внутренней интенцией, целиком зависимы от действий других персонажей, от состояния его тела (хотя здесь возможна и такая интерпретация: болезнь есть результат духовного потрясения после очередной измены любимой женщины). Герой не субъект сюжета, не актёр, а покидание иницируемым героем мира сводится к изменению качества внешнего мира. Внутренний мир героя, будучи ориентирован на женское присутствие, является миром женским, и Володя, зависимый от Лели, несмотря на ее отношения с другим, продолжал общение с ней и искал ее общества (рассказ «Вечеринка»). Душевное омертвление героя после отъезда Лели метафорически обозначено природным временем – «худосочная парижская зима» [Фельзен, 2012, с. 58]¹. Володя испытывает душевные страдания как физические, хотя отъезд любимой женщины лишь совпадает с его болезнью («запущенный гнойный аппендицит» (с. 57)).

Тем не менее Фельзен создает пространственное обособление героя (что соответствует сюжету инициации): герой попадает в русскую больницу, где осознаёт болезнь как выпадение из реальности, не только из пространства: «теперешнее состояние – оторванности от прежнего мира» (с. 59).

Во второй фазе инициации испытания героя выражены: а) телесными страданиями (боли, удушье, головокружение); б) отказом от пищи (не может есть из-за тошноты); в) лишением возможности писать, что соответствует символической немоте (после операции интимный процесс писания дневника невозможен из-за отсутствия соседа). Страдания усиливаются лечением: молодой врач по ошибке прописывает Володе слабительное. Стойкость больного в перенесении страданий профанируется источником страданий, поэтому мужественность и сдержанность как свойство характера дискредитируются как безволие: он терпит боли, скрывает

¹ Далее ссылки на это издание даются в круглых скобках с указанием страниц.

страдание от Лели при расставании на вокзале – всё это показывает его пассивность, редуцированную способность к жизни и творчеству.

Первоначальное равнодушие к собственной судьбе, вызванное отъездом любимой («незачем жить и не стоит бороться» (с. 57)), после обморока и осознания хрупкости жизни сменяется желанием жить. Во второй фазе Володя приобретает «помощников» – Шуру и Риту, но болезнь (немоть, слабость) сближает с бывшим соперником в притязании на любовь Лели, белогвардейцем Шурой, который, вместе с женой Ритой, бескорыстно помогает ему. Осознав их заботу, Володя стыдится прежнего соперничества, кажущегося ничтожным теперь, когда Леля не с ним, но и не с Шурой. Толерантность представляется не этическим выбором, а склонностью приспособляться к условиям существования. Другими «помощниками» Володи выступают в рассказе врачи и санитары, которые сочувствуют ему, излечивают его. Не действия самого героя, а поступки других действующих лиц определяют положение героя рассказа и исход ситуации. Профанация зависимости от других в рассказе возникает как в упоминании ошибки врача, так и в невозможности долечиться в клинике, поскольку Володя не может оплатить лечение и должен выписаться до полного выздоровления.

Третья, лиминальная фаза заостряется в рассказе до смертельной опасности и разворачивается в больнице – пограничном между жизнью и смертью пространстве. Операция оказывается срочной и сложной, но Володя, зависимый от оценки женщины (Лели, а в ее отсутствие – любой другой), пытается вести себя стойко, чтобы произвести впечатление на «докторшу-ассистентку», но не справляется со страхом, лишь действие наркоза успокаивает его.

Наркотическое состояние Володи – метафорическая смерть, но после пробуждения испытания не кончаются: у него обнаруживают воспаление легкого, он вынужден задержаться в больнице. Так фабульные повторы показывают героя как жертву, как объект внешних сил (и окружающих людей, и собственной телесной природы). Однако телесная природа обладает витальными возможностями, толкающими носителя тела к активности, что может стать началом изменения способа существования. Болезнь заставляет героя обратить внимание на свое тело, связывающее с материальной реальностью, способной как отнять жизнь, так и наделить силами сопротивления давлению извне, побудить к поступкам разного рода. Володя осознает, что нужно сопротивляться болезни, разрушающей его тело: «без борьбы распадется, развеется мое исхудавшее тело, но сейчас оно приковано к месту и тем доступнее для губительных сил» (с. 60). Близость смерти обостряет эротическое влечение к женщине (медсестре), витальные силы, но они не реализуются в поступках персонажа. С одной стороны, это развитие авторской характеристики русского эмигранта как безвольного существа, с другой стороны, в этой ситуации проявляется идеализированная верность единственной любви, свойственная персонажу Фельзена и выражающая авторскую концепцию русского интеллигента.

Сон героя о Леле – онейрическая стадия лиминальной фазы. Но в подсознании не восхождение к метафизическому миру, а лишь повторение оставшихся в памяти фрагментов эмпирической реальности (парижское кафе). Во сне Леля отчуждена от героя, она с Павликом. Функция сна – предсказать замужество Лели, это предзнание невозможности соединения Володи с Лелей, показатель интуитивной готовности к поражению. Поэтому желание писать после сна показывает причину творческой интенции: она заключается в компенсации недостижимого в реальности, и действие редуцируется до письма о недостижимом. Телесный образ любви

мой женщины размывается, важнее присутствие в сознании, в духовном мире, именно оно воскрешает Володю (соответственно христианскому пониманию воскресения как духовного акта, а не физического оживления): «мягко точеные Лелины черты, расплываясь в сонном тумане, постепенно стали тускнеть и превратились в едва различимое пятно, однако, проснувшись, я сохранил очарование, свежесть, остроту ее незабываемого присутствия, хотя и не мог бы воскресить ее лицо, выражение глаз, ее сияющую ангельскую кожу» (с. 61). Леля ассоциируется с ангелом, сон получает семантику преобразования земной реальности в сознании любящего. Сон помогает вспомнить о прежней полноте жизни рядом с любимой: и о моментах счастья, и о боли, одинаково важных для творческого импульса. Процесс создания текста ассоциируется с процессом жизни: из-за болезни тяжело писать, но по мере выздоровления писать становится легче.

Поскольку метафизическая реальность отсутствует у Фельзена, устойчивая стадия лиминальной фазы инициации – путешествие в загробный мир / общение с мертвыми – редуцируется в рассказе до сцены визита к Володе его бывшего приятеля Лаврентьева, большевика из Советской России. Для героя Фельзена это враждебное и мертвенное пространство («там» (с. 72), что позволяет соотносить его с «тем» светом, миром мертвых в авторской оценке). Для Володи новое, обретенное в эмиграции, пространство перестало быть без Лели. Лаврентьев не призывает его вернуться в Россию, но искушает смириться с властью большевиков в родной стране, в общении с эмигрантом демонстрирует человечность, заботу о потерявшемся и одиоком человеке. Но этот вариант поступка снижается автором сюжетно: Лаврентьев оказывается не помощником, а ложным соблазнителем: опасаясь дискредитации, он уезжает в Россию, не попрощавшись с Володей, несмотря на обещание зайти. В этом видится семантика косвенного разоблачения советского мира, где нет подлинной свободы даже в проявлении человечности. Однако и в этой сюжетной ситуации Фельзен показывает способность героя-эмигранта к поступку, к самостоятельному выбору. Герой снова готов простить непоследовательность бывшего приятеля, готов оправдать свое существование в эмиграции как неизбежность. В финале рассказа он думает, что в эмиграции не обретение подлинного существования, но спасение: «какое лицемерие “там”, сколько заведомо фальшивых утешений, и какая “здесь” могла бы создаться благожелательная искренность во всем, безутешная, суровая, но мужественная, никого не вводящая в обман» (с. 72–73).

Лиминальная фаза продолжается в третьей части рассказа: герой будто бы не возвращается к прежним условиям жизни, но он лишь переселяется из отеля в квартиру Риты и Шуры, которые ухаживают за ним: «новая тихая жизнь постоянно и сладостно приятна... <...> я как бы дома» (с. 64). Снова герой принимает предложенные условия, а не формирует ценностно значимые для него самого. Известие, что Леля вышла замуж за Павлика, также не приводит к новой духовной ситуации, не обостряет страдания, не толкает к выбору нового объекта любви, а лишь вынуждает отдалить на неопределенный срок надежду на ее возвращение.

Нарративно третья часть рассказа для героя, преодолевшего смертельную опасность, является исповедью и подведением итогов. В финале *намечается* фаза не преобразования, а лишь некоторого внутреннего изменения героя. Покинув повседневную реальность из-за болезни, он отстраненно смотрит на себя, приближаясь к пониманию своей духовной слабости и трусости, неспособности бороться за любовь и за положение в социуме. Он винит не Лелю, а себя, но за то, что не

мог обеспечить их жизнь (по сути – находит оправдание себе). Оправдание своей сущности герой ищет в признании неизменной любви к Леле, но при этом он принимает власть нелюбящего человека: «и пускай вы меня разлюбили, пускай расстались, порвали со мной, я могу, я вас должен любить и без вашей ответной любви» (с. 69).

Общение с Лелей отвлекало от творчества, но и ее отсутствие в его жизни было губительно, для творческой работы нужны и душевные мучения. Герой стремится принять христианское понимание любви – неэгоистической и не связанной с физическим влечением. Такая любовь – «благодать, или Божий подарок, или небо, сошедшее на землю, или сила, нас чудом вознесшая на почти недоступные высоты» (с. 72). Теперь герой не рассчитывает на взаимность, что избавляет от ревности, помогает преодолеть зависимость от ее присутствия. Но перерождения, преображения ни к христианской любви, ни к агрессивной компенсации в нелюбви не происходит. Точно так же не рождается писатель, способный отразить опыт своего личного, без зависимости от помощников и возлюбленных, образа жизни. В отсутствие полноты жизни, в отсутствие своей значимости для других писатель не родился. Перечитывание ранних дневников приводит к пониманию своей творческой незрелости, но механизм «непоступка», отсутствия выбора остается неизменным и в творческих интенциях: Володя перерос свои прежние тексты, но не отказывается от них, видит в них будущее. Преображения не произошло, душевный сдвиг порождает лишь мечты: возможность «любовно-дружеского союза», который не удалось построить с Лелей, проецируется сначала на ближайших знакомых – «тайный мистический круг», затем на всю русскую эмиграцию (следы беседы с Лаврентьевым) – «огромное осмысленное целое, освобожденное от алчности и грубости» (с. 73). Центральная роль в этом союзе отводится художникам, к которым герой причисляет и себя: «необходимо только стараться, <...> и около нас образуется как бы тайный мистический круг из людей, облагороженных нами, перенявших заманчиво трудное умение опираться на собственный опыт и бережно его сохранять для тех, кого он затронет, кому он действительно нужен» (с. 73). Воспроизводится миф о миссии художника, которая в целом соответствует представлению младоэмигрантов о писателе (см. финал романа Б. Поплавского «Домой с небес»): преобразить мир творчеством невозможно, но можно транслировать свой внутренний опыт читателю, чтобы помочь ему в духовном преображении и освобождении от механического существования. В этой иллюзии только и проявляется смысл инициации героя в «Переменах».

В контексте сюжета инициации значима связь рассказа «Перемены» с последним романом Пруста «Обретенное время» из цикла «В поисках утраченного времени», на который ориентировался Фельзен. Ситуация болезни героя рассказа, подталкивающая его к писательству, отсылает к «Обретенному времени». Астма прустовского Марселя смертельна, преодолев лень и инерцию в творческой работе на пороге смерти, он приступает к созданию романа наперегонки с уходящим временем. Воспаление легкого у фельзенского Володи отсылает к астме Марселя, но Фельзен лишает героя смерти, и пороговая ситуация оказывается обратной, провоцирует на продолжение прежнего образа жизни. Марсель преобразует собственную движущуюся к концу жизнь в образе человеческой жизни, создает роман; Володя же останавливается на намерении написать роман. Стоит признать необоснованным вывод Л. Ливака: «Подобно роману, задуманному прустовским Марселем, “воображаемый роман”, о котором мечтает Володя и к которому он медленно продвигается по мере своего художественного развития, уже написан.

<...> ...состоит из тех самых дневниковых записей и писем» [Ливак, 2012, с. 20]. Володя остается автором дневников и писем, которые скрепляются в художественное целое сознанием автора-творца, сам герой не воспринимает их как свое создание.

Рассказ «Повторение пройденного» продолжает фабулу «Перемен», хотя опубликован на год раньше, в 1938-м, что свидетельствует о незаконченности фельзенского «романа с писателем», о невыстроенности его композиции, но о сложившейся концепции героя и человека в эмиграции (метафора человека, утратившего самоориентацию в другом мире). Е. Н. Проскурина считает, что «Повторение пройденного» – «произведение <...> пороговое, выводящее прозу Фельзена из камерной сферы в большую жизнь» [2014, с. 105]. Этот рассказ – редуция инициальной фазы преобразования, намеченной в «Переменах». В сюжете рассказа показано, как «перемены» в судьбе героя сменяются «повторением» пройденных жизненных ситуаций, а сам он оказывается релятивным человеком, который, преодолев пограничную ситуацию, уклоняется от экзистенциального существования, в отличие от прустовского Марселя.

В. И. Тюпа указывает, что инициальное преобразование героя часто «сопровождается возвращением героя к месту своих прежних, ранее расторгнутых или ослабленных связей, на фоне которых акцентируется его новое жизненное качество» [2001, с. 42]. В «Повторении пройденного» выздоровевший Володя возвращается в поток жизни, но сущностно он не изменился.

В «Повторении пройденного» две части, Володя, как и в «Переменах», выступает нарратором-персонажем. В первой части рассказа Володя дан в кафе, «в одиночестве, без денег, без будущего» (с. 38), но с ощущением счастья благодаря новому чувству любви к Леле, что фиксирует дневник, но не сюжет: «уже не долг, беспокойный и трудный, а нечто победительно прекрасное» (с. 38).

Вдохновение связывается и с воспоминаниями о Леле, и с существованием в иллюзиях о возможности мгновений счастья, и с прочтением книги о Прусте. В размышлениях о Прусте открывается несамостоятельность героя в творческой работе, необходимость в образце-ориентире. Это близко к основной сюжетной ситуации романа Фельзена «Письма о Лермонтове» – чтение и интерпретация Володей творчества Лермонтова, попытка обрести в Лермонтове эстетический принцип и жизненный ориентир. Подобно Прусту, Володя благодаря случайному впечатлению (услышал в кафе увертюру вагнеровской оперы) собирает поток связанных с музыкой воспоминаний в «обретенное время»: «детство, когда впервые эту увертюру <...> я на рояле по нотам разбирал, рассказы отца, ее любившего и неизменно в ней узнававшего свою похороненную молодость, <...> и вот для меня восстановилось единство, слияние времени, семьи, Петербурга, России, заграницы» (с. 38). Нарратор-персонаж внимателен и к действительности, к окружающим людям, которых пытается понять, чтобы понять природу человека. В этом перспектива развития Володи, но он по-прежнему лишь готовится к писательству: он пишет дневник, не адресованный реальному читателю, которого мог бы преобразить, как он понимает свою миссию.

Весна – время действия рассказа – связана не столько с духовным возрождением Володи после физического выздоровления, сколько с новым циклом его жизненного пути и его взаимоотношений с Лелей. Преодоление зависимости героя от физического присутствия Лели оказывается мнимым. Узнав о скором приезде любимой в Париж, Володя надеется на возобновление прежнего образа жизни.

Вторая часть рассказа разворачивается после возвращения Лели, когда сам герой признается в зависимости от нее. Сохранивший верность чувству к Леле, Володя замечает, что его любимая охладела к Павлику, когда тот потерял работу, погряз в долгах и не может обеспечить их совместную жизнь. Релятивность и земные критерии любви у его возлюбленной, у женщин ему понятны. Но и Володя, вопреки установке на теплоту отношений к людям, на понимание, радуется презрению Лели к сопернику. Так деромантизируется автором доминанта внутреннего мира героя – верность любви; вновь акцентируется в персонаже довольствование отпущенным, неличность существования. Фельзен лишает своего героя черт героя, экзистенциальной самодостаточности, в чем приближается к набоковской оценке русского эмигранта как продолжению типа «маленького человека» (пусть и не «подпольного человека», как у Набокова в «Соглядатае»).

Володя не надеется на возвращение Лели к нему, но понимает возможность очередного ее ухода (на этот раз от мужа) к покровителю Павлика, дельцу, «фильмовому магнату» Арману Давыдову. Экзистенциальная и этическая недостаточность проявляется как в злорадстве по отношению к сопернику, так и в убежденности, что не вольны в обладании любовью и социально состоятельные люди. Хотя в сюжете рассказа Леля не замечает интереса Армана к себе, намек на их возможную связь дается в размышлениях Володи: «Арман Григорьевич вами увлечен... <...> Его успех едва ли возможен, но, кажется, пора привыкать и к этим невозможным сочетаниям» (с. 43). Намек основан и на признании самого Армана Володе. Мысленно Володя «отдает» женщину ему, проявляя в этом готовность к уступке своего всякому, кто сильнее.

В топосах второй части рассказа «Повторения пройденного» – русском ресторане и баре, где сидит Володя с Лелей и ее знакомыми, – должны выражаться торжество и гармония жизни (семантика еды, питья, общения, веселья). Однако это жизнь мнимая: «всё одинаково поддельно – и цыгане, и угрозы кинжалами, и богатство Аньки Давыдова, и пресловутая его широта» (с. 43). В рассказе «Перемены» после болезни Володя мечтает об эмигрантском братстве, в финале «Повторения пройденного» он остается с не понимающим его Арманом, которого презирает, но пытается ему понравиться. Инициация героя ни в ситуации болезни, ни – в целом – в эмиграции не состоялась: сущностно он не меняется, постоянно возвращаясь к неподлинному существованию.

Невозможность инициации как «второго рождения» русского эмигранта объясним, обратившись к роману Фельзена «Письма о Лермонтове», в котором Володя признаётся в разрушенности своего поколения историческими катаклизмами начала века.

Повторяемость в жизни Володи одних и тех же ситуаций можно объяснить обращением к рассказу Фельзена «Композиция» (опубликован в 1939 г. после «Повторения...»), но до «Перемен»). Этот рассказ, как и «Пробуждение» (1933), посвящен не жизни героя в эмиграции, а его воспоминаниям о юности, о последних годах в России. Место рассказов о жизни Володи в России в контексте «романа с писателем» Фельзена не определено, но думается, что их функция – объяснить характер героя, показать события, сформировавшие его характер (реалистический принцип).

В «Композиции» воспроизводится знакомая сюжетная ситуация любовного треугольника между юным Володей, его приятельницей Тоней и более взрослым Алеком. Героя влечет к недоступной для него девушке (Тоня), но он не решается на поступок (признаться в чувствах, подарив красные розы) и пасует перед более

приземленным, но более опытным и успешным соперником (Алек). При этом он не замечает девушку, которая тянется к нему (Люся). После неудачи он сохраняет чувство к Тоне, на длительное время делает ее центром своих мыслей и мечтаний: «Я словно ждал какого-то чуда, какой-то внезапной перемены, ее признания, трогательных слез, но ничего для этого не делал» (с. 53). Механизм поведения героя в отношениях с любимыми женщинами повторяется в любовном сюжете романов и рассказов о постоянстве любви к Леле. Повторяемость идеализирует любовное чувство персонажа и в целом его претензии на верность себе. На основе сюжетов рассказов о неинициируемом персонаже можно делать вывод о концепции автора: об отсутствии самостояния человека, оказавшегося в эмиграции, шире – в современной социокультурной релятивной ситуации. Эмигрант обречен на приспособление и повторение в неподлинном существовании жизненных ситуаций, произошедших с ним в другой культуре и в другом возрасте. Эмиграция не подменяет человека другим, но и не формирует самодостаточность.

Последний опубликованный рассказ из ряда произведений об одном персонаже («Фигурация», 1940) подтверждает гипотезу о невозможности инициации русского эмигранта. Название рассказа связано с семантикой повторяемости: фигурация в музыке – «один из методов фактурной обработки музыкального материала; фактурный рисунок голосов. <...> ...характерна повторяемость мелодического рисунка» [Катунян, 1990, с. 574]. В рассказе Володя принимает предложение поработать статистом (исполнителем второстепенной роли) на съемках исторического фильма. Он воспринимает это как падение, но не бунтует, а принимает свое положение: «как-то опускаюсь, как-то сдаюсь в житейской борьбе, раз должен согласиться на самую жалкую в ней роль» (с. 74). Леля не появляется в рассказе, центральный персонаж лишь упоминает, что не занял выгодное место секретаря Давыдова, а отдал его мужу Лели, Павлику, но не из бескорыстной любви, а из прагматической возможности общения с любимой. Володя остается «статистом» и в реальности (в отношениях с Лелей), и в писательстве (не написал роман). Сцена съемок русских эмигрантов, имевших до революции высокое социальное положение, в роли английских крестьян – авторская метафора судьбы русской эмиграции: их объединяет униженность и покорность. Наиболее прагматичным удалось приспособиться с чуть более высоким положением в чужом социуме: Бобка, бывший соперник и приятель Володи, которого он презирал (события романа «Обман»), – помощник на съемках фильма, распоряжающийся своими соотечественниками.

Таким образом, анализ сюжета инициации в малой прозе Фельзена приближает к пониманию авторской концепции существования в реальности как «повторения пройденного», вопреки изменению внешних условий. По Фельзену, и в творчестве эмигрант следует за гениями, обрекая себя на невоплощенность творческих претензий. В констатации невозможности инициации как «второго рождения» русского эмигранта Фельзен занимает промежуточное положение между «младшим» и «старшим» поколениями русской эмиграции. Герои младоэмигрантов способны внутренне измениться («Домой с небес» Б. Поплавского, «Любовь вторая» В. Яновского, послевоенные романы Газданова), а герои-эмигранты писателей «старшего» поколения отказываются от жизни в распадающемся мире («Распад атома» Г. Иванова), уходят в мир творчества («Дар» В. Набокова) либо имитируют пересоздание жизни («Соглядатай» В. Набокова). Герой Фельзена примиряется с действительностью, оправдывая и объясняя себя возможностью творчества.

Список литературы

- Барт Р.* Писатели и пишущие // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 133–142.
- Галкина М. Ю.* Художественно-философские аспекты прозы Бориса Поплавского: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2011. 32 с.
- Даренский В. Ю.* Интертекст инициации в структуре литературного произведения // Интертекстуальность художественного дискурса: Материалы Всерос. науч. конф. / Сост.: Г. Г. Исаев, А. А. Боровская, Т. Ю. Громова, И. Ю. Целовальников; под ред. Е. Е. Завьяловой. Астрахань: ИД «Астраханский университет», 2018. С. 17–25.
- Дашевская О. А.* Сюжет инициации в повести Вадима Андреева «История одного путешествия» // Сибирский филологический журнал. 2014. № 4. С. 42–50.
- Димитриев В. М.* Концепции памяти в прозе младшего поколения русской эмиграции (1920–1930 гг.) и роман Ф. М. Достоевского «Подросток»: Дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2017. 294 с.
- Катунян М. И.* Фигурация // Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. М.: Сов. энциклопедия, 1990. С. 574.
- Крюков А. А.* Проблема соотношения автора и героя в прозе Юрия Фельзена (на примере рассказа «Неравенство») // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. 2015. № 6. С. 86–89.
- Ливак Л.* «Роман с писателем» Юрия Фельзена // Фельзен Ю. Собрание сочинений: В 2 т. М., 2012. Т. 1. С. 6–39.
- Лотман Ю. М.* Об искусстве. Структура художественного текста. СПб.: Искусство-СПБ, 1998. 285 с.
- Проскурина Е. Н.* Единство иносказания: о нарративной поэтике романов Гайто Газданова. М.: Новый хронограф, 2009. 387 с.
- Проскурина Е. Н.* Проза Юрия Фельзена: черновик для недовершенно змысла // Культура, история и литература русского мира: общенациональный и региональный аспекты: Сб. ст. и материалов Всерос. науч. конф. с международным участием «Человек и мир человека». Барнаул, 2014. С. 95–105.
- Соливетти К.* «Письма о Лермонтове» Юрия Фельзена: автор как персонаж // Соливетти К. Автор и его зеркала. СПб.: Алетейя, 2005. С. 209–229.
- Токарев С. А.* (гл. ред.) Инициация и мифы // Мифы народов мира. Энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 2008. С. 446–447.
- Тюна В. И.* Нарратология как аналитика повествовательного дискурса. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2001. 58 с.
- Фельзен Ю.* Собр. соч.: В 2 т. М.: Водолей, 2012. Т. 2. 324 с.
- Элиаде М.* Тайные общества. Обряды инициации и посвящения / Пер. с фр. Г. А. Гельфанд; науч. ред. А. Б. Никитин. М.; СПб.: Университетская книга, 1999. 356 с.

References

- Bart R. Pisateli i pishushchie [Writers and those who write]. In: Bart R. *Izbrannye raboty: Semiotika. Poetika* [Chosen works: Semiotics. Poetics]. Moscow, Progress, 1989, pp. 133–142.
- Darenskiy V. Yu. Intertekst initsiatsii v strukture literaturnogo proizvedeniya [Intertext of initiation in the structure of a literary work]. In: *Intertekstual'nost' khudozhestvennogo diskursa: Materialy Vseros. nauch. konf.* [Intertextuality of artistic discourse –

2018: materials of the All-Russian sci. conf.]. Astrahan', "Astrakhanskiy universitet" Publ. House, 2018, pp. 17–25.

Dashevskaya O. A. Syuzhet iniciacii v povesti Vadima Andreeva "Istoriya odnogo puteshestviya" [The plot of the initiation in the Vadim Andreev's story "The story of one journey"]. *Siberian Journal of Philology*. 2014, no. 4, pp. 42–50.

Dimitriev V. M. *Koncepcii pamyati v proze mladshogo pokoleniya russkoj emigracii (1920–1930 gg.) i roman F.M. Dostoevskogo "Podrostok"* [The concepts of memory in prose of the younger generation of the Russian emigration (1920–1930) and the F. M. Dostoevsky's novel "Teenager"]. Cand. philol. sci. diss. St. Petersburg, 2017, 294 p.

Eliade M. *Taynye obshchestva. Obryady initsiatsii i posvyashcheniya* [Secret societies. Initiation and initiation rites]. G. A. Gel'fand (Transl. from French), A. B. Nikitin (Sci. ed.). Moscow, St. Petersburg, Universitetskaya kniga, 1999, 356 p.

Fel'zen Yu. *Sobr. soch.: V 2 t.* [Collected works: In 2 vols]. Moscow, Vodoley, 2012, vol. 2, 324 p.

Galkina M. Yu. *Hudozhestvenno-filosofskie aspekty prozy Borisa Poplavskogo* [Art-philosophical aspects of Boris Poplavsky's prose]. Abstract of Cand. philol. sci. diss. Moscow, 2011, 32 p.

Katunyan M. I. Figuratsiya [Figuration]. In: *Muzykal'nyy entsiklopedicheskiy slovar'* [Musical encyclopedic dictionary]. G. V. Keldysh (Ed. in Ch.). Moscow, Sov. entsikl., 1990, p. 574.

Kryukov A. A. Problema sootnosheniya avtora i geroya v proze Yuriya Fel'zena (na primere rasskaza "Neravenstvo") [The problem of the relationship between the author and the hero in the Yuri Felzen's prose (on the example of the short story "Inequality")]. *Vestnik of Kostroma state university*. 2015, no. 6, pp. 86–89.

Livak L. "Roman s pisatelem" Yuriya Fel'zena [Yu. Felzen's "Affair with a writer"]. In: Fel'zen Yu. *Sobranie sochineniy: V 2 t.* [Collected works: In 2 vols]. Moscow, 2012, vol. 1, pp. 6–39.

Lotman Yu. M. *Ob iskusstve. Struktura hudozhestvennogo teksta* [About art. The structure of the artistic text]. St. Petersburg, Iskusstvo-SPB, 1998, 285 p.

Proskurina E. N. *Edinstvo inoskazaniya: o narrativnoy poetike romanov Gayto Gazdanova* [Unity of allegory: about the narrative poetics of Gaito Gazdanov's novels]. Moscow, Novyy khronograf, 2009, 387 p.

Proskurina E. N. Proza Yuriya Fel'zena: chernovik dlya nedovoploshchennogo zamysla [Yuri Felzen's prose: a draft for an under-embodied plan]. In: *Kul'tura, istoriya i literatura russkogo mira: obshchenatsional'nyy i regional'nyy aspekty: Sb. st. i materialov Vseros. nauch. konf. s mezhdunarodnym uchastiem "Chelovek i mir cheloveka"* [Culture, history and literature of the Russian world: National and regional aspects. Coll. of art. and materials of the All-Russian sci. conf. with intern. participation "Man and the world of man"]. Barnaul, 2014, pp. 95–105.

Solivetti K. "Pis'ma o Lermontove" Yuriya Fel'zena: avtor kak personazh [Yu. Felzen's "Letters about Lermontov": the author as a character]. In: Solivetti K. *Avtor i ego zerkala* [The author and his mirrors]. St. Petersburg, Aleteyya, 2005, pp. 209–229.

Tokarev S. A. (Ed. in Ch.) *Initsiatsiya i mify* [Initiation and myths]. In: *Mify narodov mira. Entsiklopediya* [Myths of the peoples of the world. Encyclopedia]. Moscow, Sov. encikl., 2008, pp. 446–447.

Tyupa V. I. *Narratologiya kak analitika povestvovatel'nogo diskursa* [Narratology as an analytics of narrative discourse]. Tver', TSU, 2001, 58 p.

Сведения об авторе

Назаренко Иван Иванович – аспирант кафедры истории русской литературы XX века филологического факультета Томского государственного университета (Томск, Россия)

Nazarenko42@yandex.ru

Information about the author

Ivan I. Nazarenko – Post-graduate student of the Department of the History of Russian Literature of the 20th Century, Faculty of Philology, TSU (Tomsk, Russian Federation)

Nazarenko42@yandex.ru

УДК 82-32
DOI 10.17223/18137083/74/10

Поэтика литературного сновидения в новелле С. Д. Кржижановского «Боковая ветка»

М. А. Липина

*Иркутский государственный университет
Иркутск, Россия*

Аннотация

Исследуется онейрический текст новеллы С. Д. Кржижановского «Боковая ветка». Рассматривается реализация приема необъявленного сна в рамках онейротопа новеллы, особенности структуры представленного литературного сновидения (модель засыпания – сна – пробуждения героя), онейрической образности (реализация метафор «сон-жизнь», «сон-смерть»), способов имитации в тексте новеллы особенностей нелитературного сновидения (пробуждение падением, внезапная немота героя и т. д.). Реализуется попытка рассмотрения онейротопа новеллы с точки зрения классификации по жанрово-функциональному, сюжетно-композиционному, образно-эстетическому и персональному признакам, а также художественным функциям, выполняемым литературным сновидением. Онейрический текст новеллы Кржижановского рассматривается как художественная реализация самобытной идеи автора о «подсознательном», сновидном происхождении коммунистической утопии.

Ключевые слова:

С. Д. Кржижановский, «Боковая ветка», онейротоп, онейрический текст, литературное сновидение, гипнология, онейропоэтика

Для цитирования

Липина М. А. Поэтика литературного сновидения в новелле С. Д. Кржижановского «Боковая ветка» // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 132–143. DOI 10.17223/18137083/74/10

Poetics of literary dream in Sigizmund Krzhizhanovsky's novel "Sideline"

M. A. Lipina

*Irkutsk State University
Irkutsk, Russian Federation*

Abstract

The paper is dedicated to studying the oneiric text of S. Krzhizhanovsky's novel "Sideline." The topicality of the research is due to modern literary criticism interest in examining various aspects of artistic hypnology of Russian writers, as well as studying the works of "returned" authors, including S. Krzhizhanovsky. The realization specifics of the structural model of the literary dream in question can be presented as the following scheme: unconscious falling asleep – dream-journey – awakening by falling down. Different variants of artistic implementation of the main metaphors connected with dreaming are analyzed: "dream-life" in the image of briefcase-cushion and the image of "million-brained" dream of equality and brotherhood; "dream-death" in the image of the leader of a dream world, with the prevalence

© М. А. Липина, 2021

ISSN 1813-7083
Сибирский филологический журнал. 2021. № 1
Siberian Journal of Philology, 2021, no. 1

of thanatological vocabulary in the description of the city of dreams. The ways of imitating the space of real dreaming in the oneiric text of the novel are studied: awakening by falling, sudden muteness of characters, sudden change of location, etc. Also, the specifics of using the plot device of an unannounced dream is considered contributing to the illusion of “reality” of everything that happens to the character in the city of dreams. An attempt is made to consider the oneirotop of the novel in terms of classification by genre and function, plot and composition, images and esthetics and characters, as well as artistic functions of dreams in the literature (plot function, psychological function, idea, and symbolic function). The oneiric text of Krzhizhanovsky’s novel “Sideline” is viewed as an artistic realization of the author’s original idea of the subconscious, dreamy origin of a communist utopia.

Keywords

Sigizmund Krzhizhanovsky, “Sideline”, oneirotop, oneiric text, dream in literature, hypnology, oneiric poetics

For citation

Lipina M. A. Poetics of literary dream in Sigizmund Krzhizhanovsky’s novel “Sideline”. *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 132–143. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/10

Изучение сновидений в художественной литературе выделяется в особую область современного литературоведения, которая называется художественной гипнологией, онейрологией, онейропозитикой (oneiros – «сновидение»). В. В. Савельева определяет онейропозитику как «область поэтики, которая сосредоточена на филологическом анализе сновидения как вербального художественного текста» [2013, с. 23]. Пространство сна в литературном произведении исследователи в данной сфере обозначают различными терминами («онейрический текст», «сновидное пространство»), наиболее лаконичным и устоявшимся из которых является «онейротоп» (Т. Ф. Теперик, В. Савельева, Н. А. Нагорная и др.). При использовании данной категории стоит учитывать, что «онейротоп включает в себя описание сновидения, но ему не равен. В него входит весь комплекс художественных средств, связанный с изображением сновидения, это ближайший композиционно-смысловой контекст, связанный с его изображением» [Теперик, 2008, с. 9]. Таким образом, онейротоп включает в себя описание сновидения, его интерпретации, а также ситуации засыпания – пробуждения.

Современное литературоведение все чаще обращается к исследованию различных аспектов художественной системы выдающегося писателя, переводчика и литературоведа С. Д. Кржижановского, чье творчество на протяжении многих лет было знакомо лишь узкому кругу филологов. Одним из основоположников изучения произведений Кржижановского является В. Г. Перельмутер, выступивший редактором-составителем первых опубликованных сборников новелл писателя, а также автором посвященных его творчеству литературоведческих статей («Когда не хватает воздуха» [Перельмутер, 1990], «Прозванный гений» [Перельмутер, 1991], «Трактат о том, как невыгодно быть талантливым» [Перельмутер, 1989] и др.). Рассмотрев основные литературоведческие работы, посвященные произведениям С. Д. Кржижановского, можно выделить несколько аспектов творчества писателя, к которым наиболее часто обращаются исследователи: специфика так называемого минус-пространства в художественной системе Кржижановского [Топоров, 1995]; типы и функции лингвистических новообразований в произведениях писателя [Бышук, 2008], особенности пространственно-временной организации текста автора [Подина, 2002]; экзистенциальная проблематика [Горошников, 2005]; жанровое своеобразие творчества Кржижановского [Воробь-

ева, 2002]; интертекстуальная составляющая поэтики «музыкальных новелл» писателя [Мансков, 2007], специфика игрового начала [Клецкина, 2007], философско-эстетические искания в прозе Кржижановского [Ливская, 2009] и др.

Особенно интересными в свете темы нашего исследования представляются работы Р. М. Ханиновой [2008; 2009; 2013], посвященные произведениям писателя, в том числе представленного в них онейрического текста, с точки зрения антропологической поэтики. Две главы монографии Р. М. Ханиновой «Антропологическая поэтика русской повести и рассказа 1900–1930-х гг.» [2013] посвящены исследованию литературных сновидений в художественном пространстве Кржижановского («Философема сна в прозе Сигизмунда Кржижановского», «Экфрасис и сон-экфраза в малой прозе Сигизмунда Кржижановского»), в том числе автор рассматривает через призму антропоэтики онейротоп новеллы «Боковая ветка» («Вещь в антропоцентрической перспективе сновидения: новеллы «Боковая ветка» и «Серый фетр»). В фокусе исследователя в данном случае находится главным образом проблема философского содержания сферы вещного мира новеллы, онтологическое декодирование онейрического и несновидного пространства «Боковой ветки». Автор не концентрируется на особенностях структуры представленного в тексте онейротоп, а также специфике приемов имитации фикциональным текстом нон-фикционального пространства.

Творчество С. Д. Кржижановского предполагает причудливое переплетение реальности и грёзы, его произведения напоминают мрачноватые сказки или притчи, в которых действуют герои, находящиеся в пограничных состояниях: они не до конца живы, но и не совсем мертвы («Автобиография трупа», «Швы», «Чудак»), то ли бодрствуют, то ли погружены в сон («Мост через Стикс», «Фантом», «Рисунок пером», «Боковая ветка»), состоят из какой-либо одной части тела («Итанеэсиес», «Сбежавшие пальцы»), являются неодушевленными в пределах привычной реальности предметами («Мишени наступают», «Поэтому») и т. д. При этом зачастую реальность «фантазма», сна является доминирующей, «говорящей», максимально эстетически и идеологически наполненной. Для Кржижановского именно «фантазм» является истинной реальностью, скрытым миром, который поражает безупречной логической обоснованностью даже самых парадоксальных образов. Данное представление сближает творческий метод автора с поэтикой сюрреализма, в рамках которой источником вдохновения художника является истинная «сверхреальность», пространство подсознания и сна.

Художественная система С. Д. Кржижановского является онейрически наполненной, в этом утверждении мы солидарны с Р. М. Ханиновой, которая утверждает, что сон является одним из «сквозных» образов творчества писателя [2013, с. 64]. Онейротоп представлен в нескольких произведениях С. Д. Кржижановского, таких как «Возвращение Мюнхгаузена», «Мост через Стикс», «Фантом», «Рисунок пером», «Поэтому» и др. В рамках данной статьи мы обратимся к исследованию специфики онейротоп в новелле С. Д. Кржижановского «Боковая ветка». Изучение онейрического пространства указанного произведения представляется целесообразным и продуктивным в связи с тем, что большая часть текста новеллы представляет собой развернутый онейротоп (ситуация засыпания, описание сна, ситуация пробуждения, контекст и т. д.), в пределах которого реализуется основная концептуальная составляющая текста.

Онейрический текст новеллы характеризуется высокой концентрацией сюрреалистической образности и размытостью границ между сном и явью. Сновидение «не объявлено» [Бочаров, 1974, с. 205], и этот прием, как указывает В. В. Са-

вельева, словно наделяет онейротоп временной материальностью и вещественностью [Савельева, 2013, с. 56], способствует созданию иллюзии реалистичности событий, произошедших с героем в городе сновидений. О том, что Квантин уснул, читатель догадывается по ряду примет, но констатации отхода ко сну нет, напротив, на поверхности лежит ситуация неудавшегося засыпания. Герой пытается задремать, ему зябко («Не то тянуло от окна, не то лихорадило»), возможно, он нездоров, портфель, который он пытается использовать вместо подушки, неудобен, и Квантин решает бодствовать, на самом деле, вероятно, засыпая:

Если представить себе страну или мир, в котором под тульи шляп, под кожаные подкладки их, иногда – ну, пусть редко-редко – забредали бы так, по соседству, окраинные причерепные мысли... то... – мягкий толчок, точно не буферами о буфера, а подушечьим пухом о пух, вдруг остановил поезд, – то (должно быть, семафор)... нет, лучше не вдоль то, а по боковой [Кржижановский, 1989, с. 42]¹.

Момент засыпания описывается Кржижановским максимально реалистично. Главный герой предаётся философским размышлениям о двойственной природе человеческого мозга, который всегда содержит что-то скрытое, истинное, неконтролируемое сознанием:

Если предположить, что самый наш мозг поверх другого мозга, как шляпа поверх головы, что тот в настоящую думающий, подкорковый, раскланивается моим мышлением, приветственно приподымает его при встрече с... (с. 42).

Его мысли путаются, обрываются, и, наконец, он, сам того не понимая, засыпает:

Но вперерез мысли точно тень опустившегося семафора и о слух ватным прикосновением: – Прошу предъявить ваши сновидения (с. 42).

Замысловатая реплика вошедшего в вагон кондуктора служит маркером того, что реальность ускользнула от героя и словно запускает, приводит в действие круговорот фантастических образов, сопровождающих его приключение.

На то, что Квантин уснул, указывает не только необычная просьба кондуктора предъявить сновидения, но также лексемы и словосочетания, значение которых связано с темой сна, засыпания, а точнее с образом подушки как посредника между сном и человеком: «мягкий», «подушечий пух», «ватное прикосновение». Само тело героя становится неестественно легким, словно пустым, портфель уподобляется подушке:

Квантин поднялся и – к выходу. Ноги его как-то ватно легки и пусты, портфель под локтем мягок и упруг, как взбитая к ночи подушка (с. 43).

Сонным стариком, который, «шаркая паром», медленно идет сквозь ночь, кажется Квантину необычный старинный паровоз, в который он пересаживается из своего вагона:

Старый паровичок, шаркая паром, казалось, шел сквозь ночь, волоча мягкие ночные туфли, то и дело спадающие с пят (с. 43).

¹ Далее ссылки на это издание даются в круглых скобках с указанием страниц.

Реальность новеллы стремительно трансформируется после того, как герой «предъявляет свои сновидения» кондуктору и выходит из вагона. Ночная земля почему-то становится теплой, паровоз выглядит устаревшим музейным экспонатом, дует теплый тропический ветер, приносящий аромат невиданных пряных трав, за окном проносятся совершенно невероятные для средней полосы России пальмы, в вагон влетает диковинная бабочка и т. д.

Периодически автор словно подсказывает читателю, где стоит искать источники сновидных образов героя:

...вброшенная ударом голубого воздуха, в вагон впорхнула бабочка и билась смятыми крылышками над подпотолочной сеткой. Квантин узнал узоры ее пыльцы: *ugania girteus*, притропический вид, не перелетающий и двадцатой параллели. Страница энтомологического атласа, приподнявшись – своими пестрыми подобиями – в память, снова опала под переплетную крышку (с. 44).

Квантин – человек, обладающий определенным читательским опытом, он идентифицирует бабочку, вспоминает ее название на латыни, затем на улицах города сновидений узнает в лицо Томаса Мора, отвечающего в онейрическом мире за экспорт утопий в сознания спящих. Кржижановский переосмысливает саму идею возникновения утопий: они злонамеренно внушаются людям миром снов, помогают подготовить реальность к захвату сновидным пространством. Таким образом, «дневной», практический опыт Квантина находит отражение в его снах, трансформируется в яркие образы онейрического пространства, влияет на формирование идеологической основы взглядов героя на город снов и знакомую ему несновидную реальность.

Наконец на то, что увиденное Квантином было сном, указывает момент пробуждения:

Прямо напротив, в метре от глаз – желтая вагонная стена. Сверху – подоткнутые железом полки. Квантин поднял голову с доски и, щуря глаза, огляделся по сторонам. Поезд стоял. В проходе – спина носильщика, придавленная тюком, за пыльным окном – знакомая стеклянная навесь Московского вокзала. Упершись ладонью в скамью, он все еще медлил включиться в день (с. 59).

Герой не может поверить в то, что увиденное в городе сновидений, было лишь игрой подсознания, он ищет приметы сновидной реальности в утренней суматохе прибывшего на вокзал поезда, в какой-то момент ему кажется, что он оставил в городе снов портфель, который тут же находится в коридоре:

Пора. Он сбросил ноги со скамьи и протянул руку к портфелю. Что такое! Ладонь ткнулась о дерево – портфеля не было ни в изголовье, ни у стены. И тотчас же сквозь память: сумеречные хоры – синий свет – вытянутая рука лысоголового – и падающий вниз, к тем, четырехугольный черный портфель. И вслед – новым оборотом карусели – один за другим – откружившие образы ночи (с. 59).

Квантин не находит примет, подтверждающих, то увиденное им ночью не было просто сном, однако не находит он и успокоения, понимая, что сила и ловкость жителей города снов состоит в умении мгновенно исчезать и растворяться в пространстве без следа:

И все-таки, – подумалось Квантину, – единственно возможная техника подмены светлой карты черной, дня ночью – это стремительность, мгновение, умеющее быть быстрее «мгновения ока» (с. 60).

Кржижановский вводит в онейрический текст одну из самых распространенных содержательных особенностей нелитературного сновидения – пробуждение падением, возвращение в мир реальности через пугающее неминуемое и потенциально смертельное падение во сне:

В одно мгновение он представил себе свою мозжащуюся о камень голову и разбрызг мозга. Стена, раздвигаясь вширь и ввысь, беззвучно неслась навстречу сшибу. Лучше не видеть. Стиснуть веки и... Но что-то острое и светлое, как лезвие ножа, втиснутого под тугую покрывку, насильно расщепляло веки; уступая, он раздёрнул их – и тотчас же яркий дневной свет вхлынул в зрачки. Прямо напротив, в метре от глаз – желтая вагонная стена (с. 59).

Квантин обнаруживает, оказавшись свидетелем погрузки в вагоны новых невидимых сновидений, что сны, прозрачные при обычном взгляде на них, становятся видимы в отражении. Гладкий пол вокзала неожиданно становится скользким зеркалом, которое в один момент вдруг превращается в отвесную стену, сбросившую с себя героя. Квантин летит вниз, осознает близость своей гибели, которая в реальности оборачивается для него внезапным пробуждением в знакомом железнодорожном вагоне. К. Г. Юнг связывал сновидный мотив падения со страхом неудачи или смерти, который подавляется сознанием спящего [Юнг, 2014, с. 289]. Герой Кржижановского через падение спасается из сновидного мира, испытывает перед этим страх разоблачения и смерти.

Помимо пробуждения падением Кржижановский использует такую особенность нелитературного сна, как невозможность крика, внезапная немота, что в реальности является одним из симптомов так называемого сонного паралича [Левин, 2010, с. 13]:

Теперь уже не было надежды. Он скользил вниз и вниз с нарастающей скоростью. Под ним – по зеркальному скату – неслись пестрые стаи отражений. Быстрота была такова, что он уже не различал их контуров: вихрь слепящих пятен рушился вместе с ним в пустоту. Он хотел вскрикнуть, но несущимся навстречу воздухом забивало рот (с. 58).

Стоит отметить, что данный прием имитации нон-фикционального пространства (сна) является традиционным для художественной литературы и встречается во многих произведениях российских и зарубежных авторов (сон Татьяны («Евгений Онегин» А. С. Пушкина), сон Чарткова («Портрет» Н. В. Гоголя), «Дурной сон» Б. Л. Пастернака и др.). Кржижановский следует традиции: стремится уподобить литературное сновидение нелитературному, обращается к сновидному опыту читателя, пытается напомнить ему пугающие ощущения падения, внезапной немоты во сне, побудить к сопереживанию герою.

Таким образом, структура онейротопы «Боковой ветки» может быть представлена в виде своеобразной петли: подготовка ко сну, неосознанное засыпание (вопреки принятому решению бодрствовать), путешествие в город сновидений, пробуждение падением и возвращение в «досонное» пространство железнодорожного вагона.

В тексте новеллы реализуются две основные метафоры, связанные с темой сна: «сон-смерть», «сон-жизнь». Первая из них, наиболее характерная для христианской культуры («вечный сон»), представлена в нескольких вариантах: герой называет поезд, увозящий его в город сновидений, «саркофагом на колесах», который может завести в любую катастрофу. Основной идеолог города сновидений – лектор вечерних курсов, проповедующий идею захвата мира яви снами, описывается как некто с черепом, обтянутым кожей, что сближает его с традиционным в европейской культуре образом смерти. Наконец, само описание города сновидений наполнено танатологической лексикой («темнота», «недвижье», «мертвые», «кладбище», «гнилушечий» и т. д.):

Темнота, будящая сов и летучих мышей, разворошила недвижье города снов. Улицы, еще так недавно мертвые, как дорожки кладбища, были полны теперь всевозрастающим оживлением. Жалюзи уползли вверх, обнажая черные дыры окон. Лишь кое-где за их открытыми рамами затлевал и ник мутный гнилушечий свет. Створы дверей, распахиваясь, как крылья ночных птиц, начинающих лет, выбрасывали в улицы торопливые силуэты людей (с. 55–56).

Перед читателем предстает мрачный безрадостный город, который, подобно ночной птице или летучей мыши, приходит в движение лишь с наступлением темноты и буднично готовится к очередной «смене» доставления спящим сновидений.

Метафора «жизнь-сон» реализуется, в частности, через образ «портфеля-подушки», который помогает мнимо бодрствующим людям спать в вертикальном положении, создавать и поддерживать иллюзию важности данной государством работы, чина, должности и т. д. Эти особенные усовершенствованные модели подушек помогают сновидцу грезить наяву, принимать сон за реальность, фантазию за истинную действительность:

Стоит лишь сунуть вот эту штуку под локоть, и вы, не меняя даже вертикального положения на горизонтальное, с раскрытыми глазами, при ярком дне, погружаетесь в глубочайший сон: вам снится, что вы деятель, вершитель, общественник, измыслитель новых систем – и портфельная подушка, выпруживаясь из-под локтя, толкает из снов в сны (с. 51).

Новые «портфельные» подушки не только подменяют жизнь сном, они выполняют функцию «выпрямления», опустошения человеческого мозга, превращения его в подобие мягкой, «хорошо взбитой подушки»:

Мозг – он распяливается вширь, последние мозговые извилины и морщины на нем выравниваются, он делается гладок и чист от мысли... (с. 51).

Образ «портфеля-подушки» повторяется в новелле несколько раз: сначала это портфель, подложенный под голову в попытке героя уснуть в вагоне, затем заметно «полегчавший» портфель, с которым Квантин выходит на перрон города сновидений, далее следует расшифровка образа, объяснение того, что портфель – это и есть новая усовершенствованная модель подушки, произведенная в сновидном городе. Наконец портфель – это деталь, которая выдает героя жителям города и провоцирует погоню за ним, а в финале новеллы при пробуждении «убежавший» из-под головы Квантина портфель становится возможным свидетельством реальности существования фантастического города.

Также метафора «жизнь-сон» реализуется в образе «миллионномозгового сна о всеобщем братстве», который внушается миром снов людям. Цель жителей сновидного города – подменить явь сном, ведь главное отличие реальности от фантазии в том, что реальность устойчива, а фантазия рассыпается при свете дня. Но современная действительность уже не так понятна и устойчива, как раньше, в то время как сны люди научились видеть одни и те же. Именно этот единый сон, протекающий под флагами цвета усыпляющего мака, поможет сновидному миру прорваться в реальность:

...разве не удалось нам уже и сейчас унифицировать сны, разве не навели мы человечеству сладчайший миллионномозгий сон братства, единый сон о единении. Знамена цвета маковых лепестков колышутся над толпами... (с. 53).

Идея общечеловеческого сна о равенстве как подмены действительности лежит в основе стратегии лидеров города сновидений. При этом коллективно экспортируемая утопия, очевидно, грозит обернуться антиутопией, ведь мир грез настроен воинственно и совсем не чужд жестокости в случае ожесточенного сопротивления спящих:

Глаза спящих под щитами век. То, что вчера еще было утопией, сегодня стало наукой. Мы ломаем факты. Мы разобьем наголову всех их status quo: вы увидите убегающие статус-квовые спины. Если «я» восстанут против «мы»: в ямы, в колодцы с кошмарами, мозгом о дно. Мы спрячем солнце под черные пятна, мы погрузим весь мир в бездвижный непробудный сон. Мы усыпим самую идею пробуждения, а если пробуждение будет противиться, мы выколем ему глаза (с. 54).

Примечательно, что классическое антиутопическое общество характеризуется стремлением к всеобщей унификации, что выражается, в частности, в попытках влияния на содержание сновидений индивидуумов, т. е. влияния рационального на подсознание. Именно эту смысловую доминанту определяет в тексте «Боковой ветки», в частности, Р. М. Ханинова [2013, с. 61], указывая, что Кржижановский воплощает в новелле желание тоталитарного государства контролировать частную жизнь (подсознание, сны) своих граждан. На наш взгляд, в «Боковой ветке» то самое «бессознательное» вполне разумно, оно целенаправленно формирует сны спящих и внушает им единый разрушительный для несновидного мира сон: сон-обман, сон-оружие. Соответственно, любая утопия и тоталитарное государство как ее искаженное воплощение, по Кржижановскому, родом из темного, непознаваемого подсознания, они заражены его хаосом и неминуемо ведут к катастрофе.

В. В. Савельева, исследуя художественную гипнологию русских писателей, предлагает классифицировать литературные сны по жанрово-функциональному, сюжетно-композиционному, образно-эстетическому и персонажному признакам. Также исследователь обращает внимание на специфику выполнения онейрическим текстом сюжетной, психологической и идейно-символической функций в художественном произведении [Савельева, 2013].

С точки зрения жанрово-функционального признака онейротоп, представленный в «Боковой ветке» Кржижановского, можно охарактеризовать как сон-откровение, «кризисный сон» [Бахтин, 2002, с. 167], сон-путешествие, сон-инициацию. Для снов подобных типов характерно ментальное перерождение героя, осознание правды о существующем миропорядке, собственном внутреннем мире. По сю-

жетно-композиционному признаку рассматриваемый нами онейрический текст является развернутым, так как занимает практически все пространство новеллы. С точки зрения образно-эстетической, онейротоп «Боковой ветки» можно охарактеризовать как фантастический, аллегорический сон. По персонажному признаку сон Квантина относится к мужским сновидениям.

Онейротоп «Боковой ветки» выполняет все указанные В. В. Савельевой функции. Увиденный героем сон является двигателем сюжета, запускает процесс осознания Квантином истинной сущности реальности, а следовательно, онейрический текст выполняет сюжетную функцию.

Герой проявляет смелость, осознает, на чьей он стороне («лазутчик»), и готов бороться за мир яви, что свидетельствует о выполнении онейротопом психологической функции (перерождение, инициация):

Это было на руку выскользнувшему из капкана «лазутчику». Слово это, внезапно брошенное в слух, звучало теперь для Квантина как отщелк ключа, как пароль в явь, больше – как лозунг, осмысляющий все страхи, блуждания и опасности здесь, в паутине улиц города, экспортирующего сны... Да, лазутчик, он выследит все извивы их замыслов, он разорвет, хотя бы ценою гибели, все это черное миллионоузлие, он остановит эти проклятые катушки, сматывающие ночь (с. 55).

Во сне герой обретает не мечту, а правду. Сон становится откровением, он не предсказывает будущее, а, возможно, открывает сущность настоящего. Вырвавшись из города снов, герой не в состоянии просто отмахнуться от нелепого кошмара и готов бороться за права реальности. Будучи на территории сновидений, он выбирает мир яви.

Сновидный текст новеллы также выполняет идейно-символическую функцию, так как иллюстрирует представление Кржижановского о революционной идее как пугающей фантазии (та же мысль автора прослеживается и в «Возвращении Мюнхгаузена»), ставшей реальностью в России. «Боковая ветка» указывает на адресанта и заказчика идеи «сна о братстве», объясняет, кому это прежде всего выгодно и к чему может привести увлечение коллективными грезами. Актуальная для времени написания новеллы коммунистическая идеология представляется в тексте Кржижановского иррациональной фантазией, сном, источник которого таится в глубинах пугающего и непознанного подсознания.

Из всего вышесказанного следует, что в новелле С. Д. Кржижановского «Боковая ветка» реализуется структурная модель литературного сновидения, которую можно представить в виде схемы: неосознаваемая героем ситуация засыпания – сон-путешествие – пробуждение падением. Основной текст новеллы содержит все приметы классического литературного сна, который стремится имитировать нон-фикциональный текст, уподобляется «реальному» нелитературному сновидению [Савельева, 2013, с. 32]. Для онейрического текста «Боковой ветки» характерно: перемещение в фантастическое пространство (город снов), неясность очертаний предметов, аллегоричность, сюрреалистичность образов (хор непробудных, ловцы облаков, портфель-подушка), резкое появление и исчезновение персонажей, смена локаций («вдруг»), трансформация пространственных объектов (вокзальный пол превращается в отвесную зеркальную стену), присутствие фантастических персонажей (девушка из макового дурмана, лектор-череп и др.), пробуждение падением и т. д.

Художественный мир С. Д. Кржижановского эстетически ярк, парадоксален и чрезвычайно идеологически наполнен, он представляется увлекательным «путешествием мысли», полным причудливых персонажей и оригинальных выводов. Онейрический текст новеллы Кржижановского «Боковая ветка» – это пространство, в котором при помощи экспрессивных сюрреалистических образов реализуется самобытная идея о «подсознательном», сновидном происхождении коммунистической утопии, переосмысливаются ее природа и предназначение.

Список литературы

- Бахтин М. М.* Проблемы поэтики Достоевского. Работы 1960–1970 гг. М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2002. Т. 6. 800 с.
- Бочаров С. Г.* О смысле «Гробовщика» (к проблеме интерпретации произведения). М.: Наука, 1974. С. 196–230.
- Бышук О. П.* Типы и функции новообразований в творчестве С. Д. Кржижановского: Дис. ... канд. филол. наук. Ярославль, 2008. 210 с.
- Воробьева Е. И.* Жанровое своеобразие творчества С. Д. Кржижановского: Дис. ... канд. филол. наук. М., 2002. 211 с.
- Горошников В. В.* Экзистенциальная проблематика прозы Сигизмунда Кржижановского: Дис. ... канд. филол. наук. Ярославль, 2005. 178 с.
- Клецкина О. М.* Игра в малой прозе С. Д. Кржижановского: философия, эстетика, поэтика: Дис. ... канд. филол. наук. Иркутск, 2007. 216 с.
- Кржижановский С. Д.* Воспоминания о будущем. М.: Московский рабочий, 1989. 464 с.
- Левин Я. И.* Парасомнии: современное состояние проблемы // Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 2010. Т. 2, № 2. С. 10–16.
- Ливская Е. В.* Философско-эстетические искания в прозе С. Д. Кржижановского: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2009. 22 с.
- Мансков А. А.* Поэтика музыкальных новелл С. Д. Кржижановского: интертекстуальный аспект: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 2007. 18 с.
- Перельмутер В.* Когда не хватает воздуха // Кржижановский С. Д. Возвращение Мюнхгаузена: повести; новеллы; воспоминания о Кржижановском. Л., 1990. С. 3–18.
- Перельмутер В.* Прозванный гений // Кржижановский С. Д. Сказки для вундеркиндов: Повести, рассказы. М., 1991. С. 3–26.
- Перельмутер В.* Трактат о том, как невыгодно быть талантливым // Кржижановский С. Д. Воспоминания о будущем: Избранное из неизвестного. М., 1989. С. 3–30.
- Подина Л. В.* Пространство и время в художественном мире Сигизмунда Кржижановского: Дис. ... канд. филол. наук. Самара, 2002. 210 с.
- Савельева В. В.* Художественная гипнология и онейротопика русских писателей: Монография. Алматы: Жазуши, 2013. 520 с.
- Теперик Т. Ф.* Поэтики сновидений в античном эпосе (на материале поэм Гомера, Аполлония Родосского, Вергилия, Лукана): Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 2008. 45 с.
- Топоров В.* «Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского // Топоров В. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 476–575.

Ханинова Р. М. Сновидение как «черная закладка сна» в новеллах С. Кржижановского // Русская литература XX–XXI вв.: проблемы теории и методологии изучения / Под ред. С. И. Кормилова. М.: Макс-Пресс, 2008. С. 195–198.

Ханинова Р. М. Мотив сновидения в новеллистике С. Д. Кржижановского // Русское литературоведение на современном этапе. М., 2009. С. 394–397.

Ханинова Р. М. Антропологическая поэтика русской повести и рассказа 1900–1930-х гг. Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2013. 210 с.

Юнг К. Г. Алхимия снов. Четыре архетипа / Пер. С. И. Пантелеева; ред. Е. В. Осипова. М.: Медков С. Б., 2014. 312 с.

References

Bakhtin M. M. *Problemy poetiki Dostoevskogo. Raboty 1960–1970 gg.* [Problems of Dostoevsky's poetics. Works of the 1960–1970s]. Moscow, LRC Publishing House, 2002, vol. 6, 800 p.

Bocharov S. G. *O smysle "Grobovshchika" (k probleme interpretatsii proizvedeniya)* [The meaning of "The Undertaker" (on the issue of interpreting the work)]. Moscow, Nauka, 1974. pp. 196–230.

Byshuk O. P. *Tipy i funktsii novoobrazovaniy v tvorchestve S. D. Krzhizhanovskogo* [Types and functions of neologisms in the works of S. D. Krzhizhanovsky]. Cand. philol. sci. diss. Yaroslavl', 2008, 210 p.

Goroshnikov V. V. *Ekzistentsial'naya problematika prozy Sigizmunda Krzhizhanovskogo* [Existential problems of Sigizmund Krzhizhanovsky's prose]. Cand. philol. sci. diss. Yaroslavl', 2005, 178 p.

Jung C. G. *Alkhimiya snov. Chetyre arkhetypa* [Alchemy of dreams. Four archetypes]. Moscow, Medkov S. B., 2014, 312 p.

Khaninova R. M. *Snovidenie kak "chernaya zakladka sna" v novellakh S. Krzhizhanovskogo* [Dream as a "black bookmark of sleeping" in the novels of S. Krzhizhanovsky]. In: *Russkaya literatura 20–21: problemy teorii i metodologii izucheniya* [Russian literature of 20th–21st centuries: problems of theory and methodology of research]. S. I. Kormilova (Ed.). Moscow, Maks-Press, 2008, pp. 195–198.

Khaninova R. M. *Motiv snovideniya v novellistike S. D. Krzhizhanovskogo* [The motif of dreaming in the novels of S. D. Krzhizhanovsky]. In: *Russkoe literaturovedenie na sovremennom etape* [Russian literature studies at modern times]. Moscow, 2009, pp. 394–397.

Khaninova R. M. *Antropologicheskaya poetika russkoy povesti i rasskaza 1900–1930-kh gg.* [Anthropological poetics of Russian tales and short stories of the 1900–1930]. Elista, KalmSU Publ., 2013, 210 p.

Kletskina O. M. *Igra v maloy proze S.D. Krzhizhanovskogo: filosofiya, estetika, poetika* [Play in S. D. Krzhizhanovsky's flash fiction: philosophy, aesthetics, and poetics]. Cand. philol. sci. diss. Irkutsk, 2007, 216 p.

Krzhizhanovsky S. D. *Vospominaniya o budushchem* [Memories of the Future]. Moscow, Moskovsky rabochiy, 1989, 464 p.

Levin Y. I. *Parasomnii: spvremennoye sostiyanie problem* [Parasomnias: the modern state of the problem]. *Epilepsy and paroxysmal conditions*. 2010, vol. 2, no. 2, pp. 10–16.

Livskaya E. V. *Filosofsko-esteticheskie iskaniya v proze S. D. Krzhizhanovskogo* [Philosophical and aesthetic quests in S. D. Krzhizhanovsky's prose]. Cand. philol. sci. diss. Moscow, 2009, 22 p.

Manskov A. A. *Poetika muzykal'nykh novell S. D. Krzhizhanovskogo* [Poetics of S. D. Krzhizhanovsky's musical novels]. Cand. philol. sci. diss. Barnaul, 2007, 18 p.

Perel'muter V. *Kogda ne khvataet vozdukha* [When there is not enough air]. In: *Krzhizhanovskiy S. D. Vozvrashchenie Myunkhgauzena: povesti; novelly; vospominaniya o Krzhizhanovskom* [The Return of Munchausen: stories, novels, and memories of Krzhizhanovsky]. Leningrad, 1990, pp. 3–18.

Perel'muter V. "Prozevannyi geniy" [The lost genius]. In: *Krzhizhanovskiy S. D. Skazki dlya vunderkindov: Povesti, rasskazy* [Tales for prodigies: novels and short stories]. Moscow, 1991, pp. 3–26.

Perel'muter V. *Traktat o tom, kak nevygodno byt' talantlivym* [Treatise of the disadvantages of being talented]. In: *Krzhizhanovskiy S. D. Vospominaniya o budushchem: Izbrannoe iz neizvestnogo* [Memories of the future: selected unknown works]. Moscow, 1989, pp. 3–30.

Podina L. V. *Prostranstvo i vremya v khudozhestvennom mire Sigizmunda Krzhizhanovskogo* [Space and time in the artistic world of Sigizmund Krzhizhanovsky]. Cand. philol. sci. diss. Samara, 2002, 210 p.

Savelyeva V. V. *Khudozhesvennaya gipnologiya i oneirotopika russkikh pisateley: monografiya* [Artistic hypnology and oneirotopics of Russian writers: a monograph]. Almaty, Zhazushi, 2013, 520 p.

Teperik T. F. *Poetiki snovideniy v antichnom epose (na material poem Gomera, Apolloniya Rodosskogo, Vergiliya, Lukana)* [Poetics of dreams in antique epos (by the poems of Homer, Apollonius of Rhodes, Virgil, Lucan)]. Abstract of Dr. philol. sci. diss. Moscow, 2008, 45 p.

Toporov V. "Minus"-prostranstvo Sigizmunda Krzhizhanovskogo ["Minus"-space of Sigizmund Krzhizhanovsky]. In: *Toporov V. Mif. Ritual. Simvol. Obraz. Issledovaniya v oblasti mifopoeticheskogo* [Myth. Ritual. Symbol. Image. Researching myths and poetics]. Moscow, 1995, pp. 476–575.

Vorob'eva E. I. *Zhanrovoe svoeobrazie tvorchestva S. D. Krzhizhanovskogo* [Genre originality of S. D. Krchichanovsky's works]. Cand. philol. sci. diss. Moscow, 2002, 211 p.

Сведения об авторе

Липина Мария Александровна – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры журналистики и медиаменеджмента Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского государственного университета (Иркутск, Россия)

m-gordina@mail.ru

Information about the author

Maria A. Lipina – Candidate of Philology, Senior Lecturer at the Department of Journalism and Media Management of the Institute of Philology, Foreign Languages, and Media Communication of the Irkutsk State University (Irkutsk, Russian Federation)

m-gordina@mail.ru

УДК 821.161.1
DOI 10.17223/18137083/74/11

«Алексей Алексеичи» бунинских рассказов: параметры интеграции несобранного цикла

Я. В. Баженова

*Сибирский федеральный университет
Красноярск, Россия*

Аннотация

Анализируется рассказ И. А. Бунина «Алексей Алексеич», который является центральным звеном несобранного цикла с героем по имени Алексей Алексеевич (в цикл также входят рассказы «Архивное дело» и «Надписи»). Реконструируется циклообразовательная стратегия автора, выраженная в метапозиции Бунина по отношению к литературе как эстетической деятельности. В рассказе «Алексей Алексеич» Бунин, с одной стороны, дискредитирует роль словесного знака в культуре путем пародийного снижения авторитетных претекстов и полемики с ними (Л. Н. Толстой). В русле этой линии писатель задействует тему характерного для модернистов экспериментального отношения к словесному знаку (образ Потехина), а также вводит мотивы шутливости и ораторствующего поведения (с аллюзиями к образу М. Горького). С другой стороны, сопоставление разных редакций «Алексея Алексеича», а также выявляемая связь с двумя другими текстами несобранного цикла показывает, что писатель реабилитирует слово и литературную деятельность на уровне ономастопозитической и нарративной организации рассказа. В этом аспекте роль словесного знака в культуре оправдывается его уникальной способностью противостоять смерти и забвению.

Ключевые слова

И. А. Бунин, несобранный цикл, нарратология, ономастопозитика, метапозиция

Для цитирования

Баженова Я. В. «Алексей Алексеичи» бунинских рассказов: параметры интеграции несобранного цикла // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 144–157. DOI 10.17223/18137083/74/11

“Aleksi Alekseichi” of Bunin’s short stories: integration elements of an unassembled cycle

Ya. V. Bazhenova

*Siberian Federal University
Krasnoyarsk, Russian Federation*

Annotation

The paper analyzes I. A. Bunin’s short story “Alexey Alekseich,” which is the central element of the unassembled cycle with a hero named Alexey Alekseevich. The cycle also includes short stories “The Archival File” and “Inscriptions.” A reconstruction of the writer’s strategy of composing the cycle expressed in Bunin’s metaposition towards literature as an aesthetic

© Я. В. Баженова, 2021

ISSN 1813-7083
Сибирский филологический журнал. 2021. № 1
Siberian Journal of Philology, 2021, no. 1

activity is carried out. Bunin actualizes the expressiveness of the authors' proper noun (patronymic name) to hold a dialogue with his predecessors and intensify a debate with contemporaries in the literary field. On the one hand, in "Alexey Alekseich," Bunin diminishes the role of a literary word in culture by parodying authoritative pretexts and polemics with them (L. N. Tolstoy). In this way, the writer invokes the specific theme of modernists – experimental attitude to the literary sign (Potekhin's character). In addition, he introduces motifs of tomfoolery and oratorical behavior (with allusions to M. Gorky). On the other hand, comparing the different editions of "Alexey Alekseich" and its linkage with other two texts of the unassembled cycle shows that Bunin rehabilitates an artistic word and literary activity by applying onomatopoeic and narrative devices in the poetics of his short story. In this aspect, the role of the literary sign in culture is justified by its unique ability to confront death and oblivion. Thus, Bunin's short story "Alexey Alekseich" reveals extensive use of the meaning-forming possibilities of the proper name.

Keywords

I. A. Bunin, unassembled prosaic cycle, narratology, onomatopoeics, metaposition

For citation

Bazhenova Ya. V. "Aleksei Alekseichi" of Bunin's short stories: integration elements of an unassembled cycle. *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 144–157. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/11

Для И. А. Бунина поиск новых формально-содержательных художественных структур, средств и приемов был тесно связан с рефлексией онтологической сущности акта письма и легитимности литературной деятельности [Мальцев, 1994, 102]. На протяжении всей жизни писатель хотел осмыслить восходящую в своей предельной остроте к Л. Н. Толстому проблему условности литературной формы [Там же, с. 103–104, 124–125], «нищ[е]т[ь] человеческих слов» (Бунин, 1973, с. 382), соотношения жизни и искусства [Сливицкая, 1998]. В связи с этим показателен пассаж из рассказа Бунина «Книга» (1924): «*Зачем героини и герои? <...> вечная мука – <...> не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!*¹» (Бунин, 1988, с. 331). Писатель поднимает вопрос о традиционных категориях литературы, которые, как ему теперь кажется, сводят многообразие человеческой личности к абстрактной, отстраненной схеме. Для Бунина литература, напротив, глубоко личностна. Примечательно, что репрезентативным для теории литературы художником Бунин стал именно благодаря настойчивому стремлению выразить своё Я – установке весьма сложной, учитывая целую галерею присущих фикциональному тексту посредующих инстанций (повествователя, рассказчика и т. д., уводящих, собственно, от авторского Я) как обязательных условий его художественности. На страницах «Нарратологии» В. Шмида Бунин впервые появляется именно в этой связи [Шмид, 2003, с. 84].

Бунинская установка на личностный характер литературного творчества органично восходила к лирической доминанте его художественного мира как такового. Лирика, согласно недавно предложенному В. И. Тюпой [2012] тезису, имеет перформативную, автореферентную природу. Во-первых, Буниным проблематизируется фигура фиктивного нарратора как посредника между читателем и повествуемыми событиями. Данный ход согласуется с особенностью субъектной организации лирики – синкретизмом автора и героя [Бройтман, 2004, с. 341–343].

¹ Здесь и далее в цитируемых текстах курсив наш.

Во-вторых, поиск адекватной литературной формы выражения собственной личности приводил Бунина к универсальному поэтическому знаку, который был способен вместить и сохранить всю полноту содержания в предельно краткой и емкой форме. Таким словесным знаком оказывалось имя собственное, являющееся одновременно личным (*мое* имя осознается как *только мое*) и деиндивидуализирующим (парадоксально, *мое* имя может принадлежать *любому*), конкретным и обладающим скрытой, но при этом предельно суггестивной семантикой.

В этом отношении важной чертой прозы Бунина являются, с одной стороны, неоднократные примеры использования писателем производных от собственного «биографического» имени, а с другой – появление героев-однофамильцев. Сочетание этих аспектов впервые было проанализировано Е. В. Капинос на примере несобранного цикла рассказов с героем по фамилии Ивлев [Капинос, 2014]. «Ивлев», как позднее разъяснил сам Бунин, представляет собой анаграмму имени и отчества биографического автора (Бунин, 1988, с. 667).

Неисследованным, однако, остается еще один «пунктирный», несобранный цикл рассказов, где персонажи носят одинаковое имя-отчество – Алексей Алексеевич: «Архивное дело» (1914), «Надписи» (1924) и «Алексей Алексеич» (1927). Рассказы не связаны между собой сюжетно, а во временном плане разбросаны на тринадцать лет. Тем не менее названные тексты объединяются не только повторяющимся именем героя, но и фундаментальной для Бунина проблематикой, а также перекрещивающимися в них мотивно-тематическими линиями.

Прежде всего необходимо обратить внимание на двойственную связь Бунина с его *Алексеями Алексеевичами*. С одной стороны, выбор такого имени является самоориентирующим «следом» автора [Мароши, 2000, с. 14–21]: сочетание *Алексей Алексеевич* восходит к отчеству Бунина. Тем самым писатель приближает героя к собственной биографической личности. С другой стороны, такое имя-отчество представляет собой лексический повтор (наподобие гоголевского Акакия Акакиевича), причем как в тексте, так и в заглавии последнего рассказа «цикла» – «Алексей Алексеич» – отчество героя дано разговорным деминутивом, что делает его больше похожим на прозвище. Тем самым Бунин наряду с приближением отчуждает героя от собственной личности. Отношение к имени является для писателя исходной точкой в расстановке ключевых мотивов рассказов и установлении связей между ними.

В данной статье нас главным образом интересует последний из созданных Буниным текстов несобранного цикла – «Алексей Алексеич». Этот рассказ исследуется на материале трех его существенно различающихся вариантов публикации, в его художественной структуре анализируется сложная сеть подтекстов и аллюзий. В контексте бунинского решения проблемы художественного слова и эстетической легитимации литературы центральным текстом, со- / противопоставленным «Алексею Алексеичу», оказывается первый рассказ реконструируемого нами несобранного цикла с героем по имени Алексей Алексеевич – «Архивное дело». Именно в ходе сопоставления двух названных текстов и беглого (ввиду небольшого объема статьи) упоминания об остальных выявляются ключевые пункты, опираясь на которые Бунин пытается на свой лад конкретизировать, «переоткрыть» и наполнить собственным смыслом роль словесного знака в культуре.

* * *

Рассказ «Алексей Алексеич» Буниным несколько раз перерабатывался. Первая публикация состоялась в парижской газете «Возрождение» 2 июля 1927 г. под

заглавием «Алексей Алексеич». В этом кратком варианте, обрамленном многоточиями в начале и конце, фрагментарно изображалась только сцена ужина. Вторая редакция появилась в апреле 1928 г. в журнале «Иллюстрированная Россия» с иным заглавием – «Рассказ Петра Петровича». Объем увеличился в три раза: вместо многоточия текст открывался известием о смерти Алексея Алексеевича, а завершался описанием его поездки к доктору. Наконец, итоговая редакция была напечатана в сборнике «Божье древо» в 1931 г. Готовя сборник, Бунин не только вернул рассказу первоначальное заглавие по имени героя – «Алексей Алексеич», но и внес соответствующие правки в текст.

В работе над паратекстовыми компонентами произведения – его заглавием, именем – проявляется метапозиция Бунина. Если «Рассказ Петра Петровича» заведомо акцентирует изображение наррации, то иконическое имя-заглавие «Алексей Алексеич» дано тексту, представляющему собой перформативное, происходящее «здесь и сейчас» повествование. Переделывая рассказ, Бунин, очевидно, работал именно с образом нарратора, а не героя.

В «Алексее Алексеиче» (редакция газ. «Возрождение») рассказчик является «непричастным очевидцем» [Шмид, 2003, с. 91] – одним из гостей вечера: он не принимает участия в беседе героя и княгини, но наблюдает и внимательно слушает. Точка зрения безымянного рассказчика сильно ретуширована: его присутствие выявляется на уровне комментирующих суждений в адрес Алексея Алексеевича. Описывая мимику героя, он характеризует его как комического персонажа: «насмешлив[ое] выражение лица», «безразличн[ая] улыбка[а]» (Бунин, 1927). Рассказчик подчеркивает в речах Алексея Алексеевича автоматизм, бездумное повторение (ср. с повторением основы в имени и отчестве героя) одних и тех же пассажей: «так и в таком роде, без конца и без умолку говорил Алексей Алексеич» (Бунин, 1927). Кроме того, точка зрения нарратора выявляется в самом отборе изображенного материала: после многочасовых речей героя запечатленными в тексте остаются четыре темы: пьянство, курение, женщины (толстовские темы услаждения тела, соблазна) и состав души² человека.

Сообщенное рассказу в редакции «Иллюстрированной России», иное заглавие («Рассказ Петра Петровича») является важным фактором трансформации смысла произведения. В сильную позицию начала автор поставил имя не персонажа, но нарратора-«очевидца-протагониста» [Шмид, 2003, с. 91]; соответственно, внимание от героя сдвинулось к рассказчику – некоему Петру Петровичу, имя которого за счет лексического повтора одной основы оказывается парным Алексею Алексеевичу. Более того, само слово «рассказ» в заглавии указывает на наррацию, т. е. акцентирует событие рассказывания.

Возвращение к заголовку «Алексей Алексеич» на уровне внутритекстовых правок сопровождалось тщательной вычисткой из «Рассказа Петра Петровича» имени рассказчика, а также всех слишком заметных следов того, что последний, выходя за рамки принятой в литературе функции посредника между автором и героями, начинает играть в структуре рассказа какую-то роль. Так, в некоторых случаях Бунин опустил местоимение «мы», приближавшее повествователя к рассказываемым им событиям. Кроме того, из «Рассказа Петра Петровича» Бунина

² В творчестве Бунина мотив *души* семантически связан с мотивным комплексом *дыхания* [Карпенко, 1998, с. 44]. В рассказе «Алексей Алексеич» мотиву дыхания соприроден образ ветра: «от ветра у человека дыхание» (Бунин, 1988, с. 498) (ср. с рассказом «Легкое дыхание»). Вариацией этой линии является значимая тема *курения* (ср. с мотивом *дыма* в рассказе «Огонь пожирающий»).

убирает прямые обращения нарратора к фиктивной читательской аудитории: «Помните, что сказал он вчера, входя в столовую?» (Бунин, 1928, с. 1); «Милые друзья, вы его [Потехина. – Я. Б.] знаете <...>» (Бунин, 1928, с. 8). В-третьих, ликвидированы были открыто выраженные *мнения*, субъективные высказывания Петра Петровича о Потехине: «<...> по-моему, форменная свинья, а не доктор, несмотря на всю его известность» (Бунин, 1928, с. 4); «Повторяю, таких господ, как Потехин, вешать бы следовало» (Бунин, 1928, с. 8). В сущности, все опущенные Буниным элементы характеризовали рассказ Петра Петровича как *сказ* [Шмид, 2003, с. 186–190]. Прямые обращения к читателю были свидетельством ориентации рассказчика на устную коммуникацию, а излишне эмоциональные реплики Петра Петровича в адрес Потехина (об этом герое специально – см. далее) нарушали гладкость и выверенность письменного литературного текста, внося элемент спонтанности, импровизации, устности.

Еще одним, ключевым для нас, следствием переименования, является сопутствующее ему изменение концовки. В «Рассказе Петра Петровича» финальное предложение – «Пошлая и нелепая история, одним словом!» (Бунин, 1928, с. 8) – выглядит как самоуничтожение нарратора. Вывод Петра Петровича обесценивает весь написанный текст, который оказывается изложением незначительного и малодостойного события. Однако эта точка зрения опровергается завершающим абзацем последней редакции «Алексея Алексеича». Там деятельность рассказчика, его занятия литературой оправдываются: «И ни одна-то душа из этих друзей-приятелей через два-три дня даже и не вспомнит о нем» (Бунин, 1988, с. 503). Подразумевается, что «Я», «автор» – вспомнит: создание рассказа оказывается ценным само по себе, а озаглавленный именем героя текст начинает напоминать собой архивную карточку, памятник.

Таким образом, парность отношений между Петром Петровичем и Алексеем Алексеевичем, которая устанавливается единообразной формой их имен, заключается в двух противоборствующих установках Бунина, свидетельствующих о сложности взглядов писателя на литературную деятельность. Как мы увидим далее, в русле первой линии печатное слово подвергается профанации и уничтожению путем переложения авторитетных претекстов в лоно противоположной, снижено-пародийной традиции. Эта тенденция проявляется также на интертекстуальном уровне в обращениях к повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича». Кроме того, внутри самого рассказа, словесная деятельность дискредитируется обликом ораторствующего Алексея Алексеевича. В русле второй линии письменное слово, напротив, металитературно реабилитируется и оправдывается при помощи фигуры повествователя, по-толстовски остающегося вне границ повествуемой истории.

* * *

Вспомним, что в бунинской картине мира побудительным мотивом литературного творчества является смерть и противостояние ей: память бросает вызов небытию [Карпенко, 1998, с. 51–53]. Поэтому первое, на что следует обратить внимание, – это то, что на сюжетно-тематическом уровне переосмысление устоявшихся литературных форм велось Буниным в русле художественного выражения экзистенциально-философской проблемы смерти. В ходе научного осмысления этих феноменов – литературы и смерти – обычно ставятся два вопроса: один связан с образом границы, другой – с проблемой субъекта. Так, Ю. М. Лотман основой своих рассуждений на эту тему делает две оппозиции с лиминальной се-

мантикой: «рождение – смерть» и «начало – конец». Ученый утверждает, что значимость смерти сродни финалу литературного произведения [Лотман, 1994, с. 417].

В плане фабулы все рассказы Бунина об Алексеях Алексеевичах посвящены смерти. В последнем из них значимость темы определяется активизацией интертекстуальных связей рассказа с авторитетным литературным предшественником – Л. Н. Толстым. Центральная в творчестве и Толстого, и Бунина, тема смерти неоднократно оказывалась предметом внимания исследователей и основанием для сопоставления поэтик писателей [Пономарев, 2000, с. 21–22; Сливицкая, 2002, с. 65–66]. Полемиическая ориентация рассказа «Алексей Алексеич» на повесть Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» впервые была замечена Е. К. Созиной [2007]. Бунин в «Алексее Алексееиче» не только переводит толстовское социально-этическое осмысление темы смерти в трансцендентальный план, но и проблематизирует инстанцию фиктивного нарратора, его способность и правомочность интерпретировать феномен смерти. Специфика бунинского субъекта, эффект затрудненности его отделения от авторского «я» основывались на уверенности писателя в том, что, «чья бы ни была смерть, она в каком-то смысле и “моя смерть”» [Сливицкая, 2002, с. 64]. Источником страха была для Бунина дискурсивная неизвестность смерти (человек знает, когда родился, но не знает, когда и где умрет). Поэтому для писателя был важен тот след, который смертная личность оставляет в материальном мире. Центральной тема следа становится во втором рассказе Бунина с героем по имени Алексей Алексеевич – «Надписи», в котором след – это имя: «человеческие надписи суть эпитафии» (Бунин, 1988, с. 326). Таким образом, тема смерти неразрывно связывается у писателя с онтологическим осмыслением литературного творчества.

Нарративизация смерти не только обостряет проблему субъекта, но также по-новому позволяет взглянуть на конвенциональную природу самого словесного знака. Дело в том, что уникальное, неповторимое для каждой отдельной личности событие смерти, по Бунину, не согласуется с обязательным сущностным свойством слова – его повторяемостью. Повторяемость, с одной стороны, обеспечивает воспроизводимость знака, но с другой – неизбежно ведет к формализации, стиранию его значения и автоматизации восприятия [Степанов, 2005, с. 98]. В рассказе «Алексей Алексеич» Бунин подмечает эту тенденцию и приспособливает ее к типичным для созданного им еще в 1910-е гг. персонального мифа нападкам на модернизм, делая своего героя прежде всего производителем пустых слов.

Алексей Алексеевич представляет собой машину, наполненную шаблонными фразами и цитатами высокого стиля. Речь героя является практически непрерывным потоком цитат из новой классики («Евгений Онегин» А. С. Пушкина, сентенции из Козьмы Пруткова), древнерусской литературы («Житие протопопа Аввакума»), исторических сочинений Н. И. Костомарова («Очерки домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях»). Принципиально не иерархизированные, как и в «Надписях», имена Аввакума, Пушкина и Козьмы Пруткова оказываются здесь пустыми знаками авторитета, используемыми Алексеем Алексеевичем для автомифологизации. Внедрение письменных источников в устный (при этом отчетливо игровой) дискурс профанирует их смысл и ценность.

Алексей Алексеевич не производит собственный оригинальный текст, и в этом смысле герой схож одновременно и со «старозаветным» Фисуном из рассказа «Архивное дело» (об этой параллели речь пойдет ниже), и, напротив, с «копии-

стами» и «архивариусами» из инвективы Бунина, направленной на модернистов: «Оторванность от жизни, незнание ее, книжность, литературицизм – гибель от нее: Бальмонт, Брюсов, Иванов, Горький, Андреев. И это “новая” литература, “добыча золотого руна”! *Копиисты, архивариусы! Подражание друг другу*» (Переписка Бунина..., 1973, с. 438).

Чужой текст, с одной стороны, оказывается для Алексея Алексеевича способом существования в мире, с другой – средством разыгрывания житейской роли шута. Обращение к теме шутовства, актерства, самозванства в рассказе обнаруживает важный подтекст. При относительной бедности детализации внешней обстановки в сцене ужина у княгини особенно важно обратить внимание на незначительную, казалось бы, деталь – «маленький портсигар, плетенный из китового уса» (Бунин, 1988, с. 498), который достает Алексей Алексеевич.

Дело в том, что такой портсигар появляется в текстах Бунина неоднократно и связывается с именем А. М. Горького. Первое упоминание о нем встречается еще в дневниках 1919 г. В записи от 20 июля / 2 авг. читаем: «Был у Полюновых; Маргар. Ник. все восхищается моими рассказами, вспоминали с ней <...> о *портсигаре из китового уса*, который М. Н. подарила когда-то Горькому <...>» [Устами Буниных..., 1977, с. 288]. Еще подробнее эпизод детализируется в более поздней статье Бунина «Горький», опубликованной в «Иллюстрированной России» 4 июля 1936 г. Впоследствии эта статья вошла в автобиографический цикл Бунина «Воспоминания». В ней встречаем следующую сцену:

На одном людном вечере в Ялте я видел, как артистка Ермолова <...> подошла к нему и поднесла ему подарок – *чудесный портсигарчик из китового уса*.

Она так смутилась, так растерялась, так покраснела, что у нее слезы на глаза выступили:

– Вот, *Максим Алексеевич... Алексей Максимович...* Вот я... вам... <...>

Он <...> густо проворчал, как будто про себя, стих из «Книги Иова»:

– «Доколе же Ты не отворишь от меня взора, не будешь отпускать меня на столько, чтобы слюну мог проглотить я?» (Бунин, 1998, с. 414).

Показательно, что и Горький в воспоминаниях Бунина, и Алексей Алексеевич выражаются патетической библейской цитатой. Кроме того, возникает и тема имени, причем путаница создается между настоящим именем Горького *Алексей* и его литературным псевдонимом *Максим*.

Другие схожие черты, которые объединяют героя бунинского рассказа и его же воспоминания о реальной личности Горького, – это мотивы таинственности жизни в сочетании с всеобщей известностью, пристрастие к алкоголю и курению, а также актерское поведение:

«Алексей Алексеич»	«Горький»
<p><...> <i>знали ли мы вообще более или менее точно жизнь Алексея Алексеича</i>, несмотря на то, что, кажется, не было человека во всем нашем петербургском кружке, который не был бы в приятельстве с ним? <...> знали только то, что днем у Алексея Алексеича служба, дела, деловые завтраки, заседания, что по</p>	<p><i>Кто знает его биографию достоверно?</i> <...> Я всегда дивился – как это его <i>на все хватает</i>: изо дня в день на людях, – то у него сборище, то он на каком-нибудь сборище, – говорит порой не умолкая, целыми часами, пьет сколько угодно, папирос выкуривает по сто</p>

<p>вечерам он не пропускает ни одной театральной премьеры, ни одного порядочного концерта, <...> а ночью непременно где-нибудь ужинает <...> так что все, бывало, дивятся на него: и когда только успевают он спать? (Бунин, 1988, с. 496)</p>	<p>штук в сутки, спит не больше пяти, шести часов (Бунин, 1998, с. 415)</p>
--	---

Таким образом, маска шута для героя, пародирующего высокие образцы литературы, является уже не просто личиной для самопрезентации, но единственным содержанием (точнее – его имитацией), под которым скрывается пустота. В таком ракурсе поведение Алексея Алексеевича начинает напоминать критикуемые писателем творческие стратегии модернистов, а также Горького, художника, имеющего, с точки зрения позднего Бунина, в высшей степени сомнительную репутацию.

* * *

Если для Алексея Алексеевича ампула шута – это все-таки роль, то в образе другого персонажа рассказа – врача Потехина, к которому главный герой приходит со своим недугом, – оно предстает поистине неотчуждаемым от его природы, так как содержится в самой его фамилии. Здесь мы сталкиваемся с моментом противопоставления героев. При этом отношения парности персонажей не ограничиваются внутритекстовым сходством Алексея Алексеевича и Потехина, но явно связываются с другим текстом несобранного Буниным цикла – рассказом «Архивное дело». Основанием для сопоставления служат имена героев.

Так, фигура Алексея Алексеевича из одноименного рассказа, несомненно, восходит к Алексею Алексеевичу Станкевичу из «Архивного дела». Оба они почтенные старики, оба – ораторы, мастерски использующие устное слово, чтобы завладеть вниманием аудитории, оба, по сути, актерствуют. Подобно тому, как Станкевич призывает благоговейщую публику к «забытым словам» (Бунин, 1988, с. 39), также и «прекрасн[ы]е старинн[ы]е русск[и]е слов[а]» (Бунин, 1988, с. 498) Алексея Алексеевича не надоедают ни говорящему, ни слушающим. При этом социальная маска либерала Станкевича в поэтике образа последнего Алексея Алексеевича доводится до повседневной роли шута.

Вторая пара героев, сюжетные роли которых сложно и неоднозначно взаимодействуют, причем снова на уровне ономастопозтики, – это пара Фисун / Потехин. В «Архивном деле» рассказчик при ретроспективном изображении архивариуса Фисуна неоднократно называет последнего «потешны[м] старичк[ом]» (Бунин, 1988, с. 35). Поэтому важным представляется полноценно сопоставить героев двух рассказов в рамках семантического поля *потех-*. Закрепленное в словарях значение слова *потеха* – шутка, игра, увеселение. Этимологически это существительное происходит от глагола *тешить*, который, в свою очередь, связывается с чередованием гласных в слове *тихий*. Контекстуальный анализ слов *потеха* / *потешный* даже в публицистике Бунина показывает, что *смех* в бунинском понимании этого слова всегда недобрый, дьявольский, связан скорее не с радостью, а с жестокостью или безумием³.

³ См., например, в публицистических заметках Бунина: «Помню, как осенью семнадцатого года мужики, разгромившие одну елецкую усадьбу, ощипали для *потехи* перья с жи-

В отличие от «потешного» Фисуна, в образе Потехина эта характеристика из субъективной оценки становится судьбоносной меткой – фамилией. Потехин в рассказе «Алексей Алексеич» является, по сути, некой модернистской анти-версией Фисуна из «Архивного дела».

Во-первых, со- / противопоставление касается внешних характеристик персонажей двух рассказов:

Ибо что такое Потехин? Человек неуклюжий, *сутулый* <...>; неизменно *медлительный* и до *наглости самоуверенный*, хотя вместе с тем никогда *не могущий взглянуть вам в лицо прямо*, то и дело густо краснеющий от угрюмой *семинарской застенчивости*... (Бунин, 1988, с. 501–502).

Потехин, с одной стороны, обладает унаследованной от персонажей-переписчиков гнущейся спиной Фисуна, его медлительностью и убежденностью в собственной власти. С другой стороны, его описание схоже с некоторыми характеристиками Горького из уже упоминавшейся заметки Бунина в цикле «Воспоминания»: «<...> несколько *сутулый*, рыжий парень с зеленоватыми, *быстрыми и уклончивыми глазками* <...>» (Бунин, 1998, с. 411).

Во-вторых, как и Фисун, Потехин «заведует» царством мертвых. Этим пространством является приемная врача, которая, подобно архиву Фисуна, напоминает собой потусторонний мир. В описании архива Фисуна доминирует характеристика *темноты*, мотив лишения зрения: «Фисун все еще бродит в своих *темных владениях*, <...> держа в бледной, <...> руке *пылающий огарок* и заботливо осматривая полки с кипами дел» (Бунин, 1988, с. 37). Архивариус здесь оказывается одновременно единственным источником и хранителем света – огарка свечи, и обладателем острого зрения⁴. Напротив, в приемной Потехина преобладает мотив буквально *смертельной тишины*: «<...> *проклят[ая] приемн[ая]*, в <...> напряженной *тишине*, где всякий почему-то *боится вздохнуть*» (Бунин, 1988, с. 500). Это пространство – место, которое вечно молчит и заставляет молчать. Ключевым моментом является то, что вместе с человеком, обреченным на скорую смерть пациентом Алексеем Алексеичем, в тишину погружается культура, отрицаемая врачом-нигилистом.

Описывающий Фисуна рассказчик в конце концов осознает, что вверенные архивариусу бумаги ценны именно содержащимися в них смыслами. Герой не актуализирует их в своей собственной речи, но оберегает как память, как свидетельство. Только хранимые таким вот «потешным» старичком, архивные тексты обретают значение, жизнь.

Напротив, в приемной Потехина разные виды искусства представлены ненужным, запущенным, оторванным от собственного назначения хламом, мусором. Вместо рояля «музыку» в приемной производят подвески кисейной люстры. Зна-

вых павлинов и пустили их, окровавленных, летать...» (Бунин, 1998, с. 33); «<...> я не настолько горд <...> чтобы воображать, что то, чем довольствуются конституционные монархисты англичане, никуда не годится для наших головотяпов, в трех соснах заблудившихся и грызущих друг другу глотки *самане на радость и потеху*» (Бунин, 1998, с. 44) и т. д.

⁴ Для Бунина именно острое зрение было определяющим качеством писателя. В воспоминаниях В. Н. Муромцевой-Буниной за 1918 г. сохранилась фраза мужа: «Я только того считаю настоящим писателем, который, когда пишет, *видит то, что пишет*, а те, кто не видят, – это литераторы, иногда очень ловкие, но не художники, так, например, Андреев» [Устами Буниных..., 1977, с. 180].

ки музыки – ноты Моцарта, Бетховена и Глинки – лежат ненужной «груд[ой]» (Бунин, 1988, с. 500). «Истрепанны[е] книг[и]» (Бунин, 1988, с. 500) на столике остаются нетронуты. Посетитель доктора заведомо не способен читать и пытается хотя бы *смотреть*: он берет «иллюстрированны[е] журнал[ы] и проспект[ы], картинк[и] санаторий» (Бунин, 1988, с. 500). Но в акультурном пространстве даже изображение лишается содержания, и вместе с этим опустошением человек умирает заживо: «вы ровным счетом *ничего не видите и не понимаете*, читая, перелистывая и разглядывая: вас погружает в транс, в *идиотизм*, в какое-то *подобие улыбки летаргии*» (Бунин, 1988, с. 500). Человек погружается в состояние, похожее на обморок.

«Потешность» Фисуна – это оценка его старомодности, данная ему рассказчиком, позднее прозревающим, лишь вследствие временного непонимания. Второе, метафорическое, имя архивариуса – Харон – содержит в себе не комическую семантику, но культурный код. «Потешность» Потехина – это его буквально фамильное, врожденное невежество: свое низкое социальное происхождение он пытается компенсировать грубой ресентиментной атакой на культуру. Повествователь подчеркивает его главную черту – нелепую гордыню, компенсирующую травму «простого» происхождения:

А потом эта манера *защищать себя от своего простого происхождения частым и резким упоминанием о нем!*

Это убеждение, что вследствие такого происхождения он *будто бы имеет перед вами какие-то преимущества, какое-то право на высокомерие!* (Бунин, 1988, с. 501–502).

Искусство для Потехина превращается в набор знаковых имен. Артефакты культуры ценны не содержащейся в них памятью смысла, а репрезентативностью, знаковой природой. Повествователь, таким образом, демонстрирует непричастность Потехина к «настоящей» культуре и его неуместные, неправомерные и заранее обреченные попытки войти в эту культуру, «подделаться» под ее авторитет. Такой ракурс изображения интеллигента из народа был не только выпадом Бунина в сторону народнической литературы. Писатель принципиально протестует против возможности человека научиться культуре, лишь окружив себя ее артефактами.

В-третьих, Потехин, как и Фисун, представлен претендентом на символическую власть. Однако власть Фисуна над архивом, над письменными текстами, здесь трансформирована в потехинскую власть над физическим телом. Алексей Алексеевич для доктора функционально является тем же, чем книга для Фисуна. В то время как Фисун осознает свое призвание хранителя памяти и для этого выдает справку – свидетельство о жизни, Потехин, напротив, вопреки званию врача, не лечит, не сохраняет жизнь, а буквально убивает словом: Алексей Алексеевич умирает от «известия», содержащегося в справке, в рецепте, выписанном доктором. Его собственное образно-метафорическое, литературное определение смерти, связанное с *письмом*, – «выправлять *подорожную* в место злочно и блаженно» (Бунин, 1988, с. 503) – действительно реализуется в жизни героя, но оказывается для него роковым.

Не имея возможности быть причастным к культуре существующей, Потехин пытается создать свой собственный вариант культуры: делает знаком то, что знаком не является, – превращает в слова живого человека. Власть Потехина заключается в самом процессе письма. В ходе осмотра он подчеркнуто избегает, собст-

венно, *осматривать* пациента. Вместо этого он буквально *записывает* Алексея Алексеича, переносит его тело на бумагу:

<...> *не глядя на Алексея Алексеича*, начал Потехин сухо расспрашивать, *не спеша записывать* <...> Помолчал, *глядя в потолок*, <...> сел за стол и *в мертвой тишине стал писать рецепт* <...>

– <...> Так уж вы скажите мне, дорогой мой, участь мою без лицепрития, а то я просто на извозчике *околею от неизвестности*...

И Потехин, дописав и *расчеркнувшись*, ответил с истинно хамской беспощадностью:

– Я *пророчествами* не занимаюсь...

Умер Алексей Алексеич, как вы знаете, именно на извозчике, по дороге домой, и, конечно, *вовсе не от неизвестности, а как раз наоборот* <...> (Бунин, 1988, с. 502–503).

Наконец, принципиальным для сопоставления рассказов аспектом оказывается инстанция фиктивного нарратора. В «Архивном деле» реализовывался археосюжет воспитания чувств героя-рассказчика. Между Фисуном и бывшим полтавским библиотекарем, alter ego биографического И. А. Бунина, существовала непреодолимая граница возрастов и смерти. Тем не менее с самого начала повествования рассказчик идентифицировал себя с героем своей же истории. Он делал это путем приписывания себе второго *прозвища* Фисуна: как и старый архивариус, библиотекарь-рассказчик был «Харон[ом] в некотором роде» (Бунин, 1988, с. 36). Иными словами, для рассказчика сюжет о Фисуне подключался к сюжету собственной жизни, в течение которой он сменил авторитетного наставника в направлении от политического болтуна Алексея Алексеича Станкевича к Фисуну, став продолжателем последнего.

В «Алексее Алексеиче» сюжет воспитания отсутствует: опустошение словесного знака в устах «потешного» оратора переходит на следующую ступень в лице Потехина, для которого смысл не просто понижается, а исчезает, и знак оказывается самодовлеющим.

* * *

Итак, перформативно выведенное в заглавии рассказа имя Алексея Алексеича является узловым центром, к которому тянутся две противоположные смысловые линии рассказа.

С одной стороны, имя Алексея Алексеича, являющее собой лексический повтор, согласуется с проводимой Буниным дискредитацией письменного художественного слова. На внутритекстовом уровне к этой тенденции, во-первых, относится театральное, ораторствующее поведение Алексея Алексеича, когда своим сомнительным «авторитетом» он лишь компрометирует источники своих речей. Во-вторых, заложенная в имени героя тавтология еще явственней проявляется в комической семантике фамилии Потехина, который, соответствуя умонастроениям модернистов, буквально стирает грань между письменным словом и реальной жизнью, что приводит к смертельным для Алексея Алексеича последствиям.

С другой стороны, имя Алексея Алексеича, отсылая к отчеству Бунина, тем самым вводит в рассказ биографический код автора. В русле этой линии происходит реабилитация художественного слова, представляющая в нарративной организации текста. «Переписывая» толстовскую интерпретацию смерти, Бунин создает собственную версию, в которой бессмертия достигает не герой, а нарратор-хра-

нитель памяти. Фактически вся профанация словесного знака оказывается перечеркнутой самим фактом существования рассказа. Таким образом, единственной фигурой, способной противостоять смерти-забвению, становится создатель нарратива – автор, целью которого является наиболее глубоко и неустраимо врезать поверх существующего культурного контекста собственное имя – Иван *Алексеевич* Бунин.

Список литературы

Бройтман С. Н. Субъектная структура лирического произведения // Теория литературы: Учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений: В 2 т. / Под ред. Н. Д. Тamarченко. М.: Академия, 2004. Т. 1: Тamarченко Н. Д., Тюпа В. И., Бройтман С. Н. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. С. 341–347.

Капинос Е. В. Поэзия Приморских Альп: рассказы И. А. Бунина 1920-х годов. М.: Языки славянской культуры, 2014. 248 с.

Карпенко Г. Ю. Творчество И. А. Бунина и религиозно-философская культура рубежа веков. Самара: Изд-во Самар. гуманитарной академии, 1998. 114 с.

Лотман Ю. М. Смерть как проблема сюжета // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994. С. 417–430.

Мальцев Ю. Иван Бунин. 1870–1953. Москва; Франкфурт-на-Майне, 1994. 433 с.

Мароши В. В. Имя автора: историко-типологические аспекты экспрессивности. Новосибирск, 2000. 348 с.

Пономарев Е. Р. И. А. Бунин и Л. Н. Толстой: Дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2000. 376 с.

Сливицкая О. В. «Что такое искусство?» (бунинский ответ на толстовский вопрос) // Русская литература. 1998. № 1. С. 44–53.

Сливицкая О. В. Чувство смерти в мире Бунина // Русская литература. 2002. № 1. С. 64–78.

Созина Е. К. «Смерть Ивана Ильича» Л. Толстого в художественном сознании И. Бунина // Классическая словесность и религиозный дискурс (проблемы аксиологии и поэтики): Сб. науч. ст. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. 2007. Вып. 2: Эволюция форм художественного сознания в русской литературе. С. 266–282.

Степанов А. Д. Проблемы коммуникации у Чехова. М.: Языки славянской культуры, 2005. 400 с.

Тюпа В. И. Перформативность лирики // «Точка, распространяющаяся на все...»: к 90-летию профессора Ю. Н. Чумакова: Сб. науч. тр. / Под ред. Т. И. Перчерской. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2012. С. 344–354.

Шмид В. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. 312 с.

Список источников

Бунин И. А. Автобиографические и литературные записи // Литературное наследство. Иван Бунин. Т. 84: В 2 ч. М.: Наука, 1973. Ч. 1. С. 381–395.

Бунин И. А. Алексей Алексеич // Возрождение. 1927. № 760. С. 2.

Бунин И. А. Публицистика 1918–1953 годов. М.: Наследие, 1998. 640 с.

Бунин И. А. Рассказ Петра Петровича // Иллюстрированная Россия. 1928. № 17. С. 1–8.

Бунин И. А. Собр. соч.: В 6 т. М.: Худож. лит., 1988. Т. 4. 703 с.

Переписка Бунина с В. Я. Брюсовым. 1895–1915 // Литературное наследство. Т. 84: В 2 ч. М.: Наука, 1973. Ч. 1. С. 421–470.

Устами Буниных: Дневники Ивана Алексеевича и Веры Николаевны и другие архивные материалы: В 3 т. / Под ред. М. Грин. Франкфурт-на-Майне: Посев, 1977. Т. 1. 367 с.

References

Broytman S. N. Sub'ektnaya struktura liricheskogo proizvedeniya [The subject structure of the lyric work]. In: *Teoriya literatury: Ucheb. posobie dlya stud. filol. fak. vyssh. ucheb. zavedeniy: V 2 t.* [The theory of literature: Textbook for students of philological faculties of higher educational institutions: In 2 vols]. Moscow, Akademiya, 2004, vol. 1: Tamarchenko N. D., Tyupa V. I., Broytman S. N. Teoriya khudozhestvennogo diskursa. Teoreticheskaya poetika [Theory of artistic discourse. Theoretical poetics], pp. 341–347.

Kapinos E. V. *Poeziya Primorskikh Al'p: rasskazy I. A. Bunina 1920-kh godov* [Poetry of the Alpes-Maritimes: Short stories of I. A. Bunin of the 1920s]. Moscow, LRC Publishing House, 2014, 248 p.

Karpenko G. Yu. *Tvorchestvo I.A. Bunina i religiozno-filosofskaya kul'tura rubezha vekov* [Oeuvre of I. A. Bunin and the religious and philosophical culture of the turn of the centuries]. Samara, Publ. house of the Samara Humanitarian Academy, 1998, 114 p.

Lotman Yu. M. Smert' kak problema syuzheta [Death as a plot issue]. In: *Yu. M. Lotman i tartusko-moskovskaya semioticheskaya shkola* [Yu. M. Lotman and Tartu-Moscow semiotic school]. Moscow, Gnozis, 1994, pp. 417–430.

Mal'tsev Yu. *Ivan Bunin. 1870–1953* [Ivan Bunin. 1870–1953]. Moscow, Frankfurt am Main, 1994, 433 p.

Maroshi V. V. *Imya avtora: istoriko-tipologicheskie aspekty ekspressivnosti* [Author's name: historical and typological aspects of expressiveness]. Novosibirsk, 2000, 348 p.

Ponomarev E. R. *I. A. Bunin i L. N. Tolstoy* [I. A. Bunin and L. N. Tolstoy]. Cand. philol. sci. diss. St. Petersburg, 2000, 376 p.

Shmid V. *Narratologiya* [Narratology]. Moscow, LRC Publishing House, 2003, 312 p.

Slivitskaya O. V. "Chto takoe iskusstvo?" (buninskiy otvet na tolstovskiyy vopros) ["What is art?" (Bunin's answer to Tolstoy's question)]. *Russkaya Literatura*. 1998, no. 1, pp. 44–53.

Slivitskaya O. V. Chuvstvo smerti v mire Bunina [The feeling of death in the world of Bunin]. *Russkaya Literatura*. 2002, no. 1, pp. 64–78.

Sozina E. K. "Smert' Ivana Il'icha" L. Tolstogo v khudozhestvennom soznanii I. Bunina ["The death of Ivan Ilyich" by L. Tolstoy in the artistic consciousness of I. Bunin]. In: *Klassicheskaya slovesnost' i religioznyy diskurs (problemy aksiologii i poetiki): sb. nauch. st.* [Classical literature and religious discourse (problems of axiology and poetics): Collection of scientific works]. Ekaterinburg, UrFU Publ., 2007. Iss. 2: Evolyutsiya form khudozhestvennogo soznaniya v russkoy literature [Evolution of the forms of artistic consciousness in Russian Literature], pp. 266–282.

Stepanov A. D. *Problemy kommunikatsii u Chekhova* [Problems of communication in Chekhov's works]. Moscow, LRC Publishing House, 2005, 400 p.

Tyupa V. I. Performativnost' liriki [Performativity of lyric poetry]. In: *Tochka, rasprostranyayushchayasya na vse...: k 90-letiyu professora Yu. N. Chumakova : Sb. nauch. tr.* ["The point extending to everything ...": to the 90th anniversary of professor Yu. N. Chumakov: Collection of scientific works]. Novosibirsk, NSPU Publ., 2012, pp. 344–354.

List of sources

Perepiska Bunina s V. Ya. Bryusovym. 1895–1915 [Bunin's correspondence with V. Ya. Bryusov. 1895–1915]. In: *Literaturnoe nasledstvo. T. 84: V 2 ch.* [Literary heritage. Vol. 84: In 2 pts]. Moscow, Nauka, 1973, pt. 1, pp. 421–470.

Bunin I. A. Aleksey Alekseich [Alexey Alekseich]. *Vozrozhdenie*. 1927, no. 760, p. 2.

Bunin I. A. Avtobiograficheskie i literaturnye zapisi [Autobiographical and literary notes]. In: *Literaturnoe nasledstvo. Ivan Bunin. T. 84: V 2 ch.* [Literary heritage. Ivan Bunin. Vol. 84: In 2 pts]. Moscow, Nauka, 1973, pt. 1, pp. 381–395.

Bunin I. A. *Publitsistika 1918–1953 godov* [Publicism. 1918–1953]. Moscow, Nasledie, 1998, 640 p.

Bunin I. A. Rasskaz Petra Petrovicha [The story of Petr Petrovich]. *Illyustrirovannaya Rossiya*. 1928, no. 17, pp. 1–8.

Ustami Buninykh: Dnevniky Ivana Alekseevicha i Very Nikolaevny i drugie arkhivnye materialy: V 3 t. [By the mouths of the Bunins: Diaries of Ivan Alekseevich and Vera Nikolaevna and other archival materials: In 3 vols]. M. Grin (Ed.). Frankfurt am Main, Posev, 1977, vol. 1, 367 p.

Сведения об авторе

Баженова Яна Вячеславовна – аспирант кафедры журналистики и литературоведения Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета (Красноярск, Россия)

54955594@mail.ru

Information about the author

Yana V. Bazhenova – Postgraduate Student at the Department of Journalism and Literary Studies of the School of Philology and Language Communication of the Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russian Federation)

54955594@mail.ru

УДК 821.161.1
DOI 10.17223/18137083/74/12

**«Черт бы побрал их, эти дары!»:
источники семантики ложного дара
в литературном творчестве В. М. Шукшина**

Д. В. Марьин

*Алтайский государственный университет
Барнаул, Россия*

Аннотация

Статья посвящена исследованию источников семантики мотива ложного дара (подарка) в художественной прозе В. М. Шукшина и в его нехудожественных текстах – дарственных надписях (автографах). Дарственные надписи рассматриваются в качестве материала для выявления понимания дара Шукшиным, т. е. как материал психобиографического анализа, который может пригодиться для интерпретации мотива дара в творчестве писателя. Дарение и дар (подарок) в творчестве Шукшина приобретают оригинальную символику, устойчиво повторяемую в целом ряде произведений. В результате анализа автор приходит к выводу, что в художественном мире В. М. Шукшина дар – это часто ложный, мнимый дар, заменитель настоящего подарка, который к тому же является атрибутом бесовской, нечистой силы.

Ключевые слова

русская литература XX в., жизнь и творчество В. М. Шукшина, художественная проза, дарственные надписи, мотивы и символы дара

Для цитирования

Марьин Д. В. «Черт бы побрал их, эти дары!»: источники семантики ложного дара в литературном творчестве В. М. Шукшина // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 158–168. DOI 10.17223/18137083/74/12

**“Hell would take them, these gifts!”:
sources of the semantics of a false gift
in the literary creativity of V. M. Shukshin**

D. V. Maryin

*Altai State University
Barnaul, Russian Federation*

Abstract

The paper studies the semantics sources of the motif of false in literary works of V. M. Shukshin and his non-fiction texts – donation inscriptions. Donation inscriptions are considered as material for revealing the understanding of the gift by Shukshin, i. e. as the psy-

© Д. В. Марьин, 2021

ISSN 1813-7083
Сибирский филологический журнал. 2021. № 1
Siberian Journal of Philology, 2021, no. 1

cho-biographical analysis data, which may be useful for interpreting the motif of the gift in the writer's work. The process of giving and a gift in the works of Shukshin acquire original symbolism, steadily repeated in a number of works. Several donation inscriptions by V. M. Shukshin left on books (his and other writers') and photographs contain the motif of a false gift. This motif is often emphasized in the Shukshin's autographs by indicating the purpose of the gift inscription or by using the imperative. In the prose of V. M. Shukshin, a gift is very often an imaginary, false, empty gift. However, in a number of stories ("Small capron Christmas tree," "Brother-in-law Sergey Sergeevich," "Exam"), the gift motif acquires infernal features. The formation of such a perception of giving and a gift may be due to the circumstances of Shukshin's personal life, his psychological characteristics, and facts of his biography. The analysis leads to the conclusion that in the Shukshin's artistic world, a gift is very often understood as a false, imaginary gift, a substitute for a real gift, which is also an attribute of a demonic, evil spirit.

Keywords

Russian literature of the 20th century, life and work of V. M. Shukshin, fiction, dedicatory inscriptions, motifs and symbols of a gift

For citation

Maryin D. V. "Hell would take them, these gifts!": sources of the semantics of a false gift in the literary creativity of V. M. Shukshin. *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 158–168. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/12

Мотив дарения и символика дара, подарка являются одними из самых древних в мировой культуре. Как правило, подарок воспринимается и в сфере бытовых отношений, и на языковом уровне как дар бескорыстный. У В. Даля «дарить» – это отдавать навсегда безвозмездно, отдать даром, приносить в дар, дать подарок [1995, с. 415]. При этом в социальной антропологии, аксиологии хорошо известен и такой феномен, как ложный дар. М. Мосс установил, что фактически ложный дар широко распространен уже в архаических обществах, где дар внешне добровольный, свободный и безвозмездный в то же время носит характер принудительного и небескорыстного [1996, с. 83]. Ж. Деррида указывал, что подлинный дар должен быть воистину «даровым» и не ставить никаких условий, не налагать долговых обязательств. Подарки в обычном понимании, по словам Деррида, – «дурные», нездоровые (цит по: [Маккарти, 2013, с. 111–112]). Для Деррида такой дар – яд [Жак Деррида в Москве, 1993, с. 172]. Согласно учению французского философа, «всегда существует возможность контаминации дара <...> двойником, фантомом или симулякром» [Там же, с. 173], т. е. ложным даром.

В отечественном литературоведении дарение рассматривалось в аспекте трансформации фольклорных мотивов в авторском тексте и в качестве мотива традиционной культуры. Еще В. Я. Пропп отметил, что в русской волшебной сказке даритель, от которого герой получает волшебное средство, испытывает и даже искушает героя. Дар часто предполагает в ответ от героя оказание услуги или становится результатом обмена [Пропп, 1928, с. 51, 93]. Этот принцип, как ни странно, характерен и для литературы соцреализма. И. П. Смирнов отмечает: «Тоталитаризм – дарение без ответа, без взаимности адресата и адресанта. Тоталитарная литература прославляет тех, кто отдает, ничего не требуя взамен» [1999, с. 66]. Советская литература и культура сталинской эпохи достаточно последовательно реализуют данный принцип [Куляпин, Скубач, 2013, с. 208–216].

Предметом исследования настоящей статьи являются источники возникновения семантики ложного дара в литературном творчестве В. М. Шукшина. Среди

48 мотивов и символов, отмеченных в соответствующем разделе трехтомного энциклопедического словаря-справочника «Творчество В. М. Шукшина» [2006, с. 61–141] не нашлось место мотивам и символам, имеющим отношение к дарению и дару. Между тем формально-содержательные компоненты, связанные с дарением и подарком неоднократно встречаются как в текстах художественной прозы, так и в нехудожественном наследии (автографах – дарственных надписях) В. М. Шукшина. Более того, как покажет наш анализ, дарение и подарок в творчестве Шукшина приобретают оригинальную символику ложного дара, устойчиво повторяемую в целом ряде произведений. Отметим особо, что мотив дарения у Шукшина сложен и многоаспектен, и ложный дар – это лишь один из вариантов презентации семантики мотива дара в творчестве писателя. В то же время приводимые нами примеры из литературных произведений Шукшина и его нехудожественных текстов вполне убедительны и свидетельствуют о повторяемости и даже определенной частотности мотива ложного дара.

В качестве основного материала для выявления понимания ложного дара Шукшиным нами использованы нехудожественные тексты писателя – автографы. Под автографом в данной статье понимается особый жанр словесного творчества: разного рода надписи *ad hoc*, дарственные и памятные надписи на книгах, фотографии и т. д., т. е. тексты, непосредственно сопровождающие акт дарения и становящиеся частью самого дара, подарка. Взятые как материал для психобиографического анализа, они могут предоставить новые данные для интерпретации мотива дара в литературном творчестве Шукшина.

Сразу несколько дарственных надписей В. М. Шукшина, которые он оставил на книгах (своих и других авторов) и фотографиях, содержат мотив ложного дара. Если следовать концепции Деррида, то автограф как дарственная надпись – это заведомо ложный дар, так как он всегда обнаруживает себя как дар. Этот мотив часто усиливается в тексте шукшинского автографа указанием на цель надписи или использованием императива: «Братке – Ване на память. И на пользу. Янв<арь> 1970 г. Москва. В. Шукшин»; «Брату Саше Буркину и жене его Наде – от автора. Брат, хочется, чтоб судьба твоя была немного полегче. Март, 1971 г. Москва. В. Шукшин. Прочитай рас-<ска>з “В профиль и анфас”», «Саше – на память (1954–1971 гг.). Москва. В. Шукшин» и т. п. [Шукшин, 2014, т. 9, с. 84–85]¹.

В некоторых текстах автографов Шукшиным сознательно или несознательно допущены искажения истины. Такие дарственные надписи ложны в прямом смысле. Например: «Константину Александровичу Чижикову на добрую память. Пока своих книг не написал, а Вернадский умный русский мужик – читайте» (т. 9, с. 83). Этот автограф, оставленный Шукшиным на книге В. И. Вернадского 23 апреля 1967 г. после встречи с читателями в городской библиотеке Бийска, содержит очевидную неправду. Ведь к 1967 г. были опубликованы уже три книги В. М. Шукшина². В чем причина подобного ложного утверждения? Возможно, это ирония по отношению к своему писательскому труду. Ведь в 1974 г., за два месяца до смерти, писатель все еще оставался недоволен результатами своей профессиональной деятельности: «Ну, какой результат! За 15 лет работы несколько

¹ Далее ссылки на это издание приводятся в круглых скобках с указанием тома и страниц.

² Шукшин В. М. Сельские жители: Рассказы. М.: Молодая гвардия, 1963; *Он же*. Живет такой парень. М.: Искусство, 1964; *Он же*. Любавины: Роман. М.: Сов. писатель, 1965.

книжечек курых, по 8–9 листов – это не работа профессионала-писателя. 15 лет – это почти вся жизнь писательская. Надо только вдуматься в это! Я серьезно говорю, что мало сделано. Слишком мало!» (т. 8, с. 211).

Еще в одном автографе ошибка допущена, скорее всего, незаметно, тем не менее она очень символична: «Татьяне Гуммер старой знакомой (заочно, через папу), – на добрую память и с добрыми пожеланиями. 5 июня <19>74 г. Хутор Мелоклетский (на Дону). Фильм “Они сражались за Родину”» (т. 9, с. 86). Хутор, где происходили съемки кинокартины, напомним, назывался «Мелологовский». Такая незаметная ошибка может быть свидетельством отношения к получателю автографа, указанием на отсутствие искреннего желания автора поделиться дарственной надписью.

В художественной прозе В. М. Шукшина очень часто подарок – это мнимый, ложный, пустой дар. Обратимся прежде всего к тем рассказам Шукшина, в которых присутствуют дарственные надписи. И здесь характерная семиотика дарственной надписи сохраняется. В одном из ранних рассказов «Экзамен» (1962) приводится дарственная надпись на книге – издании «Слова о полку Игореве»: «Учись, солдат. Это тоже нелегкое дело. Проф. Григорьев» (т. 1, с. 95). Сам акт дарения книги и дарственная надпись на ней венчают рассказ и являются одной из ключевых его сцен [Пешкова, 2007, с. 316]. Но роль автографа выходит за рамки только сюжетного хода. «В рассказе двойниками являются все: и автор «Слова о полку Игореве», и Лермонтов, и профессор, и студент», – утверждает А. И. Куляпин [2012, с. 130]. Действительно, на параллелизм биографий студента-заочника и легендарного князя Игоря недвусмысленно указывает сам Шукшин, одновременно соотнося студента и с автором «Слова»:

– Как чувствовал себя в плену князь Игорь?! – почти закричал профессор, опять испытывая прилив злости. – Как чувствует себя человек в плену? Неужели даже этого не понимаете?!

Студент стоя некоторое время непонятно смотрел на старика ясными серыми глазами.

– Понимаю, – сказал он.

– Так. Что понимаете?

– Я сам в плену был.

– Так... То есть как в плену были? Где?

– У немцев.

– Вы воевали?

– Да.

Профессор внимательно посмотрел на студента, и опять ему почему-то подумалось, что автор «Слова» был юноша с голубыми глазами. Злой и твердый (т. 1, с. 91).

В таком смысловом контексте на первый взгляд подарок профессора Григорьева – книга с автографом – является бессмысленным, пустым, ложным: он дарит экземпляр «Слова о полку Игореве» двойнику автора произведения, лично пережившего многие коллизии древнего памятника в реальной жизни. Кажется, что дарственная надпись в рассказе выступает пустой, голой фразой, штампом, чей несколько возвышенный стиль дисгармонирует с реальной ценностью дара. Да и ожидания студента относительно подарка обмануты:

Студент вышел из аудитории. Вытер вспотевший лоб. Некоторое время стоял, глядя в пустой коридор. Зачетку держал в руке – боялся посмотреть

в нее, боялся, что там стоит «хорошо» или, что еще тяжелее, – «отлично». Ему было стыдно.

«Хоть бы “удовлетворительно”, и то хватит», – думал он.

Оглянулся на дверь аудитории, быстро раскрыл зачетку... некоторое время тупо смотрел в нее. Потом еще раз оглянулся на дверь аудитории, тихо засмеялся и пошел. В зачетке стояло: «плохо» (т. 1, с. 94–95).

Однако в ранней прозе писателя ложность дара пока не является однозначной. Для сравнения: в позднем рассказе «Ночью в бойлерной» (1974) уже другой профессор – Аркадий Михалыч – готов продать рукопись «Слова» ради покупки норковой шубы для молодой жены:

Любую! – вскричал пьяненький профессор в величайшем горе. – Самую древнюю рукопись!.. «Слово о полку Игореве», если бы имел, – отдал бы, только бы не эта истерика, не этот визг. Все бы отдал! (т. 7, с. 98).

Вновь автор поднимает тему подарка (норковая шуба для молодой жены профессора), и вновь в контексте этой темы встает «Слово», которое становится мерилем цены, которую готов заплатить герой за подарок. Продажа «Слова» в этом рассказе сопоставляется с продажей души черту, а «Слово о полку Игореве», таким образом, для Шукшина становится одной из величайших духовных ценностей.

Обращение к рассказу 1974 г. позволяет нам интерпретировать финал рассказа «Экзамен» следующим образом. Профессор Григорьев дарит студенту-заочнику не просто книгу, а вещь чрезвычайно дорогую для него и в то же время ценнейший памятник русской духовности. Последнее обстоятельство оставляет надежду, что студент все же прочтет «Слово», осознает его величие и роль в русской культуре.

Еще один интересный и символически емкий пример дарственной надписи встречается в рассказе «Капроновая елочка» (1966), где мотив дарения подвергается еще большей инфернализации. Сюжет этого шукшинского рассказа, напомним, достаточно незамысловат: три спутника, два деревенских и один городской ухажер, напрасно прождав на дороге попутную машину, в ночь под Новый год идут пешком в деревню Буланово. Вдруг начинается метель. Они сбиваются с пути, попадая в зверосовхоз «Маяк». Утро герои встречают в избе незнакомого хозяина. Городской ухажер, которому автор придает инфернальные черты, напуганный угрозами деревенских парней, исчезает. Герои возвращаются в деревню, идут к вдове Нюрке, чтобы разобраться с ухажером. Но Нюрка одна, ухажер не явился для встречи Нового года. Так все персонажи рассказа остаются без праздника. «Капроновая елочка» – демифологизирующий вариант текста жанра рождественского рассказа (неслучайно произведение имело первоначальное название «В ночь под Новый год»).

Внимание на себя обращает один из эпизодов рассказа. Ночью в избе в одном из карманов снабженца вместо двух бутылок водки Павел находит «какой-то странный колючий предмет».

Павел вытащил его, зажег спичку – то была маленькая капроновая елочка, увешанная крошечными игрушечками. Елочка была мокрая и изрядно помятая у основания. У крестовинки прикреплена бумажка, и на ней написано печатными буквами: «Нюсе, моей голубушке. От Мити» (т. 3, с. 50).

Капроновая елочка – подарок городского ухажера Нюре Чаловой. В рассказе, таким образом, актуализируется мотив рождественского подарка – один из ста-

рейших в мировой литературе и культуре. «Капроновая елочка, оказавшаяся в кармане городского ухажера вместо двух утерянных по дороге бутылок водки, становится символом эрзац-чуда, которое тоже не происходит» [Левашова, 2007, с. 130]. Но мотив дарения осложняется символами эрзаца, заменителя. Искусственная елочка – это эрзац рождественской ели. Отношения городского ухажера и Нюрки – эрзац семьи. Прикрепленная к елочке бумажка с дарственной надписью, без сомнения, – эрзац полноценного общения. Эффективность подобной коммуникации тут же нивелируется автором. Характерно, что записка утром исчезает вместе со снабженцем. Однако содержание дарственной надписи все же доходит до адресата – Нюрки, но с чужих слов и в искаженном виде. «От голубчика Мити» – так Павел перевирает текст надписи в разговоре с Нюрой. В этом шукшинском рассказе автограф (как дарственная надпись) – текст, который выполняет функцию эрзац-общения и, более того, подвергается искажению.

В жизни самого Шукшина также не раз случались моменты, когда косвенное общение посредством автографа заменяло общение непосредственное, живое. В 1950-е гг. – это общение с матерью и сестрой, а затем и с первой женой, М. И. Шумской, в 1970-е гг. – со старшей дочерью Екатериной.

Семейный союз В. М. Шукшина и М. И. Шумской, как известно, не был удачным. По сути, еще до официального создания (16 августа 1956 г.) судьба его была предрешена: семья нуклеарного типа не приемлет территориального разделения. Шукшин, в то время студент ВГИКа, не собирался возвращаться на малую родину, в Сростки, а Шумская не приняла учебы мужа в Москве. Видимость брака – не что иное, как эрзац-семья, поддерживалась будущим писателем вплоть до начала 1960-х гг. Известные исследователям шукшинские дарственные надписи на фотографиях, адресованных невесте, а потом и жене периода 1954–1960 гг. малоинформативны и, более того, часто представляют собой цитаты, чужой текст: «“Я помню чудное мгновенье”. В. Шукшин»; «Что делать? Жениться или не жениться? Москва, Сокольнический переулок, 1954 г.»; «Скучища <зеленая>³, а жить надо! В. Шукшин 1960» (т. 9, с. 82).

В начале 1970-х гг. коммуникация посредством писем и автографов характерна для отношений В. М. Шукшина со старшей дочерью – Е. В. Шукшиной. Исследователям известны три дарственные надписи алтайского писателя периода 1972–1973 гг., адресованные Екатерине Шукшиной: «Дочери Кате – от папы. Там, вдали – это моя родина, Катя, и твоих сибирских предков. Будь здорова, родная! Папа В. Шукшин Москва 1972 г.»; «Доченьке Кате – на светлую любовь и дружбу! В год, когда ты – первоклассница. Когда ты будешь первокурсница, я, бог даст, подарю тебе толстую-толстую книжицу. Будь здорова, моя милая! Папа В. Шукшин. Март 1972 г.»; «Дочери Кате – на долгую, добрую память от отца. Май 1973 г. г. Белозерск. В. Шукшин» (т. 9, с. 84).

Общение Шукшина с дочерью, родившейся в 1965 г., в силу определенных причин всегда носило опосредованный характер. Однако в 1972 г. произошло сразу два важных события в жизни Екатерины: 4 марта В. М. Шукшин восстановил отцовство в отношении дочери, и она, наконец, стала носить отцовскую фамилию (ранее носила фамилию матери – «Софронова»). Кроме того, именно в 1972 г. девочка пошла в школу и научилась читать. Теперь она сама могла прочитать письма и дарственные надписи на книгах, посылаемых отцом. Содержание текстов автографов свидетельствует о стремлении Шукшина подчеркнуть и утвер-

³ Цитата из повести М. Горького «Городок Окуров» (1910).

дить родственную связь, причем не только с собой, отцом, но и со всей патриархальной семьей («Там, вдали – это моя родина, Катя, и твоих сибирских предков»), в том числе и с сибирской ее частью (мать – М. С. Куксина и семья сестры). Но и в этом случае полноценное вхождение Е. В. Шукшиной в патриархальную семью писателя не произошло, остановившись лишь на уровне эрзац-семьи, так часто сопровождавшей жизнь Василия Макаровича. Автограф, как мы уже знаем, в мире Шукшина вовсе не устанавливает прочные связи между людьми.

У нас есть основания считать, что сам Шукшин осознавал ложный характер и своих даров. В одном из ранних рассказов – «Игнаха приехал» (1963) – реализован еще один вариант мотива дарения – подарки, которые привозят родным уехавшие некогда в город родственники. С. М. Козлова указывает на искусственность, поддельную суть таких подарков: «Облик и поведение Игнахи подчеркнута театральны. Он суетливо разыгрывает сценарий: богатые столичные гости, в дорожных ярких нарядах с богатыми подарками, изумляют деревенскую родню» [Козлова, 2007, с. 112]. Подарки Игната родным – не искренний, бескорыстный дар, а лишь демонстрация своего социального статуса, благосостояния. Искусственность подарков – следствие искусственного поведения героя. Игнатий хочет казаться в деревне своим, но вынужден подделываться под деревенского жителя, так как давно оторвался от деревенского уклада и вместе с этим от своих корней.

Развитие данного мотива наблюдается в одном из самых известных рассказов писателя – «Срезал» (1970). В тексте рассказа Шукшин скрупулезно описывает подарки, которые привез матери «богатый, ученый» кандидат Константин Иванович: «электрический самовар, цветастый халат и деревянные ложки» (т. 5, с. 72). «Столичный гость подлаживается под деревню и привез искусные подделки деревенских предметов» [Козлова, 1992, с. 124]. Приезд Константина Ивановича в деревню, как и Игнатия Байкалова, полон показных деталей и демонстрации благосостояния: «Деревня Новая – небольшая деревня, а Константин Иванович еще на такси подкатил, и они еще всем семейством долго вытаскивали чемоданы из багажника...» (т. 5, с. 72). Дар кандидата – дар ложный, фантом, симулякр.

Однако, как это ни странно, подобные элементы поведения были не чужды и самому алтайскому писателю. Его племянник С. А. Зиновьев вспоминал, как дядя любил удивить родню подарками: «<...> мы знали, что на московских подарках он (т. е. В. М. Шукшин. – Д. М.) не остановится, и в первый же день шли по сростинским магазинам, но в начале, конечно же, заходили в книжный. <...> А однажды он купил набор пластинок Федора Ивановича Шаляпина. Проигрывателя у нас не было, и когда в универмаге он увидел «Каравеллу» и купил ее, мы все трое были рады этой покупке, потому что у нас дома были пластинки <...> Днем мы гордо ходили по улицам села, да еще с подарками, которые лёля Вася любил покупать в присутствии нас» [Шукшин, 1999, с. 459]. Известный сценарист А. С. Макаров, так вспоминал поездку в Сростки в марте 1963 г. во время акции «Молодые кинематографисты – народу»:

С утра к гостинице <...> подкатили две машины – газик представила кинофикация, а «Волгу» – райком комсомола. <...> В «Волге» катила Ренита Григорьева и, туго схваченный за горло ангиной, Наум Клейман. <...> У поворота с Чуйского тракта на Сростки «Волга» остановилась, поджидая нас, и Шукшин вылез, походил, крикнув, улыбнулся решительно:

– Я, ребята, сяду в машину пошкарней, а? Для мамашиного удовольствия и соседям поглядеть. По-нашему, по-деревенски – надо» [Макаров, 2005, с. 172].

Авторская ирония в адрес кандидата Константина Ивановича, как видим, имеет автобиографические корни. Фальшивость своего поведения, а возможно, и дорогих подарков, которыми он старался удивить деревенскую родню, зрелый Шукшин четко осознавал. Еще в одном рассказе 1970 г. «Крыша над головой» вновь появляется ложный дар: «прозревший» герой разбираемой пьесы Иван Петров сам поджигает свой дом, однако после того, как пожар потушен, он отдает его колхозу под ясли. Поступок героя не понятен большинству актеров театрального кружка. Очевидно, что сам Иван остался без дома, и ясли в сгоревшем доме обустроить нельзя. В итоге «Иван смущенный, но счастливый, подписывает вместе с другими парнями и девушками обязательство: сдать ясли к Новому году» (т. 5, с. 94). Но казенная формулировка и отсутствие указания на время действия рассказа не внушают доверия к тому, что ясли скоро обретут «крышу над головой». Подарок Ивана – дар ложный, более того, бессмысленный и противоречащий нормам традиционного крестьянского менталитета.

Вернемся к рассказу «Капроновая елочка». Подарок Нюрке от городского ухажера – искусственная елочка, эрзац рождественской ели – дар дешевый, мещанский, уровня глиняной кошки с бантиком или нарисованных на черном драпе лебедей, так часто и прямо порицаемый Шукшиным в публицистике («Вопрос самому себе»). Учитывая, что снабженцу в рассказе придаются атрибуты черта, капроновая елочка – это дар черта. Мотив подарка как дара нечистой силы реализован Шукшиным и в рассказе «Свояк Сергей Сергеевич» (1969):

Когда Андрей переступил порожек сарая, свояк Сергей Сергеич вдруг запрыгнул ему на спину и закричал весело:

– Ну-ка – вмах!.. До крыльца.

– Брось!.. – Андрей передернул плечами. – Ну?

Свояк сидел крепко.

– Ну, до крыльца! Ну? – Сергей Сергеич от нетерпения прищиприл в бока Андрею. – Ну!.. Шутейно же. Гоп! Гоп!.. Аллюром! Что, трудно, что ли?

Проклятый мотор! Черт его подсунил, не иначе. Стерва металлическая... Андрей у крыльца чуть не сбросил свояка через голову, чуть не зашиб его об ступеньки, потому что тот, когда скакали, еще и орал:

– Еге-ей! Скакал казак через долину!.. Гоп! Гоп!.. (т. 5, с. 12).

Инфернальность, разгул бесовских сил в этом рассказе можно связать с «говорящей» фамилией свояка: Неверов. Свояк Сергей Сергеевич, оседлавший Андрея, напоминает гоголевского «черта, оседлавшего человека» [Куляпин, Левашова, 1998, с. 34].

В прозе середины 1960-х гг. и более поздней отношении писателя к дару становится еще определеннее. Мотив ложного дара прямо реализован в романе «Я пришел дать вам волю» (1970). Богатые подарки казаков астраханской знати есть не что иное, как обман, и в итоге дорого обойдутся тем, кто их принял:

Степан стоял прямо, в упор смотрел на сидящих за столом.

– А вот дары наши малые, – продолжал он, не оглядываясь.

<...> За столом случилось некое блудливое замешательство. Знали: будет Стенька, будет челом бить, будут дары... Не думали только, что перед столом будет стоять крепкий, напористый человек и что дары (черт бы побрал их, эти дары!) будут так обильны, тяжелы... Так захотелось разобрать эти тюки, отнести домой, размотать... (т. 4, с. 68).

Приведенные нами примеры, возможно, не исчерпывают все тексты Шукшина, но вполне показательны, их достаточно, чтобы утверждать наличие варианта мотива дара в художественном мире писателя – дара ложного, мнимого, который к тому же является атрибутом бесовской, нечистой силы. Источником для происхождения подобной семантики мотива дара могут быть дарственные надписи Шукшина, в которых, в свою очередь, могли прямо отразиться психологические и биографические явления, связанные с личностью самого Шукшина. В художественных текстах они получили более опосредованную реализацию. Дарить без каких-либо условий, без наложения долговых обязательств, героям Шукшина в художественном мире часто было так же сложно, как и самому писателю в реальной жизни.

Список литературы

- Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Терра, 1995. Т. 1.
- Жак Деррида в Москве / Сост. М. К. Рыклин. М.: РИК «Культура», 1993. 208 с.
- Козлова С. М.* Игнаха приехал // Творчество В. М. Шукшина: энциклопедический словарь-справочник. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2007. Т. 3. С. 112–113.
- Козлова С. М.* Поэтика рассказов В. М. Шукшина. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1992. 184 с.
- Куляпин А. И.* Творческая эволюция В. М. Шукшина: Монография. Ишим: Изд-во ИГПИ им. П. П. Ершова, 2012. 204 с.
- Куляпин А. И., Левашова О. Г.* В. М. Шукшин и русская классика. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1998. 102 с.
- Куляпин А. И., Скубач О. А.* Мифология советской повседневности в литературе и культуре сталинской эпохи. М.: Языки славянской культуры, 2013. 240 с.
- Левашова О. Г.* Капроновая елочка // Творчество В. М. Шукшина: энциклопедический словарь-справочник. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2007. Т. 3. С. 129–130.
- Макаров А. С.* Побывка в Сростках // Шукшинский вестник. Сростки, 2005. Вып. 1. С. 171–179.
- Маккарти Т.* Тинтин и тайна литературы. М.: Ад маргинем пресс, 2013. 176 с.
- Мосс М.* Очерк о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах // Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии. М.: Вост. лит., 1996. С. 83–222.
- Пешикова С. Н.* Экзамен // Творчество В. М. Шукшина: энциклопедический словарь-справочник. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2007. Т. 3. С. 315–316.
- Пропп В.* Морфология сказки. Л.: Academia, 1928. 152 с.
- Смирнов И. П.* Человек человеку – философ. СПб.: Алетейя, 1999. 372 с.
- Творчество В. М. Шукшина: энциклопедический словарь-справочник / Науч. ред. А. А. Чувакин; ред.-сост. О. Г. Левашова. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2006. Т. 2: Эстетика и поэтика прозы В. М. Шукшина. Мотивы и символы творчества В. М. Шукшина. Диалог культур. 290 с.
- Шукшин В. М.* Собр. соч.: В 9 т. / Под общ. ред. Д. В. Марьина. Барнаул: ИД «Барнаул», 2014.
- Шукшин В. М.* Надеюсь и верую: Рассказы. Киноповесть «Калина красная». Письма. Воспоминания. М.: Воскресенье, 1999. 512 с.

References

- Dal' V. *Tolkovyy slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka: V 4 t.* [The explanatory dictionary of the living Great Russian language: In 4 vols]. Moscow, Terra, 1995, vol. 1.
- Jacques Derrida v Moskve [Jacques Derrida in Moscow]. M. K. Ryklin (Ed.). Moscow, RIK "Kul'tura", 1993, 208 p.
- Kozlova S. M. Ignakha priekhal [Ignaha arrived]. In: *Tvorchestvo V. M. Shukshina: entsiklopedicheskiy slovar'-spravochnik* [The creative works of V. M. Shukshin: encyclopedic dictionary-reference]. Barnaul, ASU Publ., 2007, vol. 3, pp. 112–113.
- Kozlova S. M. *Poetika rasskazov V. M. Shukshina* [Poetics of stories by V. M. Shukshin]. Barnaul, ASU Publ., 1992, 184 p.
- Kulyapin A. I. *Tvorcheskaya evolyutsiya V. M. Shukshina: Monografiya* [The creative evolution of V. M. Shukshin]. Ishim, P. P. Yershov ISPI Publ., 2012, 204 p.
- Kulyapin A. I., Levashova O. G. *V. M. Shukshin i russkaya klassika* [Shukshin and Russian classics]. Barnaul, ASU Publ., 1998, 102 p.
- Kulyapin A. I., Skubach O. A. *Mifologiya sovetskoy povsednevnosti v literature i kul'ture stalinskoy epokhi* [The mythology of Soviet everyday life in the literature and culture of the Stalin era]. Moscow, LRC Publishing House, 2013, 240 p.
- Levashova O. G. Kapronovaya elochka [Capron Christmas tree]. In: *Tvorchestvo V. M. Shukshina: entsiklopedicheskiy slovar'-spravochnik* [The creative works of V. M. Shukshin: encyclopedic dictionary-reference]. Barnaul, ASU Publ., 2007, vol. 3, pp. 129–130.
- Makarov A. S. Pobyvka v Srostkakh [A visit to Srostki]. In: *Shukshinskiy vestnik* [Shukshinsky vestnik]. Srostki, 2005, iss. 1, pp. 171–179.
- McCarthy T. *Tintin i tayna literatury* [Tintin and the secret of literature]. Moscow, Ad marginem press, 2013, 176 p.
- Moss M. Ocherk o dare. Forma i osnovanie obmena v arkhaiskikh obshchestvakh [Essay on the gift. The form and basis of exchange in archaic societies]. In: *Obshchestva. Obmen. Lichnost': Trudy po sotsial'noy antropologii* [Society. Exchange. Personality: Works on social anthropology]. Moscow, Vost. lit., 1996, pp. 83–222.
- Peshkova S. N. Ekzamen [Exam]. In: *Tvorchestvo V. M. Shukshina: entsiklopedicheskiy slovar'-spravochnik* [The creative works of V. M. Shukshin: encyclopedic dictionary-reference]. Barnaul, ASU Publ., 2007, vol. 3, pp. 315–316.
- Propp V. *Morfologiya skazki* [Morphology of a fairy tale]. Leningrad, Academia, 1928. 152 p.
- Shukshin V. M. *Sobr. soch.: V 9 t.* [Collected works in 9 vols]. D. V. Mar'in (Ed.). Barnaul, "Barnaul" Publ. H., 2014.
- Shukshin V. M. *Nadeyus' i veruyu: Rasskazy. Kinopovest' "Kalina krasnaya". Pis'ma. Vospominaniya* [Hope and belief: stories. The newsreel "Kalina Krasnaya". Letters. Memories]. Moscow, Voskresen'e, 1999, 512 p.
- Smirnov I. P. *Chelovek cheloveku – filosof* [A man is a philosopher for a man]. St. Petersburg, Aleteyya, 1999, 372 p.
- Tvorchestvo V. M. Shukshina: entsiklopedicheskiy slovar'-spravochnik. T. 2: Estetika i poetika prozy V. M. Shukshina. Motivy i simvoly tvorchestva V. M. Shukshina. Dialog kul'tur* [The creative works of V. M. Shukshin: encyclopedic dictionary-reference. Vol. 2, Aesthetics and prose poetics by V. M. Shukshin. Motives and symbols of creation of V. M. Shukshin. Dialogue of cultures]. A. A. Chuvakin (Ed.), O. G. Levashova (Comp.). Barnaul, ASU Publ., 2006, 290 p.

Сведения об авторе

Марьин Дмитрий Владимирович – доктор филологических наук, доцент, начальник управления информации и медиакоммуникаций Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия)
marin@mail.asu.ru

Information about the author

Dmitrii V. Maryin – Doctor of Philology, Assistant Professor, Head of Information and Media Communications Department of the Altai State University (Barnaul, Russian Federation)
marin@mail.asu.ru

УДК 82-3
DOI 10.17223/18137083/74/13

Социокультурное пространство Берлина в романе В. Набокова «Дар»

Т. Г. Мастепак

*Томский государственный педагогический университет
Томск, Россия*

Аннотация

Анализируются приёмы контрастного изображения локусов 'немецкого' и 'эмигрантского' Берлина (оппозиция «центр – периферия»), способы репрезентации образов коренных немцев и россиян, варианты «одомашнивания» эмигрантами чужого им социокультурного пространства. Отмечается специфика воплощения Набоковым архетипических мотивов дома, бездомья, чужого дома и оппозиции чужого и своего. «Чужое» социокультурное пространство Берлина обладает двуединой семантикой: с одной стороны, смертности и неподлинности, а с другой – творческой колыбели. Внешние ограничения способствуют рождению внутренней свободы, которая позволяет герою подняться над социальной малостью, сохранить достоинство, определиться в выборе авторитетов, в выражении собственных взглядов в любви и творчестве.

Ключевые слова

Набоков, социокультурное пространство, Берлин, эмиграция, дом / бездомье

Для цитирования

Мастепак Т. Г. Социокультурное пространство Берлина в романе В. Набокова «Дар» // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 169–181. DOI 10.17223/18137083/74/13

The socio-cultural space of Berlin in V. Nabokov's novel "The Gift"

T. G. Mastepak

*Tomsk State Pedagogical University
Tomsk, Russian Federation*

Abstract

The paper analyzes techniques of contrasting the loci of "German" and "emigrant" Berlin (opposition "center-periphery"), ways of representing the images of native Germans and Russians, variants how immigrants "domesticate" socio-cultural space being alien to them (nominating loci "in Russian way"; consciousness transformation of foreign space into own one due to its cultural and linguistic content, etc.). Fedor sees the images of Germans as depersonalized but emigrants as individualized. Native Berliners are perceived as a less cultured nation, yet seamlessly integrated into the sociocultural landscape of their native city. Exiles from

© Т. Г. Мастепак, 2021

ISSN 1813-7083
Сибирский филологический журнал. 2021. № 1
Siberian Journal of Philology, 2021, no. 1

Russia occupy a “marginal” place in the geography of the city and the social hierarchy of the European capital while standing out in contrast in the space of Berlin (appearance, speech). Overcoming social minority is refusing integration and trying to preserve cultural identity (language, literature, art, social connections, and authority among Russian writers and scientists) in a foreign country. The “alien” socio-cultural space of Berlin has twofold semantics: first – mortality and non-genuineness and second – a creative cradle. It encourages Fedor to rethink his memories of childhood, family, and father and sets the vector for personal and creative development. Berlin embodies a “foreign,” “hostile,” “uncomfortable” space but helps to strengthen the values laid down in childhood and survive in exile, which is existentially meaningful. External restrictions contribute to the birth of internal freedom, allowing the hero to rise above social smallness, preserve his own dignity, determine the choice of authorities, and Express his own views in love and creativity.

Keywords

Nabokov, socio-cultural space, Berlin, emigration, home / homelessness

For citation

Mastepak T. G. The socio-cultural space of Berlin in V. Nabokov’s novel “The Gift”. *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 169–181. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/13

В. Набоков прожил в Берлине 15 лет (1922–1937), и этот топос многократно воссоздан в его произведениях. Набоковеды уже обращали внимание на простое отношение писателя к Германии и немцам [Лаптева, 2002; Томас, 2004; Михевичева, Лаврушина, 2013], однако о полноте исследования этого аспекта говорить пока не приходится.

Объектом данного исследования является социокультурное пространство, в понимании сути которого мы опираемся на работы социолога П. Сорокина (1889–1968). Осмысляя пространство метафорически, как область взаимоотношений, П. Сорокин в его структуру включает: «1) личность как субъект взаимодействия; 2) общество как совокупность взаимодействующих индивидов с его социокультурными отношениями и процессами; 3) культура как совокупность значений, ценностей и норм, которыми владеют взаимодействующие лица, и совокупность носителей, которые объективируют, социализируют и раскрывают эти значения» [Сорокин, 1992, с. 53]. Для литературоведческой работы такое понимание значимо, но недостаточно, так как П. Сорокин считает, что нет прямого соотношения между социокультурным и собственно пространственным (география, геометрия места и пр.) измерениями. Поэтика пространства, в том числе городского, в художественном тексте служит выражению отношений человека с миром, но именно сематические характеристики пространства (его вещное наполнение, расположения персонажей в нём и пр.) информативны для реконструкции социокультурной среды героев и социокультурных представлений и ориентиров автора. Поэтому в методологическом плане для данного исследования важна концепция Ю. М. Лотмана, который считает, что художественное пространство представляет собой «модель мира данного автора, выраженная на языке его пространственных представлений» (курсив мой. – Т. М.) [Лотман, 1988, с. 252–253].

В романе «Дар» (1933–1938) представлено самое обширное описание *эмигрантской жизни* в Берлине, сквозь призму взгляда выходца из России создавались и образы коренных немцев. Центральным персонажем романа «Дар» является молодой эмигрант, начинающий писатель Фёдор Константинович Годунов-Чердынцев. Наррация романа подчинена задаче раскрыть образ и сознание Фёдора через репрезентацию созданных им текстов, внутренние монологи, через прямую и несоб-

ственно-прямую речь. Композиция «Дара» отражает не только становление Фёдора как писателя, но и личностное взросление героя. Его внутренние изменения проявляются в социокультурных образах, оформляющих пространства как бытового существования начинающего писателя, так и его сознания (памяти, рефлексии, творчества).

Благодаря способности сознания переноситься из реальных в иные топоры (вспоминаемые, представляемые, созданные на основе изучения книг, иллюстраций, в процессе творчества и т. д.) пространство в романе многослойно. Оно представлено локусами жилых помещений (берлинские съёмные квартиры и комнаты, фамильный особняк в Петербурге, усадьба в России, места жизни Н. Г. Чернышевского), берлинских общественных мест (магазины, трамваи, остановки, бюро), открытым городским и природным пространством (улицы, парки Берлина, Груневальд, пейзажи России и Азии) и др.

Целью настоящей работы является анализ *социокультурного пространства Берлина*, оформляющего обстоятельства творческого и личностного становления героя романа «Дар».

В экспозиции романа представлена сцена переезда. Точка зрения нарратора, воспринимающего новое пространство, меняется (перемежаются концепированное и Я-повествование). Но по первым строкам невозможно определить национальную принадлежность главного героя. Сообщается только, что описываемое происходит «у дома номер семь по Танненбергской улице, в западной части Берлина» [Набоков, 1990, с. 5]¹. Исследователями доказано, что указанной улицы в Берлине нет и не было в период написания романа. У. Томас в работе «Набоков в Берлине» предположил: «То, что упоминается и не существующая в реальном Берлине улица Танненбергштрассе, по-видимому, имеет символическое значение: в Первую мировую войну под Танненбергом в 1915 году немецкие войска под командованием Пауля фон Гинденбурга окружили и уничтожили русскую армию, так что это может быть указанием на трудность отношений между немцами и русскими в Берлине» [2004, с. 71]. На наш взгляд, более семантически нагружен *русскоязычный способ именованья* улицы. Согласно правилам перевода топонимов (за рядом исключений), улицы в тексте принято называть так, как они называются в оригинальном языке². И в «Даре» Набоков сохраняет немецкие названия других улиц: Агамемнонштрассе, Фридрихштрассе, Тауэнтциенштрассе. Причем название Агамемнонштрассе также является переименованным при сохранении немецкоязычного варианта названия³. «Русский» способ названия улицы «Танненбергская» раскрывает национальную принадлежность главного героя: получается, восприятие окружающего пространства основывается на сформированных на Родине культурных и языковых нормах. Такой же прием используется в назывании локусов на берлинских улицах: «...он купил пирожков <...> в рус-

¹ Далее ссылки на это издание даются в круглых скобках с указанием страниц.

² Руководство по национальной стандартизации географических названий. Группа экспертов ООН по географическим названиям. Нью-Йорк: ООН, 2007. С. 95–103.

³ У. Томас, апеллируя к исследованию Дитера Э. Циммера, отмечает, что при работе над романом «Дар» В. Набоков имел совершенно конкретный адрес: «улицу под названием Несторштрассе в Берлине-Вильмерсдорфе». «Когда Набоков в середине 30-х годов сочинял роман «Дар», он вместе со своей женой жил на Несторштрассе 22» [Томас, 2004, с. 71] Приведенный аргумент исследователя, думается, сомнителен, так как объяснять художественные реалии биографией не всегда корректно.

ской *кухмистерской...*»⁴ (с. 28). Так, через перевод знаков чужого места в знакомый культурный код происходит одомашнивание пространства. Через звучание немецких топонимов и локусов «на русский лад» Набоков погружает читателя в эмигрантскую атмосферу жизни главного героя романа.

В предисловии к английскому изданию романа «Дар» Набоков пишет: «Отношение Федора к Германии отражает быть может слишком примитивное и безрассудное презрение, которое русские эмигранты питали к “туземцам” (Берлина, Парижа или Праги)» [Набоков, 1997]. ‘Туземец’, согласно определению толкового словаря Д. Н. Ушакова, – это «уроженец и коренной житель какой-нибудь местности или страны, в противоположность приезжему или иностранцу» [1947, с. 824]. Противопоставление эмигрантов и коренных жителей в романе выражается через контрастные приемы создания их образов. Берлинцы обезличены: «...в плетёных креслах на террасе соседнего кафе, *одинаково* развалясь и *одинаково* сложив перед собой пальцы крыши, сидела компания деловых мужчин, очень *между собою схожих* в смысле морд и галстуков, но вероятно различной платежеспособности» (с. 145). Отметим передающее экспрессию восприятия и снижающее образ немцев слово «морды» вместо «лица». В цитате обращает на себя внимание *сходство* того, что должно проявлять индивидуально-личностные отличия («морды», одежды и привычки). При этом одинаковые и безликие для Фёдора берлинцы естественно вписаны в свое родное пространство, где они занимают центральное место. Несмотря на подмеченную разницу в «платежеспособности», они могут позволить себе сидеть в кафе на центральной улице Берлина Курфюстерндамм, на которой располагаются дорогие магазины, кинотеатры, кафе, рестораны и т. д. [Бергманн и др., 2010, с. 41].

Перейдя Виттенбергскую площадь, находящуюся *в стороне* от Курфюстерндамм, пройдя *на окраину* Берлина, Фёдор встретил своих сограждан. В описании каждого из них выделены *индивидуальные* черты: «пожилой, болезненно озлобленный петербургский литератор, носящий летом пальто, чтобы скрыть убожество костюма, страшно тощий, с карими глазами навывкате, брезгливыми морщинами у обезьяньего рта...», «добродушно-мрачный москвич, осанкой и обликом несколько напоминавший Наполеона островного периода», Кончеев, «читавший на тихом ходу подвал парижской “Газеты” с удивительной, ангельской улыбкой на круглом лице», инженер Керн, выходявший из русского гастрономического магазина, «опасливо суя пакетик в портфель, прижатый к груди», «Марианна Николаевна Щеголева с какой-то другой дамой, усатой и очень полной, которая кажется, была Абрамовой» (с. 149). Все эти люди встречаются не на центральной и известной, а в второстепенной улице и в общности своей воссоздают уличную атмосферу родного российского города: все «попадались в данном районе, которым пользовались для неторопливых прогулок, богатых встречами, так что получалось, как если бы тут, на этой немецкой улице, блуждал призрак русского бульвара, или даже наоборот: улица в России, несколько прохлаждающихся жителей и бледные тени бесчисленных инородцев, мелькавшие промеж них, как привычное и едва заметное наваждение» (с. 149). Внешний вид людей, их индивидуальность, родной язык, на котором говорит окраинная улица Берлина, трансформируют в сознании героя немецкое пространство в родное русское, и инородные компоненты этого социокультурного пространства воспринимаются как «наваждение», иллюзия.

⁴ Здесь и далее в цитируемых текстах курсив мой. – Т. М.

Итак, в романе очевидно деление социокультурного пространства Берлина на два «мира»: чужой – коренных берлинцев, и свой – эмигрантов. Мир «инородцев» сознание переводит в статус «наваждения», тогда как социокультурные знаки родного мира (встречи, разговоры, русская речь, гастрономия, пресса, атрибуты одежды) воспринимаются как весомые, превращающие берлинское пространство в «русский бульвар».

Пространственные городские маркёры (центральная и второстепенная улицы) отражают разницу социального статуса эмигрантов и коренных берлинцев. Причем Набоков усиливает этот контраст, сопоставляя образы «румяной нищей» («с отрезанными до таза ногами, приставленной, как бюст, к низу стены» на Курфюрстендамм и маргинального вида литератора из Петербурга, «страшно тощего, с карими глазами навывкате», на Виттенбергской площади. То, что нищая выглядит как бюст (памятник, монумент), служит обыгрыванию значения пословицы «дома и стены помогают»: «румяная» нищая калека более органично «вписана» в центральное берлинское пространство, чем убогого вида литератор-эмигрант на удаленной от центра улице Берлина. При воссоздании образов персонажей в уличном городском пространстве Берлина подчеркиваются детали, указывающие на их социальное положение.

«Туземная» близость, слияние с родным пространством проявляется в описании немцев постоянно. Это относится и к хозяйке съемной комнаты фрау Кларе Стобой: «крупная, хищная немка» (с. 9), одетая в палевое в сизых тюльпанах платье, *сливается* с интерьером комнат, обклеенных палевыми в сизых тюльпанах обоями, что прочитывается как ее органичная вписанность в привычную среду. Для Фёдора же пространство съемной комнаты фрау Стобой является чужим, он предчувствует «невозможность жить на глазах у совершенно чужих вещей, неизбежность бессонницы на этой кушетке!» (с. 9).

Ощущение себя в Берлине как чужом пространстве не-дома и воспоминания о России, о Петербурге как о родном доме формируют (восходящие к архетипическим) мотивы «дома», «чужого дома» и «бездомья». По мысли Е. В. Шутовой, «в онтологическом плане “Дом” и “Бездомье” представляют *социокультурное пространство жизни человека*, в котором, как в зеркале, отражается общество и историческая эпоха, детерминирующие данную тематику» [2010, с. 81]. Изучение данных мотивов в творчестве В. Набокова многократно становилось предметом исследования [Яновский, 1997; Вертинская, 2006; Полева, 2008а]. «Дом» для В. Набокова – это дореволюционная Россия, семья, семейный уклад, фамильный особняк и поместье, «роскошное детство», всё то, что ушло безвозвратно в прошлое, отчасти сохранившись в воспоминаниях [Андреева, 2009]. Мотивы «бездомья» и «чужого дома» связаны с жизнью в эмиграции, чужими городами, культурой и т. д. [Вертинская, 2006]. Съемные квартиры, комнаты в пансионатах на какое-то время становятся местом проживания эмигрантов, но не домом. Временное жилье не обретает сакральное, архетипическое значение «Дома». В «Даре» это отчетливо проявляется в сопоставлении двух принципиально разных социокультурных пространств – берлинского и петербургского.

Петербург воплощает «свой дом», нахождение в котором связано с благополучной жизнью и главное – со свободой. Свобода проявлялась в финансовой независимости, в возможности свободно и быстро передвигаться в знакомом, «своем» пространстве (на новеньком велосипеде, самых быстрых санках лучшей фирмы «Сангалли», на личном «пунцовом» автомобиле), в возможности выбирать занятия, род деятельности и круг общения.

В Берлине происходит как бы реверс, и Фёдор испытывает чувство несвободы. Он *вынужден* давать мучительные для него *уроки* иностранных языков и заниматься переводами, обслуживая интересы иностранцев, к которым он не испытывает уважения и симпатии. Поход в магазин (бытовая необходимость) ставит в неловкое положение из-за ограниченности средств (и это ярко контрастирует с описанием походов в петербургские магазины: услужливость приказчика принималась как должное, теперь же – как стесняющий фактор). В немецкой лавке папиросы «русского окончания», которые предпочитал Фёдор, не держали, и он *вынужден* был покупать, то, что «навязали» (с. 7). Необходимо было внимательно пересчитать сдачу мелочью, чтобы понять, хватит ли на «миндальное мыло». Личный транспорт, обеспечивающий свободное и быстрое перемещение, заменяется неуклюже-медлительным общественным, идущим исключительно в заданном направлении, представляющим один «из бездарнейших» способов передвижения – берлинским трамваем с «ногами, боками, затылком туземных пассажиров» (с. 72).

В России как личное пространство воспринимались не только «особняк Годуновых-Чердынцевых на Английской Набережной» (с. 15) и усадьба «Лешино», но и Санкт-Петербург в целом. В Берлине индивидуальное, личное пространство сужается до маленькой съемной комнаты, но и в ней герой не ощущает себя свободным. На это указывает, в частности, мотив ключей⁵, которые Фёдор постоянно теряет / забывает, поэтому возникает трудность даже просто попасть в снятую комнату. Место жизни в Берлине связано с образом «чужого дома» и собственного бездомья.

«Чужой дом» обязывает подстраиваться под чужие устои (бытовая несвобода). Свобода выбора людей для общения также ограничена, что опять ярко контрастирует с условиями жизни в России. В Берлине Фёдор вынужден проживать в непосредственной близости с малоприятными ему людьми. Навязчивость соседей прямо интерпретируется Фёдором как причина полного исчезновения индивидуального пространства жизни и подчинение существования удручающим социальным условиям: в пансионате он жил рядом с «милыми, бескорыстно навязчивыми людьми, которые “заглядывали поболтать”», через какое-то время «между ними и им стена как бы рассыпалась» (с. 47), и Фёдор почувствовал себя беззащитным. Это обусловило необходимость переезда, описанного в экспозиции романа. В следующей комнате хозяйка Клара Стобой не смогла смириться с распорядком дня Фёдора и попросила его подыскать другое жильё. Третьим жильём стала комната в квартире семьи Зины Мерц, где он был вынужден слушать пошлую болтовню хозяина, отчима Зины.

В фамильном *особняке* (само именование здания означает обособленность) в центре Петербурга у Фёдора были личные комнаты, свое «укромное» пространство, а в Берлине – съемная комната, проницаемая для чужих взглядов, правил, воспринималась как «чужое пространство», которое предстояло обжить.

По форме комната у Клары Стобой была «продолговатой» (с. 9), т. е. имела «удлиненную форму, значительно большую в длину, чем в ширину» [Ушаков, 1947, с. 922]. «Бесцветность», пошлость интерьера, узость и ограниченность про-

⁵ Мотив забытых ключей в «Даре» многократно комментировался набоковедами [Бойд, 2001; Апресян, 1995; Закурченко, 2004; Степанова, 2015; Узбекова, 2016].

странства коридора и комнаты ограничивают даже фантазию: «палевые⁶ в сизых тюльпанах обои» «трудно претворить в степную даль» (с. 9). Ненаполненность и необжитость комнаты воплощал письменный стол, «пустыню» которого «придется возделывать долго, прежде чем взойдут на ней первые строки» (с. 9). После отъезда из этой комнаты Фёдор называет ее «нелюбимой обителью», где чужие вещи, которых «собой не оживили», не вызывают жалости, и «этот мертвый уже инвентарь не воскреснет потом в памяти...» (с. 130). Мортальная метафорика в восприятии вещей из съёмного жилья (употреблены лексемы «мертвец», «мёртвый» (с. 131)) оформляет ассоциацию комнаты со склепом. В этой комнате Фёдор начал писать книгу об отце, но не смог ее завершить. По контрасту со съёмной комнатой всплывают воспоминания о кабинете отца, наполненном живыми, имеющими ценность, с любовью подобранными вещами: книгами, фотографиями, картинами и т. п. Помимо этого в особняке находились «три залы», в которых хранились коллекции из далеких путешествий отца, «его музей». Фёдор подметил: «...в моем отце и вокруг него, вокруг этой ясной и прямой силы было что-то, трудно передаваемое словами, дымка, тайна...» (с. 103). Этой «тайной» было наполнено всё пространство особняка и усадьбы. «Прямой и ясной силой» отца хватало Фёдору и на «заполнение» пустого пространства чужой комнаты в Берлине, которая служила ему и ночлегом, и кабинетом. Именно из воспоминаний об отце Фёдор «занимал и теперь крылья» (с. 104). Соединение образов «продолговатого», «мёртвого», в котором всё же сохраняется ощущение «крыльев», оформляет ассоциацию этого пространства с образом кокона бабочки. Отмеченное мортальной семантикой⁷ берлинское пространство (контекст шпенглеровского «Заката Европы», смерти представителей рода Чернышевских [Полева, 2005], отца Зины) обретает значение временного пребывания в состоянии смерти-сна для будущего возрождения, для расправления крыльев – в любви и творчестве.

В съёмной комнате у фрау Клары Стобой Фёдор не только погрузился в воспоминания об отце, но и смог осмыслить их, попытался разгадать «тайну» отца, увидеть его глазами других людей, написавших свои воспоминания о Константи́не Кирилловиче. Переосмысление представления об отце дает Фёдору импульс для самопознания, самоопределения и самореализации, т. е. для укрепления внутреннего, индивидуального пространства существования. Продолговатая комната явилась «коконом», в котором сформировался и окреп Фёдор не только как писатель, но и как личность (метаморфоза бабочки). Духовным, ментальным и культурным «питанием» для него послужило обращение к своим предкам (отец, дед), к их опыту, знаниям и их пониманию жизни. Несмотря на то что книга об отце не была дописана, она стала тренировкой, ступенью к творческой самореализации в книге о Н. Г. Чернышевском.

Из комнаты Клары Стобой Фёдор переехал в комнату к Щёголевым. Эта комната тоже была «продолговатой», «расположенной на несколько роковых градусов вкось» (с. 129). Первое впечатление, которое произвела комната на Фёдора, было «враждебным» (с. 129). Смещенная ось симметрии («как пунктиром отмечается смещение геометрической фигуры при вращении» (с. 129)) сделала комнату

⁶ Палевый – «...“соломенного цвета, светло-желтый”. Обычно объясняют из франц. *paillé* – ... “солома”..., тогда как Преобр. ... предполагает происхождение из франц. *raîle* “бледный”» [Фасмер, 1987].

⁷ О семантике смерти в романе см. [Полева, 2008б].

дисгармоничной, и это свойство пространства соответствует особенностям отношений внутри семьи Зины Мерц. Отец Зины умер в Берлине от «грудной жабы». Оставшись с матерью и презираемым ею отчимом Щёголевым, она фактически оказалась в чужой для нее семье, «была несчастна и несчастье свое презирала» (с. 169). Пошлость отчима Зина противопоставляет интеллигентности и эрудированности отца. В ее описании это был «изящный, благородный, умный и мягкий человек», питавший страсть «к рысакам и к музыке», умевший играть в шахматы, отлично знавший русскую литературу и цитировавший «наизусть Гомера» (с. 168). Портрет отца проявляет социокультурные ценности Зины, которые соответствуют ценностям Фёдора, что духовно сближает их. Но трагедия эмигрантской судьбы Зины в противоречии ценностей и среды. Происходящее с ней не обусловлено эмиграцией (мать могла выйти замуж за пошляка Щёголева и в России), но изгнание усугубляет положение, так как ограничивает и круг общения, и варианты трудоустройства. И дома, и на работе Зина вынуждена терпеть неприятных ей людей – носителей иных ценностей. Берлинский социокультурный мир для нее сосредоточен в образе адвокатской конторы, в которой явно проступает социальное расслоение немецкого общества на очень богатых и совсем бедных, где царит культ денег и личной выгоды: «...полусумасшедший мир мрачных дылд и отталкивающих толстячков, каверзы, чернота теней, страшные носы, пыль, вонь и женские слезы, <...> зловещая ветхость помещения конторы, что не относилось лишь к кабинету главного адвоката, где жирные кресла и стеклянный стол-гигант резко отличались от обстановки прочих комнат» (с. 170).

При том, что наррация романа «начинена» обличительными высказываниями в адрес немецкого социума, необходимо учесть, что Набоков осознает предвзятость такого взгляда. Он объяснил это в предисловии к англоязычной версии романа тем, что на восприятие Германии существенно повлияло время создания «Дара», совпавшее с расцветом нацистской идеологии: «Отношение Фёдора к Германии <...> усугубляется влиянием омерзительной диктатуры, принадлежащей к эпохе, когда роман писался, а не к той, которая в нем фрагментарно отразилась» [Набоков, 1997]. Но понимание некоторой клишированности восприятия немецкого мира присутствует в романе и на персонажном уровне. Среди русских также есть пошляки (тот же Щёголев), как и среди немцев, и внешний взгляд часто бывает обманчив. В этом плане самым примечательным является эпизод в берлинском трамвае, начавшийся с обвинительной речи немецкой нации, а закончившийся саморазоблачением: гражданин, вызывавший «грешную ненависть (к жалкой, бедной, умирающей нации)», оказался русским эмигрантом, и лютая неприязнь Фёдора к незнакомцу сменяется доброхотной улыбкой в его адрес и самоиронией. И тем не менее, внутренний монолог, «пристрастное обвинение» Фёдора суммирует стереотипное представление русского эмигранта о социокультурном мире не только Берлина – всей Германии: Фёдор «знал, за что ненавидит немцев: ...за фольмильх и экстраштарк, – подразумевающие законное существование разбавленного и поддельного; за полишинелевый строй движений...; за любовь к частоколу, ряду, заурядности; за культ конторы; за то, что если прислушаться, ...неизбежно услышишь цифры, деньги; за дубовый юмор и пипифаксовый смех; ...за видимость чистоты...; за склонность к мелким гадостям, за акkuratность в гадостях...; за жестокость во всем...» (с. 73).

В целом мотивы «чужого дома» и «несвободы» оформляют замкнутость социокультурного пространства, в котором проживают эмигранты в Берлине. Эта замкнутость обусловлена нежеланием изгнанников интегрироваться в европей-

ский мир, ценности которого они презирают не меньше, чем советские, и стремлением сохранить русскую социокультурную среду.

Попытка эмигрантов воссоздать в Берлине Россию проявляется в организации общественной жизни, встреч, творческих вечеров, издательств, в обустройстве жилья, в вещном наполнении пространства. Квартира четы Чернышевских, у которых часто бывал Фёдор, описана как «очень небольшая, пошлово обставленная, дурно освещенная комната», но благодаря общению, отношению ее хозяев к гостям «...теснота помещения претворилась в подобие какого-то трогательного *уездного уюта*...». В межличностном общении с соотечественниками возникает альтернативное внешнему берлинскому индивидуальное пространство: Чернышевские дорожат встречами с Фёдором, так как он напоминает их рано умершего сына, Зина чувствует свободу и самореализованность только в редкие часы общения с друзьями отца, Фёдор перед Рождеством общается с мамой, и это позволяет перенестись в мир воспоминаний о России, об отце. Находясь в столице европейского государства, эмигранты не хотят вписаться в социокультурное пространство Европы, а предпочитают сохранять свои культурные традиции, осознав их ценность в обстоятельствах утраты Родины. Именно с этой возможностью 'преодолеть географию' ментально – в памяти, в общении, в творчестве – связано представление о внутренней свободе в романе.

Проявление «свободы» в «Даре», на наш взгляд, позволяет выделить, условно говоря, три 'пирамидальных яруса' значений этого понятия, соотносимых с разными этапами личностного становления Фёдора. Нижний ярус пирамиды – самое ограниченное понимание «свободы», оно связано с социальным статусом и материальными возможностями (этим соизмеряются «внешняя» свобода, имеющаяся у аристократии в России, у немцев в Германии, и стесненность эмигрантов). Вторым «уровнем» является открытость человека знанию, дающему более широкое понимание социальных явлений, культуры, природы и ее законов. Дело здесь не только в социальных возможностях, а в особенностях личности: при равных условиях один может быть равнодушен к познанию, а второй открыт новому (ориентиром и учителем для Фёдора выступает отец Константин Кириллович, известный и признанный в профессиональных кругах путешественник-натуралист). Самым высоким уровнем проявления «свободы» является самопознание, личностная независимость, возможность возвыситься над социальными условиями в акте созидания собственного индивидуального мира. К этому приходит Фёдор, преодолевая унижительное чувство эмигрантской неписанности в берлинский социум и финансовой несвободы. Его освобождение дано в романе через пространственную образность – топос Груневальда.

После публикации книги «Жизнь Чернышевского» Фёдор добился признания, «имя Годунова-Чердынцева сразу, как говорится, выдвинулось, и, поднявшись над пестрой бурей критических толков, утвердилось у всех на виду, ярко и прочно» (с. 276). Годунов-Чердынцев вновь обрел состояние социальной и бытовой свободы, знакомой ему с детства, чему способствовал выход в природное пространство. Это произошло не потому, что исчезли житейские проблемы, а потому, что он ощутил себя внутренне свободным: «Федор Константинович с раннего утра уходил на весь день в Груневальд, забросив уроки и стараясь не думать о давно просроченном платеже за комнату. <...> теперь при новом свете жизни (в котором как-то смешались возмужание дара, предчувствие новых трудов и близость полного счастья с Зиной) он испытывал прямое наслаждение...» (с. 294).

Вместо переживания ситуации заброшенности в чужом мире Фёдор ощутил вписанность в бытие, сохранив экзистенциальные ценности – свободу и достоинство личности [Семёнова, 2001, с. 507]. В берлинском Груневальде Фёдор испытал состояние трансцендирования, что придало ему уверенности. Он ощутил себя по-новому, вписанным не в городской пейзаж и социальные отношения, а в природный универсум, в котором он не мал и незащищен, а подобен первочеловеку в раю: «...я чувствовал себя атлетом, тарзаном, адамом, всем, чем угодно, но только не голым горожанином»; «я испытывал не меньшее наслаждение, чем если бы в этих трех верстах от моей Агамемнонштрассе находился первобытный рай» (с. 299).

Вместе с тем Фёдор отмечает разницу в восприятии Груневальда им и берлинцами, еще раз подчеркивая социокультурные отличия немцев от русского писателя-эмигранта: «...этот лесной мир, образ которого я собственными средствами как бы приподнял над уровнем тех нехитрых воскресных впечатлений (бумажная дрянь, толпа пикникующих), из которых состояло для берлинцев понятие “Груневальд”» (с. 298). Для берлинцев Груневальд – часть их обыденной жизни, они проявляют потребительское отношение к природе. Для Фёдора уход в лес означает отдохновение от дисгармоничной среды, чуждого социокультурного пространства. Это состояние венахождения помогает Фёдору в самоидентификации, в личном самоопределении. Он уходит в «глушь, в дикие, тайные места», чувствуя свою связь с трансцендентным, до конца непознаваемым бытием. По мысли Е. А. Полевой, так Набоковым «экзистенциальная бездомность противопоставляется вписанности в земное бытие» [Полева, 2008а, с. 111].

Итак, социокультурное пространство Берлина в романе «Дар» представлено преимущественно в контексте темы эмигрантского существования. Берлин воплощает чужое пространство, его жители – носители чуждых Фёдору ценностей. Однако такая среда актуализирует родные, русские социокультурные коды, заложенные в основу личности с детства и определяющие на всю жизнь восприятие окружающего мира. Набоков интерпретирует как знаки социокультурного благополучия не материальные ценности, а личностные качества.

Многогранное использование в романе архетипических мотивов «дома», «чужого дома» и «бездомья» позволяет Набокову раскрыть этапы личностного и писательского формирования главного героя романа Фёдора Годунова-Чердынцева. Аристократизм духа, опора на семейные ценности и осмысленное отношение к традициям русской литературы позволили Фёдору в чуждой социокультурной среде подняться над социальной малостью, сохранить собственное достоинство и осознать личностную свободу, которая проявилась в выборе возлюбленной, авторитетов, в формулировании собственного взгляда, выраженного в творчестве (книге о Н. Г. Чернышевском).

Список литературы

Андреева А. Семантика пространственных образов в драме В. Набокова «Человек из СССР» // Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог. Томск: Изд-во Том. гос. ун-та. 2009. Вып. 10: Поэтика драмы в литературе XX века. С. 68–83.

Апресян Ю. Д. Роман «Дар» в космосе Владимира Набокова. Ст. 2 // Изв. РАН. Серия лит. и яз. 1995. № 4. С. 6–23.

Бергманн Ю., Ханике Р., Эккольт М., Шёнбергер Б., Кёмлер А., Мёнх Р., Залм К., Штайнберг Р., Целе С. Берлин и Потсдам. Путеводитель. СПб.: Дискурс Медиа, 2010. 96 с.

Бойд Б. В. Набоков: Русские годы: Биография: Пер. с англ. М.: Независимая Газета; СПб.: Симпозиум. 2001. 695 с.

Вертинская О. М. «Свой» и «чужой» дом в произведениях В. Набокова // Вестник Балт. федерал. ун-та им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. 2006. № 8. С. 29–34.

Закуренко Л. Ю. Ключ к роману и ключи в романе В. В. Набокова «Дар» // Русская словесность. 2004. № 2. С. 11–19.

Лаптева М. П. Феномен непонимания: Германия в жизни В. В. Набокова // Вестник Перм. ун-та. Серия: История. 2002. Вып. 3. С. 61–69.

Лотман Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя // Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1988. С. 252–253.

Михеевичева Е. А., Лаврушина А. В. Хронотоп «Берлин – Россия» в цикле рассказов В. В. Набокова «Возвращение Чорба» // Учен. зап. Орлов. гос. ун-та. 2013. № 2 (52). С. 205–210.

Набоков В. В. Дар: Роман // Набоков В. В. Собр. соч.: В 3 т. М.: Правда, 1990. Т. 3. С. 5–330.

Набоков В. Предисловие к английскому переводу романа «Дар» («The Gift») / Пер. с англ. Г. Левинтона. 1997. URL: <http://nabokov-lit.ru/nabokov/kritika-nabokova/the-gift.htm> (дата обращения 20.06.2020).

Полева Е. А. Мотив исчезновения в романах В. Набокова конца 1920 – 1930-х годов: Дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2008а. 227 с.

Полева Е. А. Концепт «смерть» в романе В. Набокова «Дар» // Семантика и прагматика слова в художественном и публицистическом дискурсах: Материалы IX Всерос. науч.-практ. семинара. Томск: Изд-во ТГУ, 2008б. С. 72–79.

Полева Е. А. Концепция истории в романе В. Набокова «Дар» // Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог. Томск: Изд-во ТГУ, 2005. Вып. 7: Версии истории в русской литературе XX века. С. 57–74.

Семёнова С. Г. Русская поэзия и проза 1920 – 1930-х годов. Поэтика – Видение мира – Философия. М.: ИМЛИ РАН, Наследие, 2001. 583 с.

Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. 542 с.

Степанова Н. С. В поисках ключей от тайны бытия: мотив ключа в романе В. В. Набокова «Дар» // Изв. Юго-Западного гос. ун-та. Серия: Лингвистика и педагогика. 2015. № 1 (14). С. 58–64.

Томас У. Набоков в Берлине. М.: Аграф, 2004. 256 с.

Узбекова Г. Ф. «Чужое слово» и символика ключей в русскоязычных романах В. В. Набокова // Вестник ВГК. Серия: Филология. Журналистика. 2016. № 3. С. 91–93.

Ушаков Д. Н. Толковый словарь: В 4 т. М.: 16-я типография треста Полиграфкнига, 1947. Т. 4. 1502 с.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Б. А. Ларина. 2-е изд., стереотип. М.: Прогресс, 1987. Т. 3.

Шутова Е. В. Бытие архетипов «Дом» и «Бездомье» в русской литературе // Вестник Курган. гос. ун-та. 2010. № 3 (19). С. 77–81.

Яновский А. О романе Набокова «Машенька» // В. В. Набоков: Pro et contra. Антология. СПб.: РХГИ, 1997. Т. 1. С. 842–850.

References

- Andreeva A. Semantika prostranstvennykh obrazov v drame V. Nabokova “Chelovek iz SSSR” [Semantics of spatial images in V. Nabokov’s drama “The man from the USSR”]. In: *Russkaya literatura v 20 veke: imena, problemy, kul’turnyy dialog. Vyp. 10: Poetika dramy v literature 20 veka* [Russian literature in the 20th century: Names, problems, cultural dialogue. Iss. 10: Poetics of drama in the literature of the 20th century]. Tomsk, TSU Publ., 2009, pp. 68–83.
- Apresyan Yu. D. Roman “Dar” v kosmose Vladimira Nabokova. St. 2 [The novel “Gift” in outer space by Vladimir Nabokov. Art. 2]. *The Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language*. 1995, no. 4, pp. 6–23.
- Bergmann J., Hanike R., Eckolt M., Schönberger B., Kömmler A., Mönch R., Salm K., Steinberg R., Zehl S. *Berlin i Potsdam. Putevoditel’* [Berlin and Potsdam. A guidebook]. St. Petersburg, Diskus Media, 2010, 96 p.
- Boyd B. V. *Nabokov: Russkie gody: Biografiya: Per. s angl.* [Nabokov: Russian years: Biography: Transl. from English]. Moscow, Nezavisimaya Gazeta, St. Petersburg, Symposium, 2001, 695 p.
- Fasmer M. *Etimologicheskii slovar’ russkogo yazyka: V 4 t.* [Etymological dictionary of the Russian language: In 4 vols]. B. A. Larin (Ed.). 2nd ed. Moscow, Progress, 1987, vol. 3.
- Lapteva M. P. Fenomen neponimaniya: Germaniya v zhizni V. V. Nabokova [The phenomenon of misunderstanding: Germany in the life of V. V. Nabokov]. *Perm university herald. History*. 2002, iss. 3, pp. 61–69.
- Lotman Yu. M. Khudozhestvennoe prostranstvo v proze Gogolya [Art space in Gogol’s prose]. In: Lotman Yu. M. *V shkole poeticheskogo slova: Pushkin. Lermontov. Gogol’: Kn. dlya uchitelya* [In the school of poetic words: Pushkin. Lermontov. Gogol’: A teacher’s guide]. Moscow, Prosveshchenie, 1988, pp. 252–253.
- Mikheivicheva E. A., Lavrushina A. V. Khronotop “Berlin – Rossiya” v tsikle rasskazov V. V. Nabokova “Vozvrashchenie Chorba” [Chronotope “Berlin-Russia” in the cycle of stories by V. V. Nabokov “Return of Chorba”]. *Scientific notes of Orel state university*. 2013, no. 2 (52), pp. 205–210.
- Nabokov V. V. Dar: Roman [The Gift: a novel]. In: Nabokov V. V. *Sobr. soch.: V 3 t.* [Coll. of works: in 4 vols]. Moscow, Pravda, 1990, vol. 3, pp. 5–330.
- Poleva E. A. *Motiv ischeznoeniya v romanakh V. Nabokova kontsa 1920–1930-kh godov* [Motif of disappearance in V. Nabokov’s novels of the late 1920–1930]. Abstract of Cand. philol. sci. diss. Tomsk, TSU, 2008, 227 p.
- Poleva E. A. Kontsept “smert’” v romane V. Nabokova “Dar” [The concept of “death” in V. Nabokov’s novel “The Gift”]. In: *Semantika i pragmatika slova v khudozhestvennom i publitsisticheskom diskursakh: Materialy 9 Vseros. nauch.-prakt. seminar* [Semantics and pragmatics of the word in artistic and journalistic discourses: Proceedings of the 9th all-Russian sci. and pract. seminar]. Tomsk, TSU Publ., 2008, pp. 72–79.
- Poleva E. A. Kontseptsiya istorii v romane V. Nabokova “Dar” [The concept of history in V. Nabokov’s novel “The Gift”]. In: *Russkaya literatura v 20 veke: imena, problemy, kul’turnyy dialog. Vyp. 7: Versii istorii v russkoy literature 20 veka* [Russian literature in the 20th century: names, problems, cultural dialogue. Iss. 7: Versions of history in Russian literature of the 20th century]. Tomsk, TSU Publ., 2005, pp. 57–74.
- Semenova S. G. *Russkaya poeziya i proza 1920 – 1930-kh godov. Poetika – Videnie mira – Filosofiya* [Russian poetry and prose of the 1920s – 1930s. Poetics – Vision of the world – Philosophy]. Moscow, IWL RAS, Nasledie, 2001, 583 p.

Shutova E. V. Bytie arkhetyпов “Dom” i “Bezdom’e” v russkoy literature [The existence of the archetypes “Home” and “Homeless” in Russian literature]. *Vestnik KGSU*, 2010, no. 3 (19), pp. 77–81.

Sorokin P. A. *Chelovek. Tsivilizatsiya. Obshchestvo* [Man. Civilization. Society]. Moscow, Politizdat, 1992, 542 p.

Stepanova N. S. V poiskakh klyuchey ot tayny bytiya: motiv klyucha v romane V. V. Nabokova “Dar” [In search of keys to the mystery of being: the key motif in Nabokov’s novel “The Gift”]. *Proceedings of South-West State University. Series Linguistics and Pedagogy*. 2015, no. 1(14), pp. 58–64.

Tomas U. *Nabokov v Berline* [Nabokov in Berlin]. Moscow, Agraf, 2004, 256 p.

Ushakov D. N. *Tolkovyy slovar’: V 4 t.* [Explanatory dictionary: In 4 vols]. Moscow, 6-ya tipografiya tresta Poligraf-kniga, 1947, vol. 4, 1502 p.

Uzbekova G. F. “Chuzhoe slovo” i simbolika klyuchey v russkoyazychnykh romakh V. V. Nabokova [“Alien word” and the symbolism of keys in Russian-language novels by V. V. Nabokov]. *Vestnik VSU. Series: Philology. Journalism*. 2016, no. 3, pp. 91–93.

Vertinskaya O. M. “Svoy” i “chuzhoy” dom v proizvedeniyakh V. Nabokova “Own” and “alien” house in the works of V. Nabokov]. *IKBFU’s Vestnik. Philology, pedagogy, and psychology*. 2006, no. 8, pp. 29–34.

Yanovskiy A. O romane Nabokova “Mashen’ka” [About Nabokov’s novel “Mashen’ka”]. In: *V. V. Nabokov: Pro et contra. Antologiya* [V. V. Nabokov: Pro et contra. Anthology]. St. Petersburg, RCHA, 1997, vol. 1, pp. 842–850.

Zakurenko L. Yu. Klyuch k romanu i klyuchi v romane V. V. Nabokova “Dar” [The key to the novel and the keys in V. V. Nabokov’s novel “The Gift”]. *Russkaya slovesnost’*. 2004, no. 2, pp. 11–19.

Сведения об авторе

Мастепак Татьяна Геннадьевна – аспирант Томского государственного педагогического университета (Томск, Россия)
tanjamastepak@gmail.com

Information about the author

Tatyana G. Mastepak – Postgraduate Student at Tomsk State Pedagogical University (Tomsk, Russian Federation)
tanjamastepak@gmail.com

УДК 82-31, 821.161.1
DOI 10.17223/18137083/74/14

**Игровая историософия А. Иванова:
насилие формы и реабилитация смысла
(на материале романов «Псоглавцы» и «Пищеблок»)**

М. Л. Штуккерт

*Иркутский государственный университет
Иркутск, Россия*

Аннотация

Статья посвящена анализу специфики историософии А. Иванова в двух его романах, с точки зрения жанровой формы максимально не соответствующих масштабности исторической проблематики. Романы «Псоглавцы» и «Пищеблок» используют готическую жанровую модель, сохраняя специфику пространства и тип героя. Однако родовое готическое время заменяется историческим, переживаемым лично, субъективно. При этом остается такая специфическая черта готического времени, как повтор, проигрывание кризисного момента прошлого (например, явление призрака как напоминание о совершенном преступлении) до тех пор, пока равновесие не будет восстановлено. Автор отказывается от векторного изображения национальной истории, заставляя историческое время повторяться в цикле, напоминающем не только литературную готику, но и компьютерную игру. Речь идет не о дурной бесконечности, но об игровом повторе, рано или поздно приводящем к «прохождению» кризисного участка истории. Таким образом, в борьбе с жанровой формой происходит реабилитация содержания национальной истории.

Ключевые слова

Алексей Иванов, «Псоглавцы», «Пищеблок», историософия, игровые формы в литературе, жанровое мышление

Для цитирования

Штуккерт М. Л. Игровая историософия А. Иванова: насилие формы и реабилитация смысла (на материале романов «Псоглавцы» и «Пищеблок») // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 182–190. DOI 10.17223/18137083/74/14

**Game historiosophy of A. Ivanov:
the violence of form and the rehabilitation of meaning
(based on the novels “Psoglavtsy” and “Pishcheblok”)**

M. L. Shtukkert

*Irkutsk State University
Irkutsk, Russian Federation*

Abstract

The paper analyzes the specificity of Ivanov’s historiosophy in two novels, “Psoglavtsy” and “Pishcheblok,” which are particularly interesting in this sense since in terms of genre, they do not correspond to the scale of historical issues as much as possible. These novels use the

© М. Л. Штуккерт, 2021

ISSN 1813-7083
Сибирский филологический журнал. 2021. № 1
Siberian Journal of Philology, 2021, no. 1

Gothic genre model, preserving the specifics of artistic space and type of hero. However, the generic Gothic time is replaced by historical time, experienced personally and subjectively. Meanwhile, a specific feature of Gothic time is retained, such as repetition, replaying a crisis moment of the past until the balance is restored. The author refuses a vector image of national history, forcing historical time to repeat itself in a cycle that resembles not only literary Gothic but also a computer game. It is not a question of bad infinity, but a game repetition, eventually leading to the “passage” of a crisis section of history. Thus, the struggle against genre form rehabilitates the content of national history. This principle also defines the history concept as a whole: A. Ivanov tends to see the historical process as including both the aggression of “form” (empire, state power, fate) and the defense of “content” (humanity revealed in individual choice), which, being opposed, are equally necessary for each other. Not only does the method based on the struggle and mutual necessity of form and content shape historiography in A. Ivanov’s novels, but it also organizes their artistic world. Ivanov’s game historiography is thus opposed to a postmodern game tending to destruct form and meaning.

Keywords

Aleksey Ivanov, “Psoglavtsy,” “Pishcheblok,” historiography, game forms in literature, genre thinking

For citation

Shtukkert M. L. Game historiography of A. Ivanov: the violence of form and the rehabilitation of meaning (based on the novels “Psoglavtsy” and “Pishcheblok”). *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 182–190. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/14

«Русская самобытная мысль пробудилась на проблеме историософической», – писал Н. А. Бердяев, имея в виду рождение национальной философской традиции в XIX в. [2016, с. 42]. К историософским вопросам обращалась русская классика XIX и XX столетий, интерес к ним не угасает и сейчас. В меру своих возможностей, с разными целями вторгается в это проблемное поле и массовая литература. И здесь же, как кажется, русская мысль нередко заходит в тупик.

Среди многочисленных современных художественных спекуляций и художественных концепций, связанных с осмыслением национальной истории, выделяется историософская позиция А. Иванова. Это связано не только с разнообразием его профессиональных поприщ (писатель, сценарист, педагог, музейный работник, краевед, экскурсовод, популяризатор истории Перми), не только с его востребованностью и «экранизируемостью» – его романам также присущ ярко выраженный региональный компонент. Писательская стратегия А. Иванова – сознательное местничество: его тексты подчеркнута, провокационно «не имперские». Это соблазнительно прочитать в русле конфликта провинции и столицы¹, однако авторская позиция провокационностью не ограничивается.

Особенность историзма А. Иванова состоит, во-первых, в его удивительной «всеядности», разнообразии форм проявления, вплоть до самых массовых: он являет себя, пытаясь охватить максимально доступное культурное пространство. Пример – «Тобол», исторический роман, ставший частью глобального проекта: книга в двух частях, по которой автор создал сценарий для сериала, явилась также основой для отдельного полнометражного фильма, вышедшего в прокат в 2018 г. А. Иванов словно подчеркивает эпичность «Тобола» масштабностью массового

¹ «...на этом противостоянии и держится русская культура – словно электрическая дуга между катодом и анодом» [Щербино, 2005].

проекта. Это дает возможность автору быть услышанным, доступным, но приводит и к ряду проблем².

Во-вторых, очевидно, что для автора передача чувства истории связана с проблемой выбора и определения жанра. Так, «Сердце пармы» и «Золото бунта» иногда описываются как «историческое фэнтези» [Кузнецов, 2003], что неверно, но показательно: читатель чувствует удивительную, почти фантастическую свободу автора в осмыслении самых болезненных вопросов национальной идентичности³. «Сердце пармы» сравнивают с романами Дж. Р. Р. Толкина, имея в виду их мифопоэтическую природу [Кузнецов, 2003; Лобин, 2012]. При издании «Сердце пармы» был определен как роман-легенда. Заметно в исторических романах А. Иванова и жанровое влияние сказа: так, в связи с «Золотом бунта» автор отметил, что в качестве образца для себя выбрал скорее Бажова, чем Мамина-Сибиряка⁴. А. Иванов, как кажется, ищет форму, которая освободила бы его от жесткости исторического факта: например, «Тобол» он определяет как «роман-пеплум». Очевидно, что в классическом историческом романе, несмотря на его толерантность к вымыслу, автору «тесно».

Интересно, что при таком вольном обращении с жанровыми границами А. Иванов пытается привнести историзм в художественные пространства, во-первых, организованные максимально канонично и жестко, во-вторых, не приспособленные к работе с национальным историческим временем. Так, историзм присущ

² Например, проблема языка. Намеренная усложненность языка в романах А. Иванова нередко становится самой настойчивой деталью «местного колорита». Так, в «Сердце пармы» с первых страниц обращает на себя внимание сложность, с которой читателю приходится «пробираться» через дебри архаизмов и диалектизмов, что вызывает ассоциации с чтением древнерусского текста (в целом понятно, но хочется иметь словарь и перевод). Это не случайно, так как «Сердце пармы» отчасти имитирует летописную традицию, имея в интертексте и «Слово о полку Игореве» (тема земли, мотив червленых щитов). Используя словари В. Даля и В. П. Вереха, А. Иванов, по его признанию, искал «красивые» слова и для создания языка сплавщиков в романе «Золото бунта», так как «пространство без номинации – пустота» (см. статью А. Иванова «Золото бунта» на странице его официального сайта: <http://ivanproduction.ru/literoturovedenie/26.html>, дата обращения 27.07.2020). Такой метод создает атмосферность, стилизуя язык повествователя под «язык пространства». Эта особенность авторской манеры может быть расценена и как сознательно используемый игровой прием, и как стилистическая шероховатость (последняя мысль часто звучит в отзывах читателей и некоторых критиков). С другой стороны, Л. Данилкин замечает, что проблема языка в исторических романах А. Иванова не так уж серьезна [Данилкин, 2006]. Об этой проблеме с лингвистической точки зрения пишет Л. А. Колобаева [2020].

³ Вымысел не является чем-то необычным для исторического романа на любом этапе его развития, но А. Иванов не стремится подчинить вымысел правде факта, он, скорее, пытается уравновесить историческую правду и логику фантастического. Ср, например, противостояние чердынского князя Михаила и Асыки в «Сердце пармы». Это и политическое соперничество, и вражда из-за женщины, но есть и еще одно не менее важное объяснение: оба они хумляльты, люди, наделенные мистическим долголетием, которые не могут умереть до тех пор, пока до конца не исполнят свою судьбу. Выполнив предназначение, они умирают одновременно, их противостояние завершается, но ни политические, ни личные вопросы при этом не оказываются решенными. Как определяет свой метод сам автор, «...не в формате фэнтези, а в формате реалистического допущения» (см. статью А. Иванова «Золото бунта» на странице его официального сайта: <http://ivanproduction.ru/literoturovedenie/26.html>, дата обращения 27.07.2020).

⁴ А. Иванов. «Золото бунта». URL: <http://ivanproduction.ru/literoturovedenie/26.html> (дата обращения 27.07.2020).

даже самым развлекательным его романам, наиболее близким к массовой литературе и ориентированным на традиции западноевропейской готики («Псоглавцы», издан под псевдонимом «Алексей Маврин», и «Пищоблок»). Здесь проблема жанра стоит еще более остро. Оба романа на первый взгляд кажутся триллерами в духе Стивена Кинга (в «Псоглавцах» американский «король ужаса» упоминается прямо – в литературных ассоциациях главного героя). О влиянии неоготики свидетельствуют типы героев, сюжетные схемы, художественное пространство и атмосфера страха, декоративное использование фольклорных элементов⁵. Этот художественный мир, требующий известной камерности, автор попытался соединить с масштабными, кризисными эпизодами национальной истории (Олимпиада-80 как последний всплеск силы и красоты Советского Союза в «Пищоблоке» и агонизирующая на руинах Союза российская глубинка в «Псоглавцах» – в обоих романах звучит мотив распада, умирания).

Из названных романов именно «Псоглавцы» и «Пищоблок» кажутся более интересными в плане выражения концепции истории, так как в них выбор жанровой модификации может показаться особенно неподходящим для такой задачи. Литературная готика и неоготика, основанные на их открытиях массовые триллеры и хорроры в целом чужды историософии, национальная история может быть представлена в них скорее как фон. Названные жанровые модификации ориентированы на историю рода (фамильные поместья, замки, легенды, тайны, пороки – все это уже есть в «Замке Отранто» Х. Уолпола) и личную историю (начиная с романтических готических новелл). Несмотря на всю свою подвижность и вариативность, готическая литература тяготеет к внешней формульности и сохранению жанровой сущности, особенно в своих массовых и «cultural middle-class» вариантах. В этом смысле оба романа А. Иванова, настойчиво отсылающие нас к кризисным и еще не отрефлексированным моментам недавней национальной истории, помещенным в отчетливо воспроизведенную и хорошо узнаваемую оболочку «хоррора», могут показаться пародией или неуместной игрой, особенно неподготовленному читателю. Автор использует образы, которые, оставаясь готически увлекательными, аккумулируют в себе болезненные аспекты национальной исторической памяти. Так, в технике коллажа созданы образы Псоглавцев и вампиров. Для гротескных Псоглавцев автор находит множество культурных контекстов: оборотень из фильмов ужасов, существо из компьютерных игр (гнолл), Анупис и святой Христофор, запрещенный к изображению в своей звериной ипостаси. Однако исторически те же Псоглавцы – символ раскольничьего бунта (сопротивление насилию, в том числе насилием) и одновременно нечеловеческой жестокости власти (ассоциация с опричниками, их метлами и собачьими головами у сёдел), это и «торфяные гапоны», т. е. стражники, «боги конвоя» [Маврин, 2011]. В «Пищоблоке» пионерская звездочка, галстук и знамя становятся вампирскими оберегами, защищающими от солнечного света. Главный вампир («Черный стратилат» и одновременно почетный советский пенсионер) в юности берет себе имя Серп (символика фаз луны, орудие мирного труда и атрибут смерти), его брата, тоже вампира, звали Молотом, они оба – герои Гражданской вой-

⁵ Ср., например, в «Псоглавцах» придуманный автором заговор, который дважды читает главный герой: «Месяц Золотые Рожки обрати зверя в человека пролить мне ножом булатным его руду горячую» [Маврин, 2011, с. 280].

ны, соратники Чапаева, впоследствии – сотрудники НКВД⁶, воплощение агрессивной красоты советской истории [Иванов, 2018]⁷.

Если рассматривать подобные авторские находки как «ошибку», придется констатировать, что «ошибку» эту А. Иванов осознает и повторяет. Романы отделяют друг от друга 7 лет, что немало для активно пишущего автора; при этом сохранение интереса к определенным художественным формам и устойчивость ряда элементов художественной философии налицо. Оба романа получили самые противоречивые отзывы исследователей, критиков [Сухих, 2019, с. 115], читателей. Как кажется, не последнюю роль в этом играет жанровое мышление, вступающее в противоречие с писательской практикой.

Однако анализ романов А. Иванова в контексте жанрового мышления только кажется легким. Сам автор говорит о «Пищевом блоке» следующее: это «образцовая пионерская история <...> это не глумлѐж над советским строем, не постмодернистский фарс и не жанровое произведение, это очень светлый, ностальгический, радостный и увлекательный роман»⁸. Все это, конечно, не мешает роману демонстрировать определенные жанровые черты. Однако очевидно, что его создателю важно, чтобы читатель пошел дальше жанровых клише, возможно, поэтому ряд художественных особенностей литературной готики дан подчеркнуто гротескно. В одном из интервью А. Иванов объясняет свои художественные опыты «новым форматом», который он определяет как метамодернизм: «Постмодернизм берет литературу и безжалостно переделывает ее <...> А метамодернизм словно бы говорит: “А мне нравится, как было, я не хочу ломать, я хочу поиграть еще раз, но на новом уровне сложности”. <...> В метамодернизме литература сохраняет классическую драматургию и все прочие традиции, но реализм служит несколько иной цели. Он отражает не вещественный мир, а идеи, которые управляют этим миром. Поэтому, возможно, фантастическое, но все равно оно реальное» [Башмакова, 2018].

Как можно заметить, позиция автора выражена несколько сумбурно. Так, реалистический роман никогда не изображал вещный мир только ради него самого, а «идеи, управляющие миром», мы замечаем, например, в прозе Ф. М. Достоевского; нельзя забывать и о магическом реализме. Однако еще во времена «Золота бунта» А. Иванов признавал себя автором, действующим по законам постмодернизма («...с позиции постмодерна, ничего страшного: можно всё придумать самому, опираясь на семантику. Я и придумал. <...> Бажову было нельзя, а мне уже можно»⁹). В приведенной цитате нас занимает не столько теория постмодернизма, сколько определенная самим автором функция игры в создаваемом им художественном пространстве.

Можно предположить, что А. Иванов, не желая разрушать классический жанр полностью, тем не менее стремится преодолеть его диктат, рефлексии восприятия, иными словами, пытается преодолеть насилие формы. Эта напряженная борьба

⁶ Переосмысление дореволюционной и советской России с точки зрения мистической подоплеки национальной истории – традиционная основа игры, как в постмодернистской (В. Пелевин, В. Сорокин и др.), так и в массовой литературе (один из ярких примеров – книги Станислава Птахи из серии «Суровая готика»).

⁷ URL: <https://www.litres.ru/aleksey-ivanov/pischeblok/chitat-onlayn/> (дата обращения 27.07.2020).

⁸ Алексей Иванов о новом романе «Пищевом блоке». URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ckE_KYqHAMw&feature=emb_title (дата обращения 27.07.2020).

⁹ А. Иванов. «Золото бунта».

содержания и формы соотносится с идеей агрессивной природы национальной истории¹⁰. Подтверждение тому – тематика и проблематика исторических романов А. Иванова: противостояние власти и человечности, иерархии и свободы выбора, религии и веры, имперского центра и провинции.

Но зачем вообще обращаться к столь жесткой форме, как готический роман или неоготический рассказ, заставляя ее бороться с несвойственным ей содержанием, своей масштабностью и неосмысленностью разбивающим эту форму изнутри? Как известно, литературной готике свойственна известная эстетизация ужаса и агрессии – и в ней же заложена возможность их преодоления. Готическое пространство хаотично, замкнуто, неоднородно, наполнено собственной волей, скрывает в себе опасные тайны, играет с героем, угрожая ему гибелью и оставаясь для него непостижимым. Оно запретно, дискретно, но главное – оно создано памятью (о неотомщенном преступлении, о пережитом или непережитом ужасе, о чьей-то смерти и т. д.), следовательно, находится вне привычного хода времени, что подчеркивается пространственными границами («дом с привидениями», «проклятое место», «руины, населенные призраками» и т. д.). Готический мир – это мир вечного возвращения к той временной точке, в которой нарушился правильный порядок вещей, мир, организованный проигрыванием одной и той же ситуации зла и агрессии, иными словами, это мир, созданный страдающей памятью – памятью человека и пространства. Как кажется, именно этот повтор и создает ту изолированность готического пространства, о котором шла речь выше. В таких условиях рождается ощущение страха и неизбежности судьбы, однако в каком-то из циклов при появлении героя (чужака, приходящего извне, нарушающего границу) счастливый финал вполне возможен. Если «чужак» будет действовать в нужном ключе (интуитивно или обладая каким-то знанием), время сдвинется с «мертвой точки», повтор прекратится, произойдет преодоление насилия (правда, часто путем ответного насилия – «убить монстра»). Иными словами, художественная модель готики предполагает возможность гармонизации мира, занятого переживанием прошлого, давая ощущение приятного, контролируемого страха. Именно поэтому подобного рода тексты становятся особенно популярными в кризисные эпохи.

В «Псоглавцах» и «Пищевлоке» А. Иванов, воспроизводя узнаваемые жанровые компоненты готики, подверг значительным изменениям концепцию времени: он заменил готическое время национальным историческим; игровая природа готического пространства и авантюрный тип героя при этом сохраняются. Таким образом, в обоих романах обнажается противоречие: при сохранении жанровой формы готики ее жанровая сущность, включающая концепцию времени, трансформирована. Готический роман или неоготический рассказ, как любые другие жанры, задают определенную модель восприятия действительности, в чем исследователи обнаруживают известный терапевтический эффект: такая литература становится формой выражения и переживания коллективных страхов, определя-

¹⁰ Например, в «Сердце пармы» предлагается концепция национального исторического пути – принести себя в жертву жестокой земле, и в этом подвиге самоотречения присутствует идея насилия, если не над другими, то над собой. «Когда же эта земля и нашей станет? Храмы и города на ней строим, крестим ее, живем здесь уже сколько лет – когда же она и нашей станет? – Когда на три сажени вглубь кровью своей ее напоим» [Иванов, 2016, с. 111]. В «Пищевлоке» мальчик-пионер приносит себя в жертву ради победы над Черным стратилатом, сам становясь им (идея для русской литературы не нова – см. «Убить дракона» Е. Шварца). В «Псоглавцах» речь идет о наказании за «социокультурный проступок» [Маврин, 2011, с. 345].

ется как своего рода коллективная картина мира в кризисные эпохи существования культуры [Botting, 2001]. При этом готика предпочитает оставаться в пределах родового и/или личного времени. Включение в готический хронотоп национального исторического времени может быть расценено как борьба с жанровым канонем. С другой стороны, длительная традиция готической литературы порождает устойчивые рефлексии восприятия, сохраняющиеся и в игровых интерпретациях жанра, и тогда одним из результатов подобной борьбы может стать новая концепция национального исторического времени. Будучи помещенным в условия готической картины мира, оно отчасти наделяется характеристиками традиционного готического времени, ключевой особенностью которого является повторяемость, возвращение в наиболее болезненные моменты прошлого. При этом в любой из итераций сохраняется возможность разрешения конфликта. Подобная «гибридная» модель дает возможность преодоления агрессии, насилия – в том числе и формы. Форма в данном случае – это не только жанр, это и сама история, и извечные русские конфликты, ее организующие, и государство, и любая концепция.

Так, А. Иванов определяет основной конфликт «Пищеблока» как противостояние «мертвого», т. е. формы (государственной идеологии), и «живого» (любовь, дружба)¹¹. Нельзя сказать, что насилие преодолевается окончательно (финалы романов остаются открытыми). Более того, национальная история в целом развивается в единстве и борьбе «формы» (государства, империи, власти и т. д.) и «содержания» (стихийности пространства, чувства, мысли). Противоречивость этой борьбы особенно чувствуется в «Пищеблоке». Слово, ставшее названием романа, – это не только отсылка к опыту советской казённости, это в некотором роде символ борьбы с пожирающей агрессией истории. Вампиры буквально питались пионерами, и главная схватка со злом состоялась именно в пищеблоке лагеря: место невинных полдников – одновременно место, где кровавая история может принимать свою пищу. Но и осознание себя как свободно действующего субъекта истории, совершение сознательного выбора происходит все в том же пространстве лагерной столовой. Эту почти гегелевскую идею единства и борьбы противоположностей поддерживает и художественный метод Иванова: достаточно жесткая жанровая форма стремится подавить, но одновременно и акцентирует историософское содержание романов.

В таких условиях возможна реабилитация смысла национальной истории. Романы А. Иванова вообще отличает борьба с пустотой пространства – культурного или географического. Интересно, что описанный процесс поддерживается возможностью личного переживания, личного участия в игре истории, введения в ход глобальных событий личного времени¹². Герои романов А. Иванова близки современному читателю в той или иной части своего культурного опыта (увле-

¹¹ Алексей Иванов о новом романе «Пищеблок».

¹² Личное у А. Иванова вполне способно соединяться с эпикой истории, ср. его рассказ о том, как был написан роман «Золото бунта». Автор долгое время писал «в стол», не имея возможности посвятить себя своему призванию полностью: «Я жил по принципу римских легионеров: “делай, что должно, и будь, что будет”. Но в душе кипел гнев: почему судьба не подпускает меня к тому, для чего я и создан? И в “Золоте бунта” я поставил своего героя Осташу Перехода именно в эту ситуацию. Осташа – прирождённый сплавщик, но его отгоняют от реки и шельмуют. В его душу я вложил собственную ярость. И потому роман про XVIII век для меня в какой-то степени автобиографичен: в нём мои чувства и моя река» (А. Иванов. «Золото бунта»).

ченность компьютерными играми Кирилла, главного героя «Псоглавцев», ностальгия по пионерскому быту летнего лагеря в «Пищеблоке» и т. д.).

Рассуждая о метамодернизме, А. Иванов апеллирует к опыту компьютерных игр: пройти заново тот же этап, но с новыми умениями и знаниями, с новыми, более сложными задачами. Пространство остается тем же, правила те же, но герой накапливает опыт и умения, позволяющие ему «пройти» квест, победить «босса», пусть для этого придется повторить прохождение много раз. В конце концов какой-то из циклов завершится успехом. «Компьютерный» опыт игры ощущается уже в «Псоглавцах»: само появление Псоглавцев описывается как запустившаяся программа, а виды культурной преемственности в Европе и России рассматриваются как файловые системы разного типа. В этих условиях «вечное возвращение» российской истории перестает быть безнадежным. Иными словами, мы имеем дело с игровыми романами «без фиги в кармане» [Башмакова, 2018], где готическая концепция повторяющегося времени переплетается со стратегией геймплея.

Таким образом, «магический историзм» «Псоглавцев» и «Пищеблока» дает надежду на то, что при достаточном усердии и желании, повторяя все те же кризисные моменты истории, раз за разом переживая болезненный распад, мы имеем шанс накопить опыт, который позволит нам когда-нибудь пройти свой национальный «квест». В этом смысле историософия А. Иванова действительно становится игровой, раскрываясь в форме многократных повторений и вариаций. Возможно, в таком виде национальная история все же имеет смысл – прежде всего как процесс самопознания; эту игру можно пройти, зная правила, или хотя бы играть, понимая, что правила все-таки есть.

Список литературы

Башмакова М. «Постоять в стороне от зла невозможно». Писатель Алексей Иванов объяснил Марии Башмаковой, почему в романе «Пищеблок» от пионера до вампира – один шаг // Огонек. № 43. 2018. 12 нояб. С. 36. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3791870> (дата обращения 28.06.2020).

Бердяев Н. А. Русская идея. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. 320 с.

Данилкин Л. Диагностика пармы // Афиша Daily. 2006. 13 марта.

Иванов А. Пищеблок. М., 2018.

Иванов А. Сердце пармы. М.: АСТ, 2016. 507 с.

Колобаева Л. А. Слово и язык как проблема в романах А. Иванова // Изв. РАН. Серия литературы и языка. 2020. Т. 79, № 2. С. 13–18.

Кузнецов С. Кровь империи и печень врага // Русский журнал. Старое и новое. 2003. Вып. 9. 8 мая.

Лобин А. М. Эволюция историзма в романе Алексея Иванова «Сердце пармы» // Вестник Вят. гос. гуманитар. ун-та. 2012. Т. 1, № 2. С. 119–125.

Маврин А. (Алексей Иванов) Псоглавцы. СПб.; М.: Азбука; Азбука-Аттикус, 2011. 352 с.

Сухих О. С. Социальное и мистическое в романе А. Иванова «Пищеблок» // ПАЛИМПЕСТ. Литературоведческий журнал. 2019. № 3. С. 114–125.

Щербино К. Алексей Иванов: «Время покажет, кто Гомер, а кто хрен с горы» // Полит.Ру. 2005. 22 дек.

Botting F. (ed.). Gothic: Essays and Studies. Cambridge, 2001. 190 p.

References

- Bashmakova M. "Postoyat' v storone ot zla nevozmozhno". Pisatel' Aleksey Ivanov ob"yasnil Marii Bashmakovoy, pochemu v romane "Pishcheblok" ot pionera do vampira – odin shag ["It is impossible to stand aside from evil". Writer Alexei Ivanov explained to Maria Bashmakova why in the novel "Pischeblok" from pioneer to vampire – one step]. *Ogonek*. no. 43, 2018, 12 Nov., p. 36. URL: [https:// www.kommersant.ru/doc/3791870](https://www.kommersant.ru/doc/3791870) (accessed: 28.06.2020).
- Berdyayev N. A. *Russkaya ideya* [The Russian Idea]. St. Petersburg, Azbuka, Azbuka-Attikus, 2016, 320 p.
- Botting F. (Ed.). *Gothic: Essays and Studies*. Cambridge, 2001, 190 p.
- Danilkin L. Diagnostika parmy [The diagnostics of parma]. *Afisha Daily*. 2006, March 13.
- Ivanov A. *Pishcheblok* [The canteen]. Moscow, 2018.
- Ivanov A. *Serdtshe parmy* [The heart of parma]. Moscow, AST, 2016, 507 p.
- Kolobaeva L. A. Slovo i yazyk kak problema v romanakh A. Ivanova [Word and language as a problem in the novels of A. Ivanov]. *The Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Studies in Literature and Language*. 2020, vol. 79, no. 2, pp. 13–18.
- Kuznetsov S. Krov' imperii i pechen' vruga [Blood of the Empire and the liver of the enemy]. *Russkiy zhurnal. Staroe i novoe*. 2003, iss. 9, May 8.
- Lobin A. M. Evolyutsiya istorizma v romane Alekseya Ivanova "Serdtshe parmy" [Evolution of historicism in the novel of Alexei Ivanov "The Heart of Parma"]. *Herald of Vyatka State University*. 2012, vol. 1, no. 2, pp. 119–125.
- Mavrin A. (Aleksey Ivanov) *Psoglavtsy* [The Psoglavtsy]. St. Petersburg, Moscow, Azbuka, Azbuka-Attikus, 2011, 352 p.
- Shcherbino K. Aleksey Ivanov: "Vremya pokazhet, kto Gomer, a kto khren s gory" [Alexey Ivanov: "Time will tell who is Homer and who is a nonentity"]. *Polit. Ru*. 2005, Dec. 22.
- Sukhikh O. S. Sotsial'noe i misticheskoe v romane A. Ivanova "Pishcheblok" [Social and mystical in the novel of A. Ivanov "Pischeblok"]. *Palimpsest. Literaturovedcheskiy zhurnal*. 2019, no. 3, pp. 114–125.

Сведения об авторе

Штуккерт Мария Леонидовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы факультета филологии и журналистики института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского государственного университета (Иркутск, Россия)

sidelnikovamaria9@gmail.com
ORCID 0000-0002-8245-1109

Information about the author

Mariia L. Shtukkert – Candidate of Philology, Assistant Professor of the Department of Russian and Foreign Literature of the Faculty of Philology and Journalism of the Institute of Philology, Foreign Languages and Media Communication of the Irkutsk State University (Irkutsk, Russian Federation)

sidelnikovamaria9@gmail.com
ORCID 0000-0002-8245-1109

Языкознание

УДК 811.512.15'342
DOI 10.17223/18137083/74/15

Артикуляторные особенности барабинско-татарской фонемы *o /õ/* (по данным МРТ)

Т. Р. Рыжикова

*Институт филологии СО РАН
Новосибирск, Россия*

Аннотация

Рассматриваются артикуляторные особенности звука типа *o* в языке барабинских татар, который находится под угрозой исчезновения. Цель работы – описание гласной фонемы *o* по результатам магнитно-резонансного томографирования. В ходе исследования были выявлены конститутивно-дифференциальные признаки барабинско-татарской фонемы *o /õ/*, которая артикуляторно реализуется как узкая центрально-заднерядная огубленная *u*-образная фонема, однако акустически воспринимается как центрально-заднерядная огубленная *o*-образная настройка. Если по рядности не отмечается значительного варьирования, то по подъему разброс достаточно велик (от первой сильно-приоткрытой до четвертой основной ступени отстояния). Отличительной чертой барабинско-татарского *o* является наличие эйективности, другие характеристики, такие как назализация, фарингализация, увуларизация – факультативные.

Ключевые слова

экспериментальная фонетика, вокализм, артикуляция, МРТ, язык барабинских татар

Для цитирования

Рыжикова Т. Р. Артикуляторные особенности барабинско-татарской фонемы *o /õ/* (по данным МРТ) // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 191–208. DOI 10.17223/18137083/74/15

Articulatory peculiarities of the Baraba-Tatar phoneme *o /õ/* (on MRI data)

T. R. Ryzhikova

*Institute of Philology SB RAS
Novosibirsk, Russian Federation*

Abstract

The paper aims to describe the articulatory traits of the Baraba-Tatar phoneme *o /õ/* by the somatic methods. The method used is magnetic resonance imaging (MRI). Eighteen Barabian tomograms comprising *o*-type articulation have been described and analyzed according to the technique adopted in the V. M. Nadelyayev's Laboratory of Experimental-Phonetic Researches (Institute of Philology SB RAS). The text provides only general observations and conclusions, with a full description of all tomograms given in three tables. The experimental-phonetic analysis of the Baraba-Tatar tomograms of the vowel *o* allowed the author to draw several conclusions. There is a variability of the *o*-type tunings in Barabian, the most typical

© Т. Р. Рыжикова, 2021

ISSN 1813-7083
Сибирский филологический журнал. 2021. № 1
Siberian Journal of Philology, 2021, no. 1

being the central-back narrow labialized ejective realization. Though it is very narrow and is phonetically transcribed as /*ɔ̞*/, it is acoustically perceived as *o*. While producing the sound *o*, the oral and pharyngeal cavities become very small, producing the effect of tension. Additional narrowing occurs between the soft palate and the tongue back as well as between the upper teeth and the lower lip, thus preventing the airflow from free release. The lip position is also unusual: instead of protruding forward, the upper lip moves back, tightly covering the upper teeth to produce an interesting acoustic effect. To sum up, further investigation of all vocal system units of Baraba-Tatar is needed to draw ultimate conclusions about the typological belonging of the language under consideration.

Keywords

experimental phonetics, vocalism, articulation, MRI, Baraba-Tatar language

For citation

Ryzhikova T. R. Articulatory peculiarities of the Baraba-Tatar phoneme *o* /*ɔ̞*/ (on MRI data). *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 191–208. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/15

Введение

В статье рассматриваются артикуляторные особенности звука типа *o* в языке барабинских татар (ЯБТ). ЯБТ – язык миноритарного коренного населения Новосибирской области. Актуальность и безотлагательность изучения всех уровней языка обусловлена рядом причин: 1) отсутствие письменности; 2) утрата возможности компактного проживания носителей из-за миграции населения; 3) потеря языковой компетентности младшим поколением. Целью исследования является описание артикуляторных особенностей фонемы *o* /*ɔ̞*/ современными экспериментально-фонетическими методами.

Метод магнитно-резонансного томографирования (МРТ) в фонетических целях был впервые использован еще в конце 80-х гг. XX в. американскими лингвистами для изучения гласных и процессов, происходящих в глоточной полости [Baer et al., 1987, p. 2–6]. Невозможность прямого доступа к ларинксу и наблюдения динамических процессов в глотке оставалась на протяжении многих лет основным препятствием для изучения таких уникальных фонетических явлений, как фарингализация, ларингализация и др. Хотя уже отмечалось, что МРТ имеет ряд недостатков (см. [Vadin et al., 2002, p. 541–542; Steiner et al., 2014, с. 415] и др.), тем не менее в совокупности с другими соматическими и акустическими методами оно дает достоверную информацию об артикуляторных процессах.

Материалом для исследования в данной статье послужили томограммы гласного *o*, полученные от четырех женщин – носителей барабинского-татарского языка.

Методика исследования

МРТ-снимки были записаны в Институте «Международный томографический центр» СО РАН от четырех женщин-барабинок в томографе Philips Achieva Nova Dual 1.5 Тл, катушка Head/Neck synergy SENSE (Philips medical systems; Eindhoven, Netherlands). Точность и разрешение снимков напрямую коррелируют с напряженностью магнитного поля: если между томограммами, полученными на томографах мощностью в 3 и 1,5 Тл разница будет зависеть от настройки параметров съемки, то на средне- и низкочастотных томографах (меньше 1 Тл) невозможно получить снимки, пригодные для фонетического анализа [Марусина,

Казначеева, 2006, с. 54]. Полное описание методики можно найти в работах [Лютягин и др., 2013, Селютина и др., 2013].

Программа томографирования включала в себя шесть барабинских словоформ с целевым звуком в инициальной (после гортанной смычки) или межконсонантной позиции: *от* 'огонь', *оты* 'огонь=его', *йол* 'дорога', *қол* 'рука', *қорт* 'червяк', *қой* 'овца'. Полностью удалось записать программу от трех дикторов, у четвертого оказались только два снимка, пригодных для расшифровки (из-за металлических зубных имплантов, которые создают фонацию в полости рта и искажают полученные изображения). Таким образом, было получено 18 томограмм. Их постобработка выполнена в стационарных условиях в ЛЭФИ ИФЛ СО РАН (методику расшифровки см. [Наделяев, 1980; Уртегешев, 2009]).

Артикуляторные характеристики

На рис. 1 представлены томограммы нейтрального уклада органов речи при дыхании через нос в спокойном состоянии дд. 1, 2 и 3¹.

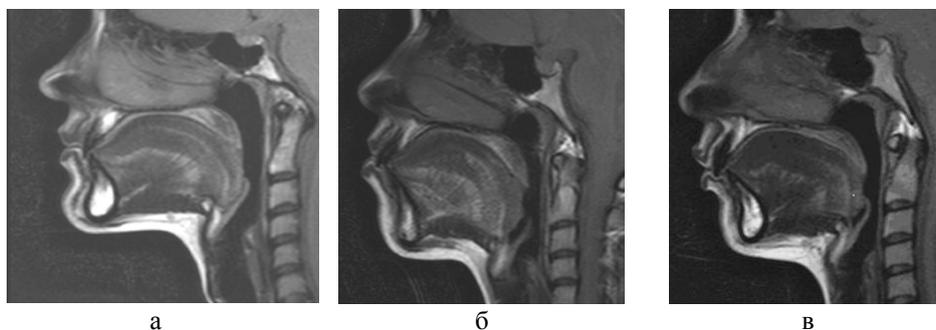


Рис. 1. Нейтральный снимок: а – д. 1; б – д. 2; в – д. 3
Fig. 1. Neutral position: a – sp. 1; b – sp. 2; c – sp. 3

По результатам анализа томограмм у д. 1 (табл. 1) можно констатировать следующее. Настройка в четырех случаях (в словоформах *от* 'огонь', *йол* 'дорога', *қол* 'рука', *қорт* 'червяк') из шести является схожей с небольшими отклонениями в степени отстояния языка от твердого нёба. Все тело языка оттянуто назад и поднято к мягкому нёбу. Кончик языка находится у основания нижних зубов. Во всех случаях, за исключением артикуляции в слове *йол* 'дорога', отмечается выпячивание средней части корня языка к задней стенке фаринкса, что свидетельствует о фарингализованности звука. Отсутствие фарингализации в слове *йол* 'дорога', возможно, объясняется очень узкой настройкой звука *о*: он является звуком первой сильноприоткрытой ступени отстояния. Во всех рассматриваемых случаях надгортанник либо плотно прижат, либо немного отстоит от корня языка. На всех томограммах отмечается провисание мягкого нёба и его отстояние от задней стенки фаринкса, что открывает доступ воздуху в носовую полость и свидетельствует о назализованности артикуляции. В двух случаях (*от* 'огонь', *қол* 'рука') увула напряжена и направлена к корню языка, что можно трактовать как увуларизацию настройки. В остальных случаях она провисает в ротово-глоточном резонаторе.

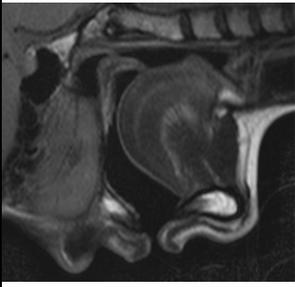
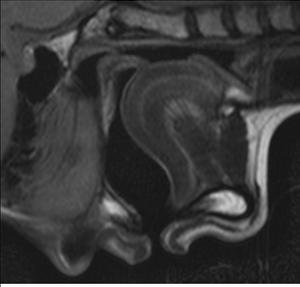
¹ В статье используются сокращения: д. – диктор; дд. – дикторы.

Таблица 1

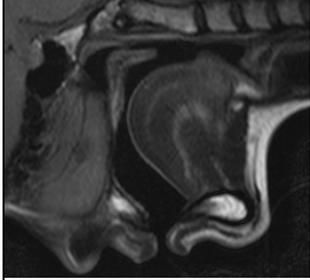
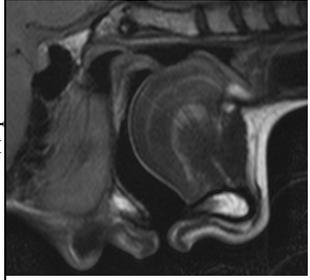
Артикуляторные характеристики барабинско-тагарского звука *o* (д. 1)

Table 1

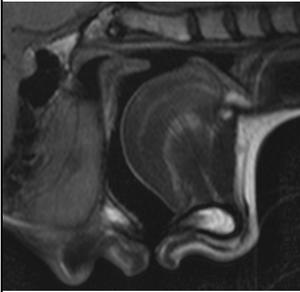
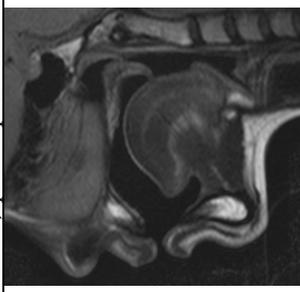
Articulatory characteristics of the Baraba-Tatar sound *o* (sp. 1)

Томограмма, словоформа	Описание	Определение	Точная фонетическая транскрипция
 <p data-bbox="869 1749 890 1868">от 'огонь'</p>	<p>Спинка языка имеет ровный округлый контур, кончик языка находится у самого основания нижних резцов, средняя часть корня выгнута по направлению к задней стенке фаринкса, надгортанник прижат к корню, мягкое нёбо приопущено к средне-межзубочной части спинки языка, образуя фокус звука, увула напряжена и много отстоит от задней стенки фаринкса, образуя для воздуха проход в носовую полость, задняя часть фаринкса выгибается по направлению к корню в нижней части, ларинкс немного приподнят, расстояние между зубами больше, чем между губами, хотя верхние зубы расположены очень близко к нижней губе</p>	<p>Гласный центрально-заднерядный продвинутый вперед второй ступени противопоставления лабиализован-ный слабоназализованный увуларизованный фарингализованный эйективный</p>	$\tilde{ö}_{\text{a}} \sim 1_{10} \text{ca}^{1/10} / \text{ca}^{1/4} / 2$
 <p data-bbox="1201 1715 1222 1906">оты 'огонь'=его'</p>	<p>Все тело языка отодвинуто назад в ротовой полости и поднято к мягкому нёбу, на передней части спинки языка отмечается глубокий поперечный прогиб, кончик языка упирается в язычную часть коронки нижних зубов, корень языка оттянут назад и выгибается по направлению к задней стенке фаринкса, надгортанник плотно прижат к корню, мягкое нёбо немного опущено и отодвинуто от задней стенки фаринкса, увула напряжена, надгортанник приподнят к корню языка, расстояние между зубами больше, чем между губами, верхние резцы сближаются с нижней губой</p>	<p>Гласный центрально-заднерядный второй ступени противопоставления лабиализованный назализованный увуларизованный фарингализованный эйективный</p>	$\tilde{ö} \sim (\text{ca}^{1/5})^{1/2} / (\text{ca}^{1/6})^{1/2} / 2$

Продолжение табл. 1

Томограмма, словоформа	Описание	Определение	Точная фонетическая транскрипция
 <p data-bbox="817 1736 842 1881">йол 'дорога'</p>	<p data-bbox="507 857 842 1646">Тело языка отодвинуто назад и поднято к мягкому нёбу, спинка языка имеет почти идеально ровную поверхность, кончик языка расположен у основания нижних зубов, надгортанник плотно прижат к корню языка, мягкое нёбо приопущено и отстоит от задней стенки фаринкса, открывая проход в носовую полость, увула провисает в фарингальной полости, ларинкс приподнят, межгубное расстояние меньше межзубного, верхние резцы незначительно отстоят от верхней губы</p>	<p data-bbox="507 537 842 857">Гласный центрально-заднерядный первой сильноприоткрытой ступени отстояния лабиализованный назализованный эйективный</p>	<p data-bbox="507 284 842 537">$\tilde{y}_{\text{м}}^{\text{сд}^1/3/89^1/2/1}$</p>
 <p data-bbox="1152 1747 1173 1870">кол 'рука'</p>	<p data-bbox="842 857 1173 1646">Тело языка смещено назад в ротовой полости, спинка языка ровная, имеет округлую форму, на передней части фиксируется небольшая поперечный прогиб, кончик языка расположен у основания нижних резцов, корень языка выпячен по направлению к задней стенке фаринкса, надгортанник немного отстоит от корня и повторяет его форму, мягкое нёбо немного опущено и отодвинуто от задней стенки фаринкса, увула напряжена, ларинкс приподнят к корню языка, расстояние между зубами больше, чем между губами</p>	<p data-bbox="842 537 1173 857">Гласный центрально-заднерядный продвинутой вперед второй отстояния лабиализованный назализованный увуларизованный фарингализованный эйективный</p>	<p data-bbox="842 284 1173 537">$\tilde{y}_{\text{д}}^{\text{сд}^1/5/8^1/8^1/589^1/6/2}$</p>

Окончание табл. 1

Томограмма, словоформа	Описание	Определение	Точная фонетическая транскрипция
 <p data-bbox="842 1727 868 1883">корт 'червяк'</p>	<p data-bbox="544 875 820 1637">Тело языка расположено во второй половине ротовой полости, спинка языка имеет округлую форму, кончик языка упирается в основание нижних зубов, корень языка сильно выпячен к задней стенке фаринкса, надгортанник практически прижат к нему, мягкое нёбо немного провисло и незначительно оттянуто от задней стенки фаринкса, uvula провисает в ротово-глоточном резонаторе, ларинкс приподнят к корню языка, расстояние между губами очень маленькое, между зубами – немного больше, кончики верхних резцов незначительно отстоят от нижней губы</p>	<p data-bbox="544 555 756 846">Гласный центрально-заднерядный второй слабопризакрытой ступени отстояния лабиализованный слабоназализованный фарингализованный эйективный</p>	<p data-bbox="544 331 596 488">$\tilde{ö}_a \text{ } ^1_3 \text{ } ^{89} \text{ } ^1_3 / 2$</p>
 <p data-bbox="1171 1749 1197 1861">қой 'овца'</p>	<p data-bbox="873 875 1118 1637">Язык сильно оттянут назад и поднят к мягкому нёбу, поверхность ровная, кончик языка далеко отстоит от зубов и направлен к гребню альвеол, нижняя часть брюшка языка приподнята, в области корня отмечается выпячивание, надгортанник прижат к корню, мягкое нёбо незначительно провисает и немного отстоит от задней стенки фаринкса, uvula напряжена, а ее кончик направлен к корню языка, ларинкс приподнят, межгубное расстояние небольшое, межзубное – немного больше, чем межгубное</p>	<p data-bbox="873 555 1145 846">Гласный центрально-заднерядный продвинутой вперед второй сильнопризакрытой ступени отстояния лабиализованный слабоназализованный увуларизованный фарингализованный эйективный</p>	<p data-bbox="873 309 925 533">$\tilde{ö}_a \text{ } ^1_{10} \text{ } ^{89} \text{ } ^1_8 \text{ } ^{89} \text{ } ^1_{10} \text{ } ^1_5 / 2$</p>

На всех томограммах ларинкса приподнят к корню, что позволяет определить звук *o* как эйективный. Расстояние между губами везде меньше, чем между зубами, что дает право классифицировать настройку как лабиализованную.

Особый интерес представляют томограммы звука *o* в словоформах *оты* 'огонь=его' и *қой* 'овца' (см. табл. 1). При добавлении аффикса принадлежности третьего лица единственного числа к основе *от* 'огонь' произошло изменение уклада артикулирующих органов: тело языка очень сильно оттянулось назад, уменьшив при этом фарингальный резонатор, на передней части появился значительный поперечный прогиб.

В словоформе *қой* 'овца' кончик языка сильно отодвинут назад и направлен к альвеолам, брюшко языка оттянуто от нижних зубов.

Первой отличительной особенностью д. 1 является склонность к назализации звуков (см., например, [Рыжикова, 2019]). Это объясняется либо индивидуальными произносительными характеристиками, либо ослаблением настройки при длительной экспозиции во время эксперимента.

Вторая особенность заключается в том, что на томограммах при продуцировании большинства реализаций звука *o* у д. 1 верхние зубы сильно сближаются с нижней губой, а иногда создается впечатление, что даже «вдавливаются» в нее. Специалисты по МРТ отмечают, что у зубов эмаль дает ноль-сигнал в норме. Границы зубов (эмали) видны только при деминерализации. Поэтому лучше обращаться к альвеолярным отросткам и реконструировать положение и длину зубов. Кроме того, у д. 1 расстояние между губами очень незначительное, так же как и между зубами, т. е. артикуляции достаточно закрытые. Еще одна особенность – это положение губ при произнесении звука *o*: губы не выпячены, как при продуцировании, например, русского *o*, а плотно прижаты к зубам, что также свидетельствует о закрытости настройки и ее плоскоогубленной реализации.

В целом по результатам анализа томограмм звуку *o* у д. 1 можно дать следующее определение: гласный центрально-заднерядный (факультативно продвинутый вперед) второй основной (факультативно второй слабо- или сильноприоткрытой или первой сильноприоткрытой) ступени отстояния лабиализованный назализованный эйективный факультативно фарингализованный и увуларизованный. Точная фонетическая транскрипция: / \tilde{o} / (с аллофонами: \tilde{o}_+ ; \tilde{o}_- ; \tilde{y}_-).

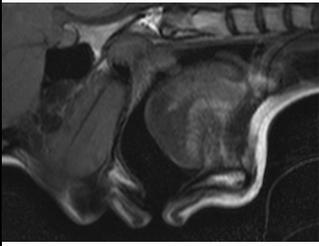
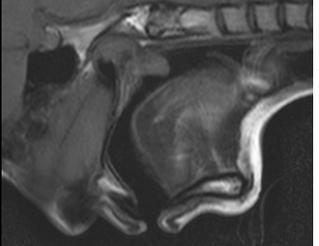
От д. 2 было получено четыре томограммы со звуком *o* в медиальной позиции вместо ожидаемых шести (табл. 2). Это объясняется тем, что в инициальной позиции диктор вместо звука *o* произнесла *y*. Звуковая система ЯБТ находится в переходном состоянии, в области вокализма отмечается перебой узких гласных, огубленные гласные в определенных словах не отличаются по подъему, а скорее дифференцируются по ряду. Х. Х. Салимов отмечает, что процесс расширения общетюркского [u] в барабинском глубже по сравнению с татарским литературным языком, а процесс сужения [o] сравнительно мал, поэтому эти звуки приблизились друг к другу по подъему. С другой стороны, среди реализаций звука *o* есть варианты, сильно продвинутые вперед (например, *орман* 'лес', *от* 'огонь') и более задние (*ол* 'он', *той* 'свадьба'). Кроме того, отмечается варьирование по подъему. Эти примеры свидетельствуют о том, что в ЯБТ отсутствуют определенные произносительные нормы, т. е. существуют фонетические варианты одного звукотипа [Салимов, 1984, с. 18–22]. В целом барабинско-татарский вокализм характеризуется разнообразием артикуляторных настроек.

Таблица 2

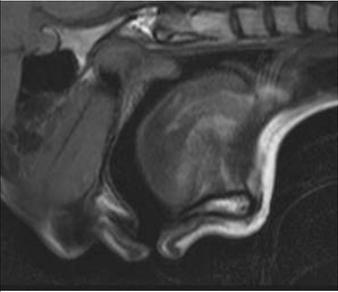
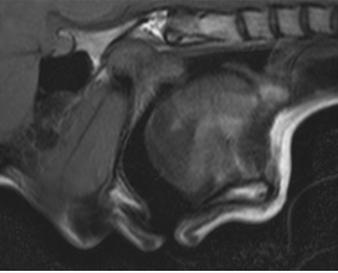
Артикуляторные характеристики барабинско-тагарского звука *o* (д. 2)

Table 2

Articulatory characteristics of the Baraba-Tatar sound *o* (sp. 2)

Томограмма, словоформа	Описание	Определение	Точная фонетическая транскрипция
 <p>йол 'дорога'</p>	<p>Тело языка оттянуто назад, кончик далеко отстоит от нижних резцов, средне-межзубчатая часть спинки поднята к границе твердого и мягкого нёба, в области корня отмечаются периодические артефакты, надгортанник отстоит от корня, а его кончик направлен к нему, мягкое нёбо провисает в ротовой полости, однако оно плотно прижато к задней стенке фаринкса, увула провисает в ротово-глоточном резонаторе, ларинкс приподнят, расстояние между губами меньше, чем между зубами, верхние зубы сближаются с нижней губой, оставляя небольшой зазор</p>	<p>Гласный центрально-заднерядный продвинутый вперед четвертой сильнопропирзакрытой ступени отстояния лабиализованный эйективный</p>	<p>$\dot{o}_{\text{м}}^2 / \text{ᶑ} / \text{ᶑ}^2 / \text{ᶑ}^3 / \text{ᶑ}^4$</p>
 <p>қол 'рука'</p>	<p>Все тело языка равномерно расположено в ротовой полости, кончик языка находится у нижних резцов, средне-межзубчатая часть сближается с границей твердого и мягкого нёба, надгортанник далеко отстоит от корня, сближаясь с задней стенкой фаринкса, мягкое нёбо провисает в ротовом резонаторе, плотно смыкаясь с задней стенкой фаринкса, увула напряженно расположена в глоточном резонаторе, ларинкс приподнят, расстояние между губами меньше, чем между зубами, верхние резцы отстоят от нижней губы</p>	<p>Гласный центрально-заднерядный третьей основной ступени отстояния лабиализованный эйективный увуларизованный</p>	<p>$\ddot{o} / \text{ᶑ} / \text{ᶑ}^2 / \text{ᶑ}^3 / \text{ᶑ}^4$</p>

Окончание табл. 2

Томограмма, словоформа	Описание	Определение	Точная фонетическая транскрипция
 <p data-bbox="821 1727 847 1888">қорт 'чervяк'</p>	<p data-bbox="480 891 754 1637">Тело языка имеет округлую форму, кончик немного оттянут от нижних резцов, граница средней и межзубной частей спинки языка поднята к границе твердого и мягкого нёба, средняя часть корня сильно выпячена к задней стенке фаринкса, надгортанник отстоит от корня, мягкое нёбо провисает, плотно смыкаясь с задней стенкой фаринкса, увула расположена в глоточном резонаторе, ларинкс приподнят, расстояние между губами меньше, чем между зубами, верхние резцы расположены недалеко от нижней губы</p>	<p data-bbox="480 562 635 846">Гласный центрально-заднерядный четвертой основной ступени отстояния лабиализованный эйективный фарингализованный</p>	<p data-bbox="480 353 523 472">ō̃ 1₇ca/89/4</p>
 <p data-bbox="1193 1749 1219 1865">қой 'овца'</p>	<p data-bbox="852 891 1062 1637">Все тело языка оттянуто назад и приподнято к нёбному своду, кончик отстоит от нижних зубов, корень языка выпячен к задней стенке фаринкса, надгортанник немного отстоит от корня, мягкое нёбо плотно смыкается с задней стенкой фаринкса, увула провисает в глоточном резонаторе, ларинкс приподнят, расстояние между губами значительно меньше, чем между зубами, верхние резцы отстоят от нижней губы</p>	<p data-bbox="852 562 1062 846">Гласный центрально-заднерядный продвинутый вперед третьей сильнопризакрытой ступени отстояния лабиализованный эйективный фарингализованный</p>	<p data-bbox="852 309 895 517">ō̃ 1_м 1₆ca/10/1₁₀89/9/3</p>

Утверждение Х. Х. Салимова согласуется с полученными томографическими данными. Из четырех снимков д. 2 (см. табл. 2) лишь две настройки можно назвать похожими (*йол* 'дорога', *қой* 'овца'). В обоих случаях все тело языка оттянуто назад и имеет округлую форму, кончик языка отодвинут от нижних резцов, что увеличивает объем ротового резонатора. В словоформе *қол* 'рука' кончик языка расположен у нижних резцов, а на передней части спинки констатируется небольшой продольный прогиб. При артикулировании звука *о* в словоформе *қорт* 'червяк' тело языка немного продвинуто вперед, в то время как корень выпячен по направлению к задней стенке фаринкса, что можно интерпретировать как фарингализованность настройки. На всех томограммах мягкое нёбо немного провисает по направлению к спинке языка, а с другой стороны плотно прижато к задней стенке фаринкса, увула расположена в глоточном резонаторе. Ларинкс во всех случаях приподнят к корню языка. Расстояние между губами меньше, чем между зубами, что трактуется как огубленность настройки. Верхние зубы лишь сближаются с нижней губой, не смыкаясь с ней. Верхняя губа как бы «обволакивает» верхние зубы, что может свидетельствовать о плоской лабиализации.

Артикуляторной особенностью звука *о* у д. 2 является значительное отстояние спинки языка от твердого нёба – настройки достаточно широкие по сравнению с другими дикторами.

По данным МРТ у д. 2 звук *о* можно охарактеризовать как гласный центрально-заднерядный продвинутый вперед (факультативно центральнорядный) четвертой основной (факультативно четвертой сильноприоткрытой или третьей основной или сильноприоткрытой) ступени отстояния плосколабиализованный эйективный, факультативно: фарингализованный, увуларизованный, глотталлизированный. Все реализации звука *о* можно свести к фонеме /*ɔ*/ с аллофонами: $\dot{\text{ɔ}}_{\text{м}}$, $\ddot{\text{ɔ}}_{\text{м}}$, $\ddot{\text{ɔ}}_{\text{л}}$.

В табл. 3 представлены томограммы д. 3. Артикуляторные настройки у данного диктора отличаются единообразием (см., например, [Рыжикова и др., 2019, с. 131–132]). В рассматриваемом случае все тело языка оттянуто немного назад (кончик языка либо у нижних резцов, либо немного отстоит от них). Форма округлая, корень тоже округлый, надгортанник отстоит от корня и часто повторяет его форму. В одном случае (в словоформе *қорт* 'червяк') отмечается выпячивание верхней части корня языка, что можно трактовать как наличие слабой фарингализации. Ларинкс приподнят к корню языка, что свидетельствует об эйективности звука. Во всех случаях настройка неназализованная, так как мягкое нёбо смыкается с задней стенкой фаринкса, перекрывая доступ воздуха в носовую полость. Межгубное и межзубное расстояние варьируется, однако реализации звука *о* можно трактовать как плоскоогубленные. Во всех примерах на томограммах д. 3 отмечается аномалия, зафиксированная для д. 1 (эффект того, что верхние зубы либо касаются, либо вдавливаются в нижнюю губу). Однако учет возникших системных артефактов позволяет внести корректировку в описание снимков МРТ.

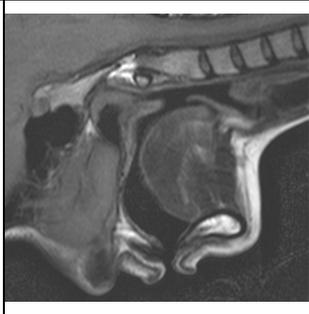
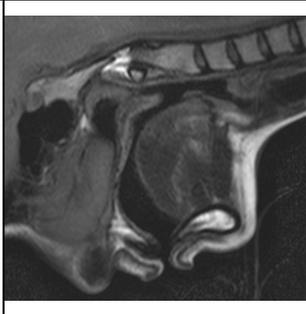
В целом все варианты звука *о* по данным томографирования у д. 3 можно свести к фонеме /*ɔ*/ и дать ей следующее определение: гласный центрально-заднерядный (факультативно продвинутый вперед или центральнорядный) второй основной (факультативно второй сильноприоткрытой или третьей (слабо-)приоткрытой) ступени отстояния плоскоогубленный эйективный (факультативно слабофарингализованный). Точная фонетическая транскрипция – /*ɔ*/ с аллофонами: $\dot{\text{ɔ}}_{\text{м}}$, $\ddot{\text{ɔ}}_{\text{м}}$, $\ddot{\text{ɔ}}_{\text{л}}$.

Таблица 3

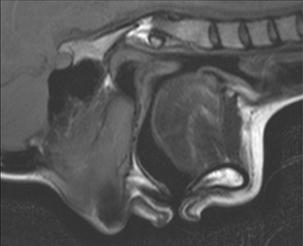
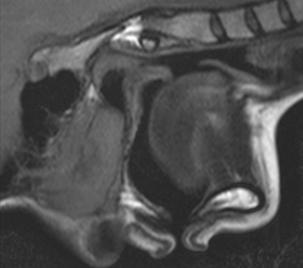
Артикуляторные характеристики барабинско-тагарского звука *o* (д. 3)

Table 3

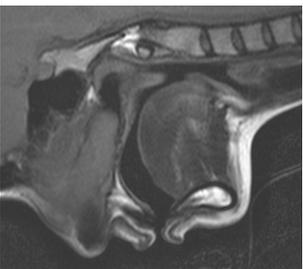
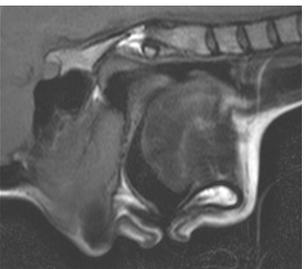
Articulatory characteristics of the Baraba-Tatar sound *o* (sp. 3)

Томограмма, словоформа	Описание	Определение	Точная фонетическая транскрипция
 <p data-bbox="877 1648 906 1962">от 'огонь'</p>	<p>Тело языка имеет округлую форму и расположено срединно в ртовой полости, кончик языка расположен у основания нижних резцов, межзубчатая часть спинки поднята к мягкому нёбу, которое выгибается ей навстречу, корень языка также округлый, надгортанник отстоит от него, мягкое нёбо смыкается с задней стенкой фаринкса, uvула провисает в глоточном резонаторе, ларинкс приподнят к корню языка, расстояние между губами немного больше, чем между зубами, верхние резцы сближаются с нижней губой</p>	<p>Гласный центрально-заднерядный второй отстояния плоскогубленный эйективный</p>	$\dot{u}_{\text{od}^1/10}{}^1{}_{4//(\text{od}^2/3)}{}^1{}_{5/2}$
 <p data-bbox="1212 1648 1236 1962">оты 'огонь=его'</p>	<p>Тело языка имеет округлую форму и расположено срединно в ртовой полости, кончик языка – у нижних резцов, межзубчатая часть спинки поднята к мягкому нёбу, которое, в свою очередь, выпячено к языку, надгортанник немного отстоит от корня, второя его форму, мягкое нёбо смыкается с задней стенкой фаринкса, uvула напряжена и провисает в глоточном резонаторе, ларинкс приподнят, расстояние между губами и зубами одинаковое, верхние резцы отстоят от нижней губы</p>	<p>Гласный центрально-заднерядный второй отстояния плоскогубленный эйективный</p>	$\dot{u}_{\text{od}^2/5}{}^1{}_{4//(\text{od}^1/3)}{}^1{}_{4/2}$

Продолжение табл. 3

Томограмма, словоформа	Описание	Определение	Точная фонетическая транскрипция
 <p>йол 'дорога'</p>	<p>Тело языка имеет округлую форму и немного оттянуто назад, кончик языка отстоит от основания нижних резцов, средне-межуточная часть спинки поднята к мягкому нёбу, которое выгибается ей навстречу, корень языка также округлый, надгортанник отстоит от него, а его кончик направлен к корню, мягкое нёбо смыкается с задней стенкой фаринкса, увула провисает в глоточном резонаторе, ларинкс приподнят к корню языка, расстояние между губами немного больше, чем между зубами, верхние резцы сближаются с нижней губой</p>	<p>Гласный центрально-заднерядный продвинутый вперед второй степени ноприоткрытой ступени отстояния плоскоугубленный эйективный</p>	<p>$\ddot{u}_m \cdot 2_{\text{сд}} 1_{\text{сд}} / 3_{\text{сд}} / 1_{\text{сд}} / 10_{\text{сд}} 2_{\text{сд}} / 5_{\text{сд}} / 2$</p>
 <p>қол 'рука'</p>	<p>Все тело языка имеет округлую форму и немного оттянуто назад, кончик языка отстоит от нижних резцов, средне-межуточная часть спинки поднята к мягкому нёбу, которое незначительно выгибается ей навстречу, корень языка также округлый, надгортанник отстоит от него, повторяя его форму, мягкое нёбо смыкается с задней стенкой фаринкса, увула провисает в глоточном резонаторе, ларинкс приподнят, расстояние между губами меньше, чем между зубами, верхние резцы отстоят от нижней губы</p>	<p>Гласный центрально-заднерядный третьей степени отстояния лабиализованный эйективный</p>	<p>$\ddot{o}_a \cdot 1_{\text{сд}} / 2_{\text{сд}} / 8_{\text{сд}} 2_{\text{сд}} / 5_{\text{сд}} / 3$</p>

Окончание табл. 3

Томограмма, словоформа	Описание	Определение	Точная фонетическая транскрипция
 <p>корт 'червяк'</p>	<p>Все тело языка имеет округлую форму, кончик языка расположен у нижних резцов, средне-межзубчатая часть спинки поднята к мягкому нёбу, которое незначительно провисает, корень языка также округлый, однако верхняя его часть немного выпячена по направлению к задней стенке фаринкса, надгортанник немного отстоит от корня, повторяя его форму, мягкое нёбо смыкается с задней стенкой фаринкса, uvула провисает в глоточном резонаторе, ларинкс приподнят, расстояние между губами меньше, чем между зубами, верхние резцы сближаются с нижней губой</p>	<p>Гласный центрально-заднерядный продвинутый вперед второй степени ноприоткрытой ступени отстояния плоскогуб-ленный эйективный сла-бофарингализованный</p>	<p>$\text{ö}^{\text{m}}_{1/5} \text{c}^{\text{d}}_{1/5} / \text{89}^{1/2} / 2$</p>
 <p>қой 'овца'</p>	<p>Тело языка немного приподнято и оттянуто назад, кончик языка отстоит от нижних резцов, средне-межзубчатая часть спинки поднята к мягкому нёбу, которое выгибается ей навстречу, корень языка округлый, надгортанник отстоит от него, а его кончик направлен к корню, мягкое нёбо смыкается с задней стенкой фаринкса, uvула провисает в глоточном резонаторе, ларинкс приподнят к корню языка, расстояние между губами больше, чем между зубами, верхние резцы отстоят от нижней губы</p>	<p>Гласный центрально-заднерядный третий приоткрытой ступени отстояния лабиализованный эйективный</p>	<p>$\text{ö}^{\text{a}}_{1/2} \text{c}^{\text{d}}_{1/11} / \text{89}^{1/2} / 5 \text{89} / 3$</p>

На рис. 2 представлены томограммы д. 4. Поскольку все тело языка и его кончик оттянуты назад, то металлические артефакты не помешали разглядеть артикуляцию. В словоформе *йол* 'дорога' тело языка поднято к мягкому нёбу, расположено в задней части ротовой полости, а кончик языка существенно отстоит от нижних резцов и направлен к альвеолам. Корень языка округлый, надгортанник немного отстоит от него. Ларинкс очень высоко поднят к корню, что квалифицируется как эйективность настройки. Мягкое нёбо немного отстоит от задней стенки фаринкса, что можно трактовать как назализацию звука *о*. Увула расположена в глоточной полости. Расстояние между губами значительно меньше, чем между зубами.

В данной словоформе звук *о* можно охарактеризовать как гласный центрально-заднерядный второй приоткрытой ступени отстояния лабиализованный эйективный назализованный. Точная фонетическая транскрипция: $\tilde{ö}_a (c\bar{d}^1/5)^1/4/(89^1/4)^1/4/2$.

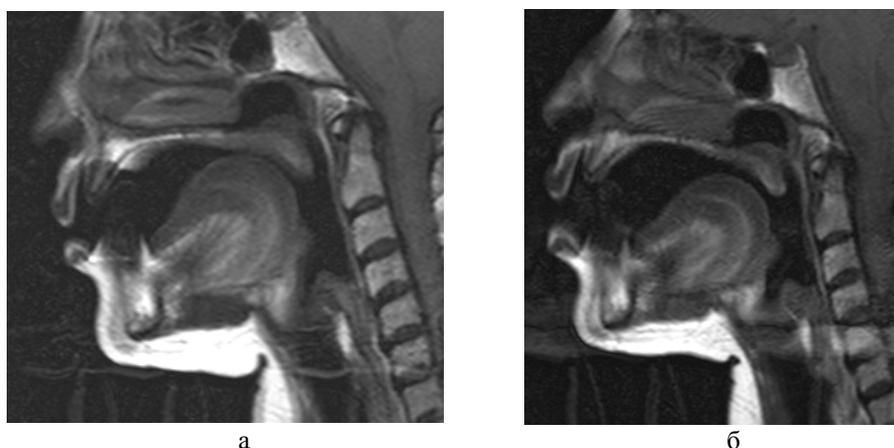


Рис. 2. Томограмма звука *о* (д. 4):

a – в словоформе *йол* 'дорога'; *б* – в словоформе *қол* 'рука'

Fig. 2. Tomogramm of the sound *o* (sp. 4):

a – in the wordform *jol* 'a road'; *b* – in the wordform *qol* 'a hand'

На рис. 2, *б* представлен звук *о* в межконсонантной позиции в словоформе *қол* 'рука'. Уклад артикулирующих органов такой же, как и на рис. 2, *а*. Отличием является несколько большее отстояние мягкого нёба от задней стенки фаринкса, что свидетельствует о большей назализованности звука *о* в данном случае. Кроме того, межгубное расстояние в словоформе *қол* 'рука' больше, чем в словоформе *йол* 'дорога'.

В целом реализацию звука *о* в словоформе *қол* 'рука' можно определить как гласную центрально-заднерядную второй приоткрытой ступени отстояния лабиализованную эйективную назализованную. Точная фонетическая транскрипция:

$\tilde{ö}_\pi (c\bar{d}^2/5)^1/4/(89^1/2)^1/4/2$.

У д. 4 в обоих случаях настройка отличается только степенью отстояния от второй приоткрытой до второй приоткрытой.

Выводы

По результатам анализа томограмм дикторов – носителей ЯБТ, можно сделать следующие выводы.

По рядности практически все артикуляции центрально-заднерядные либо основные, либо продвинутые вперед (кроме четырех настроек, которые можно интерпретировать как центральнорядные).

За исключением д. 2, у которого все артикуляции являются 3 и 4 ступеней отстояния, у остальных дикторов реализации звука *o* достаточно узкие – от первой сильноприоткрытой до третьей призакрытой.

По участию губ в артикуляции все настройки трактуются как плоскогубленные, причем интересной особенностью барабинского *o* является процесс, обратный выпячиванию губ, т. е. их «втягивание». Еще одна особенность – сближение верхних резцов с нижней губой: она встретила у трех дикторов при продуцировании звука *o*.

У всех дикторов отмечается активная работа ларинкса, а именно его подтягивание к корню языка, что свидетельствует об эйективности настройки. Данная особенность отмечена и для барабинско-татарских гласных типа *u* (материалы в печати).

Назализация гласного *o* встречается спорадически, за исключением д. 1, для которого это, вероятно, является произносительной особенностью.

В нескольких случаях (см. табл. 1–3) было зафиксировано выпячивание корневой части языка по направлению к задней стенке фаринкса, что позволило трактовать такие настройки как фарингализованные. Фарингализация является конститутивно-дифференциальным признаком консонантной системы ЯБТ [Рыжикова, 2005], однако отмечается и для вокализма [Рыжикова, 2019, Рыжикова и др., 2019].

Следует отметить, что во всех случаях объем глоточного резонатора очень маленький, мягкое нёбо провисает по направлению к спинке языка, сужая проход для выхода воздуха и создавая дополнительную преграду, а в ряде случаев верхние зубы сближаются с нижней губой, что также мешает проходу воздушной струи из легких, создавая особый акустический эффект напряженности звука. Все настройки можно разделить на два типа: когда кончик языка прижат к нижним резцам (в этом случае объем ротового резонатора меньше) и когда кончик языка оттянут от зубов (передний резонатор увеличивается, в то время как задний, глоточный, еще сильнее уменьшается).

В целом по результатам томографирования четырех дикторов гласному *o* можно дать следующую характеристику: гласный центрально-заднерядный основной (факультативно центрально-заднерядный продвинутый вперед или центрально-рядный) второй основной (факультативно от первой сильноприоткрытой до четвертой основной) ступени отстояния плосколабиализованный эйективный факультативно фарингализованный, увуларизованный, глотализованный, назализованный. Точная фонетическая транскрипция: /*ö*/. Несмотря на то что по степени раствора рта все реализации барабинско-татарского звука *o* оказались очень узкими и свелись к фонеме /*ö*/, акустически она воспринимается как *o*.

Сопоставительный анализ артикуляторных особенностей барабинско-татарского звука *o* свидетельствует о том, что если рассматривать все перечисленные характеристики в совокупности, то наибольшее сходство артикуляторных настроек отмечается с сагайским диалектом хакасского языка, с сибирскотатарским

и башкирским. Отмеченная для барабинского эйективность не была специально выделена в других языках, однако анализ рентгено- и томограмм свидетельствует о том, что в сибирскотатарском и башкирском она также функционирует. Очень маленькое межгубное расстояние также отмечается во всех четырех рассматриваемых идиомах [Рыжикова, 2020, с. 11].

Требуется дальнейшая экспериментально-фонетическая работа, для выявления соотношенности артикуляции и акустики. Однако уже на данном этапе понятно, что вокальная система ЯБТ обладает уникальными характеристиками, которые, вероятно, позволят выявить интересные закономерности развития как барабинского вокализма, так и вокальных систем на территории не только сибирского региона, но и в урало-поволжье.

Список литературы

Летягин А. Ю., Ганенко Ю. А., Уртегешев Н. С. Анатомо-функциональные мышечные механизмы формирования голосового тракта при произнесении аутентичных гласных сибирско-татарского языка по данным магнитно-резонансной томографии // Бюлл. СО РАН. 2013. № 33 (5). С. 10–17.

Марусина М. Я., Казначеева А. О. Современные виды томографии: Учеб. пособие. СПб.: СПбГУ ИТМО, 2006. 152 с.

Наделяев В. М. Артикуляционная классификация гласных // Фонетические исследования по сибирским языкам. Новосибирск, 1980. С. 3–91.

Рыжикова Т. Р. Консонантизм языка барабинских татар: сопоставительно-типологический аспект. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. 269 с.

Рыжикова Т. Р. Артикуляторно-акустические характеристики барабинско-татарской гласной фонемы *a* /*ʌ*~/ в сопоставительном аспекте // Сибирский филологический журнал. 2019. № 2. С. 163–178.

Рыжикова Т. Р. Артикуляторные характеристики барабинско-татарского гласного «о» (сопоставительный аспект) // Фэнни Татарстан. 2020. № 4. С. 7–12.

Рыжикова Т. Р., Добринина А. А., Уртегешев Н. С. Артикуляторные характеристики реализаций звуков типа «а» в барабинском, алтайском и башкирском языках в сопоставительном аспекте // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2019. Т. 18, № 9: Филология. С. 127–143.

Салимов Х. Х. Вокализм барабинского диалекта татарского языка (экспериментально-фонетическое наблюдение) // Исследования звуковых систем языков Сибири. Новосибирск. 1984. С. 17–22.

Селютин И. Я., Уртегешев Н. С., Рыжикова Т. Р., Шевела А. И., Летягин А. Ю. Исследования звуковых систем языков народов Сибири с использованием новейших технологий // Сибирский филологический журнал. 2013. № 1. С. 94–100.

Уртегешев Н. С. Соматические параметры настроек гласных: методика определения ступеней отстояния // Туркология. 2009. № 3–4 (41–42). С. 3–12.

Badin P., Bailly G., Reveret L., Baciou M., Segebarth C., Savariaux C. Three-dimensional linear articulatory modeling of tongue, lips and face based on MRI and video image // Journal of Phonetics. 2002. Vol. 30. P. 533–553.

Baer T., Gore J. C., Boyce S., Nye P. W. Application of MRI to the analysis of speech production // Magnetic Resonance Imaging. 1987. Vol. 5. P. 1–7.

Steiner I., Knopp P., Musche S., Schmiedel A., Braun A., Ouni S. Investigating the effects of posture and noise on speech production // Proceedings of the 10th ISSP COLOGNE, 5–8 May 2014. P. 413–416.

References

- Badin P., Bailly G., Reveret L., Baciú M., Segebarth C., Savariaux C. Three-dimensional linear articulatory modeling of tongue, lips and face based on MRI and video image. *Journal of Phonetics*. 2002, vol. 30, pp. 533–553.
- Baer T., Gore J. C., Boyce S., Nye P. W. Application of MRI to the analysis of speech production. *Magnetic Resonance Imaging*. 1987, vol. 5, pp. 1–7.
- Letyagin A. Yu., Ganenko Yu. A., Urtegehev N. S. Anatomico-funktional'nye myshechnye mekhanizmy formirovaniya golosovogo trakta pri proiznesenii autentichnykh glasnykh sibirsko-tatarskogo yazyka po dannym magnitno-resonansnoy tomografii [Anatomical-functional muscle mechanisms of a vocal tract formation when pronouncing the Siberian-Tatar vowels on the basis of MRI]. *The Bulletin of Siberian Branch of Russian Academy of Medical Sciences*. 2013, no. 33 (5), pp. 10–17.
- Marusina M. Ya., Kaznacheeva A. O. *Sovremennye vidy tomografii. Uchebnoye posobiye* [Modern types of tomography. Textbook]. St. Petersburg, ITMO University, 2006, 152 p.
- Nadelyayev V. M. Artikulyatsionnaya klassifikatsiya glasnykh [Articulatory classification of the vowels]. In: *Foneticheskiye issledovaniya po sibirskim yazykam* [Phonetic studies in Siberian languages]. Novosibirsk, 1980, pp. 3–91.
- Ryzhikova T. R. *Konsonantizm yazyka barabinskikh tatar: sopostavitel'no-tipologicheskii aspekt* [Consonantism of the Baraba-Tatar language: comparative and typological aspect]. Novosibirsk, SB RAS Publ. House, 2005, 269 p.
- Ryzhikova T. R. Artikulyatorno-akusticheskiye kharakteristiki barabinsko-tatarskoi glasnoi fonemy a /ʌ~/ v sopostavitel'nom aspekte [Articulatory and acoustic characteristics of the Baraba-Tatar vowel phoneme a /ʌ~/ in the comparative aspect]. *Siberian Journal of Philology*. 2019, no. 2, pp. 163–178.
- Ryzhikova T. R. Artikulyatornye kharakteristiki barabinsko-tatarskogo glasnogo “o” (sopostavitel'nyy aspekt) [Articulatory characteristics of the Barabinsk-Tatar vowel “o” (comparative aspect)]. *Fənni Tatarstan*. 2020, no. 4, p. 7–12.
- Ryzhikova T. R., Dobrinina A. A., Urtegeshev N. S. Artikulyatornye kharakteristiki realizatsii zvukov tipa “a” v barabinskom, altaiskom i bashkirskom yazykakh v sopostavitel'nom aspekte [Articulatory Traits of “a”-Type Sound Realizations in the Barabian, Altai, and Bashkir Languages in the Comparative Aspect]. *Vestnik of Novosibirsk State University. Series: “History and Philology”*. 2019, vol. 18, no. 9: Philology, pp. 127–143.
- Salimov Kh. Kh. Vokalizm barabinskogo dialekta tatarskogo yazyka (eksperimental'no-foneticheskoye issledovaniye) [The vocalism of the Baraba-Tatar dialect of the Tatar language (experimental-phonetic observation)]. In: *Issledovaniya zvukovykh sistem yazykov Sibiri* [Studies of the sound systems of the languages of Siberia]. Novosibirsk, 1984, pp. 17–22.
- Selyutina I. Ya., Urtegeshev N. S., Ryzhikova T. R., Shevela A. I., Letyagin A. Yu. Issledovaniya zvukovykh sistem yazykov narodov Sibiri s ispol'zovaniem novejskhikh tekhnologiy [Investigation of the sound systems of the languages of the peoples of Siberia using the newest technologies]. *Siberian Journal of Philology*. 2013, no. 1, p. 94–100.
- Steiner I., Knopp P., Musche S., Schmiedel A., Braun A., Ouni S. Investigating the effects of posture and noise on speech production. *Proceedings of the 10th ISSP COLOGNE, 5–8 May 2014*. pp. 413–416.

Urtegeshev N. S. Somaticheskiye parametry nastroyek glasnykh: metodika opredeleniya stupeni otstoyaniya [The somatic parameters of vowels tunings: the procedure of determining the degrees of rise]. *Russian Turkology*. 2009, no. 3–4 (41–42), pp. 3–12.

Сведения об авторах

Рыжикова Татьяна Раисовна – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник сектора языков народов Сибири Института филологии СО РАН (Новосибирск, Россия)

tanya12@mail.ru

Researcher ID C-1207-2019

ORCID 0000-0002-4141-0327

Information about the author

Tatiana R. Ryzhikova – Candidate of Philology, Senior Researcher at the Department of Siberian Languages, Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation)

tanya12@mail.ru

Researcher ID C-1207-2019

ORCID 0000-0002-4141-0327

**Долгий гласный *oo* в именных словоформах
в говорах улаганского диалекта теленгитского языка
(в сопоставительном аспекте)**

Н. Д. Алмадакова

*Горно-Алтайский государственный университет
Горно-Алтайск, Россия*

Аннотация

Рассмотрены именные словоформы с долгим гласным *oo* в говорах улаганского диалекта теленгитского языка. Долгому гласному *oo* первого слога в балыктуяльском, саратанско-язулинском, кара-кудюрском, чибиллинском, чибитском говорах соответствует дифтонг *oa* в телёсском (чолушманском) говоре улаганского диалекта. Долгому гласному *oo* во втором слоге бисиллабов в чибитском говоре соответствует долгий гласный *aa* в других говорах. В алтай-кижи диалекте, в отличие от литературного языка, употребляются как словоформы-бисиллабы с долгим гласным *oo* в первом слоге, так и вариант с кратким гласным *o* первого слога. В алтай-кижи диалекте, в отличие от литературного языка, но так же, как и в улаганском и чуйском диалектах теленгитского языка, употребляются словоформы-бисиллабы, в которых после огубленного долгого гласного *oo* первого слога во втором слоге следует гласный *y*.

Долгий гласный *oo*, а также дифтонги *oa*, *ya* образуются в результате выпадения интервокального согласного *z*, *y*, *n*, *v*. Длительность (квантитативность) гласного *oo* в первых слогах зависит от позиции перед узким гласным *y* второго слога и от позиции перед сонорными согласными *p*, *l*, *m*, *n*. Долгота гласного *oo* образуется при морфологическом наращении показателей посессивности, аффикса деепричастия и в случае словообразования с узким гласным *y*.

Ключевые слова

алтае-саянские тюркские языки, теленгитский язык, диалектная фонетика, долгие гласные, дифтонги, гармония гласных

Для цитирования

Алмадакова Н. Д. Долгий гласный *oo* в именных словоформах в говорах улаганского диалекта теленгитского языка (в сопоставительном аспекте) // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 209–223. DOI 10.17223/18137083/74/16

Long vowel *oo* in nominal word forms in the subdialects of Ulagan dialect of Telengit language (in the comparative aspect)

N. D. Almadakova

Gorno-Altaysk State University
Gorno-Altaysk, Russian Federation

Abstract

This paper discusses nominal word forms with a long vowel *oo* in the subdialects of the Ulagan dialect of the Telengit language. The Telengit language is considered as an independent language divided into two large dialects: Ulagan and Chuya. The diphthong *oa* in the Telos (Cholushman) subdialect of the Ulagan dialect corresponds to the long vowel *oo* of the first syllable in Balyktuyul, Saratan-Yazuli, Kara-Kuduyur, Chibilin, Chibit subdialects. The long vowel *aa* in other subdialects corresponds to the long vowel *oo* in the second syllable of bisyllables in the Chibit subdialect. As opposed to the literary language, in the Altai-Kizhi dialect, bisyllable word forms with a long vowel *oo* in the first syllable and a variant with a short vowel *o* in the first syllable are used. In addition, unlike literary language but as in the Ulagan and Chuya dialects of the Telengit language, Altai-Kizhi dialect has bisyllable word forms, with the long syllable *oo* of the first syllable followed by the labial vowel *u* in the second syllable. The long vowel *oo* and the diphthongs *oa*, *ua* are formed due to the drop of intervocalic consonants *g*, *y*, *n*, *v*. The duration (quantitativeness) of the vowel *oo* in the first syllables depends on the position in front of the narrow vowel in the second syllable and in front of the sonorous consonants *r*, *l*, *m*, *n*. The longitude of the vowel *oo* is formed during the morphological buildup of the possessive indicators and affix of the participle with the narrow vowel *u*.

Keywords

long vowel, diphthong, Ulagan dialect, Chuy dialect, Telengitian language, Balyktuyul subdialect, Saratan-Yazuli subdialect, Kara-Kuydur subdialect, Chibilin subdialect, Chibit subdialect, Telos (Cholushman) subdialect, Altai-Kizhi dialect, word form, lip harmony

For citation

Almadakova N. D. Long vowel *oo* in nominal word forms in the subdialects of Ulagan dialect of Telengit language (in the comparative aspect). *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 209–223. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/16

Введение

Н. А. Баскаков, рассматривая язык теленгитов в качестве одного из южных диалектов алтайского языка, считал, что теленгитский диалект распадается на два говора: 1) теленгитско-тёлёсский, носители которого живут по рекам Чолушман, Башкауз и по южному берегу Телецкого озера (самоназвание *теленит* и *тёёлёс*, русское название *тёлёс*), и 2) чуйский говор, носители которого живут по реке Чуй (самоназвание *чуй-кижи*, русские названия *чуйцы*, *чуйские калмыки*, *двоеданцы*) [Баскаков, 1958, с. 67–68]. В научной литературе последних лет исследователи стали чаще употреблять термины «алтайский язык», «телеутский язык», «теленгитский язык», «кумандинский язык», «чалканский язык», «тубинский язык» [Селютина и др., 2013, с. 37–138], при этом вопрос о самостоятельном статусе каждого из этих языков не ставится. Напротив, мы используем термин «теленгитский язык», подразумевая самостоятельный язык малочисленного коренного народа – теленгитов, учитывая самосознание теленгитов (самоназвание *теленет*)

и основываясь на том, что Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2000 г. теленгиты, наряду с кумандинцами, чалканцами, тубаларами и телеутами, включены в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации. Следовательно, признание самостоятельности этноса – теленгитов – на государственном уровне сопряжено с признанием самостоятельного статуса языка этого этноса.

Итак, теленгитский язык подразделяется на два диалекта: чуйский и улаганский. Чуйский диалект – язык теленгитов Кош-Агачского района, улаганский диалект – язык теленгитов, населяющих территорию Улаганского района. Каждый из этих диалектов, в свою очередь, на основании географического положения и языковых особенностей подразделяется на несколько говоров. Улаганский диалект представлен шестью говорами: балыктуюльский, кара-кюдюрский, саратанско-язулинский, чибитский, чибилинский, тёлёсский (чолушманский). Чуйский диалект подразделяется на восемь говоров: курайский, чаган-узунский, ортолыкский, мухор-тархатинский, теленит-сортогойский, кокоринский, джазаторский.

Целью настоящей работы является анализ особенностей употребления долгого гласного звука [oo] в именных словоформах в говорах улаганского диалекта теленгитского языка. До настоящего времени нет специальных исследований, посвященных этой проблеме. Следовательно, остается открытым вопрос о том, в каких случаях употребляется долгий гласный oo, чем определяется наличие долгого гласного в составе именной словоформы, есть ли общие черты и различия между говорами улаганского диалекта, каковы общие черты и различия языка теленгитов и алтайцев. Для ответа на эти вопросы в работе решаются следующие **задачи**: а) выявить словоформы с долгим гласным oo в говорах улаганского диалекта; б) рассмотреть позиции долгого гласного в составе словоформы; в) выявить причины образования долгого гласного и сопоставить данные говоров улаганского диалекта между собой, с одной стороны, с данными чуйского диалекта теленгитского языка, алтай-кижи диалекта и алтайского литературного языка, с другой стороны.

Материал исследования

Материалы по теленгитскому языку и алтай-кижи диалекту взяты из личных записей автора, сделанных в разные годы экспедиций (1998–2019). Материалы по алтайскому литературному языку взяты из имеющихся словарей и художественной литературы. Данные древнетюркского языка получены из «Древнетюркского словаря» [ДТС, 1969].

Нашими информантами были молодые и пожилые люди, которые хорошо владеют родным улаганским диалектом, чуйским диалектом, алтай-кижи диалектом. Особое внимание уделено информантам пожилого возраста, которые не имеют какого-либо образования и/или не имеют специального филологического образования.

В целях адекватного отражения фонетических особенностей улаганского диалекта теленгитского языка в нашем исследовании используется алфавит улаганского диалекта на основе алфавита алтайского литературного языка с добавлением некоторых графем [Алмадакова, 2016, с. 27]. В настоящей работе из этого алфавита используется знак *η* для обозначения анлаутного губного слабосмычного глухого согласного звука в словах типа *ηoo* ‘сюда’. Кроме того, в теленгитских словах вместо *з*, *ж* алфавита алтайского литературного языка используются знаки *с*, *ш* соответственно: *ηоосу* ‘телёнок’, *ηооша* ‘вожжи’.

Обсуждение вопроса

На наличие долгих гласных в тюркских языках в свое время обратил внимание О. Бётлинг, который заметил долгие гласные в начале, середине, конце слова в открытых и закрытых слогах [Böhling, 1851, S. 8]. О существовании долгих гласных в тюркских языках писал и М. Кастрен [Castren, 1857, S. 3]. Вопрос о наличии долгих гласных в тюркских языках впоследствии детально рассмотрел В. В. Радлов, который отрицал существование общетюркских долгот. Он считал, что долгие гласные первоначально были чуждыми для тюркских языков; наличие долгих гласных в тюркских языках – результат выпадения интервокальных согласных и слияния гласных [Radloff, 1882, S. 77]. Долгота в тюркских языках имеет разное происхождение. Традиционно в тюркологии долгие гласные по происхождению делятся на первичные и вторичные. Первичная (этимологическая, пратюркская) долгота – это долгота, генезис которой остается до сих пор неясным, вторичная долгота гласных – следствие выпадения согласных [Щербак, 1961, с. 28]. Вопрос о первичности и вторичности возникновения долгих гласных в тюркских языках является одним из самых трудных и проблематичных [Биишев, 1963, с. 5], он еще не разрешен окончательно [Боргояков, 1966, с. 81] и привлекает внимание исследователей и в настоящее время [Дыбо, 2015; Алмадакова, 2018; 2019].

Н. Н. Широбокова отмечает, что по характеру употребления долгих гласных, не объясняемых изменениями групп VCV (гласный, согласный, гласный), VC (гласный, согласный), в Сибири выделяются три ареала, отличающихся разными закономерностями употребления долгих гласных. Первую зону составляют якутский и долганский языки, в которых так называемая этимологическая долгота зависела не только от качества последующего согласного, но и от структуры слова: она может быть отмечена в однокоренных односложных словах (*aač* ‘голод’), но не представлена в двусложных (*ačyk* ‘голодный’). Во вторую зону Н. Н. Широбокова включает чулымско-тюркский язык, диалекты хакасского, алтайского и шорского языков, в которых долгота может появляться при морфологическом наращении в односложных и двусложных словах перед последующим гласным. В третью зону, по мнению Н. Н. Широбоковой, входит тувинский язык, в котором долгим гласным якутского языка соответствуют краткие нефарингализованные гласные [Широбокова, 2005, с. 189–190].

Долгие гласные в тюркских языках отличаются от кратких гласных только количественной стороной, т. е. длительностью. Артикуляционная характеристика долгих гласных та же, что и у кратких гласных. Употребление долгого гласного *aa* в именных и глагольных словоформах тёлёсского (чолушманского) говора в сопоставлении с данными других говоров улаганского диалекта, алтай-кижи диалекта рассмотрено в статьях Н. Д. Алмадаковой [2018; 2019]. В говорах улаганского диалекта теленгитского языка долгий гласный *oo* употребляется в именных и глагольных словоформах, а также в заимствованных из русского языка словах. В настоящей статье рассматривается долгий гласный *oo* в именных словоформах.

I. Именные корневые словоформы с долгим гласным *oo*

Долгий гласный *oo* в говорах улаганского диалекта встречается в именных корневых и некорневых словоформах. Именные корневые словоформы с долгим гласным *oo*, в свою очередь, подразделяются на словоформы-моносиллабы и словоформы-бисиллабы.

Именные корневые словоформы-моносиллабы

В балыктуюльском, кара-кудюрском, саратанско-язулинском, чибитском, чибинском говорах улаганского диалекта долгий гласный *oo* употребляется в пятнадцати именных корневых словоформах-моносиллабах, подразделяющихся на три типа слогов: 1) прикрито-закрытый CVC, 2) прикрито-открытый CV, 3) приоткрыто-закрытый слог VC.

1. Тип CVC представлен в девяти словоформах: *᠒oor* ‘печень’, *choor* ‘музыкальный инструмент в виде дудки’, *koor* ‘наслаждение, утеха’, *kool* ‘русло’, *᠒oos* ‘стельная, беременная’, *boom* ‘крутой скалистый выступ’, *joon* ‘крупный’, *joor* ‘потёртость на спине лошади’, *soox* ‘холод, холодный, холодно’.

Долгому гласному *oo* в приведенных выше словоформах соответствует дифтонг *oa* в тёлёском говоре, например, *᠒oor* – *᠒oar* ‘печень’, *soox* – *soax* ‘холод, холодный, холодно’ и др.

Долгому гласному *oo* в теленгитском слове *᠒oor* ‘печень’ соответствует долгий гласный *uu* (*буур*) в алтай-кижи диалекте и алтайском литературном языке. В значении ‘печень’ в древнетюркском языке использовалось слово *bagyr*, из чего следует, что долгий гласный *oo* в теленгитском слове *᠒oor* и долгий гласный *uu* в алтайском слове *буур* образовались в результате выпадения интервокального заднеязычного согласного *g*.

В значении ‘холод, холодный, холодно’ в большинстве говоров улаганского диалекта чаще используется словоформа *суух*, долгому гласному в котором, соответствует дифтонг *ua* (*суах*) в тёлёском говоре.

Приведенные выше улаганские словоформы с долгим гласным *oo* употребляются и в чуйском диалекте теленгитского языка. Что касается варианта *суух*, то в отличие от улаганского диалекта он характерен больше для языка пожилых (старше 50 лет) людей. Вариант *суух* встречается и в алтай-кижи диалекте, а именно в иодринском подговоре онгудайского говора, в каспийском подговоре шебалинского говора, в козульском подговоре усть-канского говора.

Долгий гласный *oo* / *uu* в слове *soox* (*суух*) ‘холод, холодный, холодно’, а также дифтонги *oa*, *ua* в вариантах *soax*, *суах* образовались в результате выпадения интервокального согласного, если учесть данные древнетюркского языка, в котором зафиксировано слово *soŋiq* ‘холодный’ [ДТС, 1969, с. 507] и чулымского языка, в котором в значении ‘холодный, холод’ используется слово *суйук*.

2. Тип CV, по сравнению с типом CVC, составляют четыре словоформы: *тоо* ‘число’, *᠒oo* ‘сюда’, *соо* ‘здоровый’, *коо* ‘стройный’.

Долгому гласному *oo* в приведенных выше словоформах соответствует дифтонг *oa* в тёлёском говоре: *тоа*, *᠒oa*, *соа*, *коа*.

В значении ‘сюда’, кроме словоформы *᠒oo*, в чибитском говоре используется также полная форма слова *᠒ogo*, которая характерна и для чуйского диалекта, алтай-кижи диалекта и алтайского литературного языка, из чего следует, что долгий гласный *oo* произошел в результате выпадения интервокального согласного *g*.

В отличие от чибитского говора, в остальных говорах улаганского диалекта в значении ‘сюда’ используется часто и вариант *᠒oga*. В тёлёском говоре, кроме формы *᠒oa*, в значении ‘сюда’ используется и вариант с долгим гласным *aa* (*᠒aa*).

Тип CV с долгим гласным *oo* в алтай-кижи диалекте, по сравнению теленгитским языком, составляют только три слова: *тоо* ‘число’, *боо* ‘сюда’, *коо* ‘стройный’. Исключение составляет слово *соо* ‘здоровый’, которое в алтай-кижи диалекте не используется. В значении ‘здоровый’ употребляется слово *су-кадык*, характерное и для диалектов теленгитского языка.

В отличие от алтай-кижи диалекта, в алтайском литературном языке тип CV с долгим гласным *oo* представлен только словоформами *тоо* ‘число’, *коо* ‘стройный’, поскольку в значении ‘сюда’ используется только полная форма *бого*.

В списке словоформ типа CV обращает на себя внимание слово *тоо* ‘число, цифра’. В алтай-кижи диалекте наряду с глаголом *тооло* ‘считать’ (от слова *тоо* ‘число’), употребляется и вариант *тоголо*. Корень глагольной словоформы *тоголо* представляет слово *того*, из чего можно заключить, что долгий гласный *oo* в именной корневой словоформе *тоо* образовался в результате выпадения интервокального заднеязычного согласного *z*.

3. Тип VC, по сравнению с типами CVC, CV, представлен только в двух словоформах: *оос* ‘рот’, *оок* ‘мелочь, мелкий’.

Долгому гласному *oo* в вышеприведенных словоформах соответствует дифтонг *oa* в телёсском говоре: *оас* ‘рот’, *оак* ‘мелочь, мелкий’.

Вышеприведенные улаганские словоформы типа VC с долгим гласным *oo* используются и в чуйском говоре. Они характерны и для алтай-кижи, алтайского литературного.

Попутно заметим, что в значении ‘рот’ в гагаузском языке используется *a:z*, в кумыкском, кабардино-балкарском, ногайском языках – *awuz* [СИГТЯ, 1997, с. 224].

В древнетюркском языке в значении ‘рот’ использовалось слово *aiž*, из чего можно заключить, что долгий гласный *oo* в теленгитском и алтайском языках, а также дифтонг *oa* в телёсском говоре образовался в результате элизии интервокального согласного.

Таким образом, рассмотрение именных корневых словоформ-моносиллабов с долгим гласным *oo* позволил сделать вывод о том, что балыктуюльский, каракудюрский, саратанско-язулинский, чибиллинский говоры обнаруживают общие черты. От них несколько отличается чибитский говор. Особое место среди других говоров занимает телёсский говор. Обнаруживается также вариативность форм, что наглядно отражено в таблице (см. далее).

Именные корневые словоформы-бисиллабы

В балыктуюльском, саратанско-язулинском, каракудюрском, чибиллинском, чибитском говорах улаганского диалекта зафиксировано тридцать именных двуслоговых корневых словоформ с долгим гласным *oo* в первом слоге. По сравнению с моносиллабами, бисиллабы подразделяются на шесть типов слогов: 1) CV-CVC, 2) CV-CV, 3) V-CVC, 4) CVC-CVC, 5) V-CV, 6) CVC-CV.

1. Тип CV-CVC представляют тринадцать словоформ-бисиллабов.

В словоформах *тоосун* ‘пыль’, *чоохур* ‘пестрый’, *жоорух* ‘поездка’, *тоолух* ‘угол’, *чоолух* ‘ненадёжный’, *коорум* ‘каменная россыпь, курган’, *соолун* ‘новость, интересный, необычный’, *тоомух* ‘коленная чашечка’, *коонус* ‘жук’, *коомут* ‘хомут’, *коомут* ‘веселье’ (в составе сложного слова *кошан-коомут*), *коомус* ‘музыкальный инструмент’, *моонус* ‘шустрый, быстрый’ на долготу гласного *oo* влияет позиция перед узким гласным *u* второго слога. В данном случае мы вслед за И. Я. Селютиной [1998] будем говорить об ингерентной длительности гласных. Кроме того, в приведенных словоформах типа CV-CVC на длительность гласного первого слога влияет и его позиция перед сонорными согласными *p*, *l*, *m* второго слога. Придерживаясь мнения И. Я. Селютиной [2002], будем говорить о позиционно-комбинаторном варьировании длительности (квантитативности).

Именные корневые и некорневые словоформы с долгим гласным *oo*
 Nominal root and non-root forms with a long vowel *oo*

№ п/п	Значение	Диалекты				алтай-кижи	Алтайский литературный язык
		улаганский		чуйский	алтай-кижи		
		бал., к-к., сар.-яз., чибил. говоры	чибит. говор				
Именные корневые словоформы-моносиллабы							
1	печень	<i>џоор</i>	<i>џоор</i>	<i>џоар</i>	<i>џоор</i>	<i>буур</i>	<i>буур</i>
2	холод	<i>соок, суух</i>	<i>соох, суух</i>	<i>соах, суах</i>	<i>соох, суух</i>	<i>соох, суух</i>	<i>соок</i>
3	стюда	<i>џоо, џога</i>	<i>џоо, џого</i>	<i>џоа, џаа</i>	<i>џоо, џого</i>	<i>боо, боого</i>	<i>бого</i>
4	здоровый	<i>соо</i>	<i>соо</i>	<i>соа</i>	<i>соо</i>	–	–
Именные корневые словоформы-бисиллабы							
1	поездка	<i>џоорух</i>	<i>џоорух</i>	<i>џоарух</i>	<i>џоорух</i>	<i>џоорух, џорух</i>	<i>џорух</i>
2	новость	<i>соолун</i>	<i>соолун</i>	<i>соалун</i>	<i>соолун</i>	<i>соолун, солун</i>	<i>солун</i>
3	лук	<i>соона</i>	<i>сооно</i>	<i>соана</i>	<i>сооно</i>	<i>сооно, согоно</i>	<i>согоно</i>
4	телёнок	<i>џоосу</i>	<i>џоосу</i>	<i>џсаа</i>	<i>џоосу џсаа</i>	<i>бозу</i>	<i>бозу</i>
5	стог, скирда	<i>обаа</i>	<i>обоо</i>	<i>обаа</i>	<i>обоо</i>	<i>обоо, обоого</i>	<i>обоого</i>

Окончание таблицы

№ п/п	Значение	Диалекты					Алтайский литературный язык
		улаганский			чуйский	алтай-кижи	
		бал., к-к., сар.-яз., чибил. говоры	чибит. говор	тёл. говор			
6	тридцать	оодус	оодус	оадус	оодус	оодус, одыс, оттыс	одыс
7	страна	ораан	ороон	ораан	ороон	ороон	ороон
8	почва, земля	тообурах	тообурах	тоабурах	тообурах	тообрак	тообрак
9	выпечка	цоорсах	цоорсах	цоарсах	цоорсах	боорсах	боорсок
11	стан, род	ооду	ооду	ооду	ооду	ооду, ооду	ооду
12	потом, после	соонда	соондо	соанда	соондо	соондо, сонгында	сонгында
Именные некорневые словоформы-бисиллабы							
1	рука=моя	коолум	коолум	коалум	коолум	коолым, колым	колым
2	рука=наша	коолус	коолус	коалус	коолус	коолыс, колыс	колыс, колыбыс
3	добавляя	коошуп	коошуп	коашуп	коошуп	коожуп, коожыл, кожыл, кожуп	кожуп
4	драка, битва	соогуш	соогуш	соагуш	соогуш	соогуш, согуш	согуш

Нам представляется, что долгий гласный *oo* в слове *коомай* (в чибит. *коомой*) ‘плохой, нехороший’ произошел в результате элизии интервокального согласного *x* и процесса ассимиляции в теленгитском слове *кохумай* ‘плохой, нехороший’, которое в алтайском литературном языке отсутствует, а в некоторых говорах алтай-кижи диалекта используется в значении ‘хороший’.

Долгому гласному *oo* первого слога в приведенных выше словоформах соответствует дифтонг *oa* в телёсском говоре: *тоасун* ‘пыль’, *чоахур* ‘пестрый’, *жоарух* ‘поездка’, *тоалух* ‘угол’, *чоалух* ‘ненадёжный’, *коарум* ‘каменная россыпь, курган’, *соалун* ‘новость, интересный, необычный’, *тоамух* ‘коленная чашечка’, *коангус* ‘жук’, *коамут* ‘хомут’, *коамут* ‘веселье’ (в составе сложного слова *кошан-коомут*), *коамус* ‘музыкальный инструмент’, *моангус* ‘шустрый, быстрый’.

Вышеприведенные улаганские словоформы типа CV-CVC с долгим гласным *oo* в первом слоге характерны и для чуйского диалекта. Эти же словоформы (за исключением слов *чоолух* ‘ненадёжный’, *моонгус* ‘шустрый, быстрый’) используются и в алтай-кижи диалекте. Однако в алтай-кижи диалекте, в отличие от теленгитского языка, эти словоформы употребляются и с кратким гласным *o* в первом слоге: *тоосун* (*тоозун*, *тоозын*, *тоосын*) – *тосун* (*тозун*), *чоохур* (*чоокур*, *чоокыр*) – *чокур* (*чокыр*), *жоорух* (*жоорук*) – *жорук* (*жорук*), *тоолух* (*тоолук*, *тоолук*) – *толук* (*толук*, *толык*), *коорум* (*коорым*) – *корум* (*корым*), *соолун* – *солун*, *тоомух* (*тоолук*, *тоомык*, *тоомых*) – *томук*, *томык*, *томык*), *коонгус* (*коонгус*) – *конгус* (*конгус*), *коомут* – *комут*, *коомус* (*коомыс*) – *комус* (*комыс*).

В алтайском литературном, в отличие не только от диалектов теленгитского языка, но и алтай-кижи диалекта, тип CV-CVC с долгим гласным *oo* первого слога представлен только тремя словами из вышеприведенного списка: *тоозын* ‘пыль’, *чоокыр* ‘пестрый’, *коомой* ‘плохой’.

Остальные слова с долгим гласным *oo*, приведенные выше, в алтайском литературном употребляются только с кратким губным гласным *o* в первом слоге.

2. Тип CV-CV, в отличие от типа CV-CVC, составляют лишь шесть словоформ-бисиллабов: *кооса* ‘мякина’, *соона* ‘лук’, *џоосу* ‘телёнок’, *џоора* ‘давно’, *џоона* ‘кость животного с мозгами’, *џооша* ‘вожжи’. Долгому гласному *oo* в приведенных словоформах соответствует дифтонг *oa* в телёсском говоре, например: *кооса* ‘мякина’, *соона* ‘лук’ и др. Кроме того, в телёсском в значении ‘телёнок’ используется слово *џсаа*, которое встречается в балыктуюльском и кара-кудюрском говорах, а также в чуйском диалекте, но в значении ‘телёнок яка’. Слово *псаа* в значении ‘телёнок’ используется и в хакасском языке. В отличие от диалектов теленгитского языка, в алтай-кижи диалекте и алтайском литературном языке в значении ‘телёнок’ используется слово с кратким гласным *o* первого слога: *бозу*.

В чибитском, в отличие от всех других говоров, в приведенных выше словоформах типа CV-CV после долгого огубленного гласного *oo* первого слога во втором слоге используется огубленный *o*: *коосо* ‘мякина’, *сооно* ‘лук’, *џооро* ‘давно’, *џооно* ‘кость животного с мозгами’, *џоошо* ‘вожжи’. Эти же словоформы характерны для чуйского и алтай-кижи диалектов. Однако, в отличие от теленгитского, в алтай-кижи, кроме слова *сооно* ‘лук’, используется и вариант *согоно*. В отличие от алтай-кижи, в алтайском литературном используется только вариант *согоно*, судя по которому долгий гласный *oo* в словоформах *соона*, *сооно* образовался в результате выпадения интервокального согласного *g*.

Тип CV-CV с долгим гласным *oo* первого слога в алтай-кижи, алтайском литературном представляют также слова *ноокы* ‘козий пух’, *коокы* ‘перхоть’, *боочы*

‘перевал, холм’, которые в улаганском и чуйском диалектах теленгитского языка не употребляются. В теленгитском в значении ‘козий пух’ используется слово *таакы*, в значении ‘перхоть’ – слово *каак*.

3. Тип V-CVC отмечается лишь в пяти словоформах: *оорук* (*јол*) ‘извилистая (дорога)’, *оодун* ‘дрова’, *оодус* ‘тридцать’, *оорун* ‘кровать’, *оорус* ‘русский’. В этих словоформах, как и в словоформах типа CV-CVC (*тоосун* ‘пыль’), мы усматриваем позиционно-комбинаторное варьирование квантитативности.

Долгому гласному *oo* первого слога в приведенных словоформах типа V-CVC соответствуют дифтонг *oa* в телёсском говоре: *оарук* ‘извилистый’, *оадун* ‘дрова’, *оарун* ‘кровать’, *оарус* ‘русский’, *оогур* ‘тяжёлый, тяжело’. В этих словоформах, как и в словоформах типа CV-CVC (*тоосун* ‘пыль’), мы усматриваем позиционно-комбинаторное варьирование квантитативности.

Долгому гласному *oo* первого слога в приведенных словоформах типа V-CVC соответствуют дифтонг *oa* (*оарук* ‘извилистый’, *оадун* ‘дрова’, *оарун* ‘кровать’, *оарус* ‘русский’, а также дифтонг *ya* (*уар* ‘тяжёлый’) в телёсском говоре.

Приведенные выше улаганские словоформы типа V-CVC с долгим гласным *oo* первого слога употребляются и в чуйском диалекте.

В отличие от диалектов теленгитского языка, в алтай-кижи диалекте, алтайском литературном языке некоторые словоформы используются с кратким гласным *o* первого слога: *орык* ‘извилистый’, *одын* ‘дрова’, *орус* ‘русский’, *одус* ‘тридцать’. Попутно заметим, что в алтай-кижи диалекте, в отличие от алтайского литературного языка, в значении ‘тридцать’ используется и словоформа *оттыс*.

Если в теленгитском языке в значении ‘тяжёлый, тяжело’ используется словоформа *оогур*, то в алтай-кижи диалекте, алтайском литературном языке – словоформа *уур*.

Тип V-CVC в чибитском говоре представляют также именные словоформы с долгим гласным *oo* второго слога, например: *ороон* ‘страна’. Долгому гласному *oo* второго слога в слове *ороон* соответствует долгий гласный *aa* (*ораан*) в остальных говорах.

Как и в чибитском говоре, словоформа *ороон* с долгим гласным во втором слоге употребляется и в чуйском диалекте. Эта словоформа используется и в алтай-кижи диалекте, алтайском литературном языке.

4. Тип CVC-CVC, по сравнению с типами CVCV, VCVC, CVCVC, составляют только три словоформы: *тоорчух* ‘соловей’, *тообурах* ‘почва, земля’, *џоорсах* ‘выпечка круглой формы, жаренная в масле’. Долгому гласному *oo* в приведенных словоформах соответствует дифтонг *oa* (*тоарчух*, *тоабурах*, *џоорсах*) в телёсском говоре. Неогубленному гласному *a* второго слога в словоформах *џоорсах*, *џоорсах* в других говорах соответствует огубленный гласный *o* (*џоорсох*) в чибитском говоре, чуйском диалекте, а также в алтай-кижи диалекте, алтайском литературном языке. Долгому гласному *oo* в слове *тообурах* ‘почва, земля’ соответствует краткий гласный *o* в алтай-кижи диалекте, алтайском литературном языке (*тобрак*).

5. Тип V-CV, по сравнению с типами CV-CV, V-CVC, CV-CVC, CVC-CVC, представляют только две словоформы-бисиллабы: *оору* ‘болезнь, больной’, *ооду* ‘стан, род’. Долгому гласному *oo* в этих словоформах соответствует дифтонг *oa* (*оару*, *оаду*) в телёсском говоре. Словоформы *оору*, *ооду* используются и в чуйском диалекте, а также в алтай-кижи диалекте. Однако в алтай-кижи кроме слова *ооду* ‘стан, род’ используется и вариант с кратким гласным *o* (*оду*). В отличие от алтай-кижи диалекта, в алтайском литературном используется только вариант

с кратким гласным *o* в первом слоге (*оду*), следовательно, в алтайском литературном языке тип V-CV с долгим гласным *oo* первого слога представлен лишь одним словом *оору* ‘болезнь, больной’. Попутно заметим, что слово *оору* в алтай-кижи имеет и значение ‘больно’. В отличие от алтай-кижи диалекта, в значении ‘больно’ в теленгитском языке в используется слово *ачу* (*аачу, ачуу*).

Тип V-CV в чибитском, в отличие от всех других говоров, составляют также словоформы с долгим гласным *oo* во втором слоге, например: *обоо* ‘стог, скирда’. Долгому гласному *oo* второго слога в слове *обоо* соответствует долгий гласный *aa* (*обаа*) во всех других говорах. Словоформа *обоо*, как и в чибитском говоре, используется в чуйском и алтай-кижи диалектах. Однако в алтай-кижи употребляется и вариант *обого*, из чего следует заключить, что долгий гласный *oo* в словоформе *обоо* и долгий гласный *aa* в словоформе *обаа* образовались в результате выпадения интервокального заднеязычного согласного *ɣ*.

б. Тип CVC-CV, по сравнению со всеми вышеуказанными типами, представлен лишь одной словоформой *соонда* ‘потом, после’. Долгому гласному *oo* в слове *соонда* соответствует дифтонг *oa* (*соанда*) в телёсском говоре. В чибитском, в отличие от всех других говоров, после долгого *oo* первого слога во втором слоге используется огубленный гласный *o* (*соондо*), чем обнаруживается сходство с чуйским, алтай-кижи диалектами и алтайским литературным языком. Однако в алтай-кижи диалекте и алтайском литературном языке в значении ‘потом, после’, кроме *соондо*, используется и вариант *соньнда*, из чего следует, что долгий гласный *oo* первого слога в словоформах *соондо*, *соонда* произошел вследствие выпадения интервокального согласного *h*.

Таким образом, по употреблению долгого гласного *oo* в корневых словоформах-бисиллабах говоры улаганского диалекта подразделяются на три группы: 1) чибитский – долгий гласный *oo* используется как в первом, так и во втором слоге; 2) балыктуюльском, саратанско-язулинском, кара-кудюрсском, чибилинском – долгий *oo* гласный используется только в первом слоге; в чибитском долгому гласному *oo* второго слога соответствует долгий гласный *aa*; 3) телёсский – долгому гласному *oo* первого слога в других говорах соответствует дифтонг *oa*, чибитскому долгому гласному *oo* второго слога соответствует долгий гласный *aa*. Обнаружены варианты употребления словоформ с долгим гласным *oo*. Особенности употребления словоформ-бисиллабов с долгим гласным *oo* представлены в таблице.

II. Именные некорневые словоформы-бисиллабы с долгим гласным *oo*

Долгий гласный *oo*, кроме именных корневых словоформ-моносиллабов и словоформ-бисиллабов, употребляется и в именных некорневых словоформах.

Долгий гласный *oo* в именных некорневых словоформах в балыктуюльском, саратанско-язулинском, кара-кудюрсском, чибилинском, чибитском говорах употребляется в трех случаях.

1. При наращении аффикса принадлежности 1, 2, 3-го лица единственного числа с узким гласным *у*: *коол=ум* ‘рука=моя’, *коол=ун* ‘рука=твоя’, *коол=у* ‘рука=его’. Долгота гласного *oo* в позиции перед узким гласным *у* наблюдается и при присоединении аффикса 1-го, 3-го лица множественного числа: *коол=уус* ‘рука=наша’, *коол=у* ‘рука=их’. Обращает на себя внимание долгий гласный в словоформе с аффиксом 2-го лица множественного числа, в котором употребляется долгий гласный *aa*. Долгий гласный *aa* в некорневых именных словоформах ула-

ганского диалекта образуется в результате выпадения интервокального согласного *z* в алтайской словоформе, например, *алыгар* ‘берите’ – *алаар*.

Долгому гласному *oo* в рассмотренных выше словоформах соответствует дифтонг *oa* в тёлёсском говоре: *коалум, коалун, коалу, коалуус, коалаар*.

2. При присоединении деепричастного аффикса с узким гласным *y*: *коошун* ‘добавляя’, *тоонун* ‘замерзая’, *жоонун* ‘строгая’. Долгому гласному *oo* в первом слоге приведенных деепричастных форм соответствует дифтонг *oa* в тёлёсском говоре: *коашун, тоанун, жоонун*.

3. При наращении словообразовательного аффикса *=ум, =уи* с узким гласным *y*: *соогум* ‘запас мяса на зиму’ (*сок* ‘забывать’), *соогуи* ‘драка, битва’ (*сок* ‘бить’).

Как и в предыдущих двух случаях, в словоформах рассматриваемого случая долгому гласному *oo* соответствует дифтонг *oa* в тёлёсском говоре: *соагум* ‘запас мяса на зиму’, *соагуи* ‘драка, битва’.

В отличие от говоров улаганского (за исключением тёлёсского говора) и чуйского диалектов, в алтайском литературном языке при присоединении аффиксов принадлежности, деепричастия и словообразовательного аффикса с узким гласным *y* долгий гласный *oo* не образуется. Однако, в отличие от алтайского литературного, в алтай-кижи диалекте долгий гласный *oo* образуется при наращении морфологических показателей с узкими гласными *ы* или *у*: *коолым, коолын, коолы, коожып, коожун*. При этом в алтай-кижи диалекте используется параллельно и вариант с кратким гласным *o* первого слога: *колым, колын, колы, кожып, кожун*.

Употребление долгого гласного *oo* в некорневых именных словоформах представлено в таблице.

Заключение

Словоформы-моносиллабы с долгим гласным *oo* являются в целом общими для говоров улаганского и чуйского диалектов теленгитского языка, алтай-кижи диалекта и алтайского литературного языка. Некоторые словоформы-бисиллабы (*чоолух, моонус*), которые употребляются в улаганском и чуйском диалектах теленгитского языка, не используются в алтайском литературном языке и алтай-кижи диалекте. Есть бисиллабы (*боочы, ноокы, коокы*), которые употребляются в алтай-кижи диалекте и алтайском литературном языке, но не встречаются в улаганском и чуйском диалектах теленгитского языка. Некоторые словоформы-бисиллабы (*боо, сооно*), встречающиеся в алтай-кижи диалекте, не используются в алтайском литературном языке.

Долгому гласному *oo* первого слога в балыктуюльском, саратанско-язулинском, кара-кудюрском, чибиллинском, чибитском говорах соответствует дифтонг *oa* (*боо – боа, соона – соана*) в тёлёсском говоре.

Долгому гласному *oo* первого слога в балыктуюльском, саратанско-язулинском, кара-кудюрском, чибиллинском, чибитском соответствует долгий гласный *oo* в этих же говорах (*соох – суух*).

Долгому гласному *uu* в других говорах улаганского диалекта соответствует дифтонг *ya* (*суух – суаах*) в тёлёсском говоре.

Долгий гласный *oo* во втором слоге в балыктуюльском, саратанско-язулинском, кара-кудюрском, чибиллинском бисиллабах не употребляется. Исключение составляет чибитский говор, в котором долгий гласный *oo* употребляется и во втором слоге, этот говор обнаруживает сходство с чуйским, алтай-кижи диалек-

тами и алтайским литературным языком. Чибитскому долгому *oo* второго слога соответствует долгий гласный *aa* в других говорах: *ороон – ораан*.

В алтай-кижи диалекте, в отличие от алтайского литературного языка, некоторые словоформы употребляются как с долгим гласным *oo* в первом слоге, так и с кратким гласным *o* (*ооду – оду*).

Долгий гласный *oo*, а также дифтонги *oa*, *ya* в словоформах-моносиллабах и словоформах-бисиллабах являются результатом элизии интервокальных согласных *г, й, н, в*.

Длительность (квантитативность) гласного *oo* в первых слогах бисиллабов теленгитского языка зависит от позиции перед узким гласным *y* второго слога, в алтай-кижи диалекте – от позиции перед узкими *y, ы* второго слога. Длительность гласного *oo* зависит и от позиции перед сонорными согласными *p, л, м, н*.

Долгий гласный *oo* в улаганском и чуйском диалектах теленгитского языка образуется при морфологическом наращении посессивных аффиксов, аффикса дееспричастия и словообразовательных аффиксов с узким гласным *y*. В алтай-кижи диалекте, в отличие от алтайского литературного языка, долгий гласный *oo* образуется в позиции перед узким гласным *ы* морфологического показателя.

По характеру образования длительности при присоединении морфологических показателей диалекты теленгитского языка, как и диалекты алтайского языка, следует отнести ко второй зоне сибирских тюркских языков, в которых, по мнению Н. Н. Широковой, долгота может появляться при морфологическом наращении в односложных и двусложных словах перед гласным [Широкова, 2005, с. 189–190].

Происхождение долгого гласного *oo* и дифтонгов *oa, ya* в результате выпадения интервокальных согласных и последующего слияния гласных направляет наше особое внимание на точку зрения В. Радлова о том, что долгие гласные первоначально были чуждыми тюркским языкам.

Список сокращений

Говоры: бал. – балыктуюльский; к.-к. – кара-кудюрский; сар.-яз. – саратанско-жулинский; тёл. – тёлёсский (чолушманский); чибил. – чибиллинский; чибит. – чибитский

Обозначения: V – гласный звук; C – согласный звук

Список литературы

Алмадакова Н. Д. Язык теленгитов: очерки по фонетике и морфологии в сопоставительном аспекте. Горно-Алтайск: Изд-во ГАГУ, 2016.

Алмадакова Н. Д. Долгий гласный [a] в именных словоформах тёлёсского (чолушманского) говора улаганского диалекта теленгитского языка (в сопоставительном аспекте) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2018. Т. 17, № 2. С. 99–114.

Алмадакова Н. Д. Долгий гласный [aa] в глагольных словоформах тёлёсского (чолушманского) говора улаганского диалекта теленгитского языка (в сопоставительном аспекте) // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2019. № 1. С. 34–42.

Баскаков Н. А. Алтайский язык. М.: Изд-во АН СССР, 1958.

Бишиев А. «Первичные» долгие гласные в тюркских языках. Уфа: БФАН, 1963. 126 с.

Боргояков М. И. Об образовании и развитии некоторых долгих гласных в хакасском языке // Учен. зап. Научно-исследовательского института языка, литературы и истории. Абакан, 1966. С. 81–98.

ДТС – Древнетюркский словарь. Л.: Наука, 1969. 676 с.

Дыбо А. В. О «первичных» долготах в тюркских языках // Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2015. Т. 13, № 1. С. 6–14.

Селютина И. Я. Кумандинский вокализм. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998. 184 с.

Селютина И. Я. Фонетика языков народов Сибири. Горно-Алтайск: Универ-Принт, 2002. 101 с.

Селютина И. Я., Уртегешев Н. С., Эсенбаева Г. А. Атлас консонантных артикуляций в тюркских языках народов Сибири. Новосибирск, 2013. 250 с.

СИГТЯ – Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика. М.: Наука, 1997. 799 с.

Щербак А. М. Грамматический очерк языка тюркских текстов X–XIII вв. из восточного Туркестана. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. 203 с.

Широбокова Н. Н. Отношение якутского языка к тюркским языкам Южной Сибири. Новосибирск: Наука, 2005. 268 с.

Böhtling J. *Über die Sprache der Jakuten*. St. Petersburg, 1851.

Castren M. *Versuch einer koibalischen und karagaischen Sprachlehre*. St. Petersburg, 1857.

Radloff W. W. *Phonetik der nördlichen Türksprachen*. Leipzig, 1882.

References

Almadakova N. D. Dolgiy glasnyy [a] v imennykh slovoformakh telesskogo (cholushmanskogo) govora ulaganskogo dialekta telengitskogo yazyka (v sopostavitel'nom aspekte) [Long vowel [a] in the nominal word forms of Tölös (Cho-Lushman) dialect of Ulagan dialect of Telengit language (in the comparative aspect)]. *Vestnik of Novosibirsk State University. Series: "History and Philology"*. 2018, vol. 17, no. 2, pp. 99–114.

Almadakova N. D. Dolgiy glasnyy [aa] v glagol'nykh slovoformakh telesskogo (cholushmanskogo) govora ulaganskogo dialekta telengitskogo yazyka (v sopostavitel'nom aspekte) [Long vowel [aa] in the verbal word forms of the Tölös (Cholushmanian) dialect of the Ulagan dialect of the Telengit language (in comparative aspect)]. *Philological Sciences. Scientific Essays of Higher Education*. 2019, no. 1, pp. 34–42.

Almadakova N. D. *Yazyk telengitov: ocherki po fonetike i morfologii v sopostavitel'nom aspekte* [The language of Telengits: essays on phonetics and morphology in the comparative aspect]. Gorno-Altaysk, GASU Publ., 2016.

Baskakov N. A. *Altayskiy yazyk* [Altai language]. Moscow, AN SSSR, 1958.

Biishev A. "Pervichnye" dolgie glasnye v tyurkskikh yazykakh ["Primary" long vowels in Turkic languages]. Ufa, BFAN, 1963, 126 p.

Böhtling J. *Über die Sprache der Jakuten*. St. Petersburg, 1851.

Borgoyakov M. I. Ob obrazovanii i razvitiit nekotorykh dolgikh glasnykh v khakasskom yazyke [On the formation and development of some long vowels in Khakass language]. *Scientific notes of KhRILLH*. Abakan, 1966, pp. 81–98.

Castren M. *Versuch einer koibalischen und karagaischen Sprachlehre*. St. Petersburg, 1857.

Drevnetyurkskiy slovar' [Ancient Turkic dictionary]. Leningrad, Nauka, 1969, 676 p.

Dybo A. V. O “pervichnykh” dolgotakh v tyurkskikh yazykakh [On the “primary” longitudes in the Turkic languages]. *Vestnik of Novosibirsk State University. Series: “History and Philology”*. 2015, vol. 13, no. 1, pp. 6–14.

Radloff W. W. *Phonetik der nördlichen Türk Sprachen*. Leipzig, 1882.

Selyutina I. Ya. *Fonetika yazykov narodov Sibiri* [Phonetics of the languages of the peoples of Siberia]. Gorno-Altaysk, Univer-Print, 2002, 101 p.

Selyutina I. Ya. *Kumandinskiy vokalizm* [Kumanda vocalism]. Novosibirsk, Sibirskiy khronograf, 1998. 184 s.

Selyutina I. Ya., Urtegeshev N. S., Esenbaeva G. A. *Atlas konsonantnykh artikulyatsiy v tyurkskikh yazykakh narodov Sibiri* [Atlas of consonantal articulations in the Turkic languages of the peoples of Siberia]. Novosibirsk, 2013, 250 p.

Shcherbak A. M. *Grammaticheskiy ocherk yazyka tyurkskikh tekstov 10–13 vv. iz vostochnogo Turkestana* [A grammatical sketch of the Turkic texts of the 10th – 13th centuries from the Eastern Turkestan]. Moscow, Leningrad, AN SSSR, 1961, 203 p.

Shirobokova N. N. *Otnoshenie yakutskogo yazyka k tyurkskim yazykam Yuzhnoy Sibiri* [The relation of the Yakut language to the Turkic languages of South Siberia]. Novosibirsk, Nauka, 2005, 268 s.

Sravnitel'no-istoricheskaya grammatika tyurkskikh yazykov. Leksika [Comparative and historical grammar of the Turkic languages]. Moscow, Nauka, 1997, 799 p.

Сведения об авторе

Алмадакова Надежда Дмитриевна – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Горно-Алтайского государственного университета (Горно-Алтайск, Россия)

ndalmadakova@mail.ru

Information about the author

Nadezda D. Almadakova – Candidate of Philology, Senior Researcher at the Gorno-Altaysk State University (Gorno-Altaysk, Russian Federation)

ndalmadakova@mail.ru

**Генезис, эволюция и семантика цветообозначений
kük ‘синий’, *zäŋgär* ‘голубой’, *jäšel* ‘зеленый’
в башкирском языке**

Р. Т. Муратова

*Институт истории, языка и литературы УФИЦ РАН
Уфа, Россия*

Аннотация

Цель статьи – изучить цветообозначения *kük* ‘синий’, *zäŋgär* ‘голубой’, *jäšel* ‘зеленый’ в башкирском языке, семантика которых имеет ряд особенностей как в диалектах, так и в тюркских языках в целом. Для прослеживания развития этих цветообозначений использовались работы по восстановлению праалтайских, пратюркских форм, а также языковой материал из древнетюркских, средневековых письменных памятников. Источниками примеров для выявления значений слов послужили словари башкирского языка и данные корпусов башкирской прозы и фольклора. Для сравнительных исследований использованы лексикографические труды по тюркским языкам. Выявлено, что в литературном башкирском языке для обозначения синего цвета используется лексема *kük*, голубого – *zäŋgär*, зеленого – *jäšel*, но в диалектах наблюдаются расхождения в значениях этих лексем: *kük* может обозначать все три цвета; *zäŋgär* в одних диалектах обозначает только голубой, а в других – синий, *jäšel* – в одних говорах зеленый, в других – синий. Лексемы *kük* и *jäšel* восходят к пратюркским словам, слово *zäŋgär* – к персидскому. Выяснилось, что в башкирском языке имеется отличающееся от других тюркских языков коннотативное значение слова *kük* – ‘западный’.

Ключевые слова

башкирский язык, тюркские языки, цветообозначения, синий, голубой, зеленый

Благодарности

Исследование выполнено в рамках мегагранта Правительства РФ № 14.Y26.31.0014 “Языки Южной Сибири в синхронии, диахронии и взаимодействии”

Для цитирования

Муратова Р. Т. Генезис, эволюция и семантика цветообозначений *kük* ‘синий’, *zäŋgär* ‘голубой’, *jäšel* ‘зеленый’ в башкирском языке // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 224–238. DOI 10.17223/18137083/74/17

© Р. Т. Муратова, 2021

Genesis, evolution and semantics of the color terms *kük* ‘blue’, *zängär* ‘sky blue’, *jäšel* ‘green’ in the Bashkir language

R. T. Muratova

Ufa Federal Research Centre RAS
Ufa, Russian Federation

Abstract

The paper aims at studying the genesis, evolution, and development of the color terms *kük* (blue), *zängär* (sky blue), *jäšel* (green) in the Bashkir language. The semantics of the terms under study reveals the interesting shifts both in the dialects of the Bashkir language and Turkic languages in general. Bashkir language dictionaries and corpus data of Bashkir prose and folklore have served as sources of examples for identifying the meanings of words. In the literary Bashkir language, the lexeme *kük* is used to denote “blue,” *zängär* – “sky blue,” *jäšel* – “green.” However, there are discrepancies in the meanings of these tokens in the dialects: *kük* can denote all three colors; *zängär* – indicates in some dialects only “sky blue,” while in others – “blue”; *jäšel* means “green” in some dialects and “blue” in others. The lexemes of *kük* and *jäšel* go back to the Pre-Turkic words, the word *zängär* – to Persian. The lexeme *kük* in the Bashkir language also has retained the pre-Turkic meaning of “grey, gray,” and at the same time, it has a connotative meaning “western” in this language, different from other Turkic languages. Most of the additional meanings of the word *jäšel* are connected with the fact that originally it was the name of the color of young fresh vegetation, greenery: fresh, young, covered with greenery, not ripe, unripe. Only the word *zängär* is used to designate only a color – “sky blue” or “blue.”

Keywords

Bashkir language, Turkic languages, color terms, blue, sky blue, green

Acknowledgments

The study was carried out as part of the project “Linguistic and Ethno-cultural Diversity of Southern Siberia in the Synchrony and Diachrony: The Interaction of Languages and Cultures,” supported by the grant of the Government of the Russian Federation 14.Y26.31.0014

For citation

Muratova R. T. Genesis, evolution and semantics of the color terms *kük* ‘blue’, *zängär* ‘sky blue’, *jäšel* ‘green’ in the Bashkir language. *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 224–238. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/17

Введение

В мировой лингвистике цветообозначения являются одним из самых изучаемых пластов лексики. Это связано с тем, что исследование данной лексической группы имеет множество аспектов и граней. Во-первых, они составляют древний пласт лексики любого языка или группы языков, что позволяет проследить историю и закономерности развития языка. Во-вторых, цвет является физическим явлением, имеет свои параметры – диапазон электромагнитного излучения с определенной длиной волны, а цветообозначение – это зрительное, субъективное восприятие человеком этих диапазонов, вследствие чего обозначение цвета того или иного участка спектра происходит у каждого народа по-разному. Например, у праторков для обозначения зеленого – голубого – синего участка спектра использовалась одна общая лексема **kök*. В-третьих, семантика цветообозначений

подвергается значительным изменениям: цветообозначение, как и другие лексемы, в процессе развития того или иного языка может изменить свое значение, приобрести новые смысловые оттенки или же выйти из употребления. Перечисленные особенности этого лексического пласта позволяют утверждать, что обозначение того или иного цвета имеет характерные различия в том или ином языке, ввиду чего цветообозначения любого языка требуют специального изучения. Кроме того, изучение цветообозначений может происходить в грамматическом, функциональном, когнитивном, психолингвистическом и других аспектах. В плане актуальности не составляет исключения исследование цветообозначений башкирского языка, в связи с чем цель данной статьи – изучить цветообозначения *kük* ‘синий’, *zängär* ‘голубой’, *jäšel* ‘зеленый’ в башкирском языке, развитие семантики которых имеет ряд особенностей как в диалектах, так и в тюркских языках в целом. Источниками примеров для выявления значений слов послужили словари башкирского языка и данные корпусов башкирской прозы и фольклора (АСБЯ, 2012; ДСБЯ, 2002; КБЯП; КБЯФ). Для поиска соответствующего значения слова в том или ином тюркском языке использовались словари, которые отличаются по степени полноты освещения разных значений слова, но, тем не менее, во многих из них представлены не только основные, но и большинство дополнительных значений исследуемых лексем (Бектаев, 1995; БТСЯЯ, 2008; ГРМС, 1973; КБРС, 1989; КарРС, 1958; КРПС, 1974; КумРС, 1969; Наджип, 1968; НРС, 1963; РАС, 1964; Тагиев и др., 2006; ТатРС, 2007; ТувРС, 1968; ТурРС, 1977; ТуркмРС, 1968; УРС, 1959; ХРС, 2006; ЧРС, 1985, Юдахин, 1965).

Результаты исследования и обсуждение

В литературном башкирском языке для обозначения синего цвета используется лексема *kük*, голубого – *zängär*, зеленого – *jäšel*. Но в диалектах наблюдаются расхождения в значениях этих лексем: *kük* может обозначать все три цвета одновременно или один из них; лексема *zängär* в одних диалектах используется для обозначения голубого цвета, а в других – синего, *jäšel* в одних говорах – зеленый, в других – синий.

К тому же эти лексемы, в особенности *kük* и *jäšel*, кроме своих основных значений имеют дополнительные, в том числе и коннотативные значения. Остановимся подробнее на каждом из этих цветообозначений.

1. *Kük*

Лексема *kük* восходит к патюркскому цветообозначению **gö:k* ‘синий, голубой, зеленый’, которая, в свою очередь, возводится к праалтайскому **kók'e* (~ *-i*) ‘синий, зеленый’ (Starostin et al., 2003, с. 714). В большинстве тюркских языков прослеживается эта форма с фонетическими вариациями: тур., гаг. *gök*, аз. *göj*, туркм. *gö:k*, кар., кбалк., ног., ккалп., каз., кирг., алт., уйг., хак., чул., тув., тоф., шор. *kök*, кум. *kök / gök*, тат., башк. *kük*, узб. *kük*, сюг. *kök / kük*, як. *küöx*, чув. *kävak*. Фонетические изменения, произошедшие в том или ином языке, являются закономерными для той или иной подгруппы тюркских языков.

Из внешних параллелей можно привести примеры из монгольских языков: калм. *kökä* ‘синий, голубой, зеленый’, монг. *xöx* ‘синий, голубой, зеленый (о растениях), серый, сивый (о масти), смуглый темный, черный (о коже)’, бур. *xüxe* ‘синий, голубой, зеленый (о растениях), серый, сивый (о масти)’, из тунгусо-маньчжурских: эвенк. *kuku* (< монг.), *kukumo*, *keek* ‘синий, зеленый, зеленовато-серый’, маньчж. *kuku fulan* ‘сивый, темно-голубой (о конской масти)’ (Федотов,

1996, с. 245–246), которые, возможно, являются заимствованиями из тюркских языков (Дыбо, 2013, с. 292).

Слово в форме *kök* регулярно встречается в письменных источниках начиная с древнетюркских памятников: *Üzä kök täñri asra jayız jir qilintuqda, äkin ara kisi oyli qilinnis* ‘Когда было сотвореноверху голубое небо, внизу темная бурая земля, между ними обоими были сотворены сыны человеческие (т. е. люди)’ (‘Памятник в честь Кюль-Тегина’) (Малов, 1951, с. 28), *bir kök tonluuy atliuy bæg ärmis* ‘начальник на коне, одетый в голубую одежду’ (‘Золотой блеск’) (Малов, 1951, с. 157), *kök ton* ‘синяя одежда’ (‘Дивану Луга тат-Турк’) (Кашгари, 2005, с. 839), *kök* ‘синий, багровый, сивый’ (Будагов, 1871, с. 157).

В том или ином языке слово имеет следующие значения: голубой, лазоревый; синий, аквамаринный; сивый, чалый, серый (о масти), сизый (об окрасе), седой; небо, небосвод; синяк, синька; цвет траура (синий); синева; зеленый; ранняя весенняя трава; зелень, зеленая трава, овощи, незрелый; скупой (СИГТЯ, 2001, с. 604; ЭСТЯ, 1980, с. 66–68).

Исходное значение слова *kök* ‘синий’ в тюркских языках относят к значению ‘небо’ (Clauson, 1972, p. 708). Оно свойственно многим древним и современным языкам, за исключением сибирских тюркских языков. Также допускается, что слово *kök* ‘синий’ первоначально имело значение прилагательного, которое обозначало участок зеленого – голубого – синего спектра. От каждого цвета образовались субстантиваты: зеленый → зелень (в азербайджанском, киргизском, ногайском, узбекском, уйгурском, сарыг-югурском, якутском), голубой → небо (в тюркских языках, кроме сибирских и чувашского), синий → траурная одежда (в узбекском). Судя по большей распространенности субстантивата ‘небо’ и наличию нескольких значений – оттенков голубого цвета, обозначение именно этого цвета стало постепенно доминирующим, что поспособствовало появлению нового обозначения зеленого цвета – *jaşil*, производного от *jaş* ‘молодой; молодая (зелень)’ (СИГТЯ, 2001, с. 604; Clauson, 1972, p. 978).

В башкирском языке для обозначения синего и его оттенков используются лексема *kük* и производные от нее *kükhel*, *küksin*, *küksel*, *kükselt*, *küksä*, *küksäj*. В литературном башкирском языке *kük* употребляется для обозначения синего цвета. Но в некоторых говорах, например, в басувском подговоре *kük* – обозначение голубого цвета, а для синего в этом подговоре используется лексема *zängär*. В некоторых подговорах среднего говора наблюдается сужение значения слова *kük*, которое сегодня употребляется только в значении ‘серый’, а в обозначении голубого закрепилось слово *jäşel*, которое, видимо, расширило свое значение и стало употребляться для обозначения всего участка синего – голубого – зеленого спектра, тем самым полностью заменяя слово *kük*.

В башкирском языке и его диалектах наблюдаются следующие значения лексем *kük*, которые в основном являются архаичными.

1.1. Основное значение – синий, голубой и их оттенки: башк. *kük bujaw* ‘синяя краска’, *kük küldäk* ‘синее платье’. Как уже говорилось, это было основным значением пратюркского слова *kük*, которое сохранилось во всех современных тюркских языках, например: тат. *kük toman* ‘синий туман’, ккалп. *kök aspan* ‘синее небо’, кум. *gök göz* ‘синеглазый’, туркм. *gö:k deniz* ‘синее море’, гаг. *gök gözli* ‘голубоглазый’, хак. *kök kögenek* ‘синее платье’, шор. *kök qaraqtiy* ‘синеглазый’, чув. *kävak këpe* ‘синяя рубашка’, *kävak pëlët* ‘синяя туча’.

Оттенки цветообозначения образуются аналитическим путем – прилагательное + *kük*: *asıq kük* ‘светло-синий’, *qara kük* ‘темно-синий’. Слово также участвует

в образовании других цветообозначений: *qıdıl kük* ‘фиолетовый’, *zäŋgär kük* ‘лазурный’, *timer kük* ‘стальной’. Ср. в других тюркских языках: ккалп. *aşıq kök* ‘ультрамариновый’, хак. *xara kök* ‘темно-синий’, *çarix kök* ‘светло-синий, голубой’, чув. *xärlä kävak* ‘фиолетовый’.

Слово *kük* активно участвует в словообразовании по принципу номинации по цвету, который характерен в основном для ботанических и зоонимических терминов, названий минералов, болезней: башк. *kük qarsıya* ‘серо-голубой ястреб’, *kükjön* ‘синец (рыба)’ (досл. ‘синий волосок’), *kük hötlögän* ‘медуница’. Ср. в других тюркских языках: тат. *kük žiläk* ‘голубика’ (досл. ‘синяя ягода’), кум. *gök çeçek* ‘василек’ (досл. ‘синий цветок’), кар. *kök jaqut* ‘хризолит’ (досл. ‘синий яхонт’), туркм. *göknar* ‘мак опийный’ (досл. ‘синий гранат’), уйг. *köktirim* ‘синица’, алт. *kökkat* ‘голубика’ (досл. ‘синяя ягода’), чув. *kävak čirła* ‘ежевика; голубика’ (досл. ‘синяя ягода’), *kävak çeçek* ‘василек’ (досл. ‘синий цветок’).

1.2. Серый: башк. *kük tötön* ‘серый дым’. Это значение зафиксировано также в других тюркских языках: ккалп. *kök at* ‘серая лошадь’, ног. *kök at* ‘серая лошадь’, аз. *göj qulan* ‘серый кулан / жеребенок’, уйг. *kök at* ‘лошадь серой масти’, *kök köz* ‘серые глаза’, хак. *kök at* ‘серый (мышастый конь)’, тув. *kök börü* ‘серый волк’, чув. *kävak kaškär* ‘серый волк’. Как видно из примеров, значение наблюдается во всех группах тюркских языков, включая болгарскую, что позволяет предположить его пратюркский характер.

1.3. Седой: башк. *kük Ural* ‘седой Урал’. Данное значение слова зафиксировано в древнетюркском памятнике “Кутадгу Билиг”: *Kökčün saqal* ‘седая борода’ (ДТС, 1969, с. 313), а также во всех подгруппах тюркских языков: каз. *kök-ala saqal* ‘борода с проседью’, уйг. *kök ana* ‘прабабушка’ (досл. седая бабушка), *sesi gelir gökten* ‘волосы седые’, хак. *kök* ‘седина’, *kök sa:p naryan* ‘появилась седина’, чув. *kävak suxal* ‘седая борода’, *kävak čuıç* ‘седые волосы’, что позволяет отнести его к пратюркскому периоду.

1.4. Сивый (о масти лошади): башк. *kük ajuır* ‘сивый жеребец’, *kük jurıya* ‘сивый иноходец’. В словарях других тюркских языков также зафиксировано это значение: тат. *kük at* ‘сивая лошадь’, каз. *kökzal* ‘сивогривый’, тур. *gök at* ‘сивая лошадь’, узб. *kük tojča* ‘сивый жеребёнок’, хак. *pora kök* ‘голубовато-сивый’, як. *küöx elemes* ‘сиво-пегий’, чув. *kävak ut* ‘сивый конь’. Судя по примерам, обозначение масти лошади словом *kük* было характерно еще в пратюркском периоде – оно зафиксировано во всех подгруппах тюркских языков.

1.5. Сизый: башк. *kük sarlaq* ‘сизая чайка’, *kük ärem* ‘полынь сизая’. Это значение, безусловно, также можно отнести к пратюркскому периоду – оно наблюдается во всех подгруппах тюркских языков: тат. *kük kügärčen* ‘сизый голубь’, кбалк. *kök kögürčün* ‘сизый голубь’, туркм. *gökgarga* ‘сизоворонка’, уйг. *kökqaya* ‘сизоворонка’, чув. *kävak kävakarčän* ‘сизый голубь’.

1.6. Зеленый. В башкирском языке слово *kük* в значении ‘зеленый’ употребляется лишь в сочетании со словом *ülän* ‘трава’: *kük ülän qalqtı* ‘взошла зеленая трава’, *kük ülängä ajaq baθıw* ‘дождаться появления молодой травы (пробуждения природы)’ (досл. встать на зеленую траву). Любопытным кажется тот факт, что первоначально слово *jäšel* обозначало цвет зеленой травы. Но в башкирском языке, как наблюдаем, именно слово *kük* сохранилось для обозначения цвета молодой, свежей травы. В некоторых других тюркских языках (например: алтайском, башкирском, каракалпакском, киргизском, узбекском, уйгурском, татарском, тувинском, туркменском) лексема **kök* в сочетании со словами *трава*, *чай* также имеет значение ‘зеленый’ (хотя для обозначения зеленого цвета имеется другая

лексема, восходящая к общетюркскому *jaşyl*): тат. *kük çaj* ‘зеленый чай’, ккалп. *kök şöp* ‘зеленая трава’, *kök çaj* ‘зеленый чай’, кум. *gök ot* ‘зеленая трава’, ног. *kök kavın* ‘зеленая дыня’, уйг. *kök ot* ‘зеленая трава’, *kök pijaz* ‘зеленый лук’, туркм. *gö:k agaç* ‘зеленое дерево’. В каракалпакском языке слова *весна* и *весеннее пастбище* являются производными от слова *kök*: *köklem* ‘весна’, ‘весеннее пастбище’, *köklemge şiq* ‘выходить на весеннее пастбище’, что, очевидно, связано с появлением молодой свежей травы.

В некоторых сибирских тюркских языках **kök* кроме голубого и синего обозначает и зеленый цвет, т. е. используется для макроцвета «синий – голубой – зеленый»: як. *küöx ot* ‘зеленая трава’, хак. *kök ot* ‘зеленая трава’. В чувашском есть выражение *esě kävak-xa, nim te korman*, которое употребляется в значении ‘ты еще зелен (т. е. молод)’. Как видим, в основе выражения лежит первоначальное значение слова *kävak* – ‘зеленый’, что позволяет допустить наличие этого значения лексемы *kävak* в древнечувашском. В остальных случаях употребление *kävak* в значении ‘зеленый’ неизвестно (Ашмарин, 1934, с. 92). Учитывая, что значение сохранилось во всех подгруппах тюркских языков, его существование, несомненно, можно отнести еще к пратюркскому периоду.

1.7. Западный. Лексема *kük* наряду с цветообозначениями черный, белый, красный участвует в цветовой геосимволике, т. е. в обозначении сторон света, что прослеживается в названиях рек: *Kügidel* (от *kük* ‘синий’ и *idel* ‘река’) – река Дема, протекает на западе; *Qaridel* (от *qara* ‘черный’ и *idel* ‘река’) – река Караидель в северной части Башкортостана; *Ayidel* (от *aq* ‘белый’ и *idel* ‘река’) – река Агидель, протекает в основном на южной территории, *Qıdıl* (от *qıdıl* ‘красный’) – река Кизил на востоке. Названия этих рек, возможно, даны относительно исходной точки пространственной ориентации у аборигенов Южного Урала, которой выступает пещера Шульганташ (Капова пещера) [Муратова, 2018а, с. 59; 2018б, с. 125–126, Хисамитдинова и др., 2019, с. 152–153]. Следовательно, с этим и связано отличие цветового обозначения сторон света у башкир от цветовой геосимволики тюркских народов, которую приводит А. Н. Кононов: черный – север, желтый, белый – запад, синий – восток (например, *kök türk* ‘восточные турки’) [Кононов, 1978, с. 159–160]. Цветовое обозначение сторон света совпадает с геосимволикой других тюркских народов исключительно в обозначении севера.

В том или ином тюркском языке наблюдаются также значения ‘овощи’, ‘незрелый’, ‘скупой’, ‘глупый’, ‘траур, цвет траура’, которые на сегодняшний день не зафиксированы в словарях башкирского языка, в том числе и диалектологических.

Таким образом, слово *kük* ‘синий’ в башкирском языке является многозначным, его значения, как выяснилось, относятся к пратюркскому периоду, что доказывает древнее происхождение и устойчивый характер значений этой лексемы.

2. Zängär

В литературном башкирском языке слово *zängär* имеет широкое употребление для обозначения голубого участка цветового спектра: *zängär taθma* ‘голубая лента’, *zängär hawa* ‘голубое небо’, *zängär küd* ‘голубые глаза’. Оттенки цветообозначения образуются аналитическим способом: *asıq zängär* ‘светло-голубой’, *quji zängär* ‘темно-голубой’. Как говорилось выше, в некоторых говорах слово обозначает синий цвет спектра.

Слово в значении ‘голубой’ также имеется в следующих тюркских языках: тат. *zängär*, узб. *zangori*, чув. *senker*, тат. *zängär çäçäk* ‘голубой цветок’, узб. *zan-*

gori joqulyu ‘голубое топливо (газ)’, чув. *senker kučlā xēr* ‘голубоглазая девушка’, *senker tüpe* ‘голубое небо’.

Что касается этимологии слова, по мнению ученых, оно является персидским заимствованием: перс. زنگار (*zāngar*) ‘ярь-медянка; ржавчина’ или زانگاری ‘желто-зеленый’ (Федотов, 1996, с. 37; Ramstedt, 1935, с. 473).

Слово не тюркское, поэтому, естественно, мы его не наблюдаем в древнетюркских памятниках. Но можно предположить его наличие в куманском (старокыпчакском) письменном памятнике XIV в. – “Кодекс Куманикус”: *Sendä, mendä yoḡ, senḡir tavda yoḡ, ütlü tašta yoḡ, qipçaqta [Qipçaqta?] yoḡ (Ol, quš süit-diḡ)* ‘Нет ни у тебя, ни у меня, ни в высоких горах, ни в пещерах пробитых проторенных камнях, ни в дуплах (Это птичье молоко)’ (Гаркавец, 2006, с. 15). Здесь *senḡir* переводится как высокий / заоблачный. Но можно допустить, что слово *senḡir / zenḡir* могло обозначать ‘голубой’: во-первых, в современных татарском и башкирском языках, которые являются кыпчакскими, это слово – постоянный эпитет слова *taw* ‘гора’ со значением ‘голубой’, например: башк. *Küddärende tuttürip qararhünmī, zāngār tawdan jawliq bolıarmın* ‘Взглянешь ли своими выразительными глазами, когда с голубой горы помашу тебе платком’ (из народной песни), во-вторых, в кумыкском языке, который считается наиболее близким к куманскому (языку памятника «Кодекс Куманикус»), это слово также обозначает цвет: *tuniq zenger* ‘сизый’.

В средневековых письменных источниках (шежере, письмах, таварихах) на башкирском языке слово не встречается, но это не говорит о его отсутствии. Возможно, это объясняется спецификой текстов, которые относились прежде всего к эпистолярному жанру и хронике. В первой опубликованной лексикографической работе по башкирскому языку – словаре В. В. Катаринского – это слово представлено в форме *zāḡkār* ‘голубой, лазоревый’ (Катаринский, 1899, с. 71). В словаре В. В. Радлова слово дается с пометкой «Кас.» (казанское наречие): *zāḡgār* ‘голубой, лазоревый’, *zāḡgār küz* ‘голубые глаза’, *ačiq zāḡgār* ‘светло-голубой’, *qujī zāḡgār* ‘темно-голубой’ (Радлов, 1911, с. 886–887).

В башкирском языке лексема *zāḡgār* не так активна в словообразовании, но все же участвует в нем: башк. *zāḡgār jaqut* ‘сапфир’. Ср. в других тюркских языках: тат. *zāḡgār čipčik* ‘лазоревка’, чув. *senker čäräs* ‘голубая ель’.

В сибирских тюркских языках также есть лексемы со значением ‘голубой’, созвучные со словом *zāḡgār*: алт. *čaḡqir* ‘голубой, светло-синий, лазурный’, тув. *šaḡgır* ‘неспелый, зеленый’, ‘светло-зеленый’, которые, как предполагает О. Т. Молчанова, могут быть заимствованиями из монгольских языков. В монгольских языках лексические параллели также имеют значения ‘голубой, светло-голубой, светло-синий’: калм. *zeḡkr*, монг. *tzenxer, senker*, бур. *senxir* [Молчанова, 1988, с. 98]. Г. Рамстедт, наоборот, калм. *zeḡkr (zeḡker)* ‘купорос’ относит к тюркскому *zāḡgār*, который, в свою очередь, является персидским заимствованием [Ramstedt, 1935, S. 473].

Итак, можно предположить, что персидское слово زنگار (*zāngar*) вошло в некоторые тюркские языки (башкирский, татарский, чувашский, узбекский), откуда проникло в монгольские языки и, возможно, впоследствии из монгольского было заимствовано сибирскими тюркскими языками.

3. Jäšel

Пратюркская форма восстанавливается таким образом: *jāš-il*, которая, в свою очередь, восходит к позднеалтайскому *ñiōle* ‘зеленый, зелень, поросль’. Счита-

ется, что цветообозначение *jāš-il* ‘зеленый’ появилось позднее, чем **kök* и является производным от *jaš* ‘молодой; молодая (зелень)’, т. е. слово первоначально обозначало цвет зеленой травы (СИГТЯ, 2001, с. 604–605, Дыбо, 2013, с. 290). Во многих тюркских языках прослеживается эта форма с фонетическими вариациями: аз., туркм., кум. *jašil*, узб. *jašil*, башк. *jäšel*, тат. *jašel*, тур., гаг., уйг. *ješil*, чув. *ješël* (из тат.), ног. *jasil*, кбалк. *džašil*, кирг. *zašil*, каз., ккалп. *zasil*, алт. *d’azil*, хак. диалект *čazil*, шор., тув. *čazil*, чув. *ješël* (заимствовано из татарского).

Слово *jašil* встречается во многих тюркских письменных источниках в значениях ‘зеленый’ и ‘голубой’: в памятнике в честь Кюль-Тегина (Малов, 1951, с. 30), поэме “Кутадгу Билиг” (ДТС, 1969, с. 246), словаре Кашгари (Кашгари, 2005, с. 754), Среднеазиатском Тефсире [Боровков, 1961, с. 148], тюрко-арабском словаре XIII в. (Курышжанов, 1970, с. 126) и других, что свидетельствует о широком его употреблении.

В том или ином языке лексема *jašul* имеет следующие значения: зеленый, темно-зеленый, ярко-зеленый, зеленый и синий, голубой; свежий, яркий; незрелый; селезень, селезень с зеленой головой; темно-рыжая лошадь; сизый (ЭСТЯ, 1989, с. 164).

В башкирском языке наблюдаются следующие значения слова *jäšel* ‘зеленый’.

3.1. Основное значение лексемы *jäšel* – ‘зеленый’: *jäšel japraq* ‘зеленый лист’, *jäšel tuqima* ‘зеленая материя’, *jäšelgä bujatiw* ‘покрасить в зеленый цвет’. В других тюркских языках: тат. *jašel tukima* ‘зеленая ткань’, ног. *jasil japirak* ‘зеленый лист’, гаг. *ješil fidan* ‘зеленое деревце’, узб. *jašil rang* ‘зеленый цвет’, чув. *ješël tum* ‘зеленый наряд’.

Оттенки цветообозначения образуются аналитическим путем – прилагательное + *jäšel*: *asiq jäšel* ‘светло-зеленый’, *quji jäšel* ‘темно-зеленый, густо-зеленый’, *tonoq jäšel* ‘тускло-зеленый’.

Слово участвует в образовании ботанических и зоонимических терминов, названий минералов: башк. диал. *jäšel yort* ‘светлячок’ (досл. ‘зеленая пчела’), *jäšel jilan* ‘ящерица’ (досл. ‘зеленый змей’), *jäšel töjöt* ‘пеночка (птица)’ (досл. ‘зеленая пеночка’), *jäšel jäwhär* ‘изумруд’ (досл. ‘зеленый бриллиант’). В других тюркских языках: тат. *jašelbaš* ‘зеленоголовка (сорт моркови, досл. ‘зеленая голова’), туркм. *jašilbaš* ‘селезень, утка-кряква’, уйг. *ješilta* ‘малахит’ (досл. ‘зеленый камень’), тув. *čazil* ‘заячья капуста’.

3.2. Часто наблюдается метонимический перенос *зеленый* → *покрытый зеленью*: *jäšel jalan* ‘зеленое поле’, *jäšel huqmaq* ‘зеленая тропинка’. В других тюркских языках: тат. *jašel uram* ‘зеленая улица’, ккалп. *zasilli* ‘покрытый зеленью’, *zasili bähärgi dala* ‘весенняя степь, покрытая зеленью’, кирг. *zašil bak* ‘зеленый сад’, хак. *čazil pük* ‘зеленая лужайка’, *čazilda mal čörče* ‘скот пасется на отаве’, чув. *ješël čaran* ‘зеленый луг’.

3.3. Метонимический перенос *зеленый* → *свежий (по отношению к траве)* также закрепилось в языке: башк. *jäšel ülän* ‘молодая трава’, *jäšel besän* ‘свежее сено’, *jäšel japraq* ‘зеленый лист’.

3.4. Метонимический перенос *зеленый* → *растительный*: башк. *jäšel адыq* ‘зеленый корм’, *jäšel massa* ‘зеленая масса’. В других тюркских языках: тат. *jašel azik* ‘зеленый корм’, *jašel ašlama* ‘зеленое удобрение’, чув. *ješël apat* ‘зеленый корм’.

3.5. Метонимический перенос *зеленый* → *недоспелый, незрелый (о плодах, злаках)* связан с цветом неспелого фрукта, ягоды и т. д.: башк. *jäšel alma* ‘зеленое яблоко’, *jäšel qawin* ‘неспелая дыня’. В других тюркских языках: тат. *jašel alma*

‘зеленое яблоко’, *jašel karlıgan* ‘неспелая смородина’, *jašel borčak* ‘зеленый горошек’, кум. *jašil alma* ‘неспелое (зеленое) яблоко’, чув. *panulmine ješël či* ‘есть яблоки зелеными’.

Как показывают примеры из п. 3.2–3.5, вышеперечисленные метонимические переносы *цвет* → *другой признак* происходят на основании внешнего признака, например, в выражении *jäšel qarayät* ‘зеленая смородина’ лексема *jäšel* подразумевает не цвет, а окраску неспелого плода.

3.6. Синий. В басульском подговоре башкирского языка словом *jäšel* обозначается синий цвет. Это можно объяснить таким образом: у тюрков *kük* обозначал макроцвет «синий – голубой – зеленый», а *jäšel* имел статус названия зеленого оттенка; в басульском говоре, возможно, статус названия зеленого оттенка *jäšel* перешел в обозначение сначала всего макроцвета, а затем стал обозначением только синего оттенка, тогда как *kük* закрепилось за зеленым оттенком.

3.7. Переносное значение слова *jäšel* – визгливо-писклявый (о голосе): *jäšel tawiš menän* ‘кричать визгливо-писклявым голосом’. Такое же значение имеет слово в сочетании со словом *kük*: *kükle-jäšelle tawiš siyarıw* ‘издавать визгливо-писклявые звуки’. Это значение зафиксировано и в словаре татарского языка: *jašel tawiš belän* ‘визгливым голосом’.

В том или ином тюркском языке наблюдаются также значения ‘цветущий’, ‘яркий’, ‘неопытный / молодой’, которые не зафиксированы в словарях башкирского языка: ккалп. *zasil bay* ‘цветущий сад’, кирг. *zašil gül* ‘яркий цветок’, чув. *ješël tēñče* ‘цветущая природа’. чув. *esë simëšxa mana vērentme* ‘ты еще зелен учить меня’, *väl ješël kăna-xa* ‘молод он еще’.

Таким образом, слово *jäšel* восходит к пратюркскому слову *jāš-il* ‘зеленый, цвет зеленой травы’. Большинство дополнительных значений связано с тем, что оно изначально было названием цвета молодой свежей растительности, зелени: свежий, молодой, покрытый зеленью, неспелый.

4. Лексемы для обозначения синего, голубого, зеленого цветов в тюркских языках

Для исследования процесса развития башкирских цветообозначений на фоне других тюркских языков приведем таблицу, где представлены лексемы-доминанты для обозначения этих трех цветов, зафиксированные в словарях (см. далее).

В пратюркском языке *kük* обозначал макроцвет «синий – голубой – зеленый». Но в процессе эволюции, как видим из таблицы, *kük* осталась во всех тюркских языках как лексема для обозначения синего цвета, а также цвета молодой зеленой травы. Другое пратюркское слово *jäšel*, которое изначально обозначало цвет зеленой травы, начало употребляться по отношению к другим предметам, кроме молодой зеленой травы. В чувашском для этого цвета заимствовано персидское слово *simëš*, в сибирских языках (алтайском, тувинском, хакасском) – монгольское *nogon / ноуан / noga:n*. Для голубого цвета в некоторых кыпчакских (в татарском, башкирском, разговорном казахском и, возможно, в ногайском), а также в алтайском, узбекском, чувашском заимствовано персидское *زند گار (zänğar)*, в огузских – арабское *мави*.

Итак, в происхождении и эволюции цветообозначений *kük*, *zänğär*, *jäšel* в башкирском языке наблюдается следующая тенденция: развитие семантики слова *kük* происходило в направлении, характерном для западных тюркских языков, *jäšel* – для кыпчакско-огузских, *zänğär* – в основном для кыпчакских.

Лексемы для обозначения синего, голубого, зеленого цветов
в тюркских языках

Lexemes for blue, sky blue, green colors in the Turkic languages

Языки		Цвет		
		синий	голубой	зеленый
Кыпчакские	башк.	kük	zāṅgär	jäsel, kük
	тат.	kük	zāṅgär	jašel
	каз.	kök	zeṅger (разг.)	zašil
	ккалп.	kök	kök	zašil
	ног.	kök	kök, zeṅger	jašil
	кбалк.	kök	kök	dzašil
	кар.	kök	kök	jesil
Киргизско-кыпчакские	кум.	gök	gök	jašil
	кирг.	kök	kök	zašil
Огузские	алт.	kök	čaṅqır, kök	d'ažil, nogon
	аз.	köj	mavi	jašil
	гаг.	gök	mavi	ješil
	туркм.	gök	mavi	jašil
Карлукские	тур.	mavi, gök	mavi	ješil
	узб.	kük	zangori, movij	jašil, sabza
	уйг.	kök	kök, havaraṅ	ješil
Уйгуро-огузские	тув.	kök	kök	noga:n, kök
	хак.	kök	kök	noyan, kök
	як.	küöx	küöx	küöx
Булгарские	чув.	kāvak	senker	simēs, ješel

Заключение

Таким образом, анализируя значения лексем *kük*, *zāṅgär*, *jäsel* в башкирском языке, мы выяснили следующее.

В современном литературном башкирском языке есть четкие разграничения для обозначения участков спектра: синий – *kük*, голубой – *zāṅgär*, зеленый – *jäsel*. Но в диалектах эти разграничения не наблюдаются: *kük* может обозначать любой из этих трех цветов, *jäsel* может употребляться как для зеленого, так и для синего цвета, *zāṅgär* – для голубого или синего.

Лексемы *kük* и *jäsel* восходят к пратюркским словам **gö:k*, *jäs-il*, присутствуют практически во всех тюркских языках и имеют значения, общие для большинства из них. Слово *zāṅgär* восходит к персидскому زنگار (zāṅgar), которое также есть в татарском, ногайском, казахском, узбекском, чувашском языках. К тому же корню можно отнести алт. *čaṅqır*, тув. *šangır*, предполагая такую эволюцию слова: восточнотюркское < монгольское < западнотюркское < персидское.

Кроме обозначений синего, голубого и зеленого цветов, лексема *kük* в башкирском языке сохранила пратюркские значения *серый*, *седой*, *сивый*, *сизый*. Но, тем не менее, в башкирском языке имеется отличающееся от других тюркских языков коннотативное значение – *западный*, в то время как в других тюрк-

ских языках западная сторона обозначается цветообозначениями *желтый* или *белый*.

Слово *jäsel* кроме значений *зеленый*, *синий* имеет дополнительные значения, большинство из которых связаны с тем, что оно изначально было названием цвета молодой свежей растительности, зелени: свежий, молодой, покрытый зеленью, растительный, недоспелый, незрелый.

Слово *zäŋgär* используется для обозначения только цвета – голубого или синего.

Список сокращений

Языки: аз. – азербайджанский, алт. – алтайский, башк. – башкирский, булг. – болгарские, бур. – бурятский, гаг. – гагаузский, каз. – казахский, калм. – калмыцкий, кар. – караимский, карл. – карлукские, кбалк. – карачаево-балкарский, кирг. – киргизский, ккалп. – каракалпакский, кум. – кумыкский, кыпч. – кыпчакские, маньж. – маньчжурский, монг. – монгольский, ног. – ногайский, огузск. – огузские, сюг. – сарыг-югурский, тат. – татарский, тоф. – тофаларский, тув. – тувинский, тур. – турецкий, туркм. – туркменский, узб. – узбекский, уйг. – уйгурский, уйг.-огузск. – уйгуро-огузские, хак. – хакасский, чув. – чувашский, чул. – чулымский, шор. – шорский, эвенк. – эвенкийский, як. – якутский

Список литературы

- Боровков А. К.* Лексика среднеазиатского тевиса XII–XIII вв. М., 1961.
- Кононов А. Н.* Семантика цветообозначений в тюркских языках // Тюркологический сборник – 1975. М., 1978. С. 159–179.
- Молчанова О. Т.* Серые, красные, синие, промежуточные цвета в ономастике некоторых тюркских народов // Ареальные исследования по башкирской диалектологии и ономастике Башкирии. Уфа, 1988. С. 89–103.
- Муратова Р. Т.* Цветообозначение *һары* ‘желтый’ в башкирском языке: генезис, развитие и лексико-семантическая характеристика // Урало-алтайские исследования. 2018а. № 2. С. 53–70.
- Муратова Р. Т.* Генезис, развитие и лексическая семантика цветообозначения *дыдыл* ‘красный’ в башкирском языке // Oriental Studies. 2018б. № 5. С. 120–131. DOI 10.22162/2619-0990-2018-39-5-120-131
- Хисамитдинова Ф. Г., Муратова Р. Т., Ягафарова Г. Н., Валиева М. Р.* Цветообозначения в башкирской топонимии // Вопросы ономастики. 2019. № 1. С. 140–159. DOI 10.15826/vopr_onom.2019.16.1.008

Список источников и словарей

- АСБЯ – Академический словарь башкирского языка / Под ред. Ф. Г. Хисамитдиновой. Уфа, 2012. Т. 3–4.
- Ашмарин Н. И.* Словарь чувашского языка. Чебоксары, 1934. Т. 7.
- Бектаев К.* Большой казахско-русский, русско-казахский словарь. Алматы, 1995.
- БТСЯ – Большой толковый словарь якутского языка. Новосибирск, 2008. Т. 5.
- Будагов Л. З.* Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. СПб., 1871. Т. 2.
- ГРМС – Гагаузско-русско-молдавский словарь. М., 1973.

- Гаркавец А. Н.* Codex Cumanicus: Половецкие молитвы, гимны и загадки XIII–XIV вв. М., 2006.
- ДСБЯ – Диалектологический словарь башкирского языка. Уфа, 2002.
- ДТС – Древнетюркский словарь. Л., 1969.
- Дыбо А. В.* Этимологический словарь тюркских языков. Астана, 2013.
- КарРС – Каракалпакско-русский словарь. М., 1958.
- Катаринский В. В.* Башкирско-русский словарь. Оренбург, 1899. 237 с.
- Каишгари М.* Диван Лугат ат-турк / Пер., предисл. и коммент. З.-А. М. Ауэзовой. Алматы, 2005.
- КБРС – Карачаево-балкарско-русский словарь. М., 1989.
- КБЯП – Корпус башкирского языка. Проза. URL: <http://212.193.132.98/bashkorp/bashkorp> (дата обращения 24.06.2019).
- КБЯФ – Корпус башкирского языка. Фольклор. URL: <http://212.193.132.98/bashkorp/korpusfol> (дата обращения 24.06.2019).
- КРПС – Караимско-русско-польский словарь. М., 1974.
- КумРС – Кумыкско-русский словарь. М., 1969.
- Курьшжанов А. К.* Исследование по лексике старокыпчакского письменного памятника XIII в. – Тюркско-арабского словаря. Алма-Ата: Наука, 1970. 234 с.
- Малов С. Е.* Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследование. М., Л., 1951.
- Наджиш Э. Н.* Уйгурско-русский словарь. М., 1968.
- НРС – Ногайско-русский словарь. М., 1963.
- Радлов В. В.* Опыт словаря тюркских наречий. СПб., 1911. Т. 4, ч. 1.
- РАС – Русско-алтайский словарь. М., 1964.
- СИГТЯ – Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика. М., 2001.
- Тагиев М. Т. и др.* Азербайджанско-русский словарь: В 4 т. Баку, 2006.
- ТатРС – Татарско-русский словарь: В 2 т. Казань, 2007.
- ТувРС – Тувинско-русский словарь. М., 1968.
- ТуркмРС – Туркменско-русский словарь. М., 1968.
- ТурРС – Турецко-русский словарь. М., 1977.
- УРС – Узбекско-русский словарь. М., 1959.
- Федотов М. Р.* Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1996. Т. 1–2.
- ХРС – Хакасско-русский словарь. Новосибирск, 2006.
- ЧРС – Чувашско-русский словарь. Чебоксары, 1985.
- ЭСТЯ – Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на буквы “В”, “Г”, “Д”. М., 1980.
- ЭСТЯ – Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на буквы “Ж”, “Ж”, “Й”. М., 1989.
- Юдахин К. К.* Киргизско-русский словарь. М., 1965.
- Clauson G.* An etymological dictionary of the Thirteenth-Century Turkish. Oxford, 1972.
- Ramstedt G. J.* Kalmückisches Wörterbuch. Helsinki, 1935.
- Starostin S. A., Dybo A. V., Mudrak O. A.* An Etymological Dictionary of Altaic Languages. Leiden, 2003.

References

- Borovkov A. K. *Leksika sredneaziatskogo tefsira 12–13 vv.* [Vocabulary of the Middle Asian tefsir from 12th–13th centuries]. Moscow, 1961.
- Khisamitdinova F. G., Muratova R. T., Yagafarova G. N., Valieva M. R. Tsvetooboznacheniya v bashkirskoy toponimii [Color designations in Bashkir toponymy]. *Problems of Onomastics*. 2019, no. 1, pp. 140–159. DOI 10.15826/vopr_onom.2019.16.1.008
- Kononov A. N. Semantika tsvetooboznacheniy v tyurkskikh yazykakh [Semantics of color terms in the Türkic languages]. In: *Tyurkologicheskiy sbornik – 1975* [Türkological collection – 1975]. Moscow, 1978, pp. 159–179.
- Molchanova O. T. Serye, krasnye, sinie, promezhutochnye tsveta v onomastikone nekotorykh tyurkskikh narodov [Color terms for grey, red, blue in Turkic onomastics]. In: *Areal'nye issledovaniya po bashkirskoy dialektologii i onomastike Bashkirii* [Areal studies of Bashkir dialects and onomastics of Bashkortostan]. Ufa, 1988, pp. 89–103.
- Muratova R. T. Tsvetooboznachenie hary ‘zheltyy’ v bashkirskom yazyke: genesis, razvitie i leksiko-semanticheskaya kharakteristika [The color term for ‘yellow’ in the Bashkir language: genesis, development and lexical-semantic characteristics]. *Ural-Altai Studies*. 2018a, no. 2, pp. 53–70.
- Muratova R. T. Genesis, razvitie i leksicheskaya semantika tsvetooboznacheniya qythyl ‘krasnyy’ v bashkirskom yazyke [The Bashkir Colour Term Qyžyl (‘Red’): Genesis, Evolution and Lexical Semantics]. *Oriental Studies*. 2018b, no. 5, pp. 120–131. DOI 10.22162/2619-0990-2018-39-5-120-131

List of sources and dictionaries

- Akademicheskiy slovar' bashkirskogo yazyka* [The academic dictionary of the Bashkir language]. F. G. Khisamitdinova (Ed.). Ufa, 2012, vols. 3–4.
- Ashmarin N. I. *Slovar' chuvashskogo yazyka* [Dictionary of Chuvash]. Cheboksary, 1934, vol. 7.
- Bektaev K. *Bol'shoy kazakhsko-russkiy, russko-kazakhskiy slovar'* [Great Kazach-Russian, Russian-Kazach dictionary]. Almaty, 1995.
- Bol'shoy tolkovyy slovar' yakutskogo yazyka* [Big Explanatory Dictionary of the Yakut language]. Novosibirsk, 2018, vol. 5.
- Budagov L. Z. *Sravnitel'nyy slovar' turetsko-tatarskikh narechiy* [Comparative dictionary of Turkish-Tatar dialects]. St. Petersburg, 1871, vol. 2.
- Clauson G. *An etymological dictionary of the Thirteenth-Century Turkish*. Oxford, 1972.
- Chuvashsko-russkiy slovar* [Chuvash-Russian Dictionary]. Cheboksary, 1985.
- Dialektologicheskiy slovar' bashkirskogo yazyka* [Dialectological dictionary of Bashkir]. Ufa, 2002.
- Drevnetyurkskiy slovar'* [Old Türkic dictionary]. Leningrad, 1969.
- Dybo A. V. *Etimologicheskiy slovar' tyurkskikh yazykov* [Etymological Dictionary of Türkic Languages]. Astana, 2013.
- Etimologicheskiy slovar' tyurkskikh yazykov. Obshchetyurkskie i mezhtyurkskie osnovy na bukvy “V”, “G”, “D”* [Etymological Dictionary of Turkic Languages. The Common Turkic and Inter-Turkic Bases on the letters “V”, “G”, “D”]. Moscow, 1980.
- Etimologicheskiy slovar' tyurkskikh yazykov. Obshchetyurkskie i mezhtyurkskie osnovy na bukvy “Ж”, “Zh”, “Y”* [Etymological Dictionary of Turkic Languages. The Common Turkic and Inter-Turkic bases on the letters “Y”, “G”, “Y”]. Moscow, 1989.

- Fedotov M. R. *Etimologicheskiy slovar' chuvashskogo yazyka* [Etymological Dictionary of the Chuvash Language]. Cheboksary, 1996, vols. 1–2.
- Gagauzsko-russko-moldavskiy slovar'* [Gagauz-Russian-Moldavian dictionary]. Moscow, 1973.
- Garkavets A. N. *Codex Cumanicus: Polovetskie molitvy, gimny i zagadki 13–14 vv.* [Codex Cumanicus: Polovtsian prayers, hymns and riddles of 13th–14th centuries]. Moscow, 2006.
- Karachaevo-balkarsko-russkiy slovar'* [Karachai-Balkar-Russian dictionary]. Moscow, 1989.
- Karaimsko-russko-pol'skiy slovar'* [Karaim-Russian-Polish dictionary]. Moscow, 1974.
- Karakalpaksko-russkiy slovar'* [Kara-Kalpak-Russian dictionary]. Moscow, 1958.
- Kashgari M. *Divan Lugat at-turk* [Diwan Lughat at-Turk]. Z.-A. Auezova (Transl., intr., comm.) Almaty, 2005.
- Katarinskiy V. V. *Bashkirsko-russkiy slovar'* [Bashkir-Russian Dictionary]. Orenburg, 1899, 237 p.
- Khakassko-russkiy slovar'* [Khakass-Russian Dictionary]. Novosibirsk, 2006.
- Korpus bashkirskogo yazyka. Fol'klor* [Corpus of the Bashkir language. Folklore]. URL: <http://212.193.132.98/bashkorp/korpusfol>. (accessed: 24.06.2019).
- Korpus bashkirskogo yazyka. Proza* [Corpus of the Bashkir language. Prose]. URL: <http://212.193.132.98/bashkorp/bashkorp> (accessed: 24.06.2019).
- Kumyksko-russkiy slovar'* [Kumyk-Russian dictionary] Moscow, 1969.
- Kuryshzhanov A. K. *Issledovanie po leksike starokypchakskogo pis'mennogo pamyatnika 13 v. – Tyurksko-arabskogo slovarya* [Research on the vocabulary of the old Kypchak written monument of the 13th century – the Turkic-Arabic dictionary]. Alma-Ata, 1970.
- Malov S. E. *Pamyatniki drevnetyurkskoy pis'mennosti. Teksty i issledovaniya* [Monuments of Old Turkic writing. Texts and studies]. Moscow, Leningrad, 1951.
- Nadzhip E. N. *Uygursko-russkiy slovar'* [Uighur-Russian dictionary]. Moscow, 1968.
- Nogaysko-russkiy slovar'* [Nogai-Russian dictionary] Moscow, 1963.
- Radlov V. V. *Opyt slovarya tyurkskikh narechiy* [Experience of the dictionary of Türkic dialects]. St. Petersburg, 1911, vol. 4, pt. 1.
- Ramstedt G. J. *Kalmückisches Wörterbuch*. Helsinki, 1935.
- Russko-altayskiy slovar'* [Russian-Altai Dictionary]. Moscow, 1964.
- Sravnitel'no-istoricheskaya grammatika tyurkskikh yazykov. Leksika* [Comparative-historical grammar of Türkic languages. Vocabulary]. Moscow, 2001.
- Starostin S. A., Dybo A. V., Mudrak O. A. *An Etymological Dictionary of Altaic Languages*. Leiden, 2003.
- Tagiev M. T. et. al. *Azerbaydzhansko-russkiy slovar'. V 4 t.* [Azerbaijani-Russian dictionary. In 4 vols]. Baku, 2006.
- Tatarsko-russkiy slovar': V 2 t.* [Tatar-Russian dictionary: In 2 vols]. Kazan, 2007.
- Turetsko-russkiy slovar'* [Turkish-Russian dictionary]. Moscow, 1977.
- Turkmensko-russkiy slovar'* [Turkmen-Russian dictionary]. Moscow, 1968.
- Tuvinsko-russkiy slovar'* [Tuvan-Russian dictionary]. Moscow, 1968.
- Uzbeksko-russkiy slovar'* [Uzbek-Russian dictionary]. Moscow, 1959.
- Yudakhin K. K. *Kirgizsko-russkiy slovar'* [Kirghiz-Russian Dictionary]. Moscow, 1965.

Сведения об авторе

Муратова Римма Талгатовна – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Ордена Знак Почета Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук (Уфа, Россия)

bairima@yandex.ru

ORCID 0000-0003-4223-0675

Information about the author

Rimma T. Muratova – Candidate of Philology, Senior Researcher of the Institute for History, Language and Literature of the Ufa Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences (Ufa, Russian Federation)

bairima@yandex.ru

ORCID 0000-0003-4223-0675

УДК 811.512.142
DOI 10.17223/18137083/74/18

Концепт *ТАШ* ‘камень’ в карачаево-балкарской языковой картине мира

М. А. Ахматова

*Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова
Нальчик, Россия*

Аннотация

Статья посвящена исследованию концепта *ТАШ* ‘камень’ в карачаево-балкарской языковой картине мира. Анализ данного концепта показал, что для карачаево-балкарцев камень является одним из краеугольных составляющих этнокультуры народа. Лексема *таш* довольно часто встречается в составе карачаево-балкарских паремий, фразеологизмов, которые выражают различные признаки, свойства, действия, состояния. Она является облигаторным компонентом различных сложных слов и словосочетаний, участвует в номинации географических объектов, различных горных пород, народных игр. Рассматриваемому концепту присущи такие когнитивные характеристики, как опора, основательность, вечность, жизнь, смерть и другие, он также служит для репрезентации состояния и черт характера человека.

Ключевые слова

карачаево-балкарский язык, концепт, лингвокультура, этнографизмы, паремии, изоморфность

Для цитирования

Ахматова М. А. Концепт *ТАШ* ‘камень’ в карачаево-балкарской языковой картине мира // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 239–251. DOI 10.17223/18137083/74/18

Concept of “tash” (stone) in the Karachay-Balkar language picture of the world

M. A. Akhmatova

*Kabardino-Balkarian State University named after H. M. Berbekov
Nalchik, Russian Federation*

Annotation

This paper focuses on a multi-aspect study of the concept of “tash” (stone) in the Karachay-Balkar language picture of the world. The analysis of the available factual material has shown that for Karachays and Balkars, “tash” is quite an important component of the ethnic culture and reflects one of the relevant segments of the naive national picture of the world, encoded in the Karachay-Balkar literature and works of folklore. This fact is also due to significant functional and semantic features of the “tash” lexeme in the Karachay-Balkar language. This

© М. А. Ахматова, 2021

ISSN 1813-7083
Сибирский филологический журнал. 2021. № 1
Siberian Journal of Philology, 2021, no. 1

word serves as the basis for the formation of a large number of complex words and phrases, giving rise to the corpus of nominations of objects of the surrounding reality: place names, various rocks, etc. In addition, the word under consideration is highly productive in the sphere of terminology associated primarily with the everyday realities of the Karachay-Balkar ethnic group. "Tash" and related concepts are represented in the phraseological fund of the Karachay-Balkar language and paroemias reflecting various anthropomorphic features, in particular: characteristics, properties, actions, states, etc. The concept under consideration has such cognitive characteristics as support, solidity, eternity, life, death, and others and represents the status and the character of a person. Also, the concept of "tash" is realized in the texts of Karachay-Balkar folklore, myths, and in the works of Karachay-Balkar writers and poets, confirming its relevance for the linguistic consciousness of the Karachay-Balkar ethnic group.

Keywords

Karachay-Balkar language, concept, linguoculture, paroemias, isomorphism

For citation

Akhmatova M. A. Concept of "tash" (stone) in the Karachay-Balkar language picture of the world. *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 239–251. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/18

В современной лингвистической науке наблюдается устойчивый интерес к проблемам соотношения языка и культуры, что позволяет активизировать исследования, посвященные языковым картинам мира различных народов, так как именно в языке отражается система мировоззрения человека. «Осмысление мира людей как целостной системы и включение отражённых в сознании образов происходит в процессе языкового творчества, который совершается под влиянием чисто лингвистических и экстралингвистических установок. К последним можно отнести культурно-исторический путь развития, образ жизни народа, носителя языка, менталитет той этнокультурной общности, к которой принадлежит человек» [Раемгужина, 2009, с. 3]. Человек, познавая окружающий мир, закрепляет свое миропонимание в языковом сознании в образных выражениях, которые ассоциируются с культурно-национальными эталонами, стереотипами [Телия, 1986, с. 233]. Каждый язык формирует определенный комплекс представлений об окружающей действительности, «если мир – это человек и среда в их взаимодействии, то картина мира – результат переработки информации о среде и человеке» [Маслова, 2001, с. 64]. Формой жизнедеятельности этноса и окружающей его действительностью детерминируется появление целого ряда ключевых культурных концептов, образующих основу миропонимания и мировоззрения народа. Как отмечает Г. Р. Галиуллина, «язык является неотъемлемой частью бытия, он аккумулирует социально-культурный опыт общества и является одной из основных форм передачи народных традиций, тех наивных мифологических представлений народа, которые существовали на заре человечества» [2008, с. 197]. С помощью языка человек концептуализирует окружающую действительность.

В формировании картины мира человека участвует не только языковая система, но и личный опыт, знания, существующие в обществе традиции и другие социальные факторы, а также окружающий нас мир, которые неким образом преломляются, проходя сквозь призму языка, система образов переходит в человеческом сознании в систему значений [Маругина, Ламинская, 2010]. Мир воспринимается человеком через призму родной культуры, которая складывается под влиянием географических и климатических условий проживания народа, его ве-

рований, менталитета, строя языка и многого другого, что способствовало «возникновению объектов поклонения, впоследствии ставших неотъемлемой частью всей сущности социума. Для того чтобы понять жизнь, поведение и культуру древних людей, важно попытаться восстановить присущие им представления и ценности» [Галиуллина, 2008, с. 197].

Концепт *КАМЕНЬ* находит свою реализацию в текстах карачаево-балкарского фольклора, мифах и в произведениях карачаево-балкарских писателей и поэтов. Это свидетельствует в пользу того, что он достаточно релевантен для языкового сознания карачаево-балкарского этноса. В этом отношении небезынтересно следующее высказывание известного поэта К. Ш. Кулиева: «Я многим обязан камню. В горах он особый. Как ни странно, камень учил меня мыслить, учил сдержанности, оберегал, как и деревья, от многословья и болтливости в стихах, камнем гор порождены многие мои мысли. Теплый камень очага греет босые ноги ребенка, стены своего жилья горцы делают из камня, а также жернова водяных мельниц (ветряных у нас нет) и ограды. Косы, кинжалы, ножи точили на камне. И стреляли по врагам мои земляки, лежа за камнем, и отдыхали, сидя на камне, и раненые опирались на камень, и погибали люди часто от камня, сорвавшегося со скалы. Камень, наконец, стал надгробием жителя гор, сохраняя его имя на долгие годы. Камень сопровождал горца от рождения до смерти, он “общался” с ним каждый день» [1986, с. 305].

Различные характеристики рассматриваемого феномена представлены в мифологической картине мира карачаево-балкарского этноса. Так, например, текст карачаево-балкарского нартского эпоса начинается со слов: *Эртте-эртте, дорбунлада тургъанда, Таи тегене агъач элек болгъанда* ‘Давным-давно, когда (люди) обитали в пещерах, Когда каменное корыто и деревянное сито были’, что говорит о первоначале, первообразе мира. По мнению З. А. Кучуковой, «здесь “каменное корыто” служит хранителем времени, длительной исторической памяти человека» [2005, с. 142]. В фольклорных и художественных текстах концепт *ТАИШ* характеризуется рядом особенностей, которые выделяют его среди других культурных концептов. Данный фрагмент языковой картины мира дает возможность обнаружить соотношение между языковыми единицами и концептуальными структурами, сохранившимися в сознании носителей языка знания о природном элементе, который объективно существует и который характеризуется определенными особенностями.

Еще древние тюрки считали камень символом мудрости. В казахском эпосе бросанием камня испытывали силу, в алтайском эпосе при помощи камня поражали врагов, хакасы курганный камень посвящали духу горы и т. д. [СИГТЯ, 2006, с. 689–690].

Как пишет Ф. Г. Хисамитдинова, *таиш* ‘камень’ – «в мифологии один из первоэлементов мира; сакральный предмет, символ твердости, прочности; имеет как положительную, так и отрицательную семантику; символ неуязвимости; встречается во многих обрядах, запретах, благопожеланиях, проклятиях башкир» [2010, с. 284].

У карачаево-балкарцев особое отношение к камню. В их представлении камень является символом вечности, крепости, силы, устойчивости перед временем и т. д. Камень – вечный спутник горцев, он служил и служит им во всех сферах жизнедеятельности. Карачаевцы и балкарцы из камня строили *къала* ‘башни’, *от жагъа* ‘очаги’, *сын таиш* ‘каменные надгробья’, *хуна* ‘заборы’ и т. д. В. П. Кобычев пишет, что «в балкарских ущельях на позднее Средневековье и Новое время

приходится самый расцвет каменного зодчества» [1972, с. 163]. Балкарцы были искусными камнетесами. Огромные каменные блоки, которые они использовали при строительстве, подходили друг к другу так точно, что строительная смесь почти не использовалась. Для хозяйственных построек применяли различную кладку: *тюз хуна* 'однорядная стена', *улхузу хуна* 'двухрядная стена (забор из щебня)', *чырды / цырды* 'стреха', *хуна* 'террасообразующая стена'.

Э. Б. Бернштейн писал, что «в Балкарии первоначально отдельные жилища располагались довольно свободно относительно друг друга, даже там, где была полная возможность поставить их на плоскости высокогорного плато над уступом скалы, их предпочитали строить так, чтобы хоть одну заднюю стену жилища составил вертикальный срез скалы как наиболее надежная опора для перекрытия. Словно человек не решался окончательно оторваться от той среды, которая была для него привычна, когда жилищем являлась пещера, найденная или вырубленная в массиве самой скалы» [1993, с. 5]. Для горца важно было чувствовать себя защищенным, поэтому камень (скала) был для него опорой:

Таулу таиша сыртын таяндырмай тынчаймаз 'Горец не отдохнет, пока не обопрется спиной о камень' (погов.);

Аталай а кече элгенип уянды, Ёрге туруп таи хунагъа таянды 'Аталай, вздрогнув, проснулся, Встал и прислонился к каменному забору' [АИГЭ, 2015, т. 1, с. 533].

Къала 'крепость', выстроенная из камня, олицетворяет собой Родину:

Нек дегенде, бурун заманладан бери ненча ёмюр ётдю, къала уа бюгюн да турады, алгъынча кюн балаланы уясыды – ас халкъны тыпыр таиши болгъанлай 'Сколько веков прошло с тех давних времен, а крепость и сегодня стоит, как и прежде являясь родным домом (Родиной) для детей солнца, – очажный камень народа асов'.

Камень когда-то служил для человека жилищем (*дорбун* 'пещера'), дверью (*гыйы таи* 'глыба'), кроватью (*тау таиша* 'горные камни'):

Сора кеч-ахшам болгъанда, эчкилени алып келип, кеси салып кетген улду гыйыны дорбунну эшигинден алып, ичине жыйды. Аллына биягъы гыйыны салып бегитди 'Когда стемнело, (эмеген) пригнал коз, отодвинул в сторону громадную каменную глыбу, которой утром закрыл вход в пещеру и загнал туда (коз)' [Нарты..., 1994, с. 131];

Тау таиша тёшеклери болдула, дейди, Жууургъанлары кёкдеги акъ булутла болдула, дейди 'Их тюфяки – горные камни, говорят, Их одеяло – белые облака, говорят' [Там же, с. 226].

Лексема *таиш* довольно часто встречается в составе карачаево-балкарских паремий, которые выражают различные признаки, свойства, действия, состояния: *артыкъ сёз таиш жарыр, артыкъ файда баиш жарыр*, букв.: 'лишнее слово камень расколет, излишество голову расколет', *атлай билмеген таиша абыныр*, букв.: 'кто не умеет ступать, тот на камень наткнется', *батырлыкъ – отлукъ таишча, кьоркьакълыкъ – жёге агъашча*, букв.: 'смелость, как кремень, трусость, как липа', *гюняхлыны таиш кысар*, букв.: 'грешного камень сдавит', *жаиша айтсанг – таиша жазгъанча, къартха айтсанг – кьаргъа жазгъанча*, букв.: 'молодому сказать – как на камне написать, старому – как на снегу написать', *таиш суу-*

укъдан элгенмез, букв.: ‘камень мороза не боится’, тишсиз аууз – таишсыз тирмен, букв.: ‘беззубый рот – мельница без жерновов’ и др.

Небезынтересен и фразеологический фонд карачаево-балкарского языка, включающий целый ряд фразеологических единиц со стержневым компонентом *таиш*, которые выражают различные эмоциональные состояния, действия, признаки и т. д.: *таиш жаратылгъандан бери* ‘испокон веков’, букв.: ‘со времен появления камня’, *таиш-агъач аша* ‘разозлиться, взбеситься’, букв.: ‘ешь камень-дерево’, *аякъларым буз таиш болгъандыла* ‘у меня ноги окоченели’, букв.: ‘ноги превратились в ледяные камни’, *басар таишын таньмазгъа* ‘сильно обрадоваться’, букв.: ‘не узнавать камень, на который будешь наступать’, *бачхасына таиш атаргъа* ‘кого-либо обидеть’, букв.: ‘кинуть в чей-либо огород камень’ и др.

Данная лексема входит и в состав этнографизмов: *къол таиш* ‘игра-состязание для юношей в толкании камня’, *отлукъ таиш* ‘кремень’, *тузлукъ таиш* ‘гнёт (в кадучке с соленьями)’, *къол таиш* ‘игра-гадание’, *базман таиш* ‘гиря’, *тирмен таиш* ‘жернов’, *таиш ушкок* ‘каменное ружье (ружье с кремневым замком)’, *тыпыр таиш* ‘очажный камень’ и др.

В карачаево-балкарском языке встречаются *каргыши* ‘проклятия’ с компонентом *таиш* ‘камень’. Проклятия являются древнейшим жанром фольклора, мифологические истоки которого базируются на религиозных и магических представлениях этноса. Функция проклятия состоит в обращении к богу с различной просьбой – о смерти (в отношении кого-либо), ухудшения жизни, материального неблагополучия, препятствия в пути и т. д.:

– *Зарлыгъынгы отунда башынг от болуп кюйсюн, Къолумдан ашагъанынг санга таиш болуп тийсин!* ‘– Пусть твоя голова сгорит в огне твоей зависти, Пусть то, что ты ел из моих рук, камнем ударит тебя!’ [АИГС, 2015, т. 1, с. 156];

Ой, Къарачач, къайда энг, жанынг терк къурурукъ, Тирмен таишда, тохтамай, жети кюн бурулдукъ! ‘Ой, Карачач, где (ты) была, да сгинет вмиг твоя душа, Крутиться бы тебе между жерновами семь дней не переставая!’ [Там же, с. 421].

В миропонимании карачаево-балкарцев камень являлся мерилем силы и мощи человека. В текстах карачаево-балкарского эпоса свою силу нарты испытывали при помощи различных действий с камнями: то поднимали, то кидали, то отбивали, то раскалывали камни:

Сосурукъ темир ылытхынны алып, къаягъа чыгъып, уллу таишланы оюп, энишге жибереди. Эмеген аланы къая тюбюне жетгинчи, башы бла уруп, къаяны башы бла аудуруп, Сосурукъну къоркъутхан окъуна этеди ‘Сосурук взял железный лом, поднялся на скалу и стал сбрасывать оттуда вниз огромные камни. Эмеген же, стоя внизу, все эти камни отбивал головой (с такой силой), что они пролетали через скалу. Это даже испугало Сосурука’ [Нарты..., 1994, с. 120];

– *Энди кесими бир сынайым, – деп, лытпыр чакълы бир таишны сермеди. Таишны кётюргенде, бутлары тобукъгъа дери жерге батдыла. Таишны силдеп, эгурну юсюне атханда уа, къаты суу таишда ун болуп къалдыла* ‘– Ну, а теперь испытаю я и себя, – решил он (Карашауай) и, схватив, поднял камень с копну. Ноги его по колено провалились в землю. А когда бросил камень на огромную грудку камней, превратил эти крепкие камни в пыль’ [Там же, с. 189];

Эл ныгышыда олтурадыла кьартла, Ташины сыгып, сууун чыгарган нартла 'На завалинке сидят старики-нарты, способные из камня выжать воду' [Нарты..., 1994, с. 142].

Горы также воспринимались как символ, как мерило мужества, удали и силы. Герой эпоса Ёрюзмек испытывал своего коня, перепрыгивая через горы; стрелы Дебета проходили сквозь горы и т. д.:

Бек сюйгенди таудан таугъа секирирге (Гемуда), Нарт элинде хар бир жерни билирге. Ол секиргенд ал бурун Къазман таугъа, Ол чыкъгъанды андан сора Минги таугъа (Гемуда) очень любил перепрыгивать через горы, На земле Нартов хотел знать все места. Сначала он прыгнул на гору Казман, потом поднялся на Минги тау' [Там же, с. 179].

В карачаево-балкарском нартском эпосе камень символизирует женское начало. По данным некоторых текстов эпоса, Ёрюзмек появился из небесного камня, который упал на землю:

Къарагъанында, бир бек уллу терен чунгурну ортасында эки жарылган бир уллу кёк ташины кёрдю. Аны ичинде уа бир тулпар жашичкык 'Внутри глубокой ямы (он) увидел расколовшийся огромный небесный камень. А внутри (камня) находился мальчик' [Там же, с. 74].

В другом тексте говорится о рождении Сосурука из камня:

Созукну урлугъу, огъу да атылды, дейле, Ол Сатанай олтурган а со-стар таиша чачылды, дейле. Ол таиш таууш эте, кьымылдай болгъанды, дейле, Къаратон Сатанайны жюреги кьууанчдан толгъанды, дейле, Таи тогъуз айны бууаз болуп а тургъанды, дейле, Таи жарылып а Сосурук андан туугъанды, дейле 'Семя Созука, как стрела, полетело, говорят, И попало в камень, на котором сидела Сатанай, говорят... Этот камень начал издавать звуки и шевелиться, говорят. И сердце бездетной Сатанай наполнилось счастьем, говорят, Камень девять месяцев был беременным, говорят, Камень раскололся и из него родился Сосурук, говорят' [Там же, с. 117].

Топонимика Карачая и Балкарии изобилует названиями с компонентом *таиш*: *Сосурканы таиш* 'Камень Сосурука', *Тапчан таиш* 'Камень-тапчан', *Таиш баула* 'Каменные загоны', *Таиш тёнгереген* 'Место, где скатился камень', *Таишкёпюр* 'Каменный мост', *Таиш-Блышхыра*, *Ташлы-Тала* 'Каменная поляна', *Ташлы-Къол* 'Каменное ущелье', *Отлукъ таиш* 'Кремень' и др. [Хапаев, 2013]:

Ачейлары Ташлы Сыртда жашай эдиле, дейди, Алада юч жьыйырма атлы бола эди, дейди 'Ачевы жили в Ташлы Сырте, говорит, у них было шестьдесят конных, говорит' [Нарты..., 1994, с. 262];

Акъ атынгы жюгенлери ариу кюмош акъ тогъайлы, Ташлы Сыртда сени атмагъа эд эгечден туугъан ол ногъайлы 'Кольца уздечек твоего белого коня из красивого белого серебра, Как бы не застрелил тебя на Ташлы-Сырте ногаец, сын твоей сестры' [АИГЭ 2015, т. 2, с. 52];

Къабартыдан кьонакларым Отлукъ Таишда сакълайла, Азнаурну кечге кьалгъанды деп, атын-бетин бокълайла 'Мои гости из Кабарды ждут меня в Отлук-Таше, Имя-честь Азнаура порочат. За то, что он опаздывает' [Там же, с. 55].

Во времена язычества люди поклонялись священным камням и обращались к ним с различными просьбами:

Насып келип, жашай, артта бек абындыкъ, Амалсыздан Таиша, келгенбиз, табынып 'Счастливы жили мы, но потом сильно споткнулись, От безысходности пришли поклониться к Камню' [АИГЭ, 2015, т. 1, с. 408].

С приходом мусульманства такое отношение к камням начинает порицаться и запрещаться:

Таиша ийнанган ийнамындан чыгъар (посл.) 'Тот, кто верит в камни – безбожник'.

Как пишет Х. Х. Биджиев, «в прошлом в Карачае у каждого селения и даже у каждого рода имелись свои священные камни» [1979, с. 114]. Культурные камни выполняли следующие функции: камни-оплодотворители, камни-исцелители, камни-покровители, камни-проклятия и др. Отдельно стоящий камень представлял собой тотем, сакральный символ. В Карачае и Балкарии известны следующие камни.

- *Къадау таиш / мурдор таиш* – «1. камень особой твердой породы; 2. основа, краеугольный камень» [ТСКБЯ, 2005. с. 465]. Символизирует собой основу чего-либо: *Тюзлюк – ара юйюрню къадау таишы* 'Правда – основа семьи' (погов.); *Къарачайны къадау таишы* 'краеугольный камень Карачая'. Горцы у этого камня возносили молитвы за счастье, здоровье, удачу.

- *Налат таиш* «камень проклятия»: *Налатны – налат таиша* 'Проклятие – на камень проклятия' (погов.).

- *Брыс таиш* 'камень суеверия'. Каждый, кто проходил мимо этого камня, должен был оставить что-нибудь с просьбой о добре, о мире [Хаджиева, 1996, с. 56].

- *Блххайты таиш* 'Камень Ышхайты'. Во времена язычества существовало поверье, если возле этого камня коптить кабана (свинью), то урожай не будет съеден жуками, так как всякая зараза от этого запаха разбежится [Там же].

- *Къош таишла* 'Камень Кош'. Этому камню поклонялись и несли различные угощения, прося его о чем-л. [Там же].

- *Элия таиш* 'Камень Элия'. Люди с различной проказой приходили к камню с просьбой об исцелении [Там же].

- *Кёк таиш* 'Небесный камень'. По преданию, люди во время страшного мора бежали в горы. Одна из женщин поставила на камень колыбель с младенцем, и на нем якобы остались следы дужек колыбели.

- *Къаиша таиш* 'Лысый камень'. Управившись с трудным делом, люди шли на поклонение к этому камню [Джуртубаев, 1991, с. 61].

- *Тотур таишы*. Покровительства Тотура просили в обряде, связанном с первым выходом юноши на охоту. Также верили, что он может разорить человека, выслав волков на его стадо [Там же, с. 120]. Также устраивали праздник в честь этого камня (резали жертвенный скот, пели и плясали вокруг камня), прося у него помощи [Хаджиева, 1996, с. 8].

- *Камень Аштотур*. Проезжая мимо камня Аштотур, человек должен был спешиваться; охотники, идя на охоту, оставляли там одну из стрел своих, а по возвращении – часть добычи [Карачаевцы и балкарцы, 2014, с. 529].

- *Чоппаны таишы*. Ритуальная пляска вокруг камня Чоппы сопровождалась песней с просьбой о дожде [Там же].

• *Сосуркъаны таши* ‘Камень Сосурука’. Карачаево-балкарцы устраивали около этого камня поминки [Карачаевцы и балкарцы, 2014, с. 515].

Особо почитались камни бесплодными женщинами. Они молились, приносили дары камням: *Мамукъ таи* (*мамукъ* ‘вата’ + *таи* ‘камень’), *Байрым таиша* ‘Камни Байрым’ – бездетные молились, прося ребенка; женщины, у которых были дети молились за детей.

В текстах карачаево-балкарского нартского эпоса встречаются камни, которые пользовались особым вниманием у народа.

• *Нарт таши*. Если родился ребенок, то его купали в воде, налитой на этот камень: *Жаи барып, тюз белинден кѣтюрюп (таишы), элтип бир кюнлюм къабыргъагъа сюеди, ма бюгюн ол Огъары Чегемде тургъан Нарт таши олда* ‘Юноша подошел, поднял (камень), понес и прислонил к южному склону (горы). Это и есть камень Нартов, который по сей день находится в Нижнем Чегеме’ [Нарты..., 1994, с. 75].

• *Чариш таи* ‘камень на месте скачек’: *Сора нартла чариш таиша жыйылышхандыла. Чариш таишдан чаба туруп, жолларыны жартысы кѣк тенгизни юсю бла болгъанды* ‘Все нарты собрались к камню, откуда начинались скачки. От этого камня половина их пути проходила по морю’ [Там же, с. 192].

• *Союм таи* ‘Камень жертвоприношения’: *Эки эмеген да Сибилчини алып кетип, союм таиша жатдырып, геммеш чындыла бла къолун-аягъын байладыла* ‘Два эмегена схватили Сибилчи, потащили к камню, на котором резали скот, и связали ему руки и ноги ремнями из шкуры буйвола’ [Там же, с. 222].

• *Бердибий таи* ‘Камень Бердибия’: – *Къач кешенеден жортханын бузмай, Бердибий таишына киши жеталмайды, – деп ишни ангылатды (Ёрюзмекге Дебет)* ‘– Никто не может пробежать без отдыха от Кач кешене до Камня Бердибия, – объяснил (Дебет Ёрюзмеку)’ [Там же, с. 75].

• *Оноу этиучю таи* ‘Совещательный камень’: *Аны бла Фук ёлгенди да, Ёрюзмек Фукну орнуна оноу этиучю таиша олтургъанды. Алай бла Ёрюзмек нартлагъа оноу эте жашагъанды* ‘Когда Фук умер, Ёрюзмек вместо него стал главою нартов. Так он жил, управляя нартами’ [Там же, с. 90].

В камне закодирована информация об этногенезе социума. Тюрки, в том числе карачаевцы и балкарцы, по-особому относились к камню, они воздвигали памятники из камня (в основном это были надгробные камни), на которых оставляли информацию для будущих поколений. Первоначально могила обозначалась безымянной глыбой или куском камня, склепами, каменными ящиками, а впоследствии – каменными стелами (*кешене* ‘гробница, мавзолей’, *шиякы* ‘склеп, гробница’, *сын таи* ‘надгробие, надгробный памятник’):

Айланып, айланып, болмайды, бир жерде тапмайды. Келип, былайда, бу сын таиша болгъан жерде жатады кече ‘Долго искал, но нигде не нашел. Пришел и прилег вечером у надгробия’;

Гитче къолну аягъы – Ёмюрлени сыфаты. Кешенеле былайда – Эминаны шагъаты ‘Подножье Гитче кол – Образ веков. Крепости здесь – Свидетели чумы’ [Там же, с. 238].

Особую группу камней составляют «следовики». Это валуны с углублениями, которые напоминают отпечаток ступни человека. В нартском эпосе встречаются сюжеты о том, как на камнях оставляют свои следы герои эпоса. Это есть камни-следовики, которые связаны с началом каменосечного искусства древних народов.

Былайда, Къумушину бери жаньнда, бир уллу таш бар эди да, ол ташны юсюнде аны атыны, кесини да аякъ ызлары тюшюб тюрленмей турадыла ‘Здесь, на этой стороне Кумуша был огромный камень. На нем остались следы коня (Карашауая) и его самого’ [Нарты, 1994, с. 127];

Гемуда секирип, бирси таудан жерге тюшгенде, ал аягъы бла уллу жассы ташны басханды. Гемуда асыры залимден, кючю бла келип ташха тийгенде, аны ал аягъы ташха батханды. Ол тартып аны андан чыгъ-аргъандан сора, аны туюкъ ызы ташда къалгъанды ‘Когда Гемуда спрыгнул с горы, он наступил передней ногой на большой черный камень. Гемуда был очень мощный, поэтому его передняя нога провалилась в камень. Когда он выдернул ногу оттуда, оставил след копыта на камне’ [Там же, с. 212].

С исторической точки зрения карачаево-балкарские *оюнла* ‘игры’ были связаны с определенными праздниками, обрядами. Камень был одним из важных элементов таких игр. У карачаево-балкарцев существовали такие игры, как *къол таш* или *имбаш таш* (где *къол* ‘рука’, *имбаш* ‘плечо’), *кюч таш* (*кюч* ‘сила’), *аркъа таш* (*аркъа* ‘спина’), *юч таш* ‘три камня’ и др.:

– *Оюнлары не зат эди? – Оюнлары имбаш ташды. – Ташлары уа не кибикиди? – Эки ёгюзню арасында Жюрюген а гебен кибики* ‘– А что у них за игра? – А игра их (называется) – толкание камня. – А камень у них на что похож? – На стог сена, который волокут два вола’ [Там же, с. 185];

Гебен кибики суу ташланы къолташ этип атханды (Алауган) ‘(Алауган) метал речные валуны величиной со стог сена’ [Там же, с. 151];

Анда уа бир ариу къыз бар, бешташ ойнай, Бир къозучукъда къатында къаудан чайнай ‘Там какая-то красивая девушка играла в бешташ, Рядом с ней ягненок жевал сухую траву’ [АИГЭ, 2015, с. 529].

У карачаево-балкарцев широко был распространен вид мантики – гадание на камешках – *таш салыу* ‘сев камней’, который берет свое начало из язычества. Приведем пример из текста нартского эпоса:

– *Бу не сейирди, не алапатды? – деп, Къайгъыгъа къалгъандыла, Барып, эллеринде обурла таматасы Жанханайны чакъырып, беш таш салдыргъандыла* ‘– Что же это такое? – говорили. Они стали беспокоиться. Позвали колдунью Жанханай, чтобы она погадала на камушках’ [Нарты..., 1994, с. 191].

Камень использовался и как музыкальный инструмент:

Алауган терк окъуна балдыргъан къаурадан кесине сыбызгъы этеди. Ёрюзмек, къара ажирлени къуйрукъларындан тюкле алып, кесине къыл къобуз этип согъады. Сосурукъ эки ташны алып, бир бирге урады ‘Алауган быстро смастерил из тростника себе свирель. Ёрюзмек, взяв волосы из хвостов черных жеребцов, сделал себе скрипку. Сосурук, взяв два камня, начал стучат ими’ [Там же, с. 225].

В своих домах предки карачаево-балкарцев очажный камень использовали и как тайник, надежное хранилище:

– *От жазгъаны тыпыр ташыны тюбюнде бир къара къошун болур. Аны ичинде къара жау болур* ‘– Под очажным камнем есть черный кувшин. В нем есть черный жир’ [Там же, с. 148];

– *Атангы жатхан кѡабыры бусагъатда да турады. Минг гѡренке ташны тюбюнде аты, саууту да бар эди* ‘– Могила твоего отца и сейчас в сохранности. Под камнем в тысяча гѡренке находились его конь и оружие [Нарты..., 1994, с. 260].

Камень символизирует конец жизненного пути человека (в сочетании со словом *сын* «надгробье»): *Кѡабырны белгиси – сын таш* ‘Знак могилы – надгробье’.

Кѡаншау-бийими, сау эсе, ол Таш бизге айтыр, Ёлген эсе уа сын ташын салырбыз, кѡайытып ‘Если мой князь Каншау жив, тот Камень скажет нам, А если он умер, то, вернувшись, установим его надгробье’ [АИГЭ, 2015, т. 1, с. 407].

Жизнь сравнивается с движением жерновов мельницы. Народ жив до тех пор, пока крутятся *тирмен ташла* ‘жернова его мельницы’. Остановка движения жерновов мельницы символизирует смерть: *Тирмен ташы бурулады* ‘Жернова (его) мельницы крутятся (еще)’ (погов.).

Человек, способный стать опорой, воспринимается как камень:

– *Билемисе, ма ол сени жашынгды, Кѡартлыгъынгда сен таяныр ташынгды* ‘– Знаешь, он твой сын, Опора твоя в старости’ [Нарты..., 1994, с. 93];

Ёрюзмек а нарт элини башыды, Нарт элини таянырыкъ ташыды! ‘Ёрюзмек – глава нартов, Опора Страны Нартов’ [Там же, с. 125].

В целом для камня релевантны следующие характеристики.

Вечность, упорядоченность, основательность: *Ауур таш жеринден тепмез, акъыллы адам элинден кѡчмез* ‘Тяжелый камень с места не сдвинется, умный человек не переедет из (своего) села’ (погов.); *Чолпан жулдуз жулдузланы башыды, Темиркъазакъ кѡкню тепмез ташыды* ‘Венера главная из звезд, Полярная звезда – неподвижный камень неба’.

Камень есть очищающее средство: *Жети ташдан ётген суу жангыдан таза болур* ‘Вода, прошедшая через семь камней, становится чистой’.

Манера говорить: *Кѡазаннга таш атып тѡнгеретгенча да сѡлешеди* ‘Говорит (так шумно, громко), будь-то бы в казан бросили камень и катят его’; *Сѡлешую ташны ташха ургъанча* ‘Говорит, как камень о камень стучит’.

Камень также служит для репрезентации состояния и черт характера человека.

Состояние: *Мин дей болур эд ююне. Мен а таш эдим, кѡреед, Кѡычырыкъ этип, жыладым, Тауушум чыкъмад тышына* ‘Наверное, просил меня сесть на него, а я окаменел, он видел, Потом я заплакал, закричал, Но я не издал звука’ [АИГЭ, 2015, т. 1, с. 57]; – *Эй, улан, не этесе былайда, Таш да жарылды, жол да бюгюлдо, Сен а тураса сирелип, таш болуп, ташны кѡатында?* ‘– Эй, молодец, что ты делаешь здесь, И камень раскололся, и дорога прогнулась, А ты стоишь, окаменев, возле камня’ [Там же, с. 57].

Черты характера:

1) **жестокость:** *Кюйсюзню башы башыды, жюреги уа ташыды* ‘У жестокого (человека) голова – голова, а сердце – камень’ (погов.);

2) **сдержанность** – качество человека, которое высоко ценится в народе: *Сабырлыгъынгы ташха байла* ‘Привяжи свою сдержанность к камню’ (погов.);

3) **благородство** – одно из составляющих морального образа человека: *Асыл – ташдан, акъыл – башдан* ‘Благородство от камня, ум от головы’ (погов.);

4) *терпимость* – это часть ментальной души народа, которая сравнивается с твердостью камня: *Таш кьаргъа да, отха да чыдагъанча, Чыдады ол адам хар кьыйынылыкъгъа* ‘Тот человек выдержал все трудности, подобно камню, который выдержал и снег, и огонь’ [Кулиев, 2010, с. 319];

5) *неуживчивость*: *Хунагъа жараман таш кибик* ‘Как камень, непригодный для забора’ (погов.); *Таш юсюнде таш кьоймагъан* ‘Не оставляющий камень на камне (человек)’ (погов.).

Таким образом, анализ языковой экспликации концепта *ТАШ* ‘камень’ показал, что для карачаево-балкарцев он является одним из важных составляющих этнокультуры. Для рассматриваемого концепта актуальны такие когнитивные характеристики, как вечность, основательность, опора и др. Он также служит для репрезентации состояния и черт характера человека, таких, как благородство, жестокость, сдержанность, неуживчивость и т. д.

Список литературы

АИГЭ – Аланский историко-героический эпос / Сост. М. Ч. Джуртубаев: В 3 т. Нальчик: Тетраграф, 2015. Т. 1. 655 с.; Т. 2. 479 с.

Бернштейн Э. Б. Архитектура балкарского народного жилища. М.: Дикси, 1993. 160 с.

Биджиев Х. Х. Погребальные памятники Карачая XIV–XVIII вв. // Вопросы средневековой истории народов Карачаево-Черкесии. Черкесск, 1979. С. 63–146.

Галиуллина Г. Р. Космологические воззрения в татарской антропонимической картине мира // Учен. зап. Казан. гос. ун-та. Казань, 2008. Т. 150, кн. 2. С. 197–205.

Джуртубаев М. Ч. Древние верования балкарцев и карачаевцев: Краткий очерк. Нальчик: Эльбрус, 1991. 256 с.

Древнетюркский словарь / ред. В.М. Наделяев, Д.М. Насилов, Э.Р. Тенишев, А.М. Щербак. Л.: Наука, 1969. 676 с.

Карачаевцы и балкарцы / Под ред. М. Д. Каракетова, Х.-М. А. Сабанчиева. М.: Наука, 2014. 815 с.

Кобычев В. П. Типы жилищ у народов Северо-Западного Кавказа в середине XIX в. // Кавказский этнографический сборник. М., 1972. Т. 99. С. 150–167.

Кулиев К. Ш. Поэт всегда с людьми: Статьи, эссе. М.: Сов. писатель, 1986. 336 с.

Кулиев К. Ш. Собр. соч.: В 6 т. Нальчик: Эльбрус, 2010. Т. 4. 592 с.

Кучукова З. А. Онтологический метакод как ядро этнопоэтики (карачаево-балкарская ментальность в зеркале поэзии). Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых, 2005. 312 с.

Маругина Н. И., Ламинская Д. А. Концепт «Природа» в русской и английской языковых картинах мира // Язык и культура. 2010. № 2 (10). С. 36–46.

Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Академия, 2001. 208 с.

Нарты. Героический эпос карачаевцев и балкарцев. М.: Наука: Изд. фирма «Восточная литература», 1994. 656 с.

Раемгужина З. М. Башкирский антропонимикон в свете языковой картины мира: Дис. ... д-ра филол. наук. Уфа, 2009. 300 с.

СИГТЯ – Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Пратюркский язык-основа. Картина мира пратюркского этноса по данным языка / Отв. ред. Э. Р. Тенишев, А. В. Дыбо. М.: Наука, 2006. 908 с.

- Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. М.: Наука, 1986. 242 с.
- ТСКБЯ – Толковый словарь карачаево-балкарского языка: В 3 т. Нальчик: ЭЛЬ-ФА, 2005. Т. 3: С–Я. 1157 с.
- Хаджиева Т. М. Карачаево-балкарский фольклор. Хрестоматия. Нальчик: ЭЛЬ-ФА, 1996. 592 с.
- Хапаев С. А. Географические названия Карачая и Балкарии. М., 2013. 576 с.
- Хисамитдинова Ф. Г. Мифологический словарь башкирского языка. М.: Наука, 2010. 452 с.

References

- Alanskiy istoriko-geroicheskiy epos* [Alan historical and heroic epic]. Dzhurtubaev M. Ch. (Comp.). Nal'chik, Tetragraf, 2015, vol. 1, 655 p.; vol. 2, 479 p.
- Bernshiteyn E. B. *Arkhitektura balkarskogo narodnogo zhilishcha* [Architecture of the Balkar people's home]. Moscow, Diksi, 1993, 160 p.
- Bidzhiev Kh. Kh. Pogrebal'nye pamyatniki Karachaya 14–18 vv. [Funerary monuments of Karachay, 14th - 18th centuries]. In: *Voprosy srednevekovoy istorii narodov Karachaevo-Cherkessii* [Questions of medieval history of the peoples of Karachay-Cherkessia]. Cherkessk, 1979, pp. 63–146.
- Drevnetyurkskiy slovar'* [Ancient Turkic dictionary]. V. M. Nadelyaev, D. M. Nasilov, E. R. Tenishev, A. M. Shcherbak (Eds). Leningrad, Nauka, 1969, 676 p.
- Dzhurtubaev M. Ch. *Drevnie verovaniya balkartsev i karachaevtsev: Kratkiy ocherk* [The ancient beliefs of the Balkars and Karachays: a brief outline]. Nal'chik, El'brus, 1991, 256 p.
- Galiullina G. R. *Kosmologicheskie vozzreniya v tatarskoy antroponimicheskoy kartine mira* [Cosmological views in the Tatar anthroponymic picture of the world]. *Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Gumanitarnye Nauki (Proceedings of Kazan University. Humanities Series)*. 2008, vol. 150, pp. 197–205.
- Karachaevtsy i balkartsy* [Karachais and Balkars]. M. D. Karaketov, Kh.-M. A. Sabanchiev (Eds). Moscow, 2014, 815 p.
- Khadzhieva T. M. *Karachaevo-balkarskiy fol'klor. Khrestomatiya* [Karachay-balkar folklore. Reader]. Nalchik, EL'FA, 1996, 592 p.
- Khapaev S. A. *Geograficheskie nazvaniya Karachaya i Balkarii* [Geographical names of Karachay and Balkaria]. Moscow, 2013, 576 p.
- Khisamitdinova F. G. *Mifologicheskiy slovar' bashkirskogo yazyka* [Mythological dictionary of the Bashkir language]. Moscow, Nauka, 2010, 452 p.
- Kobychev V. P. *Tipy zhilishch u narodov Severo-Zapadnogo Kavkaza v seredine 19 v.* [Types of dwellings among the peoples of the Northwestern Caucasus in the middle of the 19th century]. In: *Kavkazskiy etnograficheskiy sbornik* [Caucasian ethnographic collection]. Moscow, 1972, vol. 99, pp. 150–167.
- Kuchukova Z. A. *Ontologicheskiy metakod kak yadro etnopoetiki (karachaevo-balkarskaya mental'nost' v zerkale poezii)* [Ontological metacode as the core of ethno-poetics: (Karachay-Balkar mentality in the mirror of poetry)]. Nal'chik, Izd. M. i V. Kotlyarovyh, 2005, 312 p.
- Kuliev K. Sh. *Poet vseгда s lyud'mi: Stat'i, esse* [The poet is always with people: articles, essays]. Moscow, Sov. pisatel', 1986, 336 p.
- Kuliev K. Sh. *Sobr. soch.: V 6 t.* [Collected works: In 6 vols]. Nal'chik, El'brus, 2010, vol. 4, 592 p.

Marugina N. I., Laminskaya D. A. Kontsept “Priroda” v russkoy i angliyskoy yazykovykh kartinakh mira [The concept “Nature” in Russian and English language pictures of the world]. *Language and Culture*. 2010, no. 2 (10), pp. 36–46.

Maslova V. A. *Lingvokul'turologiya: Ucheb. posobie dlya studentov vysshikh uchebnykh zavedeniy* [Linguoculturology: Textbook for students of higher educational institutions]. Moscow, Akademiya, 2001, 208 p.

Narty. *Geroicheskiy epos karachaevtsev i balkartsev* [Narts. Heroic epos of the Karachais and Balkars]. Moscow, Nauka, Vost. lit., 1994, 656 p.

Raemguzhina Z. M. *Bashkirskiy antroponimikon v svete yazykovoy kartiny mira* [Bashkir anthroponymicon in the light of language picture of the world]. Dr. philol. sci. diss. Ufa, 2009, 300 p.

Sravnitel'no-istoricheskaya grammatika tyurkskikh yazykov. Pratyurkskiy yazyk-osnova. Kartina mira pratyurkskogo etnosa po dannym yazyka [Comparative-historical grammar of Turkic languages. The Pratyurkic basis of language. The Proto-Turkic ethnoscopic worldview according to the language data]. E. R. Tenishev, A. V. Dybo (Eds). Moscow, Nauka, 2006, 908 p.

Tolkovyy slovar' karachaevo-balkarskogo yazyka: V 3 t. [Explanatory dictionary of the Karachay-Balkar language: In 3 vols]. Nalchik, EL”-FA, 2005, vol. 3. S–Yz, 1057 p.

Сведения об авторе

Ахматова Мариям Ахматовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры карачаево-балкарской филологии Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова (Нальчик, Россия)

mari.ahmatova@yandex.ru

ORCID 0000-0002-0507-395X

Information about the author

Maryam A. Akhmatova – Candidate of Philology, Associate Professor of the Karachay-Balkar Philology Department, Kabardino-Balkarian State University named after H. M. Berbekov (Nalchik, Russian Federation)

mari.ahmatova@yandex.ru

ORCID 0000-0002-0507-395X

УДК 81'374 + 811.161.1 + 811.512.156
DOI 10.17223/18137083/74/19

Отражение метафорических экспрессивов в тувинской лексикографии

Э. К. Аннай

*Тувинский институт гуманитарных
и прикладных социально-экономических исследований
при Правительстве Республики Тыва
Кызыл, Россия*

Аннотация

Рассматривается фиксация и маркирование пометами *метафорических экспрессивов* (единиц экспрессивного лексического фонда), представляющих собой частный случай семантической деривации, в словарях тувинского языка. В качестве сравнения приводятся русские эквиваленты. Отмечается также влияние русского языка на семантическую структуру тувинских лексем.

Выявлено, что в последние десятилетия число рассматриваемых единиц, употребляемых в разговорной речи, выросло под влиянием русского языка. Появились модели образования экспрессивов, ранее не характерные для тувинского языка, но распространенные в русском. В словарях тувинского языка это явление не находит должного отражения.

Ключевые слова

тувинский язык, русский язык, билингвизм, метафора, экспрессив, семантическая деривация, переносное значение, лексикография, толковый словарь

Для цитирования

Аннай Э. К. Отражение метафорических экспрессивов в тувинской лексикографии // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 252–264. DOI 10.17223/18137083/74/19

Metaphorical expressives in Tuvan lexicography

E. K. Annai

*Tuvan Institute of Humanities and Applied Socio-Economic Research
under the Government of the Republic of Tuva
Kyzyl, Russian Federation*

Abstract

Fixation and assignment of labels to specific semantic derivation cases, namely metaphorical expressives (expressive lexical units) in Tuvan dictionaries, are considered and compared with their Russian equivalents. The Russian language influence on the semantic structure of the Tuvan lexemes is observed. Metaphorical expressives are lexemes formed by metaphori-

© Э. К. Аннай, 2021

ISSN 1813-7083
Сибирский филологический журнал. 2021. № 1
Siberian Journal of Philology, 2021, no. 1

cal derivation resulting in new (figurative) meanings without changing the form. The number of such units in the colloquial speech was found to increase under the Russian language influence in recent decades. New formation models non-typical for Tuvan but common in Russian have appeared. Also, the calques of Russian expressives based on models absent in Tuvan were found: *bash aaryy* (lit.: head pain) → “person or problem causing emotional pain or frustration to the speaker” from Russian *golovnaya bol'* with the same meaning. The analysis showed Tuvan dictionaries not to reflect this phenomenon sufficiently, i.e., word figurative meanings, namely metaphorical expressives, are not represented there broadly enough. It may be because the labels marking certain words' usage areas, particularly the label *razg.* (colloquial speech) is used rather liberally since the stylistic differentiation process is still ongoing in standard Tuvan. While actively used in oral colloquial speech, most expressive meanings of polysemantic words revealed in the study are not found in Tuvan dictionaries. In Russian, there are special colloquial dictionaries, as well as regional dictionaries with stylistic labels. There are no such dictionaries in Tuvan, mostly due to its vague stylistic differentiation. However, the Tuvan language is still evolving, with dictionaries updated accordingly

Keywords

bilingual, metaphor, expressive (lexical unit), semantic derivation, figurative meaning, Tuvan, Russian, lexicography, explanatory dictionary

For citation

Annai E. K. Metaphorical expressives in Tuvan lexicography. *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 252–264. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/19

Экспрессивность является неотъемлемой частью живой речи. С помощью различных языковых средств говорящий передает свое отношение к тем или иным явлениям действительности, к собеседнику. Зачастую лексическими средствами выражения экспрессивности выступают метафорические экспрессивы. Метафорические экспрессивы – это лексемы, образованные путем метафорической деривации, в результате чего появляется новое (переносное) значение без изменения формы знака.

Л. Н. Тыбыкова отмечает: «В тюркских языках ещё далеко не закончена даже простая инвентаризация единиц выразительного фонда, почти нет специальных исследований. На современном этапе развития тюркской лексикологии актуальными задачами являются классификация этого материала, уточнение основных понятий и терминов для описания экспрессивного фонда каждого тюркского языка и разработка специальных методик его исследования» [2015, с. 235].

В данной статье рассматривается отражение *метафорических экспрессивов* (единиц экспрессивного лексического фонда) в двуязычных словарях тувинского языка.

Систематически двуязычные тувинско-русские и русско-тувинские словари стали издаваться после основания Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и истории (1945): «Русско-тувинский словарь» под редакцией А. А. Пальмбаха (РТС, 1953), «Тувинско-русский словарь» под редакцией А. А. Пальмбаха (ТРС-Пальмбах, 1955), «Тувинско-русский словарь» под редакцией Д. А. Монгуша (ТРС-Монгуш, 1980), «Краткий русско-тувинский словарь» под редакцией Д. А. Монгуша (КРТС, 1994), «Русско-тувинский учебный словарь» Д. А. Монгуша (РТУС, 1988) и «Тувинско-русский словарь» под редакцией Э. Р. Тенишева (ТРС-Тенишев, 1968). В основном это нормативные словари, поэтому часто в них не имеется стилистических помет, отмечаются лишь переносные значения некоторых слов. Позже изданы два тома первого «Толкового слова-

ря тувинского языка» под редакцией Д. А. Монгуша: том 1 «А – Й» 2003 г., том 2 «К – С» 2011 г. (ТСТЯ, 2003; 2011).

В условиях современной жизни, расширения культурных контактов появляются новые двуязычные словари: «Тувинско-турецкий словарь» (ТТС, 2005), а также электронные словари: Англо-тувинский и тувинско-английский онлайн словарь ¹, Тувинско-русский словарь ² на базе «Тувинско-русского словаря» под редакцией Э. Р. Тенишева (ТРС-Тенишев, 1968).

Анализ фиксации рассматриваемых единиц проводился на материале существующих нормативных словарей тувинского языка. Для анализа материала мы использовали «Тувинско-русский словарь» (ТРС-Тенишев, 1968) объемом 22 000 слов, а также первый фундаментальный «Толковый словарь тувинского языка» под редакцией Д. А. Монгуша: т. 1 «А – Й» (ТСТЯ, 2003), объемом 10 300 слов и 1700 устойчивых словосочетаний и т. 2 «К – С» (ТСТЯ, 2011) объемом 12 000 слов и 1700 устойчивых словосочетаний.

В ТРС для обозначения экспрессивных лексем используются следующие пометы: *бран.*, *ирон.*, *неодобр.*, *презр.*, *пренебр.*, *прост.*, *разг.*, *шутл.* В ТСТЯ имеются такие пометы, как *байыр.* – *байырымныг стиль* ‘торжественный, высокий стиль’, *бак.* – *бактап* ‘неодобрительное’, *бак көр.* – *бак көрген* ‘презрительное’, *баит.* – *баитактанган* ‘шутливое’, *кара* – *кара чугаа* ‘просторечное’, *чуг.* – *аас чугаа сөзү* ‘разговорное слово’.

Метафорические экспрессивы из нашей выборки в ТРС находят отражение с пометами: *миф.* – мифическое, *фольк.* – фольклорное, *археол.* – археологическое, тогда как в настоящее время данные лексемы приобрели дополнительное коннотативное значение, нуждающееся в должном отражении.

Лексикография русского языка имеет длительную традицию и развитую систему для обозначения экспрессивности. В словарях русского языка имеется целый ряд стилистических, эмоционально-оценочных помет: грубое, ласкательное, шутливое, насмешливое, неодобрительное, пренебрежительное, бранное и мн. др.; функционально-стилистических помет, указывающих сферу применения той или иной лексемы: простонародное, разговорно-сниженное, жаргонное и др.

Для сравнения с русским языком мы обращаемся к нормативному «Словарю русского языка» С. И. Ожегова 1989 г. с общим объемом 57 000 слов (СлРЯ, 1989), который ориентирует «говорящего (пишущего) на литературный язык, на языковую норму, а значит, и на более или менее строгие ограничения в выборе слов, правильных языковых форм и допустимых сочетаний...» (ТСРРОР-1, 2017, с. 3–4). В нем имеются такие пометы, как *прост.* (жеребец, ведьма), *книжн.* (чудовище).

«...Толковые словари являются реализацией огромного лексикографического опыта и результатов теоретических исследований, поэтому их данные достаточно объективны даже для выделения семантических компонентов в значении слов» [Цветков, 1984, с. 18]. Для рассмотрения экспрессивной лексики в качестве описательного толкового словаря мы обращаемся к «Большому словарю русской разговорной экспрессивной речи» В. В. Химика (БСРРЭР, 2004) и «Толковому словарю разговорно-обиходной речи» этого же автора в двух томах (ТСРРОР-1, 2017; ТСРРОР-2, 2017), в которых представлены слова и устойчивые единицы русской разговорной речи во всем многообразии – бытовой, профессиональной, жаргонной

¹ Tuvan language and culture portal at Swarthmore College. URL: <http://tuvan.swarthmore.edu/>.

² URL: http://tuvan_russian.academic.ru/.

зированной, сниженной, бранной, вульгарной – в объективном состоянии во второй половине XX – начале XXI столетия (ТСРРОР-1, 2017, с 9), а также к электронной версии «Большого толкового словаря современного русского языка» под редакцией С. А. Кузнецова (БТСРЯ, 2014) ³.

Авторы словаря русской разговорной речи отмечают, что к началу XXI столетия в русском культурном и языковом пространстве наблюдается «смена нормативной основы литературного языка», которая ранее очень строго соблюдалась: «Произошло глобальное снижение, массовая “экспрессивация” публичного общения, официальной коммуникации, в которых совсем не редкими стали не только экспрессивы разговорной речи, но даже и прежде невозможные за пределами обыденной речи грубые, бранные, вульгарные речевые единицы» (БСРПЭР, 2004, с. 5–7).

В тувинском языке также наблюдается «экспрессивация» устной речи, часто употребляется оценочная лексика, образованная путем метафорического переноса. Определенную роль в этом сыграл и русский язык.

М. В. Бавуу-Сюрюн отмечает, что «русско-тувинские языковые связи ограничены временными рамками не более века. И за это время русизмы освоены тувинским языком на всех уровнях» [Бавуу-Сюрюн, Ондар, 2013, с. 40–41].

Влияние русского языка наблюдается не только в лексике бытового употребления, но и в области экспрессивной лексики, а именно семантической деривации. Появились кальки русских экспрессивов, построенных по моделям, отсутствующим в тувинском языке. Например, *баш аарыы* (букв.: боль головы) → ‘человек или проблема, доставляющая говорящему болезненное, нервное состояние’ от рус. *головная боль* с идентичной семантикой.

(1) *Баш аарыы болдуң сен, кылган ажыл-ижиң-даа чок!* (И-1)

баш	аары=ы	бол=ду=ң	сен
голова	боль=POSS/3Sg	быть=PAST=2Sg	ты
кыл=ган	ажыл-ижи=ң-даа		чок
делать=PP	работа-труд=POSS/2Sg-PTCL		нет

‘Ты стал (настоящей) проблемой, нет у тебя ни работы, ни занятости!’

Заимствуются метафорические модели, не характерные для тувинского языка. Примером может служить семантический перенос названий животных, мифических, сказочных существ и болезней в сферу «человек», который раньше не был таким популярным. В 1970-х гг. М. И. Черемисина, сравнивая зоохарактеристики в европейских и тюркских языках, отмечала, что в тюркских языках Сибири зоохарактеристики людей не характерное и не частое явление [Гутман, Черемисина, 1972], однако современный тувинский материал показывает несколько иную ситуацию. Конечно, нельзя говорить о тотальном проникновении русских моделей экспрессивов в тувинский язык. Так, неприемлемым остается употребление названий различных болезней в качестве экспрессивных слов в отношении человека, в то время как в русском возможны такие характеристики человека, как *холера*, *язва*, *чума* и др.

Некоторые лингвисты рассматривают метафору как результат семантической и словообразовательно-семантической деривации: Н. А. Лукьянова [1986; 2015]; Г. Н. Скляревская [1993]; Анна А. Зализняк [2001]; О. Н. Лагута [2003]; И. М. Непелова [2011] и др. В тюркских языках Южной Сибири данному вопросу по-

³ URL: <http://gramota.ru/slovari/>.

священы работы Б. И. Татаринцева [1987]; Е. В. Тюттешевой [2006], Л. Н. Тыбыковой [2007, 2015] и др.

Семантическая деривация – это процесс появления у слова семантически производных значений, со-значений, семантических коннотаций, т. е. процесс расширения семантического объема слова, приводящий к появлению семантического синкретизма, а затем и процесс распада этого семантического синкретизма, приводящий к появлению полисемии. Направления изменений семантической деривации определяют основные ее типы: метонимические и метафорические процессы изменений в семантической структуре слова [Некипелова, 2011, с 36].

Б. И. Татаринцев, автор теоретического исследования многозначности в тувинском языке, утверждает, что «многозначность, основанная на метафорических переносах, несомненно, сложное и неоднородное явление, обладающее определенными особенностями» [Татаринцев, 1987, с. 51]. Частным случаем метафорического переноса являются *метафорические экспрессивы* – лексемы, образованные путем семантической деривации, в результате которого появляется новое (переносное) значение без изменения формы знака (часто возникающие как одномоментный акт речи). Семантически преобразовываются названия животных, мифических существ и другие наименования, употребляющиеся по отношению к человеку с целью охарактеризовать те или иные его качества (табл. 1).

Таблица 1

Семантическая деривация

Table 1

Semantic derivation

Прямое значение	Перенос	Переносное значение
Названия животных, птиц, насекомых, растений, болезней, мифологических и сказочных существ	→	Характеристика человека

В русском языке *метафорические экспрессивы* как частный случай семантической деривации рассмотрены в работе Н. А. Лукьяновой «Экспрессивная лексика разговорного употребления» [1986]. По ее мнению, «метафорические экспрессивы не имеют формальных признаков и лексических показателей экспрессивности, но их экспрессивный потенциал интуитивно осознается носителями языка, хотя далеко не всегда. Связь между прямым и переносным лексико-семантическим вариантом одной лексемы воспринимается в тех случаях, когда она имеет характер контраста...» [Там же, с. 100].

Н. Л. Лукьянова выявляет семь моделей метафорических экспрессивов. Мы останавливаемся на группе, где осуществлен метафорический перенос с названий реалий, непосредственно не связанных с человеком (названия животных, птиц, насекомых, растений, мифологических и сказочных существ), в сферу «человек».

В тувинском языке мы выявили всего десять названий животных, зафиксированных в словарях с переносным значением характеристики человека. Следует отметить, что исконно для тувинского языка использовалась модель переноса «часть тела животного → характеристика человека»: *чавана* ‘селезёнка’ о навязчивом, прилипчивом человеке, *ыйлаңгы* ‘пузырь во внутренних органах мелкого скота’ о хрупком, беззащитном человеке, *чылбыска* ‘выкидыш мелкого скота’

о слабом, безжизненном человеке, *тевениң дедир сиди / тебе сидии* (букв.: моча верблюда) и др., показывающие их традиционный кочевнический быт.

В результате исследования нами выявлены метафорические экспрессивы: 1) зафиксированные, т. е. вошедшие в литературный язык, в существующих словарях тувинского языка; 2) обнаруженные нами в живой разговорной речи. Приведем примеры экспрессивов той и другой группы.

1. Метафорические экспрессивы, зафиксированные в словарях тувинского языка (табл. 2).

ИНЕК 'корова'

...б) *перен.* неповоротливый, неуклюжий, медлительный (ТРС-Тенишев, 1968, с. 208); ...2. *көж.* неуклюжий, неповоротливый (о человеке) (ТСТЯ, 2003, с. 589).

ТИК 'ноль'

Тик кижии ничего не понимающий человек, полный невежда (ТРС-Тенишев, 1968, с. 413) (букв.: ноль человек).

В переносном значении в разговорной речи по отношению к неграмотному, ленивому, безнадежному человеку; употребляется также по отношению к самому себе. Данное значение относится к позднему, возникшему под влиянием русского языка.

(2) *Канчап экзамен дужаар бодап тур сен, тик?! (И-1)*

канчап	экзамен	дужа=ар	бода=п	тур	сен
как	экзамен	сдавать=PrP	думать=CV	стоять	ты

ноль

тик

'Как ты собираешься сдавать экзамен, **ноль?!'**

АЗА 'чёрт'

1) *миф.* злой дух, сатана, чёрт // чёртов; 2) *бран.* Чёрт, чертовка // чертовский (ТРС-Тенишев, 1968, с. 45); ...2. *көж.* Выражает эмоциональное отношение к кому-л., чему-л. (ТСТЯ, 2003, с. 82)

В качестве эквивалентов лексемы *аза* в русском языке мы рассматриваем лексемы *сатана* и *чёрт*.

ДИЛГИ 'лиса'

Переносное значение по отношению к человеку зафиксировано лишь в толковом словаре: ... 2. *көж.* хитрый льстивый человек (ТСТЯ, 2003, с. 447).

2. Метафорические экспрессивы, зафиксированные в разговорной речи.

ХАВАН 'свинья'

По отношению к человеку употребляется в значении 'неряха, грязнуля'. Как метафорический экспрессив употребляется в разговорной речи о неряшливом и нечистоплотном ребенке, в то время как в русском языке слово *свинья* используется по отношению к тому, кто поступает низко, подло, а также (грубо) о грязном человеке, неряхе (разг.).

Таблица 2

Table 2

Переносные значения в словарях русского языка
Figurative Meanings in Russian Dictionaries

		Словарь			
Лексема	СлРЯ, 1989	БТСРЯ, 2014	БСРРЭР, 2004	ТСРРОР-1, 2017 ТСРРОР-2, 2017	
<i>корова</i>	–	...3. Разг.-сниж. О толстой, неуклюжей, нерасторопной или неумной женщине	ы, ж. Насмешл. груб. бран. О неуклюжей, неловкой, толстой женщине; о грубой невоспитанной особе... (с. 273)	ж., в функц. сказ., с указ. мест. и опред. словами. Сниж. Груб. Бран. О полной, неуклюжей, неговоротливой женщине; о грубой невоспитанной особе (≈ КОБЫЛА)... (с. 375–376)	
<i>ноль</i>	...3. Перен. о ничтожном, незначительном человеке (с. 337)	...4. О незначительном, ничтожном человеке	Насмешл. Неодобр. Разг.-сниж. О ничтожной, незначительной личности (с. 374)	Ирон. Неодобр. О ничтожной, незначительной личности (с. 519)	
<i>сатана</i>	Дьявол, олицетворенное злое начало в разных мистических верованиях, а также (прост. м. и ж.) бранно о человеке (с. 569)	2. Разг. О ком-л. нехорошем, недобром. Отстань, с.	м/ж. (Бран.) разг.-сниж. О недобром человеке с неумным, злым темпераментом. Вот с., что вытворяет! (с. 547)	м./ж. в функц. сказ. Бран. О недобром человеке с неумным, злым темпераментом. «Нить чего додумалась, с./ – удивлялся Пронька, – медвежонка на столб сажает!» Ю. Коваль. Лабаз (1972) [НКРЯ] (с. 256)	
<i>чёрт</i>	Много устойчивых сочетаний, но нет пометы об употреблении по отношению к человеку (с. 720)	Отмечено употребление по отношению к человеку: ...2. Разг. О ком-л. нехорошем, недобром	–	–	
<i>лиса</i>	... перен. хитрый, лживый человек (разг.) (с. 263)	2. О хитром, лживом человеке	–	–	

(3) *Хүннү бадыр калдарартыр ойнап алдың бе, хаван* [– деп, *Өнермаа дуңмазын кончаан*]. (И-8)

хүн=нү	бад=ыр	калдарар=тыр	ойна=п
солнце=ACC	спускаться=PrP	загрязняться=CAUS	играть=CV
ал=ды=ң	бе	хаван	
взять=PAST=2Sg	PTCL	свинья	

‘Весь день с самого утра играл, **грязнуля**, – ругала своего брата Онермаа.’

БГТ ‘собака’

По отношению к человеку употребляется в значении ‘плохой человек, чужак’. Как метафорический экспрессив используется в разговорной речи применительно к человеку несправедливому, жестокому, чужому.

(4) [*Ону дилээш «Шанхайны» одуртум*], *кайда-даа чогул, кончуг ыт!* [*Тыт алымза ийи будун үзе сон каар мен*] (У-Х, 73)

кайда-даа	чогул	кончуг	ыт
где-PTCL	нет	весьма	собака

‘[Чтобы найти его, я обошла весь «Шанхай»], но нигде его нет, **собака!** [Если найду, то обе ноги отрублю].’

(5) *Тыва кижилерни бо эжелекчи ыттар канчап турар-дыр, көрүп алыңар.* (ИБ, АК, 150)

тыва	кижи=лер=ни	бо	эжелекчи	ыт=гар
тувинский	человек=PL=ACC	этот	захватчик	собака=PL
канча=п	тур=ар-дыр	көр=үп	ал=ыңар	
делать=CV	стоять= PrP-PTCL	видеть= CV	братъ=IMP/2PL	

‘Посмотрите, что делают с тувинцами эти пришлые **чужаки**.’

АЛБЫС ‘степная дева, ведьма’

По отношению к человеку употребляется в значении ‘плохая женщина’.

В двух словарях не зафиксировано переносное употребление по отношению к человеку (ТРС-Тенишев, 1968, с. 53; ТСТЯ, 2003, с. 108); в разговорной речи есть случаи употребления применительно к внешне неприятной, злой женщине, чаще в споре между женщинами.

(6) *Аскың кижисе караңатпа сен, албыс!* (И-1)

аск=ың	кижи=же	караңа=т=па	сен	албыс
рот=POSS/2Sg	человек=LAT	чернеть=CAUS=IMP	ты	ведьма

‘Не говори мне ничего своим черным ртом, **ведьма!**’

В русском языке коррелят *ведьма* – ...2. *перен.* О злой, сварливой женщине (прост.)’ (СлРЯ, 1989, с. 60); ...2. *Бранно.* О безобразной, злой женщине (БТСРЯ, 2014).

АСКЫР ‘жеребец’

В двух словарях не зафиксировано переносное употребление по отношению к человеку (ТРС-Тенишев, 1968, с. 73; ТСТЯ, 2003, с. 170); в разговорной речи ‘жеребец’ → ‘бабник’: употребляют применительно к непостоянному мужчине, который ведет развратный образ жизни, его сравнивают с самцом.

(7) *Каая херээженнеп чордун, аскыр?* (И-2)

каая	херээженне=п	чор=ду=ң	аскыр
где	бегать по женщинам=CV	уходить=PAST=2Sg	жеребец

‘Где это ты бегал по бабам, **жеребец?**’

В русском *жеребец* – самец лошади, достигший половой зрелости... (перен.: о рослом, сильном мужчине; прост.) (СлРЯ, 1989, с. 156); // *Разг.-сниж.* О молодом мужчине (обычно рослом и сильном). Вон какой ж. стал! Ну и жеребцы у тебя ребята! // *Разг.-сниж.* О мужчине, до неприличия откровенно проявляющем свои физиологические наклонности. Ну и жеребцы, от баб не отходят, смотреть тошно! (БТСРЯ, 2014).

* * *

Таким образом, анализ фиксации экспрессивных лексем в существующих словарях тувинского языка показывает, что в них недостаточно широко представлены переносные значения слов, а именно метафорических экспрессивов. Это может быть связано с тем, что, как отмечают сами авторы «Тувинско-русского словаря» (1968), «пометы, указывающие на сферу употребления некоторых слов, в особенности помета *разг.* (“разговорная речь”), иногда носит условный характер, поскольку в тувинском литературном языке процесс стилистической дифференциации слов, естественно, продолжается» (ТРС-Тенишев, 1968, с. 8).

Данное исследование также показывает наличие в тувинском языке способа образования новых значений у лексем путем семантической деривации и как результат – метафорических экспрессивов, которые необходимо фиксировать в современных словарях. Большинство же выявленных нами экспрессивных значений многозначных слов в имеющихся словарях тувинского языка не отмечены, но они употребляются в живой разговорной речи.

В русском языке имеются отдельные словари разговорной или разговорно-обиходной речи, а также региональные специализированные словари со стилистическими пометами. Для тувинского языка такие словари отсутствуют в основном по причине его недостаточно четкой стилистической дифференциации. Однако в настоящее время тувинский язык меняется, обновление и дополнение словарей продолжается.

Список литературы

Бавуу-Сюрюн М. В., Ондар М. В. Русизмы в диалектах тувинского языка // Новые исследования Тувы. Электронный информационный журнал. 2013. № 4. С. 39–44. URL: www.tuva.asia/.

Гутман Е. А., Черемисина М. И. Зооморфизмы в современном французском языке в сопоставлении с русским // В помощь преподавателям иностранных языков. Новосибирск, 1972. Вып. 3. С. 42–59.

Зализняк Анна А. Семантическая деривация в синхронии и диахронии: «каталог семантических переходов» // Вопросы языкознания. 2001. № 2. С. 13–25.

Лагута О. Н. Метафорология: теоретические аспекты / Новосибир. гос. ун-т. Новосибирск, 2003. Ч. 1. 114 с.; Ч. 2. 208 с.

Лукьянова Н. А. Толково-исторический «Словарь русского языка XI–XVII вв.» как источник изучения экспрессивной лексики // Круги времен. В память Елены Константиновны Ромодановской. М.: Индрик, 2015. Т. 2: Исследования. Посвящения и воспоминания. С. 107–120.

Лукьянова Н. А. Экспрессивная лексика разговорного употребления русского языка. Новосибирск: Наука, 1986. 229 с.

Некпелова И. М. К вопросу о разграничении понятий «семантическая деривация» и «семантическое словообразование» в диахроническом аспекте // Вестник Том. гос. ун-та. Филология. 2011. № 2. С. 14–26.

Скляревская Г. Н. Метафора в системе языка. СПб., 1993.

Татаринцев Б. И. Смысловые связи и отношения слов в тувинском языке. М.: Наука, 1987. 197 с.

Тыбыкова Л. Н. Специфика зооморфных образов *põtjuk* ‘петух’ и *такаа* ‘курица’ в алтайском языке // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, № 9: Филология. С. 235–240.

Тюнтешева Е. В. Человек и его мир в зеркале фразеологии (на материале тюркских языков Сибири, казахского и киргизского). Новосибирск, 2006. 225 с.

Цветков Н. В. Методология компонентного анализа, его сферы и границы (на материале лексики русского языка): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1984. 191 с.

Тубыкова Л. N. The symbols of beauty in Altay zoomorphisms // Turcic languages. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2007. Vol. 11, № 2. P. 211–225.

Список словарей

Англо-тувинский / тувинско-английский онлайн словарь. URL: <http://tuvan.swarthmore.edu/>.

БСРРЭР – Химик В. В. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. СПб.: Норинт, 2004. 768 с.

БТСРЯ – Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб., 2014. URL: <http://www.gramota.ru>

КРТС – Краткий русско-тувинский словарь / Под ред. Д. А. Монгуша. Кызыл, 1994. 432 с.

РТС – Русско-тувинский словарь / Под ред. А. А. Пальмбаха. М., 1953. 708 с.

РТУС – Монгуш Д. А. Русско-тувинский учебный словарь. М.: Рус. яз., 1988. 312 с.

ТРС – Тувинско-русский словарь. URL: http://tuvan_russian.academic.ru

ТРС-Монгуш – Тувинско-русский словарь /. Под ред. Д. А. Монгуша. М., 1980. 664 с.

ТРС-Пальмбах – Тувинско-русский словарь / Под ред. А. А. Пальмбаха. М., 1955. 723 с.

ТРС-Тенишев – Тувинско-русский словарь / Под ред. Э. Р. Тенишева. М., 1968. 646 с.

ТСТЯ – Толковый словарь тувинского языка / Под ред. Д. А. Монгуша. Новосибирск: Наука, 2003. Т. 1: А – Й. 599 с.; 2011. Т. 2: К – С. 798 с.

ТТС – Тувинско-турецкий словарь / Отв. ред. Ч. М. Доржу. Кызыл, 2005. 590 с.

СлРЯ – Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. 20-е изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1989. 750 с.

ТСРРОР-1 – Химик В. В. Толковый словарь русской разговорно-обиходной речи: В 2 т. СПб.: Златоуст, 2017. Т. 1: А – Н. 528 с.

ТСРРОР-2 – Химик В. В. Толковый словарь русской разговорно-обиходной речи: В 2 т. СПб.: Златоуст, 2017. Т. 2: О – Я. 532 с.

Список текстовых источников

- И-1 – Информант 1: Ондар Светлана Самбуевна (1956 г. р.), западный диалект.
И-2 – Информант 2: Донгак Венера Седип-ооловна (1963 г. р.), южный диалект.
ИБ, АК – Иргит Бадыраа «Арзылан кудерек». Кызыл, 1996. 267 с.
У-Х – Улуг-Хем, № 4 (8/86) // Литературно-художественный и общественно-политический журнал Союза писателей Тувы. Кызыл, 1993. 183 с.

Список условных обозначений в глоссах

1, 2, 3 – лицо; **ACC** – винительный падеж; **CAUS** – понудительный залог; **CV** – форма соединительного деепричастия на =*n*; **IMP** – повелительное наклонение; **PAST** – форма прошедшего времени на =*ды*; **PL** – множественное число; **POSS** – посессивный аффикс; **PrP** – форма причастия будущего времени на =*ap*; **PTCL** – частица; **Sg** – единственное число; **LAT** – направительный падеж на =*че*.

References

- Bavuu-Syuryun M. V., Ondar M. V. Rusizmy v dialektakh tuvinskogo yazyka [Russisms in dialects of the Tuvan language]. *The New Research of Tuva*. 2013, no. 4, pp. 39–44. URL: www.tuva.asia.
- Gutman E. A., Cheremisina M. I. Zoomorfizmy v sovremennom frantsuzskom yazyke v sopostavlenii s russkim [Zoomorphisms in modern French in comparison with Russian]. In: *V pomoshch' prepodavatelyam inostrannykh yazykov* [For the help of teachers of foreign languages]. Novosibirsk, 1972, iss. 3, pp. 42–59.
- Laguta O. N. *Metaforologiya: teoreticheskie aspekty* [Metaphorology: theoretical aspects]. NSU. Novosibirsk, 2003, pt. 1, 114 p., pt. 2, 208 p.
- Luk'yanova N. A. Tolkovo-istoricheskiy "Slovar' russkogo yazyka 11–17 vv." kak istochnik izucheniya ekspressivnoy leksiki [The explanatory-historical "Dictionary of the Russian language, the 11–17th centuries" as a source for the study of expressive vocabulary]. In: *Krugi vremen. V pamyat' Eleny Konstantinovny Romodanovskoy* [Circles of Time. In memory of Elena Konstantinovna Romodanovskaya]. Moscow, Indrik, 2015, vol. 2: Issledovaniya. Posvyashcheniya i vospominaniya [Studies. Dedications and memories], pp. 107–120.
- Luk'yanova N. A. *Ekspressivnaya leksika razgovornogo upotrebleniya russkogo yazyka* [Expressive vocabulary of colloquial usage of the Russian language]. Novosibirsk, Nauka, 1986, 229 p.
- Nekipelova I. M. K voprosu o razgranichenii ponyatiy "semanticheskaya derivatsiya" i "semanticheskoe slovoobrazovanie" v diakhronicheskom aspekte [On the question of distinguishing the concepts of "semantic derivation" and "semantic word formation" in diachronic aspect]. *Tomsk State University Journal of Philology*. 2011, no. 2, pp. 14–26.
- Sklyarevskaya G. N. *Metafora v sisteme yazyka* [Metaphor in the system of language]. St. Petersburg, 1993.
- Tatarintsev B. I. *Smyslovye svyazi i otnosheniya slov v tuvinskom yazyke* [Semantic connections and relations of words in the Tuvan language]. Moscow, Nauka, 1987, 197 p.
- Tsvetkov N. V. *Metodologiya komponentnogo analiza, ego sfery i granitsy (na materiale leksiki russkogo yazyka)* [The methodology of the component analysis, its spheres and borders (on the material of the Russian language lexicon)]. Cand. philol. sci. diss. Moscow, 1984, 191 p.

Tybykova L. N. Spetsifika zoomorfnykh obrazov pötÿk ‘petukh’ i takaa ‘kuritsa’ v altayskom yazyke [The specifics of zoomorphic images pötÿk ‘rooster’ and takaa ‘chicken’ in the Altai language]. *Vestnik of Novosibirsk State University. Series: “History and Philology”*. 2015, vol. 14, no. 9: Philology, pp. 235–240.

Tybykova L. N. The symbols of beauty in Altay zoomorphisms. In: *Turcic languages*. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2007, vol. 11, no. 2, pp. 211–225.

Tyuntseva E. V. *Chelovek i ego mir v zerkale frazeologii (na materiale tyurkskikh yazykov Sibiri, kazakhskogo i kirgizskogo)* [Man and his world in the mirror of phraseology (in the material of the Turkic languages of Siberia, Kazakh and Kyrgyz)]. Novosibirsk, 2006, 225 p.

Zaliznyak Anna A. Semanticheskaya derivatsiya v sinkhronii i diakhronii: “katalog semanticheskikh perekhodov” [Semantic derivation in synchronic and diachronic: “The catalog of semantic transitions”]. *Voprosy Jazykoznanija (Topics in the study of language)*. 2001, no. 2, pp. 13–25.

List of dictionaries

Anglo-tuvinskiy / tuvinsko-angliyskiy onlayn slovar’ [English-Tuvan / Tuva-English online dictionary]. URL: <http://tuvan.swarthmore.edu/>.

Bol’shoy tolkovyy slovar’ russkogo yazyka [The Big explanatory dictionary of the Russian language]. S. A. Kuznetsov (Ed. in ch.). St. Petersburg, 2014. URL: <http://www.gramota.ru>

Khimik V. V. *Bol’shoy slovar’ russkoy razgovornoy ekspressivnoy rechi* [Big dictionary of Russian colloquial expressive speech]. St. Petersburg, Norint, 2004, 768 p.

Khimik V. V. *Tolkovyy slovar’ russkoy razgovorno-obikhodnoy rechi: V 2 t.* [Explanatory dictionary of Russian colloquial speech: In 2 vols]. St. Petersburg, Zlatoust, 2017, vol. 1: A – N, 528 p., vol. 2: O – Ya, 532 p.

Kratkiy russko-tuvinskiy slovar’ [Concise Russian-Tuvan dictionary]. D. A. Mongush (Ed.). Kyzyl, 1994, 432 p.

Mongush D. A. *Russko-tuvinskiy uchebnyy slovar’* [Russian-Tuvan educational dictionary]. Moscow, Rus. yaz., 1988, 312 p.

Ozhegov S. I. *Slovar’ russkogo yazyka* [Dictionary of Russian language]. N. Yu. Shvedova (Ed.). 20th ed, stereotip. Moscow, Rus. yaz., 1989, 750 p.

Russko-tuvinskiy slovar’ [Russian-Tuvan dictionary]. A. A. Pal’mbakh (Ed.). Moscow, 1953, 708 p.

Tolkovyy slovar’ tuvinskogo yazyka [The Explanatory dictionary of the Tuvan language]. D. A. Mongush (Ed.). Novosibirsk, Nauka, 2003, vol. 1: A – Y, 599 p.; 2011, vol. 2: K – S, 798 p.

Tuvinsko-russkiy slovar’ [Tuvan-Russian dictionary]. URL: http://tuvan_russian.academic.ru

Tuvinsko-russkiy slovar’ [Tuvan-Russian dictionary]. D. A. Mongush (Ed.). Moscow, 1980, 664 p.

Tuvinsko-russkiy slovar’ [Tuvan-Russian dictionary]. A. A. Pal’mbakh (Ed.). Moscow, 1955, 723 p.

Tuvinsko-russkiy slovar’ [Tuvan-Russian dictionary]. E. R. Tenishev (Ed.). Moscow, 1968, 646 p.

Tuvinsko-turetskiy slovar’ [Tuvan-Turkish dictionary]. Ch. M. Dorzhu (Ed.). Kyzyl, 2005, 590 p.

Сведения об авторе

Аннай Эллада Кан-ооловна – научный сотрудник отдела языкознания (словарей), литературы (фольклористики) Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва (Кызыл, Россия)

eannaj@mail.ru

ORCID 0000-0001-7892-0454

Information about the author

Ellada K. Annai – Researcher at the Department of Linguistics (Dictionaries), Literature (Folkloristics) of the Tuvan Institute of Humanities and Applied Socio-Economic Research under the Government of the Republic of Tuva (Kyzyl, Russian Federation)

eannaj@mail.ru

ORCID 0000-0001-7892-0454

УДК 811.161.1, 81-119
DOI 10.17223/18137083/74/20

Лексикализованные формы русских перцептивных глаголов как семейство конструкций

Т. Г. Скребцова

*Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург, Россия*

Аннотация

Статья посвящена анализу лексикализованных форм глаголов чувственного восприятия с позиции грамматики конструкций. Лексикализованные формы выделены по материалам словарей современного русского литературного языка. Подробно рассмотрены формальные и семантические особенности лексикализованных форм, и показано, что каждая из них соответствует тому определению конструкции, которое принято в грамматике конструкций. Особое внимание уделяется выявлению различного рода связей между конструкциями. Выделяются таксономические отношения между лексикализованными формами (в том виде, как они приводятся в словарях) и их конкретными реализациями, деривационные связи лексикализованных форм с соответствующими глаголами, а также спектр семантических отношений между лексикализованными формами и/или их реализациями, в том числе омонимия, полисемия, синонимия и квазисинонимия. Наличие разнообразных связей между лексикализованными формами, обусловленное принадлежностью соответствующих глаголов к одной лексико-семантической группе, создает предпосылки для рассмотрения их в качестве семейства конструкций.

Ключевые слова

глаголы чувственного восприятия, лексикализация, грамматика конструкций

Для цитирования

Скребцова Т. Г. Лексикализованные формы русских перцептивных глаголов как семейство конструкций // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 265–278. DOI 10.17223/18137083/74/20

Lexicalized forms of the Russian perception verbs as a constructional family

T. G. Skrebtsova

*St. Petersburg State University
St. Petersburg, Russian Federation*

Annotation

In the present study, lexicalized forms of the Russian perception verbs are treated from the construction grammar perspective. The lexicalized forms were drawn from the modern dictionaries of Standard Russian and supplied with appropriate usage examples from the Russian National Corpus. The paper presents a detailed overview of the forms concerned, encompassing both their formal and semantic features. Each lexicalized form is argued to be a construction, in the special sense accorded to the term in construction grammar. Moreover, not only lexicalized forms as listed in the dictionaries but also their specific instantiations (allowing for the variability of the verb form and the addition of extra elements, e.g., particles) are claimed

© Т. Г. Скребцова, 2021

ISSN 1813-7083
Сибирский филологический журнал. 2021. № 1
Siberian Journal of Philology, 2021, no. 1

to be constructions. The paper particularly focuses on the analysis of manifold relations between constructions. In construction grammar, this problem has been given scanty coverage, scholars largely concentrating on taxonomic relations between more and less schematic constructions. This particular type of relations can be said to manifest itself in the links between lexicalized forms and their instantiations. However, the data at hand make it possible to identify a number of other relations. These include the links between lexicalized forms and the corresponding verb as well as semantic relations including homonymy and polysemy, complete and partial synonymy. Taken together, they form an integrated network of relations, both formal and semantic. This is natural, given the fact that the corresponding verbs belong to the same lexical group. The paper argues for the term constructional family to be used in such cases. The constructional family is thus a subset of constructional networks.

Keywords

verbs of perception, lexicalization, construction grammar

For citation

Skrebtsova T. G. Lexicalized forms of the Russian perception verbs as a constructional family. *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 265–278. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/20

1. Предмет и материал исследования

В исследованиях по глагольной семантике перцептивные глаголы обычно выделяются в качестве особой группы (см., например, [Васильев, 1971; 1981; ЛСГРГ, 1988, с. 47]). В соответствии с модусом восприятия данная лексико-семантическая группа (ЛСГ) подразделяется на подгруппы глаголов зрительного восприятия, глаголов слухового восприятия, глаголов обоняния и глаголов осязания; помимо этого она включает в себя глаголы с общим значением восприятия (нейтрализованной семьей модуса) [Васильев, 1971]. Важную роль в структурной организации рассматриваемой ЛСГ играет противопоставление глаголов по семе целенаправленности / нецеленаправленности действия (в литературе также встречаются иные ее формулировки, ср. преднамеренность / непреднамеренность, активность / пассивность, целенаправленность / результативность, направленность от субъекта / к субъекту) [Кретов, 1981]. Соответственно, глаголы *глядеть*, *смотреть*, *слушать* можно охарактеризовать как обозначающие целенаправленное перцептивное действие, а глаголам *видеть* и *слышать* приписать сему нецеленаправленности.

Многие производные глаголы рассматриваемой группы обладают разветвленной системой значений, что, по-видимому, способствует лексикализации отдельных грамматических форм. Таковые обнаружены у глаголов зрительного восприятия *видать*, *видеть*, *глядеть*, *смотреть*, у глаголов слухового восприятия *слушать* и *слышать*, а также у глагола общего восприятия *заметить*. Их анализу и посвящена данная статья.

Мы исходим из того, что лексикализованные формы глаголов чувственного восприятия могут рассматриваться совокупно, как единый объект исследования. Это положение базируется, во-первых, на связи (как в плане выражения, так и в плане содержания) каждой формы с соответствующим глаголом и, во-вторых, на высоком уровне внутренней интеграции рассматриваемой ЛСГ, обусловленной физиологическим единством системы органов чувственного восприятия.

Предметом исследования являются формальные и семантические особенности этих лексикализованных форм, позволяющие рассматривать каждую из них в качестве конструкции (в том особом смысле, который придается этому термину

в грамматике конструкций). Особое внимание уделяется выявлению различного рода связей, которые объединяют конструкции в сеть. При этом нам представляется целесообразным говорить не просто о сети, но о семействе конструкций.

Список лексикализованных форм составлен по материалам академических словарей БАС-1, БАС-2, БАС-3, МАС, а также словаря БТС¹. Лексикографические источники нередко различаются по способу подачи этих единиц, их грамматической характеристике и словарной дефиниции; в случае различающихся толкований мы выбирали то из них, которое кажется нам наиболее адекватным. Иллюстративный материал, за редким исключением, взят из Национального корпуса русского языка (НКРЯ).

2. Грамматика конструкций как теоретический подход. Конструкции и связи между ними

В силу известной идиоматичности, непредсказуемости лексикализованных форм в формальном и содержательном аспектах нам представляется уместным использовать для их анализа и описания понятийный аппарат такого современного направления, как грамматика конструкций. Как будет показано ниже, лексикализованные формы русских глаголов чувственного восприятия вполне удовлетворяют известному определению конструкции, ср.: «С является конструкцией тогда и только тогда, когда С представляет собой пару “форма – значение” $\langle F_i, S_i \rangle$ такую, что существуют некий аспект F_i или некий аспект S_i , не выводимый из составных частей С или из других ранее установленных конструкций» [Goldberg, 1995, p. 4].

Форма и значение в грамматике конструкций понимаются широко: форма подразумевает комплекс синтаксических, морфологических и просодических признаков, а значение включает в себя семантику, прагматику и дискурсивные характеристики. Конструкции постулируются в качестве основной единицы языка. Принципиальной их особенностью является непредсказуемость, невыводимость их формы и/или значения из составных частей, иначе говоря, некомпозициональность [Ibid].

Конструкции не существуют в языке отдельно друг от друга, а связаны между собой различными отношениями: в грамматике конструкций принято говорить о сетях конструкций (*constructional networks*). Поскольку само понятие конструкции допускает различную степень лексической заполненности – от голых структурных схем (ср. дитранзитивную конструкцию S V IO DO²) до конкретных языковых выражений (отдельных словоформ, словосочетаний, идиом), наиболее очевидным видом связи является таксономическая (вертикальная, иерархическая), связывающая абстрактные модели с их полностью или частично лексикализованными вариантами. Она выделяется уже в пионерской монографии А. Гольдберга, где названа отношением наследования (*inheritance link*) [Goldberg, 1995, p. 72–100].

В работах Э. Трауготт [Traugott, 2008a; 2008b] постулируется несколько уровней схематичности, а именно макроконструкции (наиболее абстрактные, схематичные), мезоконструкции и микроконструкции. Автор приводит следующий

¹ Эти сокращения используются и в дальнейшем для ссылок на словари. Поскольку БАС-2 ограничен первыми шестью томами, а БАС-3 еще не закончен, сведения из них отсутствуют у глаголов *слушать*, *слышать* и *смотреть*.

² Subject – Verb – Indirect Object – Direct Object, ср. *John gave Mary a book*.

пример конструкций английского языка: макроконструкция – дитранзитивная схема S V IO DO, мезоконструкции – ее подтипы *give Obj₁ Obj₂* и *buy Obj₁ Obj₂*, которые различаются тем, что первый имеет диатезу с предлогом *to*, а второй – с предлогом *for*, и микроконструкции, образованные конкретными вариантами обоих типов: *give Obj₁ Obj₂*, *send Obj₁ Obj₂*, *buy Obj₁ Obj₂* и т. д. В аналогичном ключе строится анализ конструкций с английскими глаголами умственной деятельности с сентенциальным объектом в [Van Bogaert, 2011].

Другая триада, используемая для описания вертикальных связей между конструкциями, – это «схема – подсхема – микроконструкция», предложенная в книге [Traugott, Trousdale, 2013]. К примеру, английский модальный глагол *may* представляет собой микроконструкцию, подчиненную подсхеме «модальный глагол», а последняя, в свою очередь, подчинена схеме «вспомогательный глагол» [Ibid, p. 14]. Вертикальные отношения между конструкциями часто упоминаются в литературе, более того, язык в целом мыслится как таксономическая сеть конструкций (см., например, [Croft, Cruse, 2004, p. 262]).

В то время как исследователи были вплотную заняты анализом иерархических отношений, горизонтальные связи между конструкциями ими фактически игнорировались [Van de Velde, 2014, p. 141]. В одной из наиболее ранних работ, где эта тема затрагивается, вводится термин «аллоструктуры» (*allostructions*) для обозначения двух или более разновидностей одной и той же схематичной модели – по очевидной аналогии с аллофонами и алломорфами [Cappelle, 2006]. Отношение между аллострукциями, по выражению автора, – это отношение чередования. Если воспользоваться терминологией Э. Трауготт (см. выше), по-видимому, аллострукциями являются мезоконструкции, наследующие одной и той же макроконструкции, а также микроконструкции, иерархически связанные с одной и той же мезоконструкцией. Однако нетрудно заметить, что предложенный термин и его содержание ничего не говорят о характере собственно горизонтальной связи, фактически сводя ее к вертикальной и трактуя как отношение соподчиненности. По сути таким же образом интерпретируются горизонтальные отношения между конструкциями в уже упоминавшейся статье [Van de Velde, 2014].

Обстоятельный анализ разных видов связей между конструкциями содержится в публикации [Diessel, 2015]. Помимо вертикальных связей, выделяется еще несколько типов, в частности горизонтальные – связывающие между собой конструкции, находящиеся на одном и том же уровне схематичности. По мнению автора, они подобны ассоциативным отношениям, соединяющим лексические единицы в ментальном лексиконе. Эксперименты свидетельствуют, что у конструкций, так же как у слов, наблюдается эффект прайминга³. Третий вид связей – связь между конструкциями и синтаксическими категориями. Она также вертикальная: категории считаются обобщением (схематизацией) аналогичных частей различных конструкций. Наконец, существуют связи между конструкциями и конкретными лексическими единицами: это очевидно в случае некоторых (в основном служебных) слов. В качестве примеров автор приводит английские слова *there* и *let's*, отсылающие соответственно к экзистенциальным и побудительным предложениям.

³ Заметим, что подобные рассуждения свидетельствуют о том, что автор осознанно трактует понятие конструкции как психологическую реальность – способ ментальной репрезентации языковых знаний, – а не просто как удобный формат лингвистического описания. Далеко не во всех исследованиях, связанных с грамматикой конструкций, можно наблюдать столь недвусмысленную и отчетливо выраженную установку.

В числе работ, направленных на выявление типов отношений в сети конструкций, следует также назвать презентацию М. Норде на конференции, организованной Бельгийско-нидерландской ассоциацией по когнитивной лингвистике в Генте в 2014 г. [Norde, 2014]. Насколько нам известно, ее содержание не нашло отражения в публикации. Мы считаем нужным упомянуть о ней, поскольку именно там используются термины “parent” («родитель») и “peer” («ровня») для обозначения соответственно вертикальных и горизонтальных связей между конструкциями, что и послужило стимулом для использования выражения «семейство конструкций» в заголовке нашей статьи.

3. Лексикализованные формы русских перцептивных глаголов: общий обзор

3.1. Глагол *видать*

У глагола *видать* выделяются следующие лексикализованные формы:

- *видал?* / *видали?* – выражает удивление, восхищение или укоризну, негодование; ишь. *Видал, как поет?*

В БАС-1, БАС-2, БАС-3, МАС грамматическая помета отсутствует, в БТС – «в зн. частицы».

- *видать* – должно быть, по-видимому, очевидно. *Война продолжается и долго, видать, ещё не кончится.*

Все словари описывают эту единицу⁴ в отдельной словарной статье и сопровождают пометой «в зн. вводн. сл.».

3.2. Глагол *видеть*

У глагола *видеть* словари выделяют следующие лексикализованные формы:

- *видишь* / *видите*, *изволите видеть* – употр. при подтверждении правильно-сти или опровержении чьих-л. слов. *Вот видишь, всё хорошо прошло.*

Эта единица не снабжена грамматической пометой ни в одном из изданий БАС, отсутствует в МАС, в БТС характеризуется «в зн. вводн. сл.».

- (*как*) *видишь* / *видите* – как вам ясно теперь. *Как видите, риск полностью оправдался.*

В БАС-1 не снабжена пометой, в последующих изданиях, а также в МАС и БТС характеризуется единообразно: «в зн. вводн. сл.».

- *видишь* / *видите ли* – употр. при желании обратить внимание на что-л., подчеркнуть что-л. *Мёрз он, видите ли.*

Грамматическая характеристика в словарях такая же, как у предшествующей единицы.

3.3. Глагол *глядеть*

Список лексикализованных форм глагола *глядеть* включает в себя в частности единицы *глядя по чему-л.* и *не глядя на что-л.*, в отношении которых уместно говорить также о грамматикализации. Примечательна также форма *глядь*, у которой процесс лексикализации привел к выделению ее в самостоятельную словарную статью: если в БАС-1 она приводится в словообразовательном гнезде глагола *глядеть*, то в последующих изданиях этого словаря, а также в МАС и БТС представлена самостоятельной вокабулой.

⁴ Под единицей здесь и далее понимается единица лексикографического описания, которая нередко включает в себя более одной грамматической формы и допускает многозначность.

- *гляди / глядите* – выражает предостережение или угрозу. *Да глядите, не опаздывать к разнарядке!*

Грамматическая помета в БАС-1 – «в зн. вводн. сл.»; в последующих изданиях этого словаря, а также в МАС и БТС – «в зн. межд.».

- *гляди / глядишь*:

- 1) весьма вероятно, очень может быть. *Глядишь, меньше будет на улицах следов вандализма.*

- 2) как оказывается, между тем. *Только тут был, глядишь, уже там!*

Все словари характеризуют данную единицу пометой «в зн. вводн. сл.».

- *глядя по чему-л.* – в зависимости от чего-л. *Глядя по состоянию здоровья.*

В БАС-1 и БАС-2 помета отсутствует, в БАС-3 характеризуется как «деепр. в зн. предлога», в БТС – «в зн. предлога», в МАС единица отсутствует.

- *не глядя на что-л.* – несмотря на что-л. *Когда я слышал веселый ребячий гам, то убежал со двора, не глядя на дедов запрет.*

В БАС-1 и МАС единица отсутствует, в БАС-2 не снабжена пометой, в БАС-3 – «деепр. в зн. предлога», в БТС – «в зн. предлога».

- *глядь* – выражает внезапность, неожиданность обнаружения или наступления чего-л. *Предполагаем жить... и глядь – как раз умрем.*

В БАС-1 – «междом.», в БАС-2 и БАС-3 – «межд. обычно в функции сказуемого». В МАС «междом. в знач. сказ.», в БТС – «межд. в функц. сказ.».

3.4. Глагол *заметить*

Глагол *заметить* в нашем списке представлен единственной лексикализованной формой, которая выделяется только в БАС-3 и характеризуется пометой «в зн. вводн. сл.», ср.:

- *заметь / заметьте / замечу* – употр. для привлечения внимания. *Мне, несомненно, повезло с третьим браком. И везёт в нём, замечу, уже около четверти века.*

3.5. Глагол *слушать*

У глагола *слушать* (и соотнесенного с ним по видовой паре глагола *послушать* в соответствующих значениях) словари выделяют первые две из перечисленных ниже единиц. Третью мы сочли нужным добавить, так как она, несомненно, существует с тех пор, как была изобретена телефонная связь. Тот факт, что словари ее «не замечают», не может не вызывать удивления.

- *слушай / слушайте* – употр. при обращении к кому-л. в начале разговора для привлечения внимания. *Слушай, пошли завтра гулять?*

Ни один из словарей не характеризует данную единицу с грамматической точки зрения.

- *слушаю / слушаю-с* – употр. как ответ (слуги, подчиненного) на приказание, распоряжение, означающий, что оно принято к исполнению. [*Лопухин*] *И квасу мне принесешь.* [*Дуняша*] *Слушаю.*

Ни БАС, ни МАС не приводят грамматической характеристики; в БТС данная форма отсутствует. По смыслу к этой единице близка форма *слушаюсь*, употребляющаяся как ответ на приказание в речи военных, однако мы не приводим ее здесь, поскольку она образована от глагола *слушаться*, не принадлежащего к группе глаголов чувственного восприятия.

- *слушаю* – употр. в качестве ответа на телефонный вызов. – *Алло, – хрипло сказал я. – Слушаю. Кого? – Доброе утро, – торопливо проговорил женский голос.*

3.6. Глагол *слышать*

В словарной статье глагола *слышать* фигурирует лишь первая из перечисленных ниже форм; вторая во всех словарях представлена самостоятельной вокабулой. Мы приводим ее здесь в силу очевидной производности от глагола *слышать* и по аналогии с формой *глядь*, которая в первом издании БАС включена в гнездо глагола *глядеть* (см. выше).

- *слышишь / слышите* – употр. для подчеркивания сказанного, настоятельного указания на что-л. *Воду спусти, не забудь. И ни к чему там не прикасайся, слышишь?*

В БТС характеризуется пометой «в зн. межд.», в БАС и МАС помета отсутствует.

- *слышь*:

1. употр. для привлечения внимания собеседника; послушай-ка. *Слышь, ты, Климов, чего расселся, – закричал Перфильев.*

2. употр. при разъяснении чего-л.; видишь ли, знаешь ли. *Я, слышь, совсем позабыл о твоей просьбе.*

3. кажется, как будто, как говорят. *К нему, слышь, много гостей понаехало.*

В БАС и МАС помета при 1-м значении отсутствует, при 2-м и 3-м – «вводн. сл.». В БТС первое значение снабжено пометой «в зн. межд.», 2-е и 3-е – «в зн. вводн. сл.».

3.7. Глагол *смотреть*

У глагола *смотреть* отмечен ряд лексикализованных форм, среди которых единица *смотря по*, подвергшаяся грамматикализации и выступающая в роли предлога или союза.

- *смотрю / смотрим / смотришь* – как видно, как можно заключить. *Смотришь, уж и день примчался к концу; вот уж и вечер...*

Все словари характеризуют данную единицу пометой «в зн. вводн. сл.».

- *смотри / смотрите*:

1. выражает предупреждение, предостережение, угрозу. *Смотрите, проголодаетесь в дороге!*

2. выражает удивление, изумление, недоумение. *Смотрите, пожалуйста, старик – и все раскрыл!*

3. употр. при желании обратить внимание на что-л., подчеркнуть что-л. *Смотрите, какая ситуация сегодня сложилась в правительстве.*

В БАС помета стоит лишь при 3-м значении («в зн. вводн. сл.»). В МАС и БТС 1-е и 2-е значения характеризуются пометой «в зн. межд.», 3-е не выделяется.

- *смотря по чему-л.* – в зависимости от чего-л. *Действовать смотря по обстоятельствам. Поеду смотря по тому, когда получу визу.*

В БАС и МАС грамматические пометы отсутствуют, в БТС отмечена способность данной формы выступать «в зн. предлога» (первый пример) и «в зн. союза» (второй пример).

- *смотря кто* (как, какой и т. п.) – обозначает зависимость выбора от того, на что указывает местоименное слово. *Какова власть американского президента? Смотри где.*

Данная единица не имеет грамматической пометы ни в одном из словарей.

4. Лексикализованные формы перцептивных глаголов как конструкции

Несложно заметить, что с формальной точки зрения круг выделенных единиц ограничен 1-м и 2-м лицом глагола в изъявительном наклонении, формами повелительного наклонения и деепричастием. Характерным моментом является то, что набор лексикализованных форм различен у разных глаголов: его невозможно «вычислить по правилу».

Обращает на себя внимание тот факт, что многие единицы допускают добавление различных факультативных элементов (при сохранении значения). К числу подобных элементов относятся частицы *ну, вот, да, ли, -ка* и нек. др., ср.: (*ну*) (*вот*) *видишь, видите (ли), (да) глядите, послушай-ка, ан глядь* и т. п. Возможность их присоединения также не поддается обобщению. Это особенно хорошо видно в случае полисемичных единиц, где наблюдаются расхождения в том, какой дополнительный элемент может добавляться к «прототипической» форме в разных значениях. Так, к лексикализованной форме *смотри / смотрите* в значении предупреждения легко присоединяется частица *ну* (*Ну смотри, я за язык не тянул*), а в значении удивления – частица *-ка* (*Смотри-ка, какой принципиальный выискался*); обратное не то чтобы невозможно, но гораздо менее типично. В бурно активизировавшемся в последнее время употреблении, связанном с привлечением внимания, могут использоваться также соотнесенные видовые формы *посмотри / посмотрите* (*Посмотрите, как президент активно работает!*), не встречающиеся в значении предупреждения.

Семантика рассматриваемых лексикализованных форм довольно разнообразна. Преобладают коммуникативные ('употр. для привлечения внимания', 'употр. для подчеркивания сказанного', 'употр. как ответ на телефонный вызов', 'употр. как ответ на приказание') и когнитивные значения ('как можно заключить', 'как вам ясно теперь', 'употр. при разъяснении чего-л.'). При этом тезис И. Свитсер о том, что «объективная, мыслительная сторона нашей внутренней жизни регулярно связана со зрением», в то время как «слух связан исключительно с коммуникативными аспектами понимания, но не с мышлением в целом» [Sweetser, 1990, p. 37], на нашем материале не подтверждается⁵. Свидетельства тому можно найти в предыдущем разделе: с одной стороны, служащие для привлечения внимания формы *видишь / видите (ли)* (коммуникативное значение у глагола зрительного восприятия), а с другой – единица *слышь*, употребляемая при разъяснении чего-л. (когнитивное значение у деривата глагола слухового восприятия). У рассматриваемых лексикализованных форм имеются также отдельные значения, связанные с выражением эмоций, модальности возможности, с осуществлением речевого воздействия (предостережение, угроза) и др. Подчеркнем, что семантика лексикализованных форм русских перцептивных глаголов также не поддается вычислению и предсказанию.

Таким образом, можно утверждать, что каждый глагол имеет свой особенный «куст» лексикализованных форм, неповторимый ни в формальном, ни в семантическом отношении. В связи с этим нам кажется уместным использовать метафору «семейства конструкций» (об отношениях между его членами речь пойдет ниже). Рассматриваемое семейство конструкций (см. рисунок) включает лексикализо-

⁵ Тезис Свитсер был неоднократно опровергнут данными различных языков; подробнее см.: [Скребцова, 2018, с. 92–95].

ванные формы, образованные от глаголов чувственного восприятия, а также возможные реализации данных форм (не изображены на рисунке из-за их многочисленности).

Каждая единица лексикографического описания представляет собой конструкцию. По-видимому, это конструкции среднего уровня схематичности, так как они допускают варьирование в том, что касается глагольной формы и факультативных элементов. К примеру, у глагола *глядеть* словари выделяют лексикализованную форму *гляди / глядите*, употребляемую для выражения угрозы или предупреждения; в тексте она может реализоваться такими конкретными вариантами, как *гляди, глядите, да гляди, да глядите, ну гляди, ну глядите*. Каждый из этих вариантов также представляет собой конструкцию (более низкого уровня иерархии), поскольку тоже удовлетворяет определению конструкции (см. выше).

5. Связи между лексикализованными формами. Понятие семейства конструкций

В предыдущем разделе мы уже обрисовали вертикальные (иерархические) связи между лексикализованными формами как единицами словарного описания, с одной стороны, и их конкретными реализациями, с другой. Соответственно, можно сказать, что последние связаны между собой парадигматическими отношениями соподчиненности.

Заметим при этом, что некоторые глагольные формы могут служить реализациями разных единиц – так обстоит дело, к примеру, с *видишь* и *видите*⁶, которые соответствуют трем единицам словарного описания (см. выше). Это пример омонимии конкретных реализаций, их одновременной подчиненности нескольким конструкциям среднего уровня схематичности. Другой пример такого рода – форма *слушаю*, которая может выражать ответ на приказание и ответ на телефонный вызов.

Еще один вид связей – отношения между лексикализованными формами отдельного глагола. По-видимому, эти отношения можно считать опосредованными деривационными связями (через соответствующий глагол).

Помимо этого рассматриваемые конструкции связаны между собой семантически. Так, налицо синонимические отношения, связывающие единицы *глядишь* и *смотришь* в значении ‘как оказывается, между тем’ (несмотря на несовпадение дефиниций), *слышь* в 1-м значении и *послушай(-ка)*, *слышь* во 2-м значении и *видишь (ли)*, *гляди* и *смотри* в значении предостережения или угрозы, грамматикализованных форм *глядя по чему-л.* и *смотря по чему-л.* Целый ряд лексикализованных форм употребляется в качестве маркеров привлечения внимания (*видишь, заметь, слушай, слышь, смотри* и пр.), однако они не взаимозаменяемы, поэтому здесь более уместно говорить о квазисинонимии.

Наличие большого числа смысловых связей между лексикализованными формами обусловлено семантической близостью глаголов, от которых они образованы. Заметим, что в литературе по грамматике конструкций обычно вообще не упоминают о смысловых связях: они просто не обнаруживаются в анализируемом материале. Это обусловлено типовым характером исследования: как правило, автор постулирует ту или иную высокоабстрактную (схематичную) конструкцию и далее анализирует различные варианты ее заполнения. В нашем случае дело

⁶ В «чистом» виде, без дополнительных элементов (их введение привело бы к снятию неоднозначности).

обстоит иначе: в качестве исходной точки выбрана не «голая» формула, а группа близких по значению слов, обладающих особыми лексикализованными формами. Неудивительно, что многие из этих форм тоже оказались семантически связаны друг с другом. В подобных случаях, как нам кажется, уместно говорить не просто о сети, а о семействе конструкций. Таким образом, семейство конструкций оказывается разновидностью конструкционной сети.

Подводя итог, можно констатировать, что при анализе лексикализованных форм русских перцептивных глаголов с позиций грамматики конструкций были выявлены как вертикальные, так и горизонтальные отношения. Вертикальные отношения связывают лексикализованные формы как единицы словарного описания с их конкретными реализациями. Что касается горизонтальных отношений, они могут носить формальный или семантический характер. Формальные отношения связывают разные реализации одной и той же формы, а также разные лексикализованные формы, производные от одного и того же глагола. Семантические отношения включают отношения между значениями многозначной формы, отношения между омонимичными формами, синонимиию и квазисинонимиию единиц. В совокупности различные виды связей между единицами способствуют укреплению внутренней целостности всей лексико-семантической группы русских глаголов чувственного восприятия.

Список литературы

Васильев Л. М. Семантические классы глаголов чувства, мысли и речи // Очерки по семантике русского глагола. Уфа: Башкир. гос. ун-т им. 40-летия Октября, 1971. С. 38–310.

Васильев Л. М. Семантика русского глагола. М.: Высш. шк., 1981. 184 с.

Кретов А. А. Организация лексико-семантической группы зрительного восприятия в индоевропейских языках // Семантические категории сопоставительного изучения русского языка. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1981. С. 107–114.

ЛСГРГ – Лексико-семантические группы русских глаголов: Учебный слов.-справ. / Под общ. ред. Т. В. Матвеевой. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1988. 154 с.

Скребцова Т. Г. Когнитивная лингвистика: классические теории, новые подходы. М.: ИД ЯСК, 2018. 392 с.

Bogaert J. van. *I think* and other complement-taking mental predicates: A case of and for constructional grammaticalization // *Linguistics*. 2011. Vol. 49, № 2. P. 295–332.

Cappelle B. Particle placement and the case for “allostructions” // *Constructions*. 2006. № ?. P. 1–28.

Croft W., Cruse D. A. *Cognitive Linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 356 p.

Diessel H. Usage-based construction grammar // *Handbook of Cognitive Linguistics* / Eds. E. Dąbrowska, D. Divjak. Berlin: Mouton de Gruyter, 2015. P. 295–321.

Goldberg A. E. *Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure*. Chicago: The University of Chicago Press, 1995. 265 p.

Norde M. On parents and peers in constructional networks. 2014. URL: https://www.academia.edu/9873697/On_parents_and_peers_in_constructional_networks (дата обращения 11.11.2019).

Sweetser E. From Etymology to Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 174 p.

Traugott E. C. Grammaticalization, constructions and the incremental development of language: Suggestions from the development of degree modifiers in English // Variation, Selection, Development – Probing the Evolution Model of Language Change / Eds. R. Eckardt, G. Jäger, T. Veenstra. Berlin: Mouton de Gruyter, 2008a. P. 219–250.

Traugott E. C. “All that he endeavoured to prove was...”: On the emergence of grammatical constructions in dialogic contexts // Language in Flux: Dialogue Coordination, Language Variation, Change and Evolution / Eds. R. Cooper, R. Kempson. London: King’s College Publications, 2008b. P. 143–177.

Traugott E. C., Trousdale G. Constructionalization and constructional changes. Oxford: Oxford University Press, 2013. 304 p.

Velde F. van de. Degeneracy: the maintenance of constructional networks // Extending the Scope of Construction Grammar / Eds. R. Boogaart, T. Coleman, G. Rutten. Berlin: Mouton de Gruyter, 2014. P. 141–179.

Список словарей

БАС-1 – Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. М.: Л.: Изд-во АН СССР, 1948–1965.

БАС-2 – Словарь современного русского литературного языка. 2-е изд., перераб. и доп. / Гл. ред. К. С. Горбачевич. М.: Русский язык, 1991–1994. Т. 1–6.

БАС-3 – Большой академический словарь русского языка / Гл. ред. К. С. Горбачевич (т. 1–9), А. С. Герд (т. 10–). М.; СПб.: Наука, 2004–.

БТС – Большой толковый словарь русского языка / Автор и рук. проекта, гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 2000. 1536 с.

МАС – Словарь русского языка: В 4 т. / Гл. ред. А. П. Евгеньева. М.: Русский язык, 1981–1984.

References

Bogaert J. van. I think and other complement-taking mental predicates: A case of and for constructional grammaticalization. *Linguistics*. 2011, vol. 49, no. 2, pp. 295–332.

Cappelle B. Particle placement and the case for “allostructions”. *Constructions*. 2006, SV1-7, pp. 1–28.

Croft W., Cruse D. A. *Cognitive linguistics*. Cambridge, CUP, 2004, 356 p.

Diessel H. *Usage-based construction grammar. Handbook of cognitive linguistics*. E. Dąbrowska, D. Divjak (Eds.). Berlin, Mouton de Gruyter, 2015, pp. 295–321.

Goldberg A. E. *Constructions: a construction grammar approach to argument structure*. Chicago, The Univ. of Chicago Press, 1995, 265 p.

Kretov A. A. Organizatsiya leksiko-semanticheskoy gruppy zritel’nogo vospriyatiya v indoevropskikh yazykakh [Organization of lexical-semantic group of visual perception in the Indo-European languages]. In: *Semanticheskie kategorii sopostavitel’nogo izucheniya russkogo yazyka* [Semantic categories of the comparative study of Russian language]. Voronezh, VSU Publ., 1981, pp. 107–114.

Leksiko-semanticheskie gruppy russkikh glagolov: Uchebnyy slov.-sprav. [Lexical-semantic groups of Russian verbs: Educational dictionary]. T. V. Matveeva (Ed.). Sverdlovsk, UrSU, 1988, 154 p.

Norde M. *On parents and peers in constructional networks*. 2014. URL: https://www.academia.edu/9873697/On_parents_and_peers_in_constructional_networks (accessed: 11.11.2019).

Skrebtsova T. G. *Kognitivnaya lingvistika: klassicheskie teorii, novye podkhody* [Cognitive linguistics: classical theories, new approaches]. Moscow, ID YaSK, 2018, 392 p.

Sweetser E. *From etymology to pragmatics*. Cambridge, CUP, 1990, 174 p.

Traugott E. C. "All that he endeavoured to prove was...": On the emergence of grammatical constructions in dialogic contexts. In: *Language in flux: dialogue coordination, language variation, change and evolution*. R. Cooper, R. Kempson (Eds.). London, King's College Publications, 2008b, pp. 143–177.

Traugott E. C. Grammaticalization, constructions and the incremental development of language: Suggestions from the development of degree modifiers in English. In: *Variation, selection, development – probing the evolution model of language change*. Eds. R. Eckardt, G. Jäger, T. Veenstra (Eds.). Berlin, Mouton de Gruyter, 2008a, pp. 219–250.

Traugott E. C., Trousdale G. *Constructionalization and constructional changes*. Oxford, OUP, 2013, 304 p.

Vasil'ev L. M. Semanticheskie klassy glagolov chuvstva, mysli i rechi [Semantic classes of verbs of feeling, thought and speech]. In: *Ocherki po semantike russkogo glagola* [Essays on the semantics of the Russian verb]. Ufa, Bashkir State Univ., 1971, pp. 38–310.

Vasil'ev L. M. *Semantika russkogo glagola* [Semantics of a Russian verb]. Moscow, Vyssh. shk., 1981, 184 p.

Velde F. van de. Degeneracy: the maintenance of constructional networks. In: *Extending the scope of construction grammar*. R. Boogaart, T. Coleman, G. Rutten (Eds.). Berlin, Mouton de Gruyter, 2014, pp. 141–179.

List of dictionaries

Bol'shoy akademicheskij slovar' russkogo yazyka [Great academic dictionary of Russian language]. K. S. Gorbachevich (Ed. in Ch. of vols. 1–9), A. S. Gerd (Ed. in ch. of vols. 10–). Moscow, St. Petersburg, Nauka, 2004–.

Bol'shoy tolkovyy slovar' russkogo yazyka [Great explanatory dictionary of the Russian language]. S. A. Kuznetsov (Auth., project manager, ed. in ch.). St. Petersburg, Norint, 2000, 1536 p.

Slovar' russkogo yazyka: V 4 t. [Dictionary of Russian language: In 4 vols]. A. P. Evgen'eva (Ed. in ch.). Moscow, Rus. yaz., 1981–1984.

Slovar' sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka: V 17 t. [Dictionary of modern Russian literary language: In 17 vols]. Moscow, Leningrad, AN SSSR, 1948–1965.

Slovar' sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka [Dictionary of modern Russian literary language]. 2nd ed., K. S. Gorbachevich (Ed. in ch.). Moscow, Rus. yaz., 1991–1994, vols 1–6.

Сведения об авторе

Скребцова Татьяна Георгиевна – кандидат филологических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Россия)

t.skrebtsova@spbu.ru

ORCID 0000-0002-7825-1120

Information of the author

Tatiana G. Skrebtsova – Candidate of Science (Philology), Associate Professor at the St. Petersburg State University (St. Petersburg, Russian Federation)

t.skrebtsova@spbu.ru

ORCID 0000-0002-7825-1120

УДК 811.161.1
DOI 10.17223/18137083/74/21

Глаголы эмоционального состояния в контропативных инфинитивных высказываниях

А. Ван

*Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
Санкт-Петербург, Россия*

Аннотация

Рассматриваются инфинитивные высказывания (ИВ), выражающие значение нежелательности, или контропативные ИВ (*Не спускаться бы к дворнику*), с глаголами, входящими в лексико-семантическую группу (ЛСГ) эмоционального состояния (по классификации Л. Г. Бабенко). Особое внимание уделяется виду глагола, темпоральному вектору ИВ и наличию в значении глагола потенциальной семы негативной оценки обозначаемой ситуации. Анализируется избирательность данной синтаксической модели по отношению к ЛСГ глаголов эмоционального состояния. Выяснено, что предпосылками к использованию глаголов эмоционального состояния в контропативных ИВ является наличие в значении глагола потенциальной семы негативной оценки обозначаемой ситуации, несовершенный вид, а также футуральная временная перспектива высказывания в целом.

Ключевые слова

синтаксис, лексико-семантическая группа, глаголы эмоционального состояния, контропативное инфинитивное предложение

Благодарности

Автор выражает глубокую признательность анонимному рецензенту, чьи ценные замечания позволили внести в текст важные дополнения и уточнения. Вся ответственность за оставшиеся недочеты целиком лежит на авторе.

Для цитирования

Ван А. Глаголы эмоционального состояния в контропативных инфинитивных высказываниях // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 279–292. DOI 10.17223/18137083/74/21

Verbs of emotional state in counter-optative utterances

A. Wang

*Herzen State Pedagogical University of Russia
St. Petersburg, Russian Federation*

Abstract

The paper is focused on infinitive utterances (IU) expressing the meaning of undesirability, or counter-optative IU (*Ne spuskat'sya by k dvorniku*), with verbs of the lexical-semantic group

© А. Ван, 2021

ISSN 1813-7083
Сибирский филологический журнал. 2021. № 1
Siberian Journal of Philology, 2021, no. 1

(LSG) of emotional state (according to the classification by L. G. Babenko). Special attention is paid to the verb aspect, the temporal vector of the IU, and the presence of the potential seme of a negative evaluation of the denoted situation in the meaning of the verb. The selectivity of the syntactic model under consideration towards verbs of the LSG of emotional state is investigated. The following prerequisites for a verb of emotional state to be used in a counter-optative IU were determined: the presence of the potential seme of a negative evaluation of the denoted situation in the meaning of the verb, the imperfect aspect of the latter, and the future temporal perspective of the whole utterance. Also, counter-optative infinitive utterances were found to demonstrate quite a high degree of selectivity in using the words of LSG of emotional state. The results show that when selecting verbs to be the main component of counter-optative infinitive utterances, preference is given to imperfective verbs of emotional state. The future temporal perspective (the prospective and prospective-consequent temporal vector) is a condition that enables selecting the verbs of emotional state in counter-optative infinitive utterances. The factors contributing to the use of verbs of the LSG of emotional state in counter-optative infinitive utterances, or conversely, preventing their use, are to be studied further.

Keywords

syntax, lexical-semantic group, verbs of emotional state, counter-optative infinitive utterance

For citation

Wang A. Verbs of emotional state in counter-optative utterances. *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 279–292. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/21

Введение

Главная цель нашей работы – выявление факторов лексической избирательности контропативных инфинитивных высказываний по отношению к глаголам различных лексико-семантических групп (ЛСГ). Под контропативными понимаются инфинитивные высказывания (ИВ), построенные по модели *не + Inf + бы* (далее КИВ) и выражающие значение нежелательности. В данной статье описывается функционирование в КИВ глаголов эмоционального состояния (*Не радоваться бы молодцу на рать могучую; Только не грустить бы*). Частные задачи заключаются в том, чтобы 1) выявить глаголы данной ЛСГ, употребительные в КИВ, 2) выяснить, при каких условиях инфинитивные предложения с этими глаголами могут выражать значение нежелательности, 3) выявить факторы, влияющие на вхождение глаголов данной ЛСГ в КИВ. Материалы извлечены из Национального корпуса русского языка (НКРЯ); в качестве дополнительного источника материала привлекалась поисковая система Google.

КИВ рассмотрены в [Дымарский, 2015], где они интерпретированы как одно из средств реализации категориальной ситуации нежелательности и ее разнообразных частных значений – опасения, квазиопатива, упрека, предостережения, угрозы и др.

Эмоциональные состояния трактуются как переживания человеком своего отношения к окружающей действительности и к самому себе в определенный момент времени, относительно типичные для данного человека; те состояния, которые регулируются преимущественно эмоциональной сферой и охватывают эмоциональные реакции и эмоциональные отношения; относительно устойчивые переживания [Психология человека..., 2002, с. 651].

Исходя из этого определения, можно полагать, что глаголы, входящие в ЛСГ эмоционального состояния, не только выражают эмоции человека, но и отражают психологическую деятельность в коммуникативном поведении человека.

В словаре [РГП, 2002] ЛСГ глаголов эмоционального состояния (2.2.4. «Эмоциональное состояние») представлена тремя подгруппами: «2.2.4.1. Предложения, отображающие ситуацию пребывания субъекта в эмоциональном состоянии» (*радоваться*); «2.2.4.2. Предложения, отображающие ситуацию становления эмоционального состояния» (*обрадоваться*) и «2.2.4.3. Предложения, отображающие ситуацию приведения в эмоциональное состояние» (*обрадовать*). **Типовая семантика** данной ЛСГ трактуется в этом словаре следующим образом: «Человек испытывает какие-л. чувства, эмоции; находится, пребывает в каком-л. эмоциональном состоянии, настроении» [Там же, с. 297]. Всего к этой группе указанный словарь относит 322 глагола.

1. Характеристика материала исследования

Материалом для анализа послужила выборка, полученная из НКРЯ по запросу *не + Inf + бы* (без спецификации лексического значения глагола; предварительно были отброшены ИВ с контрфактическим значением). Затем из этой выборки была осуществлена подвыборка КИВ с глаголами эмоционального состояния, объем которой составил 28 единиц. Перечислим глаголы, используемые в этих примерах (в скобках после каждого глагола указано количество вхождений): *впасть* (1), *досадить* (1), *желать* (1), *затронуть* (1), *испугать* (1), *любить* (1), *надоест* (1), *напугать* (2), *обеспокоить* (1), *обидеть* (2), *растравить* (1), *взволновать* (1), *отпугнуть* (1), *потревожить* (1), *прогневать* (1), *разгневать* (1), *соблазниться* (1), *удивляться* (1), *хватить* (1), *возноситься* (1), *мучиться* (1), *захлебнуться* (1), *пожалеть* (1), *раскаяться* (1), *наплакаться* (1), *чувствовать* (1).

Из приведенных глаголов 21 относится к совершенному виду (СВ) и 5 – к не совершенному (НСВ). Таким образом, данные НКРЯ свидетельствуют о том, что в КИВ используются 26 глаголов, входящих в ЛСГ эмоционального состояния, причем глаголы СВ встречаются в 4 раза чаще глаголов НСВ.

Если мы сравним это количество с общим числом глаголов в данной ЛСГ, по данным словаря [РГП, 2002], получим соотношение 26 : 322. Избирательность ИВ со значением нежелательности по отношению к глаголам эмоционального состояния очевидна.

Подгруппа 2.2.4.1 указанного словаря насчитывает 72 глагола. Учитывая относительную ограниченность объема НКРЯ, мы попытались найти эти 72 глагола в КИВ по запросу *не + [инфинитив конкретного глагола] + бы* в поисковой системе Google: для каждого глагола запрос формулировался отдельно. Из полученной по каждому глаголу выборки требовалось исключить, во-первых, многочисленные повторы, во-вторых – омонимичные искомым конструкции с контрфактическим значением (*Если бы не друзья, не сидеть бы сейчас Василисе в теплом доме*). Количество полученных результатов показано в таблице ¹.

¹ В таблице последовательно приведены три группы глаголов: 1) обозначающие положительно оцениваемое состояние; 2) обозначающие отрицательно оцениваемое состояние; 3) обозначающие не окрашенное положительными или отрицательными эмоциями состояние беспокойства. Разделение глаголов на эти группы условно и принципиального значения не имеет.

Результаты дополнительного поиска КИВ с глаголами эмоционального состояния
(подгруппа 2.2.4.1) в Google
Additional search results of verbs of emotional state in counter-optative utterances
(subgroup 2.2.4.1) on Google

Глагол	Количество результатов в Google по запросу «не + инфинитив + бы»		Количество примеров с контропативным значением
	первоначальное	после исключения повторов	
<i>благодарушествовать</i>	0	0	0
<i>блаженствовать</i>	0	0	0
<i>веселиться</i>	51	3	1
<i>восторгаться</i>	3	2	0
<i>восхищаться</i>	6	3	1
<i>гордиться</i>	251	27	10
<i>изумляться</i>	0	0	0
<i>испытывать</i>	143	9	7
<i>поражаться</i>	0	0	0
<i>радоваться</i>	602	15	7
<i>сметь</i>	41	9	7
<i>соблазняться</i>	0	0	0
<i>торжествовать</i>	0	0	0
<i>увлекаться</i>	89	13	11
<i>удовлетворяться</i>	0	0	0
<i>беситься</i>	3	3	3
<i>бояться</i>	374	42	37
<i>возмущаться</i>	37	5	5
<i>гневаться</i>	1	1	0
<i>горевать</i>	81	6	5
<i>грустить</i>	153	23	20
<i>досадовать</i>	0	0	0
<i>жалеть</i>	453	33	33
<i>злиться</i>	918	4	3
<i>злорадствовать</i>	7	6	4
<i>каяться</i>	65	5	4
<i>конфузиться</i>	0	0	0
<i>негодовать</i>	0	0	0
<i>неистовствовать</i>	0	0	0
<i>ненавидеть</i>	3	1	0
<i>обижаться</i>	144	20	10
<i>огорчаться</i>	6	3	2
<i>опасаться</i>	78	6	4
<i>оскорбляться</i>	0	0	0
<i>переживать</i>	174	14	11
<i>переносить</i>	116	18	16
<i>печалиться</i>	9	7	7

Окончание таблицы

Глагол	Количество результатов в Google по запросу «не + инфинитив + бы»		Количество примеров с контропативным значением
	первоначальное	после исключения повторов	
<i>пугаться</i>	10	3	3
<i>разочаровываться</i>	7	2	1
<i>раскаиваться</i>	5	3	3
<i>ревновать</i>	5	3	2
<i>робеть</i>	34	2	2
<i>сердиться</i>	4	3	1
<i>скорбеть</i>	2	2	0
<i>скучать</i>	236	18	14
<i>сожалеть</i>	89	20	19
<i>сокрушаться</i>	46	4	2
<i>стесняться</i>	29	12	11
<i>страдать</i>	385	47	36
<i>страшиться</i>	3	2	2
<i>стыдиться</i>	231	8	6
<i>терпеть</i>	221	15	12
<i>томиться</i>	7	5	5
<i>тосковать</i>	6	2	2
<i>трепетать</i>	2	1	1
<i>трусить</i>	2	1	1
<i>тяготиться</i>	0	0	0
<i>убиваться</i>	6	3	3
<i>угрызаться</i>	0	0	0
<i>унывать</i>	95	11	9
<i>хандрить</i>	3	3	2
<i>беспокоиться</i>	100	6	2
<i>волноваться</i>	321	6	6
<i>думать (о ком, чем)</i>	3070	88	83
<i>заботиться</i>	10	3	2
<i>недоумевать</i>	0	0	0
<i>нервничать</i>	58	12	8
<i>сомневаться</i>	187	7	4
<i>тревожиться</i>	4	2	2

Таким образом, дополнительный поиск показал, что из глаголов эмоционального состояния, входящих в подгруппу 2.2.4.1 (ситуация пребывания субъекта в эмоциональном состоянии), не обнаруживают употребления в КИВ следующие 19 единиц: *благодарить, блаженствовать, восторгаться, изумляться, поражаться, соблазняться, торжествовать, удовлетворяться, гневаться, досадовать, конфузиться, негодовать, неистовствовать, ненавидеть, оскорбляться, скорбеть, тяготиться, угрызаться, недоумевать.*

Следует пояснить, что глаголы *любить*, *чувствовать* и *удивляться* уже приведены выше (в НКРЯ имеются примеры их употребления в КИВ), и дополнительно проверять их употребительность не было необходимости.

Приведем иллюстрации употребления глаголов ЛСГ эмоционального состояния, полученные по запросу в Google.

(1) – *Государыня, не веселиться бы тебе. Знать бы тебе, государыня, что в Тушино ждет тебя не супруг твой и вовсе не Дмитрий*².

(2) *Долготерпением? Да бросьте. Ее форма пзм это уже закаменелый фанатизм, то бишь заболевание. Не восхищаться бы здесь*³.

(3) *Светишься изнутри, да не гордиться бы тебе таким светом – это гены крокодилы и чебурашки предков, бог и мичурин*⁴.

(4) *...склонность к умственному труду, не любит трудиться физически. Не испытывать бы ему судьбу, сразу идти учиться*⁵.

(5) *Отпустить бы... Пережить бы, Только не грустить бы, только растопить бы...*⁶

(6) *Не свыкаться бы молодцу су буйными ветрами, не радоваться бы молодцу на рать могучую, не пускать бы молодцу калену стрелу по поднебесью*⁷.

(7) *Оль, пока полным одобрением. Но не увлекаться бы. И полить просто водой не в корень, а наверху, как бы устроить души*⁸.

(8) *Не чувствовать бы отрицательных эмоций. Здесь жизни карусель вокруг кружится*⁹.

(9) *Ну он реально глупый, не беситься бы как...*¹⁰

Результаты, полученные путем дополнительного поиска в Google, позволяют добавить к первоначальному списку из 26 глаголов эмоционального состояния, употребляемых в КИВ, еще 50. В сумме имеем 76 глаголов. При этом следует учесть, что добавленные глаголы, вместе с двумя ранее найденными в НКРЯ, принадлежат только к первой из трех подгрупп данной ЛСГ. Если после поиска в НКРЯ соотношение внутри этой подгруппы оказывалось 2 : 72, то после дополнительного поиска оно изменилось до 52 : 72. Ясно, что, если провести аналогичный дополнительный поиск по глаголам двух других подгрупп, общее соотношение также изменится. Но ясно, с другой стороны, что эти коррективы не изменят общего вывода об избирательности контропативных ИВ по отношению к глаголам ЛСГ эмоционального состояния, а лишь смягчат его, так как стопроцентной употребительности всех глаголов первой подгруппы не показал даже дополнительный поиск.

² <http://litresp.ru/chitat/ru/III/shahmagonov-fedor-fedorovich/tvoj-chas-nastal>

³ <https://forum.inosmi.ru/archive/index.php/t-133781-p-2.html>

⁴ http://samlib.ru/n/nastin_p_j/anathena.shtml

⁵ <https://privl.ru/pozitiv/magicheskij-kvadrat-pifagora-po-date-rozhdeniya-samaya-tochnaya-rasshifrovka-lichnosti.html>

⁶ <https://proza.ru/2012/12/27/1191>

⁷ https://books.google.ru/books?id=R8T2WboR3_AC&pg=PT68&lpg=P

⁸ <https://forum.prihoz.ru/viewtopic.php?f=22&t=6270&start=1215>

⁹ <http://www.poetryclub.com.ua/getpoems.php?id=6204&pg=2>

¹⁰ <http://www.woman.ru/psycho/personality/thread/4261087/3/>

2. Анализ материала

Рассмотрим полученный материал с точки зрения следующих факторов: 1) значение темпорального вектора, 2) вид глагола, 3) персональная отнесенность ИВ, 4) частное контроплативное значение.

2.1. Под темпоральным вектором ИВ понимается «характеристика, заданная расположением на временной оси 1) точки бифуркации, 2) события / действия, названного инфинитивом, и 3) точки, соответствующей моменту речи / моменту повествования» [Дымарский, 2015, с. 38]. Точка бифуркации при этом понимается следующим образом: «...в сознании говорящего всегда актуализирован тот момент реального времени (или времени повествования), когда возникает возможность двух путей развития; из этих двух путей всегда выбирается, как известно, только один, второй же и составляет гипотетическую параллельную, “вторую”, реальность. Будем называть этот момент раздвоения пути точкой бифуркации» [Там же].

ТВ может иметь следующие значения.

1) Проспективно-консеквентное – точка бифуркации следует после момента речи (МР), инфинитив называет действие / событие как возможное следствие из события, осмысляемого как точка бифуркации) [Там же].

(10) – *Не вышла ли она замуж за своего капитана? Вышла, конечно, – годы идут, пора предпринимать разумные шаги. Зайти или не заходить к ним? Не наступать бы еще чету!* (Владимир Дудинцев. Не хлебом единым. 1956)

2) Проспективное – точка бифуркации следует после МР и совпадает с моментом начала действия, обозначенного инфинитивом [Там же].

(11) *Приблизится смертный час, толстосум сробеет, просит, молит наследников: «Устройте душу мою грешную, не быть бы ей во тьме кромешной, не кипеть бы мне в смоле горючей, не мучиться бы в жупеле огненном».* (П. И. Мельников-Печерский. В лесах. Книга первая. 1871–1874)

3) Ретроспективное – точка бифуркации предшествует МР [Там же, с. 39].

(12) *Ропот сердца отовсюду Посылать к тебе я буду... Не любить бы нам так нежно, Безрассудно, безнадежно, Не сходиться, не прощаться, Нам бы с горем не встречаться!* [Роберт Бернс (перевод Р. Я. Райт-Ковалевой). 1959]

4) Нулевое – «точка» бифуркации на самом деле представляет собой определенный период времени и включает МР [Там же].

(13) *Анна. (задыхаясь). Дедушка... милый ты... кабы так! Кабы... покой бы... не чувствовать бы ничего... Лука. Не будешь! Ничего не будет!* [Максим Горький. На дне. 1902)

5) Нулевой + проспективный – нулевое и проспективное значения ТВ совпадают.

(14) *Не бояться бы трудностей, колкостей,
А смело идти вперед!*¹¹

¹¹ http://samlib.ru/s/shemjakina_t/w.shtml

2.2. Понятие вида глагола в комментировании не нуждается.

2.3. Что касается персональной отнесенности, то имеются в виду типы отнесенности обозначаемой ситуации к тому или иному лицу:

1) первое лицо (субъектом гипотетического действия по глаголу является говорящий):

(15) – *Но Таня разглядит, – прошептала Бабушка и спрятала узелок обратно. – Не напугать бы Таню раньше времени. Двадцать третьего ноября Бабушка сказала: – Дорогая Таня, я не встану сегодня, полежу в постели. Чувствую себя очень усталой* [Нина Федорова. Семья [автоперевод]. 1952);

2) второе лицо (субъектом гипотетического действия по глаголу является адресат):

(16) *Гуров переглянулся с Крячко, коротко кивнул. – Ладно! Будь по-вашему, – сказал он, направляясь к двери. – Только потом, глядите, не пожалеть бы! А Крячко не смог удержаться, чтобы не напомнить от порога: – А насчет адвоката подсуесться! Он тебе точно скоро понадобится!* (Н. Леонов, А. Макеев. Гроссмейстер сыска. 2003);

3) третье лицо:

(17) *Мне кажется, в силах простого прихожанина подойти к человеку, радостно рассказывающему о посещении «бабки», и объяснить, что ему не радоваться бы, а на исповедь бегом*¹².

2.4. Выделяются следующие частные значения контропативности:

1) опасение:

(18) *Я буду около парадной. Мы не называем имен, не называем улиц. Мастера конспирации, ученики Джеймса Бонда. Но при этом есть и ирония к себе, и опаска – не впасть бы в многозначительную важность* (Игорь Ефимов. Шаг вправо, шаг влево // «Звезда». 2003);

2) предостережение:

(19) *Я им говорю: вы, братцы, и виду не подавайте, всё это – дело тонкое, и можно испортить, значит, не испугать бы тебя-то. Видим, что твёрдо и без страха ходите вы по земле* (Максим Горький. Лето. 1909);

3) квазиопатив:

(20) *«Только не желать бы, да еще не помнить, да еще не думать»* (М. А. Волошин. И. Ф. Анненский-лирик. 1910);

4) сожаление: см. пример (12);

5) совет: В НКРЯ пример отсутствует.

(21) *Да и прекрасно. Хороший отделочник, вообще хороший работника на вес золота. А общаются свысока люди с комплексами, сами простого происхождения. Вот не стесняться бы, а гордиться. Крестьянскими корнями гордиться можно и нужно, имхо*¹³.

¹² <https://blagovest.cofe.ru/forum/html/000020-2.html>

¹³ <https://eva.ru/beauty/messages-3320702.htm>

2.5. Представленные ниже примеры охарактеризованы по следующим параметрам: 1) темпоральный вектор (далее ТВ); 2) вид глагола (СВ или НСВ); 3) персональная отнесенность; 4) разновидность контрпозитивного значения. В результате анализа оказалось, что в полученном материале представлены следующие комбинации значений.

2.5.1. Ретроспективный ТВ, НСВ, 1, сожаление:

См. пример (12).

Всего таких примеров в нашей выборке 1 + 3 (НКРЯ + Google).

2.5.2. Ретроспективный ТВ, НСВ, 2, упрек:

(22) *Не смей бы тебе трогать мою семью, моих сестер! Ох, чувствую я, что нам с тобою на свете вдвоем места нет!*¹⁴

Всего таких примеров в нашей выборке 0 + 1.

2.5.3. Ретроспективный ТВ, НСВ, 3, сожаление:

(23) *Еще утром тебе просторно, а уже вечером тебя подпирают идущие во след. С этой точки зрения, Виктору Ивановичу не удивляться бы тому, что с ним произошло.* (Галина Щербакова. Реалисты и жлобы. 1997)

Всего таких примеров в нашей выборке 1 + 4.

2.5.4. Нулевой ТВ, НСВ, 1, квазиоптатив:

См. примеры (13) и (20).

Всего таких примеров в нашей выборке 2 + 28.

2.5.5. Нулевой ТВ, НСВ, 2, совет:

(24) *Не возмущаться бы вам «неученым учителем», а радоваться тому, что новый директор школы М. М. Сенчик сумел убедить Кожемякина забыть прошлые обиды и вернуться в школу*¹⁵.

Всего таких примеров в нашей выборке 0 + 7.

2.5.6. Нулевой ТВ, НСВ, 2, предостережение:

(25) *Не гордиться бы, богатырь, тебе,
Перед смертицей не похваляться бы:
В мире силы грознее грозной смерти нет.
Кайся! К гибели уготовь себя!*¹⁶

Всего таких примеров в нашей выборке 0 + 5.

2.5.7. Нулевой ТВ, НСВ, 3, квазиоптатив:

(26) *Боярин над посохом мотнул высокой шапкой, крякнул, другой не унимался: – И не возноситься бы князю Одоевскому родом! И нынче род в меньшей чести пошел против того, как прежде...* (А. П. Чапыгин. Разин Степан. 1927)

Всего таких примеров в нашей выборке 1 + 7.

2.5.8. Нулевой + проспективный ТВ, НСВ, 1, квазиоптатив:

(27) *Пусть прекратятся крики,
Бесконечно-бытовые ссоры,*

¹⁴ <https://www.proza.ru/2017/02/04/481>

¹⁵ http://sun.tsu.ru/mminfo/2012/000024359/1979/1979_295.pdf

¹⁶ <https://www.litmir.me/br/?b=586860&p=25>

Не испытывать бы боли
За потерянное время, что ли ¹⁷.

Всего таких примеров в нашей выборке 0 + 239.

2.5.9. Нулевой + проспективный ТВ, НСВ, 2, совет:

(28) **Не думать бы тебе об этом,**
Не наносить печали грим,
Что так ты и не стал поэтом,
Хотя и назывался им ¹⁸.

Всего таких примеров в нашей выборке 0 + 52.

2.5.10. Нулевой + проспективный ТВ, НСВ, 3, квазиоптатив:

(29) Проф. Климов давно раскрыл все секреты таких вот перевертышей.
Этим образом **не гордиться бы**, а поспособствовать тому, чтобы он побыстрее
забылся в народе. А приветствуют его такие же перевертыши – им льстит
мысль, что они не одиноки ¹⁹.

Всего таких примеров в нашей выборке 0 + 58.

2.5.11. Проспективный ТВ, НСВ, 1, квазиоптатив:

См. пример (11).

Всего таких примеров в нашей выборке 1 + 34.

2.5.12. Проспективный ТВ, НСВ, 2, совет:

(30) Подумай, дорогая моя, очень хорошо подумай, вам повезло, вы всей семьей
вытянули счастливый билет, **не жалеть бы тебе потом** ²⁰.

Всего таких примеров в нашей выборке 0 + 10.

2.5.13. Проспективный ТВ, НСВ, 3, квазиоптатив:

(31) ...конечно, моя жизнь могла бы сложиться по-другому. Но кто знает
свою судьбу? Кто может её изменить? – он внимательно посмотрел на меня
сквозь очки. – Даже если кто-то может, откуда знать, что он изменит её
к лучшему? **Не сожалеть бы потом** ²¹.

Всего таких примеров в нашей выборке 0 + 4.

2.5.14. Проспективно-консеквентный ТВ, СВ, 1, опасение:

(32) *Забаловали мы с мамой девчонок! Теперь не наплакаться бы с ними...*
(Г. Е. Николаева. Битва в пути. 1959)

Всего таких примеров в нашей выборке 16 + 0.

2.5.15. Проспективно-консеквентный ТВ, СВ, 1, предостережение:

См. пример (19).

Всего таких примеров в нашей выборке 1 + 0.

2.5.16. Проспективно-консеквентный ТВ, СВ, 2, угроза:

См. пример (16).

¹⁷ <https://poembook.ru/poem/194129>

¹⁸ https://zolotoeruno.org/avtory/valentin_reznic/stihotvornyj_tsikl_chast

¹⁹ <http://www.km.ru/forum/stil/2013/01/31/persony-i-sobytiya-v-mire-muzyki/702952-andrei-danilko-serdyuchka-prosto-personazh>

²⁰ <https://books.google.ru/books?id=fwJQDwAAQBAJ&pg=PT369&lpg=PT369&d>

²¹ Юродивый и смерть. Юрий Солоневич [Google]

Всего таких примеров в нашей выборке 1 + 0.

2.5.17. Проспективно-консеквентный ТВ, СВ, 2, предостережение:

(33) – *Будьте осторожнее! А то мы недаром вас подозревали. – Мастера вы все, господа, учить; не раскаяться бы после! Милороденко добровольно сдался. Погодя еще и как бы подумавши, он крикнул...* (Г. П. Данилевский. Беглые в Новороссии. 1862)

Всего таких примеров в нашей выборке 1 + 0.

2.5.18. Проспективно-консеквентный ТВ, СВ, 3, опасение:

(34) *Единственное, что сдерживает (президента. – В. А.), – клановый интерес. Не затронуть бы ненароком кого-нибудь из своих!* (Павел Воцанов. Портвешок – это все, что нас связывает с Португалией (2003) // «Новая газета». 2003.01.30)

Всего таких примеров в нашей выборке 3 + 0.

Обращает на себя внимание тот факт, что одни разновидности ИВ, перечисленные в данном пункте, довольно широко представлены в выборке из НКРЯ (ср. 2.5.14) и при этом отсутствуют в выборке, полученной при помощи Google, другие же, наоборот, широко представлены во второй выборке и совсем не представлены в первой (ср. 2.5.8, 2.5.9). Возможно, причины такого неравномерного распределения связаны со стилистическими различиями и с тем, что НКРЯ является сбалансированным корпусом, в отличие от Интернета, который и корпусом не является. Однако проверка этого предположения должна составить тему отдельного исследования и в данном случае в наши задачи не входила.

3. Факторы выбора глагола в контропативных ИВ

3.1. Вид глагола эмоционального состояния

Из 322 глаголов ЛСГ эмоционального состояния 45 относятся к совершенному виду и 277 – к несовершенному, т. е. НСВ в данной группе абсолютно преобладает. Сходное соотношение обнаруживается в нашем материале (с учетом дополнительной выборки): из 76 глаголов, употребляемых в контропативных ИВ, 55 относятся к НСВ и 21 – к СВ. По-видимому, этот результат следует трактовать в том смысле, что контропативные ИВ предпочитают глаголы НСВ, которых в данной ЛСГ в принципе много.

3.2. Темпоральный вектор

Проспективное и проспективно-консеквентное значения ТВ являются разновидностью футуральной временной перспективы. В нашей рабочей выборке (НКРЯ + Google) 414 (23 + 391) из 480 (28 + 452) вхождений (86 %) ИВ имеют футуральную временную характеристику.

Можно полагать, что футуральная временная перспектива служит важным фактором, влияющим на вхождение глаголов ЛСГ эмоционального состояния в ИВ с контропативным значением.

3.3. Потенциальная сема негативной оценки ситуации в значении глагола

Несмотря на кажущуюся семантическую однородность приведенных примеров, объединенных общим значением контропативности, их можно разделить на две группы.

К первой группе следует отнести ИВ с глаголами, обозначающими ситуацию, в оценку которой обычно входит негативный элемент. Это не значит, что семантическая структура глагола включает сему негативной оценки; это значит лишь то, что обозначаемая ситуация обычно оценивается отрицательно, а соответст-

вующая сема является потенциальной. Примером может служить глагол *досаждать*. Ясно, что ситуация, описываемая этим глаголом, обычно оценивается как содержащая (по меньшей мере) отрицательный компонент, поскольку досада относится к неприятным эмоциональным состояниям.

Другим, и более интересным, примером может служить глагол *возноситься*. В его семантической структуре нет семы негативной оценки, и он может употребляться при обозначении ситуаций, оцениваемых в высшей степени положительно (*возноситься духом*); однако в тех случаях, когда глагол употребляется для обозначения ситуации осознания и подчеркивания человеком собственного превосходства (*возноситься над кем*), элемент отрицательной оценки возникает неизбежно, ср. характерный контекст:

(35) – *Он нас не видит, не замечает, – царственно протянула женщина. – Мы не попали в поле зрения. Вознесся, сразу видно, вознесся. <...> Супруг ее <...> веско согласился с женой: – Вознесся, вознесся, рукой не достать. – Вот и вы за Валентиной Михайловной, – Лецкий воздел протестующе руки, – с какого рожна мне возноситься? Ни в чем не замечен, ни в чем не повинен, не рекордсмен и не шоумен, не автор песен, подхваченных массами, и даже – не народный избранник (Леонид Зорин. Глас народа (2007–2008) // «Знамя». 2008).*

Можно сказать, что в значениях глаголов этой группы (причем иногда не во всех, а, как в случае с *возноситься*, только в некоторых лексико-семантических вариантах) в качестве потенциальной семы имплицирован элемент отрицательной оценки ситуации, который реализуется в высказывании при наличии благоприятствующих условий. ИВ с контропативным значением как раз и создает такой благоприятствующий контекст, поскольку инфинитив в нем и называет или собственно нежелательную ситуацию, или действие, которое с большой долей вероятности может к ней привести [Дымарский, Ван, 2017, с. 55]. В подобных случаях негативная оценка ситуации выражена как бы дважды: и самим глаголом, актуальное значение которого имплицитно эту оценку, и контропативной конструкцией.

Ко второй группе следует отнести ИВ с глаголами, обозначающими ситуацию, оценка которой обычно не содержит негативного элемента, ср. *любить*. При использовании глаголов этой группы негативная оценка ситуации возникает только благодаря выбору контропативной конструкции.

Таким образом, глаголы рассматриваемой ЛСГ могут быть разделены на две группы.

1) Глаголы, в лексическом значении которых имеется потенциальная сема негативной оценки обозначаемой ситуации: *возноситься, досадить, взволновать, захлебнуться, испугать, мучиться, надоесть, наплакаться, напугать, обеспокоить, обидеть, расстроить, отпугнуть, потревожить, прогневать, разгневать, хватить [горя], соблазниться, беситься, злорадствовать, обижаться, ревновать, унывать, нервничать, сомневаться, бояться, возмущаться, горевать, грустить, злиться, каяться, огорчаться, опасаться, переживать, переносить, печалиться, пугаться, разочаровываться, сердиться, сожалеть, сокрушаться, страдать, страшиться, стыдиться, стесняться, терпеть, томиться, тосковать, трепетать, трусить, убиваться, хандрить, беспокоиться, волноваться, тревожиться, робеть, жалеть.*

2) Глаголы, в лексическом значении которых нет потенциальной семы негативной оценки обозначаемой ситуации. В этом случае последняя возник-

кает как результат регулярной импликации: *впасть, желать, затронуть, любить, удивляться, пожалеть, чувствовать, раскаяться – раскаиваться, веселиться, восхищаться, гордиться, испытывать, радоваться, сметь, увлекаться, скучать, думать (о ком, чем), заботиться.*

Приведем пример контекста, в котором сема негативной оценки ситуации возникает как результат импликации:

(36) *Даже умирать – и то лень. Наверное, перед самым краем станет хуже: больнее, страшнее. Не **чувствовать** бы этого. Закрывать бы глаза и все позабыть. Уснуть...*²²

В следующих приведенных выше примерах потенциальная сема негативной оценки ситуации содержится в значении самого глагола: (5), (9–11), (14–16), (19), (21), (24), (26), (30–34). Как результат импликации сема негативной оценки ситуации возникает в остальных примерах: (1–4), (6–8), (12), (13), (17), (18), (20), (22), (23), (25), (27–29).

В нашей рабочей выборке (НКРЯ + Google) соотношение следующее: в 332 (23 + 309) случаях потенциальная сема негативной оценки ситуации имеется в лексическом значении самого глагола, в 148 (5 + 143) случаях сема негативной оценки ситуации возникает как результат импликации. Тем не менее речь здесь должна идти лишь о тенденции, но не о закономерности: как показывает приведенный в п. 1 список, среди 19 глаголов эмоционального состояния, не обнаруживших употребления в КИВ, имеется не менее 11 лексем, в значении которых явно присутствует сема негативной оценки (*зневаться, досадовать, негодовать* и др.), что, однако, не приводит к их регулярному функционированию в КИВ.

Выводы

1. Инфинитивные высказывания с контропативным значением демонстрируют довольно высокую избирательность по отношению к глаголам ЛСГ эмоционального состояния.

2. При выборе глагола на роль главного члена ИВ со значением нежелательности явное предпочтение оказывается глаголам несовершенного вида.

3. Футуральная временная перспектива (проспективный и проспективно-консеквентный темпоральный вектор) является условием, способствующим выбору глаголов эмоционального состояния в контропативных ИВ.

4. Наличие потенциальной семы негативной оценки обозначаемой ситуации в семантической структуре глагола эмоционального состояния является существенной предпосылкой для его использования в ИВ данного типа.

По-видимому, факторы, способствующие употреблению глаголов рассматриваемой ЛСГ в КИВ или, наоборот, блокирующие такое употребление, подлежат дальнейшему изучению.

Список литературы

Дымарский М. Я. Инфинитивные высказывания со значением нежелательности: вид, время, лицо, типовые значения // Вопросы языкознания. 2015. № 5. С. 26–48.

²² Без помощи вашей. Роман Суржиков [Google].

Дымарский М. Я., Ван Айцю. Глаголы речевой деятельности в инфинитивных высказываниях со значением нежелательности // Изв. РГПУ им. А. И. Герцена. 2017. № 184. С. 50–57.

Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А. А. Реана. СПб.: Прайм-Еврознак, 2002. 656 с.

РГП – Русские глагольные предложения: Экспериментальный синтаксический словарь / Под ред. Л. Г. Бабенко. М.: Флинта; Наука, 2002. 462 с.

References

Dymarskiy M. Ya. Infinitivnye vyskazyvaniia so znacheniem nezhelatel'nosti: vid, vre mia, litsa, tipovye znacheniiia ["Counter-optative" infinitive constructions in Russian: aspect, tense, person, and variation of the categorical meaning]. *Voprosy Jazykoznanija (Topics in the study of language)*. 2015, no. 5, pp. 26–48.

Dymarskiy M. Ya., Van Aytsyu. Glagoly rechevoy deyatel'nosti v infinitivnykh vyskazyvaniyakh so znacheniyem nezhelatel'nosti [Verbs of speech activity in the infinitive statements with the undesirability meaning]. *Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Sciences*. 2017, no. 184, pp. 50–57.

Psikhologiya cheloveka ot rozhdeniya do smerti [The psychology of human from birth to death]. A. A. Rean (Ed.). St. Petersburg, Praym-Yevroznak, 2002, 656 p.

Russkie glagol'nye predlozheniia: Eksperimental'nyi sintaksicheskii slovar' [Russian Verb Clauses: An Experimental Syntactic Dictionary]. L. G. Babenko (Ed.). Moscow, Flinta, Nauka, 2002, 462 p.

Сведения об авторе

Ван Айцю – аспирант кафедры русского языка Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия)

waq2016@list.ru

ORCID 0000-0003-1185-0126

Information about the author

Aiqiu Wang – Post-graduate Student of the Department of Russian Language, Herzen State Pedagogical University of Russia (St. Petersburg, Russian Federation)

waq2016@list.ru

ORCID 0000-0003-1185-0126

**Изосемические высказывания
с семантикой качественной характеристики
и их неизосемические экспрессивные синонимы**

Н. Б. Кошкарева^{1,2}, И. И. Бакайтис²

¹ *Институт филологии СО РАН
Новосибирск, Россия*

² *Новосибирский государственный университет
Новосибирск, Россия*

Аннотация

Пропозиция качественной характеристики изосемически выражается высказываниями типа **кто / что (есть) каков**. Экспрессивными синонимами таких предложений являются неизосемические высказывания, в основе которых лежат бытийные по своей структуре конструкции типа **в ком / в чем есть что-то какое**. Они являются средством выражения интенсивности проявления признака, персуазивности (неуверенности автора высказывания в том, что он составил объективное представление о свойствах и качествах описываемого предмета), сравнения, а также актуализации признака. Конструкция **в ком / в чем есть что-то какое** является синтаксическим полисемантом: между его вариантами устанавливается система метафорических переносов на основе специфического заполнения позиций и определенных парадигматических ограничений.

Ключевые слова

элементарное простое предложение, типовая синтаксическая структура, асимметрия синтаксического знака, характеристика, изосемический и неизосемический способ выражения пропозиции характеристики

Для цитирования

Кошкарева Н. Б., Бакайтис И. И. Изосемические высказывания с семантикой качественной характеристики и их неизосемические экспрессивные синонимы // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 293–307. DOI 10.17223/18137083/74/22

**Prototypical characterization statements
and their expressive synonyms**

N. B. Koshkareva^{1,2}, I. I. Bakaytis²

¹ *Institute of Philology SB RAS
Novosibirsk, Russian Federation*

² *Novosibirsk State University
Novosibirsk, Russian Federation*

Abstract

The proposition of qualitative characterization is prototypically expressed by statements like “kto / chto (est’) kakov” (somebody / something is of some kind). Expressive synonyms of such sentences are non-prototypical statements based on existential structures of the type

“v kom / chem (est') chto-to kakoe” (there is something of some kind in somebody / something). They are a means of expressing the intensity of the manifestation of the trait, persuasiveness (the author’s uncertainty that he has made an objective idea of the properties and qualities of the described object), comparison, and the actualization of the trait. The transformation method was used to clarify the differences in the semantics of prototypical and non-prototypical sentences of characterization. The impossibility of direct transformation is revealed when the predicate is expressed by an adjective, the semantics of which does not allow the combination with components denoting a weakened or, conversely, high manifestation of the trait. In the construction “v kom / chem (est') chto-to kakoe,” any variation of the semantics of the circumstance by the category of intensity is possible. The existential structure becomes an expressive means of characterization. At the same time, the narrator is not sure about the nature and causes of the intensity of the manifestation of the trait and does not give a categorical assessment to the subject. A high degree of manifestation of the trait, represented in the statements like “kto / chto (est') kakov,” is much more frequent. When the adjectival position is filled with a relative or possessive adjective, a non-categorical comparison is expressed.

Keywords

elementary simple sentence, typical syntactic structure, asymmetry of the syntactic sign, characterization, prototypical and non-prototypical way of expressing a proposition of characterization

For citation

Koshkareva N. B., Bakaytis I. I. Prototypical characterization statements and their expressive synonyms. *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 293–307. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/22

Введение

Статья посвящена двум типовым синтаксическим структурам (ТСС)¹, посредством которых реализуется пропозиция качественной характеристики: предмету, явлению или событию приписывается некий признак:

1) ТСС $N_1^{Descr} [(cop) Adj_{1/5}]^{QLT}$ («кто / что (есть) каков») представляет собой изосемический способ выражения пропозиции качественной характеристики, например: *Трава рядом с домом сочная и зеленая; Характер у Капитана был веселый* (Ю. Коваль. Капитан Клюквин);

2) ТСС $v N_6^{Descr} [V_{cop} chto-to Adj_1]^{QLT}$ («в ком / в чем есть что-то какое») по структуре совпадает с одним из вариантов бытийной модели элементарного простого предложения $LEX^{Loc} V_f^{Ex} N_1^{Ex}$ («где есть что» – *В саду росли яблони*), но передает отношения качественной характеристики в специфическом преломлении, ср.: *В характере Капитана было что-то веселое*.

Цель данной статьи – охарактеризовать различия в семантике синонимичных высказываний, сопоставить способы выражения дополнительных смыслов – персуазивности, авторизации и интенсивности признака.

Основной метод исследования – моделирование элементарного простого предложения (ЭПП) как единицы языка, который позволяет установить системные отношения на синтаксическом уровне. Под ЭПП понимается «минимальная знаковая, т. е. двусторонняя, единица уровня предложений, имеющая план выражения и план содержания, которые взаимно обуславливают друг друга» [Черемин

¹ ТСС «представляют собой устойчивые синтаксические построения с прототипическими значениями, своего рода “синтаксические примитивы”» [Кошкарева, 2007].

сина, 2003, с. 8]. ЭПП репрезентирует одну пропозицию. Обязательными компонентами являются предикат и необходимые для номинативного минимума распространители, состав которых зависит от типа пропозиции. В структуру пропозиции качественной характеристики входят два обязательных компонента – субъект и предикат.

При описании семантических ролей и синтаксической семантики предложения мы используем терминологию Т. В. Шмелевой [1988] и М. В. Всеволодовой [2000].

Материалом для анализа послужили примеры из Национального корпуса русского языка (НКРЯ; www.ruscorpora.ru). Методом сплошной выборки отобрано 600 предложений, соответствующих структурам с разным порядком слов: **в ком / в чем есть что-то какое** и **что-то какое есть в ком / в чем**. Поиск проводился по следующим параметрам:

- 1) **есть** на расстоянии 1 от **что-то** (300 примеров);
- 2) **что-то** на расстоянии 1–3 от **есть** (300 примеров).

Пропозиция качественной характеристики реализуется в 233 предложениях нашей картотеки (39 %). Эта цифра показывает, что ТСС, предназначенная для выражения бытийно-пространственных отношений, нередко используется для выражения отношений качественной характеристики. Это позволяет рассматривать ТСС в $N_6^{Descr} [V_{cop} \text{ что-то Adj}_1]^{QLT}$ («в ком / в чем есть что-то какое») как один из регулярных способов выражения качественной характеристики. Между планом выражения и планом содержания таких предложений имеется несоответствие: бытийное по структуре предложение передает значение качественной характеристики. Использование неизосемического способа выражения определенного типа отношений приводит к сдвигам в семантике, которые описываются в данной статье.

Чтобы выявить специфику семантики предложений типа **в ком / в чем есть что-то какое** и **что-то какое есть в ком / в чем** и определить причины выражения значения качественной характеристики неизосемическим способом, проведена трансформация неизосемических предложений в изосемические типа **кто / что (есть) каков**. В 58 % случаев (135 из 233) такая трансформация осуществляется легко, например: [*Лид, как тебе кажется – в этой картине есть что-то странное?* (Анна Ткачева. Приворот (1996)) → Эта картина странная?; *Есть что-то странное в этих серых глазах* → Эти серые глаза немного странные / какие-то странные.

Подобный способ характеристики используется в основном в художественных произведениях: в подкорпусе художественной литературы насчитывается 0,0023 % примеров с параметрами **есть + что-то + прил. среднего рода Им. п.** (569 вхождений из 23 803 881 предложений), в то время как в устный корпус входит 0,0016 % предложений с аналогичными параметрами (28 вхождений из 1 750 662 предложений; дата обращения – апрель 2019 г.).

Изосемическая и неизосемическая репрезентация пропозиции качественной характеристики

Изосемической (стандартной) репрезентацией пропозиции качественной характеристики является ТСС $N_1^{Descr} [(cop) Adj_{1/5}]^{QLT}$, где N_1^{Descr} – позиция субъекта-дескриптива (то, что описывается), выраженная существительным или его эквивалентом в именительном падеже; (cop) – факультативный глагол-связка *быть, являться, казаться* и др.; $Adj_{1/5}^{Qual}$ – позиция предиката-квалитатива, выраженно-

го полным прилагательным в именительном или творительном падежах или в краткой форме, посредством которого субъекту приписывается тот или иной признак, например: *Погода отличная; Ссора была бурной; Концерт великолепен.*

ТСС является планом выражения ЭПП. План содержания (пропозиция) передает типовую обобщенную семантику предложения. Так как ЭПП представляет собой единство плана выражения и плана содержания, то каждому типу ТСС, по которому построено ЭПП, соответствует определенный тип пропозиции. Однако, являясь знаком языка, который носит асимметричный характер (см. [Карцевский, 2001; Скаличка, 1967] и др.), пропозиция может выражаться как изосемически, так и неизосемически.

Под неизосемической ТСС понимается структура, в которой категориальные значения ее компонентов не совпадают с категориальными значениями соответствующих им денотатов. Ср.: *Она особенная* и *В ней есть что-то особенное*. В первом случае пропозиция качественной характеристики выражена изосемически при помощи ТСС качественной характеристики $N_1^{Descr} [(cop) Adj_{1/5}]^{QLT}$. Во втором случае для выражения пропозиции качественной характеристики используется бытийная ТСС **в ком / в чем есть что-то какое**, которая является одним из способов репрезентации бытийного ЭПП, описывающего существование в мире или отдельного его фрагменте объектов, наделенных определенными признаками, т. е. принадлежащих тому или другому классу [Арутюнова, Ширяев, 1983, с. 8].

Приведем примеры высказываний, репрезентирующих бытийную пропозицию в разных сферах:

- физическая – *В номере есть полотенца и принадлежности для душа* (коллективный. Отзывы о Гранд Отеле Ока (2015.04.22));
- социальная – *В регионе есть районы-аутсайдеры* (Елена Кравцун. Подмосковье уходит в парки // «Огонек», 2014); *Кажется, у нее самой в жизни было что-то похожее...* (Игорь Ефимов. Суд да дело // «Звезда», 2001).

Эти высказывания построены в соответствии с изосемической бытийно-пространственной ТСС $LEX^{Loc} V_f^{Ex} N_1^{Ex}$, где

LEX^{Loc} – локатив (лексема локативной семантики), название географического пространства, как правило выражаемое наречием или существительным либо его аналогом в косвенном падеже с предлогом; эта позиция замещается разными способами, например формами предложного падежа: *в ее жизни, у нее в жизни, в этом месте, в лесу, в душе* и т. п.;

V_f^{Ex} – экзистенциальный предикат (глаголы *быть, существовать, находиться, висеть, стоять* и т. п.);

N_1^{Ex} – субъект существования (экзисциенс), чаще всего существительное или его эквивалент в именительном падеже.

Такие предложения передают «предикативное отношение между именами формы и содержания, содержащего и содержимого» [Золотова, 2006, с. 298].

Конструкция **в ком / в чем есть что-то какое** представляет собой одну из реализаций бытийной ТСС, хотя передает отношения характеристики. Рассмотрим особенности заполнения синтаксических позиций на примере предложения *Но есть в нем что-то неизъяснимо мужественное* (Евгения Пищикова. Город после мифа // «Русская жизнь», 2012) ≈ Он мужественный.

В позиции подлежащего вместо имени существительного, обозначающего бытующий предмет, находится семантически неделимое сочетание «неопределенное местоимение *что-то* + прилагательное» (*что-то какое: хорошее, смешное, особенное* и т. п.). Формальное подлежащее, по сути, является семантическим предикатом.

катом, обозначающим признак предмета в самом общем виде. Ср. изосемическое заполнение позиций: *Есть в этом доме пианино*, где в позиции подлежащего – предметное существительное, обозначающее субъект-экзистенс.

Позиция локализатора также замещается неизосемически: вместо обозначения пространства здесь употребляются слова, называющие лицо или предмет, которому приписывается признак, выраженный формальным подлежащим. Из всего широкого набора возможных способов выражения данной позиции (наречия, разные предложно-падежные формы) для выражения качественной характеристики используется только форма предложного падежа с предлогом *в* (*в ком / в чем*).

Расхождения возникают и в позиции сказуемого: в бытийно-пространственных предложениях возможен широкий выбор глагольных предикатов, в том числе и глаголов непространственной семантики (*За рекой поля; На обочине стояла машина; Вдали зеленели поля; На дереве чирикал воробей*); в неизосемических предложениях качественной характеристики, построенных по бытийно-пространственной ТСС, используется только глагол *быть*, выполняющий роль связи.

Таким образом, в неизосемических предложениях качественной характеристики, построенных по бытийной ТСС, наблюдается асимметрия между формальными и семантическими ролями: семантический субъект назван компонентом **в ком / в чем** (по форме – локализатором), предикат характеристики – семантически неделимым сочетанием **что-то какое**, занимающим позицию подлежащего, прототипической ролью которого является роль субъекта.

Предложения типа *в ком / в чем есть что-то какое* как средство экспрессивное выражения интенсивности проявления признака

Чтобы определить различия в семантике изосемических и неизосемических предложений качественной характеристики, проведем трансформацию:

$$\text{в } N_6^{\text{Descr}} [V_{\text{cop}} \text{ что-то Adj}_1]^{\text{QLT}} \rightarrow N_1^{\text{Descr}} [(cop) Adj_{1/5}]^{\text{QLT}}.$$

Из Национального корпуса русского языка отобрано 135 предложений с ТСС $\text{в } N_6^{\text{Descr}} [V_{\text{cop}} \text{ что-то Adj}_1]^{\text{QLT}}$. В подавляющем большинстве случаев (93 %) их трансформация в конструкции, соответствующие ТСС $N_1^{\text{Descr}} [(cop) Adj_{1/5}]^{\text{QLT}}$, вызывает необходимость вставить в предложение изосемической структуры одно из обстоятельств меры и степени, указывающих на слабую степень проявления признака: *до некоторой степени, в определенной степени, в какой-то мере* (допустимо в 83 % трансформируемых примеров), *немного* (54 %), *слегка* (49 %), *несколько* (48 %):

В образе Куклачева... есть что-то радостное... (И. Э. Кио. Иллюзии без иллюзий (1995–1999)) → Образ Куклачева **в какой-то мере** радостный; *Что-то есть в этом человеке скромное и сурово-храброе* (С. А. Дангулов. Гамзатов (1981)) → Этот человек **до определенной степени** скромный и храбрый; *...Что-то в нем есть такое скрытое и вредное, объективно очевидное, а лично неизвестное* (А. П. Платонов. Ювенильное море (Море юности) (1934)) → Он **несколько** скрытый и вредный.

Стилистически не все приведенные трансформы безупречны, что свидетельствует о предпочтительности выражения слабого проявления признака не лексически – при помощи слов-интенсификаторов, а синтаксически – специально предназначенной для этого конструкцией.

Та же самая конструкция может передавать и высокую степень проявления признака, в котором рассказчик, тем не менее, не вполне уверен; для этого используются предикаты соответствующей семантики, например:

Но, в общем-то, преобладало в нём что-то округлённое, спокойное (Ю. О. Домбровский. Хранитель древностей / Приложение (1964)) → Он был, как кажется, очень округлённый, спокойный.

При таком лексическом способе выражения интенсивности актуализируется значение персуазивности, формируется расплывчатый образ, которому говорящий не дает категоричной оценки.

Чтобы определить, насколько часто степень проявления признака передается при помощи конструкции $N_1^{Descr} [(cop) Adj_{1/5}]^{QLT}$ по сравнению с ТСС в $N_6^{Descr} [V_{cop} \text{ что-то } Adj_1]^{QLT}$, мы задали поиск в НКРЯ по следующим параметрам: существительное / местоименное существительное / имя собственное на расстоянии 1–3 от слова / выражения, обозначающего степень проявления признака (*очень, не очень, в некоторой степени* и т. п.), на расстоянии 1 от прилагательного в именительном или творительном падеже (последнее слово перед точкой).

Для конструкции $N_1^{Descr} [(cop) Adj_{1/5}]^{QLT}$ случаи выражения высокой степени проявления признака являются высокочастотными. Из 1 185 отобранных нами примеров 1 108 включают разнообразные показатели высокой степени проявления признака: 581 вхождение со словом *очень*, 306 – со словом *самый*, 122 – со словом *весьма*, 43 – со словом *чрезвычайно*, 26 – со словом *сильно*, 23 – со словом *наиболее* и 7 – со словом *чересчур*. При этом в корпусе не встретилось ни одного вхождения со словами и выражениями *не очень, наименее, в некоторой степени, не сильно*; всего 32 вхождения – со словом *несколько*, 33 – со словом *немного*, 12 – со словом *слегка*.

Интенсивность наряду с образностью и эмоциональной оценкой является одной из составляющих экспрессивности в лексической семантике. Аналогичным образом экспрессивность может трактоваться и в семантическом синтаксисе. Интенсивность – «это потенциальная способность актуализировать представления субъекта о высокой степени меры реального явления или признака, присущего предмету как его свойство или приписываемого ему» [Лукьянова, 1986, с. 56]. Абстрактная сема ‘преувеличение / преуменьшение меры, нормы признака’ часто вербализуется в словарных толкованиях с помощью метаслов *очень, сильно, очень сильно, излишне, крайне* и др. [Лукьянова, 2015, с. 190].

Н. А. Лукьянова отмечает, что экспрессивность как семантическая функция языка на каждом уровне языковой системы имеет определенную систему средств своего воплощения: она позволяет «... с помощью образных или необразных вербальных форм выразить определенное внеязыковое содержание, связанное с качественно-количественной характеристикой реальных “предметов” и их эмоциональной оценкой субъектом» [Лукьянова, 1986, с. 43].

Таким образом, для ТСС $N_1^{Descr} [(cop) Adj_{1/5}]^{QLT}$ в большей степени характерно указание на высокую степень проявления признака, при этом данное значение относится к припропозитивным – оно факультативно и выражается лексически, тогда как ТСС в $N_6^{Descr} [V_{cop} \text{ что-то } Adj_1]^{QLT}$ самой своей структурой передает значение слабой интенсивности проявления признака или персуазивности (неуверенности в точности приписываемого признака). Данную ТСС следует признать экспрессивным способом выражения качественной характеристики. Соотношение этих двух конструкций являет собой частный пример системных отношений в синтаксисе, на основе которых устанавливается связь между изосемической мо-

делью ЭПП как единицы языка и экспрессивной конструкцией как единицей речи, актуализирующей слабую степень проявления признака.

Предложения типа *в ком / в чем есть что-то какое* как средство выражения персуазивности

Неизосемические предложения качественной характеристики с ТСС в $N_6^{Descr} [V_{cop} \text{ что-то } Adj_1]^{OLT}$ «в ком / в чем есть что-то какое» относительно редко служат средством выражения персуазивности – неуверенности автора высказывания в том, что он составил объективное представление о свойствах и качествах описываемого предмета. Это значение передается в 7 % примеров (9 из 135 предложений в выборке). Высказывание приобретает персуазивную окраску, если значение прилагательного в предикативной позиции включает сему ‘интенсификатор признака’, тогда обстоятельства меры и степени в трансформе не появляются, например:

Что-то есть дурацкое в этих самых «Хрылях» (Юрий Коваль. Четвертый венец (1980–1993))² → «Хрыли» дурацкие; *«Хрыли» в какой-то степени / немного / слегка и т. п. дурацкие. Непосредственная трансформация невозможна из-за экспрессивности прилагательного *дурацкий* (‘глупый, смешной, вызывающий отрицательную оценку’), ср. замену на нейтральное прилагательное *смешной* в сочетании с интенсификатором: *Название «Хрыли» очень смешное*, которая показывает, что при прилагательных с семой интенсивности значение степени проявления признака уступает место значениям неопределенности, персуазивности и авторизации. Наиболее близким трансформом, эксплицирующим все компоненты значения, было бы высказывание *Название озера «Хрыли» кажется мне очень смешным*, где *кажется* является средством выражения персуазивности, *мне* – авторизации, *очень* – интенсивности.

Что-то есть ужасное, неумолимое, неотразимое в этих людях, [у которых смолodu как бы прокопчены внутренности] (М. Е. Салтыков-Щедрин. Сборник (1875–1879)) → Эти люди ужасны, неумолимы, неотразимы; *Эти люди в какой-то степени / немного / слегка ужасны, неумолимы, неотразимы.

Значение прилагательных, входящих в этот ряд, указывает на высокую степень проявления признака: *ужасный* ‘очень плохой; отвратительный’, *неумолимый* ‘такой, которого трудно или невозможно умолить, упросить; безжалостный, непреклонный’, *неотразимый* ‘такой, которому трудно противостоять или воздействию которого трудно избежать’. С одной стороны, говорящий приписывает людям признаки, проявляющиеся в самой высокой степени, а с другой – тип конструкции позволяет смягчить категоричность, ввести представление о том, что это не абсолютный признак, а субъективное мнение говорящего. Такие прилагательные в силу своей семантики не сочетаются с обстоятельствами, имеющими сему ‘снижение категоричности’.

...Что-то есть в этом мужике звероватое... (Юрий Казаков. Нестор и Кир (1961)) → *Этот мужик немного / какой-то / в какой-то степени звероватый. Подстановка слова со значением меры и степени в данном случае невозможна, так как

² *Хрыли* – название озера: *На другой день отправились мы с Вадимом на Хрыли. Веселят меня эти слова – «отправились на Хрыли». Что-то есть дурацкое в этих самых «Хрылях». А между тем Хрыли – это глухое лесное озеро, на берегу которого и жил, наверно, когда-то некоторый хрыль. С красной скалы, нависшей над озером, ловили мы на Хрылях черных и горбатых окуней* (Юрий Коваль. Четвертый венец (1980–1993)).

в состав прилагательного *звероватый* входит суффикс *-оват-*, имеющий значение неполноты проявления признака (ср.: *красноватый, суховатый, тесноватый*).

Таким образом, экспрессивные прилагательные, передающие высокую или низкую степень проявления признака, не сочетаются с обстоятельствами меры и степени, так как в их семантике представлена сема высокой или низкой интенсивности. На первый план выдвигается значение персуазивности и авторизации – неопределенности впечатления, неуверенности автора высказывания в точности его обозначения, снижение категоричности.

Аналогично в предложениях, где интенсивность проявления признака выражена лексически, например:

В нем есть что-то очень застенчивое, то, что по необходимости приходится скрывать (Павел Кузнецов. Деревенский дневник // «Звезда», 2002) → Он кажется очень застенчивым (говорящий затрудняется точно определить характер описываемого лица, он кажется неопределенным, но, скорее всего, это застенчивость); *В их облике есть что-то до ужаса человеческое – мрачное, ревнивое, всепоглощающее, разрушительное* (Вера Бегичева. Вяз // «Наука и религия», 2007) → В их облике есть что-то неопределенное, но, с высокой степенью вероятности, человеческое; *Есть что-то бесконечно трогательное в его посланиях из лагеря, и я их берегу, как драгоценные реликвии* (Василий Катанян. Прикосновение к идолам (1998)) → Его послания кажутся в высшей степени трогательными.

Семантика неуверенности, непонимания повествователем характеризуемого субъекта может формироваться также при помощи других лексических средств: обстоятельство *неуловимо*, например, содержит сему ‘плохо различаемый’:

Но в твоей квартире есть что-то неуловимо восточное (Юлия Пешкова. По мотивам (2002) // «Домовой», 2002.09.04).

Таким образом, модусная семантика непонимания или сомнения передается ТСС в $N_6^{Descr} [V_{cop} \text{ что-то } Adj_1]^{QLT}$ при наличии обстоятельства, указывающего на степень проявления признака, или семантика прилагательного содержит компонент, указывающий на интенсивность его проявления.

Семантические и прагматические различия предложений с семантикой качественной характеристики типа *в ком / в чем есть что-то какое и кто / что (есть) каков*

Не во всех случаях высказывания типа **в ком / в чем есть что-то какое** можно преобразовать в предложение с изосемической структурой качественной характеристики **кто / что (есть) каков**. В 42 % примеров (98 из 233) такая трансформация проблематична.

Ограничения на возможность трансформации обусловлены семантическими и синтаксическими причинами.

1. Специфика субъектно-предикатного отношения. Невозможность трансформации может быть связана с семантикой прилагательного, которое в неизосемических построениях употребляется, как правило, в переносном значении:

а) преобразование в изосемическую конструкцию качественной характеристики возможно, но приводит к замене переносного значения высказывания прямым:

[Мои двойные и тройные портреты вписывались в общий замысел серии картин; я чувствовал, что] в этих моих набросках что-то есть подлинное (Юрий Азаров. Подозреваемый (2002)) = ‘мои наброски «живые», приближенные к реальности’ (переносное значение прилагательного *подлинный* ‘истинный, образцо-

вый; такой, каким подобает быть представителю данной категории') → Мои наброски подлинные = 'мои наброски оригинальные, не скопированные с чего-то' (прямое значение прилагательного *подлинный* 'настоящий, не поддельный и не ложный');

Что-то библейское, древнее есть в сухом гористом пейзаже (В. П. Катаев. Вечная слава (1953)) = 'пейзаж напоминает библейский' (метафора) → *Пейзаж библейский* = 'пейзаж как в Библии' (прямое значение);

Но что-то в нем есть, в этом Коэлячкове, нечистое (Николай Драчинский. Нечистый дух в Казакове // «Огонек». № 11, 1959) = В Коэлячкове что-то не так; он подозрительный (прилагательное *нечистый* употребляется в переносном значении 'нечестный') → Коэлячков нечистый = Коэлячков грязный (прямое значение).

В данной серии примеров трансформация возможна по структуре, но не адекватна по содержанию;

б) преобразование в изосемическую конструкцию качественной характеристики невозможно: признак, метафорически характеризующий человека в высказывании типа **в ком / в чем есть что-то какое**, неприменим для описания человека в конструкции с прямым значением **кто / что (есть) каков**:

В вашей Клеопатре есть что-то такое магическое, что отличает ее от других персонажей (Спектакли – это живые существа (2003) // «Театральная жизнь», 2003.08.25) → *Клеопатра магическая. Ср.: *магический шар, магический обряд, магическое заклинание, магический знак* и т. п. Прилагательное *магический* имеет прямое ('связанный, соотносящийся по значению с существительным *магия*') и переносное ('необыкновенный по силе воздействия на кого-либо; чудодейственный, волшебный') значения. В первом значении это прилагательное свободно сочетается с существительными, обозначающими предметы, связанные с магией. В переносном значении оно характеризует необыкновенные способности человека, при этом сочетается с обозначением лица не прямо, а опосредованно – через неопределенное местоимение *что-то*. *Скрепя такое ... что* указывает на отсутствие исчерпывающего представления рассказчика о признаке, отличающем Клеопатру от других персонажей: 'в Клеопатре есть что-то непонятное, притягивающее';

[*Розанов говорил о себе, что*] *в нем есть что-то нечеловеческое, чудовищное: задумчивость* (В. В. Библихин. Язык философии (1993)). Прямая трансформация **Розанов нечеловеческий* невозможна грамматически, так как прилагательное *нечеловеческий* не сочетается с обозначениями лица, а только с нарицательными именами существительными. Оно имеет два значения: 'не свойственный человеку, не похожий на что-либо человеческое' (*нечеловеческий крик, нечеловеческий облик*), 'выходящий за пределы человеческих возможностей, недопустимый по отношению к человеку; очень сильный, чрезмерный' (*нечеловеческая сила, нечеловеческие страдания*). При этом допустима, по-видимому, трансформация с использованием существительного *Розанов отчасти, в каком-то смысле не человек*, поскольку в предложении говорится о том, что Розанов оценивал свою задумчивость как нечто необычное, свойственное далеко не всем людям. При трансформации *Розанов считал, что от обычных людей его отличает то, что он задумчив сверх меры* актуализируется интенсивность проявления признака 'задумчивый';

[*Не случайно Аристотель ссылается на Гераклита, когда собирается изучать каждое живое существо и оправдывает тем, что*] *во всех есть что-то природ-*

ное и прекрасное (В. В. Библихин. Язык философии (1993)) → *Каждое живое существо природное (≈ принадлежит природе). Ср. *природные данные, природные ресурсы, природный инстинкт* и др. При трансформации прилагательное *природный* используется в прямом значении 'соотносящийся по значению с существительным *природа*, связанный с ним'. Однако в исходном примере конструкция *что-то природное* позволяет актуализировать связь прямого ('относящийся к природе') и переносного ('естественный, натуральный, врожденный, прирожденный') значений. Прилагательное *природный* в прямом значении не сочетается с одушевленными существительными. Для выражения «отношения» к природе, а не полной «принадлежности» к ней используется конструкция типа *в каждом человеке есть что-то от природы*, указывающая на степень проявления такого качества, как естественность, которое ассоциируется с природой в противопоставлении искусственности;

В этой белой ноге есть что-то до того сиротское, российское, бабье, какая-то такая безнадежная национальная тоска, смесь Чехова и Шукшина, [что я неловко стараюсь смотреть в другую сторону и все время на эту ногу натыкаюсь] (Дуня Смирнова. Natasha Шарымофф, женщина нашего времени (1997) // «Столица», 1997.10.13) → *Эта белая нога сиротская (? Это нога сироты). При трансформации актуализируется прямое значение 'связанный, соотносящийся по значению с существительным *сирота*' (*сиротский приют*). В переносном значении прилагательное *сиротский* обозначает 'бедный, скудный, убогий' (*сиротская внешность*). В данном примере под *белой ногой* подразумевается человек – ее обладатель, его внешность уподобляется внешности сироты. С помощью прилагательного *сиротский* дается характеристика субъекта по части его тела, что является одним из способов описания людей.

Таким образом, в серии примеров (б) ограничения на трансформацию неизосемической конструкции в изосемическую связаны не только с особенностями семантики прилагательных, которые в изосемической конструкции употребляются в прямом значении, но и с грамматическими особенностями выражения субъекта: в прямом значении эти прилагательные не сочетаются с одушевленными именами существительными, их употребление в переносном значении для характеристики одушевленного субъекта требует изменения структуры конструкции;

в) преобразование в изосемическую конструкцию качественной характеристики невозможно по семантическим причинам: признак, метафорически характеризующий неодушевленный субъект в высказывании типа **в ком / в чем есть что-то какое**, не используется для описания данного субъекта в конструкции с прямым значением **кто / что (есть) каков**:

Если в твоей душе, в твоём сознании, даже в твоей плоти есть что-то положительное или что-то отрицательное, то оно рано или поздно выйдет наружу (митрополит Антоний (Блум). «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Беседы на Евангелие от Марка (1990–1992)) → *Душа положительная / отрицательная. Ср. *положительное / отрицательное качество, положительные / отрицательные эмоции, положительный / отрицательный герой*.

В группе примеров (в) трансформация невозможна в силу индивидуальных сочетаемостных возможностей существительных и прилагательных: душа бывает чистой, светлой, радостной, но не положительной или отрицательной.

2. Особенности синтаксической структуры. Формально с рассматриваемыми конструкциями совпадает главная часть вмещающих местоименно-соотноситель-

ных сложных предложений со скрепой *такое ... что*, в которых признак раскрывается в зависимой предикативной единице:

Но прошло время... и я поняла, что в тебе есть что-то такое, что не поддается пониманию (Екатерина Маркова. Каприз фаворита (1990–2000)) → В тебе есть что-то непонятное → Ты непонятный → Я тебя не понимаю. Такая конструкция становится средством выражения сложного комплекса значений: метакатегории модуса (снижение категоричности), персуазивности (неуверенности в точности характеристики, в том, что она носит всеобщий характер) и авторизации (высказано мнение отдельно взятого лица, которое может не совпадать с мнением других людей и объективным положением дел, подразумевается, что некоторые качества определенного субъекта остаются загадкой только для автора высказывания);

... Она очень честная и добрая женщина, но в ней есть что-то такое..., что я не могу переносить (Н. С. Лесков. На ножах (1870)) → *Она непереносима*. При трансформации утрачивается представление о том, что непереносимыми являются только отдельные качества героини, и такое отношение к ней свойственно только автору высказывания, другие же могут воспринимать те же качества как вполне приемлемые. Семантика исходного высказывания уже семантики трансформации, так как речь идет не обо всех проявлениях качеств и свойств человека, а лишь об отдельных чертах его характера. Частотным для данного типа высказываний является выражение модальности (ср. *не поддается пониманию, не могу переносить*).

Скрепка *такой ... что* используется для рематизации зависимой предикативной единицы, в которой содержится характеристика субъекта (ср. описание коммуникативных функций скрепы *таков ... что* в работе: [Кошкарева, 2010]).

Таким образом, ограничения, накладываемые на трансформацию сложного предложения типа **в ком / в чем есть что-то такое, что...** в изосемическую конструкцию качественной характеристики, обусловлены переносным значением прилагательных и наличием комплекса дополнительных значений: модальности, персуазивности, авторизации, избирательности проявления признака, которые требуют развернутого выражения, что приводит к усложнению конструкции. Высказывания типа **в ком / в чем есть что-то какое** являются средством экспрессивного синтаксиса: на основе необычной сочетаемости существительного, обозначающего субъект, и прилагательного в позиции предиката формируется метафоричность, образность, не свойственная изосемической ТСС качественной характеристики.

Конструкция в ком / в чем есть что-то какое как синтаксический полисемант

При замещении позиции адъектива относительным или притяжательным прилагательным ТСС в $N_6^{Descr} [V_{cop} \text{ что-то Adj}_1]^{QLT}$ передает значение сравнения, например:

Длинный тонкий нос, выступающая верхняя челюсть – было в нем что-то лисье, хитрое (Даниил Корецкий. Менты не ангелы, но... (2011)) → *Он лисий; Он похож на лису; Он хитрый, как лиса; прилагательное *лисий* употребляется для описания характера, на что указывает следующее за ним прилагательное *хитрый*;

Ольга Матвеева ниже его на полголовы, она немного сутулится, есть что-то птичье в ее выражении лица... (Сергей Носов. Фигурные скобки (2015)) → Выражение ее лица напоминает голову птицы; внешний вид характеризуется через сопоставление с обликом птицы;

Было в них что-то гоголевское, смесь Ноздрева, Хлестакова, да ещё с примесью Лескова (Даниил Гранин. Зубр (1987)) → Они были похожи на героев Гоголя;

В нем есть кое-что ноздревское, беспокойное, шумливое, но человек это простодушный, чистый сердцем (А. К. Котов. Предисловие (1960)) → Он беспокойный, шумливый, как Ноздрев.

Появление в позиции **Adj** притяжательного или относительного прилагательного ведет к изменению семантики: характеристика дается через сравнение с другим существом. При этом категоричность снижается: устанавливается не полное сходство, а некоторое подобие, свойственное описываемому субъекту не в полной мере.

Аналогичные ассоциации возникают по отношению к самым разным явлениям, например:

Метафора стала богом, которому мы поклоняемся. В этом есть что-то языческое (В. П. Катаев. Алмазный мой венец (1975–1977)) → То, что мы поклоняемся метафоре, уподобляет нас язычникам; *Внешне фигура будет выглядеть как реалистическая, но это не просто человек в костюме. В общем замысле есть что-то импрессионистское* (Михаил Серафимов. Музыка в бронзе // «Огонек», 2015) → Замысел фигуры (памятника) ассоциируется с идеями импрессионистов.

Подобные высказывания синонимичны конструкции **в ком / в чем есть что-то от кого / от чего**:

Из-за отца в атмосфере дома есть что-то от атмосферы хосписа (Павел Мейлахс. Отступник // «Звезда», 2002) → Атмосфера в доме напоминает атмосферу в хосписе; *Честно говоря, в этом, полном отстраненного уважения, высказывании есть что-то от надгробного камня* (Ольга Балла. Тайная жизнь Джеймса Джойса // «Знание – сила», 2006) → Это высказывание похоже на то, что обычно пишут на надгробных камнях.

Таким образом, ТСС в $N_6^{Descr} [V_{cop} \text{ что-то Adj}]^{QLT}$ обладает широкими возможностями заполнения адъективной позиции: кроме качественных здесь возможны также относительные и притяжательные прилагательные. Данная ТСС представляет собой синтаксический полисемант, поскольку бытийная по своей природе структура передает значение характеристики на основе уподобления признака характеристикам другого лица, предмета или явления. Развивается цепочка переносных значений: существование → характеристика → уподобление.

Выводы

Пропозиция качественной характеристики изосемически выражается высказываниями типа **кто / что (есть) каков**. Экспрессивными синонимами таких предложений являются неизосемические высказывания, в основе которых лежат бытийные по своей структуре конструкции типа **в ком / в чем есть что-то какое**. В результате неизосемического заполнения позиций в составе бытийной конструкции происходит метафорический перенос значения существования («где есть что») в область качественной характеристики («в ком / в чем есть что-то какое»). Лексема локативной семантики заменяется сочетанием **в ком / в чем (LEX^{Loc} → в N₆^{Descr})**, при этом семантическая роль локализатора меняется на роль субъекта; сужается возможный выбор предложно-падежных форм, он ограничивается единственной формой предложного падежа с предлогом *в*; на месте субъекта-экзистенции употребляется сочетание неопределенного местоимения *что-то* с прилагательным, репрезентирующее позицию предиката в структуре пропозиции ($N_1^{Ex} \rightarrow [\text{что-то Adj}]^{QLT}$).

Экспрессивность высказываний со структурой **в ком / в чем есть что-то какое** создается, как и в лексической семантике, набором таких смыслов, как «интенсивность», «эмотивность», «оценка» и «образность», которые в рассматриваемых высказываниях становятся неотъемлемой частью семантики конструкции. Припропозитивный смысл интенсивности реализуется через указание на низкую степень проявления признака. Оценочный и эмотивный компоненты заключены в грамматикализации таких модусных смыслов, как снижение категоричности в выражении авторской позиции и персуазивности – неуверенности автора высказывания в точности или объективности характеристики субъекта. Благодаря употреблению относительных и притяжательных прилагательных, а также прилагательных, имеющих те или иные ограничения на сочетаемость с определенными существительными, возникает образность на основе уподобления субъекта другим лицам, предметам или явлениям, а также через установление разнообразных ассоциативных связей.

Конструкция **в ком / в чем есть что-то какое** является синтаксическим полисемантом, между его вариантами (существование → характеристика → уподобление) устанавливается система метафорических переносов на основе специфического заполнения позиций и определенных парадигматических ограничений.

Изосемические и неизосемические конструкции, служащие для выражения пропозиции качественной характеристики, формируют подсистему синтаксических единиц, центром которой является модель ЭПП $N_1^{Descr} [(cop) Adj_{1/s}]^{OLT}$, репрезентирующая единицу языка. Ее семантика в обобщенном виде представляется в виде грамматической абстракции «кто / что (есть) каков». С ней системно связаны высказывания, соответствующие ТСС в $N_6^{Descr} [V_{cop} \text{ что-то } Adj_1]^{OLT}$ с обобщенной семантикой «в ком / в чем есть что-то какое». Они представляют собой пример асимметричных отношений между планом выражения и планом содержания синтаксического знака: структура, предназначенная для выражения пропозиции существования, за счет неизосемического заполнения позиций становится средством выражения пропозиции качественной характеристики, превращаясь в единицу речи, актуализирующую экспрессивные смыслы, которые сопровождают выражение значения качественной характеристики.

Список литературы

- Арутюнова Н. Д., Ширяев Е. Н.* Русское предложение. Бытийный тип: структура и значение. М., 1983.
- Всеволодова М. В.* Функционально-семантический синтаксис. М., 2000.
- Золотова Г. А.* Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. М., 2006.
- Карцевский С. О.* Об асимметричном дуализме лингвистического знака // Введение в языковедение. Хрестоматия / Сост. А. В. Блинов, И. И. Богатырева, В. П. Мурат, Г. И. Рапова. М., 2001. С. 76–81.
- Кошкарёва Н. Б.* Типовые синтаксические структуры и их семантика в уральских языках Сибири: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Новосибирск, 2007.
- Кошкарёва Н. Б.* О принципах классификации сложного предложения как единицы языка и речи // Лингвистические идеи В. А. Белошапковой и их воплощение в современной русистике: Коллективная монография / Сост., отв. ред. Л. М. Байдуж. Тюмень, 2010. С. 68–95.

Лукьянова Н. А. Экспрессивная лексика разговорного употребления в семантическом аспекте // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, № 9. С. 183–200.

Лукьянова Н. А. Экспрессивная лексика разговорного употребления: проблемы семантики. Новосибирск, 1986.

Скаличка В. Асимметричный дуализм языкового знака // Пражский лингвистический кружок: Сб. ст. / Сост., ред. Н. А. Кондрашов. М., 1967. С. 119–128.

Шмелева Т. В. Семантический синтаксис: Текст лекций. Красноярск, 1988.

Черемисина М. И. Парадигма элементарного простого предложения как единицы языка // Языки коренных народов Сибири. Новосибирск, 2003. Вып. 11. С. 3–29.

References

Arutyunova N. D., Shiryaev E. N. *Russkoe predlozhenie. Bytiynny tip: struktura i znachenie* [Russian sentence. Existential type. Structure and meaning]. Moscow, 1983.

Cheremisina M. I. Paradigma elementarnogo prostogo predlozheniya kak edinit'syazyka [Paradigm of an elementary simple sentence as a language unit]. In: *Yazyki korennykh narodov Sibiri* [Languages of indigenous peoples of Siberia]. Novosibirsk, 2003, iss. 11, pp. 3–29.

Kartsevskiy S. O. Ob asimmetrichnom dualizme lingvisticheskogo znaka [About asymmetrical dualism of a linguistic sign]. In: *Vvedenie v yazykovedenie. Khrestomatiya* [Introduction to linguistics. Chrestomathy]. Blinov A. V., Bogatyreva I. I., Murat V. P., Rapova G. I. (Comps). Moscow, 2001, pp. 76–81.

Koshkareva N. B. O printsipakh klassifikatsii slozhnogo predlozheniya kak edinit'syazyka i rechi [On the principles of classification of complex sentences as units of language and speech]. In: *Lingvisticheskie idei V. A. Beloshapkovoy i ikh voploshchenie v sovremennoy rusistike: Kollektivnaya monografiya* [Linguistic ideas of V. A. Beloshapkova and their embodiment in contemporary Russian studies: a collective monograph]. L. M. Bayduzh (Comp., ed.). Tyumen, 2010, pp. 68–95.

Koshkareva N. B. *Tipovye sintaksicheskie struktury i ih semantika v ural'skih yazykakh Sibiri* [Typical syntactic structures and their semantics in Uralic languages of Siberia]. Abstract of Dr. philol. sci. dss. Novosibirsk, 2007.

Luk'yanova N. A. Ekspressivnaya leksika razgovornogo upotrebleniya v semanticheskom aspekte [Expressive vocabulary of colloquial usage in the semantic aspect]. *Vestnik of Novosibirsk State University. Series: "History and Philology"*. 2015, vol. 14, no. 9, pp. 183–200.

Luk'yanova N. A. *Ekspressivnaya leksika razgovornogo upotrebleniya: problemy semantiki* [Expressive vocabulary of colloquial usage-problems: problems of semantics]. Novosibirsk, 1986.

Shmeleva T. V. *Semanticheskiy sintaksis: Tekst lektsiy* [Semantic syntax: Text of lectures]. Krasnoyarsk, 1988.

Skalichka V. Asimmetrichnyy dualizm yazykovogo znaka [Asymmetrical dualism of a linguistic sign]. In: *Prazhskiy lingvisticheskiy kruzhok: Sb. st.* [Prague School. Coll. of art.]. N. A. Kondrashov (Comp., ed.). Moscow, 1967, pp. 119–128.

Vsevolodova M. V. *Funktional'no-semanticheskiy sintaksis* [Functional semantic syntax]. Moscow, 2000.

Zolotova G. A. *Sintaksicheskiy slovar': Repertuar edinit's russkogo sintaksisa* [Syntax dictionary: A list of elementary Russian syntax entities]. Moscow, 2006.

Сведения об авторах

Кошкарёва Наталья Борисовна – доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник сектора языков народов Сибири Института филологии Сибирского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия); заведующая кафедрой общего и русского языкознания Гуманитарного института Новосибирского национального исследовательского государственного университета (Новосибирск, Россия)

koshkar_nb@mail.ru

Researcher ID M-2704-2018

Бакайтис Игорь Игоревич – ассистент кафедры общего и русского языкознания Гуманитарного института Новосибирского национального исследовательского государственного университета (Новосибирск, Россия)

igor.bakajtis@gmail.com

Information about the authors

Natalia B. Koshkareva – Doctor of Philology, Professor, Principal Researcher of the Department of the Siberian Languages of the Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation); Head of the Department of General and Russian Linguistics of the Institute of Humanities of the Novosibirsk National Research State University (Novosibirsk, Russian Federation)

koshkar_nb@mail.ru

Researcher ID M-2704-2018

Igor I. Bakajtis – Assistant of the Department of General and Russian Linguistics of the Institute of Humanities of Novosibirsk National Research State University (Novosibirsk, Russian Federation)

igor.bakajtis@gmail.com

УДК 81.161.1'367
DOI 10.17223/18137083/74/23

Абсолютные обособленные обороты в русской поэтической речи от Кантемира до Лермонтова

Н. В. Патроева

*Петрозаводский государственный университет
Петрозаводск, Россия*

Аннотация

Статья посвящена анализу конструкций с абсолютными (независимыми) обособленными оборотами, извлеченными из стихотворных текстов русских поэтов эпохи барокко, классицизма, сентиментализма и романтизма. Употребление независимого деепричастного оборота было поддержано давней славянской традицией дательного самостоятельного, уже в старорусскую эпоху часто заменявшегося на оборот с застывшим активным причастным нечленным номинативом (деепричастием), что обусловило большую активность абсолютного функционирования именно деепричастных независимых оборотов. История независимых обособлений в русской поэтической речи от Кантемира до Лермонтова демонстрирует, с одной стороны, размах речевого эксперимента по «внедрению» в русскую речь синтаксических галлицизмов самых разных типов – причастных, адъективных, субстантивных (в виде приложений и сегментов), местоименных; с другой – узкие временные рамки этого вхождения в язык «аграмматических», т. е. нарушающих линейную цепочку традиционных подчинительных синтетических связей, элементов, а также активное сопротивление употреблению нерусских оборотов. Независимые обособленные обороты служили целям экономного и соответствующего строгим рамкам стихотворной строки выражения значений обусловленности, конкурируя с придаточными частями: обособление, не требующее введения подчинительного союза, сразу удлиняющего строку и метрическую схему, позволяло выдвигать каузативный смысл на первый план в структуре поэтического высказывания. Эксперименты с абсолютным обособлением – яркое свидетельство усиления тенденций к анализируемому в эволюции русского литературного языка Нового времени и – одновременно – сильного и победного сопротивления этим тенденциям со стороны грамматической системы, охраняющей свои традиционные синтетические основы от чуждого влияния.

Ключевые слова

русский синтаксис XVIII–XIX вв., абсолютные обороты, независимые обособленные синтагмы, деепричастные обороты, причастные обороты, адъективные обороты, субстантивные обороты, сегментированные конструкции

Для цитирования

Патроева Н. В. Абсолютные обособленные обороты в русской поэтической речи от Кантемира до Лермонтова // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 308–320. DOI 10.17223/18137083/74/23

© Н. В. Патроева, 2021

ISSN 1813-7083
Сибирский филологический журнал. 2021. № 1
Siberian Journal of Philology, 2021, no. 1

Absolute isolated phrases in Russian poetic speech from Kantemir to Lermontov

N. V. Patroeva

*Petrozavodsk State University
Petrozavodsk, Russian Federation*

Annotation

The paper presents the analysis of the constructions with absolute (independent) isolated phrases extracted from the poetic texts of Russian poets of the Baroque, Classicism, Sentimentalism, and Romanticism. The use of an independent dangling participle was supported by the old Slavic tradition of the independent dative case and, already in the old Russian era, an independent dangling participle was often replaced by the construction with a frozen active participial inseparable nominative (adverbial participle), leading to more active absolute functioning of independent dangling participles. On the one hand, the history of independent isolations in Russian poetic speech from Kantemir to Lermontov demonstrates the scope of the language experiment on the “introduction” of syntactic Gallicisms of various types into the Russian speech – participial, adjective, substantive (in the form of applications and segments), pronominal ones. On the other hand, it shows a narrow timeframe of this entry of “agrammatic” (i.e., breaking the linear chain of traditional subordinating synthetic connections) elements into the language, as well as strong resistance to using non-Russian constructions. Experiments with absolute isolation are vivid evidence of the increasing tendency towards analytism in the evolution of the Russian literary language of the New Time and, at the same time, strong and victorious resistance to these tendencies on the part of a grammatical system protecting its traditional synthetic bases from the alien influence.

Keywords

Russian syntax of the 18th – 19th centuries, absolute phrases, independent isolated syntagmas, dangling participles, participial constructions, adjective phrases, substantive phrases, segmented constructions

For citation

Patroeva N. V. Absolute isolated phrases in Russian poetic speech from Kantemir to Lermontov. *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 308–320. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/23

Проблема формирования русского литературного языка анализируется лингвистами обычно как проблема лексикологическая, «проблема словаря» [Живов, 1996, с. 6], т. е. прежде всего в аспекте соотношения старославянских и собственно русских элементов. Однако отличия между двумя книжно-литературными традициями самими грамматистами-нормализаторами и мастерами слова в их языковом сознании связывались, скорее, с грамматическим строем: поэтическая лексика и фразеология «высокого штиля», перенятая из церковнославянской и древнерусской книжности, не исчезает и с победой «нового слога» над «старым»: усвоив лучшие образцы классицистической традиции, карамзинская школа, разумеется, опиралась на них в своих языкотворческих исканиях, и потому не столько лексический, сколько синтаксический строй языка оказывался тем благодатным полем, на котором было возможно развертывание авторских новаций эпохи сентиментализма и – далее – романтизма. Г. О. Винокур отмечал: «...формы именительного падежа единственного числа причастий мужского рода без звука *щ* в настоящем времени и звука *ш* в прошедшем времени типа *давай*, *давший* и т. п. для русского человека первой половины XVIII в. были наделены гораздо более

сильной экспрессией старины и церковности, чем церковнославянские слова...» [Винокур, 1959, с. 126]. Хотя синтаксическая теория в целом не получила еще глубокого и всестороннего осмысления в грамматических трудах XVIII – первой половины XIX столетия (см. подробнее, например: [Патроева, 2016, с. 16–22]) и не было еще ясного представления о том, каким должен стать литературный текст, написанный на русском языке, проблемы выработки новых синтаксических норм занимали умы реформаторов литературного языка, мастеров слова переходного периода, оказывались предметом оживленных дискуссий о судьбах «старого» и «нового слога». В связи с этим не столько грамматики эпохи реформ от Ломоносова до Пушкина, сколько поэтическая практика, оказавшая непосредственное влияние на формирование, отбор и закрепление новых литературных норм, представляет с историко-стилистической точки зрения несомненный интерес как главный источник сведений о состоянии грамматической системы русского языка середины XVIII – первой половины XIX столетия. Задачей статьи является анализ функционирования абсолютных, или независимых, обособленных синтагм в поэтической речи, – конструкций, которые не могли не стать предметом лингвистических споров между представителями «старого» и «нового слога» [Лотман, 1975], если иметь в виду не только обороты-галлицизмы, но и архаичный «дательный самостоятельный».

Согласно данным «Синтаксического словаря русской поэзии», работа над которым ведется коллективом лингвистов Петрозаводского госуниверситета, абсолютные обособленные синтагмы, особенно причастные, встречались в стихотворных текстах нечасто. Обычно употребление грамматически независимых обособленных групп связывается грамматистами с влиянием французского синтаксиса на русский язык карамзинской и пушкинской поры. Л. А. Булаховский замечает по поводу французского влияния: «Проникновение в литературный русский язык синтаксических галлицизмов, начавшееся в середине XVIII века, не прекращается и в первые два десятилетия XIX-го, несмотря на естественную оппозицию им – выдвижение роли “своего” языка...» [1954, с. 261]. Распространение галлицизмов¹ в русском литературном языке беспокоило как представителей «старого слога», так и сторонников «нового». Но если «Шишков сосредоточивает борьбу с галлицизмами на лексическом уровне, то Карамзин это делает на уровне синтаксиса и фразеологии» [Успенский, 1985, с. 30]. Наш материал подтверждает немногочисленность синтаксических заимствований в поэтической речи – вот редкие примеры употребления независимых причастных оборотов, использованных Третьяковским, Державиным и Жуковским: *Очи с плача помутились, От врагов весь сокрушен...* (Третьяковский, 1963, с. 185); *Обсаженный семьей моей, Средь коей сам я господин, И тут-то вкусен мне обед!* (Державин, 1985, с. 207); *Его проклятием навекиотягченный, Твое убежище лишь смерть!*... (Жуковский, 1959, т. 1, с. 26); *Слиянны во хвалу, слиянны в обожанье, Да гимн ваш потрясет небес огромный храм!*... (Жуковский, 1959, т. 1, с. 82); *И, распаленные душой, Влекомы ожиданьем, Для вас взойдет краснее день...* (Жуковский, 1959, т. 2, с. 96). Между тем причастная конструкция «именительный самостоятельный», субъект которой не совпадал с субъектом главной предикации, встречалась еще в старославянских памятниках, но только поздних (по данным Р. Вечерки, в «Супрасльской рукописи» [Večerka, 1996]; В. М. Живов приводит отдельные

¹ О синтаксических галлицизмах см., например, в работах: [Листрова-Правда, 1986; Хютль-Ворт, 1974].

примеры употребления именительного самостоятельного в «Повести временных лет», «Киевской летописи», «Московском летописном своде» [Живов, 2017, т. 1, с. 417–426] – гибридных нарративных текстах). «Именительный самостоятельный» являлся более автономным в структуре предложения элементом, чем «дательный самостоятельный», «субординированность которого подчеркивается также косвенным падежом агенса» [Живов, 2017, т. 1, с. 424]. Однако подобное независимое номинативное причастное употребление, не поддержанное многовековой грамматической традицией, следует признать аномальным, нестандартным восточнославянским новообразованием², в силу чего «именительный самостоятельный» ранней эпохи языкового развития вряд ли можно считать непосредственным предшественником абсолютных оборотов ломоносовской и карамзинской эпохи.

Если в Петровскую эпоху заимствования из западноевропейских языков были знаком принадлежности к формирующейся новой светской культуре, то в середине XVIII столетия пуризм и борьба с заимствованиями становятся актуальной и реализуемой теоретиками русского классицизма задачей (Ломоносов, Сумароков, поздний Тредиаковский). С конца XVIII в. абсолютные обороты несколько расширяют свое хождение в узусе, в том числе и в поэтическом дискурсе, – главным образом деепричастные. А. Х. Востоков в своей «Русской грамматике» определяет как строгое нормативное требование то, что деепричастие и глагол «должны выражать действия одного и того же лица» [РГ, 1831, с. 241]; ту же норму оговаривает Н. И. Греч [ПРГ, 1834, с. 346–347]. Греч и Востоков, очевидно, ориентировались на мнение, высказанное М. В. Ломоносовым в «Российской грамматике» 1755 г.: «Весьма погрешают те, которые по свойству чужих языков деепричастие от глаголов личных лицами разделяют. Ибо деепричастие должно в лице согласовываться с главным глаголом личным...» [Ломоносов, 1952, с. 566–567] (эту мысль Ломоносова повторяет почти без изменения А. А. Барсов [РГ Барсова, 1981, с. 233–234]). Однако в своей одической практике сам Ломоносов по крайней мере в двух случаях нарушил это правило: *Парящей слыша шум Орлицы*, Где пышный дух твой, Фридерик? (Ломоносов, 1959, с. 151); *Низвергнув Петр врагов*, она в Петровы следы Ко одержанию подобныя победы (Ломоносов, 1959, с. 224).

Независимые деепричастные синтагмы встречаются и в памятниках старорусской письменности³, и в разговорной устной речи, и в фольклоре (см. примеры у Ф. И. Буслаева [1959, с. 536] и А. А. Шахматова [2014, с. 300]), а потому не могут уже рассматриваться как безусловно чуждые русскому языку заимствования [Мещерский, 1976, с. 87], и «это заставляет положение о французском влиянии... принимать с осторожностью» [Булаховский, 1954, с. 270] в данном случае, но активизация независимых деепричастных оборотов в XVIII – первой трети XIX столетия была вызвана, несомненно, влиянием французского языка (о чем пишет, например, И. И. Ковтунова [1964, с. 397]). Подобные конструкции, имевшие, по данным Л. А. Булаховского и И. И. Ковтуновой, довольно жесткие стилистические ограничения (мемуары, историческая литература, записки, дневники, письма), поскольку никогда не признавались нормативными в грамматиках русского

² См. о древнерусских несогласованных причастных конструкциях в работе [Пичхадзе, 2016, с. 499–515].

³ Об абсолютных деепричастных оборотах в письменных памятниках старшей поры см. [Припадчев, 1979].

языка, очень редко используются поэтами: лишь 10 репрезентаций, по данным синтаксического словаря, в подвергшихся синтаксической разметке памятниках XVIII столетия и только незначительная активизация (по 4 – у Пушкина и Баратынского, по 3 – у Крылова и Лермонтова, 2 – у Вяземского) в 1810–1830-е гг. Поэзия в начале XIX в. была ареной борьбы и становления новых правил литературного русского словоупотребления, а потому раньше иных освобождалась от всякого рода нормативных искажений и нарушений: Но что мной зримая вселенна? И что перед тобою я? В воздушном океане оном, *Миры умножа миллионам Стократ других миров*, – и то, Когда дерзну сравнить с тобою, Лишь будет точкою одною... (Державин, 1985, с. 53); Хотя я и не пророк, Но, *видя мотылька*, что он вокруг свечи вьется, Пророчество почти всегда мне удается: Что крылышки сожжет мой мотылек (Крылов, 1945, с. 154); *Качаясь на ногах, Мечтанье обнимаю*, Любовь его ведет... (Пушкин, 1985, с. 92); *Приметив юной девы грудь, Судьбой случайной, как-нибудь, Иль взор*, исполненный огнем, Недвижно сердце было в нем... (Лермонтов, 1989, т. 1, с. 145); На берегу, под тенью дуба, *Пройдя завалов первый ряд*, Стоял кружок <...> (Лермонтов, 1989, т. 2, с. 60); и др. примеры. Подчеркнем, что не раз обвинявшийся в своем пристрастии к французскому языку Н. Карамзин⁴ абсолютные обороты, по крайней мере в своих стихотворениях, не использует.

Несогласованный адъективный оборот, встречается крайне редко: *С утра дней счастлив и славен*, Кто тебе, мой мальчик, равен? (Баратынский, 1989, с. 200); *Вечно холодные, вечно свободные*, Нет у вас родины, нет вам изгнания (Лермонтов, 1989, т. 2, с. 56). Абсолютные субстантивные обороты («сочетания предикативно окрашенных обособляющихся имен существительных со сказуемыми, которым формально принадлежит другое лицо» [Булаховский, 1954, с. 266] (см. также [Виноградов, 1935, с. 316]) в анализируемых текстах также встречаются sporadически (больше таких репрезентаций у П. Вяземского): *Друг смертных, гений в багрянице*, Глагол его есть глас отрад... (Дмитриев, 1967, с. 324); ...*Счастливец*, мой поцелуй Сладко ее усыпят под шумом порывистым ветра... (Дмитриев, 1967, с. 102); *Дней Петровых современник*, Взяли в плен его враги... (Вяземский, 1982, с. 236); И, *званьем раб*, душой – к свободе вознестись?.. (Вяземский, 1982, с. 98); *На рубеже веков наш с предками посредник*, *Заветов опыта потомкам проповедник*, О суточных врагах ему ли помышлять? (Вяземский, 1982, с. 117); *Дочь туманного созвездья*, Красных дней и ей не знать... (Вяземский, 1982, с. 201). Пример маргинальных абсолютных обособлений представляет собой независимый местоименный оборот у В. К. Третьяковского в оде: «...*Твои и от твоих неложно*, Ах! потщися, дело возможно, Престань, всех нас радость, рыдати». (Третьяковский, 1963, с. 138)

К независимым обособленным оборотам, помимо номинативных с причастием или именем, разумеется, может быть причислен и «дательный самостоятельный», появившийся в старославянском, по мнению многих историков языка, благодаря воздействию древнегреческого синтаксиса. С. И. Соболевский указывает, что «participium absolutum» в форме genetivus absolutus в древнегреческом «употребляется в смысле сокращенного обстоятельственного предложения времени, причины, условия, уступления» [Соболевский, 2016а, с. 348]. В латинском языке ему соответствует ablativus absolutus, в старославянском – дательный самостоятель-

⁴ В статье [Онипенко, Биккулова, 2016, с. 227] приведен пример использования абсолютного деепричастного оборота А. С. Шишковым.

ный [Соболевский, 2016б, с. 330]. Мы не будем, разумеется, вдаваться в историю споров ученых-славистов о заимствованном (из древнегреческого: А. Х. Востоков, Ф. И. Буслаев) либо исконном (А. А. Потебня, В. И. Борковский) происхождении оборота, отметим только, что на восточнославянской почве дательный самостоятельный мог сопровождаться тем же субъектом, что и главная часть предложения, соединяться с предложением сочинительным или подчинительным союзом, что также нарушало возможный греческий образец (Д. Ворт называет подобные случаи «негреческим» типом дательного самостоятельного [Worth, 1994]). О потере дательного самостоятельного русским языком сожалел еще Ломоносов, написав в параграфе 533 «Российской грамматики»: «Сожалительно, что из обычая и употребления вышло славенское в сочинении глаголов свойство, когда вместо деепричастий дательный падеж причастий полагался... В высоких стихах можно, по моему мнению, с рассуждением некоторые принять. Может быть, со временем... сия потерянная краткость и красота в российское слово возвратится» [Ломоносов, 1952, с. 567]. Таким образом, Ломоносов считает независимое употребление деепричастных оборотов наследством, оставшимся от вышедшего из употребления дательного самостоятельного, что подтверждается исследованиями по синтаксису русского языка старшей поры. Так, «Историческая грамматика русского языка: Синтаксис: Простое предложение» под редакцией В. И. Борковского среди признаков разрушения дательного самостоятельного в старорусских памятниках указывает и употребление причастия в обороте в застывшей форме именительного падежа при имени или местоимении в дательном, что демонстрировало процесс формирования деепричастного оборота со значением времени или обусловленности, поэтому процесс перехода причастий в деепричастия стал одной из причин утраты дательного самостоятельного [ИГРЯ, 1978, с. 427–428]; ср. также с предположением А. А. Потебни, считавшим, что в основе такого оборота с деепричастием «могли бы лежать не только дательные, но и именительные самостоятельные» [Потебня, 1888, с. 337]. В нашем материале дательный самостоятельный зафиксирован только в панегирике у раннего Тредиаковского (что ожидаемо в силу «высокости» жанра, но не очень соответствует языковой программе раннего Тредиаковского) и в сатире Сумарокова (вполне очевидно, в ироническом ключе): *Тебе живущей*, всё здесь цветет, *Тебе хранящей*, всё радуется, *Тебе бдящей*, всё поспешает, *Тебе велящей*, всё слушает... (Тредиаковский, 1963, с. 126); Но, *зряцу мне в тебе перед собой уroda*, Прилично ли сказать: Высокого ты рода? (Сумароков, 1957, с. 185).

Интересно, что в Петровскую эпоху, когда реформирование светского книжного языка уже началось, поддержанное во многом указами «сверху», по повелению царя осуществлялась правка научных сочинений, связанная с устранением старославянских элементов (хотя вирши в это время писались на церковнославянском), или их перевод на «простой» русский язык, и трансформация «славенской» традиции коснулась также синтаксического уровня: например, «замена согласованных причастных форм в деепричастной конструкции на несогласованные, устранение дательного самостоятельного», заменяемого не только придаточным времени, но и «абсолютным деепричастным оборотом» [Живов, 2017, т. 2, с. 458]. В этой связи примечательно, что А. Д. Кантемир, прекрасно владевший несколькими западноевропейскими языками, из всех типов абсолютных оборотов употребляет именно деепричастные: Такие-то виды суть нашей к богу чести, *Не поминная чудес притворных и лести* (Кантемир, 1956, с. 184); Трудов, бед житье мое исполнено было, *Ища лучшего*, добро, бывше в руках, сплыло (Кантемир, 1956,

с. 237). В первой половине XVIII в., когда творил и Антиох Кантемир, независимый деепричастный оборот осознавался поэтом, очевидно, как вполне подобающий духу «простого» русского языка и соответствующий жанрам сатиры, эпиграммы, басни (борьба с «неправильными» грамматическими заимствованиями началась несколькими десятилетиями позднее), тем более что Кантемиру, прекрасно знавшему старославянский и древнюю словесность, вероятно, были известны и случаи замены дательного самостоятельного кратким несогласованным причастием в старорусских текстах, так что независимый деепричастный оборот не казался чуждым духу нового «простого» языка российского.

Конструкции с независимыми обособлениями, как когда-то дательный самостоятельный, выражают различные оттенки отношений обусловленности, чаще всего причинное значение. Являясь более экономным средством выражения в сравнении с придаточными частями сложноподчиненных предложений, обособленные синтагмы позволяют вынести каузацию на сильную начальную позицию в предложении (в то время как придаточные причины обычно постпозитивны при прямом порядке словорасположения), превратив фрагмент текста с оборотом или рядом оборотов в своеобразную «историю жизненных исканий», «диалектику души», в «экспозиционный» или «ретроспективный» контекст. Особенно ярко это проявляется в романтических элегиях: *Свободный наконец от суетных надежд, От беспокойных снов, от ветреных желаний, Испив безвременно всю чашу испытаний*, Не призрак счастья, но счастье нужно **мне** (Баратынский, 1989, с. 76); *Виновен я: на балах городских, Среди толпы, весельем оживленной, При гуле струн, в безумном вальсе мча То Делию, то Дафну, то Лилету И всем троим готовый сгоряча Произнести по страстному обету, Касаясь душистых их кудрей Лицом моим, объемя жадной дланью Их стройный стан*, – так! в памяти моей Уж не было подруги прежних дней... (Баратынский, 1989, с. 116); *Израилице судьбы, волнуемый страстями*, Как ярым вихрем лист, – ужасный жребий твой Бороться с горестью, болезнями и собой! (Жуковский, 1959, т. 1, с. 25). Реже оборот формирует «перспективный» контекст: *Шести досток жилаец уединенный, Не зная ничего, оставленный, забвенный*, Ни славы зов, ни голос твой Не возмутит надежный мой покой!.. (Лермонтов, 1989, т. 1, с. 241).

В поэтических текстах конца XVIII – первой половины XIX в. иногда используются аналитические конструкции с сегментом, формально не уподобленным последующему местоимению, – именительный представления в терминах А. М. Пешковского): *Сократ ли, истины учитель, Или правдивый Аристид*, – Мне все **их** имена почтенны... (Державин, 1985, с. 144); *Молитвы!.. нет тому в них нужды, Кто мудрыми боготворим...* (Дмитриев, 1967, с. 382); *Эмма, то, что миновало, Как тому любовью быть!* (Жуковский, 1959, т. 1, с. 322); *...О кудри мягки, их дыханье Благоуханней пышных роз...* (Дмитриев, 1967, с. 156). Вероятно, сегменты, не согласованные с анафорическими местоимениями, также распространились под влиянием французской поэзии. В русской разговорной речи такое вынесение на первое место именительного темы, соотносимого с косвенно-падежной формой местоимения, иногда встречается [PPP, 1973, с. 243], примеры подобных конструкций отмечены еще в берестяных грамотах как не книжном регистре древнерусского языка [Зализняк, 2004, с. 471], но в целом подобное «асинтаксически характеризваемое... нетипично для русского языка» [ТФГ, 1992, с. 206].

Итак, предварительные итоги анализа грамматически независимых оборотов в русской поэтической речи середины XVIII – первой трети XIX в. позволяет прийти к следующим заключениям:

1) на протяжении периода, когда судьбы русского литературного языка и поэтического слога были связаны наиболее тесно (в силу того, что в литературе лидирующее, главенствующее положение занимали именно поэтические жанры), происходили два тесно взаимосвязанных процесса: окончательного выхода из употребления конструкции «дательный самостоятельный» и вхождения в язык под влиянием французского синтаксиса целого спектра абсолютных обособленных групп;

2) употребление независимого деепричастного оборота было поддержано давней славянской традицией дательного самостоятельного, уже в старорусскую эпоху часто заменявшегося на оборот с застывшим активным причастным нечленным номинативом (деепричастием), что обусловило большую активность абсолютного функционирования именно деепричастных синтагм на фоне других, спорадически только используемых, независимых оборотов;

3) история независимых оборотов демонстрирует, с одной стороны, размах речевого эксперимента по «внедрению» в русскую речь синтаксических галлицизмов самых разных типов – причастных, адъективных, субстантивных (в виде приложений и сегментов), местоименных; в другой – узкие временные рамки этого вхождения в язык «аграмматических», т. е. нарушающих, или, точнее, разрушающих, линейную цепочку традиционных подчинительных синтетических связей, элементов, а также активное сопротивление употреблению нерусских оборотов – гораздо более интенсивное и востребованное в русском языковом сознании и вкусе карамзинской и пушкинской эпохи, чем борьба с обветшалым оборотом «дательный самостоятельный», вызывавшим у ряда поэтов ностальгические чувства (очевидно, на фоне патриотического подъема в общественном сознании во время и после наполеоновских войн);

4) независимые обособленные обороты служили целям экономного и соответствующего строгим рамкам стихотворной строки выражения значений обусловленности, конкурируя с придаточными частями: обособление, не требующее введения подчинительного союза, сразу удлиняющего строку и метрическую схему, позволяло выдвигать каузативный смысл на первый план в структуре высказывания, задавать более четкий ритм фразы, кратко выражать итоги размышлений над жизнью вообще и собственной судьбой, создавать своеобразные лирические «ретроспекции» (подобно тому, как инфинитивные ряды в поэзии обычно воплощают идею «жизненной программы», или «перспекции»), а номинативные ряды часто формируют хронологическую «экспозицию»); поэтому с уходом грамматически не привившихся на русской почве независимых обособлений более явно и интенсивно проявилась «экспансия» обстоятельственных смыслов в сферу согласованных, соответствующих русской грамматической норме, обособленных оборотов (прежде всего именных – адъективных и субстантивных, которые с 1820-х гг., наряду с атрибутивной функцией, все регулярнее начинают выражать сирконстантную семантику, в отличие от сужавших свой семантический спектр до таксисных смыслов деепричастных групп);

5) эксперименты с абсолютным обособлением – яркое свидетельство усиления тенденций к аналитизму в эволюции русского литературного языка Нового времени и – одновременно – сильного и победного сопротивления этим тенденци-

ям со стороны грамматической системы, охраняющей свои традиционные синтетические основы от чуждого влияния.

Список литературы

- Булаховский Л. А.* Русский литературный язык первой половины XIX века: фонетика, морфология, ударение, синтаксис. М.: Учпедгиз, 1954. 468 с.
- Буслаев Ф. И.* Историческая грамматика русского языка. М.: Учпедгиз, 1959. 623 с.
- Виноградов В. В.* Язык Пушкина. М.; Л.: Academia, 1935. 457 с.
- Винокур Г. О.* Русский литературный язык в первой половине XVIII века // Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959. С. 138–161.
- Живов В. М.* История языка русской письменности: В 2 т. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2017. Т. 1. 816 с.; Т. 2. 480 с.
- Живов В. М.* Язык и культура в России XVIII века. М.: Языки русской культуры, 1996. 590 с.
- Зализняк А. А.* Древненовгородский диалект. 2-е изд. М.: Языки славянской культуры, 2004. 872 с.
- ИГРЯ – Историческая грамматика русского языка: Синтаксис: Простое предложение / Под ред. В. И. Борковского. М.: Наука, 1978. 446 с.
- Ковтунова И. И.* Изменения в системе осложненного предложения // Изменения в системе простого и осложненного предложения в русском литературном языке XIX века: Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX века. М., 1964. С. 369–482.
- Листрова-Правда Ю. Т.* Отбор и употребление иноязычных вкраплений в русской литературной речи XIX века. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1986. 144 с.
- Ломоносов М. В.* Российская грамматика // Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. М.: Изд-во АН СССР, 1952. Т. 7. 997 с.
- Лотман Ю. М.* Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1975. Вып. 358. С. 203–204.
- Мещерский Н. А.* К вопросу о взаимодействии языков на уровне синтаксиса // Вопросы грамматического строя и словообразование в русских народных говорах: Межвуз. науч. сб. Петрозаводск, 1976. С. 12–20.
- Онищенко Н. К., Биккулова О. С.* Проблема деепричастной нормы и категория субъекта // Тр. Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова. М., 2016. Вып. 10: Материалы междунар. науч. конф. «Грамматические процессы и системы в синхронии и диахронии». С. 220–232.
- Патроева Н. В.* Очерки по теории и истории русского синтаксиса: Науч. электрон. изд. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2016.
- Пичхадзе А. А.* Об предикативном vs атрибутивном употреблении причастий в древнерусском: неизменяемые причастия // Тр. Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова. М., 2016. Вып. 10: Материалы междунар. науч. конф. «Грамматические процессы и системы в синхронии и диахронии». С. 499–515.
- Потебня А.* Из записок по русской грамматике. 2-е изд., испр. и доп. Харьков: Издание книжного магазина Д. Н. Полуехтова, 1888. Т. 1–2.
- ПРГ – Практическая русская грамматика. Изданная Николаем Гречем. СПб.: В типографии издателя, 1834. 526 с.

Припадчев А. А. Особенности употребления деепричастий в архаических конструкциях на материале деловой письменности XVII века // Материалы по русско-славянскому языкознанию: Сб. ст. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1979. С. 122–128.

РГ Барсова – «Российская грамматика» А. А. Барсова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. 776 с.

РГ – Русская грамматика Александра Востокова, по начертанию его же сокращенной Грамматики полнее изложенная. СПб.: Тип. И. Глазунова, 1831. 408 с.

РРР – Русская разговорная речь / Под ред. Е. А. Земской. М.: Наука, 1973. 485 с.

Соболевский С. И. Грамматика латинского языка. СПб., 2016б. 432 с.

Соболевский С. И. Древнегреческий язык. СПб., 2016а. 616 с.

ТФГ – Теория функциональной грамматики. Субъектность. Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность / неопределенность / Под ред. А. В. Бондарко. СПб.: Наука, 1992. 304 с.

Успенский Б. А. Из истории русского литературного языка XVIII – начала XIX века. Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М.: Изд-во МГУ, 1985. 215 с.

Хютль-Ворт Г. О западноевропейских элементах в русском литературном языке XVIII в. // Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточно-славянских языков: Сб. ст. М., 1974. С. 144–153.

Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. М.: ФЛИНТА: Наука, 2014. 720 с.

Večerka R. Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax / Unter Mitarbeit von F. Keller und E. Weiher. Freiburg i Br.: U. W. Weiher, 1996. Bd. 3. S. 184–186.

Worth D. S. The Dative Absolute in the Primary Chronicle: Some Observations // Harvard Ukrainian Studies. 1994. Vol. 18, № 1/2. P. 29–46.

Список источников

Баратынский Е. А. Полн. собр. стихотворений. 3-е изд. Л.: Сов. писатель, 1989. 464 с.

Вяземский П. А. Соч.: В 2 т. М.: Худож. лит. 1982. Т. 1: Стихотворения. 462 с.

Державин Г. Р. Соч. М.: Правда, 1985. 576 с.

Дмитриев И. И. Полн. собр. стихотворений. 2-е изд. Л.: Сов. писатель, 1967. 502 с.

Жуковский В. А. Собр. соч.: В 4 т. М.; Л.: Худож. лит., 1959. Т. 1. 480 с.; Т. 2. 488 с.

Кантемир А. Собрание стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1956. 547 с. (Библиотека поэта; Большая серия)

Крылов И. А. Полн. собр. соч.: В 3 т. М.: Худож. лит., 1945. 619 с.

Лермонтов М. Ю. Полн. собр. стихотворений: В 2 т. Л.: Сов. писатель, 1989. Т. 1. 688 с.; Т. 2. 688 с.

Ломоносов М. В. Полн. собр. соч.: В 11 т. М.; Л.: АН СССР, 1959. Т. 8. 1279 с.

Пушкин А. С. Соч.: В 3 т. М.: Худож. лит., 1985. Т. 1. 735 с.

Сумароков А. П. Избранные произведения. Л.: Сов. писатель, 1957. 607 с.

Тредиаковский В. К. Избранные произведения. М.; Л.: Сов. писатель, 1963. 577 с.

References

Bulakhovsky L. A. *Russkiy literaturnyy yazyk pervoy poloviny 19 veka: fonetika, morfologiya, udarenie, sintaksis* [Russian literary language of the first half of the 19th century: phonetics, morphology, stress, syntax]. Moscow, Uchpedgiz, 1954, 468 p.

Buslaev F. I. *Istoricheskaya grammatika russkogo yazyka*. [Historical grammar of the Russian language]. Moscow, Uchpedgiz, 1959, 623 p.

Istoricheskaya grammatika russkogo yazyka: Sintaksis: Prostoe predlozhenie [Historical Russian grammar: Syntax: a simple sentence]. V. I. Borkovsky (Ed.). Moscow, Nauka, 1978, 446 p.

Hüttl-Worth G. O zapadnoevropeyskikh elementakh v russkom literaturnom yazyke 18 v. [On the Western European elements in the Russian literary language of the 18th century]. In: *Voprosy istoricheskoy leksikologii i leksikografii vostochno-slavyanskikh yazykov: Sb. st.* [Questions of historical lexicology and lexicography of East Slavic languages]. Moscow, 1974, pp. 144–153.

Kovtunova I. I. Izmeneniya v sisteme oslozhnennogo predlozheniya [Changes in the system of complicated sentences]. In: *Izmeneniya v sisteme prostogo i oslozhnennogo predlozheniya v russkom literaturnom yazyke 19 veka: Ocherki po istoricheskoy grammatike russkogo literaturnogo yazyka 19 veka* [Changes in the system of simple and complicated sentences in the Russian literary language of the 19th century: Essays on the historical grammar of the Russian literary language of the 19th century]. Moscow, 1964, pp. 369–482.

Listrova-Pravda Yu. T. *Otbor i upotreblenie inoyazychnykh vkrapleniy v russkoy literaturnoy rechi 19 veka* [Selection and usage of foreign-language inclusions in Russian literary speech of the 19th century]. Voronezh, VSU Publ., 1986, 144 p.

Lotman Yu. M. Spory o yazyke v nachale 19 v. kak fakt russkoy kul'tury [The controversy about the language in the early 19th century as a fact of Russian culture]. *Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis*. 1975, iss. 358, pp. 203–204.

Meshchersky N. A. K voprosu o vzaimodeystvii yazykov na urovne sintaksisa [To the question on the languages interaction on syntax level]. In: *Voprosy grammaticheskogo stroya i slovoobrazovanie v russkikh narodnykh govorakh: Mezhev. nauch. sb.* [Problems of grammar and word-formation in Russian colloquialisms: Coll. of interuniv. sci. art.]. Petrozavodsk, 1976, pp. 12–20.

Onipenko N. K., Bikkulova O. S. Problema deeprichastnoy normy i kategoriya sub"ekta [The problem of participial norms and the category of the subject]. In: *Tr. In-ta russkogo yazyka im. V. V. Vinogradova. Vyp. 10: Materialy mezhdunar. nauch. konf. "Grammaticheskie protsessy i sistemy v sinkhronii i diakhronii"* [The Proceedings of the Institute of the Russian Language named after V. V. B. Vinogradov. Iss. 10: Proceedings of the International Scientific Conference "Grammatical Processes and Systems in Synchrony and Diachrony"]. Moscow, 2016, pp. 220–232.

Patroeva N. V. *Ocherki po teorii i istorii russkogo sintaksisa* [Essays on the theory and history of Russian syntax]. Petrozavodsk, PetrSU Publ. House, 2016, pp. 16–22.

Pichkhadze A. A. Ob predikativnom vs. atributivnom upotreblenii prichastiy v drevnerusskom: neizmenyaemye prichastiya [About predicative vs. attributive use of participles in Old Russian: unchangeable participles]. In: *Tr. In-ta russkogo yazyka im. V. V. Vinogradova. Vyp. 10: Materialy mezhdunar. nauch. konf. "Grammaticheskie protsessy i sistemy v sinkhronii i diakhronii"* [The Proceedings of the Institute of the Russian Language named after V. V. B. Vinogradov. Iss. 10: Proceedings of the International Scientific Conference "Grammatical Processes and Systems in Synchrony and Diachrony"]. Moscow, 2016, pp. 499–515.

Prakticheskaya russkaya grammatika. Izdannaya Nikolaem Grechem [Practical Russian grammar. Published by Nicholas Grech]. St. Petersburg, V tipografii izdatelya, 1834, 526 p.

- Potebnaya A. *Iz zapisok po russkoy grammatike* [From the notes on Russian grammar]. 2nd ed., rev. and suppl. Kharkov, Izd. kn. magazina D. N. Poluekhova, 1888.
- Pripadchev A. A. Osobennosti upotrebleniya deeprichastiy v arkhaischeskikh konstruktsiyakh na materiale delovoy pis'mennosti 17 veka [Features of the use of verbal participations in archaic constructions on the material of business writing of the 17th century]. In: *Materialy po russko-slavyanskomu yazykoznaniiyu: Sb. st.* [Materials on Russian-Slavonic linguistics: Coll. art.]. Voronezh, VSU Publ., 1979, pp. 122–128.
- Russkaya grammatika Aleksandra Vostokova, po nachertaniyu ego zhe sokrashchenoy Grammatiki polnee izlozhennaya* [The Russian grammar of Alexander Vostokov, according to the outline of his own abbreviated Grammar, more fully expounded]. St. Petersburg, Tip. I. Glazunova, 1831, 408 p.
- “*Rossiyskaya grammatika*” A. A. Barsova [“Russian grammar” by A. A. Barsov]. Moscow, MSU Publ., 1981, 776 p.
- Russkaya razgovornaya rech'* [Russian colloquial speech]. E. A. Zemsky (Ed.). Moscow, Nauka, 1973, 485 p.
- Shahmatov A. A. *Sintaksis russkogo yazyka* [The syntax of the Russian language]. Moscow, FLINTA, Nauka, 2014, 720 p.
- Sobolevsky S. I. *Drevnegrecheskiy yazyk* [Ancient Greek language]. St. Petersburg, 2016a, 616 p.
- Sobolevsky S. I. *Grammatika latinskogo yazyka* [Latin grammar]. St. Petersburg, 2016, 432 p.
- Teoriya funktsional'noy grammatiki. Sub"ektnost'. Ob"ektnost'. Kommunikativnaya perspektiva vyskazyvaniya. Opredelennost'/neopredelennost'* [Theory of functional grammar. Subjectivity/objectivity. Communicative perspective of the statement. Certainty/uncertainty]. A. V. Bondarko (Ed.). St. Petersburg, Nauka, 1992, 304 p.
- Uspensky B. A. *Iz istorii russkogo literaturnogo yazyka 18 – nachala 19 veka. Yazykovaya programma Karamzina i ee istoricheskie korni* [From the history of the Russian literary language of the 18th – beginning of the 19th century. Karamzin's language program and its historical roots]. Moscow, MSU Publ. 1985, 215 p.
- Vinogradov V. V. *Yazyk Pushkina* [The language of Pushkin]. Moscow, Leningrad, Academia, 1935, 457 p.
- Vinokur G. O. Russkiy literaturnyy yazyk v pervoy polovine 18 veka [Russian literary language in the first half of the 18th century]. In: Vinokur G. O. *Izbrannye raboty po russkomu yazyku* [Selected works on the Russian language]. Moscow, 1959, 138–161 pp.
- Zaliznyak A. A. *Drevnenovgorodskiy dialekt* [Old Novgorod dialect]. 2nd. ed., Moscow, LRC Publishing House, 2004, 872 p.
- Zhivov V. M. *Istoriya yazyka russkoy pis'mennosti: V 2 t.* [History of the Russian language: in 2 vols]. Moscow, Russkiy fond sodeystviya obrazovaniyu i nauke, 2017, vol. 1, 816 p.; vol. 2, 480 p.
- Zhivov V. M. *Yazyk i kul'tura v Rossii 18 veka* [Language and Culture in Russia of the 18th Century]. Moscow, LRC Publishing House, 1996, 590 p.
- Večerka R. *Altkirchenslavische (Altbulgarische) Syntax* [Old Slavic (Old Bulgarian) syntax]. F. Keller, E. Weiher (Comps). Freiburg i. Br. : U.W. Weiher, 1996, vol. 3, pp. 184–186.
- Worth D. S. The Dative Absolute in the Primary Chronicle: Some Observations. *Harvard Ukrainian Studies*. 1994, vol. 18, no. 1/2, pp. 29–46.

List of sources

- Baratynsky E. A. *Polnoe sobranie stikhotvorenyy* [Complete poems]. 3rd ed. Leningrad, Sov. pisatel', 1989, 464 p.
- Derzhavin G. R. *Sochineniya* [Works]. Moscow, Pravda, 1985, 576 p.
- Dmitriev I. I. *Polnoe sobranie stikhotvorenyy* [Complete poems]. 2nd. ed. Leningrad, Sov. pisate', 1967, 502 p.
- Kantemir A. *Sobranie stikhotvorenyy* [Collected poems]. Leningrad, Sov. pisatel', 1956, 547 p. (Biblioteka poeta; Bol'shaya seriya [Poet's library; Large series])
- Krylov I. A. *Polnoe sobranie soch.: V 3 t.* [Complete works: in 3 vols]. Moscow, Khudozh. lit., 1945, 619 p.
- Lermontov M. Yu. *Poln. sobr. stikhotvorenyy: V 2 t.* [Full collected poems: in 2 vols]. Leningrad, Sov. pisatel', 1989, vol. 1, 688 p.; vol. 2, 688 p.
- Lomonosov M. V. *Poln. sobr. soch.: V 11 t.* [Complete works: in 11 vols]. Moscow, Leningrad, AN SSSR, 1959, vol. 8, 1279 p.
- Pushkin A. S. *Soch.: V 3 t.* [Works: in 3 vols]. Moscow, Khudozh. lit., 1985, vol. 1, 735 p.
- Sumarokov A. P. *Izbrannye proizvedeniya* [Selected works]. Leningrad, Sov. pisatel', 1957, 607 p.
- Trediakovsky V. K. *Izbrannye proizvedeniya* [Selected works]. Moscow, Leningrad, Sov. pisatel', 1963, 577 p.
- Vyazemsky P. A. *Soch.: V 2 t.* [Works: in 2 vols]. Moscow, Khudozh. lit., 1982, vol. 1: Stikhotvoreniya [Poems], 462 p.
- Zhukovsky V. A. *Sobranie sochineniy: v 4 t.* [Coll. works: in 4 vols]. Moscow, Leningrad, Khudozh. lit., 1959, vol. 1, 480 p.; vol. 2, 488 p.

Сведения об авторе

Патроева Наталья Викторовна – доктор филологических наук, профессор, ведущий кафедрой русского языка Петрозаводского государственного университета (Петрозаводск, Россия)

nvpatr@list.ru
ORCID 0000-0003-3836-6393

Information about the author

Natalia V. Patroeva – Doctor of Philology, Professor, Head of Department of Russian Language at the Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russian Federation)

nvpatr@list.ru
ORCID 0000-0003-3836-6393

УДК 81'42
DOI 10.17223/18137083/74/24

Осмысление жертвоприношения: дискурсивные векторы оценки

В. И. Карасик, М. С. Милованова

*Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина
Москва, Россия*

Аннотация

Рассматривается концептуализация жертвоприношения и жертвы в языковом сознании. Идея жертвоприношения отражает взаимодействие человека и высшей силы. Осмысление жертвы в понятийном плане акцентирует прежде всего цель и способы осуществления этого сакрального действия, общее направление развития этой идеи состоит в десакрализации жертвы. Выделяются четыре типовых субъекта жертвоприношения: 1) высшая сила, 2) тот, кем жертвуют, 3) тот, кто осуществляет этот поступок, 4) те, кто при этом присутствует или кому об этом рассказывают. Дискурсивные векторы осмысления жертвоприношения акцентируют его сакральную, героическую либо обиходную сторону. В образном измерении раскрывается необходимость жертвы, при этом противопоставляется необходимость и одобрение жертвы в религиозном дискурсе и ее критическое осмысление в обиходном сознании. В нарративном плане сюжеты о жертвоприношении подчеркивают его неизбежность. Ценностное осмысление жертвы в афористике акцентирует моральную важность самопожертвования ради высокой цели и его сомнительность в иных обстоятельствах.

Ключевые слова

жертвоприношение, жертва, концепт, сакральный дискурс, обиходный дискурс

Благодарности

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, научный проект № 19-012-00609 А «Современная российская аксиосфера: семантическая и прагматическая трансформация русского культурного кода»

Для цитирования

Карасик В. И., Милованова М. С. Осмысление жертвоприношения: дискурсивные векторы оценки // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 321–336. DOI 10.17223/18137083/74/24

Conceptualization of sacrifice: discursive vectors of evaluation

V. I. Karasik, M. S. Milovanova

*Pushkin State Russian Language Institute
Moscow, Russian Federation*

Abstract

The paper deals with understanding a sacrifice in linguistic consciousness. The idea of sacrifice reflects the interaction between man and a higher power. The essence of this notion is the

© В. И. Карасик, М. С. Милованова, 2021

ISSN 1813-7083
Сибирский филологический журнал. 2021. № 1
Siberian Journal of Philology, 2021, no. 1

objective and ways of implementing sacrifice and the general direction of its understanding corresponds to its rationalization and, consequently, desacralization. The research material was taken from Russian and English dictionaries, National corpora of the Russian and the English languages, collections of aphorisms. The verbal explanation of the concept “sacrifice” includes five components: 1) the subject who performs a sacral act; 2) the object of sacrifice, usually a living being; 3) the objective of the action – propitiation of a supreme force or demonstration of veneration and awe; 4) the cause of action – understanding of one’s sins and the divine greatness; 5) the mode of action – giving a certain object or a living being by means of its mortification to a God. Four typical sacrifice subjects may be identified: the supreme force, which may coincide with people or ideas, the victim, the actor, and the audience. The idea of sacrifice is closely connected to the ideas of worship, trial, and heroism. Discursive vectors of conceptualization of sacrifice emphasize its sacral, or heroic, or habitual meaning. The imaginative (figurative) aspect of sacrifice shows its necessity and approval in religious discourse and its critical understanding in everyday communication. The evaluative dimension of sacrifice, as presented in aphorisms, stresses its moral importance (especially in the case of self-sacrifice) and its disputability in other circumstances.

Keywords

sacrifice, victim, concept, sacral discourse, everyday discourse

Acknowledgments

The research was funded by the Russian Foundation for Humanities, project No. 19-012-00609 A. (Modern Russian axiosphere: semantic and pragmatic transformation of the Russian cultural code)

For citation

Karasik V. I., Milovanova M. S. Conceptualization of sacrifice: discursive vectors of evaluation. *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 321–336. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/24

Введение

Концептуализация реальности в языковом сознании отражает познавательные, практические и коммуникативные потребности людей. В этом плане картина мира представляет собой инструмент адаптации индивида и общества к меняющейся действительности. Фрагменты этой действительности выделяются на основании их значимости для конкретного общества в конкретных природно-географических и социально-исторических условиях его проживания. Такие фрагменты осмысливаются как концепты – многомерные кванты переживаемого опыта, у которых можно выделить понятийную, образную и ценностную стороны [Воркачев, 2014; 2019; Гак, 1994; Карасик, 2004; Колесов, 2019; Кононова, 2010; Красавский, 2008; Пименова, 2007; Слышкин, 2004; Степанов, 1997; Стернин, 2008]. В ряду лингвокультурных концептов выделяются ментальные образования, содержанием которых является символическое действие. К числу таких единиц относится жертвоприношение – изначально сакральное действие, состоящее в ритуальной передаче божеству чего-либо ценного, а затем совершение поступка, состоящего в отказе от чего-либо ради высшей цели.

Цель работы состоит в выявлении понимания жертвоприношения в религиозном и обиходном сознании. Предполагается, что осмысление жертвоприношения специфично для соответствующих типов дискурса, при этом обиходное сознание рассматривается как совокупность различных ситуативно обусловленных представлений и установок поведения, противоположных религиозному мировосприятию. Дополнительной задачей исследования является проверка предположения об универсальности понимания жертвоприношения в русской и англоязычной лингвокультурах.

В качестве материала исследования были взяты данные толковых словарей и справочников, материалы Национального корпуса русского языка (ruscorpora.ru) и электронной базы «Библиотека лексикографа» (сост. А. А. Бурькин), Британского национального корпуса (English-Corpora.org), сборники пословиц и афоризмов. Для обеспечения многомерного понимания жертвоприношения проанализированы данные словарей, текстовые фрагменты, в которых содержатся описания этого действия и его участников, сюжеты мифологии и художественной литературы, а также афоризмы, выражающие оценку этого действия.

Понятийные характеристики жертвоприношения

Понятийное измерение концепта состоит в определении признаков его содержания, зафиксированных в словарных дефинициях, в построении его структурной модели в виде фрейма, в установлении его исходного смысла, зафиксированного во внутренней форме слова, обозначающего этот концепт, в анализе логики его развития и определении его парадигматического контекста – близких и оппозитивных концептов, уточняющих его семантику.

Обратившись к толковым словарям русского и английского языков, получаем следующую информацию.

Жертвоприношение – ‘обряд принесения жертвы’ [БАС, 1950–1965]; жертва – ‘1) предмет или живое существо (обычно убиваемое), приносимые в дар божеству по обрядам некоторых религий; 2) действие по первому значению глагола «жертвовать» (совершать жертвоприношение божеству); 3) (устар.) добровольное приношение; дар, 4) отказ от личных целей, прав, выгод и т. п. в пользу кого-, чего-либо; самопожертвование; 5) кто-либо пострадавший, потерпевший, погибший от несчастного случая, злого умысла и т. п.’ [Там же].

Sacrifice – ‘1. Primarily, the slaughter of an animal (often including the subsequent consumption of it by fire) as an offering to God or a deity. Hence, in wider sense, the surrender to God or a deity, for the purpose of propitiation or homage, of some object of possession. Also applied fig. to the offering of prayer, thanksgiving, penitence, submission, or the like. In the primary use, a ‘sacrifice’ implies an ‘altar’ on which the victim is placed. Hence the figurative uses are often associated with references to a metaphorical altar. 2. That which is offered in sacrifice; a victim immolated on the altar; anything (material or immaterial) offered to God or a deity as an act of propitiation or homage. 3. Theol. The offering by Christ of Himself to the Father as a propitiatory victim in his voluntary immolation upon the cross; the Crucifixion in its sacrificial character. 4. The destruction or surrender of something valued or desired for the sake of something having, or regarded as having, a higher or a more pressing claim; the loss entailed by devotion to some other interest; also, the thing so devoted or surrendered. Cf. self-sacrifice. A victim; one sacrificed to the will of another; also, a person or thing that falls into the power of an enemy or a destructive agency. Now rare. 5. A loss incurred in selling something below its value for the sake of getting rid of it’ [COD, 1995].

Анализ приведенных дефиниций из авторитетных словарей русского и английского языков показывает, что признаковый состав рассматриваемого концепта включает 1) субъекта, совершающего символическое действие; 2) объект, приносимый в дар божеству (обычно живое существо, в Оксфордском словаре отдельно выделено самопожертвование Христа); 3) цель действия – умилоствление божества либо демонстрация благоговения; 4) причина действия – осознание своих грехов и величия божества; 5) способ действия – передача в дар божеству предмета либо живого существа путем его умерщвления. Это действие, как показано

в словарных определениях, расширительно осмысливается в виде добровольной потери чего-либо (включая свою жизнь) ради более высоких или иных целей и в виде уточнения объекта как лица, которому выпали страдания.

В этимологических словарях показаны исходные идеи в осмыслении жертвоприношения. В индоевропейских языках, по наблюдениям К. Д. Бака, внутренней формой исходного представления, лежащего в основе данного концепта, являются действия «приносить», «предлагать», «поклоняться», «восхвалять», «сжигать» [Buck, 1988, p. 1467–1469]. Слово «жертва» в русском языке этимологически толкуется как производное от идеи восхваления [Черных, 1999, с. 300] либо сожжения [Цыганенко, 1989, с. 129]. Английское «sacrifice» восходит к латинскому словосочетанию «sacrum facere» – «делать что-либо святым». Sacrum – “dedicated to a divinity, holy, sacred” [Klein, 1966, p. 1371]. В семитских языках консонантный корень слов, называющих жертвоприношение [krbn], означает «приближение (к божеству)». В китайской иероглифике идея жертвоприношения уточняется следующим образом: 牺牲 xī shēng – жертвенные животные для жертвоприношения и ритуала (牺 – животное без пятен, 牲 – животное без изъянов). Как можно видеть, номинируются цель, способ и объект жертвоприношения.

Осмысление жертвоприношения как сакрального действия

В религиозном дискурсе идея жертвоприношения неразрывно связана с идеей служения Богу. Впервые в Библии о жертвоприношении говорится в сказании о Каине и Авеле. Сказано, что братья совершили символическое жертвоприношение как дар Господу (сожжение плодов урожая и агнца). Это было естественным жестом выражения благодарности Создателю. Следующее жертвенное всесожжение животных и птиц (подчеркнуто – чистых существ, без изъянов) совершил Ной после того, как схлынули воды потопа. И в этом случае целью жертвоприношения является выражение благодарности Всевышнему за чудесное спасение. Подобные ритуальные жертвоприношения часто упоминаются в Библии. Третье значимое жертвоприношение было проверкой – испытанием на верность Богу (жертвоприношение Авраама, которому велено было заколоть своего сына). В последний момент объект жертвоприношения подвергся замене – вместо юноши был взят овец, запутавшийся в чаще рогами. В Священном писании не говорится о том, что чувствовали главные персонажи этого события, но очевидно, что его существенным компонентом становится страдание. Отметим, что в данном случае речь не идет об искуплении грехов. Тема такого искупления становится ведущей в Новом Завете. Таким образом, в религиозном дискурсе выделяются три типа жертвоприношения – ритуальное, проверочное и искупительное, и соответственно три типа жертвы – нечто, 1) приносимое в дар, 2) демонстрируемое как отказ от самого ценного и 3) совершаемое как плата за прегрешения (в том числе и чужие).

Отметим особый тип жертвы – самопожертвование. Этот поступок детально представлен в мифологии и религиозном дискурсе. Прометей жертвует собой, похищая огонь у богов и обрекая себя за это на вечные муки. Мученическая смерть Христа – самопожертвование ради очищения человечества. В самопожертвовании акцентируются три момента: его цель, героический пафос и катарсис, возникающий у слушателей, зрителей или читателей в результате сопереживания.

Мифологические сюжеты жертвоприношения показаны в библейском сказании о военачальнике Иеффае, который дал клятву принести в жертву Богу в случае успешного завершения войны первого, кто выбежит ему навстречу из дворца,

и первой выбежала к нему его любимая дочь. Аналогичный сюжет разворачивается в «Илиаде»: царь Агамемнон дал клятву принести в жертву богине Артемиде свою дочь Ифигению ради успешного завершения войны. В этих сюжетах раскрывается смысл жертвы как сакрального действия, суть которого состоит в отказе от самого ценного и любимого. Мифологическое сознание постулирует необходимость жертвы. При этом показано, что попытки как-то обхитрить судьбу заканчиваются плачевно.

Жертвоприношение и жертвенность неоднократно были предметом осмысления в художественной литературе. Символом самопожертвования стал Данко, персонаж известного сюжета из рассказа М. Горького, вырвавший сердце из груди, чтобы его пламенем осветить путь людям. Развернутый пример размышления и переживания о жертве и жертвоприношении дан в романе Л. Н. Толстого «Воскресение». Его главная героиня Катюша Маслова оказывается жертвой судьбы, а Нехлюдов, ставший причиной ее последующего падения, проявляет намерение совершить искупительную жертву, женившись на падшей женщине, которую приговорили к каторге. Н. А. Ашихманова [2015], рассматривая жертвоприношение как сюжетный мотив в произведениях художественной литературы и кинематографии, отмечает, что в его основе лежит идея о приобретении чего-либо через потерю чего-либо.

Таким образом, идея сакральной жертвенности осмысливается в связи с идеей поклонения, испытания и героизма. Жертвоприношение предполагает выделение четырех субъектов этого поступка: 1) высшая сила, которой приносится жертва, в качестве этой силы обычно фигурирует божество, но это могут быть и люди, ради которых совершается жертвоприношение; 2) собственно жертва, то, что приносится в жертву, строго говоря, это объект жертвоприношения, о его субъектности можно говорить в случаях самопожертвования или его одушевленности; 3) тот, кто осуществляет жертвоприношение, жрец, совершающий это сакральное действие; 4) адресаты, присутствующие при жертвоприношении либо узнающие о нем.

Осмысление жертвы в обиходном сознании

Для выявления осмысления жертвы в светском дискурсе были проанализированы примеры из Национального корпуса русского языка.

В публицистических текстах уточняются обстоятельства, приводящие к жертвам.

Ещё одна новинка теоретиков «новой волны» состоит в пересмотре понятия победы: оказывается, теперь главная стратегическая цель – уничтожение экономики, энергетики, мирного населения, после чего жертва агрессии должна капитулировать (М. Гареев);

Каждый день войны – это новая жертва (Анон.);

Жертва ограбления не растерялась и устремилась в погоню (Ю. Викторов).

Речь идет о жертвах войны и разбойного нападения.

В расширительном плане такие обстоятельства включают типичные пороки и недостатки людей:

Есть и другой скоропалительный ответ: клоун Мусин – жертва пьянства (И. Кио);

Та прыгнула с мостовой на тротуар, стремясь скрыться в подъезде, но вытекавшая публика преградила ей путь, и бедная жертва своего легкомыслия и страсти к нарядам, обманутая фирмой проклятого Фагота, мечтала только об одном – провалиться сквозь землю (М. Булгаков);

Вампир – заложник обстоятельств и жертва собственной страсти (Ф. Марченко).

В таком понимании жертва – это виновник неблагоприятного развития событий. Выделяется ученическое понимание жертвы как человека, которому не повезло:

Выбранная жертва подходит к доске, и Стрепетов вручает ей мел (В. Маканин);

Сразу после последнего урока намеченная жертва мчится стремглав домой – насилие прекрасно ритуализировано (С. Тарасова);

В голове возникла гнетущая мысль, что все ученики этой проклятой школы знали, что она всего лишь жертва, которую обманом затащили сюда, чтобы продать (П. Волошина).

Виновниками ситуации оказываются те, кто обижает беззащитных.

В художественном тексте встречаются религиозные типы осмысления жертвы:

– Это правда, – прошептал Грым. – Вы жертва, принесенная для сохранения цивилизации. Клапан, через который выходят дурные чувства человечества... (В. Пелевин).

Цель жертвоприношения – благо для сообщества.

Противопоставляются основные актанты таких ситуаций:

Он не палач, – утверждает автор, – скорее уж жертва (Ю. Рахаева);

Самая модная программка, ток-шоу, игра, или что там еще, все равно должны фиксировать архетип, мужик – баба, убийца – жертва, предатель – герой – вот они, омытые дождями и ветрами веков, просоленные крестовинки (М. Кучерская);

Убийцы, говорят, первым делом сообщают, что жертва вела себя нагло и вызывающе (Н. Щербак).

Жертве противопоставляются убийцы и палачи.

Вместе с тем участниками таких ситуаций могут быть и те, кто приходит жертве на помощь:

Став взрослой, Ольга продолжает разыгрывать сценарий «преследователь – жертва – спасатель» (М. Рогачев);

Следовательно, обязательно нужен убийца, потом тот, кого он убивает – жертва, и фигура, условно называемая мстителем и правдолюбом (С. Есин).

Функции таких помощников выполняют спасатели и мстители.

В текстовых примерах видны типичные характеристики поведения жертвы – покорность, беззащитность и обречённость:

Красотой для Гоголя была его Катерина, бледная и обречённая жертва колдуна, это была его избитая панночка, его измученная голодом полячка (И. Анненский);

Он не баран, не тупая покорная жертва (А. Иванов).

Обратим внимание на то, что в отличие от религиозного дискурса в обиходном общении смирение не приветствуется.

Жертвенность в ряде случаев однозначно осуждается:

Страшным оскорблением у школьников (и у предпринимателей) является лексема *лох* – «дурак; неполноценная личность» (в арго – «жертва преступления; дурак») (М. Грачев).

Иначе говоря, человек не имеет права становиться жертвой. Именно такое осмысление жертвенности отражено в названии известного романа Ф. М. Достоевского «Идиот». Классик приводит читателя к переосмыслению такой оценки.

Важным моментом в описании жертвы является ее неведение, неподготовленность к неблагоприятному развитию событий:

...страшнее лагеря дорога, эшелон, там всеисильны уголовники, они раздевают, отбирают продукты, проигрывают жизнь политических в карты, проигравший убивает человека ножом, а жертва даже не знает до последней минуты, что её жизнь разыграли в карты... (В. Гроссман);

Попробуй поймай их за руку, когда ничто ещё не предвещает беды и намеченная жертва безмятежно ходит по земле, строя планы, которым не дано осуществиться (А. Валентинов).

Главное эмоциональное состояние жертвы – парализующий страх:

Виновник возможной аварии и ее потенциальная жертва глядят друг на друга через лобовые стекла – ни мыслей, ни чувств, только холодная испарина страха (А. Архангельский).

Наряду со страхом жертва ассоциируется с болью или утратой самого ценного:

Жертва – это как отрезать у себя кусок сердца, – сказал человек (А. Григоренко).

Соответственно, названы способы преодоления такого состояния:

Русский крестьянин, хорошо понимающий, что он – жертва социальной неправды («хлеб сеем да робим, а сами голодом сидим»), не только не проклинает обидчиков, но говорит о своей вековой обиде, как о чём-то забавном, с добродушной улыбкой, со смехом! (К. Чуковский);

После того как жертва введена в состояние сильного смятения, используются всего два приема: во-первых, решение требуется принять немедленно; во-вторых, путь к спасению чрезвычайно прост (А. Тхостов).

Юмор и рационализация ситуации выступают надежными средствами выхода из обреченной жертвенности.

Отношение к жертве может раскрывать не лучшие качества людей:

Мы отвечаем: «пиллор» – это позорный столб, он стоит на людном перекрестке, к нему сыромятными ремнями привязывается трепещущая жертва, каковая осыпается плевками со стороны пересекающихся и завихряющихся толп честного народа (В. Аксёнов).

Некоторые испытывают злорадство, имея возможность безнаказанно унижить беззащитных.

Жертва и хищник могут меняться ролями:

Одним словом, что должна делать юстиция, если жертва казнит своего палача? (Ю. Домбровский);

Больше всего его забавляло то, что стоявший перед ним бритоголовый, наверняка считавший себя сильным и страшным, понятия не имел о том, что он уже не охотник, а жертва (А. Геласимов);

И жертва в гневе превращается в диктатора (С. Денисова).

Образы жертвы типичны в описании природных инстинктов:

Даже будучи сытой, кошка бросается на птицу с перебитым крылом, потому что так устроена кошка и все предыдущие ее поколения, потому что птица ведет себя как жертва, а сладость расправы над жертвой у охотника сильнее голода и требовательнее похоти (Е. Водолазкин);

Такая модель игрового поведения называется «хищник – жертва», она характерна и для взрослых диких кошек – львов, тигров, леопардов (И. Шейман);

Яд у кобры один из самых сильных: по действию – нервно-паралитический, то есть жертва погибает от паралича центра дыхания (С. Бакатов);

Когда неосторожная жертва приближалась к замершему в засаде хищнику, он несколько раз слегка покачивал головой, чтобы точнее определить расстояние до нее, затем следовал молниеносный снайперский бросок – и добыча оказывалась намертво схваченной (С. Мойнов).

В приведенных примерах показаны способы охоты в дикой природе.

Метафорически жертвы противопоставляются хищникам:

Конечно, самая лакомая и самая беззащитная жертва этих редакционно-издательских пауков – автор молодой и начинающий (А. Мильчин);

Обезумевшая жертва вырывалась, царапалась, но из Филиных тисков просто так не выпрыгнешь (Г. Дединский);

Здесь же тактика охоты иная: паутины нет, есть засада, рассчитанная на то, что жертва попадет не в сеть, не на крючок, а прямо в руки, то есть в лапки (Л. Прокопович).

Интересны примеры жертвы как компонента некоторой игры:

При слоне на д6 эта жертва некорректна: у белых нет подходящего поля для слона (Е. Гик);

Жертва была принята, Таня прошла испытание и была посвящена в младшие жрицы (Л. Улицкая).

В шахматной игре жертва – один из способов осуществления стратегии, направленной на достижение победы над противником. Аналогичным образом можно трактовать и сознательные ходы, направленные на выполнение различных неприятных ритуалов, требуемых для социального продвижения.

Для проверки специфики этнокультурного осмысления жертвоприношения были проанализированы его описания в англоязычной лингвокультуре.

Жертвоприношение является актом религиозного ритуала:

This was one of the great festivals and involved a sacrifice of two heifers, one ram and seven one-year-old lambs. ‘Это был один из великих праздников, включавших жертвоприношение двух телиц, барана и семи годовалых ягнят’ (здесь и далее перевод мой. – В. К.).

Цель жертвоприношения – умиловать богов:

In accordance with ancient Hawaiian tradition, you have to make some sacrifice to placate the bloodthirsty gods of the ocean. 'В соответствии с древней гавайской традицией следует принести определенное жертвоприношение, чтобы умиротворить кровожадных богов океана.'

Жертвоприношение сопряжено с обреченностью:

As the armies clash the Flagellants throw themselves into the fray in a gesture of sacrifice and doom. 'Когда армии столкнулись, флагелланты (религиозная секта самоубивающихся в Средние века. – В. К.) бросились в схватку жертвенно и обреченно.'

Уточняются характеристики жертвоприношения:

An unbloody sacrifice cannot take away sins. 'Бескровная жертва не может снять грехи.'

Жертвоприношение сопряжено с жестокостью:

I was sacrificed by ruthless hands, which took from me all that I held dear. 'Мной безжалостно пожертвовали, отняв у меня всё, что было для меня дорого.'

Жертвоприношение предполагает отказ от того, к чему привык человек:

They realise that to become a Catholic means making a tremendous sacrifice in their present lives. 'Они понимают, что стать католиком – значит пожертвовать многим в их сегодняшней жизни';

She knew there was no way out because she wasn't strong enough to sacrifice her position in society. 'Она знала, что выхода нет, поскольку ей не хватало сил пожертвовать своим положением в обществе.'

Жертвоприношение осмысливается как рациональный ход в ситуации, направленный на отказ от чего-то ради получения выгоды в дальнейшем:

...it is better to sacrifice the bonus in favour of avoiding being dragged into a broader combat. 'Лучше пожертвовать преимуществом, чтобы избежать вовлеченности в большую схватку';

...however, we tend to sacrifice long-term benefits for short-term success. 'Тем не менее, мы часто жертвуем долгосрочными плюсами ради кратковременного успеха';

I suppose if I had to make the choice, I would sacrifice skiing for the sake of the hills. 'Думаю, если бы у меня был выбор, я бы пожертвовал катанием на лыжах ради похода в горы.'

О жертве говорится в политическом контексте:

When things go badly wrong, Tory MPs and party activists call for a ritual human sacrifice. 'Когда дела идут плохо, консерваторы-парламентарии и партийные активисты требуют ритуального человеческого жертвоприношения.'

And suspicions are growing that he could be the victim of a dirty-tricks campaign. 'Растут подозрения, что он может стать жертвой грязной кампании.'

Жертвоприношение ассоциируется с решимостью и энтузиазмом:

These three young men have demonstrated a personal commitment and sacrifice which inspired them to attempt this daunting journey with enthusiasm. 'Эти трое молодых людей продемонстрировали личную решимость и жертвенность, которые вдохновили их предпринять это дерзкое путешествие с энтузиазмом.'

В расширительном смысле жертва понимается как пострадавший, при этом уточняются обстоятельства происшествия либо болезни:

A badly-injured victim of the crash is tended by rescue workers in the Amsterdam suburb. 'Жертве аварии, получившей серьезные телесные повреждения, оказали помощь спасатели из пригорода Амстердама';

Heart attack victim Jeff, 72, planned his send off down to the last detail. 'Джефф, 72-летняя жертва сердечного приступа, детально спланировал свой уход';

Doctors treated road victim Bill Healey for a broken nose and then sent him home. 'Врачи оказали помощь сломавшему нос Биллу Хили, жертве дорожного происшествия, и отпустили его домой.'

К числу таких обстоятельств относятся страх и распространенные пороки:

He had convinced himself that he had been the victim of a terror-stricken imagination. 'Он убедил себя, что стал жертвой охваченного страхом воображения';

Of all the vices which have enslaved mankind, none can reckon among its victims so many as gambling. 'Из всех пороков, поработивших человечество, ни один не охватил столько жертв, как азартные игры.'

О жертвах говорят применительно к преступлениям:

A robber got a guilty conscience when his victim Derek Ost collapsed in pain – he waited with him until the law arrived. 'У грабителя проснулась совесть, когда Дерек Ост, его жертва, упал в мучениях, и он остался с ним, пока не приехала полиция';

Mr. Langdon, can you at least guess what our murder victim might have wanted to discuss with you on the night he was killed? 'Мистер Лэнгдон, могли бы вы по крайней мере предположить, о чем убитый хотел с вами поговорить в ту ночь, когда произошло преступление?'

Таким образом, жертва осмысливается в обиходном сознании как следствие природных или социальных процессов, один из участников которых уничтожает другого; как некоторое необходимое действие, выполняемое для дальнейшего продвижения; как определенный тип пассивного поведения, часто осуждаемого, при этом отмечается, что вина за неблагоприятное развитие событий часто лежит на жертве, но вместе с тем приводятся и способы противостояния таким обстоятельствам. В повседневном поведении жертва осмысливается как необходимый выбор из нескольких вариантов, в качестве объекта в наши дни под жертвами понимаются пострадавшие от преступников, болезней, различных неблагоприятных обстоятельств. Текстовые примеры на английском языке в значительной мере совпадают по содержанию с осмыслением жертвоприношения и жертвы в русском языковом сознании.

Оценка жертвоприношения в афористике

Ценностное осмысление жертвы и жертвоприношения представляет собой определение целей, ради которых приносится жертва, а также возможных последствий жертвоприношения. Такое осмысление выражается в аксиологически эксплицитных высказываниях, т. е. в таких текстовых фрагментах, которые прямо называют те или иные нормы поведения. Такие тексты могут быть развернутыми и сжатыми, обычно в качестве материала для определения ценностного содержания того или иного концепта рассматриваются пословицы и афоризмы, содержащие наименование соответствующего концепта. Жертва и жертвоприношение не фигурируют в пословичном фонде, поскольку такое действие не относится к обиходной жизни, фиксируемой в качестве образных наставлений в пословицах. В афоризмах эта тема представлена детально и вариативно, ее осмысление относится к важным и сложным вопросам этики и религиозного миропонимания. Материал для анализа взят из сборников афоризмов на русском и английском языках и размещенных в Интернете афоризмов и сентенций (перевод с английского мой. – В. К.).

Выделяются следующие причины жертвоприношения: выполнение долга, благо родных и близких и своей Родины:

Готовность пожертвовать собой ради выполнения долга есть основа поддержания жизни (Сюнь-Цзы);

Нет выше идеи, как пожертвовать собственной жизнью, отстаивая своих братьев и свое отечество... (Ф. М. Достоевский).

Такой вид жертвы реализуется как самопожертвование и составляет стержневое содержание морального императива ставить благо других выше собственного блага.

Вместе с тем идея жертвенности уточняется в афористике в нескольких направлениях.

Следует жертвовать настоящим во имя будущего:

Высшим испытанием человеческой совести может быть готовность пожертвовать чем-то сегодня для будущих поколений, чьи слова благодарности услышать невозможно (Г. Нельсон).

Следует идти на жертвы ради движения вперед:

Человеческий прогресс не происходит автоматически и не является неизбежным... Каждый шаг к осуществлению справедливости требует жертв, страданий и борьбы, неустанного напряжения и горения души самоотверженных людей (М. Л. Кинг).

Следует идти на жертвы ради освобождения от несущественных привязанностей:

Всё, чем вы не можете пожертвовать, связывает вас, делает вас предсказуемым и слабым (М. Лоренс).

Заслуживают внимания речения, в которых осуждается формальное жертвоприношение:

Бог желает не жертв, а надежды (Теплим);

Есть семь социальных грехов: богатство, полученное без труда, удовольствия, не контролируемые совестью, знания, не служащие становлению характера, коммерция без моральной основы, наука, не ориентированная на человека, поклонение, в котором нет жертвенности, политика без принципов (Ф. Л. Дональдсон).

Целью жертвоприношения не может быть просто выполнение обряда.

Резко осуждается жертва как способ получения тех или иных житейских благ:

Богатству иных людей не стоит завидовать: они приобрели его такой ценой, которая нам не по карману, – они пожертвовали ради него покоем, здоровьем, честью, совестью. Это слишком дорого – сделка принесла бы нам лишь убытки (Ж. де Лабрюйер);

Пожертвовавший свободой ради безопасности не заслуживает ни свободы, ни безопасности (Б. Франклин);

За 750 лет до Христа Исайя имел смелость сказать, что жертвоприношения не имеют смысла, и единственное, что приносит пользу, – это чистые руки и святое сердце (Э. Ренан).

В моральном и духовном отношении жертвоприношение должно быть сорентировано только на высокие цели.

Жертвоприношение на самом деле делает человека богаче:

Иногда, жертвуя чем-то, вы не теряете это, а просто передаёте это другому (М. Элбом).

Эта идея блестяще выражена в поэме Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре»:

Что ты спрятал, то пропало, что ты отдал – то твоё.

Отмечено, что есть то, чем никогда нельзя жертвовать:

Всё меняется, но ты должен быть самим собой, поэтому будь верен себе и никогда не жертвуй тем, кто ты есть, ради кого-либо (З. Малик);

Самопожертвование? Но ведь именно себя никогда нельзя приносить в жертву (Э. Рэнд).

Эти суждения относятся к тем ситуациям, когда кто-либо отказывается от самореализации ради кого-то. Данная идея чётко выражена в Библии:

Доколе ты жив и дыхание в тебе, не заменяй себя никем (Книга премоудрости Иисуса, сына Сирахова, 33: 21).

Перед нами религиозное и психологическое обоснование права человека быть самим собой, поскольку подразумевается, что у каждого есть своя миссия в жизни, и попытка уйти от выполнения этой миссии нарушает божественное предопределение. Кроме того подобное поведение не дает возможности другому человеку быть тем, кем он хочет. По-видимому, подобные речения относятся преимущественно к родителям, которые ради своих детей сознательно перечеркивают свои стремления и возможности.

Отмечены также некоторые моменты критического осмысления жертвенного поведения:

Самопожертвование следовало бы запретить законом. Оно развращает тех, кому приносят жертву. Они всегда сбиваются с пути (О. Уайльд);

Сначала вы жертвуете собой ради тех, кого любите, а потом их же за эту жертву ненавидите. Самопожертвование – это самоубийство (Дж. Б. Шоу);

Самопожертвование дает нам возможность жертвовать другими без угрызений совести (Дж. Б. Шоу).

В этих парадоксальных высказываниях иронически оцениваются ненужные жертвы.

Заслуживает внимания грустная констатация распространенного развития событий:

Именно грешник накликает на землю бедствия, но первую жертвой бедствий оказывается всегда праведник (И. Напах);

Жертвенный ягненок знает цену овечьей солидарности (Квиллар).

Жертвами часто становятся лучшие и незащищенные.

Любимому свойственно идеализировать прошлое и положительно оценивать даже то, что привело к страданиям:

Жертва часто возвращается на место преступления, чтобы повздыхать о старом добром времени (В. Брудзинский).

В этом ироническом суждении содержится критика такого мироощущения.

Тем не менее, показано, что в обиходе некоторое самоограничение необходимо:

Хорошие манеры состоят из мелких самопожертвований (Р. У. Эмерсон).

Таким образом, ценностные характеристики в осмыслении жертвоприношения и жертвы состоят в безусловном одобрении жертвы ради высокой цели, при этом критически оцениваются формальная жертвенность, бездумное самопожертвование и жертвы как способы получения житейских благ.

Заключение

Идея жертвоприношения и жертвы в концентрированном виде отражает взаимодействие человека и высшей силы. Концептуализация жертвы в понятийном плане акцентирует прежде всего цель и способы осуществления этого сакрального действия, общее направление развития этой идеи состоит в десакрализации жертвы. В образном измерении раскрывается необходимость жертвы, при этом противопоставляется одобрение жертвы в религиозном дискурсе и ее критическое осмысление в обиходном сознании. Подтверждено предположение о том, что сакральное и обиходное понимание жертвоприношения не содержат этнокультурной специфики в русском и англоязычном сознании. В нарративном плане сюжеты о жертвоприношении подчеркивают его неизбежность. Ценностное осмысление жертвы в афористике акцентирует моральную важность самопожертвования ради высокой цели и его сомнительность в иных обстоятельствах.

Список литературы

Ашихманова Н. А. Жертвоприношение как сюжетный прием // Изв. Южного федерального университета. Филологические науки. 2015. № 4. С. 58–64.

Воркачев С. Г. Воплощение смысла: *conceptualia selecta*: Монография. Волгоград: Парадигма, 2014. 331 с.

- Воркачев С. Г.* Какою мерою мерите: идея воздаяния в лингвокультуре: Монография. Краснодар: Изд-во КубГТУ, 2019. 372 с.
- Гак В. Г.* Судьба и мудрость // Понятие судьбы в контексте разных культур. М.: Наука, 1994. С. 198–206.
- Карасик В. И.* Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М.: Гнозис, 2004. 390 с.
- Колесов В. В.* Основы концептологии. СПб.: Златоуст, 2019. 776 с.
- Кононова И. В.* Структура и языковая репрезентация британской национальной морально-этической концептосферы (в синхронии и диахронии): Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. СПб., 2010. 38 с.
- Красавский Н. А.* Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах: Монография. М.: Гнозис, 2008. 374 с.
- Пименова М. В.* Концепт *сердце*: Образ. Понятие. Символ: Монография. Кемерово: КемГУ, 2007. 500 с.
- БАС – Словарь современного русского литературного языка. В 17 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950–1965.
- Слышкин Г. Г.* Лингвокультурные концепты и метаконцепты: Монография. Волгоград: Перемена, 2004. 340 с.
- Степанов Ю. С.* Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Языки русской культуры, 1997. 824 с.
- Стернин И. А.* Описание концепта в лингвоконцептологии // Лингвоконцептология / Под ред. И. А. Стернина. Воронеж: Истоки, 2008. Вып. 1. С. 8–20.
- Цыганенко Г. П.* Этимологический словарь русского языка. Более 5000 слов. 2-е изд. Киев: Рад. шк., 1989. 511 с.
- Черных П. Я.* Историко-этимологический словарь русского языка. В 2 т. 3-е изд. М.: Рус. яз., 1999. Т. 1. 624 с.
- Buck C. D.* A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages. A Contribution to the History of Ideas. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1988. 1515 p.
- COD – The Concise Oxford Dictionary of Current English. 9th ed. 1995. On CD-ROM.
- Klein E. A.* Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language. Amsterdam: Elsevier, 1966. 1776 p.

References

- Ashikhmanova N. A. Zhertvoprinoshenie kak syuzhetnyy priem [Sacrifice as a subject plot motif]. *Proceedings of Southern Federal University. Philology*. 2015, no. 4, pp. 58–64.
- Buck C. D. *A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages. A Contribution to the History of Ideas*. Chicago and London, The University of Chicago Press, 1988, 1515 p.
- Chernykh P. Ya. *Istoriko-etimologicheskii slovar' russkogo yazyka. V 2 t. 3-e izd.* [Historical and etymological dictionary of the Russian language. In 2 vols. 3rd ed.]. Moscow, Rus. yaz. 1999, vol. 1, 624 p.
- Gak V. G. Sud'ba i mudrost' [Fate and wisdom]. In: *Ponyatie sud'by v kontekste raznykh kul'tur* [Concept of fate in the context of different cultures]. Moscow, Nauka, 1994, pp. 198–206.
- Karasik V. I. *Yazykovoy krug: lichnost', kontsepty, diskurs* [Linguistic circle: personality, concepts, discourse]. Moscow, Gnozis, 2004, 390 p.

- Klein E. A. *Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language*. Amsterdam, Elsevier, 1966, 1776 p.
- Kolesov V. V. *Osnovy kontseptologii* [Fundamentals of conceptology]. St. Petersburg, Zlatoust, 2019, 776 p.
- Kononova I. V. *Struktura i yazykovaya reprezentatsiya britanskoj natsional'noj moral'no-eticheskoy kontseptosfery (v sinkhronii i diakhronii) (v sinhronii i diahronii)* [Structure and linguistic representation of the British national moral and ethical conceptual sphere (in synchrony and diachrony)]. Abstract of Dr. philol. sci. diss. St. Petersburg, 2010, 38 p.
- Krasavskiy N. A. *Emotsional'nye kontsepty v nemetskoj i russkoj lingvokul'turakh: Monografiya* [Emotional concepts in German and Russian languages and cultures: Monograph]. Moscow, Gnozis, 2008, 374 p.
- Pimenova M. V. *Kontsept serdtse: Obraz. Ponyatie. Simvol: Monografiya* [The concept "heart": Image. Symbol: Monograph]. Kemerovo, KemSU, 2007, 500 p.
- Slovar' sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka. V 17 t.* [Dictionary of modern Russian literary language. In 17 vols]. Moscow, Leningrad, AN SSSR, 1950–1965.
- Slyshkin G. G. *Lingvokul'turnye kontsepty i metakontsepty: Monografiya* [Linguistic and cultural concepts and meta-concepts: Monograph]. Volgograd, Peremena, 2004, 340 p.
- Stepanov Yu. S. *Konstanty. Slovar' russkoj kul'tury. Opyt issledovaniya* [Constants. Dictionary of Russian culture. An attempt of investigation]. Moscow, LRC Publishing House, 1997, 824 p.
- Sternin I. A. *Opisanie kontsepta v lingvokontseptologii* [Description of a concept in conceptology]. In: *Lingvokonceptologiya* [Linguistic conceptology]. I. A. Sternin (Ed.). Voronezh, Istoki, 2008, iss. 1, pp. 8–20.
- The Concise Oxford Dictionary of Current English. 9th ed.* 1995. On CD-ROM.
- Tsyganenko G. P. *Etimologicheskij slovar' russkogo yazyka. Bolee 5000 slov. 2-e izd.* [Etymological dictionary of the Russian language. More than 5000 words. 2nd ed.]. Kiev, Rad. shk., 1989, 511 p.
- Vorkachev S. G. *Kakoyu meroyu merite: ideya vozdayaniya v lingvokul'ture: Monografiya* [What is the measure: the idea of revenge in linguoculture: Monograph]. Krasnodar, KubSTU Publ., 2019, 372 p.
- Vorkachev S. G. *Voploshchenie smysla: conceptualia selecta: Monografiya* [Implementation of meaning: Conceptualia selecta: Monograph]. Volgograd, Paradigma, 2014, 331 p.

Сведения об авторах

Карасик Владимир Ильич – доктор филологических наук, профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина (Москва, Россия)

vikarasik@pushkin.institute
ORCID 0000-0001-8306-5317

Милованова Мария Станиславовна – доктор филологических наук, профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина (Москва, Россия)

msmilovanova@pushkin.institute
ORCID 0000-0002-0204-028X

Information about the authors

Vladimir I. Karasik – Doctor of Philology, Professor of the Department of General and Russian Linguistics, Pushkin State Russian Language Institute (Moscow, Russian Federation)

vikarasik@pushkin.institute
ORCID 0000-0001-8306-5317

Maria S. Milovanova – Doctor of Philology, Professor of the Department of General and Russian Linguistics, Pushkin State Russian Language Institute (Moscow, Russian Federation)

msmilovanova@pushkin.institute
ORCID 0000-0002-0204-028X

УДК 811.161.1
DOI 10.17223/18137083/74/25

Самоидентификация людей в возрасте поздней взрослости: комплексное лингвистическое исследование

Л. О. Бутакова, Е. Н. Гуц, Н. В. Орлова, М. А. Харламова

*Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского
Омск, Россия*

Аннотация

Впервые предложена лингвистическая реконструкция самоидентификации людей в возрасте поздней взрослости с опорой на ассоциативно-вербальные и вербальные маркеры. В соответствии с гипотезой о социокультурной обусловленности геронтогенеза разграничены социальные группы информантов-женщин по количеству прожитых лет (от 60, от 75), образованию, принадлежности к городской или сельской культуре. На основе комплексной методики сбора и анализа материала выявлены особенности самоидентификации в социальной группе «женщины старше 75 лет, с высшим и средним специальным образованием, горожанки». Ассоциативные поля стимулов «пожилой человек», «пожилая женщина», «пенсионер», «пенсионерка», а также построенный по дискурсу концепт *ВОЗРАСТ* выявили сосуществование оптимистического и пессимистического сценариев переживания возраста. Обнаружены и описаны признаки, объединяющие и дифференцирующие возрастную самоидентификацию в разных социальных группах.

Ключевые слова

возраст поздней взрослости, самоидентификация, социальная группа, семантический гештальт, текстовый концепт, ассоциативно-смысловое развертывание концепта

Благодарности

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ «Пожилой человек в современных русскоязычных дискурсах: комплексное лингвистическое исследование» (№ 18-012-00507а)

Для цитирования

Бутакова Л. О., Гуц Е. Н., Орлова Н. В., Харламова М. А. Самоидентификация людей в возрасте поздней взрослости: комплексное лингвистическое исследование // Сибирский филологический журнал. 2021. № 1. С. 337–349. DOI 10.17223/18137083/74/25

Self-identification of people at the age of late adulthood: a comprehensive linguistic study

L. O. Butakova, E. N. Goots, N. V. Orlova, M. A. Kharlamova

*Dostoevsky Omsk State University
Omsk, Russian Federation*

Abstract

For the first time, a linguistic reconstruction of the self-identification of people in late adulthood is proposed. Based on the hypothesis about the sociocultural conditionality of gerontogenesis, groups of informants are delimited by the number of years lived (from 60, from 75), gender, education, and belonging to urban or rural culture. The associative experi-

© Л. О. Бутакова, Е. Н. Гуц, Н. В. Орлова, М. А. Харламова, 2021

ISSN 1813-7083
Сибирский филологический журнал. 2021. № 1
Siberian Journal of Philology, 2021, no. 1

ment, guided interviews, and participant observations allowed revealing the features of self-identification in a group of women over 75, with higher and secondary special education, urban dwellers. This group is characterized by both negative (diseases, wrinkles) and positive (rest, freedom, grandmother, assistant) components in the representation of one's age. More pessimistic is the self-identification of rural women over 75, with a secondary and lower secondary education: in this group, the discourse was studied, but no associative experiment was conducted. Women perceive the experienced age not as a stage of life but as its outcome, with a striking feature being a return to the past. Women and men over 60 years old demonstrate a wide variability of self-identification determined by the state of health, the status of working or non-working, personal characteristics. A study of the self-identification of people in late adulthood showed the effectiveness of the methods selected with regard to the sociocultural characteristics of informants. Social signs – gender, age (elderly / senile), level of education, cultural affiliation (city / village) – affect how people see themselves at their age, that is, determine the higher or lower level of uniformity of self-identification results.

Keywords

late adulthood, self-identification, social group, semantic gestalt, text concept, associative-semantic concept deployment

Acknowledgments

The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-01200507 “An elderly person in contemporary Russian-language discourses: a complex linguistic study”

For citation

Butakova L. O., Goots E. N., Orlova N. V., Kharlamova M. A. Self-identification of people at the age of late adulthood: a comprehensive linguistic study. *Siberian Journal of Philology*, 2021, no. 1, pp. 337–349. (in Russ.) DOI 10.17223/18137083/74/25

Введение

Описание самоидентификации людей в возрасте поздней взрослости составляет часть коллективного проекта, нацеленного на выявление социально-коммуникативных характеристик данной возрастной категории. Исследование ведется с двух позиций: с «внешней» стороны (имеющиеся и формируемые в том числе средствами массовой коммуникации, стереотипы, представления, оценки) и «изнутри», через описание коммуникаций и экспериментов с участием самих представителей социальной группы «поздняя взрослость». Согласно уже полученным данным, представления о пожилом человеке / старости в русскоязычном социуме отличаются высокой степенью стандартизованности [Бутакова, Викулова, 2018; Салимьянова, 2013]. Между тем широкий спектр интересов, ценностных ориентаций людей возраста поздней взрослости не позволяет однозначно говорить о «типичном пожилом», «типичном старике» [Шифрова, 2018]. Предметом настоящей статьи является один из аспектов «внутренней» реконструкции – самоидентификация разных групп пожилых женщин. Ограниченность сведений на эту тему обуславливает актуальность исследования.

Самоидентификация понимается, по М. А. Лаппо, как «конструирование личностной и социальной идентичности говорящего субъекта» [Лаппо, 2018, с. 3]. В свою очередь, идентичность трактуется как «эмоционально-интеллектуальное переживание принадлежности или, наоборот, непринадлежности к какой-либо группе или категории людей [Там же]. Особенности самоидентификации по возрасту зависят от проживаемого субъектом периода жизни [Pitti, 2017].

Поставив задачу изучения самоидентификации людей, достигших возраста поздней взрослости, мы исходили из ряда положений, обоснованных ранее в возрастной психологии и социологии. Во-первых, существует внутренняя дифферен-

циация этого периода по количеству прожитых лет: от 60 – люди пожилого возраста, от 75 – люди старческого возраста, от 90 – долгожители [Лантюхова, 2015; Психология человека..., 2002]. Во-вторых, геронтогенез в значительной степени определяется субъективными факторами, а именно особенностями личности конкретного человека [Williams, Kemper, 2010; Nalini et al., 2002; Burton et al., 2006; Краснова, 2005]. В-третьих, специфика когнитивных процессов и коммуникации зависит от социальных факторов – этнокультурных особенностей, условий жизни, образования, гендерных характеристик и т. д. [Валиева, 2012; Смородинова-Щетинина, 2010; Ермолаева, 2010]. Исходя из второго положения можно составить серию индивидуальных речевых портретов людей старше 60 лет, выявляющих систему средств самоидентификации. Исходя из первого и третьего положений возможно описание самоидентификации социальных групп, что будет показано в настоящей статье на материале, полученном от информантов-женщин.

Информанты были распределены по группам на основе общности следующих характеристик: возраст (пожилой / старческий), уровень образования, место проживания (город, село).

Реконструкция самоидентификации по возрасту осуществлялась на основе комплексной методики, включающей психолингвистические, социолингвистические, лингвокогнитивные методы.

Фактологическая база сформирована на основе трех методов сбора информации: 1) свободного ассоциативного эксперимента; 2) интервью с перечнем вопросов, прямо либо косвенно связанных с переживанием возраста; 3) включенного наблюдения, в рамках которого наблюдатель-экспериментатор выступал в роли участника разговоров. Ассоциативный эксперимент не проводился среди сельских жительниц со средним либо неполным средним образованием в силу коммуникативных особенностей информантов этой группы. Экспериментальный материал составили 40 анкет (по 20 в двух возрастных группах) с реакциями на стимулы *пожилой человек, пенсионер, пенсионерка, пожилая женщина*. Общее количество реакций – 160. Дискурсивный материал в объеме около 38 часов аудиозаписей получен от 30 информантов, распределенных по трем социальным группам (10 информантов в каждой из трех групп).

Ассоциативные поля слов-стимулов структурированы по методу семантического гештальта [Караулов, 1987]. Стимул «пожилой» предпочтен стимулу «старый» по ряду причин. Деление на пожилой и старческий возраст с фиксированными годами жизни не абсолютизируется в научном дискурсе, а лексема «пожилой» используется в разных терминологических сочетаниях. Так, в социологии разграничиваются «молодые пожилые» и «старые пожилые», но разграничение основано главным образом на физическом и психологическом состоянии: первые «бодры, полны энергии, получают удовольствие от освободившегося времени...»; вторые – «люди преклонного возраста, в том числе страдающие различными недомоганиями и болезнями» [Волков и др., 2003, с. 72–73]. Тем более неопределенным выглядит разграничение пожилых и старых в обыденном сознании. Кроме того, лексема «пожилой» по отношению к «старый» является эвфемизмом и поэтому более приемлема в эксперименте с этической точки зрения.

Реакции на вышеназванные стимулы рассматривались как проявление самоидентификации информантов по возрастному признаку.

Дискурсивный материал анализировался с опорой на категорию «текстового концепта», под которым в лингвистике понимается «фрагмент картины мира, репрезентированной в рамках некоторого текста» [Чурилина, 2003, с. 12]. В данном

случае объектом внимания стал концепт *ВОЗРАСТ*, а как тексты-дискурсы рассматривались продукты речевой деятельности информантов, принадлежащих к каждой из трех выделенных социальных групп. Использовалась методика моделирования ассоциативно-смыслового развертывания концепта, которая первоначально была применена Н. С. Болотновой и ее последователями к художественным текстам (см. [Болотнова, 2008; Бабенко, 2011] и др.), а затем апробирована на других типах текстов [Орлова О. В., 2012; Орлова Н. В., 2013]. В нашем материале ассоциативно-смысловое развертывание концепта *ВОЗРАСТ* является отражением самоидентификации субъектов речи по возрастному признаку.

Результаты исследования

В ассоциативных полях, структурированных по методу семантического гештальта, были выделены такие компоненты, как: *кто это?* (сущность), *какой (какая?)* (характеристика), *он(а) сделала / делает что?* (деятельность), *у него (у неё) есть что?* (объекты обладания), *у него (у неё) происходит что?* (события, состояния). Оценочные реакции на все стимулы разграничены с точки зрения знака оценки: получены ряды позитивных, оптимистичных (далее они помечены знаком «+»); негативных, пессимистичных («-»), амбивалентных или оценочно неопределенных («?») характеристик.

В дискурсивном материале выявлены семь направлений ассоциативно-смыслового развертывания концепта *ВОЗРАСТ*: 1) я и время / течение жизни; 2) интерес к жизни; 3) я и другие; 4) здоровье; 5) движение; 6) внешность; 7) деятельность / дело / работа. Репрезентанты большинства направлений располагаются на шкале или образуют оппозицию. Например, 'движение' может быть представлено как «никуда не хожу» или «все магазины оббегаю»; 'я и другие' – «никому теперь не нужна» и «звонят каждый день по десять раз». В разных группах направления ассоциативно-смыслового развертывания имеют специфику выражения: их репрезентанты проявляются более или менее ярко, тяготеют к позитивному либо негативному полюсу. Внутри групп имеют место индивидуальные различия.

В статье подробно показана самоидентификация в группе с признаками: женщина, старше 75 лет, имеет высшее либо среднее специальное образование, живет в городе. Результаты по другим группам привлечены для сопоставления.

Самоидентификация образованных горожанок старше 75 лет по данным свободного ассоциативного эксперимента

В реакциях на стимулы выражена позиция респондентов по отношению к социальной группе, к которой они принадлежат, к переживаемому возрасту, к условиям и обстоятельствам жизни. Семантический гештальт можно представить следующим образом.

Сущность: пенсионер – человек на отдыхе (+); пенсионерка – помощница (+), бабушка (+); бабулька (?); пожилая женщина – красотка, дама в возрасте (+); пока не старуха, ровесница, старушка (?)

Характеристика: пожилой человек – умудрённый 2, продвинутый, умница, опытный, счастливый (+); старая развалина (-); пенсионер – заслуженный, труженник (орфография сохранена. –Л. Б., Е. Г., Н. О., М. Х.), мудрый (+); далеко не пионер (-); пенсионерка – ничего не достигшая (-); пожилая женщина – статная; опытная, степенная 3, бывает красивая, умудренная (+); не интересна (-); ещё не старая (?)

Деятельность: пенсионер – *заслужил пенсию* 3 (+); пенсионерка – *заслужила пенсию* 3 (+); *дожила до пенсии* (?).

Объекты обладания: пожилой человек – *молодая душа; солидность* (+); *куча болезней* (–); пенсионерка – *болезни* (–); пожилая женщина – *степенность* 2, *хороший возраст* (+); *куча морщин* (–).

События, состояния: пенсионер – *жизнь только начинается, хорошо* (+); *новый этап жизни* 2 (?); *дожил до пенсии* (?); *дожил!* 2 (?); пенсионерка – *получила степень свободы, хорошо* (+); *наконец дожила* (?); *дожила до пенсии* (?), *другая жизнь* (?).

Как видим, оценка проживаемого возраста, ровесниц и ровесников скорее позитивна, чем негативна. «Пожилой человек» / «пенсионер» / «пенсионерка» / «пожилая женщина» имеют следующие положительные свойства (перечислены по убывающей): *заслуги* перед людьми (7); *солидность и степенность*, т. е. серьезность, прочную репутацию, достоинство (6); *мудрость, умудрённость* (5), *опыт* (2), *трудолюбие* в прошлом или настоящем (1), *ум* (1), *продвинутость* (1), т. е. умение разбираться в новых реалиях жизни; *молодую душу* (1), состояние *счастья* (1).

Возраст получает общую положительную оценку *хорошо* (3); отмечается, что жизнь в этом возрасте *только начинается* (1), человек получает *свободу* (1), *отдых* (1). Называются значимые социальные роли: является *помощницей* (1), *бабушкой* (1). Негативные характеристики указывают на плохое физическое состояние, *болезни* (3), отсутствие достижений (1), безразличие со стороны других (1). Пожилая женщина, кроме того, получает оценки со стороны внешности – как положительные *красотка, статная, бывает красивая* (3), так и отрицательные *куча морщин* (1).

Часть реакций, представленная безоценочными синонимами, перифразами, гиперонимами, дериватами стимульных слов, не выражает самоидентификации: кто это? *человек в возрасте; женщина на пенсии; какой? старый* 2, *возрастной; за 70*; у него (у неё) есть что? *возраст; он(а) сделала / делает что? пожил на свете; много прожил; много пожил, получает пенсию*; у неё происходит что? *период жизни*.

Самоидентификация образованных горожанок старше 75 лет по дискурсивным данным

В данной социальной группе ассоциативно-смысловое развертывание концепта ‘возраст’ по большинству направлений реализуется в виде оппозитивных друг другу оптимистического и пессимистического сценариев. Маркерами конкретных смыслов являются слова определенных тематических групп, эмоционально-оценочная лексика, средства выражения модальных значений:

1) ‘я и время / течение жизни’

→ молодость души → *душой я молодая; согласна / что душа не стареет*;

→ невозможность вести прежний образ жизни → *теперь на лыжах не хожу; в последнее время не читаю / мне некогда; два года как не езжу*

→ воспоминания о работе, коллегах → *до сих пор во сне веду уроки; у нас хороший был коллектив; мы о плане тогда думали / чтоб выполнить и перевыполнить*.

2) ‘интерес к жизни’

→ интерес к социально значимой информации → *дебаты вот / Собчак Жириновский Бабурин выступает; да на таких мне кажется / надо уже цензуру; А... новости все по «России 1» узнаю / потому что там и государственные / рос-*

сийские вернее / и наши омские новости; «Культура» и РЕН ТВ которые мне нравятся... / две которые я смотрю;

→ утрата интереса к социально значимой информации → [о политике] **неинтересно** // я считаю / что нам восьмидесятилетним / нечего туда лезть;

→ интерес к новому → [о турне по Волге] у нас что было? всякие занятия / например учили / как накрывать стол / где должны быть вилки ложки // ну это здорово же; с удовольствием эту прочитала / Мясникову;

→ утрата интереса к новому → Нет / интернета мне не надо / темной останусь;

3) 'я и другие'

→ общение с друзьями, соседями, бывшими одноклассниками, коллегами → на дни рождения у каждого моего одноклассника встречаемся;

→ утрата друзей, дефицит полноценного общения → а сейчас вот у меня общение / ну оно поверхностное; а друзей у меня уже нет / Лариса Николаевна ушла / Татьяна Федоровна ушла / Валентина Ивановна ушла / и все / ... у меня вот в жизни три человека было; Ну какое у меня теперь общение?

→ активное переживание семейных ролей → радуют успехи детей, внуков / что еще?; Я и спать не лягу пока не дождусь / звонка [сына]; [о внуках] мне радостно / пришли посидели пошутили;

→ чувство одиночества → А теперь никому не нужна [ж. 83 г., семьи нет];

4) 'здоровье'

→ забота о поддержании здоровья → Делаю зарядку // Обязательно / потому что без этого... не вращаются суставы;

→ болезни → Давление как подскочит; У меня ноги болят; Скорую вызывала опять / а что делать?

5) 'движение'

→ ценность движения, перемещений, поездок → Ездить куда-нибудь надо / Даже если плохо себя чувствуешь / всё равно можно поехать; Гуляю хоть какая погода / нельзя залеживаться;

→ ограничения в движении → Ходить я / на улицу я не хожу;

6) 'внешность'

→ критическое отношение к своей внешности → Не фотографируй меня / чё народ-то пугать;

7) 'деятельность / дело / работа'

→ занятость, физическая активность → вымыла пол / пропылесосила / ковры прошла вот так вот / потому что там...

→ ограничения в действиях → Варить у меня силы нет / я ничё не могу; Я ж ничего не делаю / кроме того что / посмотрю телевизор.

Приведем фрагменты из дискурсов Н. Ф. (83 года) и Т. А. (80 лет), в которых часть направлений ассоциативно-смыслового развертывания концепта реализуется в оптимистическом варианте:

Н. Ф.: Ну я это / в душе-то я не чувствую что я старая / Душа-то... чувствую что я слабая стала / что я уже в зеркало давно не смотрю / потому что тут уже груша сушеная / на лице / ну вот и походка уже такая / и всё износилось / а там я считаю ну / ну я не чувствую что того вот / я уже старуха такая; Как-то / я считаю / новости не видела / я / уже и от жизни отстала;

Т. А.: Ну и не было о них [о разных странах] информации / а теперь всякая информация есть; [Хватает ли вам общения?] Мне хватает // Потому что

у меня одноклассники, одноклассники, соседи / ... потом я... *руководжу группой пенсионеров.*

В целом результаты анализа дискурса коррелируют с данными эксперимента, при этом характеристики в дискурсе либо совпадают с реакциями из эксперимента (*молодая душа*), либо имеют более предметный характер (*новый этап жизни – руководжу группой пенсионеров*).

Самоидентификация в других группах: сопоставительный анализ

Сопоставление представленных выше результатов с данными по другим социальным группам выявило как общие, так и различительные признаки.

Сельские жительницы от 75 лет, имеющие образование среднее и неполное среднее, в целом демонстрируют более пессимистическую картину¹. Ассоциативно-смысловое развертывание концепта в направлении (1) 'я и время / течение жизни' показывает, что проживаемый возраст воспринимается как итог жизни, а не как ее этап (см. выше ассоциации *новый этап жизни* и *другая жизнь*). Для обозначения прожитых лет используется слово *век* как наиболее близкое к продолжительности человеческой жизни временное обозначение; смысл 'итог' выражается формами совершенного вида глаголов «прожить», «состариться». Яркой особенностью данной социальной группы является обращенность в прошлое: пожилой возраст человека манифестируется сквозь призму оппозиции *раньше – сейчас*. В направлении (3) 'я и другие' ярко прослеживается оппозиция 'молодые, молодежь (они) – старые, старики (мы)': *Маладѣи уижжаит // А / старики тол'ка астались за-щѣт пен'сии жывут / ну ицо коя-кто за-щѣт хазяйства жывут*. В направлении (7) 'деятельность / дело / работа' эмоционально переживается состояние «не-делания»: *Делать ужэ ни-можем // На-следующий год и куриц ни-буду // Фсѣ старьѣ / фсѣ гнильѣ; Делать ниччѣ ни-магу*.

Показательны средства самоидентификации по возрасту жительницы д. Черняево, Тарского р-на, Е. Н. Васильевой (85 лет): *Вот так век прожыли / типерь состарились к-чѣрту*. Со старением информант связывает прежде всего постепенную утрату работоспособности в течение долгой жизни: *Чѣж уже восим'сят пять лет скоро буит / а-сила-ть типерь где?//*. Маркером утраты силы является глагол *карабкаться* в следующем высказывании: *Кърапкьюсь на-ету* [сцена в клубе] *вот / заводют миня / сводют этова / кому нада возиця*. Критическая оценка внешности, своей и ровесниц, у Е. Н. Васильевой выражена однозначно и определено: *Стары стали фсе сморцинились//*.

Итак, в данной социальной группе снижение качества жизни осознается как утрата возможности трудиться из-за потери здоровья; настоящее ярко противопоставлено прошлому – времени молодости; «я» в настоящем противопоставлено «я» в молодости и молодому поколению современной деревни.

Женщины от 60 лет, горожанки, со средним специальным образованием, демонстрируют поиск новых идентичностей. В экспериментальном материале зафиксированы такие реакции, как *поиски себя* (2), *поиски занятий, поиск, это какой-то рубеж, новый этап*. Ощущение перехода из одного возрастного периода в другой означает в реакциях оппозицией наречий «еще – уже»: *еще ничего, еще не старость, уже пожил, уже не могу*. Более разнообразно по сравнению

¹ Диалектный материал собран в районах Омской области. В соответствии с традицией диалектных записей он зафиксирован и приведен в фонетической орфографии.

с данными, полученными от старшей возрастной группы, представлены социальные связи и социальные роли: кроме семейной роли *бабушка*, упоминаются *одноклассник*, *сосед на даче*, *подруга*, *активист*, *детский заступник*, *гражданин*, *муж* и др. Выражение положительных и отрицательных эмоций, в отличие от старшей группы, регулярно и достигает у отдельных информантов высокой степени интенсивности: *страх работы*; *ура, делай что хочешь!*; *нищая*; *счастливая женщина*; *усталый человек*; *не унывать!*; *молодец* и др.

Неустойчивость и широкая вариативность переживания возраста «за 60» подтверждается дискурсивным материалом. В ассоциативно-смысловом развертывании концепта в направлении (1) 'я и время / течение жизни', высокочастотны наречия «уже», «еще», а также «пока» со значением 'какое-то время, до поры до времени'. Вербальные маркеры смыслов, связанных с направлениями (4), (5), (7), отражают заботу о здоровье, осознание ценности движения, состояние занятости. Оценки внешности амбивалентны.

Соотнесение материала, полученного от отдельных информантов группы, позволяет распределить его на шкале перехода от одной возрастной идентичности к другой. В приведенных ниже фрагментах самоидентификация Л. Я. (67 лет) по ряду выделенных направлений развертывания концепта выглядит как переживание более молодого (менее пожилого) возраста, чем самоидентификация Л. С. (63 года):

Л. Я.: Зарядку сделаю / кашу сварю / поели и я пошла на улицу // А потом после прогулки приду / отдышать // Три километра в одну сторону / три километра в другую // Шесть километров все-таки; [В ответ на реплику собеседницы о том, как быстро Л. Я. перемещается по супермаркету] Пока еще могу; Как у меня здесь всё болело / думала / ой / не буду / потом разработал[о.а]сь / щас нормально;

Л. С.: Все равно природа берет свое / Возраст есть возраст / Чё говорить? Уже и движения не такие стали // вот я по себе / раньше / бух-бух какого-то махом все сделаешь / щас эту же работу делаешь часа на два дольше // Раньше мне эту кухню / залезть / а теперь фиг / залезу сюда / потом на стол / потом на подоконник / во.

Выводы

Проведенное исследование самоидентификации лиц в возрасте поздней зрелости отчасти восполняет лингвистическую лауну в гуманитарных исследованиях геронтогенеза. Специфика объекта исследования позволяет говорить о самоидентификации по возрасту на основании продуктов речевой деятельности. Психолингвистические и социолингвистические методики сбора материала, психолингвистические и лингвокогнитивные методики анализа материала позволили сделать выводы, имеющие междисциплинарный характер.

Лингвистическим измерением процессов геронтогенеза, описанных в психологии и социологии, является смысловое пространство ассоциативных полей, построенных по ним семантических гештальтов, а также направления ассоциативно-смыслового развертывания текстового концепта *ВОЗРАСТ* и их структура. Вербальные и ассоциативно-вербальные маркеры самоидентификации по возрасту отражают оппозитивное и скалярное устройство этого когнитивного феномена. Маркеры и стоящие за ними смыслы организованы в оценочные (*хорошо / плохо*); модальные (*могу / не могу*), акциональные (*делаю / не делаю*) и другие оппози-

ции или занимают некую точку на шкале времени (*еще, уже, пока, два года как* и др.).

Выводы междисциплинарного характера заключаются в том, что в социальных группах, выделенных по признакам пожилой / старческий возраст, уровень образования, городская / сельская культура, выявлены специфические особенности самоидентификации. Семантические гештальты свидетельствуют о том, что в старшей группе горожанок с высшим и средним специальным образованием самопрезентация оценочно амбивалентна, при этом мелиоративная составляющая преобладает, эмоции неинтенсивны и малочастотны; в младшей группе наблюдается активный поиск новых идентичностей, переживание возраста сопровождается интенсивными эмоциями. Анализ текстовых концептов, построенных по методике ассоциативно-смыслового развертывания концепта *ВОЗРАСТ* в трех вариантах (горожанки «за 75» с высшим и средним специальным образованием; сельские жительницы «за 75» со средним и неполным средним образованием; горожанки «за 60» со средним специальным образованием) дополняет и уточняет результаты экспериментов. Самоидентификацию по возрасту отражают признаки по таким направлениям развертывания концепта, как движение жизни, интерес к жизни, я и другие, здоровье, движение, внешность, дело / работа. В старшей группе горожанок развиваются оптимистический и пессимистический сценарии переживания возраста; их сельским сверстницам в большей степени свойствен возрастной пессимизм. Младшая группа горожанок маркирует в своих дискурсах переходный этап жизни и демонстрирует широкую вариативность идентичностей. Маркеры самоидентификации старших информантов обеих групп «раскладываются» по перечисленным оппозициям, вербальные средства самоидентификации младшей группы распределяются по зонам темпоральной шкалы.

Список литературы

Бабенко И. И. Специфика эстетической актуализации концепта *город томск* в региональном поэтическом дискурсе // Вестник ТГПУ. 2011. Вып. 3 (105). С. 54–58.

Болотнова Н. С. Коммуникативная стилистика текста: словарь-тезаурус. Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2008. 384 с.

Бутакова Л. О., Викулова А. И. Региональный медиадискурс о людях пожилого возраста: закономерности организации и способы воздействия на читателя // Учимся понимать Россию: политическая и массмедийная коммуникация: Материалы Междунар. науч. конф. / Под ред. А. П. Чудинова. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2018. С. 36–41.

Валиева Т. С. Специфика функционирования лингвокультурных типажей «Пожилой человек» и «АЦÆРГÆ АДÆЙМАГ» в языковом сознании русских и осетин преклонного возраста (на материале свободного ассоциативного эксперимента) // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2012. № 14. С. 70–76.

Волков Ю. Г., Добренков В. И., Нечипуренко В. Н., Попов А. В. Социология: Учебник / Под ред. Ю. Г. Волкова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Гардарики, 2003.

Ермолаева М. В. Психолого-педагогическое сопровождение пожилого человека: Дис. ... д-ра психол. наук. М., 2010. 507 с.

Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987.

Краснова О. В. Порождение заблуждений: пожилые люди и старость // Отечественные записки. 2005. Вып. № 3 (24). URL: <http://www.strana-oz.ru/2005/3/porozhdenie-zabluzhdeniy-pozhilye-lyudi-i-starost> (дата обращения 04.05.2019).

Лантохова Н. Н. Некоторые проблемы возрастной периодизации развития личности в современных научных исследованиях // Современная наука: опыт, проблемы и перспективы развития: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Гл. ред. Д. А. Ефремов; отв. за вып. А. И. Вострецов. Нефтекамск: Науч.-изд. центр «Наука и образование», 2015. С. 53–55.

Ланно М. А. Самоидентификационный дискурс русской элитарной языковой личности: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Новосибирск, 2018.

Орлова Н. В. Права человека как концепт компьютерного сетевого дискурса // Политическая лингвистика. 2013. № 3 (45). С. 57–62.

Орлова О. В. Дискурсивно-стилистическая эволюция медиаконцепта: жизненный цикл и миромоделирующий потенциал: Дис. ... д-ра филол. наук. Томск: Том. гос. пед. ун-т, 2012, 425 с.

Психология человека от рождения до смерти / Под общ. ред. А. А. Реана. СПб.: Прайм-Еврознак, 2002.

Салимьянова И. В. Междисциплинарный аспект исследования образа пожилого человека в русской языковой картине мира // Вестник Ом. гос. пед. ун-та. Гуманитарные исследования. 2013. № 1. С. 92–95.

Смородинова-Щетинина Л. Г. Особенности общения пожилых людей // Царскосельские чтения. 2010. Вып. 14. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-obscheniya-pozhilyh-lyudey> (дата обращения 12.04.2019).

Чурилина Л. Н. Антропоцентризм художественного текста как принцип организации его лексической структуры: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. / Рос. гос. пед. ун-т. СПб., 2003. 39 с.

Шифрова Е. С. Возрастное измерение дискурса: самопрезентация пожилых // Молодежь третьего тысячелетия: Сб. науч. ст. / [Отв. ред. С. В. Белим]. Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2018. С. 1530–1534.

Burton C. L., Strauss E., Hultsch D. F., Hunter M. A. Cognitive Functioning and Everyday Problem Solving in Older Adults // *The Clinical Neuropsychologist*. 2006. Vol. 20, iss. 3. URL: <https://www.cambridge.org/core/journals/appliedpsycholinguistics/> (accessed: 13.03.2019).

Nalini Am., Koo J., Rosenthal R., Riverside C., Winograd H. Physical Therapists' Nonverbal Communication Predicts Geriatric Patients' Health Outcomes // *Psychology and Aging*. 2002. Vol. 17, no. 3. P. 443–452.

Pitti I. What does being an adult mean? Comparing young people's and adults' representations of adulthood // *Journal of Youth Studies, in Applied Psycholinguistics*. 2017. Vol. 20, iss. 9. URL <https://www.cambridge.org/core/journals/applied-psycholinguistics/> (accessed: 05.03.2019).

Williams K., Kemper S. Exploring Interventions to Reduce Cognitive Decline in Aging // *Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services*. 2010. № 48 (5). P. 42–51.

References

Babenko I. I. Spetsifika esteticheskoy aktualizatsii kontsepta gorod tomsk v regional'nom poeticheskom diskurse [Specificity of the aesthetic actualization of the concept city Tomsk in the regional poetic discourse]. *Tomsk State Pedagogical University Bulletin*. 2011, iss. 3 (105), pp. 54–58.

Bolotnova N. S. *Kommunikativnaya stilistika teksta: slovar'-tezaurus* [Communicative stylistics of the text: thesaurus dictionary]. Tomsk, TSPU Publ., 2008, 384 p.

Burton C. L., Strauss E., Hultsch D. F., Hunter M. A. Cognitive functioning and everyday problem solving in older adults. *The Clinical Neuropsychologist*. 2006, vol. 20, iss. 3. URL: <https://www.cambridge.org/core/journals/appliedpsycholinguistics/> (accessed: 13.03.2019).

Butakova L. O., Vikulova A. I. Regional'nyy mediadiskurs o lyudyakh pozhilogo vozrasta: zakonomernosti organizatsii i sposoby vozdeystviya na chitatelya [Regional media discourse of the elderly people: patterns of organization and ways of influence on the reader]. In: *Uchimsya ponimat' Rossiyu: politicheskaya i massmediynaya kommunikatsiya: Materialy Mezhdunar. nauch. konf.* [Learning to understand Russia: political and mass-media communication: Proc. of the Intern. sci. conf.]. A. P. Chudinov (Ed.). Ekaterinburg, UrSPU, 2018, pp. 36–41.

Churilina L. N. *Antropotsentrizm khudozhestvennogo teksta kak printsip organizatsii ego leksicheskoy struktury* [Anthropocentrism of an artistic text as a principle of the organization of its lexical structure]. Abstract of Dr. philol. sci. diss. St. Petersburg, 2003, 39 p.

Ermolaeva M. V. *Psikhologo-pedagogicheskoe soprovozhdenie pozhilogo cheloveka* [Psychological and pedagogical support of the elderly man]. Dr. philol. sci. diss. Moscow, 2010, 507 p.

Karaulov Yu. N. *Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost'* [Russian language and linguistic personality]. Moscow, Nauka, 1987.

Krasnova O. V. Porozhdenie zabluzhdeniy: pozhilye lyudi i starost' [Generation of delusions: older people and old age]. *Otechestvennyye zapiski*. 2005, iss. 3 (24). URL: <http://www.strana-oz.ru/2005/3/porozhdenie-zabluzhdeniy-pozhilye-lyudi-i-starost> (accessed: 04.05.2019).

Lantyukhova N. N. Nekotorye problemy vozrastnoy periodizatsii razvitiya lichnosti v sovremennykh nauchnykh issledovaniyakh [Some problems of age periodization of personality development in modern scientific research]. In: *Sovremennaya nauka: opyt, problemy i perspektivy razvitiya: Materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.* [Modern science: experience, problems and prospects for development: Proc. of the intern. sci.-pract. conf.]. D. A. Efremov (Ed. in ch.); A. I. Vostretsov (Ed.). Neftekamsk, Sci.-publ. center "Nauka i obrazovanie", 2015, pp. 53–55.

Lappo M. A. *Samoidentifikatsionnyy diskurs russkoy elitarnoy yazykovoy lichnosti* [Self-identification discourse of the Russian elitist linguistic personality]. Abstract of Dr. philol. sci. diss. Novosibirsk, 2018.

Nalini Am., Koo J., Rosenthal R., Riverside C., Winograd H. Physical therapists' nonverbal communication predicts geriatric patients' health outcomes. *Psychology and Aging*. 2002, vol. 17, no. 3, pp. 443–452.

Orlova O. V. *Diskursivno-stilisticheskaya evolyutsiya mediakontsepta: zhiznen-nyy tsikl i miromodeliruyushchiy potentsial* [Discursive and stylistic evolution of the media concept: life cycle and world-modeling potential]. Dr. philol. sci. diss. Tomsk, TSPU, 425 p.

Orlova N. V. Prava cheloveka kak kontsept komp'yuternogo setevogo diskursa [Human rights as a concept of computer network discourse]. *Political Linguistics*. 2013, no. 3 (45), pp. 57–62.

Pitti I. What does being an adult mean? Comparing young people's and adults' representations of adulthood. *Journal of Youth Studies, in Applied Psycholinguistics*.

2017. Vol. 20, iss. 9. URL <https://www.cambridge.org/core/journals/applied-psycho-linguistics/> (accessed: 05.03.2019).

Psikhologiya cheloveka ot rozhdeniya do smerti [Psychology of a man from birth to death]. A. A. Rean (Ed.). St. Petersburg, Praym-Evroznak, 2002.

Salim'yanova I. V. Mezhdistsiplinarnyy aspekt issledovaniya obraza pozhilo-go cheloveka v russkoy yazykovoy kartine mira [interdisciplinary aspect of the study of the image of an elderly person in the Russian language picture of the world]. *Newsletter of Omsk State Pedagogical University. Humanitarian research*. 2013, no. 1, pp. 92–95.

Shifrova E. S. Vozrastnoe izmerenie diskursa: samoprezentatsiya pozhilykh [Age dimension of discourse: self-presentation of the elderly]. In: *Molodezh' tret'ego tysyacheletiya: Sb. nauch. st.* [Youth of the third millennium: Coll. of sc. art.]. S. V. Belim (Ed. in ch.). Omsk, OmSU Publ., 2018, pp. 1530–1534. Valieva T. S. Spetsifika funktsionirovaniya lingvokul'turnykh tipazhey "Pozhiloy chelovek" i "ATsÆRGÆ ADÆY MAG" v yazykovom soznanii russkikh i osetin preklonnogo vozrasta (na materiale svobodnogo assotsiativnogo eksperimenta) [Specificity of functioning of linguistic-cultural types of "Elderly man" and "ACYRGÆ ADY MAG" in language consciousness of Russians and Ossetians of old age (on the material of free associative experiment)]. *Current Issues in Philology and Pedagogical Linguistics*. 2012, no. 14, pp. 70–76.

Smorodinova-Shchetinina L. G. Osobennosti obshcheniya pozhilykh lyudey [Features of communication of elderly people]. In: *Tsarskosel'skie chteniya*. 2010, iss. 14. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-obscheniya-pozhilykh-lyudey> (accessed: 12.04.2019).

Volkov Yu. G., Dobren'kov V. I., Nechipurenko V. N., Popov A. V. *Sotsiologiya: Uchebnik* [Sociology: Textbook]. Yu. G. Volkov (Ed.). 2nd ed. Moscow, Gardariki, 2003.

Williams K., Kemper S. Exploring interventions to reduce cognitive decline in aging. *Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services*. 2010, no. 48 (5), pp. 42–51.

Сведения об авторах

Бутакова Лариса Олеговна – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка, славянского и классического языкознания Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского (Омск, Россия)

larisabut@rambler.ru
ORCID 0000-0003-3210-2311

Гуц Елена Николаевна – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, славянского и классического языкознания Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского (Омск, Россия)

egoots@yandex.ru

Орлова Наталья Васильевна – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, славянского и классического языкознания Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского (Омск, Россия).

nvorl@rambler.ru

Харламова Марина Александровна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, славянского и классического языкознания Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского (Омск, Россия)
khr-spb@mail.ru

Information about the authors

Larisa O. Butakova – Doctor of Philology, Head of Russian, Slavic, and Classical Linguistics Department of the Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russian Federation)

larisabut@rambler.ru
ORCID 0000-0003-3210-2311

Elena N. Goots – Doctor of Philology, Professor of Russian, Slavic, and Classical Linguistics Department of the Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russian Federation)

egoots@yandex.ru

Natalia V. Orlova – Doctor of Philology, Professor of Russian, Slavic, and Classical Linguistics Department of the Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russian Federation)

nvorl@rambler.ru

Marina A. Kharlamova – Candidate of Philology, Assistant Professor of Russian, Slavic, and Classical Linguistics Department of the Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russian Federation)

khr-spb@mail.ru



Памяти Людмилы Алексеевны Араевой

09.02.2021 в 74 года ушла из жизни Людмила Алексеевна Араева – известный российский учёный-русист, доктор филологических наук, профессор, действительный член СО МАН ВШ, заведующий кафедрой стилистики и риторики Кемеровского государственного университета, председатель диссертационного совета. С именем Людмилы Алексеевны связаны большие научные и организационные достижения Кузбасса и КемГУ в области филологии и гуманитарной культуры.

Людмила Алексеевна Араева родилась в г. Кемерово, окончила филологический факультет Кемеровского государственного педагогического института. Затем поступила в аспирантуру Томского государственного университета к профессору Маине Николаевне Янценецкой, оказавшей исключительное влияние на формирование ее лингвистического мышления, чем она всегда гордилась. Словообразование русского языка стало ее основной – магистральной – научной темой, которая развилась позднее в научное направление, названное ею пропозиционно-фреймовым моделированием. Докторскую диссертацию по диалектному словообразованию она защитила в 1994 г. в Москве, в Институте русского языка им. А. С. Пушкина РАН.

Обладея незаурядными организаторскими способностями, Людмила Алексеевна исключительно много сделала в плане повышения профессионального уровня преподавателей вузов и школ Кузбасса и превращения кемеровской лингвистики в научную школу: в 1995 г. открыла кафедру стилистики и риторики, 1996 г. – диссертационный совет по защите кандидатских диссертаций, преобразованный в диссертационный совет по защите докторских диссертаций по двум специальностям: 10.02.01 – русский язык и 10.02.19 – теория языка. В 1999 г. по инициативе Л. А. Араевой в университете открыта докторантура по специальности 10.02.01 – русский язык. Она являлась руководителем научной школы «Кемеровская дериватологическая школа». Научный коллектив, возглавляемый профессором Л. А. Араевой, наряду с проблемами регионального словообразования исследует актуальные вопросы современной риторики, стилистики и культуры речи. В рамках созданной научно-исследовательской лаборатории проведено описание словообразования русских говоров Кузбасса, что нашло отражение в коллективной монографии «Словообразовательная система русских говоров Кузбасса. Субстантив» (Кемерово, 1992, отв. ред. Л. А. Араева). Незавершенность методики сбора производной лексики в русских говорах обусловила неоднократное проведение в КемГУ семинаров, в работе которых принимали участие ученые из Томска, Москвы, Иркутска, Барнаула, Новосибирска. Результатом этих семинаров были коллективные монографии: «Диалектные различия русского языка. Словообразование» (Кемерово, 1991, вып. 1; 1993, вып. 2; выполнена совместно с учеными ИРЯ РАН); «Методические рекомендации по сбору, анализу и классификации производной лексики говоров» (Кемерово, 1990, отв. ред. М. Н. Янценецкая). Она – организатор и руководитель 10 конференций (с последующими изданиями сборников докладов), посвященных актуальным проблемам

исследования русского языка, а также руководитель 9 международных лингвистических школ, на которые в качестве лекторов приезжали ведущие ученые России, ближнего и дальнего зарубежья.

Незаурядная организаторская и творческая мысль Л. А. Араевой проявилась в создании научного направления по изучению культуры и языка телеутов, исследование которых началось в 2007 г. Работа в области исследования телеутского языка с 2014 г. финансировалась грантами РГНФ. Интенсивная работа в данном направлении позволила выиграть грант по программе ФЦП «Русский язык» на 2016–2020 гг. В рамках реализации проекта «Разработка электронных образовательных ресурсов по особенностям функционирования русского языка в среде носителей языков коренных малочисленных народов России с последующим размещением в действующей системе электронной поддержки изучения русского языка и дистанционного образования на русском» позволила возглавляемому ею научному коллективу создать цикл лекций в формате онлайн. По результатам работы в рамках трех грантов, посвященных сохранению языка и культуры телеутов, издано более 60 научных статей, коллективная монография «Языковая картина мира телеутов», электронный пропозиционально-фреймовый словарь телеутского языка и электронный лингвострановедческий мультимедийный словарь телеутско-русского языка, размещенный на портале ИРЯ РАН. Она открыла ряд бакалавриатов и магистратур, самый значительный из которых – бакалавриат «Фундаментальная и прикладная лингвистика», преобразованный в бакалавриат «Лингвистика», основной задачей которых является преподавание китайского языка. Активно занималась Л. А. Араева публикационной деятельностью: ею опубликовано 340 работ, в том числе монографии и областные словари.

Людмила Алексеевна проявила себя как талантливый учитель. Она вырастила плеяду учеников – кандидатов и докторов филологических наук, основала эффективную, работоспособную и дружную кафедру: под ее руководством защищено 26 диссертаций (21 кандидатская и 5 докторских). Большая часть работ выполнена на материале русских народных говоров, в том числе и русских говоров на территории Кузбасса.

Л. А. Араева была известным ученым Кузбасса, и ее достижения получили официальную оценку: она награждена знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», медалью «За особые заслуги перед Кузбассом» I, II и III степени, медалью «За достойное воспитание детей», медалью «За веру и добро». Она является Заслуженным работником высшей школы РФ, Почетным профессором Кузбасса; в 2017 г. признана лучшим профессором года.

Людмила Алексеевна была незаурядным, ярким человеком с идеалистическим содержанием, умеющим увлечь окружающих и учеников, щедрым на добрые поступки, она любила жизнь и науку.

Память о Людмиле Алексеевне Араевой надолго сохранится в умах и сердцах ее коллег, учеников, друзей и единомышленников.

*Коллектив Института филологии,
иностранных языков и медиакоммуникаций
Кемеровского государственного университета*

Редакция «Сибирского филологического журнала» выражает глубокие соболезнования коллегам и родным Людмилы Алексеевны в связи с ее кончиной.